



Н Е М Е Ц К А Я Л И Т Е Р А Т У Р А

ГЕНРИХ ГЕЙНЕ

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ
СОЧИНЕНИЙ
В ДВЕНАДЦАТИ ТОМАХ

ПОД ОБЩЕЙ РЕДАКЦИЕЙ
Н. Я. БЕРКОВСКОГО,
М. А. ЛИФШИЦА И Н. К. ЛУППОЛА



Т о м IV



А С А Д Е М И А
МОСКВА — ЛЕНИНГРАД

ГЕНРИХ ГЕЙНЕ

ПУТЕВЫЕ КАРТИНЫ

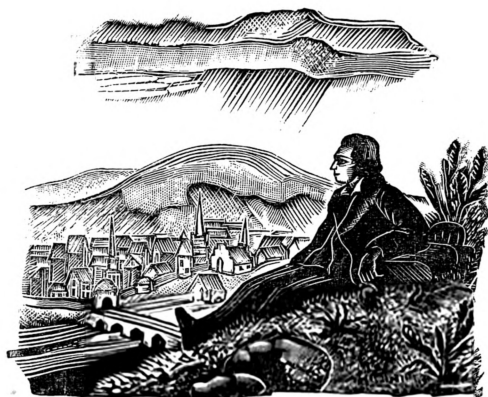
ПЕРЕВОД В. А. ЗОРГЕНФРЕЯ

РЕДАКЦИЯ А. Г. ГОЙХБАРГА

И А. Г. ГОРНФЕЛЬДА

СТАТЬЯ А. З. ЛЕЖНЕВА

КОММЕНТАРИИ А. Г. ГОЙХБАРГА



ACADEMIA
1935

*Фронтиспис и виньетки на титульных
листах — гравюры на дереве Л. С. Хи-
жинского: переплет, суперобложка и за-
ставки по его же рисункам*





ПРОЗА ГЕЙНЕ

1

Пушкин писал: «Точность и краткость — вот первые достоинства прозы. Она требует мысли и мысли; блестящие выражения ни к чему не служат; стихи — дело другое». Он, таким образом, резко разделяет стихи и прозу, как два принципиально различных явления, с разными организуемыми началами. Заметим, что это — не противопоставление художественного слова публицистическому или научному, но именно стихов — прозе. Иначе говоря, даже и то, что мы считаем художественной прозой в тесном и собственном смысле слова — например, рассказ, повесть, роман — и что привыкли объединять со стихотворной поэзией в понятии «художественного слова», у Пушкина отнесено к принципиально-отличному роду творчества. И мы знаем, что у Пушкина это разделение не оставалось только теоретическим, но и последовательно проводилось на практике. Отсюда — строгость, подобранность и простота его прозы, ее железная линейная последовательность, не уклоняющаяся ни на волос в сторону, ее нагота, лишенная метафор, антитез и сравнений, и так сильно контрастирующая с богатой образностью его стихотворной речи, с оригинальностью и частотой ее метафор, со всей неожиданной прихотливостью ее отступлений. Сравните два романа: стихотворный — «Евгений Онегин» и прозаический — «Дубровский», — чтобы эта разница выступила со всей отчетливостью, бросилась в глаза! Не будет большой ошибкой полагать, что для Пушкина художественная проза — только

вполовину искусство, или, если искусство, — то совсем другого рода, отличающееся от поэзии, как сама поэзия — от музыки или живописи.

В немецкой литературе аналогично Пушкину высказывался Клопшток. «Достоверно одно, — писал он, — что ни одна нация не сумела отличиться в поэзии или в прозе, если она не проводила заметного различия между своим поэтическим языком и языком прозаическим». Он замечает также, что «только в поэзии можно сказать «потока шум» (вместо «шум потока»). «Когда я перелистываю прозаические произведения, — заявляет он, — и наталкиваюсь в них на подобную поэтическую перестановку слов, то я уж, конечно, не начинаю читать». Как видим, он отделяет прозу от поэзии с еще большей категоричностью, чем Пушкин. Образные обороты речи он называет «подсунутыми на место правды ублюдками». Спустя полстолетия Клопштоку отзывается Фишер: «Наша проза, — пишет он, — так привыкла разбрасываться крепкими образными выражениями, что она уже совершенно не чувствует силы простого и меткого глагола, тонкости выбора простого определения, короче — правды». Не трудно видеть, что подобные оценки бьют дальше цели: если метафоры — ложь, то они лживы и в поэзии и в прозе. В этом смысле Пушкин более последователен: он требует от прозы воздержанности не во имя правды, а во имя мысли, исключительное служение которой является, по его мнению, специфичным для прозы. Исходные точки здесь, таким образом, разные: у одного — *мысль*, у другого — *правда*. Поэтому и притти они должны к разному: Пушкин — к *сущности*, Клопшток — к *естественности*. Отсюда понятно, почему Клопштока так неприятно поражает простая инверсия в прозе: она противоречит «естественному», «нормальному» (т. е. обычному) строю речи еще больше, чем метафора, которая ведь встречается и в разговорном языке. Впрочем, было бы неправильно думать, будто борьба за «правдивость» прозы и против ввода в нее «поэтических», образных элементов означает непременно и сама по себе приближение к разговорному языку. При известных условиях она может привести, наоборот, не к демократизации прозы, а к изы-

сканности, «аристократизму». Так, «простую» прозу Гетестарика современники его воспринимали как «аристократическую».

Для нас сейчас важно не то, чем разнятся взгляды Пушкина и Клопштока, а то, в чем они сходятся, тем более, что и разница не так уж велика: существенность и естественность, конечно, не совпадают (по мотивам и отчасти по установке), но они очень близки между собой. Общее же у Клопштока и у Пушкина — резкое противопоставление поэзии и прозы. Это — не только два *разных*, но и во многом *противоположных* искусства. Стихи и проза так же отличаются друг от друга, как «лед и пламень», при чем не остается сомнений, чему предоставляется участь льда, а чему роль пламени.

Проза выражает мысли и факты. Проза — то, что надо сообщить в ясных и точных выражениях, род информации, достоинство которой тем выше, чем она отчетливее и недвусмысленнее. Она обращается преимущественно к уму, а не к эмоции; оттого она и «холодна». Она «полуйскусство», так как рассчитана на половинное восприятие и половинного человека. Недаром у нас все роды прозы, включая рассказы и повести, долгое время называют «статьями». Этим подчеркивается служебная роль «выдумки», художества в прозе, ее промежуточное положение, признание ее иллюстративного, информационного, служебного характера, запоздалое влияние античной поэтики и построенной на ней поэтики классической, пренебрегавшей прозой и ставившей ее на подчиненное место. Формула Толстого: вызвать в себе пережитое чувство и воспроизвести его так, чтобы заразить им читателя — как нельзя более чужда прозе Пушкина. Она дает твердые очертания событий и характерные детали. Она дает отчетливые контуры мыслей. Но она не собирается вовлекать нас в сопереживание, а тем более создавать настроение. Отсюда отсутствие «воздуха» в пушкинской прозе, которое отмечал еще Гершензон, ее «графичность», напоминающая графичность французской прозы XVIII века, с которой Пушкин был родственно связан, — прозы Вольтера, Лесажа, —

или еще более близкой ему по духу прозы Мериме. В ней нет «колорита», который бы дал изображенному теплую и совершенную иллюзию действительности. В ней нет «обертон»», помогающих вызвать «настроение». В ней нет «атмосферы», окутывающей предметы и события. Она рисована острым пером, — скупое, выразительно и силуэтно.

Так проза Пушкина, Мериме или Вольтера тщательно отграничивает себя от соседних, от соприкасающихся областей искусства, тщательно соблюдает свою особенность. Здесь царствуют строгие правила и нормы. Стихи поэта и проза прозаика. Чистые, несмешанные жанры. Иерархическое и твердое их деление. Поэзии — свобода, «полет», блеск выражения. Прозе — закон сущности, простоты и самоограничения. Но ни у кого, кажется, эта двойственность не проявляется с такой силой, как у Пушкина. Даже по количеству и разнообразию мыслей Пушкин-поэт гораздо богаче Пушкина-прозаика. Иначе говоря, получается странное на современный взгляд обстоятельство: стихотворная форма даже чисто мыслительной, «публицистической», «философской» работе художника давала больший простор, чем проза.

Это потому, что — в представлении Пушкина — только посредством нее поэт способен выразить полноту своего существа, и понятно, что излюбленные мысли, густо окрашенные чувством и опытом, «мысли сердца», именно в стихотворной форме находили самое частое и соответственное воплощение.

Гетевская проза по типу не вполне совпадает с пушкинской, а по установкам — с клопштоковскими требованиями. Если Пушкин-прозаик продолжает традицию французской прозы XVIII века — «существенной», сдержанной и острой прозы, которую можно условно назвать линией Вольтера, то проза Гете гораздо менее однородна, и его юношеские произведения («Вертер») принадлежат скорее линии Руссо, то есть линии прозы, пытавшейся воздействовать некоторыми специфическими средствами поэзии, линии патетической, красноречивой и живописно-описательной. Большие романы Гете, его автобиография, его статьи и заметки на-

писаны уже в иной манере, значительно более родственной пушкинской. Она проста, «прозаична» и спокойна. Она упорядочена и отчетливо-конструктивна. Проза тут строится по строго логическому принципу связи, отвечая этим как будто пушкинскому требованию мысли. Но в ней нет той сжатости и нервной силы, что у Пушкина. У нее рассудительный, в особенности к старости Гете, чуть тяжеловесный склад, слегка отдающий в своей обстоятельности педантизмом и поэтому нередко скучный для современного восприятия. К этому надо прибавить грузный и сложный синтаксис литературной немецкой прозы, несколько родственный латинским конструкциям, синтаксис, особенно заметный своей книжностью иностранцу и стирающий с немецкой прозы тот оттенок непосредственности, который так характерен для немецких стихов и, в частности, для стихов Гете. Но зато его проза менее графична, чем пушкинская, и рассчитана на более заметный и полный ритмический эффект. У Пушкина ритмика прозы отрывочна и жестка. Уравновешенные гетевские периоды, умные и полные, плавно текут в неторопливом и закругленном ритме. Все это делает пропасть между стихами и прозой у Гете не такой глубокой, как у Пушкина.

Но в общем, несмотря на отдельные различия, проза Пушкина и проза Гете, в понимании видовой своей специфичности, — явления одного порядка. Они мало или совсем не пользуются образно-эмоциональными средствами стихотворной поэзии. Они больше рассчитаны на спокойное восприятие ума, чем на страстную отзывчивость «сердца». И если пушкинское представление о прозе не случайно и не одиноко, то проза Гете еще закономернее для своего времени, а потому и влияние ее намного сильнее и шире. Она становится образцом. В лице Шлегелей ее признают и романтики, художественные принципы которых, казалось бы, очень далеки от гетевских. В салоне Рахили фон Фарнгаген, куда в начале двадцатых годов попадает молодой Гейне и где скоро начнет вырабатываться новая проза, в этом средоточии берлинской литературной жизни, культ Гете — род религии. Любопытная черта: Рахиль сознается,

что сама она умеет писать только как Берне, что в ее глазах равносильно неумению писать, ибо уметь — это значит писать как Гете *.

2

Иному принципу подчинена проза Гейне. Принцип этот настолько резко противоречит не только господствовавшей до него прозе Гете, но и общераспространенному представлению о «нормальной», совершенной, добропорядочной прозе, что до сих пор проза Гейне не может найти безусловного признания. Те, которые так или иначе примирились с ключей поэтикой гейневских стихов, все еще морщатся и недоумевают, читая «Французские дела» или «Путевые картины». И если Гейне вообще принадлежит к тем поэтам прошлого, о которых спорят так, как будто они являются современниками, то о прозе его мнения расходятся особенно сильно. Его называют фельетонистом и газетчиком, понимая это определение чаще в дурном, чем в хорошем смысле. Брандес утверждает, что «проза Гейне не может идти в уровень с его стихами». Блок говорит о его стиле «болтовни с надрывом». Писарев, плененный Гейне не меньше, чем был им в действительности пленен Блок, бросает ему упрек в «блистательном юродстве» и в то же время не хочет скрыть своего восхищения «прелестью» этих «чудесных» страниц, читать которые безотчетно приятно, «обаянием», которым веет от каждой строки, «как бы ни была эта строка безумна или ничтожна». Но Т. Готье удивляется эластичности его необычайного дарования, его манеры, совмещающей «Раблэ и Гете», и сравнивает ткань его «Путевых картин» с драгоценной парчевой тканью: «Его сарказмы одеты в парчевые одежды, обшитые кругом золотистым жемчугом и бубенцами, словно у шута какого-нибудь могу-

* «Она говорила: «Берне не умеет писать, так же, как и я или Жан-Поль», — рассказывает Гейне. — «Под писанием она понимала спокойную упорядоченность, так сказать, редактуру мыслей, логическое соединение частей речи, — короче, то искусство построения периодов, которому она энтузиастически изумлялась у Гете и у своего супруга».

щественного средневекового императора. Срежьте бубенцы, и одежда могла бы служить праздничным нарядом для самого Аполлона». А младший современник и одно время соратник Гейне, Винбарг, объявляет его величайшим прозаиком Германии.

Противоречивость этих отзывов, при известном сходстве эмоционального восприятия, лежащего в основе многих из них, уже сама по себе свидетельствует о необычной оригинальности, отличающей эту прозу, оригинальности, особенно заметной для современников Гейне, но не исчезнувшей и в наши дни, о каком-то поражающем, одновременно привлекательном и колющем своеобразии, очарование которого чувствуют и друзья и противники.

В чем же оно проявляется?

Если Пушкин, Клопшток или Гете стараются отграничить прозу от поэзии, установив для каждой из них свой специфический способ выражения, свои законы, свои цели, если они идут по пути обособления, то Гейне, наоборот, стремится стереть границы, уничтожить обособленность, слить свойства поэзии и прозы, «речи связанной» и «речи несвязанной», в общее единство. Эта черта рано бросилась в глаза современникам. «Проза Гейне перепажана плугом поэта», — писал еще Гуцков, один из «младогерманцев» и впоследствии ожесточенный противник Гейне. Мысль Гуцкова повторил современный исследователь Гейне, Браувейлер *, придав ей еще более обобщающее выражение. «В этой поэтизации прозы, — пишет он, — выразилась общая характерологическая особенность Гейне».

Говоря о гейневском «поэтизировании» прозы, имеют обычно в виду яркую образность языка, богатое использование метафоры, необычайную наглядность, с какой он говорит об отвлеченнейших предметах. Винбарг пишет о «преобладающей в сфере чувственного созерцания, большей частью такой пленительной, остроумной... но порой все же искусственной пластике выражения его мысли». Браувейлер считает характерным для гейневской прозы чередование

* Brauweiler, «Heines Prosa», 1915.

метафорической, преобразующей» (transform), «поэтической» манеры с «прямой», прозаической, «соответственной» (konform), под которой он понимает изложение, строго адекватное предмету, — способ, присущий прозе как прозе. Действительно, метафорическое богатство прозы Гейне сразу бросается в глаза.

«Будет прекрасный день!» — крикнул мой спутник из кареты. Да, будет прекрасный день, тихо повторило мое молящееся сердце, и задрожало от тоски и радости. Да, будет прекрасный день, солнце свободы согреет землю лучше, чем вся аристократия звезд; расцветет новое поколение, зачатое в свободном объятии, не на ложе принуждения и не под контролем духовных мытарей; свободно рожденный человек принесет с собой свободные мысли и чувства, о каких мы, прирожденные рабы, не имеем никакого понятия. — О! они так же мало будут понимать, как ужасна была ночь, во мраке которой должны были мы жить, и как страшна была наша борьба с безобразными призраками, мрачными совами и ханжествующими грешниками! О, бедные бойцы, мы всю свою жизнь положили на борьбу, и усталые и бледные встретим мы зарю победного дня! Пламя солнечного восхода не вызовет румянца на наших щеках и не согреет наших сердец, — мы умираем, как заходящий месяц, — слишком скупо отмерены человеку пути его странствий, — и в конце их неумолимая смерть».

Это чрезвычайно характерный образец гейневской манеры, одна из тех «молний», о которых Писарев говорит, что они вдруг прорезают гейневскую прозу, застают вас врасплох и поражают неожиданностью. Здесь все характерно: и перевод бытового восклицания, простой фразы о погоде, сказанной дорожным спутником, и высокий символический план (подобное переключение из тональности в тональность, из одного смысла в другой, мы не раз встретим у Гейне), и богатая, «переливчатая» игра интонаций, смесь разнородных эмоциональных красок — гру-

сти, воодушевления, негодующей насмешки — в русской литературе подобную ей можно найти только у Герцена, — и открыто лирическая установка, когда поэт не боится достигнуть подъема на волне междометья; и необычайная ритмическая музыкальность, которую перевод передает только отчасти: я нарочно перевел Grab (могила) неточным словом «смерть» для того, чтобы сохранить короткий и мрачный удар мужского окончания, которым завершается гейневский период, — но сколько ритмических особенностей осталось — и всегда будет оставаться — переданными! Но что особенно привлекает внимание и что для нас сейчас всего существеннее, это — смелое пользование Гейне «переносными» метафорическими средствами. Мы это видим и в необычном (для прозы) употреблении метафорического эпитета, например «молящееся сердце», и в большом количестве метафор в собственном смысле, олицетворений, уподоблений и т. д., которые иногда носят чисто формальный, риторико-аллегорический характер: «солнце свободы», «аристократия звезд» и т. д., и, наконец, в том, что вся тирада Гейне является разворачиванием большой метафоры о бойцах, которых истомила ночь битвы с призраками и которые умирают при наступлении нового дня: начатая риторически, она быстро переходит в лирический, почти интимный план — и в этом переходе та прелесть, что свойственна Гейне.

3

Но для того, чтобы как следует понять чем является для Гейне-прозаика пользование средствами «поэтической» выразительности, попробуем сравнить его с такими мастерами «прозаической», «адекватной» прозы, как Пушкин или Гете.

Возьмем отрывки из аналогичных произведений: «Путешествия в Арзрум» Пушкина, «Итальянского путешествия» Гете, «Путешествия из Мюнхена в Геную» Гейне. Литературный род этих отрывков, категория, внутри которой они находятся, одни и те же. Все три изображают сходный момент — переход от мрачной и суровой природы гор к мяг-

ким и теплым долинам, от севера к «заветному» югу, который, быть может, не совсем в одинаковой степени, но неодолимо влечет к себе и Пушкина, и Гете, и Гейне. Перед нами, таким образом, самый простой случай для сравнения. Оно упрощено еще тем, что из Гейне выбрано не какое-либо «отступление в сторону», где поэт отдается свободной игре своих ассоциаций, говорит о политике, искусстве, религии, любви, о своем детстве, о вещах, не имеющих прямого отношения к «основной» теме, а выбран внешне описательный момент, строго входящий в тематические пределы; отступления у Гейне так многочисленны, что являются не исключением, а скорее правилом, и можно сказать, что в «Путевых картинах» само путешествие часто является лишь предлогом, а «отступления» — подлинным содержанием. Эти отступления, делаясь композиционным принципом, составляют сами по себе важное отличие гейневской прозы от прозы Пушкина или Гете, но не то отличие, которое интересует нас в данный момент.

Пушкин.

«Мгновенный переход от грозного Кавказа к милостивой Грузии восхитителен. Воздух вдруг начинает повевать на путешественника. С высоты Гутгоры открывается Кайшаурская долина с ее обитаемыми скалами, с ее садами, с ее светлой Арагвой, извивающейся, как серебряная лента, — и все это в уменьшенном виде, на дне трехверстной пропасти, по которой идет опасная дорога.

Мы спускались в долину. Молодой месяц показался на ясном небе. Вечерний воздух был тих и тепел. Я ночевал на берегу Арагвы, в доме Г. Ч. На другой день я расстался с любезным хозяином и отправился далее».

Гете.

«И вот, когда настает вечер, воздух мягок, редкие облака покоятся на горах и скорее стоят, чем плывут, в небе, и тотчас после захода солнца начи-

нает громче становиться треск кузнечиков, тогда чувствуешь себя в мире как дома, а не словно в заточении или в изгнании. Мне здесь так нравится, будто я тут родился и воспитывался, и сейчас возвращаюсь из поездки в Гренландию, с китобойного промысла. Я приветствую даже отечественную пыль, которая порой кружится над коляской и о которой я так давно ничего не знал. Колокольчатый и бубенцовый звон кузнечиков чрезвычайно мил, проникающий и не неприятен. Весело слушать, когда шаловливые мальчики начинают свистеть, состязаясь с целым полем таких певцов; воображаешь, будто они действительно подзадоривают друг друга. И вечер так же совершенно мягок, как и день».

Гейне.

«По мере того как солнце все прекраснее и величественнее расцветало в небе, осеняя золотыми покровами горы и замки, на сердце у меня становилось все жарче и светлее; снова грудь моя полна была цветами, они пробивались наружу, разрастались высоко над головой, и сквозь цветы моего сердца вновь просвечивала небесная улыбка прекрасной пряжи. Весь овеянный такими грезами, сам — воплощенная греза, приехал я в Италию, и так как в дороге я отчасти забыл куда я еду, то почти испугался, когда на меня взглянули разом все эти большие итальянские глаза, когда пестрая, суетливая итальянская жизнь во плоти устремилась мне навстречу, такая горячая и шумная».

У Пушкина проза наиболее мужественна и лаконична. Она вся подчинена закону существенности. Каждое определение имеет в виду свойство предмета, которое оно стремится передать с наибольшей точностью, но не вдаваясь в оттенки и полутона. Предмет определяется в своем общем и главном тоне. Но ничего сверх этого: небо «ясное», месяц «молодой», Арагва «светлая», воздух «тепл», пропасть

«трехверстная». Пушкин не сторонится цифр, если они могут дать отчетливое, запоминающееся представление, и не заменяет точной характеристики метафорой. Поэтому пропасть у него «трехверстная», а не «головокружительная», «страшная», «манящая» и т. д. Если он говорит «опасная» дорога, то это потому, что опасность или доступность дороги — существенное ее свойство для путника. Вещи здесь резко очерчены, словно вырезаны или высечены в камне. Метафоры отсутствуют. Проза нага и мускулиста. Пушкин не боится сухости и порой действительно бывает сухим или кажется сухим из-за своей сдержанности, искусственно смирившей большой темперамент. Даже тогда, когда его эпитет как будто передает не свойство предмета, а ощущение воспринимающего, он не преследует цели создать настроение, «заразить» читателя пережитым чувством. «Грозный» Кавказ, «миловидная» Грузия, «восхитительный» переход — это все почти условные определения с минимумом эмоционального содержания, почти абстрактный знак отношения, не раскрытого, а только намеченного. При подобном минимуме эмоционального наполнения такой эпитет, как «грозный», может восприниматься едва ли не как вещественный, равнозначный с «труднодоступным», «гористым» и т. д. Так же и единственное сравнение, проскользнувшее в пушкинский пейзаж, — Арагва, извивающаяся, как серебряная лента, — из-за своей элементарности и обычности ощущается уже не как метафора, не в своей «поэтизирующей», «преображающей» особенности, а как точное, предметное, «соответственное» определение, передающее извилистость и блеск реки.

И если все-таки душевная настроенность пробивается в этой взятой в железные тиски прозе, то это происходит между строк. Ее несет с собой нагнетающий ритм коротких фраз. На фоне намеренной эмоциональной сухости даже самое скупое, но не условное и хоть немного выдвинутое из ряда определение начинает звучать полнее своего эмоционального смысла.

Проза Гете мягче пушкинской и более приспособлена для передачи душевных движений. Она ближе к поэзии,

и Гете не делает между ней и своими стихами такого резкого разрыва, как Пушкин. «Настроение» теплого южного вечера, только намеченное у Пушкина, у Гете развернуто в большой картине с широкими и волнистыми линиями. Несколькими строками раньше Гете пишет об акте милосердия, который он совершил «во имя могучего солнечного света». Это совершенно выпадает из ткани «адекватной» прозы, хотя здесь нет никакой метафоры, — и Пушкин бы этого не сделал.

Но тем не менее, в основе это — проза того же типа, что и пушкинская. Эпитет и глагол стремятся здесь передать преимущественную особенность предмета и качества действия, а не чувство, возникающее при восприятии: воздух «мягко», мальчики «шаловливые», облака «редкие» и «скорее стоят, чем плывут в небе». Пень кузничиков описано с почти научной обстоятельностью, переданы: характер звука, его изменение при нарастании силы (из «треска» в «звон»), нюансы тембра — «колокольчатый» и «бубенцовый»; особенность звука еще больше оттеняется вводом новой слуховой подробности: свиста мальчишек. И, вместе с тем, это почти научное описание исполнено теплого колорита. Гете создает и настроение (в этом его отличие от Пушкина), но не тем, что вносит его в самые предметы, а тем, что дает ему свободно проникать между ними: он «излагает» свое душевное состояние так же прямо, «адекватно», и не «переносно», как только что рисовал предметы. Метафоры почти отсутствуют в этой прозе, а если встречаются, то, как и у Пушкина, приглушенного, блеклого, «обычного» типа, так, чтобы не вызывать ощущения яркого пятна, к которому привлекается внимание (как это бывает в стихах); функция их не «поэтическая», не «преображающая»; они служат для точного определения там, где сделать это иным путем трудно или сложно. Такова его метафорическая передача пенья кузничиков: «колокольчатый и бубенцовый перезвон» (в оригинале метафоричность выступает явственнее: «Glocken und Schellengeläute der Heuschrecken» — «перезвон колокольчиков и бубенцов кузнечиков»). Сравнение с колокольчиками и бубенцами само

по себе обычно и стерто. Тонкость получается оттого, что оба сравнения поставлены рядом и возникает таким образом градация, нюансировка звука; метафора воспринимается как точное определение. Подобно этому и видимо-«эмоциональные» эпитеты, как «мил и неприятен», относящиеся к тому же «звону», обладают, в сущности, очень незначительным эмоциональным содержанием и служат для того, чтобы передать ощущение звука, его характер, а не для того, чтобы вызвать настроение.

Немецкая критика считает «Итальянское путешествие» Гете образцом объективной прозы. Гейне говорил, что природа хотела узнать, как она выглядит, и создала для этого Гете. В гетевских произведениях она отразилась и узнала себя. Если в этих отзывах объективность гетевской манеры и преувеличивается — его проза и «теплее» и «настроеннее», чем это следует из них, то, во всяком случае, они доказывают, что уже в глазах его современников его искусство означает минимум деформации и вмешательства личного начала. Мы поймем их оценку, если к процитированным строкам из Гете прибавим те, которые им непосредственно предшествуют:

«Эч течет теперь спокойнее и отлагает на многих местах широкие полосы гальки. У реки вверх по холмам все растет в такой тесноте и скученности, что кажется одно должно задушить другое. Виноградники, маис, тутовые деревья, яблони, груши, айва и орехи. Через стены порывисто перекидывается боярышник. Плющ крепкими стволами растет вверх по скале и раскидывается широко над нею; ящерица проскальзывает в промежутки между листьями, и все, что здесь движется и бродит, напоминает приятнейшие образы искусства. Спущенные носы женщин, мужчин обнаженная грудь и легкие куртки, отличные волы, которых они ведут с рынка домой, нагруженные ослыята, — все это образует живого, движущего Генриха Рооса».

Это почти сущность Пушкина, но с потерей темпа и с большим упором на образительность.

4

У Гейне мы сразу сталкиваемся с двумя особенностями: во-первых, описание доведено до минимума, до двух деталей: о солнце, которое все разгорается, освещая замки и горы, и о больших итальянских глазах, которых поэт почти пугается от неожиданности. Во-вторых, почти все построение отрывка представляет собой смелую и сложную метафору. Из двух подробностей только первая может считаться непосредственно-описательной. Вторая — где Италия как бы символизирована в больших глазах, обращенных на поэта, — настолько дистиллирована, прошла, видимо, такой сложный путь художественной переработки и обобщения, что ее следует скорее назвать деталью «беллетристической», чем чисто описательной. Гейне и Гете описывают приблизительно одни и те же места и один и тот же момент: первой встречи с югом. Для того чтобы передать впечатление от надвигающейся Италии, Гете нужно построить хорошо упорядоченный и богатый комплекс подробностей: река и гальки, разнообразие растительности, ящерица в листве плюща, прическа женщин, одежда мужчин, волы и ослы, облака на горах, придорожная пыль, пенье кузнечиков, свист мальчишек, теплота вечера. Все это выписано неторопливо, обстоятельно, мягко, с видимой заботой о гармоническом сочетании красок. Гете сам проводит параллель с картиной. Если это картина, то в классическом понимании и вкусе. Поиски резкой, характерной, единственной детали его не тревожат: они ему знакомы; а если б и были знакомы, то он бы их не понял, а если б и понял, то наверное бы отверг. Иначе поступает Гейне. Пейзаж дан одной единственной подробностью: о расцветающем великолепном солнце, набрасывающем золотые покровы на горы; это как бы вступление, дающее яркий эмоциональный тон последующему. В дальнейшем реальный пейзаж словно отодвигается назад. На смутном, только угадываемом фоне возникает странная и резкая деталь: глаза, — не лица, а только глаза, — огромные, отовсюду устремленные глаза. «Засыпание» пейзажа, мотивированное

тем, что поэт загрузил и перестал замечать окружающее, подготавливает внезапность этой детали, ее почти галлюцинаторную яркость. Она еще более подчеркнута тем, что поэт *«пугается»*. Такое пользование деталью у Гейне — правило: и в прозе и в стихах. Он выбирает одну или две-три резких и характерных подробности и старается при помощи вспомогательных средств еще усилить, довести до предела их яркость. Его деталь — красочное пятно на намеренно-смутном фоне. Это делает его манеру «импрессионистической» в противоположность «классической» манере Гете. Здесь уже господствует то правило характерной детали, замещающей обстоятельное описание, которым художественная проза научилась как следует пользоваться лишь гораздо позже и которое нашло свое классическое выражение в словах Треплева-Чехова о лунной ночи, переданной *одной* подробностью — сверкающим бутылочным осколком, рядом с темной тенью плотины. Но есть разница: гейневская деталь в гораздо большей степени — знак настроения, эмоции, чем чисто реалистическая объективная деталь Чехова или Мопассана.

Точно так же, как Гейне иначе пользуется деталью, чем Пушкин или Гете, он придает иной характер и метафоре. Мы уже видели, что арсенал образных средств выразительности в его прозе гораздо богаче, чем в прозе классиков. Это вообще — черта, которая сразу бросается в глаза и нуждается только в демонстрации, а не в доказательстве. Важнее то, что арсенал этот подобран по иному принципу. У Пушкина или Гете это — принцип неяркости, существенной точности и логического соответствия. Метафора или сравнение не должны останавливать внимание, фиксировать на себе восприятие читателя, а должны служить особым типом или суррогатом адекватного, соответственного определения. Отсюда — выбор «обычных», «стертых» не поражающих сравнений, т. е. таких, которые меньше всего бы нарушали естественность и логическую упорядоченность речи. Эпитет не должен выдаваться острым ребром из ряда; его функция — верная характеристика предмета. Отсюда — стремление к эпитету точному, но

не слишком своеобычному, не ослепительному и ни в коем случае не эксцентрическому. Со всеми этими образными средствами выразительности у прозаиков Пушкина и Гете происходит то же, что с рифмами в эпоху французского классицизма, когда — в противоположность тому, что имеет место сейчас, — предпочитали рифму подготовленную, логически связанную со своей парой, предугадываемую, рифме неожиданной, оригинальной, острой. Я говорю лишь о *прозе* Пушкина и Гете, потому что в стихах у этих «классиков», особенно у русского, была совсем другая поэтика.

Как же поступает здесь Гейне? Отрывок, который я привел и который, в своей образности, является типичным для Гейне, дает очень сложное сплетение метафор. Говоря это, я имею в виду не начальную метафору о золотых покровках, накинутах солнцем на горы и замки, — она ярка, но проста и не слишком смела. Но вторая, большая, метафора была бы сложна и необычна даже и для нашего времени, привыкшего к эксцентрическому и смелому сравнению. Грудь поэта полна цветов, цветы прорастают сквозь поэта, ветвятся над его головой, и сквозь цветы его сердца улыбается прекрасная пряжа, встреченная им в пути. Об этой пряже с итальянской границы он рассказывает раньше: «Она пряла и улыбалась, и на нитях ее прялки, подобно пляшущему веретену, висело мое собственное сердце». Это опять смело до дерзости, но для нашего современного восприятия кажется уже гораздо приемлемее. Дело в том, что конкретное наполнение гейневской метафоры о цветах сердца подсказано общеромантическим, шеллингианским восприятием мира, как целого, проникнутого единой «мировой» душой. И с этой точки зрения совсем не безумно, когда цветы и люди сплетаются и перерастают друг в друга. Они ведь связаны внутренним, духовным родством и могут понимать и чувствовать один другого; у романтиков мы найдем бесконечное множество примеров этому: цветы у них пляшут, камни думают, люди перевоплощаются в растения и неодушевленные предметы, и вся природа исполнена общего порыва. Поэтому правильное было бы сказать,

что сравнение Гейне показалось бы менее смелым его современникам, чем нам; но самое наполнение метафоры для нас уже чуждо и кажется устарелым. Смелость ее не столько в конкретных сближениях, подсказанных эпохой, сколько в построении. Она многоэтажна и раскрывается последовательно. Ее раскрытие — сжатая история, имеющая значение сама по себе, независимо даже от общей связи. Такая метафора была бы невозможна в «простой», «прозаической» прозе, она бы выпала из нее — гетевская ткань не сумела бы ее удержать. Ее прямое и явное назначение — остановить на себе внимание читателя, привлечь, «ранить». Она сознательно смела, необычна, поставлена на ребро. Гейне пользуется здесь метафорой не как прозаик, а как поэт. Он поступает аналогично Пушкину-стихотворцу, когда тот пишет: «Как пахарь битва отдыхает» или «Нева металась как больной в своей постели беспокойной». Сравнить битву с пахарем — это ведь парадоксально, дерзко, эксцентрично, это противоречит «обычному» представлению и внешнему правдоподобию. Какую работу абстрагирования и пересоздания эмоциональных связей надо было проделать, чтобы уподобить огромную картину массового и кровавого разрушения мирному труду одинокого пахаря! Пушкин здесь не боится необычности сравнения: на метафору у него падает максимум напряжения и смысла, и необычность ее является средством дольше и сильнее задержать на сгущенном смысле и напряжении внимание читателя, оставить в его восприятии более яркий след. Словом, Пушкин здесь поступает, как и Гейне, но с одной разницей: Пушкин это делает *только* в стихах, а Гейне и в прозе.

По сравнению с прямым способом выражения, образный, метафорический способ всегда вносит добавочные элементы субъективизма, настроения, чувства. Это следует уже из того, что выбор предметов для сравнения производится самим поэтом, и если не произвольно, то своевольно и уж, во всяком случае, своеобразно. Подобное сопоставление редко обходится без какого-либо эмоционального привнесения, и при прочих равных условиях метафорическая проза эмоциональнее «простой». Образность гейневской прозы от-

части и выполняет эту функцию усиления эмоционального тона.

Метафоры Гейне-прозаика повернуты к читателю острой гранью, выдвинуты из ряда, несут на себе полную поэтическую нагрузку. Поэтика благородной скромности и приглушенных тонов им отброшена. И это по всей линии изобразительных средств. Необычайный, блестящий, часто эксцентрический эпитет стремится передать не только свойство предмета, но, по меньшей мере, в такой же степени и эмоциональную атмосферу, которой он окутан, эмоциональный тон, отношение. При этом эпитеты Гейне чрезвычайно богаты и разнообразны, так что гейневская поэтика, далекая от монотонности, в них обращается к нам то одной, то другой своей стороной. Иногда они строятся по линии фантастической и парадоксальной, и тогда мы имеем *«призрачно-бледное»* небо, на котором *«угрожающе»* проступают *«черные»* звезды, сверкая как уголь, или плющ, ниспадающий меж каменными плитами, как *«зеленые слезы»*. Иногда они стремятся резко выделить характерную и комическую черту: про худую даму, встреченную им в дороге, он пишет, что она происходила от фараоновых тощих коров и что ее фигура — *«вся вываренная, как бесплатный обед для бедных богословов»*. Иногда, наконец, они не имеют этой зрительной наглядности и остроты, но зато с тем большей исключительностью выражают личное отношение, настроенность, оценку: ночь *«ужасна»*, призраки *«безобразны»*, смерть *«неумолима»*, солнце *«прекрасно и блистательно»* — во всех этих определениях эмоция преобладает над объективной данностью. Но они только ярче и гиперболизированнее проявляют основное свойство гейневского эпитета: его пропитанность субъективностью. Это нисколько не противоречит его способности схватывать характерную особенность предмета. Такие эпитеты в Гейне очень часты, но их хочется определить не столько как *точные*, сколько как *меткие*: на фоне эмоциональной и лирической прозы нас поражает молниеносный удар определения, безошибочно попадающего в намеченную и единственно-нужную точку предмета. Эпитет у Гейне сам часто становится переносным, образно-творче-

ским. Он вовлекается в общий поток образной и «преображающей» речи, который «дионисийски неистовствует» в гейневской прозе. Гейне вносит эту образность во все, не делая различия между высоким и низким, между тем, что поддается поэтизации, и тем, что должно быть отброшено по своей сухости или несоответствию. Он говорит о *круглых бедрах* гения Жорж Занд, о *сером ореоле скуки*, о *зябнущем солнце*, о *одетом в желтую фланель*, о *каменных руках* собора Парижской богоматери.

Мы уже видели, в чем смысл этой усиленной образности. Браувейлер утверждает, что гейневская метафора не передает каких-либо индивидуальных особенностей предмета, а служит только для гиперболизации и заострения тех свойств, которые выражены и без ее участия, или для того, чтобы, выражаясь словами Бергсона, «привлечь насильственно внимание к материальности образа». Он приводит в доказательство замечание Гейне о Людовике-Филиппе, который играет в короля-гражданина, но под своей фетровой шляпой носит корону обыкновенного покроя, а в дождевом зонтике — самодержавнейший скипетр. Он заявляет, что в гейневской метафоре не показаны «определенный способ и манера одеваться как буржуа и все же стараться быть сувереном». Браувейлер неправ. Когда Гейне говорит о круглых бедрах жорж-зандовского гения, он передает этим самым особенность ее литературного дарования: женственность (известно, что он считал неправильным распространное мнение о мужском складе ее ума). Когда Парижский собор подымает вверх свои каменные руки, в этом — намек на своеобразие его архитектурной формы (двойные башни). Даже в том примере, который приводит сам Браувейлер, дело обстоит не так просто, как он полагает. С ним произошло то, что случается каждый раз, когда анализируют абстрактно, безотносительно к живой реальности содержания. Браувейлер помещает рядом с гейневским образом Луи-Филиппа любовную метафору Гете: «расплети шнурок моего счастья», сравнивает их, как нечто, принадлежащее к одному ряду, и приходит к выводу о большей характерности гетевского образа, передающего индиви-

дуальную неповторимость объекта. Он не понимает, что конкретность и особенность в политике означает не то, что в быту. Гейневские слова он расшифровывает как выявление противоречия между манерой одеваться Луи-Филиппа и его стремлением сохранить королевское достоинство. На самом деле Гейне имеет в виду совершенно иное противоречие: между демократическими замашками «короля-гражданина» и его реакционной, абсолютистской сущностью. Это — действительная политическая особенность, которая отличала Луи-Филиппа, и метафора о короне, надетой под фетровой шляпой, и об абсолютнейшем скипетре, спрятанном в зонтике, передает ее чрезвычайно метко и соответственно. Дальше пойти в передаче своеобразия было бы невозможно, так как тогда пришлось бы из области политической конкретности переступить в область конкретности бытовой и действительно заняться деталями костюма французского короля, его вкусами, склонностями и пр. Гейне иногда так и поступал, но это еще не делало его политических суждений более индивидуализированными и меткими.

Но в одной своей части замечание Браувейлера правильно: гейневская метафора действительно гиперболизирует, заостряет свойства объекта, преувеличивает их яркость и резкость, привлекает внимание к неотразимой «материальности образа». В одной из своих поэм Гейне называет метафоры мачтами своего поэтического корабля, а гиперболы — реями. Это так, и это можно слить в одно. Гиперболизированная метафора — орудие его стиля. Он пользуется им, когда называет ямочки на щеках толстой дамы — «плевательницами бога любви», или когда пишет: «Друзья и враги объединяются, чтобы изувечить правду. Они обрубают ей ноги или так вытягивают ее в длину, что она становится тонкой как лось». Не надо только отрывать одно свойство от другого, противопоставлять гиперболичность метафоры ее свойству передавать своеобразие предмета. Она делает одновременно и то и другое: она одновременно и гиперболична и характеристична.

5

У Гейне сосуществуют одновременно две манеры. Богатая метафорами, сравнениями, необыкновенными и сложными эпитетами, ярко оркестрованная, переливающаяся разнообразными интонациями, исполненная контрастов и неожиданностей манера, которая составляет основу его прозы, сменяется вдруг совершенно простой, наивной и беспритязательной: очень просто построенная фраза, без поэтических тропов и блеска, со скупыми, но меткими и характерными определениями, иногда ироническая, а чаще задушевная, таит в себе необычайное, почти необъяснимое очарование (еще Писарев говорил, что читать Гейне безотчетно приятно), очарование, идущее, быть может, от изложенной в ней внутренней музыки или от ее мягкого колорита или от замечательной ее живописной выразительности. Детали закреплены здесь с чрезвычайной реалистической точностью, их немного; предметы и люди очерчены так четко и лаконично, что врезаются в память; подбор красок иногда напоминает миниатюриста. Это сочетание двух манер у Гейне давно уже бросилось в глаза критике. Французский исследователь Жюль Легра отметил его в гейневских стихах, где «простая» манера, по крайней мере в «Книге песен», преобладает. И действительно, когда на фоне мощной, пользующейся всеми средствами выразительности, гиперболической поэзии «Серверного моря» вдруг из шума волн возникает простая картина летнего ветра, и дети сидят на ступеньках крылечка и рассказывают и слушают сказки, а напротив, в окнах меж цветочных горшков улыбаются освещенные месяцем взрослые девушки, — контраст неотразим. Он ощущается еще ярче, когда показывается видение затонувшего города, старинного нидерландского города, с оживленной рыночной площадью, по которой размеренно и важно направляются к высоко-ступеньчатой ратуше люди в черных плащах, с длинными шпагами и длинными лицами, а невдалеке, у домов с зеркальными окнами и пирамидально-подстриженными липами, чинно гуляют шумящие шелками девушки с черными шапочками на золотистых волосах, и мимо про-

ходят франты в пестрой испанской одежде и гордо кланяются, и пожилые женщины, с молитвенником и метками в руках, спешат семенящим шагом к огромному собору, подгоняемые колокольным звоном и шумным пеньем органа, — эти реалистические, красочные и в то же время проникнутые подспудным настроением картины — словно острова устойчивости среди движущейся, взволнованной стихии гейневского лиризма. Впрочем, Лёгра имеет в виду не только их. В гейневской поэзии он усматривает борьбу двух начал, двух принципов: один принцип простоты, музыкальности, непосредственности, непреднамеренности; другой — буйства образов и красок, яркости их, изобилия, риторики. В согласии с верленовской поэтикой («музыки прежде всего» и «сверните шею красноречью»), он любит первое начало и осуждает второе, в котором видит результат дурного вкуса. «Цветистая» манера Гейне возводится к восточным образцам. Одновременно Лёгра приходится отвергнуть и Гейне — политического поэта, так как последний исходит из тех установок, которые Лёгра отвергает, как проявление дурного вкуса: о, он признает остроумие сатирика! но остроумие и вообще-то его не слишком пленяет, — а у Гейне оно вдобавок такое резкое и издевательское, — и Лёгра меланхолично сожалеет, что любимый его поэт проявил так мало деликатности по отношению к прусскому королю, Масману и Людвигу Баварскому.

Критикам типа Лёгра можно возразить, что личные вкусы исследователя не являются объективными эстетическими нормами, и если «метафорическая» манера Гейне их не удовлетворяет, то это не значит, что она продиктована отсутствием или испорченностью вкуса. То, что не нравится сегодня, нравилось вчера и, быть может, будет нравиться завтра. В наше время смелая образность речи воспринимается уже иначе (положительнее), чем воспринималась в девяностые годы, когда писал Лёгра. Можно было бы прибавить, что и генеалогия от «Песни песней» не так уж плоха для поэта и не хуже всякой другой. Все это несомненно. Но существеннее другое: Лёгра не замечает, что «простая» манера, которой он — и справедливо — восхищается,

существует только в связи с манерой «образной», и вне этой связи **не** будет восприниматься.

6

Эту двойственность нельзя видеть в появлении на ряду с метафорическими оборотами не-метафорических; ее нет даже в том случае, когда после взволнованной образно-лирической речи следует несколько строк спокойного, «прозаического» рассуждения. Во-первых, такие случаи достаточно редки у Гейне; неэмоциональная манера встречается преимущественно в его ранних статьях, периода до «Путевых картин», когда его прозаический стиль еще не установился. Во-вторых, отдельные места подобного рода в его позднейших вещах не характерны, вызываются требованиями задания, и их так же трудно избежать, как и необразных, связующих выражений в самой цветистой прозе; например, рассказывая историю религии и философии в Германии, Гейне не может обойтись одними образными, хотя бы и самыми меткими определениями, а должен время от времени излагать чужие теории и взгляды обычным языком абстракции. Это еще не создает стилистической двойственности. Она образуется не тогда, когда «простая» речь вводится в качестве абстрактной, а когда она служит для передачи образного содержания необразными, т. е. не-метафорическими средствами. Характерными носителями второй манеры являются те написанные с величайшей реалистической точностью вставные картины, иногда миниатюры, образцы которых мы видели в его стихах. «Северное море», где они внезапно возникают на фоне морского шума и меняющихся фантастических форм облаков и волн, дает о них самое наглядное и простое представление. Они чаще всего встречаются там, где гейневская проза всего субъективнее, бурнее, «беспорядочнее», словно они служат упорами, на которых она держится, точками равновесия и устойчивости. Так, они обильно прослаивают книгу «Идеи» («Легран»), о которой Блок говорит, что «манера поэта доведена в ней до совершенства»; прибавим — и до крайнего выра-

жения (это — отнюдь не упрек). Здесь мы увидим ту же тонкость линий и простую яркость красок, которая запомнилась нам в соответственных местах его стихов.

«О, там есть прекрасная страна, полная прелести и солнечного сияния! В голубых волнах отражаются гористые берега с развалинами замков, лесами и старинными городами. Там, летним вечером, сидят перед дверьми своих домов горожане, пьют из больших кружек и дружески болтают о том, что вино, слава богу, будет удачное, что суды должны быть непременно гласными, а г-жа Мария-Антуанетта гильотинирована ни за что, ни про что, что акциз сильно удорожил табак, что все люди равны и что Геррес — ловкий парень».

(«Илеи»)

«Это была коренастая женщина с очень большим круглым животом и очень маленькой круглой головой. Красные щеки, голубые глазки, розы и фиалки. Часами сидели мы вместе в саду и пили чай из настоящих китайских фарфоровых чашек. Это был прекрасный сад. Треугольные и четырехугольные грядки, симметрично усеянные золотым песком, кинноварью и маленькими блестящими раковинами. Стволы деревьев, красиво окрашенные в красный и синий цвет. Медные клетки, полные канареек. Драгоценнейшие луковичные растения в пестро-расцвеченных глазированных горшках. Искусно подстриженный тисс, образовывавший обелиски, пирамиды, вазы и фигуры животных. Тут стоял также зеленый бык из подстриженного тисса, который глядел на меня почти с ревностью, когда я ее обнимал, милую хозяйку «Красной коровы».

(«Мемуары Шнабелевопского»)

«Уже при первом ударе его смычка кулисы вокруг него изменились; он вдруг очутился со своим пюпитром в приветливой комнате, весело и беспорядочно

убранной, с вычурной мебелью во вкусе Помпадур всюду маленькие зеркала, позолоченные амурчики китайский фарфор, премилый хаос лент, цветочных гирлянд, белых перчаток, порванных кружев, фальшивого жемчуга, диадем из позолоченной жести и прочей театральной мишуры, какую можно обычно найти в студии примадонны. Внешность Паганини тоже изменилась, и притом в самую выгодную сторону: на нем были короткие панталоны из лилового атласа, вышитый серебром белый жилет, кафтан из голубого бархата с обшитыми золотом пуговицами; и заботливо, мелкими кудряшками завитые волосы окружали его лицо, которое совсем юношески цвело румянцем и светилось от нежности, когда он взглядывал на хорошенькую дамочку, стоявшую возле него у пюпитра с нотами».

(«Флорентийские ночи»)

«В то время государи не были такими мучениками, как теперь, и корона прочно держалась на их головах, а на ночь они надевали поверх нее колпак и спали спокойно, у ног их спокойно спали народы и, просыпаясь утром, говорили: «С добрым утром, отец!», на что те отвечали: «С добрым утром, милые дети!» Но внезапно это изменилось: когда в одно прекрасное утро мы проснулись в Дюссельдорфе и хотели произнести: «С добрым утром, отец», оказалось, что отец уехал, и по всему городу царила тупая угнетенность, во всем чувствовалось погребальное настроение, люди молча пробирались на рынок и читали длинную бумагу, прибитую на дверях ратуши. Погода была пасмурная, но тощий портной Килиан все-таки стоял в своей нанковой куртке, которую носил в другое время лишь дома; синие шерстяные чулки спустились вниз настолько, что печально выглядели голые ножки, и узкие губы его дрожали, пока он бормотал про себя содержание прибитого к двери плаката: Старый пфальцский инвалид читал несколько

громче, и при некоторых словах светлая слеза скатывалась на его седые почтенные усы. Я стоял рядом, плакал вместе с ним и спрашивал: «О чем мы плачем?» И он ответил: «Курфюрст изволит благодарить». Затем он читал дальше и при словах «за выказанную верноподданническую преданность» и «освобождаем вас от ваших обязанностей» заплакал еще сильнее. Странно видеть, когда внезапно начинает плакать такой старый мужчина в поношенной военной форме, с изрубленным солдатским лицом. В то время, как мы читали, на ратуше был убран герб курфюрста, все приняло такой устрашающе пустынный облик, казалось, ожидается солнечное затмение, господа городские советники ходили с таким отставным видом и так медленно, даже всемогущий уличный надзиратель похож был на человека, которому нечего приказывать, и стоял так равнодушно-мирно, несмотря на то, что сумасшедший Алоизий стал опять на одну ногу и с дурацкой гримасой гнусавил имена французских генералов, а пьяный, кривой Гумперц валялся в канаве и пел — «*Ça ira, ça ira*».

(«Идеи»)

Стиль этих отрывков действительно простой. Фраза скромна и не нарядна. Метафоры и сравнения редки или вовсе отсутствуют. Эпитеты определяют цвет, материал, точную форму, — ощутимые и существенные свойства вещей. Автор как бы остерегается приносить в них что-нибудь от себя. Обычный лиризм его прозы здесь исчезает, по крайней мере лиризм видимый, и хотя богатство интонаций, свойственное Гейне, сохранилось, но антитезы приглушены, остроты реже. Гейне на время отступает назад, чтобы дать резче выступить вызванному им образу, созданной им картине.

И все же эта простая, предметная, существенная проза не похожа на пушкинскую или гетевскую. Прежде всего — необыкновенной, гиперболизированной яркостью и четкостью деталей. Это несколько в роде того, как если бы на

окружающее смотреть через чечевицу: уменьшенный образ мира, где краски и предметы стеснены на небольшом пространстве, поражает нас удивительной яркостью, какой мы сами не замечали в нем. Перед нами иногда техника миниатюриста. Вместо того, чтобы — как это мы видели прежде — приковать наше внимание к одной-двум характерным и резким деталям, Гейне подбирает целый ряд мелких и красочных подробностей, выписанных с замечательной тщательностью, чистотой и тонкостью. Так делают миниатюристы, так работают у нас, например, палешане. Я говорю *подбирает*, потому что принцип отбора — и очень характерного — сохраняется и здесь в полной мере: «рисунок» Гейне никогда не впадает в натурализм. Я говорю — *красочные*, и это не метафора — потому что у Гейне необычайное пристрастие в передаче краски, цвета. Вспомним голландский садик с его красными и синими деревьями, золотым песком и киноварью клумб, пестрыми глазированными горшками цветов, блеском раковин и фарфора, этот игрушечный садик, где Шнабелевопский обнимает хозяйку «Красной коровы», похожую на сказочную фарфоровую куклу, и она томно вздыхает: «Мингер!..» Фарфоровый чайный сервиз — фарфоровая хозяйка! «Красная корова» и зеленый бык из тисса! Наши конструктивисты сказали бы, что Гейне применяет «локальный метод».

Но смысл гейневской красочности не декоративный, не самодовлеющий. Деталь его отличается свойствами, несовместимыми с декоративностью: она вещественна и реалистична. Рассказчик из «Флорентийских ночей» грезит под игру Паганини. Возникает гостиная примадонны, где скоро скрипач убьет спрятавшегося аббата. Смотрите, какую четкую предметность, какую несомненность получает эта греза под пером Гейне! На Паганини голубой бархатный кафтан с *пуговицами, обшитыми золотом*; его волосы завиты в *мелкие кудри*; на вычурной мебели валяются *белые перчатки и разорванные кружева*. Эта подробность, резкая точность, «нечаянность» детали должны нас убедить в полной реальности видения, дать ощупать его руками. Оно непреднамеренно и непровержимо, как жизнь, но оно ярче жизни.

Смысл подчеркнутой гейневской красочности и необычайно четкого реализма рисунка открывается нам тогда, когда мы воспринимаем его миниатюры на фоне окружающего их текучего и взволнованного лиризма, где образы появляются, исчезают, переходят один в другой, меняя формы и очертания. Им нужна эта сгущенность жизни и красок для того, чтобы в вихре движения утвердить свою несомненность, чтобы врезаться в память. В связанном рассказе с длительным дыханием, где реалистическая установка дана уже с самого начала, можно обойтись и более разжиженными красками и не столь заостренной деталью. Но здесь, в этих коротких сценах, в этих «видениях», появляющихся на миг, они необходимы. И легко понять разницу между манерой Гете, который ведь тоже пользуется большим количеством подробностей, и принципом гейневских «миниатур». Гете подбирает «благородную» и умеренную «гамму» деталей. Он неторопливо выписывает каждую из них, не заостряя и не преувеличивая. Он старается расположить их так, чтобы создать гармоническое впечатление. У Гейне другие темпы — и другой темперамент. Его деталь должна быть коротка и разяща. Его «гамма» — беспокойна и контрастна. Короткие сцены Гейне скорее напоминают иные места у Э. Т. А. Гофмана, который и вообще-то оказал на него заметное влияние.

Но есть в реалистических сценах у Гейне и другая манера, отличная от миниатюристской живописи. В ней написан, например, цитированный отрывок об отречении курфюрста. Она свободнее по интонациям, шире и иначе пользуется деталями: автор действует здесь не совокупностью искусно подобранных мелких, острых и красочных черточек, а отбирает две-три «решающие», характерные подробности и дает их «крупным планом». Это относится не к первым строкам отрывка, где говорится о монархах и добром утре. Тут перед нами не реалистическая деталь, а лишь своеобразно построенная метафора (как, в сущности, метафорой, только овеященной, «вложенной» в обстановку, является и стриженный из тисса и ревнивый бык); вместо того, чтобы сказать: власть немецких князьков донаполеоновской эпохи

была прочна и «патриархальна», Гейне натягивает на их короны ночной колпак и заставляет их обмениваться с подданными утренними приветствиями. Это, конечно, куда острее и выразительнее простой констатации, но принадлежит целиком еще к «образной», а не «простой» манере. Нет, я говорю о деталях иного рода: у портного Килиана спускаются синие шерстяные чулки, открывая голые ноги. Роль этой детали понятна: Килиан выбежал как был, он не помнит себя от возбуждения и не обращает внимания на свой костюм; если благонравный немецкий обыватель вышел на улицу со спущенными чулками, значит действительно настали последние, апокалиптические времена. Но этим значение нашей детали не исчерпывается; серые чулки Килиана свяжут нас с реальностью выплывшей из глубины детства картины, сделают это воспоминание как бы нашим собственным. Существенна здесь не только характерность детали, но и ее (пусть даже лишь кажущаяся) непреднамеренность, которая одна способна убедить в подлинности изображенного. Отныне вторжение Наполеона в Германию цехов и курфюрстов срастается для нас со спущенными шерстяными чулками потрясенного портного, который читает дрожащими губами акт об отречении монарха. Чулки эти станут как бы символом, как в символ перерастает разительная и показанная крупным планом деталь, которую мы увидели на экране.

Точно так же не трудно объяснить, почему Гейне вывел сумасшедшего Алоизия, повторяющего имена французских генералов, или пьяного Гумперца, горланящего карманьолу. Ими высказывается открыто та мысль, которая еще бессознательно дремлет в уме у большинства обывателей. Пьяный забулдыга и сумасшедший говорят то, что боятся еще подумать остальные. Завтра будет открыто ликовать весь Дюссельдорф. Но то, что Алоизий *гнусавит* и что Гумперц *кривой и валяется в канаве*, это уже выход за пределы *необходимой* характерности в «непреднамеренность». Так всегда бывает у больших писателей: конструктивная функция детали является у них как бы побочным и «нечаянным» ее следствием.

Детали держат на себе «простую» прозу Гейне. Сквозь них пробивается ее приглушенный эмоциональный тон. В нашем отрывке это — ощущение катастрофы, обвала старой жизни, неизведанности будущего. Оно — в «устрашающе-пустынном облике» города, в том, что словно «ожидается солнечное затмение», в комической растерянности городских советников и всемогущего уличного надзирателя. Инвалид плачет, и среди уныния и растерянности гнусавление Алоизия и карманьола пьяного Гумперца звучат фантастично и странно. Это — кризис перед освобождением, преодоление последних страхов. Гейне, верный своей сдержанности в реалистических сценах, рисует его, сравнительно со своей обычной лирической манерой, блекло, в полутонах. Но это чувство катастрофичности, несколько комически окрашенное, ему необходимо передать с возможнейшей яркостью — хотя бы для того, чтобы оттенить завтрашний сияющий день, когда все вчерашние детали получают другое значение. И вот он с гениальной легкостью переводит всю сцену в иной, фантастический план:

«А я пошел домой, плакал и скорбел: «Курфюрст изволит благодарить». Мать уговаривала меня, но я знал, что знал, и не дал уговорить себя, с плачем улегся в постель, и во сне увидел, что пришел конец свету, прекрасные, цветущие сады и зеленые луга убраны были с земли и скатаны, как ковры, уличный надзиратель взобрался по высокой лестнице и снял с неба солнце, портной Килиан стоял тут же и говорил про себя: «Надо сходить домой и одеться получше, ведь, я умер, и уже сегодня должны быть мои похороны». И становилось все темнее и темнее, скудно мерцали вверху звезды, но и они попадали, как осенью желтые листья, понемногу исчезли люди, и я, бедный ребенок, боязливо блуждал взад и вперед; наконец я остановился у ивового плетня какого-то опустевшего крестьянского двора и увидел человека, рывшего землю лопатой; рядом с ним стояла безобразная, злобная женщина, державшая в фартуке что-то в роде

отрубленной человеческой головы, — это была луна; женщина с боязливой озабоченностью уложила луну в открытую яму, а за мной стоял пфальцский инвалид и, всхлипывая, читал по складам: «Курфюрст изволит благодарить».

Перевод в иной план произведен посредством сна, — излюбленный прием Гейне, который мы неоднократно встретим у него в лирике, в поэме «Германия» и т. д. Страх, наполовину осознанный днем, здесь принимает грандиозную, гиперболическую форму, где его полускрытое содержание выявляется с гротескной отчетливостью. Оно озарено намеком на гильотину, данным в образе луны, похожей на отрубленную человеческую голову, которую хоронят как останки казненного. Самый сон исполнен мощной и фантастической образности: мир дневной действительности, который скатывается как ковер (образ, впоследствии повторенный Тютчевым), звезды, опадающие словно осенние листья, и этот ребенок, что остается один в опустевшей и разрушенной вселенной, апокалиптической вселенной последних дней, — трудно сказать сильнее и разительнее. Но эта фантастика могла бы все же показаться вычурной, если бы в ней не сохранялся иронический привкус, возникающий от контраста между грандиозной «апокалиптической» образностью и жалкой гибелью мелкокняжеской и бессильной немецкой деспотии. Намек о гильотине подчеркивается сопоставлением отрубленной головы с именем курфюрста: женщина укладывает луну в яму, а инвалид, *всхлипывая*, читает: «Курфюрст изволит благодарить». Этим образ отрубленной головы переводится из трагического ряда в комический, и открывается возможность иного эмоционального осмысливания, развернутого в последующих главах о барабанщике Легран, который барабанит «красный марш гильотины» и увлекает мальчика Гейне этим «удивительным маршем».

Снена сна является осуществлением потребности Гейне дополнить метафорически и гиперболично то, что уже сказано реалистически и просто. Она есть замена или другое

выражение его образно-лирической манеры. И сопоставление этих двух соседствующих отрывков, написанных в разных манерах и не имеющих законченного *художественного* смысла один без другого, показывает, что оба «стиля» Гейне существуют как поэтическая данность лишь в зависимости друг от друга. Самое ощущение поэтичности возникает от их чередования. Ни один из них в отдельности не дает полностью того эффекта, который называют «гейневским» и который составляет отличительную особенность нашего писателя. Поэтому нельзя, подобно Лёгга, принимать одного Гейне и отвергать другого. Они — единство. И осторожное стиливое отцеживание Гейне, эти попытки буржуазной критики получить чистейший дистиллат его музыкальной «простоты», отбросив «мутный» осадок взволнованной и страстной «восточной» образности, попытки, в основе которых — желание отделить Гейне — интимного поэта от Гейне — борца и полемиста, обречены на неудачу.

7

Вряд ли какая-нибудь черта так поражает читателя у Гейне, как его остроумие. Брандес называет его «самым остроумным из людей, живших когда-либо на свете, и во всяком случае самым остроумным из людей новой истории».

Но тема о гейневском остроумии, как и об остроумии вообще, настолько обширна и так далеко выходит за пределы характеристики его прозы, что не имеет смысла затрагивать ее здесь в целом, и я остановлюсь лишь на нескольких отдельных положениях.

Первое из положений, которое я имею в виду, это огромное место, которое остроумие (или даже *уже*: *острота*) занимает в арсенале гейневских средств воздействия. Положение это не требует доказательств, так как слишком очевидно: достаточно прочесть любую страницу Гейне, чтобы убедиться в его правильности. Менее очевидна, но не менее важная другая особенность, на которую указал еще Теофиль Готье:

«У Генриха Гейне остроумие не мешает поэзии, оно возникает из нее самой; юмор не душил лирического восприятия. Раблэ не наносит ущерба Гете. Обычно остроумие убивает поэзию... и Вольтер, остроумнейший человек из когда-либо существовавших, не сумел сочинить ни одной сносной оды. Остроумие Гейне часто вырастает во внешность вещей и слов; если позволено такое выражение, я бы сказал: это — материальное остроумие... Его выдумка живописна, чем выдумка остроумия не может обычно похвалиться, а его сарказмы одеты в парчевые одежды».

Впаянность гейневской остроты в систему его лиризма и образности действительно замечательна. Острота у него часто возникает из образного сравнения, и этот промежуточный тип полуостроты, полуметафоры, где острота как будто еще не выделилась из поэтической ткани, является, быть может, самым показательным для ее характера и происхождения. Гейне пишет про бородавку, что она сидела на носу, как одетая в красную куртку мартышка на спине верблюда. О наружности Масмана он замечает: «На эту переднюю сторону головы, которая выдавала себя за лицо, богиня пошлости наложила свое клеймо, притом с такой силой, что почти расплющила нос». Субъективизм философии Фихте он сравнивает с действиями обезьяны, которая сидит у очага и варит в медном котле свой собственный хвост, ибо думает, что подлинное искусство варки состоит не в том, чтобы только объективно варить, но также в том, чтобы осознать варку субъективно. Тут перед нами разные степени перехода сравнения в собственно остроту. Это наглядная иллюстрация мысли Теофиля Готье, что остроумие Гейне вырастает из поэзии и срачивается с внешней формой вещей, становясь как бы материальным, вещественным. Нужно еще очень немного, чтобы остроумное сравнение, подобное приведенным, превратилось в остроту в собственном смысле. Так Гейне, соглашаясь со словами Эккермана, автора «Разговоров Гете» и слепого почитателя поэта, что если бы бог, создавая мир, обратился к Гете с просьбой,

чтобы он доделал за него оставшуюся «безделицу» — птиц и деревья, то великий реалист Гете сотворил бы их так, как они существуют в действительности: птиц с перьями, а деревья зелеными, — но прибавляет, что Гете иной раз сделал бы свое дело лучше, чем сам господь бог, и господина Эккермана создал бы, например, как нужно: с перьями и тоже зеленым (иначе говоря, попугаем). Про толстого миллионера он замечает, что скорее верблюд войдет в царство небесное, чем этот человек в игольное ушко (тут комбинированный эффект: вывернутого наизнанку изречения, кажущейся бессмыслицы и резкой зрительной наглядности). Об итальянских богородицах он пишет: «Сквозь благочестиво опущенные ресницы иной мадонны пробивается такой плутовской и нежный взгляд, словно она непрочь подарить нас еще одним младенцем Христом».

Один из молодых немецких исследователей Ф. Маркус произвел подробное сравнение Гейне с Жан-Полем (Рихтером). Из исследования этого, в числе прочего, следует, что в форме своего остроумия Гейне исходит от Жан-Поля, у которого имеются в «сыром» виде, в виде руды, многие гейневские особенности. Побочный вывод отсюда, которого сам Маркус, впрочем, не делает, что неправильна обычная оценка гейневского остроумия, как «французского», «парижского»: выросшее из «причудливостей» Жан-Поля и романтиков (Брентано), оно, в своих характерных свойствах, — продукт немецкой литературной почвы. Теофиль Готье это отчасти понимал, когда выводил его поэтичность из шеллинговского пантеизма («это вытекает из пантеистического учения, которое делает, в его глазах, ящерицу и профессора правоведения одинаково достойными изображения и шутки»). Но именно сравнение Жан-Поля с Гейне показывает, какая огромная разница между рудой и металлом, между гелертерскими причудами «смутного полигистора из Байрейта» (выражение Гейне) и блестящим остроумием автора «Путевых картин» и «Лютеции». Жан-Поль бывает иногда остер, нередко забавен, мы находим у него то, что так пленяет нас в Гейне: смелость сближений, яркую и парадоксальную образность, необычные

контрасты, но здесь нас это не пленяет, ибо затейливость и начитанность убивают непосредственность эффекта; нам трудно смеяться, когда он сравнивает своего героя с большим жаворонком, которому ставят клистир посредством намазанной маслом вязальной спицы: это слишком сложно и надуманно. У Гейне все заострено, лишнее отброшено, линия проще и смелее и целиком устремлена к решающему и конечному эффекту, к «пуанте» остроты. Но Маркус показывает и иную, пожалуй, еще более важную особенность, которую может объяснить пример. У одной из знаменитых острот Гейне имеется своя предшественница, почти двойник. Жан-Поль пишет: «Я учился в городе, который прежде составлял самых великих юристов, а теперь самых маленьких собак, — в Болонье: два совершенно разных вида postavок». У Гейне: «Оба университета отличаются тем простым обстоятельством, что в Болонье самые маленькие собаки и самые большие ученые, а в Геттингене наоборот, самые маленькие ученые и самые большие собаки». Это — почти одно и то же, но в этом почти гигантская разница. У Жан-Поля довольно невинная, довольно смешная, но абстрактная острота, — абстрактная потому, что не затрагивает ничего такого, что близко касается Жан-Поля и его читателей; в ней указаны время и место, тем не менее общественно-политически она вне времени и пространства. Острота Гейне злободневна, актуальна, сатирична. Сопоставлением Болоньи с Геттингеном, одним из центров университетской науки и умственного движения тогдашней Германии, Гейне сразу переводит «академическую» остроту в план злободневной современности, «оттачивает ее острие». Это типично для Гейне и его юмора. Это — закон его остроумия, закон, который мы можем проследить и констатировать во всех его произведениях. Здесь причина того, что остроумие Гейне получило такой общественный резонанс и оказало такое воздействие, которое было не под силу домашнему ученому и абстрактному остроумию Жан-Поля, а тем более романтиков. Гейне одновременно и общественно-заостренное, и острее, изящнее, отточеннее, как художник. Маркус, которому очень хочется реабилитировать позабытого Жан-

Поля, не раз вынужден горестно заметить, что вот — снова у Гейне — острота, а у Жан-Поля на руках одна ученость. Ему бы не следовало огорчаться: «байрейтский полигистор» достаточно выполнил свою историческую роль уже тем, что из его «школы» вышли Гейне и Берне.

Остроумие Гейне характеризуется таким образом двумя основными особенностями: «поэтичностью» и резкой злободневно-сатирической направленностью. Если уж «поэтичность» остроты сама по себе казалась чем-то невозможным, парадоксальным, «квадратурой круга», жареным льдом, то соединение в одно таких двух, видимо, несовместимых качеств как поэзия остроумия и его злая сатирическая злободневность, должны были вызвать живую реакцию возмущения у обладателей деликатных ушей. Возмущение было тем более сильным, что остроумие Гейне действительно беспощадно в своих выпадах. Когда он мимоходом замечает: «один из высокоценимых членов местной консистории, — его оценивают в тридцать миллионов франков», — то это забавно, это неожиданно, но не очень зло. Но когда он пишет про реакционера Ярке: «Он тогда был еще не австрийским советником, но всего лишь его прусской противоположностью», а по-немецки «противоположностью» советнику (Rat) будет Unrat — дерьмо, то такая характеристика выходит за пределы «допустимого» в «хорошем» литературном обществе. А это — его самая обычная и частая манера выражаться; необычайная и такая естественная грация выражения делает подобные «дерзости» вдвойне «невыносимыми», и подобные характеристики совершенно убийственными. Об одной литературной даме он говорит следующее: она похожа на Венеру Медицейскую: она почти так же стара, как та, так же лишена зубов, и щеки ее, когда она побреется, отличаются такой же гладкостью, как щеки Венеры. Представьте себе, что подобного рода острота перенесена в политическую область, направлена в политического врага, и вы получите некоторое понятие о «безудержности» его выступлений против прусского короля, против Платена, против Шлегелей, против «тевтонских патриотов», Масмана и Яна. В прусском короле он оттеняет не только то, что имеет

или может иметь отношение к политике: он дурацкая по-
месь крайностей своего времени, просвещенный обскурант,
равно восторгающийся кнутом и Софоклом, ни рыба, ни
мясо, и если вчера он шел вперед, то сегодня пятится на-
зад, — нет, он подчеркивает и такие «приватные» черты
поклонника кнута и Софокла, как его неумеренная склон-
ность к вину и импотенция: желая сравняться с Алексан-
дром Македонским, он начинает с того, чем кончил великий
завоеватель, — с пьянства, и в пьяных мечтах видит нищих
своей страны в шелку и бархате, себя — почти мужчиной,
а свою жену беременной. Людвиг Баварский, покровитель
искусств и незадачливый поэт, прогуливается у него в своей
картинной галлерее, словно евнух в серале, и когда он на-
чинает сочинять стихи, Аполлон падает перед ним на колени
и умоляет: «Перестань, не то я сойду с ума!» Шлегель всена-
родно высечен, как создатель реакционной литературной
школы, и тут же, для характеристики его интимных обстоя-
тельств, рассказан миф об Озирисе, растерзанном Тифоном и
собранном по кусочкам Изидой: она не нашла лишь одного
куска, без которого семейная жизнь оказалась бесплодной.
Профессора филологии и сторонника старогерманской само-
бытности, Масмана, он заставляет обходиться без мыла и
щетки, а жену его — спрашивать издевательски: «Почему
ты меня не понимаешь? Ведь я говорю не по-латыни!»
(острота, использованная впоследствии Анатолем Франсом).

Подобные выпады оскорбляют мягкосердечных людей,
в роде Лёгга. Они соглашались с тем, что политическая ха-
рактеристика прусского короля замечательна своей мет-
костью и чрезвычайно справедлива. Но зачем, спрашивают
они, не остался Гейне в пределах политической сатиры?
Зачем нужно было ему затрагивать такие чисто личные
особенности, которые заслуживают скорее сострадания, чем
издеательства? И это кажется на первый взгляд правиль-
ным: стоило ли извлекать на свет божий, стоило ли так же-
стоко наказывать тайные позоры супружеской жизни и
самолюбивые претензии незадачливых поэтов?

Но люди, которые говорят так, забывают или не хотят
понять, что Гейне ведет здесь не учтивую светскую беседу.

в кругу приятелей, а жестокую политическую борьбу. Конечно, многое делалось им зря: не к чему было задевать мужскую честь Шлегеля и женскую честь подруги Берне, не зачем было расправляться с Платеном при помощи сомнительных или, скажем прямо, грязноватых средств; все это отдает личной мстительностью и порой лишено всякого основания. Хотя и здесь два обстоятельства отчасти оправдывают Гейне: он только отвечал на нападки, которые производились тоже далеко не по-рыцарски, и он делал свое дело с таким блеском остроумия и поэзии, что это одно заставляет забывать о его запальчивой неразборчивости в средствах. Гейне действует в стране, которая начинает только пробуждаться к политической жизни. Он старается подорвать уважение к власти в народе, скованном, как ни один другой, вековой привычкой к послушанию и раболепству, видящем в каждом из своих тридцати шести государей помазанника божия и священную особу. И для этой цели дискредитации освященного деспотизма, для того, чтобы отучить массы от верноподданнического холопства, — и допустимо и нужно говорить о короле, представляющемся обывателю в ореоле мудрости и государственных добродетелей, не только как о поклоннике кнута и Софокла, но и как о вульгарном пьянице. Кроме того, следует принять во внимание, что каждая сатирическая подробность имеет тенденцию превращаться в символическую. Поэтому, когда Гейне говорит об импотенции прусского короля, то это остается не только компрометирующей монаршее достоинство деталью, но и звучит как намек на бессилие и бесплодие политического режима.

Но неприятие гейневского остроумия, о котором я говорил, обуславливается не только его беспощадной и часто лично окрашенной резкостью. «Прекрасные души» страдают от гейневского издевательства. «Изысканные натуры» — от «грубости», от «вульгарности», свойственной остроумию вообще. Пусть сарказмы Гейне одеты в парчевые одежды, говорят они. — Зачем было употреблять парчу на эти цели? Разве это ее назначение? Зачем тратить столько изобретательности, усилий, таланта на соединение вещей, которые

все равно несоединимы? Зачем покрывать поэзией грубость личных выпадов и циничское угождение толпе, называемое остроумием? — Это аристократическое отвращение от остроумия явилось одной из причин неприязни к Гейне большинства русских символистов. Те немногие, которые его любили и «жили» им, как Блок, прошли мимо сатирической струи в Гейне. Доброжелательные французы конца прошлого века тоже постарались создать для себя такого Гейне, из которого остроумие было бы по возможности исключено. И даже Теофиль Готье, написавший такие прекрасные слова о его «юморе» и «сарказмах», говорит, что если срезать с одежды его поэзии бубенцы, то она будет пригодна для самого Аполлона, в качестве «праздничного платья». Значит, с бубенцами остроумия она для Аполлона не годится, т. е. «сарказмы» являются и для Готье каким-то изъяном в поэзии.

Это не случайно. Понятие о безулыбочном искусстве широко распространено. Флобер ненавидел и не допускал в прозе остроту. Отношение к гейневскому остроумию — это только проявление в частном случае общего закона. Он заключается в том, что чем больше искусство подпадает под власть реакции, чем больше в нем угасают сильные общественные страсти, тем менее склонно оно пользоваться остроумием как орудием. Остроумие исчезает из литературы — в быт, в анекдот или в тот род развлекательного, смешного чтения, который процветал у нас, до революции, в произведениях Аверченко, Тэффи и прочих «цветах невинного юмора».

Самым характерным, в сущности, для гейневского остроумия является его разлитость, его рассеянность по всей поэтической ткани, его впаянность в художественную систему Гейне. Гейне как-то выразился, что добродетель можно практиковать в одиночку, но для порока нужны, по крайней мере, двое. Это применимо и к остроумию. Любовные жалобы можно еще «поверять волнам и звездам», но для остроты необходим слушатель. Остроумие — наиболее «социальное» из литературных средств воздействия. «Чистому» лирику еще мыслимо воображать, будто он выражает

лишь для себя свои одинокие чувства, не думая о толпе, и если предает тиснению и выпускает в свет, то ведь только рукопись, а не сочинение. Мастер, пользующийся остроумием, неизбежно рассчитывает на аудиторию. Никто не должен так ясно, как он, расчислить эффект своих слов, так живо представить своего читателя. Ибо ему точно известна реакция, на которую он рассчитывает и которая одна оправдывает его работу: реакция смеха. Смех — сам по себе, одна из самых социальных эмоций: плачут в одиночку, но смеются вместе. Смех объединяет, и если он поставлен на службу великим общественным страстям, то он объединяет огромные массы. Смех может работать и на пользу реакции, как это было у Аристофана, которого Гейне считал своей ближайшей родней по Аполлону. Но так как Аристофан являлся участником большой общественно-исторической борьбы и должен был обращаться к массовой аудитории (народного театра), то и остроумие его неизбежно приобрело демократический и боевой характер. Сатирическое остроумие почти всегда демократическое и всегда боевое оружие.

Это объясняет нам, почему оно начинает меньше цениться в периоды упадка и застоя, почему его не культивировало искусство символистов и почему буржуазная критика последних десятилетий старается обезвредить Гейне, освободить его от «балласта» остроумия. Но это же показывает, какой общественный смысл имеет такое пропитывание гейневского стиля сатирическими элементами и какую функцию оно несет.

8

Гейне «разорван». Гейне фрагментарен. Гейне лишен единства и какой-либо конструктивной целостности. Его произведения — пестрая смена острот, зарисовок, лирических подъемов и сатирических выпадов, движущийся калейдоскоп, где цветные камешки, так тонко отточенные и так причудливо раскрашенные, прихотливо перемещаются, образуя каждый раз новые фигуры, покорные лишь капризу художника.

Подобные оценки Гейне-прозаика приходится слышать на каждом шагу. Они прочно вошли в литературный обиход и стали общим местом. Трудно найти человека, который писал бы о Гейне и не повторил их. Даже Писарев, так живо и тонко чувствовавший «прелесть» гейневского своеобразия, горько сетует на его «безалаберность», на отсутствие у него цельного «сюжета», на радость, какую испытывает этот «великий виртуоз» — «творить из ничего и разрушать в одну секунду самые яркие образы». Он дает замечательную характеристику этой виртуозной «игры» в мгновенное созидание и разрушение:

«Перед вами стоит живописец. На палитре его горят краски невиданной яркости. Он взмахнул кистью, и через две минуты вам улыбается с полотна или даже со стены прелестная женская физиономия. Еще две минуты — и вместо этой физиономии на вас смотрят демонически-страстные глаза безобразного сатира; еще несколько ударов кисти, и сатир превратился в развесистое дерево; потом пропало дерево, и явилась фарфоровая башня, а под ней китаец на каком-то фантастическом драконе; потом все замазано черной краской, и сам художник оглядывается и смотрит на вас с презрительно-грустной улыбкой. Вы глубоко поражены этой волшеббно-пестрой сменой прелестнейших картин, которые взаимно истребили друг друга и от которых не осталось ничего, кроме безобразно-черного пятна. Вы спрашиваете у художника с почтительным недоумением, зачем он губит свои собственные великолепные создания и зачем он, при своем невероятном таланте, играет и шалит красками вместо того, чтобы приняться за большую и прочную работу.

— Нечего работать, — отвечает вам художник.

Вы этого ответа не понимаете и просите дальнейших объяснений.

— Нет сюжетов, — поясняет художник».

Дальше оказывается, что нет сюжетов, потому что обмельчавшая жизнь не дает их или дает такие, за которые «титану», подобному Гейне, не стоит браться. Писарев таким образом понимает гейневскую «бесформенность» несколько иначе, чем большинство его критиков. Причину ее он видит не в личной неспособности Гейне к архитектонике, а в каких-то вне поэта лежащих общественно-исторических условиях, не дававших ему возможности проявить себя как следует. Прав ли Писарев в своем объяснении, было ли действительно здесь причиной отсутствие социально-значимых сюжетов — вопрос другой. Но самый тип его объяснения несравненно выше, чем то, что приводит в качестве мотива другие критики, включая Брандеса. Видеть причину композиционного своеобразия Гейне (потому что «разорванность» — тоже композиционный принцип, осознанный или неосознанный), видеть эту причину в его неспособности к простой беллетристической конструкции или к связному изложению мыслей, которые без труда даются самому посредственному писателю и любому третьесортному журналисту, — смешно и несерьезно. Если Гейне отказался от сюжетной и связной манеры, то оттого, что эта манера не подходила для нового содержания, которое он нес с собой, или не соответствовала тому представлению об искусстве, о художественной прозе и ее задачах, какое у него сложилось.

Но значит ли это, что утверждения о гейневской «разорванности» неверны? Нет, несколько. Гейне действительно не создал законченных новеллистических конструкций и не излагал своих мыслей с методической последовательностью. Мы не знаем у него, за исключением разве «Баха-рахского раввина», ни одного произведения с последовательно проведенной фабулой, с цельным сюжетом, да и просто крепко-построенного, композиционно-уравновешенного, внутренне-замкнутого, как система. Они бессюжетны. Более того — они мозаичны, составлены из разнородных кусков: или нет, это определение не подходит — оно не передает их внутренней подвижности, текучести, изменчивости. Это — огромный поток мысли, где одна форма

переходит в другую, и все стремится вперед, поток, который непрерывно рождает новые ассоциации, сцепления, образы. Это похоже на то, что говорил Писарев. Но Писарев, уловив форму гейневской прозы, не заметил ее закона. Она бессюжетна, но не бесструктурна. Она лишена конструктивной целостности, но не единства. Она причудлива, но не бессмысленна. Если Писарев говорит о ее «бессмыслице», то это потому, что он подходит к ней с мерилom смысла, чуждого ей и привнесенного извне, а не старается понять тот, который заложен в ней в качестве ее принципа. Книга «Идеи», характернейшая из «Путевых картин», оказывается для него огромным недоразумением, путаницей бесвязных и бессодержательных арабесок, хаосом, который искупают только «молнии» глав о Дюссельдорфе и о дураках. Он останавливается в недоумении перед намеками о графе Гангесском, перед отрывками недосказанной истории о любви к маленькой Веронике, перед лирическими уводами в сторону. Он готов счесть все это колоссальной мистификацией, иронической и грустной насмешкой автора-«титана» над читателем. И действительно, с точки зрения *линейного* смысла, который требует, чтобы в каждой последующей главе находилось продолжение предыдущей, чтобы все было расставлено по местам с величайшей отчетливостью, и служебная роль каждой подробности была бы сразу ясна и раскрыта, с отвлеченной точки зрения читателя другой эпохи, который имеет перед собой текст, считается только с ним и не собирается проникнуть в условия времени, когда он был создан, и литературной обстановки, где он сложился, гейневская проза может показаться мистификацией. Но если б Писарев попробовал понять «дух» эпохи и литературную атмосферу, в которой эта проза возникла, он увидел бы, что в ней гораздо меньше «бессмыслицы», чем ему кажется. Поэзия Индии и представление о взаимозависимости всех вещей, об одухотворенном единстве мира, о таинственном родстве, связывающем самые отдаленные пределы живого, — всем этим жило или теплилось время романтизма, создавшее и Гейне и его публику; отсюда — причудливое переодевание в «графа Гангесского»

(полуироническое, потому что Гейне уже преодолевает романтику), отсюда «воспоминания» об индийской «родине», отсюда «очарованный соловей», что «сидит на красном коралловом дереве среди Тихого океана и поет песню о любви моих предков». Точно так же из вкусов эпохи выросла и загадочная, полная умолчаний любовная история, составляющая одну из двух главных линий книги, история, осложненная памятью детского увлечения, так странно перерастающего в более позднюю и трагическую любовь, история, где «загадочны» подробности, но где основа так проста и элементарна: «она была достойна любви, и он любил ее; но он не был достоин и любви, и она не любила его»: это тот же несложный сюжет, что составил содержание «Книги песен». Для читателя двадцатых годов все это вовсе не было бессмысленно, он прекрасно понимал намеки о графе Гангесском и восстанавливал воображением недосказанные фрагменты о любви к маленькой Веронике. К таким вещам его приучили романтики и Жан-Поль Рихтер. Они входили в его реквизит поэзии, в то, что он считал «красивым» и «поэтичным» и без чего уже неохотно обходился. Можно считать, что эти особенности, в которых Гейне подчинялся вкусам своей эпохи, устарели — так оно и есть в действительности, и книга «Идеи» — самая блестящая и вдохновенная из его книг, — в то же время самая устарелая, — но никак нельзя было думать, будто, вводя их, Гейне издевался над читателем; наоборот, именно в них он был ему ближе всего.

Таким образом многое из того, что кажется на первый взгляд бессмыслицей и произволом, на деле строго обусловлено и даже традиционно. Самая манера «капризно» смешивать личное с общим, любовь с политикой не была «причудой» Гейне, а литературной чертой целого поколения, пришедшего на смену романтикам. Строение гейневских книг, «беспорядочных» и фрагментарно-пестрых, оказывается при внимательном рассмотрении значительно более мотивированным, чем обычно думают. Мотивировано совмещение личного материала с общественно-политическим, и не только совмещение, но и переплетенность, взаимо-

проникание, чередующаяся пестрота (почему — мы увидим в следующих главах). Мотивированы пантеистическая фантастика и фантастика сказочная, ввод мифов и символов, отступления в лирику и биографию. Существует и более тесная закономерность, структурная в собственном смысле: давно уже было замечено, что стихотворные сборники Гейне представляют собой композиционное целое, и раньше Лёгга об этом писал не кто иной, как Писарев, утверждавший, что стихотворения Гейне нельзя давать изолированно, каждое в отдельности, так как, выдернутые из общей связи, они изменяют свой смысл и значение. То же относится и к распорядку материала в прозаических вещах Гейне. Главы в них чередуются, как стихотворения в сборнике, — например, в «Романцero» или в «Книге песен». Гейне подбирает их тщательно — то по контрастам, то продолжая линию начатого рассказа или рассуждения и т. д. Композиционный принцип присутствует и здесь, — только это не сюжетный принцип, а более свободный, «психологический», «вкусовой», скорее принцип подбора, чем построения.

Но есть и иное, более прочное единство, скрепляющее прозу Гейне. О нем правильно говорит исследователь «Путевых картин» Левенталь: «Где связь, которая скрепляет эти отдельные части? — спрашивает он. — Она — во всюду просвечивающей личности автора, или, другими словами: *единство тенденции составляет единство «Путевых картин»*. Слова Левенталья можно распространить на всю прозу Гейне. Правда, нельзя сказать, чтобы тенденции писателя не изменялись на протяжении его литературной деятельности. До начала тридцатых годов, до переезда в Париж, он борется за идеи буржуазной революции, за гражданские свободы, парламентаризм, уничтожение сословных привилегий и т. д. После июльских дней, приглядываясь к водовороту общественной жизни Парижа, он начинает понимать важность социальных проблем. Политические вопросы отступают для него на второй план. Он сближается с сенсимонистами. Но, в отличие от них, он понимает, что раскрепощение «самого многочисленного, трудолюбивого и обездоленного класса» не может быть произведено путем

уговаривания капиталистов и расчета на их филантропические чувства, а потребует насильственной и кровавой революции. Он разочаровывается в распадающемся сен-симонизме и начинает видеть силу будущего в коммунистах. Его отношение к ним двойственно. Он тянется к ним, признает их правоту, их неизбежную победу, он пишет иногда почти социалистические вещи — «Ткачи», «Германия», но он боится, что, победив, они уничтожат красоту, искусство, непринужденную прелесть жизни, и все заменят серой и уравнилельной полезностью. Он так и не выходит из этой дилеммы — приятия-стригания, но даже в минуты самых злых сомнений утверждает, что коммунисты правы и что будущее за ними. После 1848 года, замурованный в своей «матрачной могиле», парализованный и одинокий, он делает попытку пересмотреть свое «безбожное» прошлое, найти утешение в религии, уверяет себя и других, будто вернулся к «вере своих отцов», перестает заниматься политикой и общественной жизнью — или, во всяком случае, занимается ими не так, как прежде, — и отдает, как и в молодости, все свои силы поэзии. Таким образом взгляды его несколько раз менялись. Больше того — можно привести многочисленные примеры непоследовательности, когда он едва ли не рядом, едва ли не на соседних страницах, делал признания противоположного свойства. Радикал, он порой хвалил монархию, демократ — сторонился «народа», борец против клерикализма — поминал иногда добром иезуитов, а раз даже, поверив словам Тютчева, представил русского самодержца, Николая I, в виде коронованного Робеспьера, насаждающего диктаторской рукой начала революции в своей стране.

И все-таки можно говорить о единстве тенденций в его прозе. Как ни менялись взгляды Гейне, их развитие шло вперед, в смысле исторического движения, по поднимающейся кривой, а когда он перестал развиваться, остановился и попытался вернуться вспять, иссякла и его проза трибуна и общественника. После 1848 года уже почти ничего значительного в прозе Гейне не дал: «Признания» и балет «Доктор Фауст» — вот все, что он создал с тех пор

в этой области. Конечно, нельзя вычеркнуть его противоречий, но одни, в роде похвального слова Николаю Палкину, случайны, другие являются лишь кажущимися: Гейне может хвалить и конституционную монархию и республику, потому что не придает большого значения политическим формам (по сравнению с социальными вопросами); третьи — неотъемлемо присущи его писательской, его социальной природе, дают себя знать на всем протяжении его деятельности и входят, хотя и диссонирующим элементом, в единство его облика.

Но единство прозы Гейне — не только в ее тенденциях, в ее содержании, не только в том, что она выражает с необыкновенной силой, хотя и с постоянными колебаниями, передовые, революционные движения своего времени. Ее единство также в ее типе. Она едина, как боевая, воинственная проза, как публицистика, ставшая поэзией, и поэзия, ставшая публицистикой.

9

Очень неоднородная внутри, построенная из фрагментов, из разнородных и пестрых элементов, она чрезвычайно однородна в жанровом отношении. Гейне писал на самые различные темы и с самыми разнообразными установками: мы найдем у него новеллы, мемуары, путевые очерки, политические корреспонденции, книги по литературе и философии, исследования по фольклору, обзоры выставок, отчеты о театральном сезоне, балетные сценарии, памфлеты, рецензии, предисловия. Казалось бы между этими произведениями, принадлежащими к самым несходным родам искусства, должно замечаться сильнейшее жанровое различие. Новеллу нельзя писать как рецензию, путевые очерки — как философский трактат. Мы сейчас отвыкли от типа универсального писателя, берущегося за все виды литературы. Но в гейневскую эпоху и раньше этот тип господствовал. Гете еще многообразнее Гейне. Почти то же надо сказать и о Пушкине. Но у Пушкина, как и у Гете, каждый жанр разрабатывается специфически. Для каждого рода

литературной деятельности они стараются найти ее характерные, «неповторимые» особенности, и эти особенности тщательно соблюдают. Для Гейне показательно обратное: стирание границ между жанрами. Они стираются тематически. Во всех литературных родах он говорит об одном и том же: обо всем, о всей совокупности общественной жизни, преломленной через ярко окрашенное, личное восприятие, сращенной с личной жизнью писателя в одно причудливое целое. Пушкин в путевых очерках описывает страну и ее жителей. В литературных заметках он говорит о литературе. В новелле или романе разворачивает сюжет, рисует характеры, показывает столкновение воли и событий. Он везде строго придерживается резко ограниченной темы. Гейне в «Путевых картинах» меньше всего думает описывать путешествие: оно для него «лишь предлог, который он отбрасывает, как только тот ему становится обременительным» (Левенталь). В политических корреспонденциях он рассуждает о музыке, живописи, литературе, потешается над страстью к саморекламе Мейербера или Спонтини, рассказывает о своих встречах, делает личные выпады. Это еще неудивительно: политические корреспонденции, как и путешествия, — гибкий литературный жанр; уже самая множественность и текучесть впечатлений, на которых он основан, дает возможность заполнять его разнообразнейшим материалом; может быть, потому и любит его так Гейне. Но и с жанрами негибкими он поступает подобным же образом. В «Записках Шнабелевского» он дискутирует о деизме и пантеизме, сатирически живописует торговый Гамбург, где царит не «постыдный дух Макбета», а «дух Банко», излагает повесть о «Летучем голландце», затрагивает десятки вопросов, делает самые неожиданные отступления и повороты, а между тем эти «записки» имеют явно-беллетристическую установку. В новелле «Флорентийские ночи» галлюцинаторно-яркие картины сменяются одна другой, между ними вклиниваются рассуждения о любви, об общежительной вежливости французов, о развитии техники в Англии, превращающем людей в машины, о наполеоновских походах. Книга

«Людвиг Берне» — вероятно, лучшая из гейневских — состоит из воспоминаний, рассуждений, характеристик, лирических уводов в сторону, резких порывов насмешки и грандиозных патетических подъемов; эта причудливая вязь прослоена отрывками из старого дневника, так что к разноплановости смысловой и эмоциональной прибавляется разноплановость во времени. О чем он только ни говорит в своих отчетах о выставках и о французской сцене! Его балетные сценарии исполнены философских мыслей, а философские очерки — филигранной работы фантазии и шутки. Он всегда пипшет «не на тему», потому что его тема шире заглавия, переплескивается через него и продолжается из произведения в произведение, так что все его прозаические вещи — только отдельные главы одного целого, которое не имеет начала и кончается со смертью автора.

Пушкин находит для каждого жанра свой особый способ выражения, свою стилевую специфику. Тон его серьезных статей не тот, что тон пародий. Его публицистическая фраза не та, что фраза его рассказов и романов. В критике он тщательно избегает всякого примешивания субъективно-личного элемента, внесения своих чувств и воспоминаний, игры ассоциаций, колорита, зарисовок. Они написаны четко и плоско, черным по белому. В беллетристике он тоже сдержан — в том смысле, что редко допускает в свое изложение метафоры, сравнения, эксцентрические эпитеты. Но в соответствии с особенностью беллетристики, как чисто «художественной» данности, он ее строит целиком на живой передаче действительности, в ее образах и лицах, только изредка позволяя себе вносить рассуждения от собственного лица. У Гейне — все это смешано: пародия и серьезный тон, «публицистика» и «беллетристика», силлогистический и образный способ выражения. Его фраза всюду одинакова — по установке. Она разнообразна, она много богаче пушкинской. Но она не меняется от одного типа произведений к другому. Потому что ведь и разных типов в сущности в ней нет.

Сравнение может показать, насколько эта разница сильна.

Пушкин

«У нас, в России, государственные звания находятся в таком равновесии, которое предупреждает всякую ревность между ними. Дворянское достоинство в особенности, кажется, ни в ком не может возбуждать неприязненного чувства, ибо доступно каждому. Военная и статская служба, чины университетские легко выводят в оное людей прочих званий. Ежели негодующий на преимущества дворянские неспособен ни к какой службе, ежели он не довольно знающ, чтобы выдержать университетские экзамены, жаловаться ему не на что».

(«О неблагоприятности нападков на дворянство»)

«Баратынский принадлежит к числу отличных наших поэтов. Он у нас оригинален — ибо мыслит. Он был бы оригинален и везде, ибо мыслит по-своему, правильно и независимо, меж тем, как чувствует сильно и глубоко. Гармония его стихов, свежесть слога, живость и точность выражения должны поразить всякого хотя несколько одаренного вкусом, чувством».

(«Баратынский»)

«Страна, по имени столицы своей Горюхиным называемая, занимает на земном шаре 240 десятин. Число жителей простирается до 63 душ. К северу граничит она с деревнями Дериуховом и Перкуховом, коего обитатели бедны, тощи и малорослы, а гордые владельцы преданы воинственному упражнению заячьей охоты. К югу река Сивка отделяет ее от владений карачевских вольных хлебопашцев — соседей беспокойных, известных буйной жестокостью нравов. К западу облегают ее цветущие поля Захарьинские, благоденствующие под властью мудрых и просвещенных помещиков. К востоку примыкает она к диким, необитаемым местам, к непроходимому болоту, где произрастает одна клюква, где раздается лишь однообразное кваканье лягушек».

и где суеверное предание предполагает быть обиталищу некоего беса.

НВ. Сие болото и называется *Бесовским*. Рассказывают, будто бы полоумная пастушка стерегла стадо свиней недалеко от сего уединенного места. Она сделалась беременной и никак не могла удовлетворительно объяснить сего случая. Глас народный обвинил болотного беса, — но сия сказка недостойная внимания историка, и после Нибура непростительно было бы тому верить».

(«История села Горюхина»)

«Луна сияла; все было тихо; топот моей лошади один раздавался в ночном безмолвии. Я ехал долго, не встречая признаков жилья. Наконец, увидел уединенную саклю. Я стал стучаться в дверь. Вышел хозяин. Я попросил воды, сперва по-русски, а потом по-татарски. Он меня не понял. Удивительная беспечность! В тридцати верстах от Тифлиса и на дороге в Персию и Турцию он не знал ни слова ни по-русски, ни по-татарски».

(«Путешествие в Арзрум»)

«Однажды осенью матушка варила в гостиной медовое варенье, а я, облизываясь, смотрел на кипучие пенки. Батюшка у окна читал Придворный Календарь, ежегодно им получаемый. Эта книга имела всегда сильное на него влияние: никогда не перечитывал он ее без особенного участия, и чтение это всегда производило в нем удивительное волнение желчи. Матушка, зная наизусть все его свываи и обычаи, всегда старалась засунуть несчастную книгу как можно подальше, и таким образом Придворный Календарь не попадался ему на глаза иногда по целым месяцам. Зато, когда он случайно его находил, то, бывало, по целым часам не выпускал уже из своих рук. Итак, батюшка читал Придворный Календарь, изредка пожимая плечами и повторяя

вполголоса: «Генерал-поручик!.. Он у меня в роте был сержантом!.. Обоих российских орденов кавалер!.. А давно ли мы?..» Наконец батюшка швырнул календарь на диван, и погрузился в задумчивость, не предвещавшую ничего доброго».

(«Капитанская дочка»)

Гейне.

О немецких государях:

«Наполеон теперь мертв и лежит накрепко запечатанный в своем свинцовом гробу под песками Лонгвуда, на острове Святой Елены. Кругом — море. Его, стало быть, вам нечего бояться. Вам нечего бояться и последних трех богов, которые еще остались на небе, — отца, сына и святого духа, ибо вы хороши с их святой челядью. Вам нечего бояться, ибо вы сильны и мудры. У вас золото и винтовки, и все, что продажно, вы можете купить, и все, что смертно, вы можете убить. Вашей мудрости тоже пельзя противостоять. Каждый из вас — Соломон, и жаль, что нет уже в живых царицы Савской, этой прекрасной женщины: вы бы ее разгадали до последней рубашки... Подобно Соломону, вы понимаете и язык птиц. Вы знаете обо всем, что чирикают и свищут в вашей стране, и если вам не нравится пенье какой-нибудь птицы, то у вас есть большие ножницы, которыми вы подрезаете ей клюв по вашему усмотрению и, как я слышал, вы хотите обзавестись еще большими ножницами для тех, которые поют выше, чем на двадцать печатных листов».

(«Французские дела»)

«Вы думаете, теперь можно расходиться по домам? Ни в коем случае! Будет представлена еще одна пьеса. За трагедией следует фарс. До сих пор Иммануил Кант изображал неумолимого философа, он штурмовал небо, он перебил весь гарнизон, сам верховный владыка небес, не будучи доказан, плавае́т

в своей крови; нет больше ни всеобъемлющего милосердия, ни отеческой любви, ни потустороннего воздаяния за посюстороннюю воздержанность, бессмертие души лежит при последнем издыхании — стоны, хрипы — и старый Лампе *, в качестве удрученного зрителя, стоят рядом с зонтиком под мышкой, и пот от ужаса и слезы льются по его лицу. Тут охватывает жалость Иммануила Канта, и он показывает, что он не только великий философ, но и добрый человек, и он задумывается, и полу-добродушно, полу-иронически говорит: «Старому Лампе нужен бог, иначе бедный человек не будет счастлив, а человек должен быть счастлив на земле. Мне-то что, — ну, пусть практический разум даст поруку в бытии божьем».

(«К истории религии и философии в Германии»)

«Странное разногласие возникло теперь между рассудком и воображением этого писателя. Рассудок Тика — почтенный трезвый обыватель, преклоняющийся перед полезностью и отворачивающийся от восторженности. Фантазия же Тика — все та же рыцарственная красавица, с развевающимися перьями берета и с соколом на руке. Они живут в забавнейшем браке, и печально видеть порой, как бедная высокородная женщина вынуждена помогать своему сухому мещанину мужу по хозяйству или даже в его сырной лавке. Но иногда, по ночам, когда господин супруг спокойно храпит, нагнув бумажный колпак на голову, благородная дама подымается с принудительного брачного ложа, садится на своего белого коня и вновь весело скачет, как некогда в романтическом волшебном лесу».

(«Романтическая школа»)

«Когда жаркое было совсем скверным, мы спорили о бытии божьем. Господь бог имел всегда за

* Слуга Канта,

собой большинство. Только трое из обедающих были настроены атеистически; но и эти давали себя переубедить, если мы получали хоть хороший сыр на десерт. Усерднейшим деистом был маленький Самсон, и когда он спорил о бытии божьем с долговязым Ванпиттером, он впадал порою в крайнее раздражение, бегая взад и вперед по комнате, и все время кричал: «Ей-богу, это непозволительно!» Долговязый Ванпиттер, тощий фриз, чья душа была так же спокойна, как вода в голландском канале, и чьи слова тянулись спокойно, как трешкуут, заимствовал свои доводы из немецкой философии, которой тогда много занимались в Лейдене. Он издевался над ограниченными головами, которые приписывают господу богу отдельное существование, он обвинял их даже в богохульстве, так как они паделяли бога мудростью, справедливостью, любовью и другими человеческими свойствами, которые ему вовсе не подобали» и т. д.

(«Из записок господина фон Шнабелевопского»)

«И вот внезапно отворилась дверь темницы и вошел закутанный в плащ человек; когда он откинул плащ свой, император узнал верного Кунца фон дер Розена, придворного шута. Он — придворный шут — принес ему утешение и совет.

— О, немецкая отчизна! Дорогой немецкий народ! Я твой Кунц фон дер Розен! Человек, чье ремесло собственно — развлекать, тот, который должен был веселить в дни счастья, — он проникает в твою темницу в час невзгоды; здесь, под плащом, я принес с собой твой мощный скипетр и прекрасную корону. Ты не узнаешь меня, мой император? Если я не могу освободить тебя, то я хоть утешу тебя, пусть около тебя будет человек, который и поболтает с тобой о твоём тяжелом горе, и ободрит тебя, любя, — тот, чьи лучшие шутки и лучшая кровь к твоим услугам. Ибо ты, народ мой, — истинный император, истинный владыка над страной, твоя воля — закон... Пусть

ты и лежишь в оковах, — в конце концов победит твое бесспорное право, приблизится час освобождения, начинается новое время, ночь минувла, мой император, и за окном занимается утренняя заря.

— Кунц фон дер Розен, мой шут, ты ошибаешься, ты, может быть, принимаешь блестящий топор за солнце, а утренняя заря — это только кровь?

— Нет, мой император, это — солнце, хотя оно и восходит на Западе, шесть тысячелетий оно восходило на Востоке, пора ему изменить свой ход.

— Кунц фон дер Розен, мой шут, ты потерял бубенчики от своего красного колпака, он теперь какой-то странный, твой красный колпак.

— Ах, мой император, скорбя о вас, я так неистово тряс головой, что дурацкие бубенчики соскочили с колпака, но он не стал от этого хуже.

— Кунц фон дер Розен, мой шут, что это шумит и трещит там, за стеной?

— Тише, это пила и плотничий топор. Скоро упадутся двери вашей темницы, и вы станете свободным, мой император...

— Кунц фон дер Розен, когда я опять буду на свободе, что ты станешь делать?

— Я нашью себе на колпак новые бубенцы.

— А как мне вознаградить тебя за твои услуги?

— Ах, государь, не велите убивать меня!

(«Путевые картины»)

Как меняется интонация и фраза у Пушкина! Обдуманная, рассудительная и старомодно-важная в политической статье, она получает легкую афористическую заостренность в литературной заметке («Он у нас оригинален — ибо мыслит»). Она комически подражает высокому штилю и вялой растянутости классического историографа в пародийной летописи Горюхина. Она мужественна, ударна, коротка и нервна в «Путешествии». Она мягка, иронична, сознательно-наивна, точно-изобразительна в «Капитанской дочке». Каждый раз она гибко изменяется соответственно условиям

жанра и задания. И все это в пределах того же стиля, того же закона существенности. Не зная заглавия и содержания, мы можем с первых же строк угадать, с каким литературным родом мы имеем дело, и сразу же определить, что написано это Пушкиным. У Гейне мы тоже сразу узнаем характерный отпечаток его единственной в своем роде манеры, и, может быть, узнаем даже скорее, чем у Пушкина: его характерность выступает резче, больше бросается в глаза. Но жанра определить мы не сумеем. Гейне пишет везде одинаково, и везде об одном. Правда, это *одно* — огромно и охватывает собой всю жизнь общественного человека. Но Гейне не дифференцирует его по разным литературным родам. У него есть только один литературный жанр. Я привел выдержки из самых различных по задачам и установкам произведений Гейне: тут были и политические корреспонденции («Французские дела»), и работы по философии, и литературная критика («Романтическая школа»), и нечто в роде повести («Записки Шнабелевского»), тут мы сразу сталкивались с могучим, пламенным, образным словом, необычайно богатым интонациями, оттенками, красками, с прозой, которую невозможно читать без волнения, но всюду был один и тот же — в основе — способ выражения, одна установка, одно дыхание. Страницу из «Путевых картин» вы можете легко принять за страницу из «Французских дел», сцену из «Шнабелевского» — за абзац из «Истории религии и философии». Любопытно, что наименее образен и поэтичен как раз отрывок из повести, а исследование о самой «сухой» и абстрактной материи — о философии, написано с наибольшей яркостью. Вы скажете, что это дело подбора? Согласен. Но существенно то, что у Пушкина вы такого подбора произвести не сумеете.

Кто-то из писавших о Гейне отметил, что все его произведения — род путевых заметок, где писатель пишет обо всем, что его интересует, не заботясь о последовательном развитии мысли, о строгой связи частей, и что название «Путевые картины» может быть приложено к ним всем. В известном смысле это правильно. И поэтому бесполезно

разбирать отдельные виды гейневского творчества, говорить о Гейне как о новеллисте, критике, философе, публицисте, газетном работнике и т. д. в отдельности. Гейне был и тем, и другим, и третьим, но одновременно и едва ли не в каждом абзаце своей прозы. Только в молодости, до 1824 года, года «Путешествия по Гарцу», только в первом периоде своей работы он строго различал литературные роды. Его статьи были тогда статьями («Романтика»), его путевые очерки — очерками («О Польше»), его корреспонденции — типичными газетными корреспонденциями («Письма из Берлина»). Даже в «Бахарахском равнине», начатом несколько раньше «Путешествия по Гарцу», сказывается еще жанровая обособленность. Но во всех этих произведениях, в статьях, где он строит стройную цепь рассуждений, в очерках, где он добросовестно описывает страну и ее нравы, в корреспонденциях, где он рассказывает о жизни столицы, в повести, где он строго придерживается сюжета, — Гейне еще не Гейне или не вполне Гейне. Его проза становится «гейневской» тогда, когда он перестает различать отдельные роды и все их сливает в одну универсальную форму.

10

Теперь мы пришли к такому пункту, когда сам собой напрашивается вопрос: что же представляет собой проза Гейне как целое? В каком соотношении находятся ее частные особенности? Чем они обусловлены? В процессе анализа нам уже приходилось делать выводы, оказывавшиеся шире, чем нужно было для объяснения того рода явлений, из которых они были выведены, — вот тогда в них просвечивала та центральная точка, откуда может быть понята и объяснена вся система гейневской прозы, принцип, лежащий в ее основе.

Что же это за принцип?

Как ни странно, нам придется начать с метафоры. Проза Гейне — огромный орган, на котором находят выражение все страсти, волнующие общественного человека, «колоссальный, объемлющий все тоны мира инструмент». Не

правда ли, это кажется очень неясным? Сравнение, да еще гиперболическое, так же мало может быть определением, как и доказательством. И однако в нашей метафоре присутствует очень точный смысл.

Слова об инструменте принадлежат не мне, а писателю «Молодой Германии» Винбаргу. Для него, как и для всей его группы, проза Гейне является идеалом, знаменем. Больше того — она была знаменем и всей молодой Германии без кавычек.

Что же привлекало их в гейневской прозе? Прежде всего — совмещение личного с общественным. Это была первая заповедь, которую они прилагали к литературе. Им была невыносима литература, разделявшая оба начала, — будь то абстрактное искусство Гете, отгородившее себя от современности, от общественно-политической жизни страны и человечества, или педантически-ученое, холодное обсуждение животрепещущих проблем. Они не хотели и не могли жить на два дома, на два счета, на две половинки: одна половина — художника, другая половина — публициста; один «дом» — для лирики, другой — для журналистики. Проза Гейне им была дорога, потому что осуществляла с предельной силой и блеском их чаяния о таком соединении, потому что они видели, что в ней проявляет себя, живет, чувствует, негодует человек, для которого большие вопросы политики, общественности, философии, искусства — близкие, кровные, личные вопросы. Они ценили ее за то, что из нее исчез дух спокойствия и удовлетворенности, означавший лишь выключение писателя из социально-политической жизни страны, и в нее ворвались могучие общественные страсти, огромное дыхание революции. Они ставили ему в особую заслугу то, что он перешел от лирики к прозе. Проза была для них «евангелием новейшего времени», она давала возможность объять все тона мира, в то время как поэзия, лирика открывала лишь сферу ограниченную, частичную. Словом, они любили прозу Гейне за то, за что не любили ее мещане современной Германии и Франции и за что ее боялись гейневские современники из реакционного и обывательского лагеря.

Пойдем дальше. Проза Гейне — синтетическая проза, где находит свое выражение вся совокупность общественной жизни, слившейся с личной судьбой в одно целое. Это — почти то же самое определение, но только более раскрытое и точное, и в котором содержится уже нечто такое, чего не было в прежнем. Представим себе прозу, разделенную на два или несколько планов. Так писал Пушкин. Так писал Гете. Чаще всего они намечали отдельную судьбу, отдельное существование: Вертера или Гринева, Дубровского или Вильгельма Мейстера. Они следили за этой судьбой, за тем, как она приходила в столкновение с другими, как захватывалась клешнями больших событий (но это случалось редко), как она высвобождалась из сумятицы всяческих коллизий и продолжала линию своего развития. Или гибла. Это был один план. В другом решались, про себя, большие вопросы мировоззрения и искусства — решались в своей изолированности и самости, негромко, почти не вслух. И наконец в каком-то последнем — третьем, четвертом, пятом — плане осознавалась окружающая общественно-политическая жизнь, атмосфера современности, воздух эпохи. Общественная жизнь именно «окружала» пассивного человека, и о ней писали спокойным, старомодно рассудительным, архаизированным или педантическим языком. Публицистика была «академична». Она загнана куда-то в конец, в щели между большими работами. Она выдержана в серых тонах и меньше всего рассчитана на «возбуждение» умов и страстей, на действенный и решительный эффект. Это — голос любознательности, но не страсти; до страсти здесь общественные чувства еще не дошли. Политика еще остается наполовину «казенным делом», до которого частному интересу нет прямого касательства. Личная судьба и большие вопросы общественности не совпадают еще в одном русле. Было бы парадоксальным видеть в этом несовпадении причину раздельности литературных жанров. Она существует при всяких обстоятельствах. Но несомненно, что такое несовпадение усиливает изолированность жанров, делает их непроницаемыми друг для друга, создает между ними стену. Пушкин строго соблюдает их границы.

Флобер беспощадно изгоняет малейшие следы лиризма и публицистики из романа и новеллы. Ибо прежде всего при таком разделении проводится глухая черта между «публицистикой» и «художеством».

Представим же себе теперь писателя, для которого то, что совершается за пределами замкнутого, индивидуального круга, приобретает такую жгучую притягательность, что становится насущным интересом, ежедневной мыслью, личным делом. Представим себе, что это — не фраза, не красивый оборот, а самая подлинная действительность. То, что Пушкин и Гете наблюдали издаലെка, о чем они спокойно судили, чтобы затем отставить в сторону и заняться более важным делом, превращается для него в предмет самого острого и напряженного переживания, в одержимость, в страсть. Он уже не может сидеть раздумчиво в своем углу, будь то Веймар, Петербург или гостиница маленького франконского городка, из окон которой видны синие горы Фихтеля, и неторопливо откликаться на мировые события. Мир для него — не объект наблюдения, а процесс переживания. Он живет энтузиазмом французской революции, негодованием против ганноверских и прусских помещиков, борьбой с клерикальной «божьей челядью». Гегелевская философия, утверждающая, что все разумное должно осуществиться, учение сен-симонистов об эмансипации пролетариата и освобождении плоти, идущий ему на смену боевой коммунизм — все это для него не просто интересные теории и любопытные явления, а факты собственной душевной жизни, личные события, оставляющие глубочайший эмоциональный след. Он захвачен огромными интересами философии, литературы, искусства, но больше всего и прежде всего общественно-политическими. Общественная жизнь не только его страны, но и всего культурного мира пульсирует в нем. Она не «окружает» его, как окружала Гете или Пушкина. Он не ощущает ее пассивно. Он участвует в ее движении. Он борется, он хочет ее оформить, а если нельзя оформить, то хоть расшевелить.

Но все это не значит вовсе, что он забывает себя как личность, что он зачеркивает свою индивидуальность.

Наоборот. Можно даже сказать, что она гипертрофируется, ибо он сообщает о каждом своем душевном движении, о смене своих чувств, о беге своих ассоциаций. Он ставит себя в центр мира. Но ставит так, что «великий мировой разрыв» проходит через его сердце. Ставит так, что делается проводником волнений и интересов современности.

Таким писателем был Гейне. Таков его общественно-психологический тип. И отсюда можно понять единство его стиля. В течение почти двадцати лет он предпочитает прозу стихам, и это те двадцать лет, когда Гейне был трибуном. Понятно почему: проза — более универсальный и гибкий инструмент для выражения всего многообразия общественной жизни. В его руках, кажется, впервые это многообразие, непосредственно и само по себе, становится основной поэтической темой. Не отдельные события, не изолированные судьбы, не та или иная область общественной жизни, а именно вся она в целом, в своих контрастах, дробности, противоречивом единстве, — вот что занимает его и находит отражение на его страницах. Поэтому он не различает жанров, спутывает их границы, использует их все на один и тот же лад. Тема его не меняется, меняется только предлог, повод, мотивировка ее ввода. Гейне сам говорил, что ему безразлично, о чем писать. Это не было признанием формалиста, а лишь пренебрежением к внешней теме, вытекавшим из неизменности темы внутренней. О чем бы он ни писал, он писал всегда обо... «всем». Это — человек, который до такой степени захвачен процессом мировой общественной жизни, ее совокупностью, что у него нет ни возможности, ни охоты заняться прослеживанием или воссозданием отдельной человеческой судьбы, строить вымышленный, правдоподобный мир, придумывать сюжет, писать романы и новеллы. Писарев очень ошибался, объясняя его бессюжетность безвременьем, в котором он жил. «Сюжеты» отсутствовали у Гейне не потому, что глухая, мертвая полоса истории не рождала их, не давала писателю-«титану» достойного содержания, а, наоборот, именно потому, что содержания было слишком много, что частные сюжеты отступали назад перед огромным

сюжетом современности, насыщенной предчувствиями и разрядами революций. Вообще, довод об отсутствии сюжетов очень слаб: их никогда не бывает мало. Дело художника их заметить. Гете жил в эпоху несомненно гораздо более глухую, чем гейневская; так же и Пушкин. Однако ни тот, ни другой не отличались бессюжетностью. Писарев выводит из реакционности эпохи то, что как раз было обусловлено ее революционными тенденциями. Гейне писал не просто для собственного удовольствия. Он в такой же степени выражал себя, как и обращался к многотысячной массе своих читателей, делился с ней своими мыслями, старался заразить ее своим увлечением. Как и другие представители «новой» прозы, как Берне, как Менцель (первого периода), как — позже — «Молодая Германия», он рвет с «аристократическими» тенденциями «благородно» обособленной литературы, держащейся поодаль от «черни», с артистическим гетевским «эгоизмом»; писатель должен великодушно отдать себя времени и народу; его произведения становятся мыслями вслух, страстным комментированием происходящего. Таким образом бессюжетность объясняется как принудительностью внутренних мотивировок писателя, так и его позицией во вне, по отношению к читателю. Я бы назвал прозу Гейне огромным дневником, в котором отражается, год за годом, все, что волнует, трогает, увлекает писателя, — если бы только дневник не обозначал чего-то необработанного, небрежного, чернового, а главное, узко-интимного, предназначенного только для самого пишущего. Гейневский же «дневник» выполнен со всем блеском и совершенством артистичности и явно рассчитан на громадную аудиторию. Как и всякий дневник, он не нуждается в сюжете, фрагментарен, пестр, свободно скомпонован, как и всякий представляет род непринужденной беседы, но не с самим собой, а вслух, и не вполголоса, как беседуют в сумерки с друзьями, а со всей страстностью и яркостью интонаций, с желанием увлечь собеседника, подчинить его своему чувству, подвинуть на действие.

Закономерной и понятной становится и другая отличительная черта Гейне: поэтизация прозы. Подобно тому

как он преступает межи, отделяющие отдельные жанры друг от друга, он нарушает и более важную границу: между прозой и поэзией. Если содержанием его прозы делается общественная жизнь в целом, если в ней он находит могучий источник поэзии, если чувства, которые она внушает, достигают необычайной интенсивности, напряженности, силы и получают всю непосредственность личной страсти, то неудивительно, что он старается выразить их со всей полнотой и богатством доступных средств, будь-это даже такие средства, которые традиция отводила в безраздельное пользование стихотворной поэзии. Он ими пользуется в прозе даже сильнее, чем в стихах, словно желая подчеркнуть, что источник поэзии переместился, что он бьет сейчас уже повсюду. Гете в прозе рассуждает. Пушкин набрасывает чертежи мысли. Каждый из них отдает прозе не полноту своей творческой личности, как они это делают в стихах, а только одну какую-то сторону, только часть. Гейне отдает все свое существо. Он живет в ней той же полной и напряженной жизнью, что и в стихах. Он мыслит, — и на примере Гейне Пушкин мог бы убедиться, что «блестящие выражения» вполне совместимы с мыслью, самой точной и существенной, — но он не только мыслит. Недаром он сравнивал себя одновременно с мечом и пламенем («Ich bin das Schwert. Ich bin die Flamme»).

«Поэтизация» прозы была для Гейне облегчена тем, что элементы ее он встречал у кое-кого из своих предшественников, особенно у Жан-Поля (хотя господствующей нормой оставалась обособленная от поэзии проза Гете). Но он не просто развил эти элементы, а использовал их совершенно иначе. Особенность его поэтизации состоит в том, что она тесно связана с внесением публицистики. Можно даже сказать, что его проза тем поэтичнее, чем публицистичнее. Не столько введение поэзии в прозу, сколько сплав публицистики с поэзией в одно целое — вот то новое, что внес Гейне в немецкую, да и в мировую литературу. Этого мы не найдем ни у Жан-Поля, ни у романтиков. Спорить о том, что здесь первоначальное — поставлена ли поэзия «на службу» публицистике или публицистика при-

влечена как материал для поэзии — бесполезно. И то и другое может быть верно, в зависимости от точки зрения, или, правильнее, ни то, ни другое не верно. В действительности дело обстоит и сложнее и проще.

Публицистическое осмысление окружающего, то, что мир общественных эмоций властно вторгся в сознание писателя и стал его основной темой, не являлось для Гейне чем-то навязанным извне или отвлеченно-придуманном долгом, но делом внутренней потребности. Внутренняя потребность заставила его находить для этого самое сильное, «поэтическое» выражение, стирать границу между поэзией и прозой, сплавлять публицистику с поэзией в одно. Поступая так, он только выражал себя наиболее естественным образом. Но, выражая себя, он в то же время писал «в адрес современности», он сознательно обращался к тысячам читателей, и притом далеко не с платоническими, неопределенными целями, а имея в виду реальный, действительный результат. Поэтому то, что мы объяснили как следствие внутренней потребности писателя, может быть выведено и из внешней необходимости, из учета аудитории, из желания вызвать то или иное впечатление. Можно сказать, что поэтизация прозы нужна была Гейне для того, чтобы придать ей более высокий и напряженный эмоциональный тон, который бы сильнее «задел» и увлек читателя, чтобы усилить убедительность публицистики, сделать ее нагляднее и конкретнее и т. д. Все это будет так же правильно, как и то объяснение, которое мы давали раньше. Между этими двумя рядами нет противоречия. Они сосуществуют одновременно. Поэтизируя прозу, Гейне осуществлял свою внутреннюю художественную потребность и в то же время старался добиться наибольшей ее эффективности во вне. Возможно, что он не сознавал всего этого так отчетливо, как нам приходится сейчас излагать, но существо дела этого не изменяет. Внешняя цель — та же внутренняя потребность, только в другом аспекте.

Естественно также, что проза, являющаяся «колоссальным инструментом» для выражения общественных эмоций и обращенная к большой аудитории, широко пользуется

остроумием, насмешкой, сарказмом. Мы видели, что остроумие — наиболее социальное из художественных средств, «общественное» по преимуществу. Гейне уже застал пронию романтиков и замысловатую шутку Жан-Поля, но он придал этим, почти безобидным у его предшественников, «приемам» остроту, направленность, огромный размах и боевой характер. Остроумие Гейне повторяет общую особенность его прозы, идущей по пути синкретизма, сращения с поэзией: оно предметно, «поэтично», сплавлено с образностью, одето в «парчевые одежды» метафоры. «Поэтичность» не умаляет его разительности, но придает его ударам особую силу. Роль остроумия в системе гейневской прозы видна из того, что оно пропитывает всю ее ткань. Оно сатирично и агрессивно. Это — орудие нападения, особенно пригодное тогда, когда приходится взрывать косность традиции, власть авторитета, слежавшийся хлам прошлого, и понятно, почему оно так развито у Гейне.

При всей своей тонкости и грации, остроумие Гейне демократично, потому что беспощадно, разоблачительно и революционно. Тот же принцип демократизма проявляется и в других особенностях его прозы, смысл которых состоит в приближении к разговорному языку. Для этой цели Гейне ломает книжный синтаксис литературной речи, вводя простые конструкции, принятые в обиходе. Для этой цели вводит он непризнанные строгим вкусом, но узаконенные повседневной практикой, «засорившие» язык французские слова. «Благородной» сдержанности и блеклой гамме условного изящества противопоставляет он «необузданность» эмоциональных красок, богатство и разнообразие интонаций, пестроту контрастов. Он пишет так, как он чувствует. Его проза не отличается от его писем. Он говорит в ней не стилизованным, а подлинным языком. Если его книги — беседа вслух, то он хочет быть хорошо понят своим собеседником.

Так все особенности его прозы тесно связаны между собой в одно единство. Эта проза бессюжетна: ее «сюжет» продолжается из одной книги в другую, переплескиваясь за их границы, не имея конца, не имея начала, это — совре-

менность. Она синкретична, так как в ней срачиваются поэзия и проза. Синтетична — так как сливает в одно свойства всех жанров. Она может быть названа и огромным дневником и колоссальным памфлетом. Она публицистична в каждой странице и артистична в каждой строке. Мировая литература знает много примеров боевой и художественной прозы, но такого неразрывного соединения поэзии и публицистики, как у Гейне, она до него еще не порождала.

11

Родословная гейневской прозы не возбуждает сомнения. Она рождена критическим, переломным временем, когда социальные и политические противоречия обостряются, ища насильственного разрешения и готовясь к нему. Она создана как боевое орудие, как средство художественной и публицистической агитации, она проникнута сознанием непригодности всего существующего. Проза Гейне сложилась в своих характерных чертах тогда, когда он был не более, как буржуазным радикалом. Его величие в том, что он не смог долго довольствоваться ограниченностью «якобинского» радикализма, подобно Берне, что он один из первых разглядел за спиной буржуазной революции смутные, но грозные очертания революции пролетарской и понял огромный смысл и необходимость правды, которую несли с собой передовые борцы нового класса, коммунисты. Его проза отразила в себе этот идейный сдвиг, этот наплыв нового содержания, но т и п ее существенно не изменился: он был достаточно эластичен, чтобы вместить его, не ломаясь.

Гейневская проза создана как боевое оружие. Определяющим для ее типа является не ее конкретное наполнение — потому что оно изменялось, хотя и преимущественно, — а ее публицистическая функция, которая оставалась неизменной. Но она все же не детище революции осуществленной. Ее породили десятилетия ожидания, революция, нависающая на медленном ходу, готовая вот-вот вспыхнуть, но не вспыхивающая, — не молнии, а зарницы близкой грозы.

Отсюда — многое в ней. Быть может — даже необычайное значение остроумия, сатиры, этой дезинфекции затхлой атмосферы, этого взрывчатого вещества, которое должно поднимать на воздух слежалые авторитеты, мусор традиций, уважение к установленным формам, обывательскую робость и лакейство. Сатира работает сильнее в периоды, когда подготавливается революция, чем в непосредственно революционной обстановке. Отсюда, от затянувшегося ожидания, и эти взрывы отчаяния, эти лирические жалобы, эти грустные раздумья вслух, которые так характерны для прозы Гейне и сближают — в числе прочего — ее с прозой Герцена.

Представим себе среду, в которой сложился Гейне и к которой обращались патетически-насмешливые «дневники» его прозы. Как ни рассчитаны они были на большую аудиторию, как ни был на деле сравнительно обширен круг его читателей, но все же его нельзя мерить нашими масштабами. Массовость их воздействия была скорее в них заложена потенциально, чем реализовалась немедленно. Недаром же неуклонно росла она в течение всей жизни поэта и после его смерти, достигнув действительно огромных размеров. Среда, которую имел прежде всего в виду Гейне, по крайней мере Гейне «Путевых картин», т. е. тех лет, когда складывалась его проза, и к которой он сам принадлежал, была по-своему очень культурной средой интеллигенции и образованных слоев буржуазии. В ней были сильны оппозиционные и радикальные тенденции, симпатии к французской революции, к якобинству, она страдала от мелочности германской жизни, от общественно-политического застоя, от господства феодальной реакции, от наглости юнкеров и темных происков разномастной поповщины. Но она еще была наполовину проникнута настроениями того «художественного периода», той эпохи исключительного господства отвлеченных интересов искусства и «чистой» мысли, которую она сама ощущала как болезнь. Ей были еще дороги «безумства» и красочные фантазии романтизма. Гетевские идеалы гармонического, на античный лад уравновешенного искусства звучали ей еще внятно.

Писатель, который к ней обращался и хотел быть ею услышанным, должен был учесть и освоить эту пестроту и богатство ее художественных и культурных запросов. Да почему «должен был»? Он сам является ее частью, и ее артистические интересы, ее культурная сложность в нем сублимировались, подымались еще на большую высоту. Отсюда разнообразие ассоциаций культурного типа и впечатлений эрудиции, какую мы видим в прозе Гейне, отсюда живая его взволнованность вопросами литературы, живописи, музыки, искусства вообще, отсюда универсальность его интересов, все это богатство, которое стало действительным богатством только в руках Гейне, сумевшего воплотить в общественно-значимой, социально и политически направленной художественной системе то, что лежало мертвым грузом у его предшественников. Отсюда и та сила поэтической образности, та небывалая спаянность с поэзией, которая отличает прозу Гейне. Вот почему она ближе не к прозе наших шестидесятников, которые так высоко ценили его, а к прозе людей сороковых годов, — к прозе Герцена. Тут дело не только в непосредственном влиянии, — ибо надо тогда спросить себя, почему именно Гейне сумел повлиять на Герцена, — а в известном сходстве общественно-психологического типа, в широком и живом интересе к искусству и философии, какого не было у шестидесятников, в том, что и Гейне и Герцену недоставало — хотя и в разной степени — той исключительной собранности на одном, той безоглядной целеустремленности, какой отличаются люди, вырастающие в обстановке непосредственной революционной борьбы.

То, что Гейне вышел из среды, так глубоко вросшей в абстрактную почву «художественного периода», из эпохи затянувшегося ожидания революции, явилось причиной и слабостей его прозы. При всей ее направленности ей недостает последовательности. Гейне в ней боец, но не политик в подлинном смысле. И не потому, чтобы ему не хватало политической проницательности, ума и такта, как утверждают его исследователи, видящие существо политики в «мудрых» компромиссах и осторожных закулисных пере-

говорах, короче — в парламентском политиканстве. Гейне был достаточно умен и прозорлив для того, чтобы суметь стать первоклассным политиком. Но ему нехватало выдержки, «партийности», выражаясь современным термином. Он был всего лишь вольным стрелком, действовавшим за свой страх и риск, хотя и в интересах общего дела. И когда он чувствовал себя усталым, он бросался на землю и отдыхал, и забывал о том, что борьба еще не кончена. И когда напряженные нервы сдавали, он мрачно кидал оружие и уверял себя, что битва проиграна. И когда вид иного товарища, посредственного стрелка и никудышного запевалы, начинал его чересчур раздражать, он не задумываясь пускал ему в спину заряд дроби. Он не боялся противоречить себе, противоречить делу. Правда, он никогда ему не изменял и, уйдя, всегда снова возвращался.

В своих недостатках он — дитя своего времени. Ему тем труднее было соблюдать последовательность, что он хорошо видел, насколько ограничены его товарищи по борьбе и насколько более широк его собственный кругозор. Дитя своего времени он и тогда, когда, сливая общественное с личным, проводя великие вопросы, волнующие современность, «человечество», через собственное, интимное восприятие, окрашивая их лучшей кровью своего сердца (высшая заповедь эпохи!), он затрагивает и то слишком личное, частное, обнаженное, о чем трудно говорить, не вызывая ощущения острой неловкости. Дитя своего века он и в романтических причудах своих ассоциаций, в «капризных» прыжках фантазии, в пантеистической оболочке своих метафоров, в «загадочности» патетической и «красивой» любви, прошитой обрывками красной нити по ткани отдельных его произведений. Таков он, в особенности, в «Путевых картинах». Позже проза его становится чище, свободнее от романтического налета, который сейчас ощущается уже как налет устарелости, проще — хотя тип ее остается неизменным. Вообще говоря, проза лирическая и эмоциональная стареет скорее, чем проза «простая», и соответственно с этим мы должны были бы ожидать, что проза Пушкина окажется свежее и приемлемее для нас, чем гейневская. На деле

этого нет — в особенности если мы сравним между собой *публицистическую* (или критическую) их прозу, в которой разница принципа и установок проявляется в особенности сильно; Гейне звучит настолько современнее, что мы невольно себя спрашиваем: неужели он и Пушкин — люди одного поколения? То, что устарело в Гейне, это — некоторые приемы, отчасти наполнение его прозы. Тип ее — свеж и современен.

12

Проза Гейне вырабатывалась трудно и сознательно. Очень рано нашел он свой поэтический стиль: вполне гейневским является уже «Лирическое интермеццо», написанное в 1822 году, и даже отдельные стихотворения юношеского цикла «Молодые страдания», например, «Два гренадера». Но в годы, когда он уже писал таким ярким и своеобразным стихом, проза его оставалась традиционной и нехарактерной, традиционной, по крайней мере, в смысле строгого отделения от поэзии. Он долго искал, прежде чем нашел подходящую форму, сблизившую его прозу с его поэзией, и только с того времени проза начинает занимать в его творчестве заметное место.

Сам Гейне отметил трудность и длительность ее создания. Он рассказывает о «плодотворных дебатах», которые происходили по этому поводу в гостиной Рахили фон Фарнгаген. «Нынешняя проза, — пишет он, — была создана в результате многочисленных опытов, обсуждения, противоречий и усилий». Вопрос стоял о том, как писать? Следует ли продолжать традицию художественно-законченной прозы Гете, обдуманного и логического построения периодов, уравновешенных и гармоничных конструкций, или перейти к тому страстному, энтузиастическому, «неправильному» стилю, который уже пробивался в произведениях Берне? Рахиль отвечала, как мы уже видели, на этот вопрос двойственно: идеал художественной прозы — Гете, Берне пишет плохо, но сама она умеет писать только как Берне. Это — двусмысленный ответ. В том-то и заключалось дело, что молодое поколение уже не «умсло», не могло писать как

Гете, что язык гетевского искусства был для него чужд. Рахиль отстаивала Гете, но фактически своим «неумением» писать как он и умением писать как Берне стала на сторону молодых. И поэтому ее салон, где царил культ Гете и ему воздавались почти божеские почести, явился одновременно одним из центров выработки новой прозы.

Письма Гейне того времени, когда складывалась его проза, полны выпадов против Гете. Он пародирует «великогерцогскую веймарскую придворную прозу» (письмо к Кристиани, 26 января 1824 г.). Он заявляет: «Я нахожусь в настоящей войне с Гете и его произведениями» (к нему же, конец 1824 г.). Он восстает против изысканности и холодного благородства гетевской манеры, но также против прозы «ученых справочников» и равнодушного «канцелярского языка». Он твердит, что будет писать так, как ему нравится и как ему удобно, и защищает право на свой «рубленный и смутный жаргон».

Причины такой оппозиции к Гете найти не трудно. Сам Гейне указал их достаточно ясно в «Романтической школе». Гете — для него представитель — и даже творец — того «художественного периода», который едва ли не полстолетия царил в Германии, занимая умы абстрактными интересами искусства, содействуя отвлечению народа от насущных потребностей общественно-политической жизни к грезам и вымыслам поэзии. Его произведения совершенны, как греческие статуи, но и холодны, как они. Его «художество» никого не может побудить к действию. Оно лишено активности. Оно эгоистично.

Таким образом стилевая оппозиция Гейне имела очень реальные общественные корни. В своих исканиях он не был одинок. Возникла именно «новая проза». Целое поколение стремилось по-своему выразить себя в литературе.

Гейне отличается от остальных тем, что черты нового стиля выражены у него с наибольшим совершенством и законченностью. Но есть и принципиальное отличие: действительное слияние прозы с поэзией, подлинная поэтизация прозы произошла только у Гейне. Можно понять, почему случилось так: из всей группы прозаиков-новаторов

20-х — 30-х годов только он является одновременно и большим поэтом; ни Берне, ни ранний Менцель, ни участники «Молодой Германии» не могли бы осуществить того, что было под силу одному Гейне. Поэтому именно его произведения сделались «евангелием нового времени». Гейне полностью воплотил тот идеал прозы — колоссального органа для выражения эмоций общественного человека, который носился в воображении его современников.

13

Поэзия, ставшая публицистикой. Она сохраняет и по сегодняшний день свою оригинальность. Для того, чтобы найти нечто аналогичное в русской литературе, мы должны вспомнить прозу Герцена. При всей разности наполнения она по типу близка гейневской. Как и та, она является «колоссальным инструментом» для выражения мыслей и чувств общественного человека. Как и та, она историческое, мировое, социальное показывает через личное, частное, душевное. Как и та, она дневникова. Как и та, описывает огромные амплитуды колебаний, от тоскливых раздумий или желчной насмешки к взлетам пафоса и воодушевления. В этом смысле «Людвиг Берне» и «Былое и думы» — вещи одного порядка.

Присматриваясь к этой прозе, мы поражаемся той актуальной современностью, какая в ней заложена. В самом деле, не является ли этот «колоссальный инструмент» общественного человека тем, что ищет и старается создать наша литература?

Содержание гейневской прозы в известной мере устарело, но тип ее актуален — этот сплав личного, пережитого с социальным и политическим, эта широта и интенсивность общественных интересов, это острое реагирование на все происходящее, этот синтез всех жанров и всех родов поэтической выразительности в одну систему, одновременно поэтическую и публицистическую, эта дневниковость, соединенная с величайшей художественной отдаленностью, эта бессюжетность, где сюжет — современность в целом.

Этот тип просвечивает у нас в поисках бессюжетной формы, в работе над такими промежуточными литературными образованиями, как очерк, заметки, дневники. Поиски эти пока еще разрозненны, результаты их часто еще внелитературны, сухость, техницизм, неумение интересно мыслить то и дело обесценивают их, но все-таки очертания такой будущей синтетической прозы уже пробиваются, пусть слабо. Во всяком случае, если она еще и не создана, то может и должна быть создана. Я не думаю, что она будет единственной или даже господствующей. Два типа прозы, «пушкинский» и гейневский — «объективный» жанрово-раздельный, «простой», и синтетический, «субъективный», поэтико-публицистический — существуют уже издавна, и вряд ли какой-нибудь из них обречен на гибель. Изменится лишь соотношение, и, думается, в пользу гейневского типа. Это и не удивительно: общественно-напряженная эпоха всегда благоприятствует ему. Наша эпоха строящегося социализма — тем более. Он и сейчас у нас есть, но в недостаточно развитом, а иногда и скрытом (из-за власти художественной традиции) виде.

Таким образом можно сказать, что проза Гейне, в своем *типе*, указывает один из путей, по которому пойдет в будущем наша литература.

А. Лежнев

ПУТЕВЫЕ КАРТИНЫ

Часть первая

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ГАРЦУ

1824

Постоянна только переменчивость;
устойчива только смерть. Каждое биение
сердца ранит нас, и жизнь была бы сплош-
ным кровотечением, если бы не существо-
вало поэзии. Она дает нам то, в чем
отказала природа: золотое время, которое
не ржавеет, весну, которая не отцветает,
безоблачное счастье и вечную молодость.

Берне



ГЕНРИХ ГЕЙНЕ

С портрета карандашом Франсуа Купера 1829 г.



*

Сюртуки, чулки из шелка,
С тонким кружевом манжеты,
Речи льстивые, объятья —
Если б сердце вам при этом!

Если б сердце в грудь вложить вам,
В сердце чувство трепетало б, —
Ах, до смерти мне противна
Ложь любовных ваших жалоб!

Я хочу подняться в горы,
Где живут простые люди,
Где свободно веет ветер,
И легко усталой, груди.

Я хочу подняться в горы,
К елям темным и могучим,
Где поют ручьи и птицы,
И несутся гордо тучи.

До свидания, паркеты,
Гладкие мужчины, дамы,
Я хочу подняться в горы,
Чтоб смеяться там над вами.

Город Геттинген, знаменитый своими колбасами и университетом, принадлежит королю Ганноверскому и располагает 999 очагами, различными церквями, одним

родовспомогательным заведением, одною обсерваториею, одним карцером, одною библиотекою и одним городским погребком, где пиво превосходное. Протекающий здесь ручей именуется «Лейна» и служит летом для купанья; вода в нем очень холодна и местами столь широка, что Людеру в самом деле пришлось сильно разбежаться, когда он перепрыгнул через ручей. Сам город очень красив и представляется всего лучше, когда обернешься к нему спиною. Повидимому, он построен очень давно; по крайней мере, помнится, еще пять лет назад, когда я поступил в университет и вскоре затем был исключен, он имел все тот же серый старчески-умный вид и был переполнен педелями, пуделями, диссертациями, чаями с танцами, прачками, компендиумами, жареными голубями, гвельфскими орденами, церемониальными каретами, головками для трубок, гофратами, юстицратами, легационератами *, профаксами и другими штуками **. Некоторые утверждают даже, будто город построен во время переселения народов, что каждая отрасль немецкого племени оставила там по одному необузданному своему отпрыску, откуда и происходят вандалы, фризцы, швабы, тевтоны, саксы, тюринги и т. д., каковые и посейчас слоняются в Геттингене ордами по Вендской улице, различаясь цветами шапок и трубочных кисточек; они вечно дерутся на кровавых полях Разенмюле, Риченкура и Бовдена, пребывая в нравах своих и привычках все еще среди эпохи переселения народов и управляясь частью своими вождями, именуемыми главными петухами, частью древним сводом законов, именуемым *Komment* и заслуживающим места в *leges barbarum* ***.

В общем, жители Геттингена делятся на студентов, профессоров, филистеров и скотов, каковые четыре условия, однако, далеко не строго различаются между

* Пародия на титул «легационсрат» — советник посольства; по лат. *legatio* — посольство, *relegatio* — ссылка, изгнание.

** *Profaxen* — кличка профессоров, и *faxen* — шутики.

*** Сборниках законов варваров.

собою. Сословие скотов — преобладающее. Слишком долго пришлось бы перечислять здесь имена всех студентов и всех профессоров, ординарных и не ординарных; к тому же в данный момент не все студенческие имена сохранились в моей памяти, а среди профессоров есть еще и вовсе не имеющие имени. Число геттингенских филистеров должно быть очень велико: их — как песку или, лучше сказать, как грязи на берегу моря; поистине, когда я утром увидал их у двери академического суда, с грязными лицами и белыми счетами, я не мог понять, как это бог натворил столько сволочи.

Подробности о городе Геттингене вы с приятностью прочтете в описании последнего, составленном К. Ф. Х. Марксом. Хотя я питаю чувства святейшей признательности к автору, который был моим врачом и сделал мне много добра, я не могу без оговорок рекомендовать его труд и должен поставить ему в упрек недостаточно энергичный отпор тому ложному мнению, будто у геттингенок слишком большие ноги. Мало того — я посвятил много времени основательному опровержению этого мнения, прослушал для этой цели курс сравнительной анатомии, делал в библиотеке выписки из редчайших книг, изучал часами ноги прогуливающих по Вендской улице дам, и в глубоко ученом труде, где подводятся итоги этим занятиям, говорю: 1) о ногах вообще, 2) о ногах у древних, 3) о ногах слоновых, 4) о ногах геттингенок, 5) сопоставляю все то, что уже высказано об этих ногах в Ульрихском саду, 6) рассматриваю эти ноги — в их взаимном соотношении и при этом случае распространяюсь об икрах, коленях и пр., и наконец 7) если найдется бумага достаточного размера, приложу несколько гравюр на меди с изображениями ног геттингенских дам.

Было раннее утро, когда я покинул Геттинген, и ученый покоился еще, конечно, в постели и грезил, как всегда: будто он гуляет в прекрасном саду, где на грядках растут сплошь белые, исписанные цитатами, бумажки, ласково поблескивающие на солнце; он же

срывает то одну, то другую и осторожно пересаживает их на новые грядки, между тем как соловьи улаживают его старое сердце сладостными трелями.

У Вендских ворот попались мне навстречу два местных школьника; один сказал другому: «Не желаю больше знать Теодора, он негодяй, потому что не умел сказать вчера, как родительный падеж от *mensa*». Как ни незначительны эти слова, я должен упомянуть о них; мало того — я начертал бы их на городских воротах как девиз; ведь, «как пели папаши, так свистят и детки», и эти слова вполне рисуют узкую, сухую, цитатную гордость высокоученой Георгии-Августы.

В дороге повеяло утренней свежестью, радостно распевали птицы, и постепенно на душе у меня снова стало свежо и радостно. Бодрость пришла кстати. В последнее время я не вылезал из стойла пандектов, римские казуисты словно заткали мой мозг серою паутиною, сердце было как бы защемлено железными статья-ми своекорыстных правовых систем, в ушах непрерывно звучало «Трибониан, Юстиниан, Гермогениан и Дуреньян», и нежную парочку, сидевшую под деревом, я готов был принять за экземпляр *Corpus juris* * с переплетенными руками. Дорога оживилась. Потянулись молочницы и погонщики ослов со своими серыми питомцами. За Вендою попались мне навстречу Шефер и Дорис. Это — не парочка из идиллии-Геснера, а два ушитанных университетских педеля, зорко наблюдающие по долгу службы, чтобы студенты не дрались на дуэли в Бовдене и чтобы ни одна новая идея, без обязательного и долголетнего карантина, не проникла контрабандою в Геттинген при содействии какого-нибудь спекулятивного приват-доцента. Шефер поклонился мне вполне по-товарищески, ибо он тоже писатель и не раз упоминал обо мне в своих полугодичных писаниях; равным образом, он часто вызывал меня, а когда не заставлял дома, то всегда весьма любезно писал вызов

* Свод законов (Юстиниана).

мелом на дверях моей комнаты. Время от времени проезжала одноконная подвода, набитая студентами, покидающими город на время вакаций, а то и навсегда. В таких университетских городах постоянный прилив и отлив, каждые три года возникает новое поколение студентов — вечный человеческий поток; волна одного семестра отгоняет другую, и только старые профессора стоят непоколебимо и недвижно среди всеобщего движения, подобно пирамидам Египта — но только в этих университетских пирамидах не скрыто никакой премудрости.

Из Миртовой рощи, близ Раушенвассера, выехали верхом двое многообещающих юношей. Женщина, занимающаяся там своим горизонтальным ремеслом, проводила их до самой дороги, похлопала привычною рукою по худым бокам лошадей, громко рассмеялась, когда один из всадников любезно угостил ее плеткою по широкому заду, и двинулась по дороге в Бовден. Юноши же поскакали в Нертен, очень остроумно покрикивая и очень мило распевая россиниевскую песенку: «Выпей пива, Лиза дорогая!» Звуки долго еще раздавались вдаль, но нежных певцов я скоро потерял из виду, ибо они яростно прищипоривали и стегали своих коней, обладавших, очевидно, медлительным немецким характером. Нигде так не истязают лошадей, как в Геттингене; часто, видя, как хромая кляча, вся в поту, принимает, ради корма насущного, тяжкие муки от наших раушенвассерских всадников или тащит за собою целый воз студентов, я думал: «Бедная тварь, несомненно предки твои отведали в раю запрещенного овса».

В Нертенской корчме я вновь повстречал обоих юношей. Один угощался селедочным салатом, а другой разговаривал с желтокожею служанкою, Фузией Каниной, а по прозвищу «Воробей». Он сказал ей несколько учтивостей, и в конце концов они подрались. Чтобы облегчить свою сумку, я опять вынул уложенные туда синие штаны, весьма замечательные в историческом

отношении, и подарил маленькому кельнеру, по прозванию Колибри. Буссения, старая трактирщица, вынесла мне меж тем бутерброд и попеняла, что я теперь так редко у нее бываю: она ведь очень меня любит.

За Нертемом солнце поднялось высоко и ярко светило в небе. Оно отнеслось ко мне сочувственно и начало нагревать мне голову, так что созрели все мои мысли. Не следовало, однако, пренебрегать и милым на вывеске нордгеймским трактирным солнцем; я завернул туда и нашел готовый обед. Все кушанья приготовлены были вкусно и понравились мне гораздо больше безвкусных академических угощений — высохшей трески, без признака соли, с прокисшей капустой, которыми меня потчевали в Геттингене. Успокоив слегка свой желудок, я заметил в той же комнате господина с двумя дамами, собиравшихся в путь. Господин был одет во все зеленое, даже в зеленых очках, бросавших на его меднокрасный нос отсвет яркозеленой медянки, и походил на Навуходоносора в последние годы его жизни, когда царь, согласно преданию, питался, как зверь лесной, одним салатом. Зеленый просил, чтобы ему рекомендовали гостиницу в Геттингене, и я посоветовал ему справиться у первого попавшегося студента об «Hôtel Brühbach». Одна из спутниц оказалась его супругою — рослая, обширная особа, с багровым лицом в квадратную милю и с ямочками на щеках, походившими на плевательницы для амуров, с мясистым, отвислым подбородком, который казался неудачным продолжением лица, и с высоко взнесенною грудью, которая, будучи обвешана тугими кружевами и многозубчатыми фестончатыми воротниками, была подобна крепости с башенками и бастионами, которая столь же мало, конечно, как все другие крепости, о коих говорит Филипп Македонский, могла противиться ослу, нагруженному золотом. Другая дама, сестра его, являла полную противоположность вышеописанной. Если первая происходила от фараоновых тучных коров, то вторая вела свой род от тощих. Лицо — сплошной рот между двух ушей; безнадежно

тошая, как Люнебургская степь, грудь; фигура — вся вываренная, как бесплатный обед для бедных богословов. Обе дамы одновременно спросили меня, останавливаются ли в отеле Брюбах порядочные люди. Я со спокойною совестью ответил утвердительно, и когда очаровательный трилистник отбыл, я послал им еще раз привет из окна. Хозяин «Солнца» хитро ухмылялся, будучи, повидимому, осведомлен, что в Геттингене отелем Брюбах студенты называют карцер.

За Нордгеймом местность становится гористою, попадаются порою красивые возвышенности. По дороге встречались мне большею частью торговцы, направлявшиеся на Брауншвейгскую ярмарку, повалась также целая толпа женщин; каждая тащила на спине большое, с дом величиною, сооружение, обтянутое белым полотном. Там сидели пленные певчие птицы, непрерывно пищавшие и свистевшие, а несшие их женщины весело подпрыгивали и болтали. Мне показалось забавным, как это одни птицы тащат других на рынок.

Была черная ночь, когда я добрался до Остероде. Аппетита я не чувствовал и сейчас же улегся в постель. Я устал, как собака, и спал, как бог. Мне приснилось, что я вернулся в Геттинген, в тамошнюю библиотеку. Стою я в юридическом зале, в углу, перелистывая старые диссертации, и углубился в чтение, как вдруг заметил, к своему удивлению, что наступила ночь и свешивающиеся с потолка хрустальные люстры осветили зал. Часы на ближайшей церкви только что пробили двенадцать, когда медленно отворилась дверь, и вошла гигантского роста горделивая женщина, в почтительном сопровождении членов и ассистентов юридического факультета. Исполинская женщина, хотя и пожилая, хранила на лице своем черты строгой красоты, каждый взгляд ее обличал в ней дочь Титана, могущественную Фемиду; меч и весы она небрежно держала в одной руке, в другой руке зажат был пергаментный свиток, и два молодых *doctores juris* * несли за ней шлейф ее

* доктора права

серого потускневшего платья; справа суетливо прыгал тощий гофрат Рустикус, Ликург Ганновера, и декламировал что-то из своего нового законопроекта; слева галантно и в отличном настроении ковылял ее *cavalier servant* *, тайный советник юстиции Куяциус, отпуская одну за другою юридические остроты, и сам до того искренно над ними смеялся, что даже строгая богиня время от времени с улыбкою склонялась к нему, хлопала его по плечу пергаментным свитком и дружески шептала: «Ах, ты маленький повеса, срезающий деревья сверху вниз». Все остальные стали подходить ближе, и каждый находил соответствующие замечания, улыбочку, вновь придуманную системочку, гипотезку или другого какого-нибудь выкидышка из собственной головки. В открытые двери проникло еще много незнакомцев, державшихся наподобие других великих сочленов знаменитого ордена; большею частью — угловатые, насторожившиеся господа, тотчас приступившие, с полным самодовольством, к определениям, разграничениям и препирательствам по поводу отдельных пунктиков каждой главы Пандектов. Входили все новые и новые фигуры, старые законоведы в старомодных одеждах, в белых париках с косичками, с давно забытыми лицами, изумляясь тому, что на них, знаменитостей истекшего столетия, не обращают особого внимания; они, как и другие, каждый на свой лад, присоединялись к общей болтовне, суете и крику, окружавшим, все бессвязней и шумнее, как морской прибой, высокую богиню, пока она не потеряла терпения и не воскликнула вдруг с ужасающей скорбью исполинов: «Молчите! Молчите! Я слышу голос дорогого мне Прометея! Злобной властью, безмолвным насилием прикован невинный мученик к скале истязаний, и вся ваша болтовня и все ваши споры не прохладят его ран и не разобьют его цепей!» Так воскликнула богиня, и ручьи слез прорвались из ее глаз; все сборище взвыло, будто охваченное смертельным ужасом, затрепсал потолок зала, книги попадали с полок, и

* ухаживатель.

напрасно старик Мюнхгаузен вылез из рамы с целью водворить порядок, — кругом бесновались и топотали все яростней, и я бросился из этого сумасшедшего дома искать спасения в исторический зал, в то благое место, где стоят друг возле друга священные изображения Бельведерского Аполлона и Венеры Медицейской, и упал к ногам богини красоты; в созерцании ее, я забыл о диком неистовстве, от которого я убежал, глаза мои созерцали в восторге гармонию и вечную прелесть ее благословенного тела, эллинское спокойствие охватило мою душу, и над головою моею, как благословение неба, зазвучала сладостная лира Феба-Аполлона.

Проснувшись, я долго еще слышал приветливый звон. Стада тянулись на пастбище — это звенели их колокольчики. Ласковое золотое солнце светило в окно и освещало картины на стенах моей комнаты. Это были изображения из эпохи освободительной войны, правдиво рассказывавшие о том, как все мы были героями; также — сцены казней из эпохи революции, Людовик XVI на гильотине и снятие других голов, глядя на которые, нельзя не благодарить бога, что лежишь спокойно в постели, пьешь вкусный кофе, и голова твоя пока что вполне комфортабельно покоится на плечах.

Выпив кофе, одевшись, прочитав надписи на оконных стеклах и расплатившись в гостинице, я покинул Остероде.

В городе этом столько-то домов, столько-то жителей и в том числе столько-то душ, как подробно указывается в карманном «Путеводителе по Гарцу» Готшалька. Прежде чем свернуть на большую дорогу, я взобрался на развалины древнего замка Остероде. От него осталась лишь половина высокой, с массивными стенами, башни, словно разъеденной раком. Дорога в Клаусталь шла опять в гору; с одного из ближайших холмов я еще раз взглянул вниз, в долину, откуда Остероде со своими красными крышами представляется среди зеленых сосен мшистой розой. Солнце придавало всему оттенок чего-то детски милого. Отсюда, с сохранившейся

половины башни, видна ее внушительная задняя сторона.

Пройдя некоторое расстояние, я встретился с бродячим подмастерьем, державшим путь из Брауншвейга и передавшим мне тамошний слух: молодой герцог, на пути в Святую землю, попался будто бы в плен к туркам и может быть освобожден лишь за большой выкуп. Поводом к этой легенде послужило, надо думать, далекое путешествие герцога. Народ все еще тяготеет по складу мыслей к традиционно-сказочному, что так мило выражено в его «Герцоге Эрнсте». Сообщивший эту новость оказался портновским подмастерьем — миловидный, небольшой человек, до того тощий, что лучи звезд могли пронизать его, как облачных духов Оссиана — в общем, чисто народная причудливая смесь веселости с меланхолией. Это сказалось особенно в забавно-трогательном тоне спетой им чудесной народной песенки: «Как на заборе жук сидел; зумм, зумм!» У нас, немцев, это прекрасно: нет сумасшедшего, которого не мог бы понять другой, еще более свихнувшийся. Только немец может вчувствоваться в эту песню — и притом до смерти хотеть и плакать. Тут я также заметил, как глубоко проникло в жизнь народа слово Гете. Мой тощий спутник время от времени напевал про себя: «Радость, страданье, и мыслям легко!» Такое извращение текста обычно у народа. Также спел он песенку, где «Лотта над Вертера гробом скорбит». Портной расплылся в сентиментальности при словах: «Одинокو плачу я у розы, где светил нам месяц в поздний час! У ручья мои блуждают грезы, что лелеял и покоил нас». Но вскоре проникся высокомерием и сообщил мне: «У нас в Касселе в ночлежке для подмастерьев есть пруссак, он сам сочиняет такие же стихи; приличного шва сделать не может; коли у него в кармане заведется грош, он сейчас же чувствует жажду на два гроша, а когда подвыпьет, небо ему кажется синим камзолом, и он начинает лить слезы, как дождевой жолоб, и поет песни с двойной поэзией». Относительно последнего

выражения я попросил у него объяснений, но портняжка, подпрыгивая на своих козлиных ножках, покрикивал только: «Двойная поэзия значит двойная поэзия!» Наконец я уяснил себе, что он понимает стихи с двойными рифмами, именно — стансы. Между тем продолжительный путь и противный ветер очень утомили рыцаря иглы. Правда, время от времени, он предпринимал торжественные попытки продолжать путь и похвалялся: «Вот теперь я оседлаю дорогу!», но вслед затем начинал жаловаться, что натер пузыри на ногах и что мир чересчур обширен, и наконец, дойдя до дерева у дороги, тихо опустился, покачивая нежною головкою, как унылая овечка хвостиком, и, скорбно улыбаясь, произнес: «Ну вот, я, несчастная клячонка, опять устала!»

Горы стали еще круче, еловый лес колыбался внизу, как зеленое море, и вверху, по голубому небу, неслись белые облака. Дикий облик местности как бы умерялся ее однообразием и простотою. Природа, подобно истинному поэту, не любит резких переходов. Облака при всей кажущейся причудливости сохраняют белый или все же гармонирующий с голубым небом и зеленою землею оттенок, так что все краски этой местности сливаются друг с другом, как тихая музыка, и всякий взгляд на эту природу действует умиротворяюще и успокаивающе. Блаженной памяти Гофман изобразил бы облака пестрыми. Так же, подобно великому поэту, природа обладает способностью с наименьшими средствами достигать наибольших результатов. В ее распоряжении только солнце, деревья, цветы, вода и любовь. Правда, если этой любви нет в сердце у созерцателя, то все в целом должно представиться ему довольно жалким; в таком случае солнце, оказывается, содержит столько-то миль в диаметре, деревья пригодны для отопления, цветы классифицируются по тычинкам, а вода — мокрая.

Маленький мальчик, собиравший в лесу хворост для своего больного дяди, указал мне на деревню Лербак,

низенькие хижины которой с серыми крышами растянулись по долине, на пространстве получаса ходьбы. «Там, — сказал он, — живут зобатые дураки и белые негры», — последним именем народ окрестил альбиносов. Мальчик был в особенно добром согласии с деревьями, он приветствовал их, как хороших знакомых, и они, казалось, шелестом отвечали на его приветствия. Он насвистывал, как чижик, со всех сторон ему отвечали свистом другие птицы, и, прежде чем я мог заметить, он усакал босыми ножонками со своей вязанкой хвороста в лесную чащу. «Дети, — подумал я, — моложе нас, помнят еще, как сами тоже были когда-то деревьями и птичками, и потому способны еще понимать их; наш брат слишком для этого стар, голова его чересчур перегружена заботами, юриспруденцией и скверными стихами». При вступлении моем в Клаусталь в памяти моей живо возникло то время, когда все было иначе. Я достиг этого милого горного городка, который виден лишь, когда подойдешь к нему вплотную, в то время, когда колокол пробил двенадцать и дети весело выбежали из школы. Славные ребята, почти все краснощечие, голубоглазые, с льняными волосами, прыгали и ликовали; они пробудили во мне болезненно радостное воспоминание о той поре, когда я, таким же маленьким мальчиком, не смел до полудня подняться с деревянной скамьи глухой католической монастырской школы в Дюссельдорфе и должен был вынести немало латыни, побоев и географии, а потом так же неистово ликовал и веселился, когда старый францисканский колокол бил наконец двенадцать. Мальчики узнали по сумке, что я не здешний, и гостеприимно меня приветствовали... Один рассказал мне, что у них только что был урок закона божия, и показал Королевский ганноверский катехизис, по которому их спрашивают о христианской вере. Книжка оказалась прескверно напечатанною, и я боюсь, что уже поэтому вероучение должно производить на детские умы впечатление чего-то уныло-клякспаирного; равным образом ужасающе на меня подействовало, что

таблица умножения, значительно расходящаяся, я полагаю, с учением о св. Троице*, напечатана в самом катехизисе, на последней странице, благодаря чему дети уже в юном возрасте могут впасть в греховные сомнения. Тут уж мы, пруссаки, много умнее, и, при свойственном нам усердию к обращению на путь истины людей, разбирающихся в арифметике, остерегаемся печатать таблицу умножения в конце катехизиса.

Я пообедал в Клаустале в гостинице «Корона». Мне подали весенне-зеленый суп с петрушкой, фиалково-синюю капусту, жареную телятину, величиною с Чимборасо в миниатюре, а также особого рода копченых сельдей, называемых бюкингами, по имени изобретателя их, Вильгельма Бюкинга, умершего в 1447 году и пользовавшегося благодаря своему изобретению таким уважением Карла V, что последний анно ** 1556 ездил из Миддельбурга в Бивлид, в Зеландию, с единственною целью взглянуть на могилу этого великого человека. Как великолепно такое блюдо, когда ешь его, обладая притом соответствующими историческими сведениями! Но кофе был испорчен для меня: какой-то молодой человек подсел ко мне с рассуждениями и болтал так ужасно, что молоко на столе скисло. Это был молодой купчик о двадцати пяти пестрых жилетах, с таким же количеством золотых печаток, перстней, булавок и т. д. Он походил на обезьяну, которая надела красную куртку и уверяет самое себя: костюм делает человека. Он знал на память множество шарад, также и анекдотов, которые и рассказывал всегда совершенно некстати. Он спросил меня, что нового в Геттингене, и я рассказал ему, что там перед отъездом моим появился декрет академического сената, запрещающий, под угрозю штрафа в три талера, обрезать собакам хвосты, ибо в каникулярное время, когда бешеные собаки бегают, поджав хвосты между ног, их можно по этому признаку

* Игра слов: по-немецки «таблица умножения» — Einmal-eins — дословно: «единожды один».

** в году

отличить от небешенных, что было бы невыполнимо в случае, если бы у них вовсе не было хвостов. Пообедав, я собрался в путь, намереваясь посетить рудники, сереброплавильню и монетный двор.

В сереброплавильнях я, как часто в жизни, не заметил блеска серебра. На монетном дворе пошло лучше, и мне привелось увидеть, как делаются деньги. Правда, дальше этого мне никогда не удавалось пойти. На мою долю неизменно выпадала в таких случаях роль наблюдателя, и думаю, если бы талеры начали падать с неба, я бы получил лишь пробоины в голове, в то время как сыны Израиля с легкостью душевной стали бы собирать серебряную манну. С комически смешанным чувством почтения и умиления рассматривал я новорожденные блестящие талеры, взял в руки один, только что вышедший из-под чекана, и произнес: «Юный талер! какие судьбы тебя ожидают! сколько добра и зла сотворишь ты! как будешь ты защищать порок и пятнать добродетель, как будут любить тебя и затем проклинать! каким помощником будешь ты в праздности, сводничестве, лжи и убийстве! как неустанно будешь ты ходить по рукам чистым и грязным на протяжении столетий, пока наконец, отягченный преступлениями и усталый от греха, не успокоишься, вместе со присными, в лоне Авраама, который расплавит тебя, очистит и преобразит для лучшей жизни!»

Два главных клаустальных рудника — «Доротей» и «Каролина» — показались мне при осмотре столь интересными, что я должен рассказать о них подробно.

В получасе ходьбы от города находятся два больших темных здания. Там вас сразу встречают рудокопы. На них темные, обычно синевато-стального цвета просторные блузы, спускающиеся ниже живота, такого же цвета штаны, кожаные, завязывающиеся сзади передники и зеленые поярковые шапочки без полей, в роде усеченного конуса. В такой же костюм, только без передника, одевают посетителя, и один из рудокопов — штейгер, засветив свою лампочку, ведет его к темному от-

верстю, похожему на трубу камина, опускается до уровня груди; дает указания, как держаться на лестницах, и приглашает следовать за ним безбоязненно. Опасного ровно ничего нет, но вначале, когда не имеешь представления о горном деле, это кажется иначе. Своеобразное впечатление создается уже тем, что падо раздеться и облачиться в мрачную арестантскую одежду. Затем предстоит спускаться вниз на четвереньках, при чем темное отверстие так темно, и бог весть, когда кончится лестница. Вскоре замечаешь, однако, что это не единственная, ведущая в черную бесконечность лестница, что таких лестниц, по пятнадцать — двадцать ступенек каждая, много и каждая упирается в небольшую дощатую площадку, где можно остановиться и откуда новая дыра ведет на новую лестницу. Сначала я спустился в «Каролину». Это самая грязная и противная Каролина, какую мне пришлось видеть: ступеньки покрыты мокрой грязью. Так и спускаешься с одной лестницы на другую, а штейгер впереди неизменно уверяет, что это вовсе не опасно, следует только крепко держаться руками за ступеньки, не смотреть вниз, не поддаваться головокружению и ни в каком случае не становиться на боковую площадку, возле которой с жужжанием тянется спусковой канат и откуда две недели тому назад какой-то неосторожный человек полетел вниз и сломал себе, к сожалению, шею. В самом низу бессвязный шум и треск, непрерывно натыкаешься на балки и канаты; последние движутся, подымая бочки с добытою рудой или подавая кверху рудничную воду. Время от времени приходится проникать в высеченные в стенах ходы, называемые штольнями, где находится руда и где одинокий рудокоп, сидя, целыми днями в тяжком труде откалывает от стен куски руды. Я не добрался до самого низу, где, уверяют некоторые, слышно, как американцы кричат у себя: «Ура, Лафайет!» Между нами говоря, глубина, которой я достиг, показалась мне вполне достаточною: непрерывное жужжание и визг, жутко движутся машины,

журчат подземные ключи, со всех сторон стекает вода, от земли поднимаются спертые пары, и свет рудничной лампочки все бессильнее и бледнее в окружающей ночи. По правде, я был оглушен, еле дышал и с трудом держался на скользких ступеньках. Приступов так называемого страха я не испытал, но, что довольно странно, внизу, в глубине, вспоминалась мне пережитая мною в прошлом году, приблизительно в эту же пору, буря в Северном море, и теперь я подумал, что в сущности приятно и уютно, когда корабль этак раскачивается из стороны в сторону: ветры разыгрывают свои трубные мелодии, матросы поднимают веселую возню, и милый, вольный воздух господень любовно обвеивает все это. Да, воздух! В погоне за воздухом взобрался я по дюжине лестниц кверху, и мой штейгер провел меня узким и очень длинным, высеченным в горе ходом в рудник «Доротея». Здесь свежее и веселее, лестницы чище, но зато длиннее и круче, чем в «Каролине». На душе у меня стало легче, особенно после того, как я снова обнаружил следы живых людей. В глубине мелькнули блуждающие огоньки: рудокопы с лампочками медленно подымались вверх, говорили: «счастливо подняться!» — и, приветствуемые нами в тех же выражениях, двигались мимо нас, выше, и как на какое-то дружески спокойное и вместе с тем мучительно загадочное воспоминание глядели на меня глубокие и ясные взоры в глубоко серьезных, побледневших и озаренных таинственным отсветом рудничных лампочек лицах этих юношей и стариков, проработавших целый день в своих темных, уединенных шахтах и теперь тянувшихся к милому дневному свету, к глазам жен своих и детей.

Мой чичероне оказался честнейшим немцем собачье-преданной породы. С искренней радостью показал он мне штольню, где во время осмотра рудника обедал со всею своею свитою герцог Кембриджский и где все еще стоит длинный деревянный обеденный стол, с высоким стулом из руды, на котором сидел герцог. «Этот стул останется здесь навеки», пояснил честный рудокоп

и с жаром поведал мне, какие торжества были тогда устроены, как вся штольня разукрашена была огнями, цветами и зеленью, как один из рудокопов играл на цитре и пел, как довольный любезный толстый герцог все пил «за здоровье», и сколько рудокопов, а особенно сам рассказчик, готовы отдать жизнь за милого толстого герцога и за весь Ганноверский дом. Я внутренне тронут каждый раз, когда наблюдаю такое верноподданническое чувство в его непосредственных проявлениях. Такое прекрасное чувство! И притом чувство поистине немецкое! Пусть другие народы половчее и остроумнее и занятее, но нет народа вернее немцев. Если бы я не знал, что верность стара, как мир, я бы подумал, что она — изобретение немецкого сердца. Немецкая верность! Это не модное словечко всеподданнейшей риторики. При ваших дворах, государи германские, должно петь и петь без конца песню о верном Эккарте и злом Бургунде, повелевшем убить его любимых детей и все же не лишившемся верного слуги. Ваш народ — самый верный, и вы заблуждаетесь, полагая, что умный старый верный пес взбесился внезапно и скалит зубы на священные ваши ляжки.

Подобно немецкой верности, луч рудничной лампочки, не слишком ярко вспыхивая, в тишине и спокойствии вывел нас из лабиринта шахт и штолен. Мы поднялись наверх из спертой и мрачной глубины, солнце засветило опять. — «Счастливо подняться!»

Большинство рудокопов живет в Клаустале и в прилегающем к нему горном городке Целлерфельде. Я посетил некоторых из этих честных людей, познакомился с их скромною домашнею обстановкою, прослушал несколько их песен, премило сопровождаемых цитрой, их любимым инструментом, попросил рассказать мне старинные горные сказки, а также прочесть молитвы, обычно произносимые ими сообща перед спуском в темную шахту, и не раз от души помолился с ними вместе. Один старый штейгер решил даже, что мне следует остаться здесь и сделаться

рудодокопом, и когда я все-таки распрощался с ними, он дал мне поручение к своему брату, живущему недалеко от Гослара, и просил поцеловать много раз его милую племянницу.

Какою бы застывшею и неподвижною в своем покое ни казалось жизнь этих людей, все же это подлинная, живая жизнь. Древняя, дрожащая старуха, сидевшая за печкою против большого шкапа, просидела там, может быть, четверть века, и все ее мысли и чувства, несомненно, срослись со всеми углами печки, со всеми резными украшениями шкапа. И печь, и шкап — живы, так как человек вдохнул в них часть своей души.

Лишь благодаря такой глубине созерцательной жизни, благодаря «непосредственности» возникла немецкая волшебная сказка, особенность которой в том, что не только животные и растения, но и предметы, повидимому совершенно неодушевленные, говорят и действуют. Мечтательному и наивному народу, в тиши и уюте его низеньких лесных и горных хижин, открылась внутренняя жизнь этих предметов, получивших неотторжимую, последовательную индивидуальность, восхитительную смесь фантастической прелести и чисто человеческого мышления, и вот мы наталкиваемся в сказках на чудесные и вместе с тем совершенно понятные нам вещи: иголка с булавкою уходит из портняжного жилья и сбивается с дороги в темноте; соломинка и уголек переправляются через ручей и терпят крушение; совок с метлой, стоя на лестнице, затевают спор и драку; зеркало в ответ на вопрос являет первую красавицу; даже капли крови говорят жутким и темным языком о тревоге и сострадании. По тем же причинам так бесконечно значительна наша жизнь в детские годы: в то время всё для нас одинаково важно, мы всё слышим, мы всё видим, все впечатления соразмерны, тогда как впоследствии мы проявляем больше преднамеренности, вникаем главным образом в мелочи, с напряжением обменивая чистое золото созерцания на бумажные деньги книжных определений; выигрывая в широте жизни,

мы проигрываем в ее глубине. Вот мы, взрослые люди с положением, мы часто меняем квартиры, служанка ежедневно приводит в порядок и переставляет по своему усмотрению нашу мебель, очень мало нас интересующую, так как она или новая или сегодня принадлежит Гансу, а завтра Исааку; даже собственное наше платье чуждо нам — едва ли мы знаем, сколько пуговиц на куртке, облегающем наше тело; ведь мы меняем, как можем чаще, одежду, и ни одна из новых вещей не соответствует личной нашей истории — внутренней и внешней; мы едва в состоянии вспомнить, каков был тот коричневый жилет, над которым в свое время так смеялись, к широким полосам которого прикасалась, однако, так ласково нежная рука возлюбленной!

Старуха, сидевшая за печкой, против большого шкапа, одета была в узорчатую юбку из старомодной материи — свадебный наряд ее покойной матери. Ее правнук, светловолосый, остроглазый мальчик, в костюме рудопка, сидел у нее в ногах и считал цветы на ее юбке; она, пожалуй, рассказала ему немало историй об этой юбке, историй серьезных и занимательных; они не так-то скоро забудутся мальчиком и часто еще будут вставать в его памяти, когда он, взрослым человеком, будет работать одинокой ночью в штольнях «Каролины», и он, может быть, долгое время после смерти дорогой своей бабушки, сам уже сереброволосый и угасший старец, будет рассказывать эти истории в кругу внуков, сидя за печкою, против большого шкапа.

Ночь я провел в этой же гостинице «Корона», куда прибыл между тем и гофрат Б. из Геттингена. Я имел удовольствие сделать визит этому старому господину. Расписываясь в книге посетителей и перелистывая страницы за июль, я нашел в числе прочих драгоценное имя Адальберта Шамиссо, биографа бессмертного Шлемиля. Хозяин рассказал мне, что господин этот прибыл в неописуемо дурную погоду и в такую же погоду уехал.

На следующее утро я вынужден был вновь облегчить свою сумку и, выбросив пару находившихся в ней сапог, вскопчил на ноги и пустился к Гослару. Добрался я туда — сам не знаю как. Припоминаю только, что карабкался по горам, вверх и вниз, любовался с высоты красивыми видами на зеленые долины. Шумели серебристые воды, сладостно щебетали в лесах птицы, стада позванивали колокольчиками, солнце любовно золотило деревья во всем разнообразии их зелени, а полог неба, голубого шелка, был так прозрачен, что взор проникал до самых глубин, в святая святых, где ангелы восседают у ног господа бога, изучая в чертах его лица генерал-бас. Я же продолжал переживать сновидение минувшей ночи и не в силах был его рассеять. Это была старая сказка о рыцаре, спускающемся в глубокий колодец, где спит прекраснейшая принцесса, зачарованная тяжким сном. Рыцарь был я сам, колодец — мрачный клаустальский рудник; вдруг зажегся яркий свет, из всех боковых щелей повылезали бодрствовавшие там карлики, они начали строить злые гримасы, замахиваться на меня короткими мечами и пронзительно трубить в рог, созывая все новых и новых; широкие головы их ужасающе раскачивались. Только после того как я стал наносить удары по этим головам, и потекла кровь, я сообразил, что это были красные, волосатые пишки цветущего чертополоха, которые я сбивал палкою накануне, идя по дорсге. Все они тотчас рассеялись, и я проник в роскошный светлый сад. Посередине стояла под белым покрывалом возлюбленная моего сердца, застывшая и неподвижная, как статуя; я поцеловал ее в уста и — клянусь богом живым! — почувствовал благословенное веяние души ее и сладостное дрожание милых губ. Казалось мне, я услышал голос господеñ: «Да будет свет!» — и ослепительно сверкнул луч вечного света: но в то же мгновение настала опять ночь, и все стремительно слилось в каком-то хаосе в одно сплошное, дико бушующее море. Дико бушующее море! По волнам его в смятении носидись

призраки умерших, белые саваны их развевались по ветру, а за ними гонялся, щелкая бичом, пестрый арлекин, и арлекин этот был я, но вдруг из темной глубины выставили уродливые свои головы морские чудовища, они стали протягивать ко мне свои распяленные когти, и я от ужаса проснулся.

Как часто, однако, лучшие сказки можно испортить! Собственно говоря, рыцарь, разыскав спящую красавицу, должен вырезать кусок ее драгоценного покрывала, и после того как отвагою своею он разбудит ее от зачарованного сна, и она сядет опять на золотом кресле во дворце своем, рыцарь должен подойти к ней и спросить: «Прекрасная моя принцесса, знаешь ты меня?» И она ответит: «Мой отважный рыцарь, я не знаю тебя». Тогда рыцарь показывает ей вырезанный кусок, в точности подходящий к покрывалу, оба нежно заключают друг друга в объятия, гремят трубы, и торжественно празднуется свадьба.

В самом деле, я особенно несчастлив: мои любовные сны редко кончаются так прекрасно.

Слово «Гослар» звучит так отрадно, вызывает столько воспоминаний о древней империи, что я надеялся увидеть внушительный, величавый город. Но всегда так бывает, когда увидишь знаменитость вблизи! Я нашел гнездо с узкими, по большей части кривыми, как в лабиринте, улицами, через которые кое-где течет речонка, вероятно, Гоза. Город запущенный и душный, мостовые ухабистые, как берлинские гексаметры. Только древняя оправа города — остатки стен, башен и зубцов — придает ему нечто пикантное. Одна из башен, именуемая Замком, обладает столь толстыми стенами, что в них высечены целые комнаты. Площадь перед городом, на которой происходит знаменитое состязание стрелков, представляет собою обширный зеленый луг, окруженный высокими горами. Рынок невелик, посередине его расположен фонтан, изливающийся в большой металлический водоем. При пожарах бьют несколько раз о край его, получается далеко разносящийся звук. О про-

исхождении водоема ничего неизвестно. Некоторые утверждают, что дьявол поставил его на рынке однажды ночью. В те времена люди были еще глупы, глуп был и чорт, и они обменивались подарками.

Госларская ратуша — выкрашенная в белую краску караулка. Соседнее с нею гильдейское здание несколько красивее. Приблизительно на середине между землей и кровлей расставлены изваяния немецких императоров, черные как сажа и частью позолоченные, со скипетрами в одной руке и державами — в другой; они похожи на зажаренных университетских педелей. У одного из этих императоров в руке вместо скипетра меч. Я не мог догадаться, что означает эта разница, между тем, она, несомненно, имеет значение, так как немцы обладают замечательной привычкой при всяком деле, которое они делают, нечто иметь в виду.

В «Путеводителе» Готшалка я много кое-чего прочитал о древнем соборе и о знаменитом императорском троне в Госларе. Но когда пожелал осмотреть то и другое, мне сказали: «Собор скрыт, а императорский трон перевезен в Берлин». Мы живем в особо знаменательные времена: тысячелетние соборы срываются, а императорские троны сваливаются в чуланы.

Некоторые достопримечательности блаженной памяти собора выставлены теперь в церкви св. Стефана: прекраснейшая живопись по стеклу, несколько скверных картин, в том числе, как говорят, один Лука Кранах, далее — деревянный Христос на кресте и языческий алтарь из неизвестного металла, в форме продолговатого четырехугольного ящика, поддерживаемого четырьмя кариатидами, которые, согнувшись и уперев руки над головами, корчат отчаянные, отвратительные рожи. Однако еще безотраднее вышеупомянутое, рядом с ними стоящее деревянное распятие. Правда, голова Христа, с настоящими волосами и шипами, с лицом, выпачканным кровью, дает мастерское изображение умпрающего человека, но не богорожденного спасителя. Лишь одно физическое страдание вложено резцом в черты этого лица,

но не поэзия страдания. Такое изображение подходит более к анатомическому театру, чем к храму божиию...

Я жил в гостинице неподалеку от рынка, и обед показался бы мне еще вкуснее, если бы не подсел ко мне хозяин со своим длинным, ненужным лицом и скучными вопросами; по счастью, вскоре пришло избавление в лице другого путешественника, который тотчас же по прибытии подвергся такому же опросу и в том же порядке: *quis? quid? ubi? quibus auxiliis? cur? quomodo? quando?** Незнакомец оказался человеком старым, усталым и поношенным и, как выяснилось из его разговора, исколесил всю землю, жил особенно долго в Батавии, работал там много денег и все опять потерял, а теперь, после тридцатилетнего отсутствия, возвращался в Кведлинбург, свой родной город, «так как, — пояснил он, — у моей семьи там фамильный склеп». Хозяин весьма просвещенно заметил, что для души собственно безразлично, где будет покоиться тело. «Вы можете подтвердить это документально?» — спросил приезжий, и вокруг скорбных уст его и поблекших глазок хитро собрались тяжелые складки. «Однако, — боязливо и ободрительно добавил он, — этим я не имею в виду сказать что-либо плохое по адресу могил на чужбине. Турки хоронят своих мертвецов еще красивее, чем мы, их кладбища — настоящие сады, они сидят там на белых, увенчанных тюрбанами гробницах, в тени кипарисов, поглаживая серьезные свои бороды и спокойно покуривая свой турецкий табак из длинных турецких трубок; а у китайцев — прямо-таки приятно посмотреть, как они церемонно пляшут вокруг гробниц своих предков, и молятся, и распивают чай, и играют на скрипках, и премило украшают дорогие могилы всякими золочеными деревянными решеточками, фарфоровыми фигурками, локутами шелковой материи, искусственными цветами и разноцветными фонариками — очень мило. А далеко еще отсюда до Кведлинбурга?»

* кто? что? где? каким образом? почему? как? когда?

Госларское кладбище не очень-то мне понравилось. Тем более пришлась мне по сердцу обворожительная кудрявая головка, приветствовавшая меня по прибытии моем в город улыбочкою с высоты окна первого, несколько приподнятого этажа. Пообедав, я отправился на поиски приглянувшегося мне окна; но там теперь стояла только вазочка с белыми колокольчиками. Я вскарабкался наверх, взял из вазы прелестные цветы и спокойно прикрепил их к шапке, нисколько не смущаясь разинутыми ртами, окаменевшими носами и вытаращенными глазами прохожих, в особенности старух, взиравших на эту квалифицированную кражу. Когда час спустя я прошелся мимо того же дома, прелестница стояла у окна и, заметив колокольчики на моей шапке, зарделась и откинулась назад. Теперь я еще явственнее рассмотрел красивое личико; это было нежное и тончайшее воплощение свежести летнего вечера, лунного света, соловьиной песни и аромата роз. — Позднее, когда окончательно стемнело, она вышла за дверь на улицу. Я стал подходить, приблизился; она медленно отступает за порог, в темные сени, я беру ее за руку, говорю ей: «Я люблю красивые цветы и поцелуи, и краду то, чего мне не отдают по доброй воле», — с этими словами я быстро поцеловал ее, а когда она попыталась скрыться, успокоительно прошептал: «Завтра я уезжаю и наверное никогда не вернусь». Тут я почувствовал ответное трепетное прикосновение милых губ и пожатие ручек — и, смеясь, поспешил прочь. Да, я не могу не смеяться, вспоминая, что бессознательно повторил волшебную формулу, при помощи которой наши красные и синие мундиры побеждают женские сердца чаще, чем при помощи своей усатой обворожительности: «Завтра я уезжаю и наверное никогда не вернусь!»

Из окна моей комнаты открывался великолепный вид на Раммельсберг. Был чудесный вечер. Ночь стремительно неслась на своем черном коне, и ветер развевал его длинную гриву. Я стоял у окна и глядел на луну. Живет ли в действительности кто-нибудь на луне? Сла-

вяне утверждают, что там живет человек по имени Клотар и что он, подливая воду, достигает этим приобыли луны. В детстве я слышал, что луна — плод; когда плод созревает, господь бог снимает его и прячет, вместе с другими такими же полнолуниями, в большой шкап, находящийся на краю земли, который обшит досками. Когда я стал старше, я заметил, что мир далеко не так узок, что дух человеческий проломил все деревянные преграды * и вскрыл врата всех семи сфер небесных исполинским ключом Петровым — идеей бессмертия. Бессмертие! Прекрасная мысль! Кто первый тебя выдумал? Был ли то нюрнбергский обыватель, думавший приятные думы, сидя в теплой летний вечер у порога своего дома в белом ночном колпаке и с белой глиняной трубкой в зубах: было бы недурно, если бы можно было вот так-то и перейти на жительство в вечность, не выпуская трубочки изо рта и не испустив дыханьяца. Или то был молодой любовник, воспринявший мысль о бессмертии в объятиях возлюбленной — потому воспринявший, что он чувствовал эту мысль и не мог иначе чувствовать и воспринимать? — Любовь! Бессмертие! — Я почувствовал внезапно такой жар в груди, что мне показалось, будто географы передвинули экватор, и он проходит теперь как раз через мое сердце. И чувства любви начали изливаться из моего сердца, страстно изливаться — в необъятную ночь. Сильнее запахли цветы в саду под окном. Запах цветов — это их чувство, и подобно тому как сердце человеческое чувствует с большею силою в ночи, когда оно одиноко и никто не услышит, так и цветы, повидимому, стыдливо тая свою чувственность, дожидаются наступления сумерек чтобы всецело отдаться своим чувствам и излить их в сладостном благоухании. Излейся же, благоухание моего сердца! За теми горами разыщи возлюбленную снов моих! Она улеглась теперь и спит, у ног ее склонили колени ангелы, и ее сонная улыбка — молитва,

* Игра слов: по-немецки der Schrank — шкаф, созвучно die Schranke — преграда, граница.

которую повторяют за нею ангелы; в груди ее — рай и все райские блаженства, и когда она дышит, сердце мое дрожит в отдалении; солнце зашло за шелковыми ресницами очей ее; когда она открывает глаза — наступит день, и запоют птицы, стада загремят колокольчиками, и горы засветятся в своих изумрудных одеждах, а я подвяжу свою котомку и пушусь в путь.

В ночь, проведенную мною в Госларе, случилось со мною нечто в высшей степени необыкновенное. До сих пор я без страха не могу об этом вспомнить. По природе я не труслив, но духов боюсь почти так же, как «Австрийский наблюдатель». Что такое страх? Разум или чувство — его источник? На эту тему я неоднократно спорил с доктором Саулом Ашером, случайно встречаясь с ним время от времени в Берлине, в «Café royal», где долгое время обедал. Он утверждал, что мы испытываем страх перед тем, что путем выводов нашего разума признаем страшным. Только разум, а не чувство, является, по его мнению, силою. Я со вкусом ел и пил, а он излагал мне преимущества разума. Заканчивая свою речь, он смотрел обыкновенно на часы и заявлял: «Разум — высшее начало». — Разум! когда я слышу это слово, мне каждый раз представляется доктор Саул Ашер с его абстрактными ногами, в тесном трансцендентально-сером сюртуке, с резкими, холодными, как лед, чертами лица, которое годилось бы как чертеж для учебника геометрии. Человек этот, давно уже перешедший пятидесятилетний возраст, являл собою олицетворение прямой линии. В своем стремлении к положительному, бедняга вытравил, философствуя, из жизни все ее великолепие, все солнечные лучи, всякую веру, все цветы, и ничего ему не осталось в удел, кроме холодной, положительной могилы. Особую неприязнь питал он к Аполло́ну Бельведерскому и к христианству. Против христианства он составил даже брошюру, в которой доказывал его неразумность и несостоятельность. Вообще, он написал множество книг, в которых разум неизменно заявляет о своем превосходстве, при

чем бедняга доктор относится ко всему этому вполне серьезно и заслуживает, в данном отношении, всяческого уважения. Но в том-то и заключается комизм, что он строил дурацки серьезную мину, не понимая вещей, ясных всякому ребенку — именно потому, что он ребенок. Несколько раз побывал я у разумника доктора в его собственном доме, где каждый раз встречал хорошеньких девушек: разум ведь не воспрещает чувственности. Когда я так-то вновь собрался посетить его, слуга сказал мне: «Господин доктор только что умер». Я почувствовал при этом не более, чем если бы он сказал: «Господин доктор съехал с квартиры».

Но возвращаясь к Гослару. «Высшее начало — разум!» — сказал я успокоительно сам себе, ложась в постель. Но это не помогало. Только что я прочел в «Немецких рассказах» Фарнгагена фон Энзе, захваченных мною в Клаустале, ужасающую историю о том, как дух покойной матери ночью является к сыну и предупреждает его, что отец хочет его убить. Удивительное изложение этой истории так на меня подействовало, что во время чтения меня пронизала ледяная дрожь. К тому же рассказы о привидениях возбуждают еще большее чувство ужаса в путешествии, когда читаешь их ночью, в городе, в доме, в комнате, где никогда еще не бывал. Какие только ужасы ни происходили здесь, на том самом месте, где я лежу? — так думается невольно. Кроме того, месяц освещал комнату так двусмысленно, по стенам двигались какие-то непрошенные тени, и, когда я приподнялся в постели, чтобы осмотреться, я увидел...

Нет ничего более жуткого, чем неожиданно увидеть самого себя в зеркале при свете луны. В тот же миг послышались удары тяжелого зевающего колокола, и притом такие медленные и протяжные, что двенадцатый удар пробил, казалось мне, спустя полных двенадцать часов, и можно было ожидать, что колокол опять начнет бить двенадцать. В промежутке между предпоследним и последним ударом пробили другие часы, очень

быстро, почти яростно звонко, может быть, досадую на медленность своего соседа. Когда умолкли железные языки, один и другой, и во всем доме воцарилась мертвая тишина, мне показалось внезапно, что в коридоре, у дверей моей комнаты шлепает и шуршит что-то в роде неровной старческой походки. Наконец дверь отворилась, и в комнату медленно вошел покойный доктор Саул Ашер. Ледяной озноб прошел по моему телу, я задрожал, как осиновый лист, и едва решился взглянуть на привидение. Доктор был все тот же, тот же трансцендентально-серый сюртук, те же абстрактные ноги, то же математическое лицо; только лицо это казалось желтее, чем прежде, рот, обычно составлявший два угла в $22\frac{1}{2}$ градуса, был сжат, и глазницы очерчены большим радиусом. Покачиваясь и опираясь, как всегда, на камышевую трость, он приблизился ко мне и дружески произнес в обычном медлительном тоне: «Не бойтесь и не думайте, что перед вами призрак. Если вы полагаете, что я призрак, то это обман вашей фантазии. Что такое призрак? Дайте определение. Выведите мне условия возможности призраков. В какой разумной связи с разумом могло бы находиться подобное явление? Разум, говорю я, разум...» И привидение приступило к анализу понятия разума, привело цитату из кантовской «Критики чистого разума» — 2-я часть, 1-й отдел, 2-я книга, 3-я глава, различие между феноменами и ноуменами, сконструировало предположительную систему веры в привидения, сопоставило ряд силлогизмов и закончило логическим выводом: привидений вообще не бывает. Холодный пот выступил на моей спине, зубы стучали, как кастаньеты, из малодушия я кивал головою в знак безусловного согласия при каждой посылке призрака, утверждавшей бессмысленность страха перед привидениями; он же столь усердно демонстрировал свою мысль, что раз, по рассеянности, вынул из жилетного кармана вместо золотых часов пригоршню червей и, обнаружив свою ошибку, с поспешностью, в забавном испуге, засунул их обратно.

«Разум высшее...» — тут колокол пробил час, и привидение исчезло.

На другое утро я пустился в путь из Гослара, отчасти — куда глаза глядят, отчасти — с намерением разыскать брата клаустальского рудокопа. Опять прелестный радостный воскресный день. Я всходил на холмы и горы, смотрел, как солнце пыталось разогнать туманы, весело брел по шумящим лесам, и колокольчики — цветы Гослара — звоном сопровождали мои грезы. Горы стояли в своих белых ночных мантиях, ели стряхивали с себя дремоту, свежий утренний ветер убирал их свешивающиеся зеленые кудри, птички совершали утреннюю молитву, луговая долина блестела, как осыпанный алмазами золотой покров, и пастух бродил по ней за своим позванивающим стадом. Собственно говоря; возможно, что я заблудился. Всегда стремишься итти боковыми дорогами и тропинками, думая скорее достичь цели. На Гарце то же, что и в жизни вообще. Но всегда встречаются добрые души, указывающие нам верный путь; они делают это очень охотно и кроме того находят особое удовлетворение в том, чтобы с самодовольным выражением лица, голосом громким и благосклонным пояснять, какой длинный крюк мы сделали, в какие пропасти и болота могли попасть, и какое счастье, что мы своевременно повстречали таких осведомленных людей, как они. С подобным осведомителем встретился я недалеко от Гарцбурга. Это был упитанный обыватель Гослара, с лоснящимся, одутловатым, дурацки-умным лицом; вид у него был такой, словно он изобрел скотский падеж. Мы прошли некоторое расстояние вместе, при чем он рассказывал мне всевозможные истории о привидениях; истории были бы очень недурны, если бы не били на то, что на деле никаких привидений не было, а белая фигура оказалась браконьером, стонущие звуки издавал только что родившийся кабаненок, а шум на чердаке производила домашняя кошка. «Только больной человек, — присовокупил он, — верит в привидения». Что касается его самого, то он болеет

редко и лишь порою страдает кожными болезнями, от которых всякий раз излечивается, глотая натошак слюну. Он обратил также мое внимание на целесообразность и пользу всего в природе. Деревья зелены потому, что зеленый цвет полезен для глаз. Я согласился с ним и добавил, что бог сотворил рогатый скот потому, что говяжий бульон подкрепляет человека; что ослов он сотворил затем, чтобы они служили людям для сравнений, а самого человека он сотворил, чтобы он питался говяжьим бульоном и не был ослом. Спутник мой пришел в восхищение, найдя во мне единомышленника, лицо его расцвело еще радостнее, и прощаясь со мною, он растрогался.

Пока он шел со мною рядом, вся природа была как бы расколдована, но лишь только он удалился, опять заговорили деревья, зазвенели лучи солнца, заплясали луговые цветы, и голубое небо приняло в объятия зеленую землю. Да, я знаю получше: бог создал человека, чтобы он изумлялся великолепию мира. Всякий автор, как бы он ни был велик, ищет похвал своему произведению. И в Библии — мемуарах господних — определенно сказано, что он создал людей во славу и похвалу себе.

После долгого блуждания по всевозможным направлениям, я двинулся до жилища брата моего клау-стальского приятеля, переночевал там и пережил следующее прекрасное стихотворение:

I

На горе стоит избушка,
В ней живет шахтер седой;
Шумны темные там ели,
Светел месяц золотой.

У окна резное кресло,
Чудо-кресло, не скамья,
Кто сидит в нем, тот счастливец.
И счастливец этот — я!

На скамеечке малютка
У моих уселась ног;
Глазки — звезды голубые,
Ротик — аленький цветок.

Глазки-звездочки раскрыты
Широко, как небосвод,
И лукаво к пухлым губкам
Свой лилейный пальчик жмет.

«Нет, не бойся, мать не видит:
Села с прялкою к окну,
А отец взял в руки цитру
И поет про старину».

И малютка продолжает
Тихо в уши мне шептать.
Много тайн за это время
Довелось мне услышать.

«С той поры, как нету тетки,
Не приходится уж нам
Ездить в Гослар на гулянье,
А уж как чудесно там!

Здесь, на этом горном склоне,
Так тоскливо жить одним,
А зимою мы под снегом,
Как схоронены сидим.

И при том же, я трусиха,
Как дитя, впадаю в страх,
Только вспомню злобных духов,
Промышляющих в горах».

Точно слов своих пугаясь,
Прерывает вдруг рассказ,
И обеими руками
Прикрывает звезды глаз,

Все шумнее шелест ели,
Громче треск веретена,
И в звенящих струнах цитры
Оживает старина.

«Не страшись, моя малютка,
Злые духи скрылись прочь,
Божьи ангелы на-страже
Над тобою — день и ночь!»

II

Ель протягивает пальцы
И стучится под окном,
Месяц, бледный соглядатай,
Льет сиянье в тихий дом.

Мать с отцом храпят негромко .
В ближней спальне, за стеной,
Мы же время коротаем
За блаженной болтовней.

«Будто часто ты молился?
Нет, меня не проведешь —
Неужели от молитвы
На губах такая дрожь?

Эта дрожь, такая злая,
Страх наводит на меня,
Но в глазах твоих сиянье
Благодатного огня.

Сомневаюсь, чтоб ты верил,
Как священник нас учил,
Чтобы ты отца и сына
И святого духа чтил».

«Ах, дитя мое, ребенком,
У родимой на руках,
Верил я, что правит миром
Бог-отец на небесах.

Тот, кто дивно создал землю,
Человека сотворил,
Кто звездам, луне и солнцу
Их пути определил.

А когда я вырос, крошка,
Много больше я узнал
И, постигнув человека,
В сына верить тоже стал,

В сына божьего, что людям
Дал любовь и чистоту
И, как водится, в награду
Пригвожден был ко кресту.

Я теперь созрел, начитан,
Видел многие края,
И в святого духа верю
Всей душой своею я.

Сотворил чудес он много
И еще творить готов.
Он разрушил замки гордых,
Сокрушил ярмо рабов.

Раны лечит, обновляет
Право древней старины:
Все мы, люди, от рожденья
Благородны и равны.

Гонит он туманы злые
И рассеивает гнет,
Что вкушать любовь и радость
День и ночь нам не дает.

Сотни рыцарей отважных,
В броне панцирей и лат,
Служат духу всеблагодарному,
Волю высшую творят.

Гордо веют их знамена,
И мечи блестят у них,
Ты хотела бы, малютка,
Видеть рыцарей таких?

Так гляди ж смелей мне в очи
Поцелуй меня! Взгляни!
Я и сам такой же рыцарь,
Рыцарь духа, как они!»

III

За зеленой хвоей ели
Месяц тихо прячет лик,
В нашей комнате мерцает
Догорающий ночник.

Только звезды голубые
Светят ярче в поздний час,
И пылает алый ротик,
И она ведет рассказ:

«Эти крошки — домовые
Поедают нашу снедь,
Накануне полон ящик,
Поутру — пустая клеть.

Эти крошки слижут ночью
Наши сливки с молока,
А остатки выпьет кошка
Из открытого горшка.

Да и кошка наша — ведьма,
Ночью вылезет на двор
И гуляет в дождь и вьюгу
По развалинам среди гор.

Там стоял когда-то замок,
В пышных залах яркий свет,
Дамы, рыцари и свита
Танцевали менуэт.

Но однажды злая фея
Нашептала злобных слов,
И теперь среди развалин
Гнезда филинов и сов.

Впрочем, тетка говорила:
Стоит только слово знать
И его в урочном месте
И в урочный час сказать, —

И опять из тех развалин
Стены гордые взойдут,
Дамы, рыцари и свита
Танцовать опять начнут,

Тот, кто скажет слово, станет
Обладателем всего,
Звуки трубные прославят
Светлость юную его».

Так цветут волшебной сказкой
Алых губок лепестки,
И сверкают в глазках-звездах
Голубые огоньки.

Нижет кудри мне на пальцы
И дает им имена,
И смеется, и целует,
И смолкает вдруг она.

И с таким приветом тихим
Смотрит комната на нас.
Этот стол и шкаф, как будто,
Я уж видел много раз.

Мирно маятник болтает,
Струны цитры на стене
Еле слышно зазвенели,
И сижу я, как во сне.

«Вот урочный час и место
Вот, когда пора сказать:
Ты, малютка, удивишься,
Как я слово мог узнать.

Лишь скажу, и ночь поблекнет,
Не дождавшись до утра,
Зашумят ручьи и ели,
Вздрогнет старая гора.

Из ущелья понесутся
Звуки, полные чудес,
Запестреет, как весною,
Из цветов веселый лес,

Листья, странные, как в сказке,
Небывалые цветы,
Полны чар благоуханья
И пьянящей пестроты.

Розы красные, как пламя,
Загорятся здесь и там,
И колонны белых лилий
Вознесутся к небесам.

Звезды крупные, как солнца,
Запылают над землей,
В чащи лилий исполинских
Свет вливая голубой.

Мы с тобой, моя малютка,
Всех изменимся сильнее;
Окружат нас шелк и бархат,
Вспыхнет золото огней.

Ты принцессой станешь гордой,
Замком делается дом —
Дамы, рыцари и свита
Пляшут весело кругом.

Все мое — и ты, и замок
В этом сказочном краю,
Славят трубы и литавры
Светлость юную мою!»

Взошло солнце. Туманы рассеялись, как призраки при третьем крике петуха. Я снова стал взбираться на горы и спускаться с гор, а передо мною плыло прекрасное солнце, освещая все новые и новые красоты. Горный дух открыто проявлял свою ко мне благосклонность; он знал, конечно, что наш брат поэт может пересказать много хорошего, и в это утро дал он мне увидеть свой Гарц таким, каким его видел, конечно, не всякий. Но и меня увидел Гарц, каким меня немногие видели: на ресницах моих дрожали жемчужины, столь же драгоценные, как те, что переливались среди трав долины. Утренняя роса любви увлажняла мои щеки, шумящие ели понимали меня, разводя свои ветви и качая ими вверх и вниз, подобно немым, выражающим радость движением руки, а вдаль что-то звучало чудесно и таинственно, будто колокол затерянной в лесу церкви. Говорят, это колокольчики стад, издающие в Гарце такие нежные, ясные и чистые звуки.

Судя по положению солнца, был полдень, когда я встретился с таким стадом, и пастух, приветливый, светловолосый парень, сказал мне, что высокая гора, у подножия которой я стою, — старинный, знаменитый по всей земле Брокен. На много часов пути вокруг этой горы нет жилья, потому я был очень доволен, когда парень предложил мне поесть вместе с ним. Мы уселись за *déjeuner dinatoire* *, состоявший из сыра и хлеба; овечки подбирали крошки, прелестные белые коровки прыгали вокруг нас, плутовски позванивая своими колокольчиками, и их большие, довольные глаза смеялись, глядя

* Ранний обед под видом завтрака.

на нас. Мы покушали по-королевски; вообще, хозяин мой показался мне королем, а так как он единственный король, который дал мне хлеба, то я и хочу воспеть его как короля.

Пастушок — король над стадом,
Холм зеленый — гордый трон,
Над его головкой солнце
Лучезарней всех корон.

В красных крестиках барашки
Льстиво ластятся к ногам,
А телята-кавалеры
Гордо бродят по лугам.

Средь козлят придворной труппы
Каждый — чудо, не актер,
А коровьи колокольцы,
Флейты птиц — оркестр и хор

Все поет, играет нежно,
Тих и нежен дальний гул
Водопадов, стройных елей, —
И король слегка вздремнул.

В это время государством
Управляет верный пес,
Чье сердитое рычанье
Ветер по полю разнес,

А король сквозь сон бормочет:
«Что за бремя эта власть!
Хорошо бы к королеве
Поскорей домой попасть!»

Головой прилечь державной
К ней на грудь хотел бы я!
В нежном взоре королевы
Вся монархия моя!»

Мы дружески простились, и я весело стал взбираться в гору. Скоро вошел я в чащу высоких, до самого неба, елей, к которым питаю всяческое уважение. Дело в том, что этого рода деревьям не так-то легко расти, и в юности им пришлось немало претерпеть. Гора усеяна в этом месте большими гранитными глыбами, и большинству деревьев приходится оплетать их своими корнями или же разрывать их, с трудом находя почву для своего пропитания. Там и сям громоздятся камни, образуя как бы ворота, а на них стоят деревья, простирая обнаженные корни над каменными воротами и достигая почвы лишь у их подножия, так что они кажутся растущими в воздухе. И все-таки они достигли громадной высоты, как будто срослись с цепко охваченными камнями, и стоят более прочно, чем их мирные товарищи, выросшие на ровном месте, на безобидной лесной почве. Так держатся и в жизни те великие люди, которые, преодолев первоначальные задержки и препятствия, возмужали и укрепились. Белки карабкались по ветвям елей, а под ними разгуливали желтые олени. Глядя на это милое, благородное животное, я не могу понять, какое удовольствие находят образованные люди в том, чтобы травить его и убивать. Ведь, это животное оказалось милосерднее людей и вскормило томившегося от голода сына святой Женевьевы, Шмерценрейха.

Густую зелень елей чудесно пронизывали золотые лучи солнца. Древесные корни образовали естественную лестницу. Повсюду мягкие мшистые скамьи, ибо камни поросли на фут толщиной красивейшими породами мха, как будто прикрыты подушками светлозеленого бархата. Нежная прохлада и мечтательное бормотание ручьев. Видно, как там и сям пробивается под камнями светло-серебристая вода, орошая обнаженные корни и волокна деревьев. Склоняясь над всем этим, как бы подслушиваешь тайную историю их развития и спокойное биение сердца горы. Кое-где вода с большою силою вырывается из-под камней и корней, образуя небольшие водопады. Здесь хорошо присесть.

Кругом такой чудесный шорох и бормотание, птицы издают отрывочные, томительно зовущие звуки, деревья шепчутся тысячью девических голосов, и тысячью девичьих глаз смотрят на тебя особенные горные цветы, протягивая широкие, забавно зазубренные листья; весенние солнечные лучи, играя, скользят там и сям, задумчивые травки рассказывают друг другу зеленые сказки, и все как зачаровано, все становится таинственней и таинственней, оживает древняя мечта, появляется возлюбленная, — ах, как скоро она исчезает!

Чем выше взбираешься на гору, тем ниже и приземистее становятся ели; кажется, они все больше и больше съеживаются, наконец остаются только кусты черники и красной смородины да горные травы. Тут уже холод чувствительнее. Удивительные группы гранитных глыб лишь здесь становятся особенно заметны, поражая подчас своими размерами. Это, верно, мячи, которыми перебрасываются, играя, злые духи в Вальпургиеву ночь, когда ведьмы приезжают верхом на метлах и навозных вилах, и начинается, по рассказам простодушной нянюшки, чудовищное, гнусное игрище, которое можно созерцать на прекрасных иллюстрациях к «Фаусту» маэстро Ретцша. Один молодой поэт, проезжая верхом из Берлина в Геттинген мимо Брокена в ночь на первое мая, заметил даже, как несколько литературных дам, которые, усевшись на скалистом выступе, образовали эстетический чайный кружок и с приятностью читали вслух «Вечернюю газету», производили в мировых гениях своих поэтических козлят, прыгавших с блеянием у чайного стола, и высказывали в окончательной форме свои суждения о различных явлениях немецкой литературы; но, когда они дошли до «Ратклифа» и «Альмансора» и начали отказывать автору в набожности и христианском чувстве, волосы у молодого человека встали дыбом, отчаяние овладело им, — я прищипорил коня и ускакал прочь.

В самом деле, когда взбираешься на вершину Брокена, нельзя удержаться от мысли об увлекательных

блоксбергских историях и в особенности о великой, таинственной национальной немецкой трагедии — о докторе Фаусте. Мне все время казалось, что следом за мною взбиралось в гору чье-то лошадиное копыто, и кто-то юмористически переводил дыхание. Думается мне, у самого Мефистофеля захватывает дух, когда он взбирается на свою любимую гору. Это в высшей степени утомительная дорога, и я был рад, когда наконец увидел долгожданный дом на Брокене.

Дом этот, известный по многим рисункам, всего-навсего одноэтажный и находится на вершине горы; выстроен он только в 1800 году графом Штольберг-Вернигероде, на его же счет содержится в доме гостиница. Стены поразительной толщины, так как приняты во внимание ветер и зимняя стужа; крыша низкая, посредине ее находится вышка в форме башни. Рядом с домом расположены еще два небольших здания, одно из которых служило в прежнее время приютом для посетителей Брокена.

При входе в брокенский дом я испытал чувство чего-то необычного, сказочного. После долгого одинокого пути среди елей и утесов, переносишься внезапно в надоблачное жилище; города, горы и леса остаются внизу, а вверх находишь чужое общество удивительного подбора; оно встречает тебя, как водится в таких местах, словножданного сотоварища, наполовину с любопытством, наполовину равнодушно. Я застал полный дом гостей и, как подобает разумному человеку, начал уже подумывать о ночи и о неудобствах соломенного тюфяка; умирающим голосом я потребовал себе чаю, и хозяин брокенской гостиницы был достаточно сообразителен, чтобы понять, что перед ним больной человек, нуждающийся на ночь в порядочной постели. Такую постель устроил он мне в тесной комнатке, где уже расположился молодой коммерсант, долговязый рвотный порошок в коричневом костюме.

В общей комнате застал я сплошной шум и движение. То были студенты различных университетов. Некоторые

недавно прибыли и отдыхают, другие готовятся в путь, завязывают свои сумки, записывают свои имена в книгу для посетителей и принимают от служанок букеты брокенских цветов; вот где шиплют за щеки, распевают, прыгают, резвятся, задают вопросы, отвечают; пожелания хорошей погоды, доброго пути, «на здоровье», «с богом»! Некоторые из отбывающих подвыпили и испытывают двойное удовольствие от красивых видов, так как у пьяного все двойится в глазах.

Подкрепившись достаточно, я поднялся на вышку и застал там маленького господина с двумя дамами, молодою и пожилую. Молодая дама была прекрасна. Величественная фигура, на кудрявой голове черная атласная шляпа наподобие шлема, белыми перьями которой играл ветер, стройный стан так плотно охвачен черным шелковым плащом, что обрисовывались благородные формы, а большие свободные глаза спокойно смотрели в обширный, открытый мир.

Мальчиком я ни о чем не думал, кроме волшебных и сказочных историй, и всякая красивая дама с страусовыми перьями на голове казалась мне королевою эльфов, а если я замечал, что шлейф ее платья подмочен, я принимал ее за русалку. Теперь я рассуждаю иначе, зная из естественной истории, что эти символические перья получаютс я от глупейшей птицы, а шлейф дамского платья может подмокнуть самым естественным образом. Взгляни я на Брокене глазами мальчика на эту красивую даму в ее красивой позе, я бы, конечно, подумал: это фея гор, она только что произнесла заклятие, от которого все внизу стало чудесным. Да, в высшей степени чудесным кажется нам все при первом взгляде с Брокена вниз, все стороны нашего духа воспринимают новые впечатления, и впечатления эти, большею частью разнообразные и даже противоречивые, соединяются в нашей душе в одно большое, пока смутное и непонятное чувство. Если нам удастся познать природу этого чувства, то мы проникнем в характер горы. Характер этот — чисто немец-

кий, как в недостатках, так и в преимуществах. Брокен — немец. С немецкою основательностью, ясно и отчетливо, открывает он нам, как в исполинской панораме, многие сотни городов, городков и сел, лежащих по большей части к северу, и кругом, в бесконечной дали, все горы, леса, реки, равнины. Но именно поэтому все кажется резко очерченною, богато расцветченною географическою картою, и ничто не радует глаза собственно красивыми видами; так оно и бывает с нами, немецкими компиляторами: благодаря честности, с которою мы стремимся в точности передать все, как есть, мы не в состоянии дать ничего красивого в отдельности. Что-то есть также в этой горе немецки-спокойное, понятливое, терпимое; именно потому, что она может все обозреть так далеко и так ясно. И если такая гора широко откроет свои исполинские глаза, она увидит несколько побольше, чем мы, близорукие карлики, ползающие по ней. Правда, многие пытаются утверждать, что Брокен — в высшей степени филистер, и Клаудиус пел: «Блоксберг — филистер долговязый». Но это ошибка. Правда, лысая макушка, которую он прикрывает время от времени колпаком тумана, придает ему оттенок чего-то филистерского; но, как и у всех других великих немцев, это происходит от чистой иронии. Достоверно известно, что Брокен переживает даже свои разгульные, фантастические минуты, например в первую майскую ночь. Тогда он ликуя кидает высоко в воздух свой туманный колпак и становится, подобно нам прочим, романтическим безумцем, в совершенно немецком духе.

Я тотчас попытался завязать разговор с красавицей; ведь наслаждение красотою природы становится полным лишь тогда, когда имеешь возможность тут же высказаться. Она не проявила блестящего ума, но оказалась вдумчивой и внимательной. Манеры поистине благородные. Я разумею не то обычное, натянутое, отрицательное благородство, в точности созвучное, о чем должно молчать, но то, редко встречающееся,

свободное, положительное благородство, которое ясно подсказывает, что надо делать, и дает нам, при полной непринужденности, высшую степень уверенности в общстве. Я обнаружил, к собственному своему удивлению, обширные географические познания, называл любознательной красавице имена всех лежавших перед нами городов, розыскал их и показал на своей карте, раскинув ее на каменном столе посреди вышки с видом настоящего доцента. Несколько городов мне не удалось найти, так как я искал больше пальцами, чем глазами, которые изучали между тем наружность прелестной дамы, находя на ее лице места много интереснее, чем Ширке и Эленд. Лицо это принадлежало к числу тех, которые никогда не возбуждают страсти, редко очаровывают и всегда нравятся. Я люблю такие лица, они улыбкою своею успокаивают мое мятущееся сердце.

Я не мог догадаться, в каких отношениях мог находиться к своим спутницам маленький господин. Это была тощая, примечательная фигура. Головка, скупо прикрытая седыми волосиками, спускавшимися с низкого лба к зеленоватым стрекозиным глазам, круглый, далеко торчащий нос, а рот и подбородок, напротив, боязливо оттянуты назад, к ушам. Лицо это казалось сделанным из той нежной желтоватой глины, из которой скульпторы лепят свои первые модели; и когда сжимались его узкие губы, на щеках собирались тысячи тончайших полукруглых морщин. Маленький человек не произносил ни слова и лишь время от времени, когда старшая спутница что-то дружески ему нашептывала, улыбался, как мопс, страдающий насморком.

Пожилая дама оказалась матерью младшей и тоже обладала очень благородными формами. Глаза ее выражали болезненную мечтательную задумчивость, около рта лежала складка строгой набожности, но, казалось мне, когда-то этот рот был прекрасен и много смеялся, и получил много поцелуев и много

раз отвечал на них. Лицо ее походило на Codex palimpsestus *, где сквозь свежий монашескою рукою вписанный текст из отцов церкви просвечивают наполовину стертые стихи древнегреческого эротического поэта. Обе дамы побывали в этом году со своим спутником в Италии и рассказали мне много хорошего про Рим, Флоренцию и Венецию. Мать много говорила о рафаэлевских картинах в соборе св. Петра, дочь более уделила внимания опере в театре Фениче.

Пока мы беседовали, стало смеркаться. Повеяло холодом, солнце склонилось ниже, и площадка башни наполнилась студентами, мастеровыми и несколькими почтенными горожанами с их супругами и дочерьми, желавшими полюбоваться закатом солнца. Это величественное зрелище настраивает душу на молитвенный лад. Почти четверть часа стояли все в строгом молчании, смотря, как прекрасный огненный шар постепенно опускается на западе; лица были освещены лучами вечерней зари, руки непроизвольно складывались; казалось, мы стоим тихою общиною среди исполинского собора, и пастырь поднимает тело господне, и из органа льются звуки вечного хора Палестрины.

Стоя таким образом, погруженный в глубокую задумчивость, слышу я, как кто-то рядом со мною громко произносит: «Как прекрасна, вообще говоря, природа!» Эти слова вырвались из переполненной груди моего товарища по комнате, молодого купца. Я вернулся благодаря этому к своему будничному настроению, оказался в состоянии рассказать дамам много приятного о солнечном закате и спокойно проводил их в их комнату, как будто бы ничего и не произошло. Они разрешили мне побеседовать с ними еще с час. Как сама земля, разговор наш вертелся вокруг солнца. Мать заявила: солнце, погружаясь в туманы, походит на пылающую темнокрасную розу, брошенную галантным небосводом в широко раскинутую белую

* Палимпсест — пергамент, на котором по стертой рукописи написана новая.

подвенечную фату его возлюбленной — земли. Дочь улыбнулась и сказала, что частое созерцание подобных явлений природы ослабляет впечатление от них. Мать внесла поправку в этот ложный взгляд, приведя цитату из «Путевых писем» Гете, и спросила меня, читал ли я «Вертера». Кажется, мы говорили также об ангорских кошках, этруских вазах, турецких шальях, макаронах и о лорде Байроне, при чем пожилая дама, очень мило лепеча и вздыхая, продекламировала несколько строк из его произведений, относящихся к закату солнца. Я рекомендовал молодой даме, которая не понимала по-английски и желала познакомиться с этими произведениями, переводы моей прекрасной, высокоодаренной соотечественницы, баронессы Элизы фон Гогенгаузен, при чем не преминул, согласно обыкновению своему в разговоре с юными дамами, распространиться о безбожии Байрона, его безлюбии, безутешности и еще бог знает о чем.

Покончив с этим, я вышел еще раз прогуляться по Брокену. Здесь ведь никогда не бывает совсем темно. Туман был негустой, и я мог различить очертания обоих холмов, из которых один зовется «Алтарем ведьм», а другой «Чортовой кафедрой». Я выстрелил из пистолета, но эхо не отозвалось. Внезапно слышу я знакомые голоса и чувствую, как меня обнимают и целуют. Это оказались земляки, покинувшие Геттинген спустя четыре дня после меня и очень изумленные тем, что нашли меня в полном одиночестве на Блоксберге. Настал черед рассказам, удивлению, сговорам, смеху и воспоминаниям, и душою мы опять неслись в нашу ученую Сибирь, где культура стоит на такой высоте, что медведей привязывают в гостиницах *, а соболи приветствуют охотника пожеланием доброго вечера.

В большой зале состоялся ужин. Длинный стол, и за ним два ряда голодных студентов. Вначале обычный университетский разговор: дуэли, дуэли и опять

* Игра слов: den Bären anbinden — дословно: привязать медведя, означает также — брать в долг.

дуэли. Общество составляли главным образом галлевцы, и главной темой беседы был поэтотому Галле. Стекла окон гофрата Шютца были экзегетически освещены. Потом говорили, что последний прием у кипрского короля сошел блестяще, что он назначил своим наследником незаконного сына и взял в супруги с левой стороны лихтенштейнскую принцессу, уволил в отставку свою государственную содержанку, и растроганное министерство в полном составе проливало слезы, согласно предписанию. Нет нужды пояснять, что речь идет о сановниках пивной в Галле. Затем разговор коснулся двух китайцев, которых можно было видеть два года назад в Берлине и которые теперь оказались приват-доцентами в Галле, по кафедре китайской эстетики. Пошли остроты. Предположили такой случай: немец показывает себя за деньги в Китае; по этому случаю изготовлен особый анонс, в коем мандарины Чинг-Чангчунг и Хи-Ха-хо удостоверяют, что это настоящий немец, и перечисляют кунштюки немца, состоящие главным образом в умении философствовать, курить табак и проявлять терпение; тут же указано, что не следует в двенадцать часов, когда происходит кормление, приводить с собою собак, так как они имеют обыкновение воровать у бедного немца лучшие куски.

Молодой корпорант, недавно съездивший в Берлин с целью освежиться, много, но весьма односторонне рассказывал об этом городе. Он побывал у Высоцкого и в театрах; о том и о другом судил он ложно: «Поспешная юность на слова...» и т. д. Он толковал о расходах на костюмы, о скандалах в кругу актеров и актрис и т. п. Молодой человек не знал, что в Берлине, где внешность имеет преимущественное значение, о чем свидетельствует известное выражение «все так делают», эта показная сторона должна особенно пышно расцвести на подмостках, и дирекция театров должна проявлять более всего заботы о «цвете бороды, назначенной для такой-то роли», о верности костюмов, проектируемых присяжными историками и изготавливаемых портными

с научною подготовкою. Это необходимо. Ведь если бы на Марии Стюарт надет был передник времен королевы Анны, банкир Христиан Гумпель в праве был жаловаться, что лишился по этой причине всякой иллюзии; и если бы лорд Бёрлей по рассеянности надел штаны Генриха IV, конечно, военная советница фон Штейнцопф, рожденная Лилиентау, весь вечер страдала бы от такого анахронизма. Эта заботливость главной дирекции об иллюзии распространяется, однако, не только на передники и штаны, но и на носящих их персонажей. Так, в будущем роль Отелло должна исполняться настоящим чернокожим, которого профессор Лихтенштейн выписал уже с этою целью из Африки; в «Ненависти к людям и раскаянии» Евлалию должна будет играть действительно погибшая женщина, Петра — действительно глупый мальчишка и Неизвестного — действительный тайный рогоносец, — всех трех, конечно, незачем выписывать из Африки. Если вышеупомянутый молодой человек плохо уяснил себе условия берлинского театра, то еще меньше он обратил внимания на то, что янычарская опера Спонтини, с ее трубами, слонами, литаврами и там-тамами, служит героическим средством для укрепления воинственного духа в нашем дремлющем народе, средством, которое рекомендовалось еще государственно-хитрыми Платоном и Цицероном. Менее всего уразумел молодой человек дипломатическое значение балета. С трудом удалось мне доказать ему, что в ногах Гоге больше политики, чем в голове Бухгольца, что все его пируэты символизируют дипломатические переговоры, что каждое его движение имеет отношение к политике, так, например, он имеет в виду наш кабинет, когда, страстно пригибаясь вперед, простирает далеко руки; что он намекает на Союзный сейм, вертясь до ста раз на одной ноге и не двигаясь с места; что он имеет в виду мелких государей, когда семенит по сцене, как будто со связанными ногами; изображает европейское равновесие, качаясь туда и сюда, как пьяный; что он представляет

конгресс, изогнув руки и сжав их в плотный клубок, и наконец, что он разумеет нашего непомерно великого друга на Востоке, когда, постепенно поднимаясь в высоту, застывает надолго в таком положении и вдруг пускается в самые устрашающие прыжки. Завеса упала с глаз молодого человека, и он понял теперь, почему танцовщики лучше оплачиваются, чем великие поэты, почему балет служит неистощимой темой для разговоров в дипломатическом корпусе, и почему хорошенькая танцовщица нередко встречает неофициальную поддержку министра, который, конечно, дни и ночи старается втолковать ей свою политическую систему. Клянусь Аписом, как велико число экзотерических посетителей театра и мало число эзотерических! Глухая публика стоит и глазееет, и удивляется прыжкам и поворотам, изучает анатомию по позам г-жи Лемьер, аплодирует антраша г-жи Рениш, болтает о грации, о гармонии и о бедрах, и никто не замечает, что письмена танца пишется перед ним грядущая судьба немецкого отечества.

Меж тем как разговор касался того и другого, не упущено было и полезное, и должное внимание отдано было большим блюдам, добросовестно нагруженным мясом, картофелем и т. п. Однако кушанья были плохие; об этом я вскользь заметил своему соседу, но тот, с акцентом, выдающим швейцарца, отвечал совсем невежливо, что нам, немцам, чуждо понятие об истинной свободе, а также — об истинной умеренности. Я пожал плечами и ответил, что истинные княжеские лакеи и изготовители сластей — всюду швейцарцы, и так преимущественно и называются, и что вообще нынешние герои швейцарской свободы, болтающие публично так много и смело о политике, кажутся мне теми зайцами, которые на ярмарочных площадях стреляют из пистолета, вызывая своей отвагой изумление детей и крестьян, — и все же остаются зайцами.

Сын Альпов не имел, конечно, злых намерений; «это был толстый человек, следовательно — добрый

человек», как говорит Сервантес. Но сосед мой с другой стороны, грейфсвальдец, был очень задет таким заявлением; он стал утверждать, что немецкая жизненность и простота еще не угасли, и, угрожающе колотя себя в грудь, осушил громадную кружку белого пива. Швейцарец сказал: «Ну, ну!» Однако чем успокоительнее произносил это швейцарец, тем яростней затевал ссору грейфсвальдец. То был человек из эпохи, когда виши благоденствовали, а парикмахеры боялись умереть с голоду. Его длинные волосы болтались, на нем был рыцарский берет, черный сюртук старонемецкого покроя, грязная рубашка, исполнявшая одновременно обязанности жилетки, и под нею — медальон с клочком волос, принадлежавших белому блюхеровскому коню. С виду это был дурак в натуральную величину. Я охотно совершаю моцион за ужином, а потому позволил ему втянуть меня в патриотический спор. По его мнению, Германию следовало разделить на тридцать три округа. Я утверждал, напротив, что их должно быть сорок восемь, ибо в этом случае можно было бы издать более систематический путеводитель по Германии, а ведь жизнь необходимо сочетать с наукою. Мой грейфсвальдский приятель оказался также немецким бардом, и поведал мне, что работает над национальной героической поэмою для прославления Арминия и его битвы. Я дал ему кое-какие полезные указания для изготовления этой эпопеи, обратив его внимание на то, что он мог бы изобразить весьма ономатопоэтически, воднистыми и неровными стихами, болота и скалистые тропинки Тевтобургского леса, и что было бы особенно патриотично и тонко вложить в уста Вару и прочим римлянам сплошь одни глупости. Надеюсь, что этот искусный прием удастся ему, как и другим берлинским поэтам, до такой степени, что получится устрашительнейшая иллюзия.

За нашим столом становилось все шумнее и развязнее, вино вытеснило пиво, задымилась пуншевые чаши. Пили, чокались, пели песни. Зазвучал старин-

ный ландфатер и великолепные песни В. Мюллера, Рюккерта, Уланда и др. Прекрасные мелодии Метфесселя. Лучше всего прозвучали немецкие слова нашего Арндта: «Господь железо сотворил, чтоб нам не быть рабами». А на дворе шумело, как будто старая гора подпевала, и некоторые из друзей, покачиваясь, утверждали даже, что Брокен весело кивает своею лысою головою, а потому наша комната трясется. Бутылки пустели, головы наполнялись. Тот рычал, этот подпевал тонким голосом, третий декламировал из «Винны», четвертый говорил по-латыни, пятый проповедывал умеренность, а шестой, взобравшись на стул, поучал: «Господа, земля — круглый вал, люди — отдельные шпёньки на нем, разбросанные, повидимому, в беспорядке, но вал вертится, шпёньки цепляются то здесь, то тут, одни часто, другие редко, получается чудесная, сложная музыка, называемая всемирною историею. Итак, мы начинаем с музыки, переходим к миру и заканчиваем историей; последняя делится на положительную часть и на шпанских мух». И так далее — то со смыслом, то бессмысленно.

Некий благодушный мекленбуржец погрузил нос в бокал с пуншем и, блаженно улыбаясь, вдыхал его пары; он заметил при этом, что чувствует себя, как у стойки театрального буфета в Шверине! Другой держал перед глазами рюмку с вином наподобие зрительного стекла и, казалось, внимательно рассматривал что-то сквозь нее, а красное вино лилось по его щекам в открытый рот. Грейфсвальдец, внезапно воодушевясь, бросился ко мне в объятия и бесновался: «Пойми меня, я люблю, я счастлив, мне отвечают любовью и, клянусь богом, она — образованная девушка: у нее пышные груди, она носит белое платье и играет на фортепьяно». Швейцарец же плакал, нежно целовал мою руку и непрерывно стонал: «О Бэбели! О Бэбели!».

Среди этой суматохи, когда начали плясать тарелки и летать стаканы, я увидел сидевших за столом против

меня двух юношей, прекрасных и бледных, как мраморные изваяния. Один из них походил больше на Адониса, другой на Аполлона. Вино легким, еле заметным румянцем оживляло их щеки. С выражением безграничной любви смотрели они друг на друга, как будто один мог читать в глазах другого, и в этих глазах что-то блеснуло, точно несколько капель света попало в них из переполненной пылающей любовью чаши, которую чистый ангел переносит с одной звезды на другую. Они говорили тихо, голосом, дрожащим от тоски и страсти. То были печальные повести, звучавшие дивною болью. «Лора тоже умерла!» — сказал один из них, вздохнув, и после некоторого молчания рассказал про девушку в Галле, влюбившуюся в студента. Когда студент покинул Галле, она ни с кем не стала разговаривать, мало ела, плакала день и ночь, и все время смотрела на канарейку, подаренную ей когда-то возлюбленным. «Птичка умерла, а вскоре после того умерла и Лора», — так закончил он рассказ, и оба замолчали, вздыхая, как будто сердце у них разрывалось. Наконец один произнес: «Душа моя скорбит! Пойдем вместе в темную ночь! Я хочу вдохнуть в себя воздух туч и лунные лучи. Товарищ мой по скорби, я люблю тебя, слова твои звучат, как шопот тростника, как шелест потока, они находят отзвук в сердце моем, но душа моя скорбит!»

Юноши поднялись, один из них обвил рукою шею другого, и оба покинули шумный зал. Я последовал за ними и увидел, как они вошли в темную комнату, как один открыл, вместо окна, большой платяной шкаф, как оба остановились перед ним, страстно протянув руки, и начали говорить поочередно: «Вечание сумеречной ночи, — воскликнул один, — как освежаешь ты холодком мои щеки! Как нежно играешь ты моими развешивающимися кудрями! Я стою на вершине облачной горы, подо мною раскинулись в дремоте людские города и блещут голубые воды. Чу! там внизу, в долине шумят ели! Там по холмам бредут туманные образы,

духи отцов. О, если бы я мог вместе с вами мчаться на коне-туче сквозь бурную ночь, над волнами моря, вверх, к звездам! Но — увы! — я полон скорби, душа моя грустит!» Другой юноша точно так же простер свои руки в страстном порыве к платяному шкапу, слезы брызнули из его глаз, и скорбным голосом произнес он, обращаясь к брюкам желтой кожи, принимаемым им за луну: «Прекрасна ты, дочь рая! Блаженно нежное спокойствие лица твоего! Ты плывешь, полная прелести! По голубым путям твоим текут на востоке звезды. Видя тебя, радуются тучи и мрачные их очертания озаряются светом! Кто сравнится с тобою в небе, порождение ночи? В присутствии твоём звезды смущаются от стыда и отводят в сторону вспыхивающие зеленым блеском очи! Куда сойдешь ты со своего пути, когда под утро побледнеет лицо твое? Есть ли у тебя как у меня, свой покой? * Не живешь ли ты в тени скорбей? Сестры твои — не упали ли они с неба? Их нет больше радостно совершавших с тобою вместе ночной путь. Да, они упали, прекрасный светоч, и ты часто скрываешься, чтобы скорбеть о них. Но настанет ночь, и ты — и ты уйдешь, покинув свои голубые пути в высоте! Тогда звезды поднимут свои зеленые главы, устыдившиеся когда-то твоего присутствия, и возрадуются. Но теперь ты облечена великолепием твоим и смотришь вниз, из врат небесных. Разорвите вы, ветры, покровы туч, чтобы могла засиять дочь ночи, чтобы засветились поросшие кустами горы, и море покатило бы среди блеска пенящиеся валы!»

Хорошо знакомый мне, не слишком тощий приятель — он больше пил, чем ел, хотя проглотил и сегодня вечером, как обыкновенно, порцию говядины, достаточную для насыщения шести гвардейских лейтенантов и одного невинного дитяти, — прибежал в великольном настроении, то есть в совершенно свинском образе;

* Игра слов: Halle — покой, зал, но также и город, откуда был романтически настроенный студент.

втолкнув обоих элегических друзей не слишком-то нежно в шкап, он загромыхал по направлению к выходной двери и поднял на дворе убийственную возню. Шум в зале делался все бессвязнее и глуше. Юноши стонали и скорбели в шкапу по поводу того, что лежат разбитые, у подножия горы; благородное красное вино лилось у них из глотки, они орошали им друг друга и один говорил другому: «Прощай! Я чувствую, что истекаю кровью. К чему будишь ты меня, воздух весны? Ты ласкаешь меня и говоришь: я освежаю тебя небесною влагою. Но близок час, когда я увяну, близок ураган, который развеет мои листья! Завтра придет путник, придет путник, видевший меня в красе моей, взор его будет искать меня кругом, в поле, и не найдет!..» Но все покрывал знакомый бас, с богохульствами жаловавшийся перед дверьми, среди проклятий и ликования, что на всей темной Вендской улице нет ни одного фонаря, и что не видно даже, у кого ты вышиб оконные стекла.

Я много могу выпить — скромность не позволяет мне назвать число бутылок, — и я добрался до своей спальни в довольно сносном состоянии. Молодой коммерсант лежал уже в постели, в своем белом, как мел, колпаке и шафранно-желтой куртке из гигиенической фланели. Он еще не спал и пробовал завязать со мною разговор. Он был из Франкфурта-на-Майне, а потому тотчас же завел речь о том, что евреи лишены чувства красоты и благородства и продают английские товары на 25% ниже их фабричной стоимости. Мне захотелось слегка его помистифицировать, и я сказал ему, что я лунатик и заранее прошу у него извинения на случай, если помешаю ему спать. Бедняга сам признался мне на другой день, что всю ночь не спал из-за этого, опасаясь, как бы я, в состоянии сомнамбулизма, не натворил бед с пистолетами, лежавшими у моей постели. По существу, и мои дела были немногим лучше — я спал очень плохо. Дикие, жуткие, фантастические картины! Клавираусцуг из Дантова «Ада». В конце кон-

цов мне пригрезилось, что я присутствую на представлении юридической оперы *Falcidia*, текст Ганса, из области наследственного права, музыка Спонтини. Сумасшедший сон! Римский форум был великолепно освещен. Серв. Азиниус Гешенус, восседая в кресле в качестве претора и горделиво кутаясь в складки тоги, изливался в громовых речитативах; Маркус Гуллиус Эльверсус *Prima Donna legataria* *, во всем обаянии нежной своей женственности, пел полную любовной неги бравурную арию *quicumque civis Romanus*; нарумяненные, словно кирпичом натертые, докладчики рычали, изображая хор несовершеннолетних; приват-доценты, одетые гениями, в трико телесного цвета, танцевали доюстиниановский балет и украшали венками двенадцать таблиц; среди грома и молний восстал из-под земли оскорбленный дух римских законов, после чего появились трубы, там-тамы, огненный дождь *cum omni sausa* **.

Из этой сутолоки извлек меня хозяин брокенской гостиницы, разбудивший меня, чтобы я мог посмотреть на восход солнца. На башне застал я уже несколько человек, они в ожидании потирали озябшие руки; другие, еще сонные, взбирались наверх. Наконец вчерашняя тихая община оказалась в полном сборе, и молча созерцали мы, как на горизонте поднялся небольшой, ярко-красный шар, разлился зимний сумеречный свет, горы как бы поплыли средь белоснежного моря, и виднелись только их верхушки, так что, казалось, стоишь на небольшом холме среди залитой водю равнины, и лишь кое-где выступают небольшие участки суши. Чтобы запечатлеть в словах виденное мною и прочувствованное, набросал я следующее стихотворение:

Все светлее на востоке,
Тлеет солнце, разгораясь

* примадонна по завещаниям.

** со всеми принадлежностями (юридический термин).

И кругом поплыли горы,
Над туманами качаясь.

Мне надеть бы скороходы,
Чтобы с ветром поравняться,
И над этими горами
К дому милой резво мчаться.

Тихо полог отодвинуть
В изголовьи у голубки,
Целовать тихонько лобик
И рубиновые губки.

И в ушко ее чуть слышно
Прошептать: пускай приснится
Сон, что мы друг друга любим,
И что нам не разлучиться.

Между тем желание позавтракать было не менее сильно, и, сказав дамам несколько любезных фраз, я поспешил вниз, чтобы выпить кофе в теплой комнате. И пора было: в желудке моем было пусто, как в госларской церкви св. Стефана. Но вместе с аравийским напитком по жилам моим пролился жаркий Восток, повеяло благоуханием восточных роз, зазвучали сладостные соловьиные песни, студенты превратились в верблюдов, служанки из брокенского домика с их Конгриновыми взорами — в гурий, носы филистеров стали минаретами и т. д.

Но книга, лежавшая около меня, не была Кораном. Правда, глупостей там было достаточно. Это была так называемая Брокенская книга, куда все путешественники, взбирающиеся на гору, заносят свои имена, а большинство из них — и мысли свои, а за недостатком таковых — свой чувства. Многие даже прибегают к стихотворной форме. Из этой книги видно, как ужасно, когда филистерский сброд, в подобающем случае, как например, здесь, на Брокене, решается взяться за поэзию. Во дворце принца Паллагонии не

найти таких безвкусиц, как в этой книге; на страницах ее в особенности блещут господа акцизные чиновники с их заплесневшими чувствами, конторские юноши, патетически изливающие свою душу, старонемецкие дилетанты от революции с их общими местами и берлинские школьные учителя с их избитыми выражениями восторга. Г. Иванушка Дурачок желает показать, что он тоже писатель. Тут описывается великолепная пышность солнечного восхода, там — жалобы на дурную погоду, на обманутые ожидания, на туман, скрывший все виды. «Поднялся в тумане и спустился в тумане» * — вот неизменная острота, повторяемая здесь сотнями людей.

Книга отдает вообще запахом сыра, пива и табака; кажется, читаешь роман Клаурена.

В то время как я пил таким образом кофе, перелистывая Брокенскую книгу, вошел швейцарец с раскрасневшимися щеками и, полный одушевления, рассказал мне о величественном зрелище, коим он наслаждался на башне, когда чистый, спокойный свет солнца — символ истины — боролся с ночными туманами; это было похоже на битву духов, где великаны в гневе обнажают свои длинные мечи, рыцари, в панцирях, носятся на бешеных конях, из дикой сумятицы вылетают боевые колесницы, развевающиеся знамена и сказочные звериные образы, пока наконец все не смешается в безумном непостоянстве, не побледнеет, тая, и не исчезнет бесследно. Я прозевал, оказывается, это демагогическое явление природы, и, если бы дошло до следствия, я могу клятвенно заверить, что ничего не знаю, кроме вкуса хорошего жареного кофе. Ах, этот кофе был даже виною и тому, что я забыл о своей красавице, и вот она стоит перед дверьми, вместе с матерью и спутником, намереваясь сесть в коляску. Я едва успел добежать и уверить ее, что сегодня холодно.

* Игра слов: *benebel* — дословно: в тумане, но также — подвыпивши.

Казалось, она была недовольна, что я не пришел раньше, но я разглядел хмурые морщины на ее прекрасном лбу, преподнес ей чудесный цветок, сорванный мною накануне с опасностью для жизни с отвесной скалы. Мать пожелала узнать название цветка, словно она находила неприличным, чтобы дочь ее прикрепила чужой, незнакомый цветок у себя на груди, и, правда, цветок попал на это завидное место, о котором он, конечно, и не мечтал вчера, на своей одинокой высоте. Тут молчаливый спутник внезапно открыл рот, сосчитал тычинки цветка и сказал весьма сухо: «Цветок принадлежит к восьмому классу».

Я сержусь каждый раз, когда вижу, как прелестные божьи цветы делают, как нас, на касты и притом по внешним признакам — по различию тычинок. Если уж нужны разделения, лучше следовать Теофрасту, предлагавшему делить цветы по признакам духа, именно по запаху. Что касается меня, то у меня в естественных науках своя система, и, в согласии с нею, я делю все на съедобное и несъедобное.

Таинственная природа цветов была, впрочем, вполне знакома пожилой даме, и она невольно высказала, что цветы очень радуют ее, когда растут в саду или в горшках, но что, напротив, сердце ее дрожит от тихой, полной боязливой мечтательности боли, когда она видит сорванный цветок — ведь это, собственно, труп, и этот цветочный труп, обломанный и нежный, грустно опускает свою увядшую головку, как мертвое дитя. Дама почти испугалась мрачного оттенка собственного замечания, и я счел своим долгом рассеять его несколькими вольтеровскими стихами. Как, однако, пара французских слов способна вернуть нас к подобающему приличному настроению. Мы засмеялись, я поцеловал дамам руки, мне милостиво улыбнулись, лошади заржали, и коляска, медленно и тяжело подпрыгивая, покатилась под гору.

Тут и студенты стали готовиться в дорогу — сумки были подвязаны, счета, оказавшиеся, сверх всякого

ожидания, умеренными, оплачены; доступные служанки, со следами счастливой любви на лицах, принесли, как водится, брокенские букетики, помогли прикрепить их к шапкам и были вознаграждены за это несколькими поцелуями или грошами, и мы все спустились вниз, под гору; один, в том числе швейцарец и грейфсвальдец, направились по дороге к Ширке, другие, приблизительно человек двадцать, среди них мои земляки и я — в обществе проводника, потянулись по так называемым снежным ямам к Ильзенбургу.

Можно было голову сломить. Студенты из Галле маршируют быстрее австрийского ополчения. Прежде чем я опомнился, обнаженная верхушка горы с разбросанными по ней группами камней оказалась позади нас, и мы вступили в тот еловый лес, который я видел вчера. Солнце лило уже свои праздничные лучи, освещая одетых с забавной пестротой буршей, бодро шагавших через заросли, то пропадавших в них, то снова появлявшихся; они переходили болотистые места по деревянным поперечинам, цепляясь на крутых спусках за висячие корни, распевали в ликующем тоне и были столь же весело приветствуемы щебечущими лесными птицами, шумящими елями, невидимо журчащими ручьями и отзвуками эхо. Когда встречаются веселая юность и прекрасная природа, они радуются друг другу взаимно.

Чем ниже спускались мы, тем ласковее журчали подземные воды; лишь там и сям, под камнями и зарослями, просвечивали они, подсматривая, казалось, осторожно, можно ли выйти на свет; наконец небольшой поток с решимостью пробился из-под земли. Тут обнаруживается обычное явление: смельчак начинает, и робкая толпа, охваченная, к собственному изумлению, духом мужества, спешит к нему присоединиться. Множество других источников забурлило теперь из своих скрытых недр, соединилось с пробившимися вперед, и скоро они образовали немалый ручей,

убегающий с горы в долину бесчисленными водопадами и причудливыми излучинами. Это — Ильза, прелестная, милая Ильза. Она течет по благословенной долине Ильзеталь, по обе стороны которой все выше и выше вздымаются горы, заросшие до подножия своего большею частью буками, дубами и обыкновенным листовым кустарником; елей и других хвойных деревьев больше нет. Ибо в «Нижнем Гарце», как именуется восточный склон Брокена, преобладают листовые породы, в противоположность западному склону, который называется «Верхним Гарцем». Последний, действительно, гораздо выше, что более благоприятствует росту хвойных деревьев.

Невозможно описать, как радостно, непринужденно и грациозно низвергается Ильза с причудливых утесов, встречаемых ею на пути, так что в одном месте вода неистово взлетает кверху или разбегается в пене, в другом — льется чистою дугообразною струею, как из полных кувшинов, сквозь трещины камней, а внизу перебегает по мелким камням, как резвая девушка. Да, предание говорит правду: Ильза — принцесса, которая, смеясь и цвеля, сбегает с горы. Как блестит при свете солнца ее белая пенная одежда! Как развеваются по ветру серебряные ленты на груди ее! Как искрятся и горят ее алмазы! Высокие буки стоят возле, точно серьезные родители, которые со скрытою улыбкою любуются резвостью милого ребенка; белые березы качаются, как тетюшки, радуясь и, вместе с тем, опасаясь за слишком смелые прыжки; гордый дуб посматривает, как брюзга-дядюшка, которому придется за все это платить; птички в воздухе радуются ее успехам, цветы по берегам нежно шепчут: «Возьми нас с собою, возьми с собою, милая естричка!» Но веселая девушка неудержно прыгает дальше и вдруг хватается мечтающего поэта: на меня льется цветочный дождь звенящих лучей и лучистых звуков, я теряю голову от сплошного великолепия и слышу только сладостные, как флейта, звуки:

Зовусь я принцессой Ильзой
И в Ильзенштейне живу.
Пойдем со мной в мой замок —
К блаженству на яву:

Чело твое я омою
Прозрачною волной,
Ты боль свою забудешь,
Унылый друг больной!

В объятьях рук моих белых,
На белой груди моей
Ты будешь лежать и грезить
О сказках прошлых дней.

Обниму тебя, зацелую,
Как мной зацелован был
Мой император Генрих,
Что вечным сном почил.

Не встать из мертвых мертвым,
И только живые живут;
А я цветка прекрасней,
И сердце бьется — вот тут.

Вот тут смеется сердце,
Хрустальный замок звенит,
Танцуют с принцессами принцы,
Ликует толпа пажей.

Шуршат атласные шлейфы,
И звенит железо шпор,
И карлики бьют в литавры,
И свищут, и трубят в рог.

Успи, как спал мой Генрих,
В объятьях нежных рук;
Ему я прикрыла уши,
Как трубный раздался звук.

Неизъяснимо чувство бесконечного блаженства, когда мир явлений сливается с нашим внутренним миром, и в пленительных арабесках сплетаются зеленые деревья, мысли, пение птиц, грусть, голубое небо, воспоминания и запах трав. Женщинам более всего знакомо это чувство, а потому, может быть, и блуждает вокруг губ их столь прелестно-недоверчивая улыбка, когда мы с педантской гордостью школьников похвваемся логичностью своих поступков — как правильно поделено у нас все на объективное и субъективное, как головы наши снабжены по-аптечному тысячами выдвижных ящиков: в одном — разум, в другом — рассудок, в третьем — острота, в четвертом — скверная острота, а в пятом — и вовсе ничего, то есть идея.

Продолжая путь свой словно во сне, я почти не заметил, как мы прошли долину Ильзы и поднялись опять в гору. Подъем был крутой и трудный, у многих из нас захватывало дыхание. Но, подобно покойному родичу нашему, похороненному в Мёлльне, мы заранее представляли себе спуск с горы и были довольны. Наконец достигли мы Ильзенштейна.

Это — громадный гранитный утес, широко и смело поднимающийся из глубины. С трех сторон окружают его высокие, покрытые лесом горы, но четвертая, северная открыта, и отсюда видны расположенный внизу Ильзенбург и Ильза, далеко бегущая по низинам. На верхушке утеса, имеющей форму башни, стоит высокий железный крест, кроме того, в случае нужды, там поместятся еще две пары человеческих ног.

Как природа разукрасила Ильзенштейн, в смысле местоположения и формы, фантастическою прелестью, так и народное предание окружило его розовым сиянием. Готшалк сообщает: «Рассказывают, что здесь был очарованный замок, в котором жила богатая, прекрасная принцесса Ильза, до сей поры купающаяся каждое утро в Ильзе, и кому посчастливится увидеть ее во-время, того отведет она к утесу, где ее замок, и вознаградит по-королевски». Другие передают пре-

лестный рассказ о любви Ильзы и рыцаря Вестенберга, воспетой столь романтически одним из самых известных наших поэтов «в Вечерней газете». Другие опять рассказывают по-другому: был будто бы древнесаксонский император Генрих, проводивший истинно-королевские часы с Ильзою, прекрасною феею вод, в ее очарованном замке на утесе. Однако писатель новейшего времени, его высокородие г. Ниман, составивший путеводитель по Гарцу, в коем он с похвальным усердием дает точные цифровые данные о высоте гор, отклонениях магнитной стрелки, задолженности городов и т. п., утверждает: «Все, что рассказывают о прекрасной принцессе Ильзе, принадлежит к области сказок». Так говорят все эти люди, кому никогда не являлась такая принцесса, но мы, пользующиеся особым благоволением красавиц, знаем все лучше. Знал это и император Генрих. Недаром древнесаксонские императоры так ценили родной Гарц. Стоит лишь перелистать очаровательную «Люнебургскую хронику», где чудесные, простодушные гравюры на дереве, изображают этих старых, добрых государей в доспехах, восседающих на закованных в броню боевых конях, со священной императорскою короною на бесценной голове, со скипетром и мечом в мощных руках; а на их славных усатых лицах ясно можно прочесть, как часто тосковали они по милым сердцу принцессам Гарца и по доверчиво шумящим гарцским лесам на чужбине, может быть, в обильной лимонами и ядами Италии, куда постоянно влекло их и их преемников желание именовать римскими императорами — истинно немецкая страсть к титулам, погубившая и императоров и империю.

Но я советую всякому, кто стоит на вершине Ильзенштейна, не думать ни об императорах, ни об империи, ни о прекрасной Ильзе, а только о своих ногах. Дело в том, что, когда я стоял там, погруженный в мысли, я услышал внезапно подземную музыку очарованного замка и увидел, как горы кругом меня опрокинулись

вершинами книзу, красные черепичные крыши Ильзенбурга заплясали, и зеленые деревья начали носиться в голубом воздухе, так что все позеленело и поголубело у меня перед глазами; в припадке головокружения, я несомненно упал бы в пропасть, если бы не ухватился крепко, спасаясь, за железный крест. Никто не поставит мне, конечно, в упрек, что я, находясь в столь бедственном положении, поступил так.

«Путешествие по Гарцу» — отрывок и отрывком останется. Пестрые нити, столь красиво вплетенные, с тем, чтобы слиться в одно гармоническое целое, перерезаются внезапно, как бы ножницами непреклонной парки. Может быть, я в будущих своих песнях продолжу пряжу свою, и во всей полноте скажу о том, о чем теперь скупом умолчал. В конце концов не все ли равно, когда и где что-либо высказано, раз оно вообще сказано. Пусть отдельные произведения остаются отрывками, лишь бы они вместе составили одно целое. В таком случае будут пополнены те или иные недочеты, устранены неровности и смягчены излишние резкости. Быть может, так бы вышло с первыми же страницами «Путешествия по Гарцу», и они произвели бы менее кислое впечатление, если бы читатель узнал, что нерасположение, которое я, в общем, питаю к Геттингену, хотя и еще больше того, чем оно мною высказано, но далеко не столь велико, как уважение, внушаемое мне отдельными тамошними личностями. И к чему бы мне умалчивать? Я в особенности имею здесь в виду того дорогого мне человека, который еще в прежнее время принял во мне дружеское участие, внушил мне уже тогда искреннюю любовь к занятиям историей, впоследствии укрепил во мне интерес к этим занятиям и тем направил дух мой на более спокойные пути, дал благотворный исход моей жизненной бодрости и уготовал вообще для меня те исторические утешения, без которых я никогда бы не вынес мучитель-

ных переживаний обыденности. Я говорю о Георге Сарториусе, великом историке и человеке, чье око — яркая звезда в наше темное время и чье радужное сердце открыто для чужих страданий и радостей, для нужд короля и нищего, для последних вздохов погибающих народов и их богов.

Я не могу также не указать, что Верхний Гарц — та часть Гарца, которую я описал, вплоть до начала долины Ильзы, далеко не имеет столь радостного вида, как романтически-живописный Нижний Гарц, и дикой красотой своей, своими сумрачными елями представляет с последним резкий контраст. Равным образом, три долины, образуемые в Нижнем Гарце реками Ильзою, Бодою и Зелькою, восхитительно отличаются друг от друга, если олицетворить характер каждой долины. Это — три женских образа, и не так-то легко решить, который из них прекраснее.

О милой, прелестной Ильзе, о том, как прелестно и ласково она меня принимала, я поведал уже в прозе и стихах. Сумрачная красавица Бода приняла меня не столь милостиво, и когда я впервые увидел ее в темном, как кузница, Рюбеланде, она казалась не в духе и закуталась в свой серебристо-серый дождевой плащ. Но быстро, в порыве любви сбросила она его, когда я достиг вершины Ростраппы, лицо ее засветилось мне навстречу лучезарнейшим великолепием, все ее черты выразили величайшую нежность, и из скованной, утесистой груди вырвался как бы вздох страсти, вместе с замирающими звуками скорби. Менее нежною, но более веселой показалась мне красавица Зелька, прекрасная и любезная дама, благородная простота и ясное спокойствие которой не дают места сентиментальной фамильярности; но она все же своею подускрытою улыбкою выдает шаловливый нрав; последнему я приписываю я то обстоятельство, что в долине Зельки меня постиг ряд мелких неудач: пытаюсь перепрыгнуть через ручей, я шлепнулся прямо в середину его, затем, когда я переменял намокшую обувь на туфли

одна из них пропала*, порыв ветра сорвал с меня шапку, лесные колючки изранили мне ноги и так далее, к сожалению. Но все эти проделки я прощаю прекрасной даме, ибо она прекрасна. И теперь стоит она передо мною в воображении во всей своей тихой прелести и, кажется мне, говорит: «Если я и смеюсь, то все же без злого умысла, и я прошу вас, воспойте меня». Величественная Бода также возникает в воспоминании моем, и темный взор ее говорит: «Ты подобен мне в гордости и страдании, и я хочу, чтобы ты полюбил меня». И красавица Ильза прибежала вприпрыжку, ворожа и чаруя лицом, станом и движениями; она совершенно похожа на прелестное существо, наполняющее блаженством мои грезы, и смотрит на меня так же, как та, с непреодолимым равнодушием и вместе с тем так проникновенно, так вечно, так прозрачно правдиво... Ну, что же, я — Парис, передо мною три богини, и я вручаю яблоко прекрасной Ильзе.

Сегодня первое мая; морем жизни изливается над землею весна, деревья — в белой пене первого цвета; широко стелется всюду теплый, туманный блеск; в городе радостно блестят оконные стекла, на крышах опять выют гнезда воробьи, по улицам Гамбурга бродят люди и удивляются, что воздух захватывающе хорош и что у них так чудесно на сердце; пестро одетые крестьянки предлагают букеты фиалок; дети-сироты в синих блузках, со своими милыми незаконнорожденными личиками, проходят через Юнгфернштиг и радуются так, будто им суждено сегодня найти отца; нищий на мосту смотрит таким довольным взором, точно он выиграл в лотерею главный выигрыш; даже

* В подлиннике игра слов: «einer derselben mir abhanden oder vielmehr abfüßen kam». Abhanden kommen — по-немецки значит потерять, дословно — уйти из рук — от слова Hand — рука. Гейне реализует буквальный смысл этого выражения и сочиняет тут же рядом ему аналогичное: «abfüßen kommen» — т. е. «соскользнуть (уйти) с ног», так как в тексте говорится о туфлях: «одна из них пропала» — соскользнула и с рук и с ног.

черного, еще не повешенного маклера, снующего там с мошенническим, мануфактурно-торговым лицом, дарит солнце своими бесконечно терпимыми лучами, — я пойду из города, за ворота.

Сегодня первое мая, и я думаю о тебе, прекрасная Ильза — или назвать мне тебя Агнессой? — ведь имя это нравится мне больше всего, — я думаю о тебе, и мне хотелось бы вновь смотреть, как ты, сияя, сбегаешь с горы. Но больше всего хотелось бы мне стоять внизу, в долине, и принять тебя в свои объятия. . . Прекрасный день! Повсюду зеленый цвет, цвет надежды. Повсюду, как прелестные чудеса, распускаются цветы, и опять хочет расцвести мое сердце. Это сердце тоже цветов и притом чудесный. Оно — не скромная фиалка, не смеющаяся роза, не чистая лилия или другой подобный им цветочек, радующий своею чинною прелестью сердце девушки, красующийся на красивой груди, увядая сегодня, завтра расцветая вновь. Сердце это более походит на тяжелый, причудливый цветок лесов Бразилии, который, по преданию, расцветает только раз в столетие. Помню, мальчиком я видел такой цветок. Ночью слышали мы выстрел, как из пистолета, а на утро соседские дети рассказали мне, что это распустилось внезапно с таким треском их алоэ. Они провели меня в сад, и здесь увидел я к своему изумлению, что приземистое жесткое растение, с дурацки-широкими остро зазубренными листьями, о которые легко можно оцарапаться, теперь поднялось высоко, и над ним, как золотая корона, распустился великолепный цветок. Мы, дети, не могли видеть так высоко, и старый ухмыляющийся Христиан, который любил нас, устроил вокруг цветка деревянный помост, мы взбирались на него, как кошки, и с любопытством любовались открытой чашей цветка, откуда с неслышанным великолепием струились, вместе с желтыми лучистыми нитями, какие-то дикие, незнакомые ароматы.

Да, Агнесса, не часто и не легко расцветает это сердце; помнится, оно цвело только раз, и это было, верно,

давно, пожалуй, не менее чем сто лет назад. Думается мне, как великолепно ни распустился тогда цветок, он должен был зачахнуть от недостатка света и тепла, если бы и не был уничтожен мрачною зимнею бурей. Но теперь что-то волнуется и растет в моей груди, и если ты услышишь вдруг выстрел — не бойся, девушка, я не застрелился, это любовь моя разорвала свою оболочку и взметнулась ввысь в лучистых песнях, в вечных дифирамбах, в полноте радостной гармонии.

А если моя высокая любовь слишком высока для тебя, девушка, устройся удобнее, взойди на деревянный помост и смотри с высоты его на мое цветущее сердце.

Еще рано, солнце не совершило половины своего пути, а сердце мое благоухает уже так сильно, что в голове туманится, и я перестаю понимать, где кончается ирония и начинается рай; воздушное пространство населяю я вздохами, и сам хотел бы растечься в благодатных атомах, в предвечности божества; что же будет, когда наступит ночь, и звезды появятся на небе, «у тех несчастных звезд узнаешь скоро ты. . .»

Сегодня первое мая, сегодня последний грязный лавочник в праве стать сентиментальным, неужели же ты запретишь это поэту?

Часть вторая

СЕВЕРНОЕ МОРЕ

1826

«Биографические памятники» Фарнга-
лена фон-Энзе, часть 1, стр. 1—2.



(Писано на острове Нордерней)

...Туземцы большею частью ужасающе бедны и живут рыбною ловлею, которая начинается только в следующем месяце, октябре, при бурной погоде. Многие из этих островитян служат также матросами на иностранных купеческих кораблях и годами отсутствуют из дому, не давая о себе никаких вестей своим близким. Нередко они находят себе смерть в море. Я застал на острове несколько бедных женщин, у которых погиб таким образом весь мужской состав их семьи, что легко случается, так как отец обыкновенно пускается в море на одном корабле со своими сыновьями.

Мореплавание представляет для этих людей большой соблазн, и все-таки, думается мне, лучше всего чувствуют они себя дома. Если даже достигают они на своих кораблях тех южных стран, где солнце светит пышнее, а луна — романтичнее, то все тамошние цветы не в силах все же заткнуть пробоину в их сердце, и в благоухающей стране весны тоскуют они по своему песчаному острову, по своим маленьким хижинам, по пылающему очагу, у которого, закутавшись в шерстяные куртки, сидят их родные и пьют чай, только названием отличающийся от кипяченой морской воды, и болтают на таком языке, что трудно уразуметь, как они сами его понимают.

Так прочно и полно этих людей соединяет не столько таинственное, по существу своему, чувство любви, сколько привычка, жизнь в тесной связи друг с другом,

согласная с природой, непосредственность в общении между собою. Одинаковый уровень духовного развития или, вернее, неразвитости, отсюда одинаковые потребности и одинаковые стремления; одинаковый опыт и образ мыслей, отсюда и легкая возможность понимать друг друга; и вот они сидят мирно у огня в маленьких хижинах, теснее сдвигаются, когда становится холодней, по глазам узнают, что думает другой, читают по губам слова, прежде чем они выговорены; в памяти их хранятся все общие жизненные отношения, и одним звуком, одною гримасою, одним бессловесным движением вызывают они в своей среде столько смеху, слез или торжественного настроения, сколько нам с трудом удастся возбудить путем долгих рассуждений, вдохновенных излияний и разглагольствований. Ведь, по существу, мы живем в духовном одиночестве, каждый из нас благодаря особым приемам воспитания или случайному подбору материала для чтения получил своеобразный склад характера; каждый из нас под духовной маской мыслит, чувствует и действует иначе, чем другие, а потому и возникает столько недоразумений, и даже в просторных домах так трудна совместная жизнь, и повсюду нам тесно, везде мы чужие и повсюду на чужбине.

В таком состоянии одинаковости мыслей и чувств, какое мы находим у обитателей нашего острова, жили часто целые народы и целые эпохи. Быть может, римско-христианская церковь в средние века стремилась к установлению такого положения в общинах всей Европы и распространила свою опеку на все житейские отношения, на все силы и явления, на всю физическую и нравственную природу человека. Нельзя отрицать, что в итоге получилось много спокойного счастья, жизнь расцветала в большом тепле и уюте, и искусства, подобно выращенным в тиши цветам, явили такое великолепие, что мы и до сих пор изумляемся им и, при всей нашей стремительности в познании, не в состоянии следовать их образцам. Но дух имеет свои вечные права,

он не дает сковать себя канонами, убаюкать колокольным звоном; дух сломил свою тюрьму, разорвал железные помочи, на которых церковь водила его как мать; опьяненный свободой, пронесся он по всей земле, достиг высочайших горных вершин, ликовал в избытке сил, снова припоминал давнишние сомнения, размышлял о чудесах современности и считал звезды ночные. Мы еще не сочли звезд, не разгадали чудес, старинные сомнения возникли с могучею силою в нашей душе — счастливее ли мы, чем прежде? Мы знаем, что не легко ответить утвердительно на этот вопрос, когда он касается масс; но знаем также, что счастье, которым мы обязаны обману, не настоящее счастье, и что в отдельные отрывочные моменты состояния, близкого к божескому, на высших ступенях духовного нашего достоинства, мы способны обрести большее счастье, чем в долгие годы прозябания на почве тупой и слепой веры.

Во всяком случае это владычество церкви было игом наихудшего свойства. Кто поручится нам за добрые намерения, о которых я только что говорил? Кто может доказать, что не примешивалось к ним подчас дурных намерений? Рим все время стремился к владычеству, и когда пали его легионы, он разослал по провинциям свои догматы. Как гигантский паук, уселся Рим в центре латинского мира и заткал его своею бесконечною паутиной. Поколения народов жили под ним умиротворенною жизнью, принимая за близкое небо то, что было на деле лишь римскою паутиною; только стремившийся ввысь дух, прозревая сквозь эту паутину, чувствовал себя стесненным и жалким, и когда он пытался прорваться, лукавый ткач улавливал его и высасывал кровь из его отважного сердца, и кровь эта — не слишком ли дорогая цена за призрачное счастье тупой массы? Дни духовного рабства миновали; старчески-дряхлый, сидит старый паук-крестовик среди развалившихся колонн Колизея и все еще тклет свою старую паутину, но она уже не крепка и гнила, и в нее запутываются только бабочки и летучие мыши, а не северные орлы.

... Смешно право: когда я с таким доброжелательством начинаю распространяться о намерениях римской церкви, меня внезапно охватывает привычный протестантский фанатизм, приписывающий ей постоянно все самое дурное; и именно это раздвоение моей мысли во мне самом служит для меня образом разорванности современного мышления. Мы ненавидим сегодня то, чем вчера восхищались, а завтра, может быть, равнодушно посмеемся над всем этим.

С известной точки зрения все одинаково велико и одинаково мелко, и я вспоминаю о великих европейских переворотах, наблюдая мелкую жизнь наших бедных островитян. И они стоят на пороге нового времени, и старинные их единомыслие и простота смущены процветанием здешних морских купаний, так как ежедневно замечают они у своих гостей кое-что новое, несовместимое с их стародавним бытом. Когда по вечерам стоят они перед освещенными окнами собрания и наблюдают разговоры мужчин и дам, многочисленные взгляды, гримасы вожделения, похотливые танцы, самодовольное обжорство, азартную игру и т. д., это не остается для них без скверных последствий, не уравниваемых тою денежною выгодною, которую дают им морские купанья. Денег этих недостаточно для вновь возникающих потребностей; в итоге, глубокое расстройство внутренней жизни, скверные соблазны, тяжелая скорбь. Мальчиком я всегда чувствовал жгучее вожделение, когда мимо меня проносили открытыми ароматные прекрасно-испеченные торты, предназначенные не для меня, впоследствии то же чувство мучило меня при виде обнаженных по моде красивых дам; и думается мне, бедным островитянам, находящимся еще в поре детства, часто представляются случаи для подобных ощущений, и было бы лучше, если бы обладатели прекрасных тортов и женщин несколько больше прикрывали их. Обилие открытых напоказ лакомств, дающих этим людям только зрительное ощущение, должно сильно возбуждать их ап-

петит, и если бедные островитянки в период беременности получают всякие сладкие печенья и в конце концов производят даже на свет детей, похожих на курортных приезжих, то это объясняется просто. Здесь я отнюдь не намекаю на какие-либо безнравственные связи. Добродетель островитянок в полной мере ограждена их безобразиями и особенно свойственным им рыбным запахом, которого я по крайней мере не выносил.

Как сказано, добродетель островитянок ограждена, и я бы скорее признал в факте появления на свет младенцев с физиономиями курортных гостей психологический феномен и объяснил его теми материалистическо-мистическими законами, которые так хорошо устанавливает Гете в своем «Избирательном сродстве».

Поразительно, как много загадочных явлений природы объясняется этими законами. Когда я в прошлом году прибит был морскою бурей к другому восточно-фрисландскому острову, я увидел там в одной рыбацкой хижине скверную гравюру с надписью: «La tentation du viellard»*, изображающую старика, смущенного среди занятий появлением женщины, возникающей из облака, обнаженной до самых бедер; и странно, у дочери рыбака было такое же похотливое мопсообразное лицо, как у женщины на картине. Приведу другой пример: в доме одного менялы, жена которого, управляя делом, всегда заботливо рассматривала чеканку монет, я заметил, что лица детей представляют поразительное сходство с величайшими монархами Европы, и когда все дети собирались вместе и затевали споры, казалось, что видишь маленький конгресс.

Потому-то изображение на монете — предмет не безразличный для политики. Так как люди столь искренно любят деньги и несомненно любовно их созерцают, дети часто воспринимают черты того государя, который вычеканен на монете, и на бедного государя падает подозрение в том, что он — отец своих

* «Искушение старца»

подданных. Бурбоны имеют все основания расплавлять наполеондоры, они не желают видеть среди французов стоячку наполеоновских лиц. Пруссия дальше всех ушла в монетной политике: там известны способы устраивать, путем умелого примешивания меди, так, что щеки короля на вновь отчеканенной монете тотчас же становятся красными, и с некоторых пор вид у прусских детей гораздо здоровее, чем прежде, так что испытываешь истинную радость, созерцая их цветущие зильбергерошневые рожицы.

Указывая на опасность для нравов, грозящую островам, я не упомянул о духовном оплоте от нее — об их церкви. Каков вид церкви — я не могу в точности сообщить, так как не был там. Бог свидетель, я хороший христианин и даже часто собираюсь посетить дом господень, но роковым образом всегда встречаю к этому препятствия; находится обыкновенно болтун, задерживающий меня на пути, и если я наконец достигаю дверей храма, мною вдруг овладевает шутливое настроение, и тогда я почитаю за грех входить во внутрь. В прошлое воскресенье со мной произошло нечто подобное: мне вспомнилось перед церковными воротами то место из гетевского «Фауста», где Фауст, проходя с Мефистофелем мимо креста, спрашивает его:

Что так спешешь, Мефисто? Крест смутил?
Ты потупляешь взоры не на шутку.

И Мефистофель отвечает:

Я поддаюсь, конечно, предрассудку, —
Но все равно: мне этот вид не мил.

Стихи эти, насколько мне известно, не напечатаны ни в одном из изданий «Фауста», и только покойный гофрат Моряц, ознакомившийся с ними по рукописи Гете, сообщает их в своем «Филиппе Рейзере», забытом уже романе, содержащем историю самого автора,

или, скорее, историю нескольких сот талеров, коих не имел автор, в виду чего вся его жизнь стала цепью лишений и отречений, между тем как желания его были в высшей степени скромны, как, например, желание отправиться в Веймар и поступить в слуги к автору «Вертера» на каких бы то ни было условиях, лишь бы жить вблизи того, кто из всех людей на земле произвел самое сильное впечатление на его душу.

Удивительно! Уже тогда Гете вызывал такое воодушевление, и все-таки только «наше третье, подрастающее поколение» в состоянии уразуметь его истинное величие.

Но это поколение дало также людей, в сердцах которых сочтется лишь загнившая вода и которые готовы поэтому забить в сердцах других людей все источники живой крови, людей с иссякнувшею способностью к восприятию наслаждения, клеветущих на жизнь и стремящихся отравить другим людям все великолепие мира; изображая его как соблазн, созданный лукавым для нашего искушения, наподобие того, как хитрая хозяйка оставляет, уходя из дому, открытую сахарницу с пересчитанными кусками сахара, чтобы испытать воздержанность служанки, эти люди собрали вокруг себя добродетельную чернь и проповедают ей крестовый поход против великого язычника и против его нагих богов, которых они охотно заменили бы своими закутанными глупыми чертами.

Закутывание — высшая цель их, божественная нагота их ужасает, и у сатира всегда есть причины надеть штаны и настаивать на том, чтобы и Аполлон надел штаны. Тогда люди называют его нравственным человеком, не подозревая, что в клауруновской улыбке закутанного сатира больше непристойности, чем во всей наготе Вольфганга Аполлона, и что как раз в те времена, когда человечество носило широчайшие штаны, на которые шло шестьдесят локтей материи, нравы были не чище нынешних.

Однако не поставят ли мне дамы в упрек, что я говорю «штаны» вместо «панталоны»? О, эти тонкости

дамского чувства! В конце концов одни евнухи будут иметь право писать для них, и духовные их слуги на Западе должны будут хранить ту же невинность, что телесные — на Востоке.

Здесь я припоминаю одно место из «Дневника Бертольда».

«Если поразмыслить как следует, то ведь все мы торчим голые в наших одеждах», сказал доктор М. даме, поставившей ему в упрек несколько грубое выражение».

Ганноверское дворянство очень недовольно Гете и утверждает, что он распространяет неверие, а это легко может привести к ложным политическим убеждениям, между тем как следует возратить народ посредством старой веры к старинной скромности и умеренности. Также пришлось мне в последнее время выслушать много споров на тему: Гете выше Шиллера или наоборот? Недавно я стоял за стулом дамы — у нее явно, даже если смотреть на нее сзади, видны были ее шестьдесят четыре предка — и слушал оживленные дебаты на эту тему между нею и двумя ганноверскими дворянчиками, которых предки изображены уже на дендерском зодиаке, при чем один из них, длинный, тощий, наполненный ртутью юноша, похожий на барометр, восхвалял шиллеровскую добродетель и чистоту, а другой, столь же долговязый, прошепелявил несколько стихов из «Достоинства женщин» и улыбался при этом так сладко, как осел, погрузивший голову в бочку с сиропом и с наслаждением облизывающийся. Оба юноши подкрепляли свои утверждения неизменным убедительным припевом: «Он выше. Он выше, право. Он выше, честию уверяю вас, он выше». Дама была столь добра, что привлекла и меня к участию в эстетической беседе, и спросила: «Доктор, что вы думаете о Гете?» Я скрестил руки на груди, набожно склонил голову и проговорил: «Ла илла илла илла алла, вамохамед расуль алла!»

Дама, сама того не зная, задала самый хитрый вопрос. Нельзя же спросить человека прямо: что думаешь ты

о небе и земле? Как ты смотришь на человека и жизнь человеческую? Разумное ты создание или дурачок? Все эти щекотливые вопросы заключаются в незамысловатых словах: «Что вы думаете о Гете?» Ведь, имея перед глазами творения Гете, мы можем быстро сравнить любое суждение человека о нем с нашим собственным, и получим таким образом определенную меру для оценки всех мыслей и чувств этого человека; так, сам того не зная, он произнес над собою приговор. Но подобно тому как Гете, будучи общим достоянием, доступным рассмотрению всякого, становится для нас лучшим средством познавать людей, так, в свою очередь, и мы можем лучше всего познать Гете при помощи его суждений о всех нам доступных предметах, о которых высказались уже замечательнейшие люди. В этом отношении я охотнее всего сослался бы на «Путешествие по Италии» Гете; все мы знакомы с Италией из личных наблюдений или же с чужих слов, и замечаем при этом, что каждый смотрит на нее по-своему; один — мрачными глазами Архенгольца, усматривающего только плохое, другой — восхищенным взором Коринны, видящей повсюду только самое лучшее, тогда как Гете своим ясным эллинским взором видит все, темное и светлое, никогда не окрашивает предметов в цвет собственного настроения и изображает страну и людей в их истинном образе — в настоящих красках, как они созданы богом.

В этом заслуга Гете, которую признает только позднейшее время, ибо мы, все по большей части больные, слишком глубоко погружены в наши больные, разрозненные, романтические, вычитанные у всех стран и веков чувствования, чтобы видеть непосредственно, как здоров, целостен и пластичен Гете в своих произведениях. Он и сам так же мало замечает это: в наивном неведении своих могучих сил, он удивляется, когда ему приписывают «предметное мышление» и, желая дать нам в автобиографии критическое пособие для суждения о своих творениях, он не дает никакого

мерила для оценки по существу, а только сообщает новые факты, по которым можно судить о нем; это вполне естественно, — ведь ни одна птица не взлетит выше самой себя.

Позднейшие поколения откроют в Гете, помимо способности пластически созерцать, чувствовать и мыслить, многое другое, о чем мы не имеем теперь никакого представления. Творения духа вечны и постоянны, критика же есть нечто переменчивое, она исходит из взглядов своего времени, имеет значение только для современности, и если сама не художественна, как, например, критика Шлегеля, то не переживает своего времени. Каждая эпоха, приобретая новые идеи, приобретает и новые глаза, видит в старинных созданиях человеческого духа много нового. Шубарт видит теперь в «Илиаде» нечто иное, и много больше, чем все александрийцы; зато явятся когда-нибудь критики, которые откроют в Гете много больше, чем Шубарт.

Однако я все-таки заболтался о Гете! Но подобные отступления весьма естественны, когда морской шум непрестанно звучит в ушах, как на этом острове, и настраивает дух наш на свой лад.

Дует сильный северо-восточный ветер, и ведьмы замышляют опять много злого. Здесь ведь есть удивительные сказания о ведьмах, умеющих заклинать бури. Вообще на всех северных морях очень распространено суеверие. Моряки утверждают, что некоторые острова находятся под тайной властью особых ведьм, и злой воле последних приписываются всевозможные неприятные случаи с проходящими мимо кораблями. Когда я в прошлом году проводил некоторое время на море, штурман нашего корабля рассказал мне, что ведьмы особенно сильны на острове Уайте и стараются задерживать до ночной поры каждый проходящий мимо острова корабль с тем, чтобы прибить его к скалам или к самому острову. В этих случаях слышно, как ведьмы носятся по воздуху и вокруг корабля с таким воем, что «хлопотуну» стоит большого труда сопротивляться

им. На вопрос мой, кто такой хлопотун, рассказчик серьезно ответил: «Это добрый, невидимый покровитель — защитник кораблей, оберегающий честных и порядочных моряков от несчастий, он сам повсюду за всем наблюдает и заботится о порядке и благополучном плавании». Бравый штурман уверил меня, заговорив в несколько более таинственном тоне, что я и сам могу услышать хлопотуна в трюме, где он старается еще лучше разместить грузы, отчего и раздается скрип бочек и ящиков, когда вздымаются волны, и по временам трещат балки и доски; часто хлопотун постукивает и в палубной части, — это считается знаком для плотника, предупреждающим о необходимости спешно починить поврежденное место; охотнее всего, однако, усаживается он на брамселе в знак того, что дует или близится благоприятный ветер. На мой вопрос: можно ли его видеть, я получил ответ: «Нет, он невидим, да никто и не хотел бы увидеть его, так как он показывается лишь тогда, когда нет уж никакого спасения». Правда, мой славный штурман еще не пережил такого случая, но знал, по его словам, от других, что в таких случаях слышно, как хлопотун, сидя на брамселе, переговаривается с подластными ему духами; а когда буря становится слишком сильной, и крушение неизбежно, он усаживается у руля, показываясь тогда впервые; он исчезает, сломав руль, и те, кто его в этот страшный миг видел, находят сейчас же вслед за тем смерть в волнах.

Капитан корабля, вместе со мною слушавший рассказ, улыбался так тонко, как я не мог ожидать, судя по его суровому, ветрам и непогоде открытому лицу, и потом уверил меня, что пятьдесят, а тем более столет тому назад, вера в хлопотуна была так сильна, что за столом всегда накрывали для него прибор и на его тарелку клали лучшие куски каждого блюда, что даже и теперь поступают так на иных кораблях.

Я здесь часто гуляю по берегу и вспоминаю о подобных морских сказках. Наиболее увлекательна, конечно,

история Летучего Голландца, которого видят в бурю проносящимся с распущенными парусами; иногда он спускает лодку, чтобы передать письма на встречные корабли; этих писем потом нельзя передать, так как они адресованы давно умершим лицам. Иной раз вспоминается мне старая и прелестная сказка о юном рыбаке, который подслушал на берегу ночной хоровод русалок и бродил потом со скрипкою по всему свету, чаруя и восхищая всех мелодиями русалочьего вальса. Эту легенду рассказал мне однажды добрый друг, когда мы в концерте в Берлине слушали игру такого же чародея—юноши—Феликса Мендельсона-Бартольди.

Своеобразную прелесть представляет поездка вокруг острова. При этом погода должна быть хороша, облака должны иметь необычные очертания, и кроме того нужно лежать на палубе лицом кверху, созерцая небо и имея, конечно, в сердце своем клочок неба. Тогда волны бормочут всякие чудесные вещи, всякие слова, где порхают милые сердцу воспоминания, всякие имена, звучащие в душе сладостными предчувствиями — «Эвелина»! Идут встречные корабли, и вы приветствуете друг друга, словно можете встречаться ежедневно. Только ночью немного жутко встречаться на море с чужими кораблями: воображаешь, что лучшие твои друзья, которых ты не видел целые годы, в молчании плывут мимо тебя, и ты навеки теряешь их.

Я люблю море как свою душу.

Часто даже кажется мне, что море, собственно, и есть моя душа; как в море есть невидимые подводные растения, всплывающие на поверхность лишь в миг цветения и вновь тонущие, когда отцветут, так и из глубины души моей всплывают порою чудесные цветущие образы и благоухают, и светятся, и опять исчезают — «Эвелина»!

Рассказывают, что близ этого острова, где теперь одни волны, были некогда прекрасные деревни и города, но море внезапно поглотило все это, и в ясную погоду моряки видят блестящие верхушки потонув-

ших церковных колоколен, а кое-кто слышал, ранним воскресным утром, и тихий благовест. Все это правда, ведь море — душа моя.

Светлый мир здесь погребен когда-то,
И встают обломки, как цветы,
Золотыми искрами заката
Отражаясь в зеркале мечты.

(В. Мюллер.)

Просыпаясь, слышу я затем замирающий благовест и пение святых голосов — «Эвелина»!

Когда гуляешь по берегу, проходящие мимо суда представляют прекрасное зрелище. Поднимая свои ослепительно-белые паруса, они походят на проплывающих стройных лебедей. Это особенно красиво, когда солнце заходит позади проходящего корабля, как бы окруженного исполинским ореолом.

Охота на берегу, говорят, доставляет также большое удовольствие. Что касается меня, я не особенно ценю это занятие. Расположение ко всему благородному, прекрасному и доброму часто прививается человеку воспитанием; но страсть к охоте кроется в крови. Если предки уже в незапамятные времена стреляли диких коз, то и внук находит удовольствие в этом наследственном занятии. Мои же предки не принадлежали к охотникам, скорее — за ними охотились, и кровь моя возмущается против того, чтобы я стрелял в потомков их бывших товарищей по несчастью. Мало того — я по опыту знаю, что мне легче отмерить шаги и выстрелить затем в охотника, который желает возвращения времен, когда и люди служили целью для высоких охот. Слава богу, времена эти прошли! Если такому охотнику вздумается поохотиться за людьми, он должен заплатить им за это, как, например, было в случае с скороходом, которого я видел два года назад в Геттингене. Бедняга набегался в душный, жаркий воскресный день и уже порядком устал, когда несколько

ганноверских молодых дворян, изучавших гуманитарные науки, предложили ему пару талеров с тем, чтобы он еще раз пробежал тот же путь обратно; и человек побежал, смертельно-бледный, в красной куртке, а за ним вплотную, в клубах пыли, галопировали откормленные благородные юноши на своих высоких конях, чьи копыта задевали порою загнанного, задыхающегося человека, а ведь это был человек!

С целью сделать опыт и приучить получше свою кровь, отправился я вчера на охоту. Я выстрелил в нескольких чаек, летавших кругом чересчур уверенно, они не могли знать наверное, что я плохо стреляю. Я не думал попасть в них, и хотел только их предупредить, чтобы в другой раз они остерегались людей с ружьями; но выстрел оказался неудачным, и я имел несчастье застрелить молодую чайку. Хорошо, что птица оказалась не старою; что бы тогда было с бедными, маленькими чайками, не оперившись, в песчаном гнезде, в дюнах, они должны были бы погибнуть с голоду без матери. Я предчувствовал заранее, что со мною случится на охоте неудача: заяц перебежал мне дорогу.

Особенное настроение овладевает мною, когда я в сумерках брожу один по берегу — за мною плоские дюны, передо мною колышется безграничное море, надо мною небо, как исполинский хрустальный купол, — тогда я кажусь сам себе ничтожным, как муравей, и все-таки душа моя ширится так далеко. Высокая простота окружающей меня здесь природы одновременно смиряет и возвышает меня и притом в более сильной степени, чем когда-либо другая возвышенная обстановка. Никогда ни один собор не был для меня достаточно велик; моя душа, возносясь в древней титанической молитве, стремилась выше готических колонн и всегда пыталась пробиться сквозь своды. На вершине Ротраппы смелые группы исполинских скал сильно подействовали на меня при первом взгляде; но впечатление было непродолжительное, душа моя была захвачена врасплох, но не подчинена, и огромные каменные

массы стали на глазах моих все уменьшаться; в конце концов, они показались мне ничтожными обломками разрушенного гигантского дворца, где, может быть, и поместилась бы с удобством моя душа.

Пусть это кажется смешным, но я не скрою, что дисгармония между телом и душою как-то мучает меня; здесь у моря, среди великолепной природы, мне становится это порою особенно ясным, и я часто раздумываю о метемпсихозе. Кто постиг величественную иронию божью, вызывающую обыкновенно всякого рода противоречия между душою и телом? Кто может знать, в каком портном живет душа Платона, в каком школьном учителе — душа Цезаря? Кто знает, не помещается ли душа Григория VII в теле турецкого султана и не чувствует ли он себя лучше под ласками тысячи женщин? И, наоборот, сколько душ правоверных мусульман времен Али обитает теперь, может быть, в наших антиэллинских кабинетах? Души двух разбойников, распятых рядом со спасителем, сидят теперь, может быть, в толстых консисторских животах и пламенно ратуют во имя правоверных учений. Душа Чингисхана обитает, может быть, в рецензенте, который ежедневно, сам того не зная, крошит саблею души верноподданных башкиров и калмыков в критическом журнале. Кто знает! Кто знает! Душа Пифагора переселилась, может быть, в бедного кандидата, проваливающегося на экзамене из-за неумения доказать пифагорову теорему, а в господах экзаменаторах пребывают души тех быков, которых Пифагор принес некогда в жертву вечным богам, радуясь открытию своей теоремы. Индусы не так глупы, как полагают наши миссионеры, они почитают животных, полагая, что в них обитают человеческие души; если они учреждают госпитали для больных обезьян, вроде наших академий, то возможно ведь, что в обезьянах живут души великих ученых, а у нас, между тем, совершенно очевидно, что у некоторых больших ученых — обезьяньи души.

Если бы кто-нибудь, обладающий знанием всего прошедшего, мог взглянуть сверху на дела человеческие! Когда я ночью, бродя у моря, прислушиваясь к пению волн, и во мне пробуждаются всякие предчувствия и воспоминания, мне чудится, что когда-то я так заглянул сверху вниз и от головокружительного испуга упал на землю; чудится мне также, будто глаза мои обладали такою телескопическою остротою зрения, что я созерцал звезды в натуральную величину в их небесном течении, и был ослеплен всем этим блестящим круговоротом; словно из тысячелетней глубины приходят тогда ко мне всевозможные мысли, мысли древней мудрости, но они так туманны, что мне не понять их значения. Знаю только, что все наши многоумные познания, стремления, достижения представляются какому-нибудь высшему духу столь же малыми и ничтожными, каким казался мне тот паук, которого я часто наблюдал в геттингенской библиотеке. Он сидел на фоллианте всемирной истории и усердно занимался пряжею, он так философски-уверенно смотрел на окружающее и был вполне проникнут геттингенским геллертерским самомнением; он, казалось, гордился своими математическими познаниями, своею искусною тканью, своими уединенными размышлениями и все-таки ничего не знал о чудесах, заключенных в книге, на которой он родился и провел всю свою жизнь и на которой умрет, если доктор Л. не сгонит его, подкравшись. А кто такой этот подкрадывающийся доктор Л.? Может быть, душа его когда-нибудь обитала в таком же пауке, и теперь он сторожит фоллианты, на которых некогда сидел, и, если он их и читает, то не постигает их истинного содержания.

Что происходило когда-то на той земле, где я теперь брожу? Некий купавшийся здесь проректор утверждал, что тут совершались некогда служения Герте или, лучше сказать, Форсете, о чем так таинственно говорят Тацит. Только не ошиблись ли осведомители, со слов коих ведет рассказ Тацит, и не приняли

ли они купальную каретку за священную колесницу богини?

В 1819 году, когда в Бонне, в одном и том же семестре, я слушал четыре курса, излагавшие главным образом германские древности самых ранних времен, а именно: 1) историю немецкого языка у Шлегеля, который почти три месяца под ряд развивал самые причудливые гипотезы о происхождении немцев; 2) Германию Тацита у Арндта, искавшего в древнегерманских лесах те добродетели, которых он не досчитывался в современных салонах; 3) германское государственное право у Гюльмана, исторические взгляды которого еще менее всех шатки, и 4) древнюю историю Германии у Радлова, добравшегося в конце семестра только до эпохи Сезостриса, — в те времена предание о древней Герте должно было больше интересовать меня, чем теперь. Я ни в каком случае не допускал ее резиденции на Рюгене и полагал, что ее местопребывание скорее всего на одном из восточно-фрисландских островов. Молодой ученый предпочитал свою частную гипотезу. Но ни в каком случае не поверил бы я тогда, что буду некогда бродить по берегу Северного моря, не размышляя о старой богине с патриотическим воодушевлением. А это действительно так вышло, и я думаю здесь о совершенно иных, молодых богинях, в особенности, когда прохожу по берегу мимо того страшного места, где только что подобно русалкам плавали самые красивые женщины. Дело в том, что ни мужчины, ни дамы не купаются здесь под прикрытием, но входят в открытое море. Потому-то и места для купания обоих полов устроены отдельно друг от друга, но не слишком удалены, и обладатель хорошего бинокля может видеть многое на этом свете. Существует предание, что новый Актеон увидел таким образом одну купающуюся Диану, и удивительное дело, — не он, а муж красавицы приобрел по этой причине рога.

Купальные каретки, дрожки Северного моря, только подкатываются здесь к воде, и представляют

четыреугольный деревянный остов, обтянутый жестким полотном. Теперь, в зимнем сезоне, они размещены в зале кургауза и наверное ведут между собою разговоры столь же деревянные и тугонакрашенные, как и высокое общество, еще недавно там находившееся.

Говоря «высокое общество», я здесь не имею в виду добрых граждан восточной Фрисландии — народ столь же плоский и трезвый, как земля, на которой он обитает, народ, не умеющий ни петь, ни свистеть, но обладающий лучшим талантом, чем пускание трелей и подсвистывание, — талантом, облагораживающим человека и возвышающим его над теми пустыми, холопскими душами, которые считают благородными только себя. Я разумею талант свободы. Когда сердце бьется за свободу, каждый его удар так же почтенен, как удар, посвящающий в рыцари, и это знают свободные фризцы; заслужившие свое прозвище; исключая эпоху вождей, аристократия в восточной Фрисландии никогда не властвовала, там жило очень немного дворянских семейств, и влияние ганноверского дворянства, распространяющееся теперь по стране благодаря административным и военным кругам, доставляет огорчение не одному фрисландскому свободному сердцу, и повсюду заметно предпочтение бывлой прусской власти.

Впрочем, я не могу вполне согласиться с всеобщими германскими жалобами на спесь ганноверского дворянства. Ганноверские офицеры дают менее всего поводов к таким жалобам. Правда, как на Мадагаскаре только дворяне имеют право быть мясниками, так и ганноверское дворянство обладало прежде подобным преимуществом, ибо одни дворяне могли получать офицерские чины. Но с тех пор, как столько простых граждан отличилось в немецком легионе и достигло офицерского звания, указанное выше скверное обычное право утратило свою силу. Да, весь состав немецкого легиона много содействовал смягчению старых предрассудков, люди эти побывали в дальних концах

света, а в свете увидишь многое, особенно в Англии; они многому научились, и приятно послушать, как они рассказывают о Португалии, Испании, Сицилии, Ионических островах, Ирландии и других далеких странах, где сражались, и где каждый из «них многих людей города посетил и обычаи видел», так что, кажется, слушаешь Одиссею, у которой, к сожалению, не будет своего Гомера. К тому же, среди офицеров этого воинства сохранилось много английского свободомыслия, и оно находится в более резком противоречии со старинным ганноверским укладом, чем принято думать в остальной Германии, где примеру Англии мы обычно приписываем слишком уж большое влияние на Ганновер. В этом Ганновере ничего другого не видишь кроме родословных деревьев с привязанными к ним лошадьми. От множества деревьев страна остается во мраке, и; при всем обилии лошадей, не двигается вперед. Нет, сквозь эту ганноверскую дворянскую чащу никогда не проникал солнечный луч британской свободы, и ни одного британского свободного звука не слышно было в яростном ржании ганноверских коней.

Всеобщие жалобы на ганноверскую дворянскую спесь касаются главным образом прелестной молодежи, принадлежащей к известным семействам, правящим Ганновером или считающим, что они косвенно правят им. Но эти благородные юноши скоро освободились бы от недостатков этого рода или, лучше сказать, от своих дурных привычек, если бы они тоже потолкались немного по свету или получили бы лучшее воспитание. Правда, их посылают в Геттинген, но там они держатся своим кружком и говорят только о своих собаках, лошадях и предках. Редко слушают лекцию новейшей истории, а если и слышат что-нибудь из нее, то мысли их отвлечены в то время видом графского стола; будучи эмблемой Геттингена, он предназначен лишь для высокородных студентов. Поистине, путем лучшего воспитания ганноверской дворянской молодежи можно было бы избежать многих жалоб. Но молодые стано-

вятся такими же, как старики. То же ложное мнение, будто они — цвет земли, в то время как мы, остальные, — лишь трава; та же глупость: пытаться прикрыть собственное ничтожество заслугами предков; то же неверие насчет сомнительности этих заслуг — ведь очень немногие из них помнят, что государи лишь изредка удостоивали чести возведения в дворянство своих верных и добродетельных слуг, и очень часто — сводников, льстецов и тому подобных фаворитов-мошенников. Лишь очень немногие из них, гордых своими предками, могут определенно указать, что сделали их предки, и ссылаются лишь на то, что их имя упоминается в «Турнирной книге» Рюкснера, и даже если они могут доказать, что предки их в качестве рыцарей-крестоносцев были при взятии Иерусалима, то пусть прежде чем делать благоприятные для себя выводы они докажут также, что эти рыцари честно сражались, что под их железными наножниками не было подкладки из желтого страха, и что под красным крестом их билось сердце честного человека. Если бы не существовало «Илиады» и остался лишь список имен героев, бывших под Троею, и если бы имена их сохранились в лице потомков, — как чванились бы своей родословной потомки Терсита! О чистоте крови я даже и говорить не хочу: философы и конюхи держатся на этот счет совершенно особых мнений.

Упреки мои, как я уже заметил, касаются главным образом плохого воспитания ганновского дворянства и с ранних пор внушаемого ему ложного мнения о важности некоторых форм, достигаемых дрессировкою. О, как часто не мог я удержаться от смеха, замечая, какое значение придается этим формам. Как будто так трудно изучить это представительство, эти представления, эти улыбки без слов, эти слова без мыслей, и все это дворянское искусство, которому добрый мечанин изумляется, как чуду морскому, и которым, однако, любой французский танцмейстер владеет лучше, чем немецкий дворянин, с трудом постигающий это ис-

кусство в обламывающей медведей Лютеции с тем, чтобы преподавать его дома своим потомкам с немецкою основательностью и тяжеловесностью. Это напоминает мне басню о медведе, который танцевал на базарах, убежал от вожатого, вернулся в лес к собратьям и стал хвастать — какое трудное искусство танцы и как далеко пошел он в этом деле, и, действительно, бедные звери не могли не дивиться тем образцам искусства, которые он представил. Эта нация, как называют их Вертер, составляла высшее общество, блиставшее в этом году здесь в воде и на берегу, и все это были сплошь милые, милые люди, и все они хорошо играли.

Были здесь и владетельные особы, и я должен признать, что они были скромнее в своих претензиях, чем более мелкое дворянство. Но я оставляю открытым вопрос, проистекает ли эта скромность из сердечных качеств высоких особ, или же она вызвана их внешним положением. То, что я говорю, относится только к медиатизированным немецким государям. С этими людьми недавно поступили весьма несправедливо, отняв у них верховную власть, на которую они имеют такие же права, как и более крупные государи, если только не быть, подобно моему единоверному Спинозе, того мнения, что все неспособное удержаться собственными силами, не имеет права на существование. Но для раздробленной на мелкие части Германии оказалось благодеянием то обстоятельство, что вся эта компания миниатюрных деспотов принуждена была отказываться от власти. Страшно подумать, какое множество таких особ должны мы, немцы, кормить. Если даже все эти медиатизированные уже не держат в руке скипетра, то все же они держат ложку, нож и вилку, и едят отнюдь не овес, да и овес обошелся бы дорого. Я думаю, Америка когда-нибудь облегчит нам немного это бремя государей. Рано или поздно, президенты тамошних республик превратятся в государей, тогда этим господам понадобятся супруги, обладающие наследственными качествами, и они будут рады, если мы предоставим им

наших принцесс, и на каждые шесть взятых принцесс дадим седьмую бесплатно, а затем и князьки наши могут пристроиться к их дочерям, — потому что медиатизированные государи поступили весьма политично, выговорив себе по крайней мере право родового равенства; они ценят свои родословные столь же высоко, как арабы — родословные своих коней, и по тем же побуждениям: они знают, что Германия всегда была большим конским заводом государей, который должен снабжать все соседние царствующие дома необходимыми им матками и производителями.

На всех водах освящено привычкою давнее право, в силу которого уехавшие гости подвергаются со стороны оставшихся довольно резкой критике, и, оставшись здесь последним, я в полной мере использовал это право.

Но теперь на острове так пустынно, что я кажусь себе Наполеоном на о-ве Св. Елены. Разница та, что я нашел себе развлечение, которого у него там не было. Именно, я занимаюсь здесь личностью самого великого императора. Один молодой англичанин снабдил меня только что вышедшею книгою Мейтленда. Этот моряк рассказывает, каким образом и при каких обстоятельствах Наполеон сдался ему, и как он держал себя на «Беллерофоне», пока, по приказу английского министерства, не был водворен на «Нортемберленде». Из книги ясно, как день, что император, с романтическим доверием к британскому великодушию и желая дать наконец миру отдохнуть, обратился к англичанам скорее, как гость, чем, как пленник. Это было ошибкою, которой не совершил бы никто, и всего менее Веллингтон. Но история назовет эту ошибку столь прекрасной, столь возвышенной, столь величественной, что для нее необходимо иметь больше душевного величия, чем способны мы проявить во всех наших громких делах. Причина, по которой капитан Мейтленд теперь выпустил в свет книгу, заключается, повидимому, в нравственной потребности самоочищения, свойственной

всякому честному человеку, замешанному волею злого рока в двусмысленное дело. Самая же книга представляет неоценимый вклад в историю пленения Наполеона, и история эта, являясь последним актом его жизни, чудесным образом разрешает все загадки, заключенные в предыдущих актах, и, как подобает истинной трагедии, потрясает души, очищает их и дает примирение. Различие в характерах четырех главных повествователей, излагающих историю этого плена, выражающееся особенно в стиле и общем взгляде, уясняется вполне правильно лишь при их сопоставлении.

Мейтленд, холодный, как буря, английский моряк, излагает события непредубежденно и точно, как будто заносит явления природы в судовой журнал; Ласказ, энтузиаст-камергер, в каждой написанной им строчке падает к ногам императора, не как русский раб, а как свободный француз, невольно склоняющий колени в изумлении перед неслыханным величием героя и сиянием славы. О'Мира, врач, хотя и родившийся в Ирландии, но истый англичанин и в качестве такового некогда враг императора, признавший теперь державные права несчастья, пишет свободно, без прикрас, в соответствии с фактами, почти в лапидарном стиле; и напротив, не стилем, а стилетом представляется колкая, пронизывающая манера французского врача Антомарки, итальянского уроженца, сознательно упивающегося злобой и поэзией своей родины.

Оба народа, бритты и французы, выставили с каждой стороны по два человека обыкновенного ума, неподкупных правящими кругами, и эти судьи судили императора и вынесли приговор: вечная жизнь, вечное ему изумление, вечное сожаление!

Много великих людей прошло уже по этой земле, здесь и там остались светозарные следы их, и в священные часы являются они душе нашей в туманных образах; но равный им по величию человек видит своих предшественников еще явственнее; по отдельным искрам их земных светящихся следов познает он скрытые дела

их, по единственному сохранившемуся слову постигает все тайники их сердца; и так, в таинственном общении, живут великие люди всех времен; через даль тысячелетий подают они друг другу знаки, и взором, полным значения, глядят друг на друга; взоры их встречаются на могилах погибших поколений, разделивших их, и они понимают друг друга и любят друг друга. Для нас же, малых, неспособных к такому тесному общению с великими людьми прошлого, которых лишь изредка созерцаем мы следы и туманные образы, — для нас в высшей степени ценно узнать о великом человеке столько, чтобы без труда воспринять душою его образ с жизненною ясностью и этим расширить пределы своей души. Таков Наполеон Бонапарт. Мы знаем о нем, о жизни его и о его стремлениях больше, чем о других великих людях этой земли, и ежедневно узнаем больше и больше. Мы видим, как засыпанное изваяние божества постепенно откапывается, и с каждой отброшенной лопатою мусора растет наше радостное изумление перед соразмерностью и великолепием благородных форм, выходящих наружу; а те молнии, которые мечут враги, стремясь разрушить великий образ, лишь озаряют его еще большим блеском. Нечто подобное получается от суждений г-жи де Сталь, которая при всей своей резкости, высказывает в конце концов лишь то, что император не был, как все люди, и что дух его не поддается измерению обычными мерилami.

Такой именно дух имеет в виду Кант, говоря, что мы можем представить себе ум не дискурсивный, как наш, а интуитивный, который идет от синтетически общего, от созерцания целого, как такового, к частному, то есть от целого к частям. И действительно, то, что мы познаем путем медленных аналитических размышлений и ряда долгих последовательных заключений, этот дух созерцал и глубоко постигал в один момент. Отсюда и талант его — понимать современность, настоящее, сообразоваться с их духом и постоянно пользоваться им, никогда его не оскорбляя.

Но так как дух времени был не чисто революционный, а слагался из совокупности двух течений — революционного и контр-революционного, то Наполеон никогда не действовал ни в вполне революционном, ни в вполне контр-революционном духе, но всегда в духе обоих течений, обоих начал, обоих стремлений, которые объединились в нем; притом, он всегда действовал естественно, просто, величаво, без судорожной резкости, с мягким спокойствием. Поэтому он не вел в отношении отдельных лиц интриг, и удары его всегда были основаны на искусстве понимать массы и руководить ими. К запутанным, долгим интригам склонны мелкие, аналитические умы, умы же целостные, интуитивные, напротив, каким-то удивительно гениальным образом умеют соединять все предоставляемые им настоящим средства так, чтобы быстро использовать их в своих целях. Первые часто терпят неудачу, ибо никакая человеческая мудрость не в состоянии предусмотреть всех случайностей жизни, и жизненные отношения никогда не бывают в течение долгого времени устойчивы; последним же — людям интуиции — их планы удаются с особою легкостью, так как им необходимо только правильно учесть настоящее и действовать затем так быстро, чтобы движение волн житейских не успело произвести какого-нибудь внезапного, непредвиденного изменения.

Счастлирое совпадение — Наполеон жил как раз во времена, особенно восприимчивые к истории, к исследованиям в ее области и к воспроизведению прошлого. Потому благодаря мемуарам современников лишь немногие частности о Наполеоне ускользнут от нас, и число исторических книг, изображающих его в большей или меньшей связи с остальным миром, растет с каждым днем. Вот почему известие о предстоящем выходе книги, принадлежащей перу Вальтер Скотта, заставляет ждать ее с живейшим любопытством.

Все почитатели Скотта должны трепетать за него; ведь такая книга легко может стать русским походом для той славы, которую он с трудом приобрел рядом

исторических романов, тронувших все сердца Европы более темой, чем поэтической силою. Тема эта — не одни сплошные элегические жалобы по поводу народной прелести Шотландии, постепенной вытесняемой чужими нравами, чужим владычеством и образом мыслей; в ней — великая скорбь о потере национальных особенностей, гибнущих во всеобщности новой культуры, скорбь, живущая теперь в сердцах всех народов. Ведь национальные воспоминания заложены в груди человеческого глубже, чем думают обыкновенно. Стоит только дерзнуть выкопать из земли старинные статуи, и в одну ночь расцветет и старинная любовь с ее цветами. Я выражаюсь не фигурально, но имею в виду факт: когда Беллок несколько лет тому назад выкопал из земли в Мексике древнеязыческую каменную статую, он на следующий день увидел, что за ночь она украшена цветами; а ведь Испания огнем и мечом истребила древнюю веру мексиканцев, и в продолжение трех столетий разрыхляла и глубоко вспахивала их умы и засеивала их христианством. Такие цветы цветут и в произведениях Вальтер Скотта; сами по себе произведения эти пробуждают старые чувства; как некогда в Гренэде мужчины и женщины с воплями отчаяния бросались из домов, когда на улицах раздавалась песня о въезде в город мавританского короля, вследствие чего запретили петь ее под страхом смертной казни, так и тон, преобладающий в творениях Скотта, болезненно потряс весь мир. Тон этот находит отзвук в сердцах нашего дворянства; на глазах которого рушатся его замки и гербы; звучит он в сердце горожанина, скромный и старинный уют которого вытесняется все захватывающей удручающей современностью; отдается он в католических соборах, откуда сбежала вера, и в раввинских синагогах, откуда бегут даже верующие; он звучит по всей земле, до банановых рощ Индостана, где вздыхающий брамин предвидит смерть своих богов, разрушение своего древнего мирового уклада и полную победу англичан.

Этот тон, сильнейший из всех, какие способна издать исполинская арфа шотландского барда, не подходит, однако, к песне об императоре Наполеоне, новом человеке, человеке нового времени, человеке, так блистательно отражающем новое время, что мы почти ослеплены им и уже не в состоянии помнить об угасшем прошлом, о его поблекшем великолепии. Следует, по видимому, ожидать, что Скотт, сообразно со своею склонностью, выставит на первый план вышеуказанный элемент устойчивости в характере Наполеона, контрреволюционную сторону его духа, тогда как другие писатели признают в нем лишь революционное начало. С этой последней стороны изобразил бы его Байрон, который являл во всех своих устремлениях противоположность Скотту и вместо того, чтобы, подобно ему, оплакивать падение старых форм, чувствует себя досадливо стесненным даже и теми, которые еще устояли; он готов разметать их своим революционным смехом и скрежетом зубным и, негодуя, отравляет ядом своих мелодий священнейшие цветы жизни и, подобно безумному Арлекину, вонзает себе в сердце кинжал, чтобы хлынувшею оттуда черною кровью для забавы обрызгать господ и дам.

Право, в этот миг я живо чувствую, что я не принадлежу к школе Байрона*, кровь моя не так уж черна от сплина, горечь моя истекает из желчных орешков моих чернил, и если во мне есть яд, то он — только противоядие, — противоядие от змей, которые столь угрожающе притаились в развалинах старых соборов и замков. Из всех великих писателей именно Байрон действует на меня при чтении наиболее мучительно, между тем как Скотт, напротив, каждым своим творением радует сердце, успокаивает и укрепляет. Меня радуют

* В оригинале у Гейне неперевоаемая игра слов: Гейне говорит, что он не *Nachbeter* или, вернее сказать, не *Nachfrevler* Байрона; *Nachbeter* — значит повторяющий за кем-нибудь слово в слово молитву, *Nachfrevler* — повторяющий чужие преступления.

даже и подражания ему, как, например, у В. Алексиса, Брониковского и Купера; первый из них в ироническом «Валладморе» ближе всех подходит к своему образцу и обнаруживает также в позднейших произведениях такое богатство образов и мысли, что, при своей поэтической самобытности, пользующейся только формами Скотта, мог бы, я думаю, рядом исторических повестей воскресить в нашей душе драгоценнейшие моменты немецкой истории.

Но истинному гению невозможно указать определенные пути, они — вне всякого критического расчета, и пусть высказанное мною предубеждение к вальтер-скоттовской истории императора Наполеона останется только невинною игрою мысли. «Предубеждение» здесь — самое общее выражение. Лишь одно можно сказать определенно: книга будет читаться с восхода до заката, и мы, немцы, переведем ее.

Мы перевели и Сегюра. Не правда ли, это — красивая эпическая поэма? Мы, немцы, тоже сочиним эпические поэмы, но герои их существуют только в нашем воображении. Напротив, герои французской эпопеи — действительные герои, совершившие большие подвиги и претерпевшие большие страдания, чем в состоянии придумать мы на своих чердачках. И ведь у нас много фантазии, а у французов — мало; может быть, господь бог пришел на помощь французам иным путем, и им стоит только рассказать, что видели они и проделали за последние тридцать лет, как у них получится такая прожитая, из жизни взятая литература, какой не создал еще ни один народ, ни одна эпоха. Эти мемуары государственных людей, солдат и благородных женщин, ежедневно появляющиеся во Франции, образуют цикл сказаний, которых хватит потомству для размышлений и песен, в центре которых высится, подобно гигантскому дереву, жизнь великого императора. Сегюровская история русского похода — это песнь, французская народная песнь, принадлежащая к тому же циклу сказаний, по тону своему и материалу она подобна

и равна эпическим произведениям всех времен. Поколение героев, вызванное к жизни из недр Франции магическими словами «свобода и равенство», прошло, как в триумфальном шествии, по всей земле, опьяненное славой, под предводительством самого бога славы; оно приводит в ужас и возвеличивает, оно танцует наконец свой буйный воинственный танец на ледяных полях Севера, но лед подламывается, и сыны огня и свободы погибают от стужи и от рук рабов.

Такое описание или пророчество о гибели героического мира есть основной тон и содержание эпических поэм всех народов. На скалах Эллары и других индийских священных гротов изображена такая эпическая катастрофа гигантскими иероглифами, ключ к которым находится в «Махабхарате»; Север воссоздал картину гибели богов в словах, крепостью не менее каменных, в своей «Эдде», «Песне о Нибелунгах» поет ту же трагическую гибель, и последняя ее часть имеет особенное сходство с сегюровским описанием пожара Москвы; роландова песня о Ронсевальской битве, слова которой забыты, но самая легенда не умерла и еще недавно вызвана к жизни одним из крупнейших отечественных поэтов, Иммерманом, представляет ту же древнюю поэму роковой судьбы; даже песнь об Илионе прекраснее всего возвеличивает старую тему, и все же она не величавей и не мучительней французской былины, в которой Сегюр воспел гибель своего героического мира. Да, это истинная эпопея, героическая молодежь Франции — прекрасный герой, преждевременно погибающий, подобный тому, о ком читали мы в песнях о гибели Бальдура, Зигфрида, Роланда и Ахилла, павших точно так же благодаря несчастью и измене; героев, которым мы удивлялись в «Илиаде», мы вновь находим в песне Сегюра, мы видим, как они совещаются, ссорятся, дерутся, как некогда перед Скейскими воротами; и если куртка короля Неаполитанского слишком уж по-модному пестра, то боевая его отвага и дерзость столь же велики, как у Пелида; Гектором, по

кроткости и мужеству, представляется нам принц Евгений; благородный рыцарь Ней сражается как Аякс; Бертье — Нестор без мудрости; в Даву, Дарю, Коленкуре и т. д. живут души Менелая, Одиссея, Диомеда. Только одному императору нет равного, в его голове — Олимп всей поэмы; и если по внешнему царственному величию я сравню его с Агамемноном, то это потому, что его, как и большую часть его великих боевых сподвижников, ожидала трагическая судьба, и потому, что его Орест еще жив.

Подобно творениям Скотта, сегюровская эпопея пленяет наше сердце тоном. Но тон этот не пробуждает любви к безвозвратно минувшему; это тон, на который настраивает современность, тон, вдохновляющий нас в борьбе за современность.

Мы, немцы, в самом деле, настоящие Петеры Шлемили. Мы и в последнее время много видели, много вынесли, например, воинские посты и дворянскую спесь; мы проливали благороднейшую нашу кровь, например, для Англии, которая и теперь еще должна выплачивать ежегодно приличные суммы прежним владельцам оторванных немецких рук и ног; в малых делах мы так много сделали, что, если подсчитать все, получатся величайшие подвиги, например, в Тироле; и мы многое потеряли, например, нашу тень — титул славной священной Римской империи — и все-таки, при всех наших потерях, лишениях, несчастиях и подвигах, литература наша не воздвигла ни одного из таких памятников славы, какие подобно вечным трофеям ежедневно возводятся нашими соседями. Наши лейпцигские ярмарки мало выиграли от битвы при Лейпциге. Я слышал, что один готский обыватель собирается воспеть ее в эпической форме; но так как он еще не знает, принадлежит ли он к 100 000 душ, которые достанутся Гильдсбургаузену, или к 150 000, которые достанутся Мейнингену, или к 160 000, которые достанутся Альтенбургу, то он и не может начать своей поэмы, иначе ему пришлось бы начать так: «Воспой, о бессмерт-

ная душа, гильдбургаузенская душа, мейвингенская душа, или также и альтенбургская душа — все равно — воспой спасение греховной Германии». Эта торговля душами в самом сердце Германии и ее кровавая растерзанность подавляют всякое гордое чувство, а тем более гордое слово; лучшие наши подвиги становятся смешными, потому что глупо кончаются, и пока мы хмуро укутываемся в пурпурный плащ, окрашенный кровью наших героев, является политический шут и нахлобучивает нам на голову колпак с погремушками.

Именно для того, чтобы понять скудость и ничтожество нашей пустячной жизни, нужно сравнить литературы наших соседей по ту сторону Рейна и Ламанша с нашей пустячной литературой. Так как я предполагаю лишь впоследствии поговорить обстоятельнее об этом предмете, — о литературном убожестве Германии, то предлагаю здесь забавное возмещение, включая в текст нижеследующие «Ксении», вылившиеся из-под пера моего высокого соратника Иммермана. Единопышленники будут мне, конечно, благодарны за сообщение этих стихов, и — за непогим исключением, отмеченными мною звездочкой — я готов стоять за них как за выражение моих собственных убеждений.

Поэтический литератор

Полно ныть, и ухмыляться, и лукавить; дай ответ
Нам, когда Ганс Сакс родился, Векерлин покинул свет.

«Люди смертны», — заявляет человек важным тоном.
Это, друг, не слишком ново и известно уж давно нам.

Шкуркой ссохшеюся критик мажет обувь, всем на диво;
Чтобы слезы лились, жрет он лук поэзии ревниво.

Дай хоть Лютеру пощадку, комментатор неудачный,
Эта рыба нам вкуснее без твоей приправы смачной.

ДРАМАТУРГИ

1

* «Кончил я писать трагедии, мщю я публике сурово»
Друг, ругайся, сколько хочешь, не держи теперь уж слово.

2

* Смолкни, колкая сатира, и оставь его в покое:
Он командует стихами, этот ротмистр, в конном строе.

3

Будь девицей Мельпомена, простодушною красоткой,
Вот бы муж ей был примерный, тихий, ласковый и кроткий.

4

За грехи бывшие строго Коцебу карает рок:
Эким чудищем он бродит, без чулок и без сапог!

И старинное преданье возникает в полной силе —
Что вселяются в животных души тех, кто прежде жили.

Восточные поэты

Кто воркует вслед за Саади, нынче в крупном авантаже,
А по мне, Восток ли, Запад, — если фальшь, то фальшь все
та же.

Прежде пел при лунном свете соловей, seu филомела;
Нынче трель Буль-буль выводит — ту же трель, по сути дела.

Ты, поэт маститый, песней мне напомнил Крысолова:
«На Восток», — и за тобою мелкота бежать готова.

Чтут они коров индусских по особенным условиям:
Им Олимп готов отныне — хоть в любом хлеву коровьем.

От плодов в садах Ширази повсеместно знаменитых,
Через край они хватили — и газелами тошнит их.

* или

* Колокола

Посмотрите — толстый пастор: он в церковном облачении
И во-всю трезвонит, дабы тем снискать себе почтение.

И текут к нему глухие, и слепые, и хромые,
И в особенности дамы в непрестанной истерии.

Белой мазью не излечишь и вреда не принесешь,
Ты в любой из книжных лавок эту мазь теперь найдешь.

Если дальше будет то же и почет попам продлится,
В лоне церкви мне придется поскорее возвратиться.

Буду папе я покорен, буду чтить в нем *praesens Numen*,
Здесь же мнит себя за *numen* всякий поп, любое *lumen* *.

Orbis pictus

Всем бы вам одну лишь шею, вам, высокие светила,
Вам, жрецы, и лицедеи, и поэты — злая сила!

Утром в церкви созерцал я комедийную игру,
С тем чтоб проповедь в театре слушать позже, ввечеру.

Если нравлюсь я вам, люди, то успех мой обеспечен,
Если зло вас, хорошо мне это действует на печень.

Сам господь, по мне, теряет очень много потому
Что жрецы его малюют по подобию своему.

«Как владеет языком он!» Да, нельзя не засмеяться,
Глядя, как его, беднягу, заставлял он ломаться.

Много я стерпеть способен, но одно — для сердца рана:
Нервный неженка в обличьи гениального болвана.

* *Praesens Numen* — воплощенное божество; — *Lumen* — светоч.

Ты мне нравился когда-то, как с Люциндой вел интрижку,
Но грешить с Марией в мыслях — это дерзко, это слишком!

В недрах английской, испанской и потом браминской школы
Всюду терся, протирая нашу обувь и камзолы.

Дамы пишут неизменно про сердечные страдания:
Fausses couches, утрата чести — ох, уж эти излиянья!

Дам, пожалуйста, не троньте: сочиняют — и прекрасно!
Если дама — сочинитель, то она хоть не опасна.

Будет скоро так в журналах, как за прялкою когда-то:
Пряхи-кумушки судачат, рты разинули ребята.

Будь я Чингисхан, тебя бы уничтожил я, Китай,
Губит нас неумолимо твой проклятый «светский» чай.

Все пришло в порядок должный, успокоился и гений:
Благодушно собирает дань с минувших поколений.

Этот город полон статуй, пенья, музыки, картин,
У ворот с трубой Петрушка: «Заходите, господин!»

Твой хорей звучит прескверно: где размер и где цезуры?
— Обойдутся без мундира литераторы-пандуры.

Как, скажи нам, докатился ты до грубости и брани?
— Друг, на рынок отправляясь, локти в ход готовь заране.

«Но ведь ты в твореньях прежних достигал больших высот».
— Лучший, смешиваясь с чернью, долю черни познает.

Мух, назойливо жужжащих, вы хлопущей летом бьете,
А в стихи мои со злости колпаком ночным метнете.

ИДЕИ—КНИГА LE GRAND

1 8 2 6

Трона нашего оплот,
Первенствующий в народе
Эриндуrow славный род
Устоит, на зло природе.

В. Мюллерер. «Вина».

ЭВЕЛИНА

ПРИМИ ЭТИ СТРАНИЦЫ

в знак дружбы и любви

АВТОРА

от масла торты растут на свободе, как подсолнухи, всюду ручьи бульона и шампанского, всюду деревья с развевающимися салфетками; там кушают, вытирают рот и опять едят, не расстргивая себе желудка, поют псалмы, или забавляются с прелестными, нежными ангелочками, или же ходят гулять по зеленому аллилуйному лугу; притом, белые, развевающиеся одежды сидят так удобно, и ничто не нарушает чувства блаженства. ни скорбь, ни дурное настроение; и даже если кто-нибудь наступит случайно другому на мозоль и воскликнет «excusez!» *, то этот другой лишь улыбнется просветленно и скажет: «Поступь твоя не тяжела, брат мой, даже, au contraire **», сердце мое исполняется от этого лишь еще большим небесным блаженством».

Но об аде, madame, вы не имеете никакого понятия. Из всех чертей знаком вам, может быть, самый мелкий, Вельзевульчик Амур, благовоспитанный крупье преисподней, а самую преисподнюю знаете вы только из «Дон-Жуана», она вам кажется недостаточно жаркою для этого совратителя женщин, подающего дурной пример, хотя наши досточтимые театральные дирекции пускают при этих случаях в ход столько световых эффектов, огненного дождя, пороку и канифоли, сколько только может пожелать для преисподней добрый христианин.

Между тем, в аду гораздо хуже, чем полагают наши театральные директора, и если бы они знали это, они бы не ставили столько скверных пьес; в аду адски жарко, и когда однажды, в жаркую летнюю пору, я побывал в нем, я нашел, что там невыносимо. Вы не имеете никакого понятия об аде, madame. Мы получаем оттуда мало официальных сообщений. Что бедные души в преисподней обязаны перечитывать целые дни все скверные проповеди, какие печатаются здесь, наверху, — это клевета. Так уж плохо дело в аду не обстоит, таких утон-

* извините!

** напротив.

ченных мук никогда не выдумать сатане. Но дантовское изображение ада, напротив, слишком мягко, в общем — чересчур поэтично. Ад показался мне какой-то большой мешалской кухней, с бесконечно длинной плитой, на которой установлены были в три ряда чугунные котлы, и в них сидели и жарились осужденные. В одном ряду сидели грешники-христиане, и — кто этому поверит! — число их было не так уж мало, и черти с особым усердием разводили под ними огонь. В другом ряду сидели евреи, беспрерывно кричавшие; черти время от времени дразнили их; так вышло очень забавно, когда толстый ростовщик, отдуваясь, стал жаловаться на чрезмерную жару, и один из чертенят вылил ему на голову несколько ведер холодной воды, чтобы тот увидел, что крещение — благодать, истинно освежающая. В третьем ряду сидели язычники, которые, подобно евреям, не могут удостоиться блаженства и должны вечно гореть. Я слышал, как один из них, которому дюжий чорт подложил новых угольев, закричал из глубины котла недовольным голосом: «Пощади меня, я был Сократ, мудрейший из смертных, я учил правде и справедливости и пожертвовал жизнью во имя добродетели!» Но дюжий чорт, не прерывая работы, проворчал: «Э, что там! Все язычники должны жариться, для одного человека мы не станем делать исключения!» — Уверю вас, madame, жара была ужасающая, крики, вздохи, стоны, кваканье, хныканье, визги — и среди всех этих ужасных звуков ясно раздавалась роковая мелодия песни о непролитой слезе.

ГЛАВА II

Она была мила, и он любил ее; но он не был мил, и она не любила его.

Старая пьеса.

Madame, старая пьеса — трагедия, хотя героя в ней не убивают, и сам он себя не убивает. Глаза героини

прекрасны, ах, как прекрасны, madame, — вы чувствуете запах фиалки? — так прекрасны и, однако, так остро отточены, что, подобно стеклянным кинжалам, вонзились мне в сердце и, конечно, прошли насквозь, и все же эти предательские убийственные глаза не умертвили меня. Голос героини также прекрасен, — madame, вы не слышали, как сейчас щелкнул соловей? — прекрасный, бархатный голос, сладостное сплетение самых солнечных тонов, и душа моя была им захвачена, она стала задыхаться и мучиться. Сам я — с вами говорит граф Гангский, и действие происходит в Венеции — сам я в то время наскучил уже такими муками и подумывал положить конец игре еще в первом акте, и выстрелом сорвать дурацкий колпак вместе с головой, и я отправился в галантерейный магазин на Via Burstah, где я на выставке нашел пару прекрасных пистолетов в ящике — я еще хорошо помню все это, — рядом было разложено много интересных игрушек из перламутра и золота, железные сердца на золотых цепочках, фарфоровые чашки с нежными надписями, табакерки с красивыми картишками, например, с божественной историей о Сусанне, с лебединою песнею Леды, с похищением сабинянок, с Лукрецией, толстою добродетельною особою, с обнаженною грудью, куда она и вонзает слишком поздно кинжал, с блаженной памяти Бетман, la belle ferronnière, — сплошь соблазнительные лица, но я все-таки купил пистолеты, почти не торгуясь, потом купил пуль, потом пороху, потом отправился в погребок синьора Цампетто и велел подать себе устриц и стакан рейнвейну.

Есть я не мог, а пить еще менее. Горячие слезы капали в стакан, и в стакане видел я дорогую родину, голубой священный Ганг, вечно светящиеся Гималаи, исполинские банановые леса; по их широким, тенистым дорожкам спокойно шествовали умные, славные и одетые в белое пилигримы, особенные причудливые цветы глядели на меня с таинственным зовом, золотые чудесные птицы дико щебетали, мерцающие лучи солнца и

бессмысленно радостные голоса смеющихся обезьян нежно поддразнивали меня, из далеких пагод доносились молитвы жрецов, и среди этих звуков слышался жалобно-томный голос Делийской султанши — в своих усталых коврах покоя буро носилась она с одного конца в другой, разорвала свои серебряные покрывала, опрокинула наземь черную рабыню с павлиньим опахалом, плакала, шумела, кричала — я не мог понять ее, погребок синьора Цампетто находился в трех тысячах милях от Делийского гарема, к тому же прекрасная султанша умерла уже три тысячи лет тому назад, и я жадно пил вино, светлое, радостное вино, и все-таки на душе моей становилось все темнее и печальнее — я был приговорен к смерти.

Когда я поднялся по лестнице из погребка, я услышал звуки зауспокойного перезвона по случаю казни; человеческая толпа двигалась мимо меня; я же остановился на углу strada San Giovanni и произнес следующий монолог:

В старинных сказках — замки золотые,
Под звуки арф красавицы там пляшут,
Сверкают яркие одежды слуг,
Благоухают розы, мирты и жасмины.
Но стоит слово вымолвить одно,
И в миг исчезнет все великолепье,
Останутся развалины в пыли.
И карканье болотных птиц в трясине.
Так я одним своим единым словом
Цветущий мир расколдовал в мгновение,
И он безжизнен, холоден и вял,
Подобно телу мертвого владыки,
Чьи щеки покрывает слой румян
И в руки вложен скипетр величавый,
А губы вянут блеклой желтизной, —
Забыли их, как щеки, нарумянить,

И мыши нагло возятся у носа,
Над скипетром владыки издеваясь.

Всюду, вообще, принято, *madame*, произносить монолог перед тем, как застрелиться. Большинство пользуется при этом случае гамлетовским «Быть или не быть». Это хорошее место, и я бы тоже охотно процитировал его здесь, но никто сам себе не враг, и если кто-нибудь, подобно мне, сам писал трагедии, где встречаются такие речи под занавес жизни, как, например, бессмертный «Альмансор», то весьма естественно, что отдаешь предпочтение своим собственным словам, хотя бы и перед шекспировскими. Во всяком случае, такие речи — прием весьма полезный; благодаря им выигрывается по крайней мере время. — И вышло так, что я несколько задержался на углу *strada San Giovanni*, и когда стоял там, обреченный, присужденный к смерти, я увидел внезапно ее!

На ней было голубое шелковое платье и ее розовая шляпа, глаза ее взглянули на меня так нежно, торжествуя над смертью и даруя жизнь. *Madame*, вы знаете, конечно, из римской истории, что весталки в древнем Риме, встретив на своем пути преступника, ведомого на смертную казнь, имели право помиловать его, и бедняга оставался в живых... Одним своим взглядом она спасла меня от смерти, и я стоял перед ней, как возродившийся к жизни, как ослепленный солнечным сиянием ее красоты, и она прошла дальше — и оставила меня в живых.

ГЛАВА III

И она оставила меня в живых, и я живу, а это — главное.

Пусть другим достается счастье — знать, что возлюбленная украшает их могилу цветами и орошает ее слезами верности. О, женщины! ненавидьте меня, смей-

тесь надо мной, отвергайте меня, но не отнимайте у меня жизни! Жизнь чересчур уж забавно сладостна; мир столь прелестно запутан; это сон опьяненного вином бога, украдкою, *à la française* * удалившегося с пирушки богов и прилегшего уснуть на одинокой звезде; он и сам не знает, что вызывает к жизни все свои сны, и сновидения его то пестро безумны, то гармонически разумны — «Илиада», Платон, Марафонская битва, Моисей, Венера Медицейская, Страсбургский собор, французская революция, Гегель, пароходы и т. д. — все это отдельные счастливые мысли в творческом сне бога; но это продлится недолго, бог проснется, протрет заспанные глаза и улыбнется — и мир наш рассеется в ничто, он никогда даже не существовал.

Как бы то ни было, я живу. Если даже я только тень чьего-то сновидения, то все-таки это лучше холодного черного, пустого небытия смерти. Жизнь — высшее из благ, худшее же несчастье — смерть. Пусть берлинские гвардейские лейтенанты издеваются и называют трусостью то, что принц Гомбургский в ужасе отшатывается при виде своей разверстой могилы, — у Генриха Клейста столько же мужества, сколько у его затянутых коллег с выпяченной грудью, и, к сожалению, он это доказал. Но все сильные люди любят жизнь. Эгмонт Гете неохотно расстается «с милой привычкою к существованию и деятельности». Эдвин Иммермана тянется к жизни «как ребенок к материнской груди», и как ни тяжело ему жить чужой милостью, все же он умоляет о пощаде:

Ведь жизнь, дыхание — высшее из благ.

Когда Одиссей встречается в подземном царстве Ахилла во главе мертвых героев и превозносит доблесть его

* на французский лад

среди живых и почести, доставшиеся ему среди мертвых, Ахилл отвечает:

В смерти тебе не утешить меня, Одиссей благородный.
Лучше простым мне поденщиком в поле усердно работать,
Лучше нуждаться, лишенному крова и предков наследства,
Чем повелителем быть над несчастной толпою умерших.

Когда майор Дюван вызвал на дуэль великого Израэля Лёве и сказал ему: «Если вы не согласны стреляться, господин Лёве, то вы — собака», этот последний отвечал: «Я предпочитаю быть живою собакою, чем мертвым львом!»* И он был прав. — Я достаточно дрался на дуэлях, чтобы иметь право сказать: «Слава богу, я жив!» В жилах моих кипит красная жизнь, под моими ногами трепещет земля, пламенея любовью, я обнимаю деревья и мраморные изваяния, и они оживают в моих объятиях. Каждая женщина для меня — целый мир, доставшийся мне в дар, я утопаю в мелодиях ее лица, и один единственный взгляд моих глаз может дать мне больше счастья, чем другим все их органы вместе взятые на протяжении всей их жизни. Каждый миг для меня бесконечность; я не меряю времени брабантским или укороченным гамбургским локтем и не требую от духовных лиц обещаний будущей жизни, ибо и в этой жизни могу пережить довольно, живя в прошедшем жизнью предков, отбрасывая себе вечность в царстве минувшего.

И я жив! Бление великого пульса природы отдается в моей груди, и когда я ликую, тысячекратное эхо отвечает мне. Я слышу пение тысячи соловьев. Весна послала их разбудить землю от утренней дремоты, и земля содрогается от блаженства, цветы ее — гимны, которые она шлет в восторге навстречу солнцу, — солнце движется слишком медленно, мне хочется кнутом ускорить бег его огненных коней. Но когда оно, шипя, опускается в море, и необъятная ночь нисходит

* Игра слов: «Löwe» — фамилия, в переводе — «лев».

с ее необъятными страстными очами, о, тогда пронизывает меня истинный восторг, веяние вечера приникает к моему бурно бьющемуся сердцу, подобно ласковой девушке, звезды кивают мне, и я возношусь и рею над этой маленькой землей и маленькими мыслями человеческими.

Г Л А В А IV

Но настанет некогда день, и пламя в моих жилах погаснет, в груди моей поселится зима, ее белые хлопья скудно прикроют мне голову, ее туманы застелют мой взор. В обветренных могилах лежат мои друзья, один остался я, как одинокий колос, забытый жнецом, новое поколение выросло с новыми запросами и новыми мыслями; полный изумления прислушиваюсь я к новым именам и новым песням, старые имена забыты, и сам я забыт; может быть, меня еще уважают немногие, но большинство осмеивает, и никто не любит. Ко мне подсакивают краснощекие мальчики, подносят к моим дрожащим рукам старую арфу и, смеясь, говорят: «Ты долго молчал, старый лентяй, спой нам опять песню о грезях твоей юности».

Я опять берусь за арфу, и пробуждаются старые радости и старые страдания, туманы рассеиваются, слезы выступают опять на мертвых глазах, в груди вновь родится весна, сладостно-скорбные тона дрожат на струнах арфы, опять я вижу голубую реку, и мраморные дворцы, и прекрасные лица женщин и девушек, и пою песню о цветах Бренты.

Это будет моя последняя песня, звезды будут смотреть на меня, как в ночи моей юности, влюбленное сияние месяца опять будет целовать мои щеки, издалека донесутся призрачные хоры погибших соловьев, глаза мои сомкнутся в опьянении дремоты, душа отзвучит, как струны арфы, — как благоухают цветы Бренты!

Дерево осенит мой могильный камень. Я хотел бы, чтобы это была пальма, но пальмы не растут на севере.

Вероятно, это будет липа, и летним вечером под нею будут сидеть и нежничать влюбленные; чирик, притаившийся в ветвях, замолчал, и моя липа ласково шумит над головами счастливых, столь счастливых, что им некогда даже прочесть надпись на белой надгробной плите. Но если потом влюбленный потеряет свою девушку, он вернется к знакомой липе и вздохнет и заплачет, и будет долго и часто рассматривать надгробную плиту и прочтет на ней надпись: «Он любил цветы Бренты».

ГЛАВА V

Madame, я солгал вам. Я не граф Гангский. Никогда в жизни не видал я ни священной реки, ни цветов лотоса, отражающихся в ее благочестивых водах. Никогда не лежал я, грезя, под индийскими пальмами, никогда не склонялся молитвенно перед усыпанным алмазами богом Джагернаута, который, однако, легко мог помочь мне. Я бывал в Калькутте не более, чем жареная индейка, съеденная мной вчера за обедом. Но я родом из Индостана, и потому чувствую себя так привольно в обширных лесах, воспетых Вальмики; героические страдания божественного Рамы трогают мое сердце знакомой скорбью, из цветущих песен Калидасы расцветают сладостные воспоминания, и когда несколько лет назад одна любезная дама в Берлине показала мне красивые картины, вывезенные из Индии ее отцом, который долго был там губернатором, — тонко очерченные, хранящие священное спокойствие лица показались мне такими знакомыми, и я как бы созерцал галерею собственных предков.

Франц Бопп, madame, — вы, конечно, читали его «Наля» и «Системы спряжения санскритского языка» — сообщил мне некоторые данные о моих предках, и я теперь знаю точно, что я произошел из головы Браммы, а не из мозолей, подозреваю даже, что вся «Махабхарата» с ее 200 000 стихов есть лишь аллегорическое

любовное письмо, писанное моим прапрадедом моей прапрабабушке. О, они очень любили друг друга, души их целовались, они целовались глазами, они были один поцелуй...

Очарованный соловей сидит на красном коралловом дереве среди Тихого океана и поет песню о любви моих предков, жемчужины с любопытством выглядывают из своих ракушек, чудесные водяные цветы вздрагивают от грусти, умные морские улитки с пестрыми фарфоровыми башенками на спине подползают ближе, стыдливо алеют морские розы, желтые колючие морские звезды, тысячецветные стеклянные медузы движутся, тянутся — все это кипит и внемлет.

Однако, *madame*, эта соловьиная песня слишком длинна, для того, чтобы воспроизвести ее здесь, она необъятна, как мир; одно посвящение Ананге, богу любви, так пространно, как все романы Вальтер Скотта, вместе взятые; к ней относится то место из Аристофана, которое в немецком переводе гласит:

Тиотио, тиотио, тиотинкс,
Тототото, тототото, тототинкс.
(Перевод Фосса)

Нет, я не родился в Индии: я увидел свет на берегах той прекрасной реки, где на зеленых горных склонах растет само безумие, осенью оно собирается, выжимается, наливается в бочки и отправляется за границу. Правда, вчера за столом я слышал, как некто произнес глупость *, которая anno 1811 ** еще была заключена в виноградине, росшей, как я сам видел, на Иоганнисберге. Но не мало этого безумия потребляется и в самой стране, и люди там такие же, как везде: они рождаются, едят, пьют, спят, смеются, плачут, клеветают, беспокойно заботятся о продолжении своего рода, стараются

* Игра слов — по-немецки Thorheit означает и безумие и глупость.

** В 1811 году

казаться не тем, что они есть, и делать то, к чему неспособны, бреются не прежде, чем у них вырастут бороды, и часто обрастают бородою прежде, чем войдут в разум, и когда входят в разум, то вновь опьяняются белым и красным безумием.

Mon Dieu! * Если бы во мне было столько веры, чтобы двигать горами, Иоганнисберг был бы той горою, которую я заставил бы всюду следовать за собою. Но так как вера моя не столь сильна, то мне должна помочь фантазия, и она переносит меня самого к прекрасному Рейну.

О, там прекрасная страна, полная прелести и солнечного сияния! В голубых волнах отражаются гористые берега с развалинами замков, лесами и старинными городами. Там, летним вечером, сидят перед дверьми своих домов горожане, пьют из больших кружек и дружески болтают о том, что вино, слава богу, будет удачное, что суды должны быть непременно гласными, а г-жа Мария-Антуанетта гильотинирована ни за что, ни про что, что акциз сильно удорожил табак, что все люди равны и, что Геррес — ловкий парень.

Я никогда не интересовался подобными разговорами, предпочитал сидеть с девушками у сводчатых окон и смеялся, когда они смеялись, позволял хлестать себя цветами по лицу и притворялся сердитым до тех пор, пока они не поверят мне своих тайн или не расскажут каких-нибудь других важных историй. Прекрасная Гертруда до безумия радовалась, когда я подсаживался к ней; девушка эта была — как пылающая роза, и когда она однажды бросилась мне на шею, мне казалось она сгорит и испарится благоуханиями в моих объятиях. Прекрасная Катерина растекалась в звенящей кротости, говоря со мною, и глаза ее синели так чисто и глубоко, как никогда не бывает у людей и у животных, лишь изредка — у цветов; как приятно было смотреться в них, думая при этом о многом сладо-

* Мой бог!

стном. Но прекрасная Гедвига любила меня; когда я подходил к ней, она опускала голову, так что черные локоны падали на покрасневшее лицо и блестящие глаза светились, как звезды на темном небе. Ее стыдливые уста не произносили ни слова, и я тоже не мог ей ничего молвить. Я покашливал, а она дрожала. Несколько раз она просила меня, через сестру свою, не взбираться так быстро на горы и не купаться в Рейне, когда я разгорячен от бега или выпивки. Я подслушал однажды ее благоговейную молитву перед статуэткой богородицы, стоявшею в золотых блестках, с зажженными перел ней свечами, в нише в сениях; я слышал ясно, как она просила богородицу: запретить ему взбираться на горы, пить и купаться. Я бы непременно влюбился в эту прекрасную девушку, если бы она была ко мне равнодушнее; но я был равнодушен к ней, так как знал, что она меня любит. Madame, кто ищет моей влюбленности, должен обращаться со мною en canaille *.

Прекрасная Иоганна была кузиною трех сестер, и я охотно к ней подсаживался. Она знала чудеснейшие легенды, и когда своей белой рукою указывала в окно на горы, где происходило все то, о чем она рассказывала, я чувствовал себя зачарованным, — старинные рыцари явственно поднимались из развалин замков и рубили друг на друге железные одежды; Лорелея опять стояла на вершине горы и пела там, наверху, свою сладостно-губительную песнь, Рейн шумел так осмысленно, спокойно, но вместе с тем так дразняще-жутко, и прекрасная Иоганна смотрела на меня так особенно, так таинственно, так загадочно-печально, как будто сама она принадлежала к сказочному миру, о котором рассказывала. Это была стройная, бледная девушка, смертельно-больная, она была задумчива, глаза ее были ясны, как сама истина, губы скромно сжаты, черты лица заключали в себе историю чего-то большого, но это была священная история, — может быть, легенда любви?

* пренебрежительно, третируя.

Я не знаю, и никогда не имел мужества ее спросить. Когда я долго смотрел на нее, я становился спокоен и весел, тихий воскресный день вставал, казалось, в моем сердце, и ангелы совершали там богослужение.

В такие прекрасные часы я рассказывал ей истории моего детства, и она всегда внимательно прислушивалась, и — странно! — когда я не мог вспомнить имен, она напоминала мне их. Когда я в таких случаях удивленно спрашивал, откуда известны ей имена, она с улыбкой отвечала, что узнала их от птиц, вивших гнезда над ее окном, и пыталась даже уверить меня, что это те самые птицы, которых я в детстве покупал на карманные деньги у жестокосердых деревенских мальчишек и выпускал потом на свободу. Однако мне думается, она знала все потому, что была бледна и, действительно, скоро умерла. Она знала и то, когда умрет, и высказывала желание, чтобы я накануне покинул Андернах. На прощание она подала мне обе руки — то были бледные, прекрасные руки, чистые, как тело господне, — и сказала: «Ты — добрый, и когда станешь злым, вспомни вновь о маленькой, мертвой Веронике».

Неужели и это имя открыли ей болтливые птицы? В часы воспоминаний я часто ломал себе голову и не мог вспомнить этого милого имени.

Теперь, когда я храню его в памяти, кажется мне, что в памяти моей опять расцвело раннее детство, и я снова — ребенок и играю с другими детьми на Замковой площади в Дюссельдорфе на Рейне.

Г Л А В А VI

Да, madame, я родился там, и определенно отмечаю это обстоятельство на случай, если после смерти моей семь городов — Шильда, Кревинкель, Польквич, Дюлькен, Бокум, Геттинген и Шеппенштедт — будут спорить о чести называться моею родиною: Дюссельдорф — город на Рейне, там живет шестнадцать тысяч человек, и

кроме того многие сотни тысяч людей лежат там погребенные. Среди них имеются и такие, о которых мать моя говорит, что лучше было бы им остаться в живых, например, мой дед и мой дядя, старик фон Гельдерн и молодой фон Гельдерн, бывшие оба столь знаменитыми врачами, спасшие от смерти стольких людей и все-таки не сумевшие избежать смерти. И набожная Урсула, носившая меня в детстве на руках, тоже погребена там, и на могиле ее растет розовый куст — она так любила при жизни запах роз, и сердце ее было только благоухание роз и доброта. И старый, умный каноник тоже погребен там. Господи, каким жалким казался он, когда я в последний раз его видел! Он состоял только из духа и пластырей, и все-таки занимался наукою дни и ночи, как будто беспокоился о том, что черви не найдут достаточного количества идей у него в голове. И маленький Вильгельм лежит там, и в этом я виноват. Мы были школьными товарищами в монастыре францисканцев, играли в том месте его, где меж каменных стен течет Дюссель, и я сказал: «Вильгельм, вытащи кошечку, которая упала в воду», — и он весело вскочил на доску, перекинутую через ручей, вытащил кошечку из воды, но сам упал туда, и когда его извлекли, он был мокр и мертв. Кошечка жила еще долго.

Город Дюссельдорф прекрасен и, когда вспоминаешь о нем издалека, когда к тому же случайно родился там, на душе становится чудесно. Я там родился, и мне кажется, будто я сейчас должен пойти домой. И когда я говорю «пойти домой», то думаю об улице Болькерштрассе и доме, где я родился. Этот дом некогда будет достопримечательностью, и я велел передать старушке, его владелице, чтобы она ни за что не продавала его. Она ведь теперь за весь дом едва выручит столько, сколько получит чаевых от знатных англичанок в зеленых вуалях служанка, которая будет показывать им комнату, где я увидел свет, и чулан, куда меня запирали отец, когда я поедал виноград, а также коричневые двери, на которых мать учила меня писать мелом —

ах, боже! Madame, если я стану знаменитым писателем, то бедной матери моей стоило это достаточных усилий.

Но теперь слава моя дремлет еще в мрамороломных Каррары, макулатурные лавры, которыми увенчали мое чело, не распространили еще своего аромата по всему свету, и если теперь знатные англичанки в зеленых вуалях являются в Дюссельдорф, то они оставляют пока без осмотра знаменитый дом, а направляются к базарной площади и осматривают стоящую посреди ее черную колоссальную конную статую. Она должна изображать курфюрста Яна-Вильгельма. На нем черный панцырь, низко свешивающийся парик с косичкой. Мальчиком слышал я легенду о том, что художник, отливавший статую, с ужасом заметил во время отливки, что металл для нее нехватит; тогда сбежались горожане и принесли ему свои серебряные ложки, чтобы закончить отливку, и вот, я часами стоял перед конной статуей и ломал себе голову: сколько могло бы быть в ней серебряных ложек и сколько пирожков с яблоками можно было закупить на это серебро. Пирожки с яблоками составляли в то время предмет моей страсти, теперь это — любовь, истина, свобода и раковый суп, и как раз недалеко от статуи курфюрста, на углу у театра стоял обыкновенно парень уродливого сложения, с кривыми ногами, в белом переднике, с корзинкою на ремне, полною сладостно дымящихся пирожков, которые он умел расхваливать дискантом, перед которым нельзя было устоять: «Пирожки с яблоками, совершенно свежие, только что из печи, пахнут так деликатно». Поистине, когда в позднейшие годы искуситель являлся на моем пути, он говорил именно таким заманчивым дискантом, и я не оставался бы у сеньоры Джульетты двенадцать часов под ряд, если бы она не усвоила этого сладостного, ароматического яблочнопирожного тона. И поистине, никогда бы не соблазняли меня так пирожки с яблоками, если бы кривоногий Герман не прикрывал их столь таинственно своим белым передником. Ах, эти передники, которые... но они окон-

чательно сбивают меня с намеченного пути, ведь я говорил о конной статуе, в теле которой столько серебряных ложек и вовсе нет супу и которая представляет курфюрста Яна-Вильгельма.

Говорят, это был brave господин, большой любитель искусства, и сам очень искусный. Он основал картинную галерею в Дюссельдорфе, а в тамошней обсерватории еще показывают деревянный кубок, вырезанный им самим с большим искусством в свободные часы — их было у него двадцать четыре в сутки.

В то время государи не были такими мучениками, как теперь, и корона прочно держалась на их головах, а на ночь они надевали еще поверх нее колпак и спали спокойно, у ног их спокойно спали народы и, просыпаясь утром, говорили: «С добрым утром, отец!», на что те отвечали: «С добрым утром, милые дети!»

Но внезапно это изменилось; когда в одно прекрасное утро мы проснулись в Дюссельдорфе и хотели произнести: «С добрым утром, отец», — оказалось, что отец уехал, и по всему городу царила тупая угнетенность, во всем чувствовалось погребальное настроение, люди молча пробирались на рынок и читали длинную бумагу, прибитую на дверях ратуши. Погода была пасмурная, но тощий портной Килиан все-таки стоял в своей нанковой куртке, которую носил в другое время лишь дома; синие шерстяные чулки спустились вниз настолько, что печально выглядывали голые ножки, и узкие губы его дрожали, пока он бормотал про себя содержание прибитого к двери плаката. Старый пфальцский инвалид читал несколько громче, и при некоторых словах светлая слеза скатывалась на его седые почтенные усы. Я стоял рядом, плакал вместе с ним и спрашивал его: «Почему мы плачем?» И он ответил: «Курфюрст извоит благодарить». Затем он читал дальше и при словах «за высказанную верноподданническую преданность» и «освобождаем вас от ваших обязанностей» заплакал еще сильнее. Странно видеть, когда внезапно начинает плакать такой старый мужи-

чина в поношенной военной форме, с изрубленным солдатским лицом. В то время как мы читали, на ратуше был убран герб курфюрста, все приняло такой устрашающе пустынный облик, казалось, ожидается солнечное затмение, господа городские советники ходили с таким отставным видом и так медленно, даже всемогущий уличный надзиратель похож был на человека, которому нечего приказывать, и стоял так равнодушно, мирно несмотря на то, что сумасшедший Алоизий стал опять на одну ногу и с дурацкою гримасою гнусавил имена французских генералов, а пьяный кривой Гумперц валялся в канаве и пел: «*Ça ira, ça ira!*»

А я пошел домой, плакал и скорбел: «Курфюрст изволит благодарить». Мать уговаривала меня, но я знал, что знал, и не дал уговорить себя, с плачем улегся в постель и во сне увидел, что пришел конец свету, прекрасные цветущие сады и зеленые луга убраны были с земли и скатаны, как ковры, уличный надзиратель взобрался по высокой лесенке, снял с неба солнце, портной Килиан стоял тут же и говорил про себя: «Надо сходить домой и одеться получше, ведь я умер, и уже сегодня должны быть мои похороны», — и становилось все темнее и темнее, скудно мерцали вверх звезды, но и они попадали, как осенью желтые листья; понемногу исчезли люди, и я, бедный ребенок, боязливо блуждал взад и вперед. Наконец я остановился у ивового плетня какого-то опустевшего крестьянского двора и увидел человека, рывшего землю лопатой; рядом с ним стояла безобразная, злобная женщина, державшая в фартуке что-то в роде отрубленной человеческой головы, — это была луна; женщина с боязливой озабоченностью уложила луну в открытую яму, а за мною стоял пфальцский инвалид и, всхлипывая, читал по складам: «Курфюрст изволит благодарить».

Когда я проснулся, солнце опять светило в окно, как обыкновенно, на улице бил барабан; когда я вошел в комнату пожелать доброго утра отцу, сидевшему в белом пудермантеле, я услышал, как юркий парик-

махер рассказывал ему, во время причесывания, во всех подробностях о том, что сегодня в ратуше будут при-
сгать новому великому герцогу Иоахиму, что этот последний принадлежит к самой лучшей фамилии и женился на сестре императора Наполеона; в самом деле, он очень представитель, его прекрасные черные волосы все в локонах; в ближайшее время должен состояться его въезд, и, несомненно, он очень нравится женщинам. Меж тем барабанный бой на улице продолжался. Я вышел за ворота и увидел вступающие в город французские войска, этот ликующий народ — дитя Славы, с пением и музыкою прошедший весь мир, радостно-серьезные лица гренадеров, медвежьи шапки, трехцветные кокарды, сверкающие штыки вольтижеров, полных веселья и *point d'honneur* *, и исполненного, затканного серебром тамбур-мажора, который мог подкинуть свою булаву с позолоченной головкою до второго этажа, а глазами до третьего, где сидели тоже красивые девушки. Я радовался, что у нас будет покой, — мать не радовалась — и я поспешил на базарную площадь. Теперь там все было совершенно иначе. Казалось, мир заново перекрашен: на ратуше висел новый герб, железная решетка балкона была завешена бархатным ковром, французские гренадеры стояли на часах, старые господа, городские советники, натянули на себя новые физиономии, надели свои праздничные камзолы, посматривали друг на друга по-французски и говорили *bonjour* **; из всех окон глядели дамы; любопытные горожане и блестящие солдаты наполняли площадь; а я с другими мальчиками взобрался на высокого курфюрстского коня и оттуда смотрели вниз на пеструю базарную сутолоку.

Соседский Питер и длинный Курц чуть не сломали при этом случае шею, и это было бы хорошо, так как один из них потом убежал от родителей, пошел в солдаты, дезертировал и был расстрелян в Майнце, а

* *point d'honneur* — вопросы чести.

** добрый день, здравствуйте.

другой занялся впоследствии географическими исследованиями чужих карманов, стал вследствие этого действительным членом одной казенной исправительной тюрьмы, разорвал железные оковы, приковывающие его к этому заведению и к отечеству, счастливо перебрался через пролив и умер в Лондоне от чересчур узкого галстука, затянувшегося вокруг шеи, когда королевский чиновник вышиб у него из-под ног доску.

Длинный Курц сообщил нам, что уроков сегодня не будет по случаю присяги. Нам пришлось долго ждать, пока она кончится. Наконец балкон ратуши наполнился и запестрел господами, знаменами, трубами, и господин бургомистр в своем знаменитом красном сюртуке произнес речь несколько растянутую, как резина или вязаный ночной колпак, в который бросили камень — только не философский камень, некоторые обороты его речи я явственно расслышал, например, что нас хотят осчастливить. При последних словах зазвучали трубы, склонились знамена, ударили барабаны и раздались крики: «Виват!» И я, тоже крича «виват!», крепко держался за старого курфюрста. Да и следовало, так как у меня началось порядочное головокружение, мне казалось уже, что люди стоят на головах, и мир перевернулся; голова курфюрста в парике с косичкой кивала и шептала: «Держись крепче за меня!», и только пушечные залпы, раздавшиеся с вала, отрезвили меня. Я медленно слез с курфюрстова коня.

Возвращаясь домой, я опять увидел, как сумасшедший Алоизий танцевал на одной ноге, бормоча имена французских генералов, и как хромоу Гумперц валялся пьяный в канаве и рычал: «Ça ira, ça ira,» и я сказал матери: «Нас хотят осчастливить и потому сегодня нет уроков».

Г Л А В А VII

На другой день мир опять оказался в порядке, уроки шли так же, как прежде, и вновь, как прежде, началось

заучивание наизусть римских царей, исторических дат, помпна на *im, verba irregularia* *, греческий, еврейский, география, немецкий язык, устный счет, — боже, до сих пор голова идет у меня кругом. Все это надо было выучить наизусть. И кое-что из этого впоследствии мне пригодилось. Ведь если бы я не знал наизусть имен римских царей, то потом мне было бы совершенно безразлично, доказал ли Нибур или не доказал, что они в действительности никогда не существовали. И если бы я не знал хронологических дат, — как бы я впоследствии ориентировался в обширном Берлине, где дома похожи друг на друга, как две капли воды, или как два гренадера один на другого, и где нельзя найти своих знакомых, если не помнишь их домовых номеров; с каждым из своих знакомых я связывал в уме какое-либо историческое событие, которого дата совпадала с номером их дома, так что я легко мог его вспомнить, припоминая дату события; потому и обратно — при виде знакомых мне всегда приходило на ум историческое событие. Так, например, встречаясь со своим портным, я тотчас же вспоминал о Марафонской битве; если встречался мне принаряженный банкир Христиан Гумпель, я начинал думать о разрушении Иерусалима; когда видел я моего сильно залезшего в долги приятеля португальца, то припоминал бегство Магомета; видя университетского судью, известного своей строгостью и справедливостью, я думал о смерти Амана; видя Вадцека, думал о Клеопатре. Ах, боже правый, бедняга теперь умер, слезные мешечки высохли, и можно сказать вместе с Гамлетом: «Если взять все в целом, это была старая баба, каких у нас еще будет много!» Как сказано, хронологические даты совершенно необходимы. Я знаю людей, которые, имея в голове лишь две-три исторические даты, умели найти при их помощи в Берлине нужные дома и теперь стали ординарными профессорами. Но мне в школе пришлось помучиться с

* существительные, оканчивающиеся на *im*, неправильные глаголы

обилием цифр! Со счетом, в собственном смысле, дело шло еще хуже. Лучше всего я понимал вычитание, где существует очень практичное основное правило: «Четыре из трех вычесть нельзя, нужно занять единицу», — но я советую всем занимать в таких случаях на несколько грошей больше; ведь нельзя знать...

Что касается латинского, то вы понятия не имеете, *madame*, до чего это запутанная наука. У римлян, наверное, не осталось бы времени для завоевания мира, если бы им сначала пришлось изучать латынь. Эти счастливицы еще в колыбели знали, какие имена существительные в винительном падеже оканчиваются на *im*. Я же, напротив, должен был учить эти имена наизусть в поте лица своего; но все же хорошо, что я их знаю. Ведь если бы, например, 20 июля 1825 года, когда я в публичном собрании в зале Геттингенского университета защищал диссертацию на латинском языке — *madame*, стоило труда послушать ее — если бы я сказал *sinapem* вместо *sinapim*, то, может быть, присутствовавшие фуксы заметили бы это, и я навлек бы на себя вечный позор. *Vis, buris, sitis, tussis, cucumis, amussis, cannabis, sinapis* — слова эти, имеющие такое значение в мире, достигают этого тем, что, принадлежа к определенному классу, все же составляют исключение; потому-то я очень уважаю их, и то обстоятельство, что они у меня постоянно наготове, на случай, если внезапно понадобятся, доставляет мне много внутреннего спокойствия и утешения в скорбные часы моей жизни. Но, *madame*, *verba irregularia* * — они отличаются от *verba regularia* ** тем, что за них секут еще больше, — ужасающе трудны. В душном сводчатом коридоре францисканского монастыря, недалеко от классной комнаты висело большое распятие серого дерева — мрачный образ, до сих пор посещающий меня иной раз в моих ночных сновидениях и печальнозирающий на меня своими неподвижными, кровавыми

* неправильные глаголы

** правильные глаголы

глазами — перед этим образом часто стоял я и молился: «О, несчастный бог, тоже претерпевший муки, если только есть у тебя какая-нибудь возможность, поставь меня, чтобы я удержал в памяти *verba irregularia*»).

О греческом я и говорить не хочу: а то я буду чересчур сердиться. Средневековые монахи были не совсем уже неправы, утверждая, что греческий язык — изобретение дьявола. Богу известны страдания, которые я из-за него претерпел. С древнееврейским дело шло лучше, так как я всегда чувствовал большое расположение к евреям, хотя они и посейчас распинают мое доброе имя; но все же я не мог пойти в древнееврейском так далеко, как мои карманные часы, имевшие много интимных сношений с закладчиками и приобревшие вследствие того некоторые иудейские навыки — например, по субботам они не шли; они также научились священному языку и впоследствии занимались его грамматическими формами; я часто слышал с изумлением в бессонные ночи, как они непрерывно трещали: каталь, катальта, катальти-киттель, киттальта, киттальти-покат, покадетипикат-пик-пик. В то же время я гораздо больше смыслил в немецком языке, а он не так уж легок для детей. Ведь мы, бедные немцы, достаточно измученные постоями, воинскими повинностями, подушной податью и тысячами других поборов, мы обзавелись еще Аделунгом и изводим друг друга винительным и дательным. В значительной степени научил меня немецкому языку старый ректор Шальмейер, добрый священник, еще в моем детстве принявший во мне участие. Но кое-чему в том же роде я научился и от профессора Шрамма, человека, который написал книгу о вечном мире и в классах которого школьники больше всего дрались.

Написав всё это в один прием и увлекшись различными воспоминаниями, я незаметно заболтался о старых школьных историях, и теперь, *madame*, пользуюсь этим случаем, чтобы объяснить, что не моя вина, если я слишком плохо изучил географию и впоследствии не мог ориентироваться на земле. Ведь в то время фран-

цузы перепутали все границы, что ни депь, то страны окрашивались на карте в новую краску, синие стали вдруг зелеными, а некоторые сделались даже кроваво-красными; души, значившиеся в учебниках так перепутались и перемешались, что сам чорт их не узнал бы; продукты местного производства также изменялись: цикорий и сахарная свекла стали расти там, где в другое время видели только зайцев и гоняющихся за ними местных молодых дворян; изменились и характеры народов: немцы стали сговорчивее, французы перестали говорить комплименты, англичане не бросали денег в окно, венецианцы стали недостаточно хитрыми, среди государей произошел ряд повышений, старые короли получили новые мундиры, новые королевства пеклись и находили сбыт, как свежие булки, другие же владыки, наоборот, были выгнаны из своих владений и принуждены были добывать себе хлеб иным путем, а потому некоторые из них заблаговременно занялись ремеслами, например, изготовлением сургуча, и, madame, я заканчиваю наконец этот период, у меня захватывает дыхание — коротко говоря, в такие времена не далеко уйдешь в географии.

В этом отношении, естественная история лучше, в ее области не может произойти столько перемен, и в ней имеются известные гравюры с изображениями обезьян, кенгуру, зебр, носорогов и т. д. Так как изображения эти остались у меня в памяти, то в дальнейшем часто случалось, что некоторые люди казались мне при первом взгляде старыми знакомыми.

С мифологией дело также шло хорошо. Сборище богов, столь весело правивших в голом виде вселенную, доставляло мне истинное удовольствие. Не думаю, чтобы в древнем Риме какой-нибудь школьник лучше меня изучил основные части своего катехизиса, например, любовные похождения Венеры. Говоря откровенно, раз уж мы вынуждены были так основательно знакомиться со старыми богами, следовало нам и сохранить их, и нет нам особой выгоды от нашего новоримского трое-

божия, или тем более, от нашего иудейского единоидольства. Быть может, та мифология не была по существу так безнравственна, как ее прокричали, так, например, весьма пристойна мысль Гомера дать супруга многолюбимой Венере.

Но лучше всего обстояли мои дела во французском классе аббата д'Онуа, француза-эмигранта, написавшего множество грамматик, носившего рыжий парик и резво прыгавшего при изложении своего, «*Art poétique*»* и своей «*Histoire allemande*»**. Во всей гимназии он был единственным преподавателем немецкой истории. Однако и французский язык имеет свои трудности, и для изучения его необходимы частые постои, много барабанного боя, много *apprendre par coeur****, прежде всего, не следует быть *bête allemande*****. Дело не обошлось без кислых слов, и я помню еще так же хорошо, как если бы это случилось вчера, что претерпел много неприятностей от *la religion******. Раз шесть, пожалуй, спрашивали меня: «Henri,⁰ как по-французски вера?» И раз шесть, и все слезливее отвечал я: «*Le crédit*».⁰⁰ На седьмой раз бешеный экзаменатор, с багрово-красным лицом, закричал: «*La religion!*» — и посыпались удары, а товарищи мои смеялись. Madame, с той поры я не могу слышать слова *religion* без того, чтобы спина моя не бледнела от страха, а щеки не краснели от стыда. И, признаться, *le crédit* больше принес мне в жизни пользы, чем *la religion*. В эту минуту я вспоминаю, что должен еще пять талеров хозяину трактира «Лев» в Болонье, и, поистине, я принимаю на себя обязательство дополнительного долга еще в пять талеров хозяину «Льва», если мне не придется больше никогда в этой жизни слышать слова *la religion*.

* «Поэтическое искусство»

** «Германская история».

*** учить наизусть

**** немецкая скотина

***** религии.

⁰ Генрих

⁰⁰ «Кредит, доверие, вера».

Parbleu *, madame, я далеко пошел во французском языке! Мне знаком не только patois **, но и приятный у дворян язык французских бонн. Еще недавно в одном важном обществе я понял почти половину разговора двух немецких графинь, из них каждая насчитывала свыше шестидесяти четырех лет и стольких же предков. Да что! — в Café Royal в Берлине я слышал однажды, как Monsieur Ганс-Михель Мартенс беседовал по-французски, и понял каждое слово, хотя в речи не было никакого смысла. Надо разуть дух языка, а его лучше всего изучать по барабанному бою. Parbleu! Как благодарен я французскому барабанщику, который так долго квартировал у нас и был похож на чорта, а сердцем был так ангельски добр и так отлично барабанил!

Это была маленькая подвижная фигура, с грозными черными усами, из-под которых упрямо высовывались красные губы, а огненные глаза стреляли во все стороны.

Я, маленький мальчик, виснул на нем, как репейник, и помогал ему чистить яркие пуговицы и белить мелом жилет — Мосье Ле Гран не прочь был нравиться, — я следовал за ним на караул, на сборы, на парады. Это был сплошной блеск оружия и веселья — *les jours de fête sont passés ****. Мосье Ле Гран знал лишь несколько ломаных слов по-немецки, только основные выражения — хлеб, поцелуй, честь, но умел очень хорошо объясняться при помощи барабана: например, когда я недоумевал, что значит слово «liberté ****», он барабанил Марсельезу, и я понимал его. Когда я не знал значения слова «égalité» ***** , он барабанил марш «Ça ira, ça ira! les aristocrates à la lanterne!» ⁰ и я понимал его. Когда я не знал, что значит «bêtise» ⁰⁰, он барабанил

* Чорт возьми!

** простонародный язык, говор,

*** прошли праздничные дни.

**** свобода

***** равенство

⁰ «Это пойдет, это пойдет! аристократов на фонарь!»

⁰⁰ глупость

Дессауский марш, который мы, немцы, как подтверждает и Гете, барабанили в Шампани, и я понимал его. Как-то он захотел объяснить мне слово «l'Alle-magne»*, и стал барабанить ту простенькую стародавнюю мелодию, которую часто слышишь в базарные дни, как аккомпанемент танцующим и собакам, а именно дум-дум-дум**, я рассердился, но понял его.

Подобным же образом учил он меня новейшей историей. Правда, я не понимал слов, произносимых им, но так как, разговаривая, он непрестанно барабанил, я знал, что он хочет сказать. По существу, это лучший учебный прием. История взятия Бастилии, Тюильри и т. д. становится вполне понятной лишь тогда, когда знаешь, как при этих обстоятельствах барабанили. В наших школьных учебниках читаем только: «Их сиятельства, бароны и графы и их высокие супруги были обезглавлены; их светлости, герцоги и принцы и их высочайшие супруги были обезглавлены; его величество король и августейшая его супруга были обезглавлены», — но, когда слышишь, как барабанят красный марш гильотины, то особенно ясно понимаешь все это и узнаешь, почему и как. Madame, это удивительный марш! Он пронизал меня дрожью до мозга костей, когда я впервые услышал его; и я был рад, что забыл его — становясь старше, забываешь такие вещи; молодому человеку приходится теперь запоминать много другого: вист, бостон, родословные таблицы, решения союзного совета, драматургию, литургию, хроннику, и, правда, сколько я ни тер себе лоб, я долгое время не мог вспомнить эту мощную мелодию. Но вообразите, madame! Сижу я недавно за столом среди целого зверинца графов, принцев, принцесс, камергеров, гофмаршалов, гофшенков, обергофмейстеров, хранителей придворного серебра, гофъегермейстерин и — как еще называется эта знатная челядь? — а челядь, им подвластная, сновала за их стульями и совала им в рот полные тарелки; я же,

* Германия

** Созвучно с dumm, что значит — глупо.

обойденный и не замечаемый никем, празднo сидел со- всем не работая челюстями, скатывая хлебные шарики, и от скуки барабанил пальцем по столу, и к ужасу моему стал барабанить вдруг красный, давно забытый марш гальотины.

Что же произошло? Madame, эти люди ни на что не обращают внимания во время еды и не знают, что другие люди, когда им нечего есть, начинают вдруг барабанить, притом особенные марши, давно, казалось бы, забытые.

Есть ли игра на барабане прирожденный талапт или же я в ранней молодости развил в себе эту способность, только она коренится в моих членах, в руках и ногах и часто проявляется произвольно. Произвольно. Некогда я сидел в Берлине на лекции тайного советника Шмальца, человека, спасшего государство своею книгою об опасности черных и красных мантий. Вы помните, madame, из истории Павзания, что когда-то столь же опасный заговор открыт был благодаря крику осла; знаете также по Ливию или же из всеобщей истории Беккера, что гуси спасли Капитолий, а из Саллюстия вы совершенно определенно знаете, что из-за болтовни одной шлюхи, госпожи Фульвии, обнаружился ужасный заговор Катилины. Но вернусь к вышеупомянутому барану. На лекции тайного советника Шмальца слушал я международное право; был скучный летний вечер, я сидел на скамье и слушал все менее внимательно — дремота овладела мною, — вдруг я был разбужен стуком моих собственных ног, которые бодрствовали и, вероятно, слышали, как излагалось нечто, прямо противоположное народному праву, и как поносились конституционные теории; и ноги мои, прозревающие маленькими мозолями дела мирские лучше, чем тайный советник своими большими, как у Юоны, глазами, эти бедные, немые ноги, не будучи в силах вы-

* Игра слов и созвучий: «мозоли» по-немецки *Nühneaugen* (буквально — куриные глаза), а глаза «Юоны» — *Junoaugen*.

разить словами свое скромное мнение, пожелали истолковать его при помощи топота и барабанили так громко, что я чуть было не попал в большую беду.

Проклятые, неразумные ноги! Они сыграли со мною подобную же шутку, когда я однажды сидел в Геттингене на лекции профессора Заальфельда и этот последний, со свойственным ему неуклюжим проворством, подпрыгивал на кафедре и горячился, стараясь обругать получше императора Наполеона... Нет, бедные мои ноги, я не могу поставить вам в упрек, что вы тогда барабанили, я не поставил бы вам в упрек, если бы вы, в немой вашей наивности, высказались еще определеннее при помощи пинков. Как могу я, ученик Ле Грана, слушать, как бранят императора? Императора! императора! великого императора!

Когда я думаю о великом императоре, в памяти моей встает вновь золотой, зеленый летний день, возникает вся в цвету длинная липовая аллея, на густых ветвях сидят, распевая, соловьи, шумит каскад, на круглых клумбах растут цветы, мечтательно покачивая своими прелестными головками — я был с ними в чудесном общении, накрашенные тюльпаны кланялись мне спесиво-снижительно, болезненно-нервные лилии кивали с нежною грустью, пьяно-красные розы смеялись уже издали, встречая меня, ночные фиалки вздыхали — с миртами и лаврами я не водил еще тогда знакомства, так как они не привлекали ярким цветом, но с резедою, с которою у меня теперь такие нелады, я был особенно близок. Я говорю о дворцовом саде в Дюссельдорфе, где я часто лежал на траве и благоговейно слушал, как мосье Ле Гран рассказывал мне о военных подвигах великого императора и отбивал при этом на барабане марши, которые исполнялись во время этих подвигов, так что я живо все видел и слышал. Я видел переход через Симплон — император впереди, а за ним карабкаются наверх brave гренадеры, спугнутые птицы поднимают крик, и вдали гремят глетчеры; я видел императора со знаменем в руках на мосту Лоди, я видел импе-

ратора в сером плаще при Маренго, я видел императора на коне в сражении у пирамид — сплошь мамелюки и пороховой дым, я видел императора в битве при Аустерлице — у! как свистели пули на ледяной равнине! — я видел, я слышал битву при Иене — дум-дум-дум! — я видел, я слышал битву при Эйлау, при Ваграме... Нет, я едва мог все это выдержать! Мосье Ле Гран барабанил так, что едва не лопалась моя собственная барабанная перепонка.

ГЛАВА VIII

Но что было со мной, когда я увидел его самого, собственными высокоосчастливленными глазами, его самого, — осанна! — императора!

Это произошло в аллее дворцового сада в Дюссельдорфе. Пробираясь сквозь глазающую толпу, я думал о подвигах и сражениях, о которых барабанил мне мосье Ле Гран, сердце мое отбивало тревогу, и все же в это самое время я помнил о распоряжении полиции, запрещающей, под угрозой штрафа в пять талеров, ездить верхом посредине аллеи. А император со своею свитою ехал верхом прямо посредине аллеи, деревья в страхе наклонялись вперед, когда он проезжал, солнечные лучи с дрожью боязливого любопытства просвечивали сквозь зелень, и вверх, в синем небе, явственно плыла золотая звезда. На императоре был простой зеленый мундир и маленькая всемирно-историческая шляпа. Он ехал на белой лошадке, и она выступала с таким гордым спокойствием, так уверенно, так безупречно, что будь я тогда прусским кронпринцем, я бы позавидовал этой лошадке. Небрежно, почти свесившись, сидел император, одной рукой высоко держа повод и другою благодушно похлопывая по шее лошадки. Это была солнечно-мраморная рука, могучая рука, одна из тех двух рук, которые смирили многоголовые чудища анархии и прекратили войну народов — и ею он благодушно хло-

пал по шее лошади. И лицо его было того цвета, который встречается у мраморных статуй, греческих и римских, черты его отличались тою же благородной соразмерностью, как у древних, и на лице этом было написано: «Да не будет у тебя иных богов, кроме меня». Улыбка, согревающая и успокаивающая каждое сердце, играла на его губах, и, все же, все знали, что достаточно этим губам свистнуть — *et la Prusse n'existait plus**; достаточно этим губам свистнуть — и вся поповская компания отзвонит навсегда; достаточно этим губам свистнуть и вся священная Римская империя затанцует. И эти губы улыбались, и глаза улыбались тоже. Глаза эти были ясны, как небо, они могли читать в сердцах людей, они быстро, сразу проникали во все дела мира сего, которые мы познаем лишь в их постепенности, видим только их расцвеченные тени. Лоб не отличался такой ясностью: на нем бродили отсветы будущих битв, и порою что-то вздрагивало на этом лбу — то были творческие мысли, великие мысли-скороходы; с их помощью дух императора незримо пробегал по вселенной, и, думается мне, каждая из этих мыслей дала бы любому немецкому писателю довольно материала на всю жизнь.

Император спокойно ехал посредине аллеи, ни один полицейский не препятствовал ему, за ним, на фыркающих конях, гордо ехала, в золоте и украшениях, свита, трещали барабаны, звучали трубы, рядом со мной вертелся сумасшедший Алоизий и гнусавил имени его генералов, невдалеке рычал пьяный Гумперц, а народ кричал тысячью голосов: «Да здравствует император!»

ГЛАВА IX

Император умер. На пустынном острове Атлантического океана — его одинокая могила, и он, которому тесна была земля, лежит спокойно под небольшим холмом, где пять плакучих ив горестно свешивают свои зеленые

* Пруссии больше не стало бы.

кудри, и скромный ручеек протекает с жалобно-тоскливым журчанием. На надгробной плите его нет надписи, но Клио бесстрастным резцом своим начертала на ней незримые слова, которые, подобно хорам духов, будут звучать на пространстве тысячелетий.

Британия! тебе принадлежит море. Но не хватит и моря воды, чтобы смыть позор, который завещал тебе, умирая, великий усопший. Не твой легкомысленный сэр Гудсон, — нет, сама ты оказалась наемным сицилианским сбирром, которого наняли заговорщики-короли, чтобы тайком отомстить сыну народа за дело, когда-то открыто совершенное народом над одним из них. А он был твоим гостем и уселся у твоего очага.

До позднейших времен будут французские дети петь песни и рассказывать об ужасном гостеприимстве «Беллерофона», и если эти песни, полные насмешки и слез, достигнут того берега Ламанша, то покраснеют щеки всех честных британцев. Но когда-нибудь эта песня донесется туда, и не станет Британии, во прах будет повержен гордый народ. Вестминстерские гробницы будут обращены в развалины, и будет забыт царственный прах, в них почивающий. Святая Елена станет священной могилой, куда народы Востока и Запада будут совершать паломничества на пестро разукрашенных флагами судах, закаляя сердца величественными воспоминаниями мирского спасителя мира, претерпевшего муки при Гудсоне Лоу, как писано это в евангелии Лаказа, О'Мира и Антомарки.

Странно! трех величайших врагов императора уже постиг ужасный жребий: Лондондерри перерезал себе горло, Людовик XVIII сгнил на своем троне, а профессор Заальфельд — все еще профессор в Геттингене.

Г Л А В А X

Был ясный, слегка морозный осенний день, когда молодой человек, похожий по наружности на студента, медленно проходил по аллее дюссельдорфского двор-

цового сада, то отбрасывая ногой, как бы из детской прихоти, шуршащие листья, устилавшие землю, то горестно взирая на обнажающиеся деревья с немногими уцелевшими на них золотыми листьями. Посматривая на них, он вспоминал о словах Главка:

Листьям древесным в лесу поколения подобны людские:
Ветер к земле прибывает листья, но другие рождает
Вновь зеленеющий лес, лишь весна опять наступает;
Так же и с родом людским, те растут, а иные поблекли.

Прежде молодой человек смотрел на те же деревья с совершенно другими мыслями; он был тогда мальчиком и искал птичьих гнезд или майских жуков, которые очень забавляли его тем, что весело гудели, радуясь красоте природы и довольствуясь зеленым сочным листиком с капелькою росы, теплым солнечным лучом и сладостным запахом трав. В то время сердце мальчика было столь же мирно, как и эти порхающие зверьки. Но теперь сердце его состарилось, слабые лучи солнца погасли в нем, все цветы умерли, и даже поблекли в нем прекрасные грезы любви, в бедном сердце ничего не осталось, кроме мужества и тоски, и, в чем больше всего признаться, — то было мое сердце.

В тот самый день я вернулся в мой старый, родной город, но мне не хотелось там ночевать, я стремился в Годесберг, чтобы, усевшись у ног подружки, поговорить с нею о маленькой Веронике. Я посетил дорогие могилы. Из всех своих друзей и знакомых я нашел в живых только дядю и тетку. Если я и встречал на улице знакомые лица, то меня уже никто не узнавал; сам город глядел на меня чужими глазами; многие дома за это время оказались перекрашенными, из окон выглядывали незнакомые лица, вокруг старых дымовых труб вились тощие воробьи, все было так мертво и вместе так свежо, как салат, растущий на кладбище; где прежде разговаривали по-французски, слышался теперь прусский говор и успел обосноваться даже маленький прусский

дворик, люди приобрели придворные титулы: бывшая куаферша моей матери стала придворною куафершею, завелись придворные портные, придворные сапожники, придворные истребительницы клопов, придворные винные лавки, весь город оказался придворным лазаретом для помешанных на всем придворном. Только старый курфюрст узнал меня, он стоял на том же месте; но словно похудел. Стоя посередине рыночной площади, он наблюдал все современное запустение, а от такого зрелища не разжиреешь. Я был как во сне, вспоминая сказание о зачарованных городах и, чтобы не проспуться слишком рано, поспешил к воротам. Во дворцовом саду я не досчитался нескольких деревьев, другие были искалечены, а четыре больших тополя, казавшиеся мне прежде зелеными великанами, стали маленькими. Несколько хорошеньких девушек прогуливались по саду, пестро разодетые, как ходячие тюльпаны. С этими тюльпанами я был знаком, когда они были еще маленькими луковками. Увы! Это были соседские дочки, с которыми я разыгрывал когда-то «Принцессу в башне». Но прекрасные девы, которых я знал некогда в качестве цветущих роз, казались поблекшими, и не в один высокий лоб, чье гордое выражение восхищало прежде мое сердце, врезаны были теперь косою Сатурна глубокие морщины. Только теперь — увы! — слишком поздно открыл я, что должны были означать взгляды, которые они бросали тогда уже мужавшему мальчику; за это время наблюдал я в прекрасных глазах на чужбине такое же выражение. Глубоко растрогал меня смиренный поклон человека, которого я знал когда-то богатым и знатным и который теперь стал нищим! Заметно вообще, что люди, начиная опускаться, падают, как бы по закону Ньютона, все быстрее, ужасающе быстро. Но кто вовсе не показался мне изменившимся, так это маленький барон. Он так же весело, как прежде, прыгал по дворцовому саду, придерживая левой рукой полу сюртука, в другой руке он держал тоненькую тросточку, которой помахивал во все стороны; все то же

постоянно приветливое личико, розовый румянец которого сосредоточился на носу, та же старая полукруглая шляпенка, та же старая косичка, только теперь из нее выглядывало несколько седых волосков, вместо прежних черных. Но, как он ни казался довольным, я все же знал, что бедный барон претерпел в последнее время много горя, личико его пыталось скрыть это обстоятельство, но седые волосики косички выдавали его. Сама косичка охотно бы утаила это — она болталась как-то скорбно-весело.

Я не чувствовал усталости, но мне захотелось еще раз присесть на деревянную скамью, где я вырезал когда-то имя любимой девушки. Я едва отыскал его, сколько новых имен было там вырезано. Ах! однажды я заснул на этой скамье и снились мне любовь и счастье. «Сны — пена». Вспомнились мне и старые детские игры и старые красивые сказки. Но новая фальшивая игра и новая скверная сказка врывались в эти воспоминания; то была история двух сердец, нарушавших взаимную верность и дошедших в самой неверности до того, что они утратили веру в самого господа бога. Это отвратительная история, и если уж нет ничего лучше, можно над ней поплзкать. О, боже! когда-то мир был так прекрасен, и птицы пели тебе вечную хвалу, и маленькая Вероника смотрела на меня своим тихим взором. Мы сидели перед мраморной статуей на замковой площади: с одной стороны старей, заброшенный замок, где живут духи и где по ночам бродит дама в черном шелковом платье, без головы, с длинным шуршащим шлейфом; с другой стороны — высокое белое здание, в верхних этажах которого чудесно сияли в золотых рамах пестрые картины, а в нижнем этаже стояли многие тысячи тяжелых книг; я и маленькая Вероника с любопытством рассматривали их, когда благочестивая Урсула поднимала нас к большим окнам. Позже, став большим мальчиком, я ежедневно лазил там по самым высоким лестницам, доставал книги с самых верхних полок и читал так долго, что переста-

вал бояться чего бы то ни было, и менее всего дамы без головы. Я стал столь разумным, что забыл все старые игры, и сказки, и картины, и маленькую Веронику, и даже ее имя.

Однако в то время, как я, сидя на старой скамейке дворцового сада, уносился мечтами в прошлое, услышал я позади себя смешанный говор человеческих голосов, жаловавшихся на судьбу бедных французов, которых в русскую войну услали в качестве пленных в Сибирь, где они были задержаны на несколько долгих лет и несмотря на заключение мира, лишь теперь возвращались на родину. Подняв глаза, я действительно увидел этих сирот славы; сквозь прорехи их изодранных мундиров проглядывала неприкрытая нищета, глубоко впавшие и жалобные глаза лежали в их обветренных лицах, и, притихшие, усталые, большею частью прихрамывающие, они все же сохранили в рядах своих подобие воинского равнения, и довольно странно! — барабанщик с барабаном ковылял впереди; внутренне содрогаясь, вспомнил я легенду о солдатах, которые пали в бою днем, а ночью встают с поля сражения и, во главе с барабанщиком, направляются на родину. О них поется в старой народной песне:

Он барабанил выступление,
Они встают с полей сражения
И к городу, вперед!
Траллеры, траллерей, траллера!
Здесь милая живет.

Рядами высохшие кости
Стоят, как камни на погосте,
А он — всех впереди.
Траллеры, траллерей, траллера!
Пришел я — погляди!

Поистине, бедный французский барабанщик вышел, казалось, наполовину истлевший, из могилы, это была лишь крохотная тень в грязной, изодранной серой ши-

нели, мертвенно-желтое лицо с большими усами, печально повисшими над поблекшими губами, глаза походили на истлевшие угли, в которых едва лишь мерцают немногие искорки, и все-таки, по одной только такой искорке я узнал мосье Ле Грана.

Он тоже узнал меня, усадил на траву. Вот мы опять расположились рядом, как прежде, когда он учил меня французскому языку и новейшей истории с помощью барабана. При нем был все тот же знакомый старый барабан, и я не мог надивиться, каким образом спас он его от русской алчности. Он и теперь барабанил, как прежде, но при этом ничего не говорил. Однако, если губы его были мрачно сжаты, тем больше говорили его глаза, победно светившиеся, когда он отбивал старые марши. Тополи рядом с нами задрожали, когда он забарабанил вновь красный марш гильотины. Также пробарабанил он про старые бои за свободу, про старые сражения, про подвиги императора, и казалось, что его барабан — живое существо, радующееся возможности выразить внутренний восторг. Я опять услышал гром пушек, свист пуль, шум битвы, опять увидел отважную перед лицом смерти гвардию, опять увидел веющие знамена, опять увидел императора на коне. Но понемногу в радостную дробь стал вмешиваться какой-то унылый тон, с барабана понеслись звуки, в которых самое неистовое ликование жутко слилось с ужасающей скорбью, это был победный и в то же время похоронный марш. Глаза Ле Грана широко раскрылись, как бы в духовном созерцании, и я увидел в них только одно — безбрежное белое ледяное поле, устланное трупами: то была битва под Москвою.

Я бы никогда не подумал, что старый жесткий барабан способен издавать такие горестные звуки, какие извлекал теперь из него мосье Ле Гран. Это были выбарабанные слезы, они звучали все тише, и, как печальное эхо, вырывались глубокие вздохи из груди Ле Грана. Он становился все бледнее и призрачнее, его тощие руки дрожали от озноба, он сидел как во сне и

только рассекал воздух своими палочками, как бы прислушиваясь к голосам издалека; наконец он посмотрел на меня глубоким, бездонно-глубоким, умоляющим взором — я понял его, — и голова его опустилась на барабан. Мосье Ле Гран не барабанил больше никогда в этой жизни. И барабан его не издал больше ни одного звука, ему не суждено было рабски отбивать зорю среди врагов свободы. Я очень хорошо понял последний, молящий взгляд Ле Грана и, вынув шпагу из своей трости, проткнул барабан.

ГЛАВА XI

Du sublime au ridicule, n'y a qu'un pas, madame *. Но жизнь по существу своему столь фатально серьезна, что она была бы невыносима без такого смещения патетического и комического. Это известно нашим поэтам. Самые ужасные картины человеческого безумия Аристофан показывает нам лишь в веселом зеркале своей шутки; великую творческую боль, сознающую собственное ничтожество, Гете решается высказать лишь в простонародных стихах кукольного театра, а смертную жалобу на юдоль мира сего Шекспир влагает в уста шуту, боязливо играя притом его колпаком с погрешностями.

Все они научились этому от великого праотца поэзии, который в своей тысячаактной мировой трагедии сумел достигнуть высшей степени юмора, как мы ежедневно убеждаемся: после ухода героев, на сцене появляются клоуны и арлекины со своими шутовскими дубинками и колотушками, после кровавых революционных сцен и императорских актов вперевалку приплетаются толстые Бурбоны, со своими старыми, отжившими остротами и лязжно-легитимными каламбурами, и грациозно семенил туда же древняя знать со своею голодною улыбкою,

* От великого до смешного один только шаг, мадам.

а за ними шествуют благочестивые рясы со светильниками, крестами и хоругвями, — даже минуты высочайшего напряжения мировой трагедии не защищены обыкновенно от вторжения комических элементов; отчаявшийся республиканец, всаживающий себе, наподобие Брута, нож в сердце, быть может, прежде понюхал этот нож — не резали ли им селедку. И на этой великой мировой арене все идет так же, как на убогих наших подмостках: и на ней встречаются пьяные герои, короли, забывшие свою роль, декорации, повиснувшие в воздухе, суфлеры с излишне громкими голосами, танцовщицы, производящие эффект поэзией своих бедер, блестящие костюмы в качестве главной приманки. И наверху, на небе, в первом ряду сидят в то же время прелестные ангелочки, смотрят в лорнеты сюда вниз, на нас, комедиантов, а милосердный господь бог сидит с серьезным видом в своей большой ложе и, может быть, скупает или соображает, что театр просуществует недолго, так как некоторые получают слишком большое жалование, другие слишком маленькое, и все слишком скверно играют.

Du sublime au ridicule il n'y a qu'un pas, madame! В то время как я заканчивал предыдущую главу и рассказывал вам, как умер мосье Ле Гран и как я добросовестно выполнил *testamentum militare* *, изложенное в его последнем взгляде, раздался стук в дверь моей комнаты, и вошла бедная старая женщина, дружески спросившая меня, не доктор ли я. И когда я ответил утвердительно, она дружески попросила меня пойти к ней на дом и срезать мозоли ее мужу.

Г Л А В А XII

Немецкие цензоры

* воинское завещание

.....
 *Болваны.*

ГЛАВА XIII

Madame! вся Троянская война уже лежала под высиживавшими яйцо полушариями Леды, и вы никогда не поняли бы знаменитых слез Приама, если бы я не рассказал вам сначала о древних лебединых яйцах. Поэтому не жалуйтесь на мое отступление. Во всех предыдущих главах нет строки, которая не имела бы отношения к делу. Я пишу сжато, избегаю всего лишнего, часто даже пропускаю необходимое, например, я еще ни разу не цитировал *, — имею в виду не духов, а писателей, — а ведь цитирование старых и новых трудов — главное удовольствие молодого автора, и пара основательных ученых цитат украшает всего человека. Не подумайте только, madame, что я недостаточно знаком с главиями книг. Кроме того, мне известен прием великих людей, умеющих выковыривать изюминки из булок и цитаты из университетских тетрадей, знаю я также, откуда добывает Бартель сусло. На случай нужды, я мог бы признать известное количество цитат у моих ученых друзей. Мой друг Г. в Берлине, так сказать, — маленький Ротшильд в отношении цитат и одолжит мне охотно несколько миллионов, а если у него и не окажется достаточного запаса, то он без труда добудет их у некоторых других космополитических банкиров духа. Кстати, madame, с трехпроцентными Бека слабо, а пятипроцентные Гегеля поднялись. Но пока мне незачем прибегать к займам, я человек вполне обеспеченный и могу расходовать свои десять тысяч цитат в год,

* Игра слов: по-немецки citieren значит и «цитировать» и «вызывать».

мало того — я изобрел даже способ сбывать фальшивые цитаты за настоящие; если бы какой-нибудь великий и богатый ученый, например, Михаил Бер, пожелал купить у меня этот секрет, я охотно уступил бы его за девятнадцать тысяч талеров наличными, можно было бы и поторговаться. Другого своего открытия я, в интересах литературы, не стану скрывать и намерен сообщить бесплатно.

Именно, я считаю правильным цитировать неизвестных авторов по номерам их домов.

Это «хорошие люди и плохие музыканты», — так говорится об оркестре и комедии «Ponce de Leon», — эти неизвестные авторы все же хоть сами обладают экзemplарчиком своей давно забытой книжки, и нужно знать номер их дома для того, чтобы найти ее. Если бы, например, я вздумал привести цитату из «Песенника для ремесленных подмастерьев» Шпитты, милая madame, где бы вы нашли ее? Но если я процитирую:

«Ср. Песенник для подмастерьев, составленный Ф. Шпиттой, Люнебург, Люнерштрассе, № 2, справа за углом», — то вы можете, madame, если, по-вашему, это стоит труда, разыскать книжку. Но это не стоит труда.

Впрочем, вы не можете себе представить, madame, с какой легкостью могу я приводить цитаты. Всегда я найду случай обнаружить свою глубокую эрудицию. Говоря, например, о еде, я сообщаю в примечании, что греки, римляне и иудеи тоже ели; перечисляя велико-лепные блюда, которые готовила кухарка Лукулла — увы, зачем я родился на полторы тысячи лет позже! — отмечаю также, что общественные трапезы у греков назывались так-то и так-то, и что спартанцы питались скверным черным супом. Хорошо все-таки, что тогда меня еще не было на свете, я не могу представить себе ничего ужаснее, чем если бы я, несчастный, оказался спартанцем. Ведь, суп — мое любимое блюдо. Madame, я предполагаю в скором времени отправиться в Лондон, но если правда, что там нельзя достать супу, то тоска скоро погонит меня обратно к горшкам моей родины,

с их супом и мясом. Насчет еды у древних евреев я мог бы распространиться очень подробно и дойти до еврейской кухни новейшего времени. При этом случае я процитирую всю Каменную улицу. Я мог бы также отметить, насколько гуманно изъясняются многие берлинские ученые об еде евреев, затем я перешел бы к другим отличительным и превосходным чертам евреев, — к изобретениям, которыми мы им обязаны, например, к векселям, христианству... Но нет, последнего изобретения мы не поставим им в слишком большую заслугу, так как мы, собственно, еще очень мало применяем его на деле — я полагаю, что оно менее оправдало расчеты самих евреев, чем изобретение векселей. По поводу евреев я мог бы привести цитату также из Тацита: по его словам, евреи поклонялись в своих храмах ослу, а, если заговорить об ослах, какое обширное поле открывается для цитат! Сколько замечательного можно сказать об античных ослах, в противоположность современным! Как разумны были первые, и — ах! — как глупы последние! Как толково рассуждает, например, Валаамова ослица.

См. Пятикнижие кн...

Madame, в данную минуту у меня нет этой книги под рукой, и я оставляю место незаполненным. Зато в отношении тупости новейших ослов я привожу цитату.

См.

Нет, я и здесь оставляю пробел, иначе тоже буду привлечен, именно, *injuriarum* *. Новейшие ослаы ведь большие ослаы. Ослаы старого времени, стоявшие на высоком уровне культуры, — *Vid. Gessneri. De antiqua honestate asinorum*** (*In comment. Götting, т. II, р. 32*) — перевернулись бы в могиле, если бы слышали, как выражаются об их потомках. Когда-то слово «осел» было почетным титулом: оно соответствовало, примерно, нынешним «надворному советнику», «барону», «доктору философии». Иаков сравнивает с ослом своего сына Исахара,

* за оскорбление.

** О древней честности ослов

Гомер сравнивает с ним своего героя Аякса, а в наше время с ним сравнивают господина фон... Madame, при этом случае я мог бы углубиться в дебри истории литературы, я мог бы привести цитаты из многих великих мужей, некогда влюблявшихся, например, из Абелярдуса, Пикуса Мирандулануса, Борбониуса, Куртезиуса, Ангелуса Полициануса, Раймундуса Луллуса и Генрикуса Гейнеуса. По части любви, я мог бы цитировать также всех великих людей, не куривших табак, например, Цицерона, Юстиниана, Гете, Гуго, себя — случайно все мы пятеро, так или иначе, юристы. Мабильон не мог даже выносить вида чужой трубки; в своем «*Iter germanicum*»* он жалуется, говоря о немецких гостиницах: «*quod molestus ipsi fuerit tabaci grave olentis foetor*»**. С другой стороны, некоторым великим людям приписывается особенная страсть к курению. Рафаил Торус сочинил гимн табаку. Madame, вы, может быть, не знаете, что anno 1628 *** Исаак Эльзевериус отпечатал его в Лейдене in quarto ****, а Людовикус Киншот писал к нему предисловие, Гревииус также воспел табак в особом сонете, великий Боксгорниус также любил табак. Бейль в своем «*Dict. hist. et critiq*»⁰ сообщает, что, как рассказывали ему, великий Боксгорниус надевал во время курения широкую шляпу с дыркой на полях спереди, куда он часто засовывал трубку, чтобы она не мешала ему заниматься. Кстати, упомянув о великом Боксгорниусе, я мог бы цитировать всех великих ученых, которым приходилось струсить и обратиться в бегство. Но я укажу только на Иог. Георга Марциуса «*De fuga literatorum etc., etc., etc.*»⁰⁰ Изучая историю, мы замечаем, madame, что все великие люди один раз в жизни обращались в бегство: Лотт,

* «Германское путешествие»

** «ему была противна вонь крепкого табака».

*** в 1628 году

**** в четвертую долю листа (4⁰)

⁰ «Исторический и критический словарь»

⁰⁰ «О бегстве литераторов и пр., и пр., и пр.».

Тарквиний, Моисей, Юпитер, г-жа де Сталь, Навуходоносор, Бениовский, Магомет, вся прусская армия, Григорий VII, рабби Ицхак Абарбанель, Руссо. Я мог бы назвать еще много имен, например, тех, кто занесен на бирже на черную доску.

Вы видите, madame, у меня довольно основательности и глубины. Только систематизация не вполне дается мне. В качестве истого немца я должен был бы начать эту книгу с объяснения заглавия, как водится в священной Римской империи. Правда, Фидий не написал предисловия к своему Юпитеру, равным образом, на теле Венеры Медицейской не найдено никаких цитат — я осмотрел ее со всех сторон; но древние греки были греками, наш же брат — честный немец и неспособен до конца отречься от немецкой натуры, а потому я, хотя и с опозданием, принужден высказаться о заглавии своей книги.

Итак, madame, я говорю:

1. Об идеях вообще:

- а) о разумных идеях,
- б) о неразумных идеях,
 - α) об обыкновенных идеях,
 - β) об идеях в зеленом кожаном переплете.

Эти последние разделяются опять на... но обо всем этом в свое время.

Г Л А В А XIV

Madame, имеете ли вы вообще понятие об идее? Что такое идея? «В этом сюртуке есть несколько хороших идей», — сказал мой портной, рассматривая с серьезным и одобряющим видом мой парадный сюртук, заведенный мною во дни моего берлинского щегольства, который теперь нужно было переделать в почтенный халат. Прачка моя жаловалась: «Пастор С. вбил в голову ее дочери идеи, она поглупела от этого и не слушает доводов ума-разума». Кучер Паттенсен ворчит при всяком случае: «Вот так идея! вот так идея!» Вчера

когда я спросил его, что разумеет он под словом идея, он обозлился и сердито проворчал: «Ну, ну, идея — это идея! идея — это всякая чепуха, которую воображают себе». В том же значении употреблено это слово в качестве заглавия книги гофратом Гереном в Геттингене.

Кучер Паттенсен — человек, который ночью и днем найдет дорогу среди обширной Люнебургской степи, надворный советник Герен — человек, который тоже инстинктом мудрости отыскивает старинные пути караванов на Востоке и вот уже много лет бродит по ним так же уверенно и терпеливо, как какой-нибудь древний верблюд; на таких людей можно положиться, за такими людьми можно идти спокойно, а потому я и дал настоящей книге название «Идеи».

Заглавие книги имеет, в силу изложенного, так же мало значения, как титул * самого автора, он выбран автором не из ученого высокомерия, и менее всего может быть объяснен тщеславием. Уверяю вас самым смиренным образом, *madame*, я не тщеславен. Замечание это необходимо, как вы увидите после. Я не тщеславен... И если бы целый лавровый лес вырос на моей голове, и целое море фимиама излилось в мое юное сердце, я бы не стал тщеславным. Мои друзья и прочие соотечественники и современники добросовестно об этом позаботились. Вы знаете, *madame*, что старые женщины сплевывают обыкновенно в сторону своих питомцев, когда этих последних хвалят за красоту, для того, чтобы похвала не повредила прелестным малюткам. И вы знаете, *madame*, что, когда триумфатор возвращался в Рим с Марсова поля, увенчанный славой и одетый в пурпур, на золотой колеснице, запряженной белыми конями, выступая подобно богу среди торжественной свиты ликторов, музыкантов, танцовщиков, жрецов, рабов, слонов, трофееносцев, консулов, сенаторов и солдат, то чернь следовала позади и распевала насмешливые песни, и вы знаете, *madame*, что в дорогой нашей Германии много старых баб и много черни.

* Игра слов: *Titel* означает и «заглавие» и «титул».

Как сказано, madame, идеи, о которых здесь идет речь, столь же далеки от платоновских, сколь Афины от Геттингена, и вы не ждите поэтому от книжки больше, чем от самого автора. Поистине, мне, как и друзьям моим, непонятно, каким образом мог автор возбудить когда-либо подобные надежды. Графиня Юлия, желая объяснить, в чем дело, уверяет, что, если вышеозначенный автор и скажет иной раз что-либо действительно остроумное и новое, то это лишь притворство с его стороны. По существу же он столь же глуп, как другие. Это неправда, я не притворяюсь, я говорю то, что срывается у меня с языка, пишу в полной невинности и простоте все, что приходит мне в голову, и я не виноват, если получается что-либо дельное. Но так уж выходит — в писательстве я счастливее, чем в Альгонской лотерее — хотелось бы мне, чтобы выходило наоборот, — и вот, из-под пера моего вырывается то удар в самое сердце, то умственная кватерна, и на то — воля божья, ибо он, отказывающий в красивых мыслях и литературной славе благочестивейшим певцам Иеговы и назидательнейшим поэтам, для того чтобы их не захвалили их земные сотвари и чтобы они оттого не забыли о небесах, где ангелы готовят им жилище, — он тем щедрее благословляет обыкновенно выдающимися мыслями и славой мирской нас, прочих, светских, грешных, еретических сочинителей, для коих небо все равно, что заколочено, он делает это по своей божественной милости и состраданию, чтобы несчастная душа, все же созданная им, не оказалась лишенною всего и получила хотя бы здесь, внизу, на земле долю блаженства, в коем им отказано там, наверху.

Ср. Гете и авторов трактатцев.

Вы видите, madame, что вам сочинения мои читать можно, они свидетельствуют о милосердии и сострадании божием, я пишу в слепом уповании на его всемогущество, в этом отношении я — истинно христианский писатель и словами Губитца скажу, что, начав этот период, еще не знаю, чем его закончу, и что собственно

следует мне сказать, а потому я и полагаюсь на господ бога. Да и как бы мог я писать без такой благочестивой уверенности? В комнате у меня стоит мальчик из типографии Ланггофа и дожидается рукописи; слово, едва успевшее родиться, направляется в неостывшем и влажном состоянии в типографический станок, и предмет моих сегодняшних мыслей и чувств может завтра в полдень оказаться уже макулатурой.

Легко вам, madame, напоминать мне горадиево «*pnum prematur in annum*». Правило это, как и другие, ему подобные, может быть хорошо в теории, но на практике никуда не годится. Когда Гораций подал автору свой знаменитый совет — девять лет держать свои произведения в ящике стола, он должен был тогда же сообщить рецепт, как прожить девять лет без пищи. Гораций, придумавший это правило, сидел, может быть, за столом у Мецената и ел индеек с трюфелями, пудинг из фазанов с соусом из дичи, жаворонковые ребрышки с тельтовскою репкой, павлиньи языки, индийские птичьи гнезда и бог знает что еще, и все это — бесплатно. А мы, несчастные, родившиеся слишком поздно, живем в другие времена, наши меценаты думают совершенно иначе, они полагают, что поэты и кизиль созревают лучше всего лежа некоторое время на соломе, они полагают, что собаки не годятся для охоты за образами и мыслями, если они слишком жирно откормлены, ах! если они и покормят иной раз несчастного пса, то он оказывается неподходящим, менее всего заслуживающим подачи, например, таксом, лижущим руки, или тщедушной болонкой, умеющей пристроиться к благоухающим коленям хозяйки или же терпеливым пуделям, изучавшим хлебное ремесло и умеющим таскать поноски, танцовать и барабанить... В то время как я пишу, за мной стоит мой маленький мопс и лает — молчи, Ами, я не имел в виду тебя, ведь ты любишь меня и следуешь за хозяином в нужде и в опасности, умер бы на его могиле с такой же верностью, как любая другая немецкая собака, которая, будучи изгнана на

чужбину, лежит перед воротами Германии, терпит голод и визжит... Простите, madame, что я отклонился с тем, чтобы дать удовлетворение моей бедной собаке, я возвращаюсь опять к горацеву правилу и к неприменимости его в девятнадцатом столетии, когда поэты не могут обойтись без стипендии для своей музыки. Ma foi *, madame, я не мог бы выдержать и двадцать четыре часа, не только девять лет, желудок мой не интересуется вопросом о бессмертии; обдумав все, я решил стать только наполовину бессмертным и вполне сытым, и если Вольтер готов был уступить триста лет своей вечной посмертной славы за хорошее пищеварение, то я предлагаю вдвое больше за самую пищу. Ах, какая прекрасная, цветущая еда бывает в этом мире! Философ Панглосс прав — это лучший из миров! Но в этом лучшем из миров надо иметь деньги, деньги в кармане, а не рукописи в ящике стола. Хозяин ресторана «Английский король», господин Марр сам тоже писатель и знаком с горацевым правилом, но, если бы я захотел выполнить последнее, не думаю, чтобы он девять лет кормил меня.

Впрочем, к чему бы мне и выполнять его? У меня так много тем для сочинений, что не приходится долго думать. Пока сердце мое полно любовью, а голова моих близких — глупостью, у меня не будет недостатка в материале. А сердце мое всегда будет любить, пока существуют женщины; если оно охладает к одной, то сейчас же воспыхает к другой; подобно тому как во Франции никогда не умирает король, так и в сердце моем никогда не умирает королева, а потому: *La reine est morte, vive la reine!*** Точно так же не умрет никогда глупость моих близких. Существует лишь одна мудрость, и она имеет определенные границы, но можно насчитать тысячи видов безграничной глупости. Ученый казуист и пастырь духовный Шупп говорит даже: «На свете больше дураков, чем людей».

* право, ей-богу!

** Королева умерла, да здравствует королева!

Ср. Поучительные труды Шуппиуса, стр. 1124.

Если сообразить, что великий Шуппиус жил в Гамбурге, то нельзя усмотреть преувеличения в этом статистическом сведении. Я живу там же и, могу сказать; чувствую порядочное удовольствие при мысли, что все эти дураки, которых я здесь вижу, пригодны для моих произведений, все это — чистый гонорар, наличные деньги. В настоящее время я благоденствую. Господь благословил меня, дураки уродились в этом году особенно обильно, и, как хороший хозяин, я использую лишь немногих, выбираю самых доходных и сохраняю для будущего. Меня часто можно встретить прогуливающимся, веселым и радостным. Подобно богатому купцу, который, потирая от удовольствия руки, прохаживается между ящиками, бочками и тюками в своем складе, хожу я среди своей публики. Вы все мои! Вы все мне одинаково дороги, и я люблю вас, как вы любите свои деньги, а это много значит. Я от души посмеялся, когда услышал недавно, что один из моих дураков выразил беспокойство по поводу того, чем я буду жить в дальнейшем — ведь сам он столь капитальный дурак, что я мог бы жить им одним, как капиталом. Но иные дураки для меня не только наличные деньги — я уже предназначил для определенной цели те наличные деньги, которые я выработаю из них пером. Так, например, из одного плотно набитого, толстого миллионера я устрою себе плотно набитое кресло, известное у французов под названием *chaise percée* *. За его толстую миллионершу я куплю себе лошадь. И вот, когда я встречаю этого толстяка — верблюд скорее пройдет в царство небесное, чем этот человек сквозь игольное ушко, — когда я встречаю толстяка, прогуливающегося вперевалку, у меня является удивительное настроение: хоть я и вовсе незнаком с ним, я невольно приветствую его, и он отвечает таким сердечным, так располагающим к себе поклоном, что мне хочется тут же использовать его доброту, и лишь обилие нарядной публики, проха-

* кресло с отверстием.

живающейся мимо, меня смущает. Супруга его далеко не урод. Правда, у нее один единственный глаз, но тем он зеленее, нос ее — как башня, обращенная к Дамаску, грудь ее пространна, как море, и на ней развеваются всевозможные ленты, подобно флагам судов, вошедших в этот морской залив — при одном взгляде на все это, подступает морская болезнь, — спина ее даже красива и закруглена слоем жира, как... — образ для сравнения помещается несколько ниже, — а над фиалково-лиловою завесой, прикрывающей этот «образ для сравнения», несомненно, проработали всю свою жизнь многие тысячи шелковичных червячков. Вы видите, мадам, какого коня я себе заведу. Когда я на прогулке встречаюсь с этою дамою, сердце мое бьется сильнее, как будто я готовлюсь вспрыгнуть на коня, я помахиваю хлыстом, шевелю пальцами, щелкаю языком, делаю ногами всякого рода движения, как при верховой езде — гоп, гоп! — и милая дама смотрит на меня так задушевно, с таким искренним сочувствием, она косит глазом, раздувает ноздри, кокетничает своим крупом, делает курбеты, пускается внезапно мелкою рысью, а я стою со скрещенными руками, благосклонно смотрю ей вслед и соображаю, пускать ли ее под уздцы или на трензеле, надеть на нее английское или польское седло и т. д. Те, кто видит, как я стою, недоумевают, что так притягивает меня к этой женщине. Злые языки пытались уже вызвать беспокойство в ее супруге и намекали, что я смотрю на его супружескую половину глазами ловеласа. Но говорят, мой почтенный, мягкокожий *chaise percée* ответил, что считает меня невинным, даже слегка робким молодым человеком, который с некоторым смущением взирает на него, как бы чувствуя потребность приблизиться, но скован бросающей в краску застенчивостью. Мой благородный конь полагал, напротив, что я обладаю свободным, непринужденным, рыцарским характером, а моя предупредительная вежливость означает лишь желание быть когда-либо приглашенным к их обеду.

Вы видите, *madame*, я могу использовать всякого человека, и адрес-календарь составляет, собственно, инвентарь моих вещей. По той же причине я не могу никогда обанкротиться, так как даже своих кредиторов я использовал бы как источник дохода. Кроме того, как уже сказано, я живу экономно, чертовски экономно. Например, в то время как я пишу эти строки, я сижу в неприветливой, мрачной комнате на Дюстерьштрассе, — но охотно мирюсь с этим. Я мог бы, если бы захотел; сидеть в роскошном саду, не хуже моих друзей и приятелей, стоит мне только использовать моих пьяниц-клиентов. К этим последним, *madame*, принадлежат неудачливые парикмахеры, опустившиеся сводники, трактирщики, которым самим есть нечего, всякий сброд, знающий ход ко мне, и за деньги, даваемые на водку, рассказывающий мне *chronique scandaleuse* * своего квартала. *Madame*, вы удивляетесь тому, что я раз навсегда не выброшу эту публику за дверь? Что вам вздумалось, *madame*? Эти люди — мои цветы. Когда-нибудь я опишу их в прекрасной книге, и на полученный гонорар приобрету себе сад; они, со своими красными, желтыми, синими, пестро-пятнистыми лицами, представляются мне уже и теперь цветами в моем саду. Какое мне дело до того, что чужие носы утверждают, будто от этих цветов разит водкою, табаком, сыром и пороком. Мой собственный нос, моя вытяжная труба, по которой фантазия моя разгуливает, как трубочист, вверх и вниз, утверждает противное — он ощущает лишь аромат роз, жасминов, фиалок, гвоздики. О, с какою приятностью буду я сидеть в одно прекрасное утро в своем саду, прислушиваясь к пению птиц, грея на солнце кости, вдыхая свежий аромат трав и вспоминая, при виде цветов, старый сброд!

Но пока я сижу еще в своей темной комнате на темной Дюстерьштрассе и довольствуюсь тем, что собираюсь повесить посреди комнаты величайшего обскуранта

* хронику скандалов

всей страны. *Mais est ce-que vous verrez plus clair alors? ** Очевидно, *madame*, — не поймите меня ложно, — я поведу не его самого, а только хрустальную лампу, которую куплю себе на гонорар, заработанный на нем. В то же время я полагаю, что было бы еще лучше, и во всей стране стало бы вдруг светло, если бы повесить обскурантов *in natura ***. Но если нельзя этих людей повесить, то следует заклеить их. Я опять выражаюсь фигурально, я клеймлю *in effigie ****. Правда, господин фон Вейс — он бел **** и непорочен, как лилия, — дал себя уверить ***** , что я рассказывал в Берлине, будто он действительно заклеен; этот дурак заставил власти осмотреть его и письменно засвидетельствовать, что на его спине не вытеснено никакого герба, и это отрицательное удостоверение насчет герба он счел за диплом, открывающий ему доступ в лучшее общество, и удивился, когда его все-таки оттуда вышвырнули; теперь он призывает громы и молнии на мою бедную голову и хочет застрелить меня при первой же встрече из заряженного пистолета. И что вы думаете, *madame*, как поступлю я? *Madame*, на этого дурака, то есть на гонорар, который я заработаю на нем своим пером, я куплю себе добрый боченок рюдесгеймского рейнвейна. Я упоминаю об этом, чтобы вы не подумали, будто моя веселость при встречах на улице с господином фон Вейсом объясняется злорадством. Поистине, я вижу в нем только свое любимое рюдесгеймское, и всякий раз, как взгляну на него, на душе у меня становится блаженно и приятно, и я невольно напеваю: «На Рейне, на Рейне растут наши лозы», «Волшебно образ так красив», «О, белая дама!» Мое рюдесгеймское глядит в таких случаях весьма кисло, можно подумать, что оно состоит из од-

* Но разве вы от этого будете лучше видеть?

** в натуре.

*** в изображении.

**** Игра слов: *weiss* (вейс) — белый.

***** дал себя уверить — *sich weismachen lassen* — игра слов: *Weiß* — *weiß* — *weismachen*.

ного яда и желчи, но, уверяю вас, madame, это настоящее вино; если даже на нем не выжжено удостоверительного герба, знаток все же сумеет оценить его, я с наслаждением раскупорю этот боченок, и если в нем начнется чрезмерное брожение и он будет грозить опасным взрывом, то, согласно требованиям закона, придется сковать его железными обручами.

Как видите, madame, обо мне заботиться нечего. Я могу спокойно смотреть на все в этом мире. Господь благословил меня благами, и если он не наполнил непосредственно моего погреба вином, то все же он позволяет мне работать в своем винограднике; мне следует только собрать виноград, раздавить, выжать, разлить в чаны — и светлый божий дар готов; и если дураки не влетают мне в рот зажаренными, а попадают обыкновенно мне навстречу в сыром и невкусном виде, то я все-таки умею вертеть их на вертеле, тушить и посыпать перцем до тех пор, пока они не станут мягкими и съедобными. Вы будете довольны, madame, когда я как-нибудь устрою пиршество. Вы одобрите, madame, мою кухню. Вы признаете, что я буду угощать своих сатрапов так же пышно, как некогда великий Агасфер, владевший ста двадцатью семью провинциями от Индии до Мавритании. Я зарежу целые гекатомбы дураков. Великий филоспирт, который, подражая Юпитеру, пытается, в образе быка, снискать расположение Европы, пойдет на говяжье жаркое; печальный трагик, показавший нам на подмостках, изображающих печальное персидское царство, печального Александра, послужит для моего стола отличной свиной головой, которая, как полагается, будет кисло-сладко улыбаться, держа во рту ломтик лимона, притом изукрашенная старанием искусной кухарки лавровыми листьями; певец коралловых губ, лебединых шей, вздрагивающих снежных холмиков, ляжечек, милсчек, поцелуйчиков и асесорчиков, а именно Х. Клаурен, или, как называют его на Фридрихштрассе благочестивые бернардинки, «отец Клаурен, наш Клаурен», доставит мне все те блюда,

которые он так сладостно описывает в своих ежегодных карманных непотребниках, с фантазией лакомой кухарки, и, кроме того, он даст нам особое блюдо с сельдерейчиком, «при виде которого сердечко вздрогнет от любви»; умная тощая придворная дама, у которой лишь голова годится в дело, доставит аналогичное блюдо, именно — спаржу; не будет недостатка и в геттингенской колбасе, в гамбургской копченой говядине, в померанских гусиных полотках, бычачьих языках, тушеных телячьих мозгах, бычачьих головах, треске и всяческих сортов желе, берлинских пышках, венских тортах, варенье...

Madame, я мысленно уже испортил себе желудок! Чорт бы побрал такие пиры! Я не могу много вынести. У меня пищеварение неважное. Свиная голова действует на меня, как и на всю немецкую публику — после нее я должен поесть салата Вилибальда Алексиса: он прочищает. О, отвратительная свиная голова под соусом, еще более отвратительным, который не имеет ни греческого, ни персидского вкуса, а вкус чая с зеленым мылом!

Подайте сюда моего толстого миллионера!

Г Л А В А XV

Madame, я замечаю легкую тень неудовольствия на вашем прекрасном челе, вы как будто спрашиваете: справедливо ли так обращаться с дураками, насаживать их на вертел, рубить на куски, шпиговать и даже колоть многих из тех, кого я не могу использовать и кто служит только добычей для острых клювов пересмешиков, в то время как вдовы и сироты их плачут и стонут.

Madame, c'est la guerre! * Я открою вам теперь, в чем дело: хотя я сам и не из числа разумников, но примкнул к этой партии — вот уже 5588 лет, как мы воюем с дураками. Дураки полагают, что мы обошли их, они утверждают, что на весь мир отпущена лишь определен-

* Сударыня, это война!

ная доза разума, и всю эту дозу захватили, бог знает, каким путем, разумники, и — вопиющее дело — иной раз один единственный человек присвоит столько разума, что сограждане его и вся страна погружены в невежество. Вот скрытая причина войны, и это поистине война на уничтожение. Разумники держатся, как им и надлежит, весьма спокойно, умеренно и разумно, они сидят, прочно оккупавшись, за своими старо-аристотелевскими томами, располагая большим количеством пушек и снарядов — ведь они же сами выдумали порох — и время от времени бросают начиненные доказательствами бомбы в лагерь врагов. К сожалению, последние чрезмерно многочисленны, они поднимают страшный крик и причиняют нам ежедневный урон; ведь поистине, всякая глупость — урон для разумных! Военные хитрости их часто отличаются незаурядным лукавством. Некоторые вожди этой великой армии остерігаются признаться в истинных причинах войны. Они слышали, что некий известный фальшивец, зашедший в фальши так далеко, что в конце концов написал даже фальшивые мемуары, именно Фуше, выразился как-то: «Les paroles sont faites pour cacher nos pensées» *, и вот, они скрывают под разглагольствованием полное отсутствие мыслей: держат длинные речи, пишут толстые книги, и, если их послушать, — превозносят единый источник блаженства — разум, если посмотреть, — занимаются математикой, логикой, статистикой, усовершенствованием машин, гражданским чувством, стойловым откармливанием и т. д., и подобно тому как обезьяна тем смешнее, чем больше она походит на человека, так дураки эти тем смешнее, чем больше они представляются разумными. Другие вожди великой армии откровеннее, они признают, что их доля разума ничтожна, что им, пожалуй, и вовсе ничего не досталось, но в то же время утверждают, что разум — штука ненадежная и, в сущности, ничего не стоит. Может быть, это и правда, но, к несчастью, у них самих нехватает разума даже

* «Слова созданы для того, чтобы скрывать наши мысли».

настолько, чтобы доказать это. Поэтому они пускаются на всевозможные уловки, открывают в себе новые силы, объявляя, что эти силы столь же действительны, как разум, а в некоторых крайних случаях еще действительнее, например, характер, вера, вдохновение и т. д., и утешаются этими суррогатами разума, этим цикорным разумом. Меня, бедного, они ненавидят с совершенно исключительной силой, утверждая, что я по природе принадлежу к их лагерю, что я отщепенец, перебежчик, порвавший священные узы, что я даже шпион и тайно выведал их дурацкие дела с тем, чтобы отдать их потом на осмеяние своим новым союзникам, что я до того глуп, что не вижу даже, как эти последние смеются надо мною, ни в коем случае не признавая меня своим, и в этом отношении дураки совершенно правы.

Это верно, и те не признают меня своим, и по моему адресу часто направлены их скрытые хихиканья. Я хорошо это знаю, хотя и делаю вид, что не заметил. Но сердце мое обливается кровью, и когда я остаюсь один, слезы текут у меня из глаз. Я прекрасно знаю — мое положение неестественное: все, что я делаю, кажется разумникам глупостью, а дуракам — преступлением. Они ненавидят меня, и я чувствую справедливость изречения: «Камень тяжел, песок бремя, но гнев дурака тяжелее, чем то и другое». И у них есть основание ненавидеть меня. Это чистейшая правда: я разорвал священные узы, по законам божеским и человеческим мне надлежало бы жить и умереть среди дураков. И — ах! — как хорошо было бы мне среди них! И теперь еще, если бы я пожелал вернуться, они бы приняли меня с распростертыми объятиями. Они смотрели бы мне в глаза, стараясь угадать, что мне приятно. Они ежедневно приглашали бы меня к обеду, а по вечерам возили бы с собою в свои чайные кружки и клубы, я мог бы играть с ними в вист, курить, вести разговоры о политике, и если бы стал при этом зевать, я услышал бы за моей спиной: «Какой прекрасный характер! какая верующая душа!» Разрешите мне, madame, пролить слезу умиле-

ния, — ах, и я бы пил с ними пунш до тех пор, пока не наступит истинное вдохновение; тогда они в кресле относили бы меня домой, очень беспокоясь, чтобы я не простудился, тот подавал бы мне туфли, другой — шелковый халат, третий — белый ночной колпак; они сделали бы меня экстраординарным профессором или председателем какого-нибудь миссионерского общества, или обер-калькулятором, или директором римских раскопок; ведь я человек, который пригодился бы во всевозможных специальностях, ибо я прекрасно отличаю латинские склонения от спряжений и не так легко, как другие, принимаю сапог прусского*ямщика за этрусскую вазу. Мой характер, моя вера, мое вдохновение могли бы повлиять очень хорошо в часы молитвы на меня самого, а мой выдающийся поэтический талант сослужил бы мне хорошую службу в дни рождений и бракосочетаний высоких персон, и было бы вовсе недурно, если бы я в большой национальной эпопее воспел всех тех героев, о которых достоверно известно, что из истлевших их трупов повылезли черви, выдающие себя за их потомков.

Многие, не родившиеся дураками и одаренные некогда разумом, ради этих выгод перешли на сторону дураков и живут среди них истинно праздной жизнью; глупости, которые сначала все же стоили им некоторого напряжения, стали теперь их второю натурой, мало того — на них уже можно смотреть не как на лицемеров, а как на истинно верующих. Один из таких, в чьей голове еще не наступило полного солнечного затмения, очень любит меня и недавно, когда мы остались наедине, запер двери и сказал мне серьезным тоном: «О, глупец, изображающий из себя мудреца и не имеющий ума даже на столько, сколько есть его у рекрута во чреве матери! Разве ты не знаешь, что великие мира сего в нашей стране возвышают только тех, кто сам унижается и признает, что кровь их чище его собственной? А ты портишь отношения с людьми благочестивыми. Разве так уж трудно блаженно закатывать глаза, прятать в рукава сюр-

лука скрепленные в порыве веры руки, низко клонить голову, подобно агнцу божью, и лепетать заученные наизусть тексты из Библии? Поверь мне, ни одна светлость не вознаградит тебя за твоё безбожие, люди любви будут тебя ненавидеть, клеветать на тебя и преследовать, и ты не сделаешь карьеры ни на небесах, ни на земле!»

Ах, все это правда! Но что же мне делать с моей несчастной страстью к разуму! Я люблю его, хотя он и не осчастливил меня взаимностью. Я всем жертвую для него, а он ничего не дает мне. Я не могу от него отступить. Подобно тому как иудейский царь Соломон воспел некогда в Песне Песней христианскую церковь, притом в образе черной, пылающей страстью девы, для того, чтобы его иудеи ничего не заметили, так и я в бесчисленных песнях воспел нечто противоположное — разум, и притом в образе белой, холодной девы, она то влечет меня, то отталкивает, то улыбается мне, то гневается и наконец даже повертывается ко мне спиной. Вот эта тайна моей несчастной любви, которой я никому не открываю, дает вам, madame, меру для оценки моей глупости. Вы видите, что она совершенно необычайна и величаво возносится над обычными человеческими глупостями. Прочтите моего «Ратклифа», моего «Альмансора», мое «Лирическое интермеццо». Разум, Разум, только Разум! — и вы ужаснетесь перед высотой моего неразумия. Вместе с Агуром, сыном Иаке, могу сказать: «Я всех безумнее, и нет во мне разума человеческого». Высоко над землею поднимается дубовый лес, высоко над дубовым лесом парит орел, высоко над орлом плывут облака, высоко над облаками блестят звезды. Madame, не захватывает ли у вас дух? Eh bien *, высоко над звездами проносятся ангелы, высоко над ангелами возносится... нет, madame! выше не подымается моя глупость. Она и без того достигла достаточной высоты. Голова кружится от такого величия. Оно делает из меня гиганта в сапогах-сорокоходах. В обеденный час душа моя настроена так, как будто я могу съесть

* ну вот!

всех слонов Индостана и потом поковырять в зубах колокольнею Страсбургского собора; под вечер я становлюсь столь сентиментальным, что готов выпить весь Млечный путь, не помышляя о том, что маленькие неподвижные звезды его застрянут непереваренными в желудке; ночью разыгрывается настоящий спектакль, в голове моей собирается конгресс всех современных и древних народов, появляются ассирийяне, египтяне, мидяне, персы, евреи, филистимляне, франкфуртцы, вавилоняне, карфагеняне, берлинцы, римляне, спартанцы, турки. Madame, слишком долго было бы описывать все эти народы, прочтите лучше Геродота, Ливия, немецкие газеты, Курция, Корнелия Непота, «Друга общества». А я пока позавтракаю, сегодня утром что-то не весело пишется, я замечаю, что господь бог оставляет меня. Madame, боюсь, даже, что вы заметили это прежде меня, да, вижу, что истинная помощь божия сегодня вовсе отсутствовала. Madame, я начну новую главу и расскажу вам, как я после смерти Ле Грана прибыл в Годесберг.

ГЛАВА XVI

Воротаясь в Годесберг, я вновь уселся у ног своей прекрасной подруги, рядом со мною прилег ее бурый такс, и оба мы стали смотреть ей в глаза.

Святый боже! В этих глазах отражалось все величие земли, и над ним светилося все небо. Глядя в эти глаза, я мог бы умереть от блаженства, и если бы я умер в тот миг, душа моя устремилась бы прямо в ее глаза. О, я не в силах описать эти глаза! Я должен вызвать из сумасшедшего дома какого-нибудь поэта, помешавшегося от любви, чтобы он из глубины своего безумия вызвал образ, с которым я мог бы сравнить ее глаза. Между нами говоря, я и сам был в то время достаточно помешан и не нуждался в помощнике. «God d—n, — выразился один англичанин, — когда она с таким спокойствием окидывает вас взглядом с ног до головы, мед-

ные пуговицы фрака расплавляются, и сердце тоже». «F—e! — сказал француз, — у нее глаза крупнейшего калибра, если она стрельнет своим тридцатифунтовым взглядом, готово! — всякий влюбится». Случившийся тут же рыжеволосый адвокат из Майнца сказал: «Ее глаза похожи на две чашки черного кофе». Он хотел сказать нечто очень сладкое, ибо клал всегда невероятно много сахара в кофе. Скверные сравнения!

Я и бурый такс недвижно лежали у ног красавицы, смотрели и прислушивались. Она сидела рядом со старым, седовласым воином — рыцарская фигура с поперечным шрамом на морщинистом лбу. Они говорили о семи горах, освещаемых прекрасною вечернею зарею, и о голубом Рейне, протекавшем невдалеке, величаво и спокойно. Какое было нам дело до семи гор, до вечерней зари, до голубого Рейна, до лодок с белыми парусами, плывших по реке, до музыки, раздававшейся с одной из лодок, и до болвана-студента, распевавшего так сладостно и нежно, — мы с бурым таксом смотрели в глаза подруги и любовались ее лицом, сиявшим бледно-розовым светом, подобно месяцу среди темных туч, в ореоле черных кос и кудрей. То были величавые, греческие черты лица, смело закругленные губы, вокруг них играли скорбь, блаженство и детская резвость, и когда она начинала говорить, слова вырывались как бы из глубины, почти со вздохами, и все же они с торпливым нетерпением следовали друг за другом, и когда она начинала говорить, речь лилась из прекрасных уст, как теплый и светлый цветочный дождь, — о, тогда вечерняя заря нисходила на мою душу, с игривым звоном проносились в ней воспоминания детства, и яснее всех, как звук колокольчика, звучал во мне голос маленькой Вероники; схватив прекрасную руку подруги, я прижимал ее к своим глазам, пока не умолкал в душе звон, и тогда я вскакивал и смеялся, такс лаял, лоб старого генерала морщился еще серьезнее, а я опять садился, схватывал прекрасную руку, целовал ее — и рассказывал о маленькой Веронике.

Г Л А В А XVII

Madame, вам угодно, чтобы я описал маленькую Веронику. Но я не хочу. Вы, madame, не обязаны читать дальше, если не желаете, а я, со своей стороны, в праве писать только то, что хочу. Теперь я опишу прекрасную руку, которую я целовал в предыдущей главе.

Однако прежде всего я должен сознаться, что не был достоин целовать эту руку. Это была прекрасная рука, такая нежная, прозрачная, блестящая, сладостная, благоухающая, кроткая, милая — право, я должен послать в аптеку купить на двенадцать грошей эпитетов.

На среднем пальце надето было кольцо с жемчужиной — я никогда не видал жемчужины, обреченной на роль более плачевную; на безымянном — кольцо с голубою камеей — я часами изучал по ней археологию; на указательном — брильянт — это был талисман; смотря на него, я был счастлив, так как там, где был он, был и палец со своими четырьмя товарищами, и всеми пятью пальцами она часто била меня по губам. С той поры как я подвергся таким манипуляциям, я непоколебимо и твердо уверовал в магнетизм. Но она ударяла не сильно, и всякий удар я заслуживал какою-нибудь своею безбожною выходкою; ударив меня, она тут же испытывала раскаяние, брала пирожок, разламывала его пополам, одну часть давала мне, другую — бурому таксу и, улыбаясь, говорила: «Оба вы неверующие и не удостоитесь блаженства, нужно кормить вас на этом свете пирожками, так как за райским столом вам не приготовлено места». Наполовину, приблизительно, она была права, я был тогда очень неверующим, читал Томаса Пэна, «*Système de la Nature*», «Вестфальский указатель» и Шлейермахера, отрачивал себе бороду, накапливал ума и стремился быть рационалистом. Но разум отказывался служить, когда нежная рука касалась моего лба, сладкие грезы овладевали мной, мне казалось, я слышу вновь благочестивые песенки в честь

божьей матери, и я начинал думать о маленькой Веронике.

Madame, едва ли вы можете себе представить, как красива была маленькая Вероника в своем маленьком гробу. Горящие свечи, уставленные кругом, бросали ответ на ее бледное, улыбающееся личико, на красные шелковые розочки и на шуршащие золотые блески, которыми разукрашены были ее головка и белая рубашка — благочестивая Уреула привела меня вечером в эту тихую комнатку, и когда я увидел маленькую покойницу на столе, среди свечей и цветов, я подумал сначала, что это красивое восковое изображение какой-нибудь святой; но скоро я узнал милые черты и спросил со смехом, почему маленькая Вероника так спокойна. Уреула ответила: «Оттого что она умерла».

И когда она сказала: «оттого что она умерла»... но я не хочу рассказывать сегодня эту историю, она слишком затянулась бы, мне пришлось бы говорить сначала о хромой сороке, которая ковыляла по замковой площади и насчитывала триста лет жизни, и я бы мог впасть в порядочную меланхолию. Мне внезапно захотелось рассказать другую историю, веселую и вполне уместную здесь, ибо это и есть, собственно, та история, которую я хотел изложить в настоящей книге.

ГЛАВА XVIII

В груди рыцаря была сплошная ночь и боль. Уколы клеветы метко поразили его, и когда он шел через площадь св. Марка, казалось, что сердце его порвется и истечет кровью. Ноги его подкашивались от усталости, — весь день травили благородного зверя, а это был жаркий летний день, — пот орошал чело рыцаря, и, садясь в гондолу, он глубоко вздохнул. Без мыслей сидел он в черной какте гондолы, без мыслей качали его ласковые волны, неся по хорошо знакомому пути к Бренте, и, высадившись у хорошо знакомого дворца, он услышал: «Синьора Лаура в саду».

Она стояла, облокотясь на статую Лаокоона, у яркого розового куста, в конце террасы, недалеко от плачущих ив, грустно склоненных над протекавшей рекой. Так стояла она, улыбаясь, — кроткий образ любви, овеванный благоуханием роз. Рыцарь как будто проснулся от тяжелого сна и преобразился внезапно — одна лишь нежность и страсть. «Синьора Лаура, — сказал он, — я несчастен, гоним ненавистью, нуждой и ложью...» Тут он остановился и прошептал: «Но я люблю вас...» Слезы выступили на его глазах, и с влажными глазами, пылающими устами воскликнул он: «Будь моею и люби меня!»

Таинственная, темная завеса спустилась над этим мгновением, никто из смертных не знает, что ответила синьора Лаура, и если спросить об этом ее ангела-хранителя в небесах, он прикроет свое лицо, вздохнет и промолчит.

Долго еще стоял одинокий рыцарь у статуи Лаокоона, лицо его было все так же измучено и бледно, бессознательно обрывал он лепестки роз с розового куста, измял даже молодые бутоны — куст никогда после этого не цвел, вдали жалобно насвистывал безумный соловей, плачущие ивы беспокойно шептались, глухо журчали прохладные волны Бренты, спустилась ночь с месяцем и звездами — и одна прекрасная звезда, всех прекраснее, упала с неба.

ГЛАВА XIX

*Vous pleurez, madame? **

О, пусть еще долго светят миру своими лучами глаза, проливающие теперь столь прекрасные слезы, и пусть в час кончины прикроет их горячая, любящая рука. Мягкая подушка, мадам, тоже хорошая вещь в час кончины, и да будет она у вас в тот час, и когда прекрасная, усталая голова опустится на нее и черные пряди волос разовьются над побледневшим лицом, — о, пусть бог вознаградит вас тогда за слезы, пролитые

* Вы плачете?

за меня: ведь я сам — тот рыцарь, о котором вы плакали, я сам — тот странствующий рыцарь любви, рыцарь упавшей звезды.

Vous pleurez, madame?

О, я знаю эти слезы! К чему притворяться дольше? Вы, *madame*, сами ведь та прекрасная дама, которая уже в Годесберге так мило плакала, когда я рассказывал печальную сказку своей жизни. Как жемчуг по розам, катились прекрасные слезы по прекрасным щекам... Такс молчал, смолк вечерний благовест со стороны Кенигсвинтера, Рейн журчал все тише и тише, ночь прикрыла землю своим черным плащом, а я сидел у ваших ног, *madame*, и смотрел вверх, на звездное небо. Вначале я принимал ваши глаза также за две звезды... Но как можно сравнивать со звездами такие прекрасные глаза! Эти холодные светила неба не могут плакать о несчастьи человека, столь несчастного, что сам он больше плакать не может.

А у меня были еще особые причины узнать эти глаза — в этих глазах жила душа маленькой Вероники.

Я подсчитал, *madame*, вы родились в тот самый день, когда умерла маленькая Вероника. Иоганна в Андернахе предсказала мне, что я вновь найду в Годесберге маленькую Веронику, — и я сразу узнал вас. Скверная была мысль — умереть как раз тогда, когда только что начинались наши забавы. С тех пор как благочестивая Урсула сказала мне: «оттого что она умерла», — я стал бродить в полном одиночестве по большой картинной галлерее, но картины нравились мне уже не так, как прежде — казалось, они потускнели внезапно, лишь одна сохранила краски и блеск, — вы знаете, *madame*, о какой картине я говорю.

Это султан и султанша делийские.

Помните, *madame*, как часто мы часами стояли перед ней, и благочестивая Урсула ухмылялась так странно, когда люди замечали, что лица на этой картине имеют такое сходство с нашими? *Madame*, я нахожу, что вы очень удачно изображены были на той картине, и не-

понятно, каким образом мог художник овладеть сходством с вами, вплоть до платья, которое тогда было на вас надето. Говорят, он был помешан, и ему пригрезился ваш образ. Или, может быть, душа его обитала в той большой, священной обезьяне, которая тогда была с вами в качестве жокея? В этом случае, он должен помнить еще о серебристом покрывале, которое он испортил, залив его красным вином. Я был доволен, что вы перестали его носить, — оно не особенно шло к вам, да и вообще европейский костюм больше идет женщинам, чем индийский. Правда, красивые женщины красивы во всяком наряде. Помните, *madame*, как один галантный брамин — он был похож на Ганесу, бога со слоновым хоботом, разъезжающего верхом на мыши, — сказал вам однажды комплимент: «Божественная Манека, спускаясь из золотого замка Индры к кающемуся королю Вишвамитре, была, конечно, не прекраснее, чем вы, *madame*!»

Вы этого уже не помните? Ведь едва ли прошло три тысячи лет с тех пор, как сказаны эти слова, а красивые женщины обыкновенно не так скоро забывают нежность речи.

В то же время мужчинам индийское платье идет больше, чем европейское. О, мои розовые, изукрашенные лотосами делийские панталоны! Если бы вы были на мне, когда я стоял перед синьорой Лаурой и умолял ее о любви, — предыдущая глава была бы совсем иной! Но — увы! — на мне были тогда желтые, соломенного цвета панталоны, сотканые трезвым китайцем в Нанкине, — погибель моя была выткана в них, — и я стал несчастным.

Часто бывает так, что сидит в маленькой немецкой кофейне молодой человек и спокойно пьет кофе из своей чашки, а между тем в необъятном далеком Китае растет и расцветает погибель его, и прядется там, и ткется, и несмотря на высокую китайскую стену находит себе путь к молодому человеку, который принимает ее за пару нанковых штанов, беззаботно надевает их и ста-

новится несчастным. И, madame, в тесной груди человека может быть заключено очень много несчастья, заключено так, что бедняга сам долго не замечает этого и пребывает в хорошем настроении, весело пляшет, и насвистывает, и напевает — лалараллала, лалараллала, лаларал-ла-ла-ла!

ГЛАВА XX

Она была мила, и он любил ее; но он не был мил, и она не любила его.

Старая пьеса.

Из-за этой глупой истории вы хотели застрелиться?

Madame, когда человек хочет застрелиться, он всегда найдет к тому достаточные основания. Можете быть уверены. Но известны ли ему самому эти основания — вот вопрос. До последнего мгновения разыгрываем мы сами с собою комедию. Мы маскируем даже свое несчастье, и, умирая от раны в груди, жалуемся на зубную боль.

Madame, вы знаете, конечно, средство от зубной боли?

Но у меня была зубная боль в сердце. Это самая скверная боль, в этом случае хорошо помогает свинцовая пломба и зубной порошок, изобретенный Бартольдом Шварцем.

Словно червь, точило несчастье мое сердце — бедный китаец невиновен, я принес это несчастье с собой на свет. Оно покоилось вместе со мною в колыбели, и мать, укачивая меня, укачивала и мое несчастье; когда она напевала мне колыбельные песни, вместе со мною засыпало и оно, и просыпалось, едва я открывал глаза. Когда я вырос, выросло и несчастье, оно сделалось наконец очень большим и разбило мое...

Поговорим лучше о других вещах — о брачном венце, о маскарадах, о весельи и свадебных торжествах... лалараллала, лалараллала, лаларал-ла-ла-ла.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

И Т А Л И Я

1828

Гафиз с Гуттенем мне милы:
Оба с рясами цветными
Воевали до могилы;
Я готов итти за ними.

Гете

ПУТЕШЕСТВИЕ ОТ МЮНХЕНА ДО ГЕНУИ

Благородную душу вы никогда не принимаете в расчет; и тут разбивается вся ваша мудрость (*открывает ящик письменного стола, вынимает два пистолета, один из них кладет на стол, другой заряжает*).

Л. Роберт. «Сила обстоятельств».



ГЕНРИХ ГЕЙНЕ

С портрета маслом неизвестного художника, около 1830 г.



Г Л А В А I

Я самый вежливый человек в мире. Я немало горжусь тем, что никогда не был груб на этом свете, где столько несносных шелопаев, которые подсаживаются к вам и повествуют о своих страданиях или даже декламируют свои стихи; с истинно христианским терпением выслушивал я всегда спокойно эти бедствия, ни одной гримасой не обнаруживая, как они терзают мне душу. Подобно кающемуся брамину, отдающему свое тело в жертву насекомым, дабы и эти создания божьи могли насытиться, я часто по целым дням имел дело с последним отребьем человеческого рода и спокойно его выслушивал, и внутренние вздохи мои слышал только он, награждающий добродетель.

Но и житейская мудрость повелевает нам быть вежливыми и не молчать угрюмо или, тем более, не возражать раздраженно, когда какой-нибудь рыхлый коммерции советник или худой бакалейщик подсаживается к нам и начинает общеевропейский разговор словами: «Сегодня прекрасная погода». Нельзя знать, при каких обстоятельствах придется нам вновь встретиться с этим филистером, и он, пожалуй, больно отомстит за то, что мы не ответили вежливо: «Да, погода очень хорошая». Может даже случиться, любезный читатель, что ты окажешься в Касселе, за табльдотом, рядом с означенным филистером, притом по левую его руку, и именно перед ним будет стоять блюдо с жареными карпами, и он будет весело раздавать их; и вот, если у него есть старинный зуб против тебя, он станет передавать тарелки неизменно

направо, по кругу, так что на твою долю не останется и крохотного кусочка от хвоста. Ибо — увы! — ты окажешься тринадцатым за столом, а это всегда опасно, когда сидишь налево от раздающего порции, а тарелки передаются вправо. Не получить же вовсе карпов — большое горе, пожалуй, самое большое после потери национальной кокарды. Филистер, причинивший тебе это горе, еще вдобавок и посмеется над тобою и предложит тебе лавровых листьев, оставшихся в коричневом соусе. Увы! — к чему человеку все лавры, если нет при них карпов? А Филистер прищуривает глазки, хихикает и лепечет: «Сегодня прекрасная погода».

Ах, милый мой, может случиться и так, что ты будешь лежать на каком-нибудь кладбище рядом с этим самым филистером, услышишь в день Страшного суда звуки трубы и скажешь соседу: «Любезный друг, будьте добры, подайте мне руку, чтобы я мог подняться, я отлежал себе левую ногу, провалявшись чертовски долго!»

Тут-то ты и услышишь вдруг хорошо знакомый филистерский смешок и язвительный голос:

«Сегодня прекрасная погода».

Г Л А В А II

«Сегодня прекрасная погода».

Если бы ты, любезный читатель, слышал тот тон, ту неподражаемую басовую фистулу, которой произнесены были эти слова, и увидел бы притом говорившего — архипрозаическое лицо кассира вдовьей кассы, остропроницательные глазки, вздернутый кверху ухарский, вынюхивающий нос, ты сразу признал бы, что этот цветок расцвел не на каком-нибудь обыкновенном песке, и что звуки эти сродни языку Шарлоттенбурга, где говорят по-берлински лучше, чем в самом Берлине.

Я — самый вежливый человек в мире, охотно ем жареных карпов, верую иногда в воскресение мертвых, и я ответил: «Действительно, погода очень хорошая».

Прицепившись ко мне таким образом, сын Шпре стал наступать еще энергичнее, и я никак не мог отделаться от его вопросов, на которые сам же он и отвечал, в особенности от параллелей, которые он проводил между Берлином и Мюнхеном, этими новыми Афинами, которые он разделявал в пух и прах.

Я взял, однако, новые Афины под свою защиту, имея обыкновение всегда хвалить то место, где нахожусь в данное время. Ты охотно простишь мне, любезный читатель, что я проделал это за счет Берлина, если я, между нами, признаюсь, что делаю я это большею частью чисто из политики: я знаю — стоит мне только начать хвалить моих берлинцев, как приходит конец моей доброй славе среди них; они пожимают плечами и шепчутся между собой: «Совсем измельчал человек, даже нас хвалит». Нет города, где бы меньше было местного патриотизма, чем в Берлине. Тысячи жалких сочинителей уже воспели Берлин в прозе и стихах, и ни один петух не прокричал о том в Берлине, и ни одна курица не попала по этой причине им в суп; и они, как прежде, так и поныне, слынут «Под липами» за жалких поэтов. С другой стороны, столь же мало обращали там внимания на какого-нибудь лже-поэта, когда он обрушивался на Берлин в своих парабазах. Но пусть бы кто осмелился написать что-либо неприятное по адресу Польквитца, Инсбрука, Шильды, Познани, Кревинкеля и других столиц! Как заговорил бы там местный патриотизм! Причина заключается в том, что Берлин вовсе не город, Берлин — лишь место, где собирается множество людей, и среди них немало умных, которым все равно, где они находятся; они-то и образуют духовный Берлин. Проезжий чужестранец видит только втиснутые в линию однообразные дома, длинные, широкие улицы, проложенные по шнурку и почти всегда по усмотрению отдельного лица, и не дающие никакого представления об образе мыслей массы. Только счастливец может разгадать кое-что в области частных убеждений обывателей, созерцая длинные ряды домов, старающихся,

подобно самим людям, держаться дальше друг от друга и окаменевших во взаимной неприязни. Лишь однажды, в лунную ночь, когда я, несколько запоздав, возвращался от Лютера и Вегенера, заметил я, как это черствое состояние перешло в кроткую грусть, как дома, столь враждебно стоявшие друг против друга, растроганно, по-христиански упадочно обменивались взглядами и устремлялись примиренно друг к другу в объятия, так что я, несчастный, идя по середине улицы, боялся быть раздавленным. Многие найдут эту боязнь смешною, да и сам я смеялся над собой, когда на следующее утро проходил, глядя трезво на те же улицы, а дома прозаически зевали, глядя друг на друга. Поистине, требуется несколько бутылок поэзии, чтобы увидеть в Берлине что-либо кроме мертвых домов и берлинцев. Здесь трудно увидеть духов. В городе так мало древностей и он такой новый, и все же новизна эта уже состарилась, поблекла, отжила. Дело в том, что она возникла, как отмечено, главным образом не из воззрений массы, а по воле отдельных лиц. Великий Фриц, конечно, выделяется среди этих немногих; все, что он застал, было только прочным фундаментом; лишь от него воспринял город свой особый характер, и если бы по смерти его не было возведено никаких построек, все же остался бы исторический памятник духа этого удивительного прозаического героя, с истинно-немецкой храбростью воспитавшего в себе утонченное безвкусие и цветущую свободу мысли, всю мелочность и всю деловитость эпохи. Таким памятником представляется нам, например, Потсдам; по его пустынным улицам бродим мы, как среди посмертных творений философа из Сан-Суси, он принадлежит к его *oeuvres posthumes* *; хоть он и оказался лишь каменною макулатурою, хотя в нем много смешного, все же мы смотрим на него с серьезным интересом и время от времени подавляем в себе желание посмеяться, как бы боясь

* посмертные творения

получить по спине удар камышевой трости старого Фрица. Но мы никогда не боимся этого в Берлине; мы чувствуем, что старый Фриц и его камышевая трость уже не имеют здесь никакой силы; в противном случае, из старых, просвещенных окон здорового города Разума не высывалось бы так много больных, обскурантских лиц, и среди старых, скептически философских домов не торчало бы столько глупых суеверных зданий. Я не желаю быть понятым ложно, и определенно заявляю, что ни в коем случае не намекаю на новую Вердерскую церковь, этот готический собор в обновленном стиле, лишь для иронии воздвигнутый среди современных зданий, чтобы пояснить аллегорически, какую пошлостью и нелепостью было бы восстановление старых, давно отживших учреждений средневековья среди новообразований нового времени.

Все вышесказанное относится только к внешнему виду Берлина, и если сравнить с ним в этом смысле Мюнхен, то с полным правом можно утверждать, что последний являет полную противоположность Берлину. Именно, Мюнхен — город, созданный самим народом, и притом целым рядом поколений, дух которых до сих пор еще отражается в постройках, так что в Мюнхене, как в макбетовской сцене с ведьмами, можно наблюдать ряд духов в хронологическом порядке, начиная от багрово-красного духа средневековья, выступающего в броне из готического портала храма, и кончая просвещенным духом нашего времени, протягивающим нам зеркало, в коем каждый из нас с удовольствием узнает себя. В такой последовательности заключается элемент примирения; варварство не возмущает нас более, безвкусица не оскорбляет, раз они представляются нам началом и неизбежными ступенями в одном ряду. Мы настраиваемся серьезно, но не сердимся при виде варварского собора, все еще возвышающегося над городом наподобие прибора для стаскивания сапог и дающего в своих стенах приют теням и призракам средневековья. Столь же мало вызывают наше негодование и даже

забавно трогают похожие на волосяные кошельки замки позднейшего периода, неуклюжее, в немецком духе, обезьяничанье с противоестественно-гладких французских образцов — все это великолепие архитектурной безвкусицы, с нелепыми завитками снаружи, с убранством внутри еще шикарнее, с кричаще-пестрыми аллегориями, золочеными арабесками, лепными украшениями и картинами, на которых изображены почившие высокие особы: кавалер с красными, пьяно-трезвыми лицами, которые обрамлены прядями париков с косичками, как напудренными львиными гривами, дамы с тугими прическами, в стальных корсетах, стягивающих их сердца, и в необъятных фижмах, придающих им еще большую прозаическую полноту. Как сказано, зрелище это не раздражает нас, оно усугубляет живое чувство современности и ее светлых сторон, и когда мы начинаем рассматривать творения нового времени, возвышающиеся рядом со старыми, то, кажется, с головы нашей сняли тяжелый парик, и сердце освободилось от стальных оков. Я имею здесь в виду радостные, художественные храмы и благородные дворцы, в дерзком изобилии возникающие из духа великого мастера — Кленце.

Г Л А В А III

Однако называть весь этот город новыми Афинами, между нами говоря, немного смешно, и мне стоит большого труда отстаивать его в этом звании. Это почувствовал я особенно в беседе с берлинским филистером, который, хотя и разговаривал уже некоторое время со мною, был все же настолько невежлив, что отрицал в новых Афинах наличность какой бы то ни было антической соли.

«Подобные вещи, — кричал он громко, — встречаются только в Берлине! Только там есть и остроумие и ирония. Здесь найдется хорошее белое пиво, но, право, нет иронии».

«Иронии у нас нет, — воскликнула Наннерль, стройная кельнерша, пробежавшая в этот момент мимо нас. — Но зато все другие сорта пива имеются».

Меня очень огорчило, что Наннерль сочла иронию за особый сорт пива, быть может, за лучшее штеттинское, и для того, чтобы она в дальнейшем, по крайней мере, не делала подобных промахов, я стал поучать ее следующим образом: «Прелестная Наннерль, ирония — не пиво, а изобретение берлинцев, умнейших людей в свете, которые рассердившись на то, что родились слишком поздно, чтобы выдумать порох, постарались сделать другое открытие, столь же важное, и притом полезное именно для тех, кто не выдумал пороха. В прежние времена, милое дитя, когда кто-нибудь совершал глупость, что можно было сделать? Совершившееся не могло стать несовершившимся, и люди говорили: «Этот парень болван». Это было неприятно. В Берлине, где люди всех умнее и где продельвается больше всего глупостей, эта неприятность чувствовалась всего острее. Министерство пыталось принять серьезные меры против этого: лишь самые крупные глупости разрешалось печатать, более мелкие допускались только в разговорах, при чем такая льгота распространялась лишь на профессоров и важных государственных людей, а люди помельче могли высказывать свои глупости лишь тайком; но все эти меры нисколько не помогли, подавляемые глупости с тем большею силою выступали наружу при исключительных обстоятельствах; они стали даже пользоваться тайным покровительством сверху, они открыто поднимались снизу на поверхность; бедствие приняло крупные размеры, когда наконец изобрели средство, действующее с обратной силой, благодаря которому всякая глупость может считаться как бы не совершеною или может даже превратиться в мудрость. Средство это совершенно простое и заключается оно в заявлении, что эта глупость совершенна или сказана в ироническом смысле. Так-то, милое дитя, все в этом мире прогрессирует: глупость становится иронией, неудачная лесть становится сатирою, природная грубость

становится искусною критикою, истинное безумие — юмором, невежество — блестящим остроумием, а ты станешь в конце концов Аспазиею новых Афин».

Я сказал бы еще больше, но хорошенькая Наннерль, которую я держал все время за кончик передника, с силой вырвалась от меня, потому что со всех сторон стали чересчур бурно требовать: «Пива! Пива!» А берлинец показался мне воплощенной иронией, когда заметил, с каким энтузиазмом принимались высокие пенящиеся бокалы. Указывая на группу пивших, которые от всего сердца наслаждались хмелевым нектаром и спорили о его достоинствах, он произнес с улыбкою: «И это афиняне?»

Замечания, которыми он сопровождал при этом случае свои слова, причинили мне изрядное огорчение, так как я питаю немалое пристрастие к нашим новым Афинам; поэтому я постарался всячески объяснить поспешному хулителю, что мы лишь недавно пришли к мысли создать из себя новые Афины, что мы лишь юные начинатели, и наши великие умы, да и вся наша образованная публика, еще не приучились показываться другим вблизи. «Все это пока в периоде возникновения, и мы еще не все в сборе. Лишь низшие специальности, любимый друг, — добавил я, — представлены у нас; вы заметили, вероятно, что у нас нет недостатка, например, в совах, сикофантах и Фринах. Нехватает нам только высшего персонала, и некоторые принуждены играть одновременно несколько ролей. Например, наш поэт, воспевающий нежную, в греческом духе, любовь к мальчикам, должен был усвоить и аристофановскую грубость; но он все может, он обладает всеми данными для того, чтобы быть великим поэтом, кроме, пожалуй, фантазии и остроумия, и будь у него много денег, он был бы богат. Но недостаток в количестве мы заменяем качеством. У нас только один великий скульптор, но зато это «Лев». У нас только один великий оратор, но я убежден, что и Демосфен не мог бы так греметь по поводу добавочного акциза на солод в Аттике. Если мы до сих пор не отравили Сократа, то, право, не из-за не-

достатка яда. И если нет у нас еще демоса в собственном смысле, целого сословия демагогов, то мы можем предоставить к услугам вашим один прекрасный экземпляр этой породы, демагога по профессии, который один стоит целой кучи болтунов, горлодеров, трусов и прочего сброда — а вот и он сам!

Я не могу преодолеть искушение изобразить подробнее фигуру, представшую перед нами. Я оставляю открытым вопрос, в праве ли эта фигура утверждать, будто голова ее имеет в себе что-то человеческое, и что поэтому она юридически в праве выдавать себя за человека. Я бы принял эту голову скорее за обезьянью; лишь из вежливости согласен я признать ее человеческою. Головной убор ее состоял из суконной шапки, фасонном сходящей со шлемом Мамбрина, а жесткие черные волосы спадали длинными прядями на лоб с пробором спереди à l'enfant *. На эту переднюю часть головы, выдававшую себя за лицо, богиня пошлости наложила свою печать, притом с такою силою, что находившийся там нос оказался почти расплюснутым; опущенные вниз глаза, казалось, напрасно искали носа и этим были крайне опечалены; вонючая улыбка играла вокруг рта, который был чрезвычайно обольстителен и благодаря некоторому поразительному сходству мог вдохновить нашего греческого лже-поэта на нежнейшие газелы. Одежда состояла из старонемецкого кафтана, правда, несколько видоизмененного сообразно с настоятельными требованиями требованиями новоевропейской цивилизации, но покроем все еще напоминавшего тот, который был на Арминии в Тевтобургском лесу, и первобытный фасон которого сохранен был каким-то патриотическим союзом портных с тою же таинственной преемственностью, с какою сохранялись некогда готические формы в архитектуре мистическим цехом каменщиков. Добела вымытая тряпка, являвшая глубоко-знаменательный контраст с открытою, старонемецкою шеею, прикрывала воротник этого удивительного сюртука; из длинных

* как у ребенка.

рукавов торчали длинные грязные руки, между рук помещалось скучное долговязое тело, под которым болтались две короткие ноги; вся фигура представляла горестно-смешную пародию на Аполлона Бельведерского.

«И это новоафинский демагог? — спросил берлинец, насмешливо улыбаясь. — Господи боже, да это мой земляк! Я едва верю собственным глазам — да это тот, который... нет, возможно ли?»

«О слепые берлинцы, — сказал я не без пыла, — вы, отвергаете своих отечественных гениев и побиваете камнями своих пророков! А нам всякий пригодится!»

«Но на что же нужна вам эта несчастная муха?»

«Он пригоден на все, где требуются прыжки, пролазничество, чувствительность, обжорство, благочестие, много древненемецкого, мало латыни и полное незнание греческого. Он в самом деле очень хорошо прыгает через палку, составляет таблицы всевозможных прыжков и списки всевозможных разночтений старонемецких стихов. К тому же, он является представителем патриотизма, не будучи ни в малейшей мере опасным. Ибо известно очень хорошо, что он во-время отстранился от старонемецких демагогов, в среде которых когда-то случайно обретался, в тот момент, когда их дело стало несколько опасным и перестало соответствовать христианским наклонностям его мягкого сердца. Но с той поры как опасность прошла, мученики пострадали за свои убеждения и почти все сами отказались от них, так что пламеннейшие наши цырюльники снимали свои немецкие сюртуки, — с той поры и начался настоящий расцвет нашего осторожного спасителя отечества; он один сохранил костюм демагога и связанные с ним обороты речи; он все еще превозносит херуска Арминия и госпожу Туснельду, как будто он — их белокурый внук. Он все еще хранит свою германско-патриотическую ненависть к романскому вавилонству, к изобретению мыла, к языческо-греческой грамматике Тирша, к Квинтилию Вару, к перчаткам и ко всем людям, обладающим приличным носом; так и

остался он ходячим памятником минувшего времени и, подобно последнему могикану, пребывает в качестве единственного представителя целого могучего племени, он — последний демагог. Итак, вы видите, что в новых Афинах, где еще очень ощущается недостаток в демагогах, он может нам пригодиться; в его лице мы имеем прекрасного демагога, к тому же столь ручного, что он оближет любую плевательницу, жрет из рук орехи, каштаны, сыр, сосиски, вообще все, что дадут; а так как он единственный в своем роде, то у нас есть еще особое преимущество: впоследствии, когда он подохнет, мы набьем его чучело и в качестве последнего демагога сохраним для потомства с кожей и с волосами. Но, пожалуйста, не говорите об этом профессору Лихтенштейну в Берлине, иначе он затребует его в свой зоологический музей, что может послужить поводом к войне между Пруссией и Баварией, ибо мы ни в коем случае не отдадим его. Уже англичане нацелились на него и предлагают за него две тысячи семьсот семьдесят семь гиней, уже австрийцы хотели обменять на него жираффа, но наше министерство, говорят, заявило, что мы ни за какую цену не продадим последнего демагога, он составит когда-нибудь гордость нашего естественносторического кабинета и украшение нашего города.

Берлинец, казалось, слушал несколько рассеянно; более привлекательные предметы обратили на себя его внимание, и он наконец остановил меня следующими словами:

«Покорнейше прошу позволения прервать вас. Скажите, что это за собака там бежит?»

«Это другая собака».

«Ах, нет, вы меня не поняли, я говорю про ту большую белую собаку без хвоста».

«Дорогой мой, это собака нового Алкивиада».

«Но, — заметил берлинец, — скажите мне, где же сам новый Алкивиад?»

«Признаться откровенно, — отвечал я, — место это еще не занято, пока у нас есть только собака».

Г Л А В А IV

Место, где происходил этот разговор, называется Богенгаузен или Нейбурггаузен, или вилла Гомпеш, или сад Монжелà, или Малый Замок, да и незачем называть его по имени, когда собираешься съездить туда из Мюнхена; извозчик поймет все по характерному подмигиванию человека, одержимого жаждою, по особому киванию головой в предвкушении блаженства и по другим подобным отличительным гримасам. Тысяча выражений у араба для его меча, у француза для любви, у англичанина для виселицы, у немца для выпивки, а у нового афинянина даже и для места, где он пьет. Пиво в названном месте, действительно, очень хорошее, оно не лучше даже в Пританее, *vulgo** именуемое Боккеллер, оно великолепно, в особенности, если пьешь его на террасе, с которой открывается вид на Тирольские Альпы. Я часто сиживал там прошлой зимой и любовался покрытыми снегом горами, которые блестели в лучах солнца и казались вылитыми из чистого серебра.

В то время и в душе моей была зима, мысли и чувства как будто занесло снегом, сердце увяло и очерствело, а к этому присоединились еще несносная политика, скорбь по милой умершей малютке, старое раздражение и насморк. Кроме того, я пил много пива, так как меня уверили, что оно очищает кровь. Но самые лучшие сорта аттического пива не шли мне на пользу, ибо в Англии я привык уже к портеру.

Наступил наконец день, когда все совершенно изменилось. Солнце выглянуло в небе и напоило землю, дряхлое дитя, своим лучистым молоком; горы трепетали от восторга и в изобилии лили свои снежные слезы; трещали и ломались ледяные покровы озер, земля раскрыла свои синие глаза, из груди ее пробились ласковые цветы и звенящие рощи — зеленые соловьиные дворцы,

* в народе

вся природа улыбалась, и эта улыбка называлась весной. Тут и во мне началась новая весна; новые цветы зацвели в сердце, свободные чувства пробудились, как розы, с ними и тайное томление — как юная фиалка: среди всего этого, правда, было немало и негодной крапивы. Надежда убрала могилы моих желаний свежей зеленью, вернулись и поэтические мелодии, подобно перелетным птицам, прозимовавшим на теплом юге и вновь отыскивавшим свое покинутое гнездо на севере, и покинутое северное сердце зазвучало и зацвело опять, как прежде, — не знаю только, как это произошло. Было ли то темноволосое или светлокудрое солнце, которое пробудило в моем сердце новую весну и поцелуем возвратило к жизни все дремавшие в этом сердце цветы и улыбкою вновь приманило туда соловьев? Была ли то родственная мне природа, нашедшая отзвук в груди моей и радостно отразившая в ней весенний свой блеск? Не знаю, но думаю, что эти новые чары посетили мое сердце на террасе в Богенгаузене, в виду Тирольских Альп. Когда я сидел там, погруженный в свои мысли, мне часто казалось, будто я вижу поразительно прекрасный лик юности, притаившегося за горами, и я мечтал о крыльях, чтобы спешить в его местопребывание — Италию. Часто чувствовал я также, как меня обвеивает благоухание лимонов и апельсинов, плывущее из-за гор, лаская и маня и призывая меня в Италию. Однажды даже золотую сумеречную порою увидел я на вершине одной из гор, совершенно ясно, во весь рост его, молодого бога весны; цветы и лавры венчали радостное чело, и своими смеющимися глазами и своими цветущими устами он взывал ко мне: «Я люблю тебя, приди ко мне в Италию!»

Г Л А В А V

Неудивительно поэтому, что во взгляде моем светилось томление, в то время как я, в отчаянии от грозившего никогда не кончиться филистерского разговора, смотрел на прекрасные тирольские горы и глубоко взды-

хал. Но мой берлинский филистер принял и этот взгляд и эти вздохи за новый повод к разговору и стал тоже вздыхать: «Ах, ах, и я хотел бы быть сейчас в Константинополе. Ах! увидеть Константинополь было всегда единственным желанием моей жизни, а теперь русские, наверно, вошли уже — ах! — в Константинополь! Видели вы Петербург?» Я ответил отрицательно и попросил рассказать о нем. Но оказалось, что не сам он, а его зять, советник апелляционного суда, был там прошлым летом, и это, по его словам, совсем особенный город. «Видели вы Копенгаген?» После того как я и на этот вопрос ответил отрицательно и попросил описать город, он хитро улыбнулся, помахал с весьма довольным видом головкою и стал чествовать меня, что я не могу составить себе никакого понятия о Копенгагене, не побывав там. «Этого в ближайшем времени не случится, — возразил я, — я хочу предпринять теперь другое путешествие, которое задумал уже весной: я еду в Италию».

Услышав эти слова, собеседник мой вдруг вскочил со стула, трижды повернулся на одной ноге и запел: «Тирили! Тирили! Тирили!»

Это было для меня последним толчком. Завтра еду, — решил я тут же. Не стану больше медлить, мне хочется как можно скорее увидеть страну, которая способна привести даже самого сухого филистера в такой экстаз, что он при одном упоминании о ней поет перепелом. Пока я укладывал дома свой чемодан, в ушах моих непрерывно звучало это «тирили», и брат мой, Максимилиан Гейне, сопровождавший меня на другой день до Тироля, не мог понять, почему я всю дорогу не пророчил ни одного разумного слова и непрестанно тириликал.

ГЛАВА VI

Тирили! Тирили! Я живу! Я чувствую сладостную боль бытия, я чувствую все восторги и муки мира, я страдаю ради спасения всего рода человеческого, я искупаю его грехи, но я и вкушаю от них.

И не только с людьми, но и с растениями чувствую я заодно; тысячами зеленых языков рассказывают они мне прелестнейшие истории; они знают, что я чужд человеческой гордости и говорю со скромнейшими полевыми цветами столь же охотно, как с высочайшими елями. Ах, я ведь знаю, что бывает с такими елями! Из глубины долины вознеслись они высоко к небесам, поднялись выше самых дерзких скалистых утесов. Но долго ли продлится это великолепие? Самое большее несколько жалких столетий, а потом они валяются от старческой дряхлости и сгнивают на земле. А по ночам появляются из расселин своих утесов злобные совы и еще издеваются над ними: «Вот, вы, могучие ели, хотели сравняться с горами и теперь валяетесь, сломанные, на земле, а горы все еще стоят непоколебимо».

Орел, сидящий на своем одиноком, любимом утесе, должен испытывать чувство сострадания, слушая эти насмешки. Он начинает думать о своей собственной судьбе. И он не знает, как низко он падет некогда. Но звезды мерцают так успокоительно, лесные воды шумят так умиротворяюще, и его собственная душа так гордо возносится над всеми малодушными мыслями, что он скоро забывает о них. А как только взойдет солнце, он опять чувствует себя как прежде, и взлетает к этому солнцу, и, достигнув достаточной высоты, поет ему о своих радостях и муках. Его собратья — животные, в особенности люди, полагают, что орел не может петь, не зная того, что он поет лишь тогда, когда покидает их пределы, и что он, в гордости своей, хочет, чтобы его слышало одно солнце. И он прав: кому-нибудь из его пернатых сородичей там, внизу, может взбрести в голову раскритиковать его пение. Я по опыту знаю, какова эта критика: курица становится на одну ногу и кудахчет, что певец лишен чувства; индюк хлохчет, что певцу недостает истинной серьезности; голубь воркует о том, что он не знает настоящей любви; гусь гогочет, что у него нет научной подготовки; каплун лопочет, что он безнравственен; снигирь свистит, что он, к сожа-

лению, не религиозен; воробей чирикает, что он недостаточно продуктивен; удода, сороки, филины — все это каркает, охает, гудит... Только соловей не вступает в хор критиков, ему нет дела ни до кого в мире. Пурпурная роза — о ней только мысли его; о ней его единственная песнь, страстно порхает он вокруг пурпурной розы и, полный вдохновения, стремится к возлюбленным шипам ее, и обливается кровью, и поет.

Г Л А В А VII

Есть в немецком отечестве один орел, чья солнечная песнь звучит с такою силою, что ее слышно и здесь, внизу, и даже соловьи прислушиваются к ней, забыв о своей мелодической скорби. Это ты, Карл Иммерман, и о тебе думал я часто в стране, которую ты воспел так прекрасно! Как мог бы я, проезжая Тироль, не вспомнить о «Трагедии».

Правда, я видел предметы в другом освещении; но я дивлюсь все же поэту, который из полноты своего чувства воссоздает с такою близостью к действительности то, чего он никогда сам не видел. Более всего восхитило меня, что «Тирольская трагедия» запрещена в Тироле. Я вспомнил слова, которые писал мне друг мой Мозер, сообщая о том, что вторая часть «Путевых картин» запрещена: «Правительству не было надобности запрещать книгу, ее и так стали бы читать».

В Инсбруке, в гостинице «Золотой орел», где жил Андреас Гофер и где каждый угол оклеен его изображениями и воспоминаниями о нем, я спросил хозяина, господина Нидеркирхнера, не может ли он рассказать мне подробнее о хозяине трактира «На песке». Старик стал изливаться в красноречии и поведал мне, хитро подмигивая, что теперь вся эта история вышла в печатном издании, но на книгу наложен тайный запрет, и, отведя меня в темную каморку, где он хранил свои реликвии тирольской войны, он снял грязную синюю обложку с истрепанной зеленой книжки, в которой я, к изумле-

нию своему, признал иммермановскую «Тирольскую трагедию». Я сообщил ему, не без краски гордости в лице, что человек, написавший книгу, мой друг. Господин Нидеркирхнер пожелал узнать о нем как можно больше, и я сказал ему, что это человек заслуженный, крепкого телосложения, весьма честный и весьма искусный по части писания, так что не много найдется ему равных. Господин Нидеркирхнер никак не мог поверить, однако, что он пруссак, и воскликнул, соболезнующе улыбаясь: «Ах, оставьте!» Никакими словами нельзя было его убедить, что Иммерман не тиролец и не участвовал в тирольской войне. «Откуда мог он иначе знать все это?»

Удивительны причуды народа! Он требует своей истории в изложении поэта, а не историка. Он требует не точного изложения голых фактов, а растворения их в той изначальной поэзии, из которой они вышли. Это знают поэты, и не без тайного злорадства они по своему произволу перерабатывают народные предания, едва ли не с тем, чтобы посмеяться над сухою спесью историков и пергаментных государственных архивариусов. Немало позабавило меня, когда увидел я в лавках на последней ярмарке историю Велизария в ярко раскрашенных картинах, притом не по Прокопию, а в точности по трагедии Шенка. «Так искажается история, — воскликнул мой ученый друг, сопровождавший меня, — ведь в ней нет ничего о мести оскорбленной супруги, о захваченном сыне, о любящей дочери и о прочих модных сердечных измышлениях!» Но разве же это недостаток, в самом деле? Следует ли тотчас привлекать поэтов к суду за такие подлоги? Нет, ибо я отвергаю обвинительный акт. История не фальсифицируется поэтами. Они передают смысл ее совершенно точно, хотя бы и посредством ими самими вымышленных образов и событий. Существуют народы, чья история изложена исключительно в такой поэтической форме, например, индусы. И тем не менее, такие поэмы, как «Махабхарата», передают смысл индийской истории гораздо правильнее, чем

все составители компендиумов, со всеми своими хронологическими датами. Равным образом, я мог бы утверждать, что романы Вальтер Скотта передают дух английской истории гораздо вернее, чем Юм; по крайней мере Сарториус вполне прав, когда он, в своих дополнениях к Шпиттлеру, относит эти романы к числу источников по истории Англии.

С поэтами происходит то же, что со спящими, которые во сне как бы маскируют внутреннее чувство, возникшее в их душе под влиянием действительных внешних причин, путем подмены в сновидениях этих причин другими, также внешними, но равносильными в том смысле, что они вызывают то же чувство. Так и в иммермановской «Трагедии» многие внешние обстоятельства вымышлены в достаточной степени произвольно, но сам герой, центральная, в смысле чувства, фигура, создан грезой поэта в соответствии с истиною, и если этот образ, плод мечты, сам представлен мечтателем, то и это не противоречит действительности. Барон Гормайр, компетентнейший судья в таком вопросе, недавно, когда я имел удовольствие с ним говорить, обратил мое внимание на это обстоятельство. Мистический элемент чувства, суеверная религиозность, эпический характер героя отмечены Иммерманом вполне правильно. Он воссоздал совершенно верно образ того верного голубя, который со сверкающим мечом в клюве, как сама воинствующая любовь, носился с такою героическою отвагою над горами Тироля, пока пули Мантуи не пронизали его верного сердца.

Но что более всего служит к чести поэта, так это столь же согласная с истиною характеристика противника, из которого он не сделал яростного Гесслера, с целью превознести своего Гофера; как этот последний подобен голубю с мечом, так первый — орлу с масляною ветвью.

Г Л А В А VIII

В гостинице господина Нидеркирхнера в Инсбруке висят в столовой рядом, в полном согласии, портреты

Андреаса Гофера, Наполеона Бонапарта и Людовика Баварского.

Сам город Инсбрук имеет нежилой и слабоумный вид. Быть может, он несколько умнее и уютнее зимою, когда высокие горы, которыми он окружен, покрыты снегом, когда грохочут лавины и повсюду сверкает и трещит лед.

Я увидел вершины этих гор закутанными в облака, словно в серые тюрбаны. Видна и Мартинова стена, место действия прелестнейшего предания об императоре. Вообще, память о рыцарственном Максе до сих пор не отцвела и не отзвучала в Тироле.

В придворной церкви стоят столь часто упоминаемые статуи государей и государынь австрийского дома и их предков, среди которых имеются и такие, что, конечно, и по сей день не поймут, за что они удостоились такой чести. Они стоят во весь свой богатырский рост, отлитые из чугуна, вокруг гробницы Максимилиана. Но так как церковь мала и своды низки, кажется, что находишься в базарном балагане с черными восковыми фигурами. На пьедестале большинства из них можно прочесть имена высоких особ, представленных статуями. Когда я рассматривал их, в церковь вошли англичане: тощий господин с растянутым лицом, с большими пальцами рук, заложенными в отверстия белого, жилета и с кожаным «Guide des voyageurs»* в зубах; за ним — долговязая подруга его жизни, уже немолодая, слегка поблекшая, но все еще довольно красивая дама; за ними — красная портерная физиономия, с белыми, как пудра, нащепками, напыщенно выступавшая в таком же сюртуке, с деревянными руками, нагруженными перчатками миледи, ее альпийскими цветами и мопсом. Это трио направилось по прямой линии к дальнему концу церкви, где сын Альбиона стал объяснять своей супруге статуи по своему «Guide des voyageurs», в котором было подробно изъяснено: «Первая статуя —

* «Путеводитель»

король Хлодвиг Французский, вторая — король Артур Английский, третья — Рудольф Габсбургский» и т. д. Но, так как бедный англичанин начал обход с конца, а не с начала, как предполагал «*Guide des voyageurs*», то произошел ряд забавнейших недоразумений, которые стали еще комичнее, когда он останавливался перед какою-нибудь женскою статуей, изображавшею, по его мнению, мужчину, и наоборот, так что он не мог понять, почему Рудольф Габсбургский представлен в женском одеянии, а королева Мария — в железных наножниках и с длиннейшею бородою. Я, готовый всегда охотно притти на помощь своими познаниями, заметил мимоходом, что этого требовала, вероятно, тогдашняя мода, а может быть, таково было особое желание высоких особ — быть отлитыми в таком именно виде, и ни в каком случае не иначе. Так, и нынешнему императору может притти в голову быть отлитым в фижмах или даже в пеленках — кто бы мог на это что-нибудь возразить?

Мопс критически залаял, лакей вытирашил глаза, его господин высморкался, а миледи произнесла: «*A fine exhibition, very fine indeed!*» *

Г Л А В А IX

Бриксен — второй большой тирольский город, в который я заехал. Он лежит в долине, и когда я прибыл туда, он был застлан туманом и вечерними тенями. Сумеречная тишина, меланхолический перезвон колоколов; овцы семенили к стойлам, люди — к церквям; всюду за сердце хватающий запах безобразных икон и сухого сена.

«Иезуиты в данное время в Бриксене», прочел я незадолго до того в «Гесперусе». Я озирался на всех улицах, ища их, но не увидел никого, похожего на иезуита, разве одного толстого мужчину в треуголке духовного образца и в черном сюртуке поповского покроя,

* «Прекрасная, превосходная выставка!»

старом и поношенном, составляющем разительный контраст с блестящими новыми черными панталонами.

«Он не может быть иезуитом», — подумал я, так как я всегда представлял себе иезуитов худощавыми. Да и существуют ли еще иезуиты? Иногда мне кажется, что существование иезуитов — лишь химера, что только страх перед ними создает в нашем воображении эти призраки, а самая опасность давно миновала, и все усердные противники иезуитов напоминают мне людей, которые все еще ходят с раскрытыми дождевыми зонтиками после того, как дождь давно уже прошел. Мало того, иногда мне кажется, что дьявол, дворянство и иезуиты существуют лишь постольку, поскольку мы верим в них. О дьяволе мы можем утверждать это наверное, так как до сих пор его видели только верующие. Тоже и относительно дворянства мы придем через некоторое время к заключению, что *bonne société* * перестанет быть *bonne société*, как только добрый буржуа не станет больше столь добр, чтобы считать его за *bonne société*. Но иезуиты? Они по крайней мере уже не носят старых панталон. Старые иезуиты лежат в могилах со своими старыми панталонами, вожделениями, мировыми планами, кознями, различениями, оговорками и ядами, и тот, кого мы видим крадущимся по земле в новых, блестящих панталонах, — не столько дух их, сколько призрак, глупый, жалкий призрак, изо дня в день свидетельствующий на словах и на деле о том, как мало он страшен; право, это напоминает нам историю подобного призрака в Тюрингенском лесу; этот призрак однажды избавил от страха тех, кто испытывал перед ними страх, сняв на глазах у всех свой череп с плеч и показав каждому, что он внутри полый и пустой.

Я не могу не упомянуть здесь, что нашел случай подробнее рассмотреть толстого мужчину в блестящих новых панталонах и убедиться, что он вовсе не иезуит, а самая обыкновенная божья тварь. Именно, я встретил

* хорошее общество

его в столовой своей гостиницы, где он ужинал в обществе худощавого, долговязого человека, называющегося превосходительством и столь похожего на старого холостяка, деревенского дворянина из шекспировской пьесы, что, казалось, природа совершила плагиат. Оба приправляли свою трапезу тем, что осаждали служанку любезностями, которые, казалось, были весьма противны этой прехорошенькой девушке, так что она насильно вырывалась от них, когда один начинал похлопывать ее сзади, а другой пытался даже обнять. При этом они отпускали грубейшие сальности, которые вынуждена была, как они знали, выслушивать девушка, оставшаяся в комнате, чтобы прислуживать гостям и накрыть мне стол. Но когда непристойности стали наконец нестерпимыми, молодая девушка вдруг оставила все, бросилась к двери и вернулась только через несколько минут в комнату, с маленьким ребенком на руках; она не выпускала его во все время своей работы в столовой, хотя и очень затрудняла себя этим. Оба собутыльника, духовное лицо и дворянин, не отваживались уже ни на одну оскорбительную выходку против девушки, которая прислуживала им теперь без всякого недружелюбия, но с какою-то особою серьезностью; разговор принял другой оборот, оба пустились в обычную болтовню о большом заговоре против трона и церкви, пришли к соглашению о необходимости строгих мер и много раз пожимали другу другу руки, в знак священного союза.

Г Л А В А X

Для истории Тироля незаменимы труды Иосифа фон Гормайра; для новейшей истории сам он является лучшим, иногда единственным источником. Он для Тироля то же, что Иоганнес фон Мюллер для Швейцарии; параллель между этими двумя историками напрашивается сама собою. Они как бы соседи по комнатам; оба с юности своей одинаково воодушевлены родными Альпами, оба усердные, пытливые, оба с историческим складом

ума и уклоном чувства; Иоганнес фон Мюллер настроен более эпически и погружен духом в историю минувшего; Иосиф фон Гормайр чувствует более страстно, более увлечен современностью, бескорыстно жертвует за то, что ему дорого.

«Война тирольских крестьян в 1809 году» Бартольди — книга, написанная живо и прекрасно, и если и есть в ней недостатки, то они были неизбежны, потому что автор, как свойственно благородным умам, явно отдавал предпочтение гонимой партии, и потому, что пороховым дымом еще окутывал события, которые он описывал.

Многие замечательные происшествия того времени вовсе не записаны и живут лишь в памяти народа, который теперь неохотно говорит о них, так как при этом припоминаются многие несбывшиеся надежды. Ведь бедные тирольцы обогатились опытом, и если теперь спросить их, добились ли они, в награду за свою верность, всего того, что им обещано в тяжелую пору, они добродушно пожимают плечами и наивно говорят: «Быть может, все это было обещано не так уж всерьез, императору ведь есть о чем подумать, и кое-что ему трудно вспомнить».

Утештесь, бедняги! Вы не единственные, кому было нечто обещано. Ведь часто же случается на больших галерах, что во время сильных бурь, когда корабль в опасности, обращаются к помощи черных невольников, скученных внизу, в темном трюме. В таких случаях разбивают их железные цепи и обещают свято и непреложно, что им будет дарована свобода, если они своими усилиями спасут корабль. Глухие чернокожие, ликуя, взбираются вверх, на свет дневной — ура! — спешат к насосам, качают изо всех сил, помогают, где только можно, лазают, прыгают, рубят мачты, сворачивают канаты, короче говоря, — работают до тех пор, пока не минует опасность. Затем, само собою понятно, их отводят обратно вниз, в трюм, опять приковывают самым удобным способом, и в темной юдоли своей они делают демагогические заключения об обещаниях душе-

торговцев, которые, избегнув опасности, займутся лишь о том, чтобы наместить еще побольше душ.

O navis referent in mare te novi
Fluctus etc.

Мой старый учитель, объясняя эту оду Горация, где римский сенат сравнивается с кораблем, постоянно сопровождал свои объяснения рядом соображений политического характера, но скоро прекратил это, после того как произошло сражение под Лейпцигом, и весь класс разбежался.

Мой старый учитель знал все заранее. Когда получено было первое известие об этом сражении, он показывал седую голову. Теперь я понимаю, что это значило. Скоро пришли более подробные сообщения, и тайком показывали рисунки, где пестро и назидательно изображено было, как высочайшие вожди склоняли колена на поле сражения и благодарили бога.

«Да, им следовало поблагодарить бога, — говорил мой учитель, улыбаясь, как обычно улыбался он, комментируя Саллюстия, — император Наполеон так часто бил их, что в конце концов и они могли от него этому научиться».

Затем появились союзники и с ними скверные освободительные песни, Арминий и Туснельда, «ура», «Женский союз» и отечественные жолуди, и вечное хвастовство Лейпцигскою битвою, и так без конца.

«С ними происходит, — заметил мой учитель, — то же, что с фиванцами, когда они разбили наконец при Левктрах непобедимых спартанцев и беспрестанно похвалялись своею победою, так что Антисфен сказал про них: «Они поступают, как дети, которые не могут притти в себя от радости, избив своего школьного учителя! Милые дети, было бы лучше, если бы поколотили нас самих».

Вскоре после того старик умер. На могиле его растет прусская трава и пасутся там благородные кони наших подновленных рыцарей.

Г Л А В А Х I

Тирольтцы красивы, веселы, честны, храбры и неопосредованно ограничены. Это здоровая человеческая раса, — может быть, потому, что они слишком глупы, чтобы болеть. Я бы назвал их благородною расою, так как они очень разборчивы в пище и чистоплотны в быту; но они совершенно лишены чувства собственного достоинства. Тиролец отличается особого рода юмористической, улыбающейся угодливостью, которая носит почти ироническую окраску, но в основе глубоко искренняя. Тирольтские женщины здороваются с тобою так предупредительно и приветливо, мужчины так крепко жмут тебе руку, и выражение лица их так торжественно-сердечно, точно они смотрят на тебя, как на близкого родственника или по крайней мере как на равного; но это далеко не так — они никогда не упускают из виду, что они только простые люди, ты же — важный господин, который, конечно, доволен, когда простые люди без застенчивости вступают с ним в общение. И в этом они совершенно правильно руководятся природным инстинктом: самые закоренелые аристократы рады случаю снизойти до кого-нибудь, так как именно тогда они чувствуют, как высоко стоят. На родине тирольтцы проявляют эту угодливость даром, на чужбине же они стараются на ней что-нибудь заработать. Они торгуют своею личностью, своею национальностью. Эти пестро одетые продавцы одеял, эти бравые тирольтские парни, странствующие по свету в своих национальных костюмах, охотно позволяют подшутить над собою, но ты при этом должен что-нибудь у них купить. Известные сестры Райнер, побывавшие в Англии, понимали это еще лучше; кроме того, у них был еще и хороший советник, хорошо знавший дух английской знати. Отсюда и хороший прием в центре европейской аристократии, *in the west end of the town* *. Когда прошлым

* в западной части города

летом в блестящих залах лондонского фешенебельного общества я увидал, как на эстраду входили эти тирольские певцы, одетые в родные национальные костюмы, и услышал те песни, которые в Тирольских Альпах так наивно и скромно поются и находят столь нежные отзвуки даже в наших северо-немецких сердцах, вся душа моя возмущилась; снисходительные улыбки аристократических губ жалили меня, как змей; мне казалось, что целомудрие немецкой речи оскорблено самым грубым образом и что самые сладостные таинства немецкого чувства подверглись профанации перед чуждой чернью. Я не мог вместе с другими рукоплескать такому бесстыдному торгу самым сокровенным; один швейцарец, покинувший залу под влиянием такого же чувства, заметил совершенно справедливо: «Мы, швейцарцы, тоже отдаем многое за деньги: наш лучший сыр и нашу лучшую кровь, но мы с трудом переносим звук альпийского рожка на чужбине, а тем менее способны мы сами трубить в него за деньги».

Г Л А В А XII

Тироль очень красив, но и самые красивые виды не могут восхищать нас при пасмурной погоде и таком же настроении. У меня настроение всегда следует за погодой, а так как тогда шел дождь, то у меня и на душе была непогода. Только по временам я решался высунуть голову из экипажа и видел тогда высокие, до небес, горы; они серьезно взирали на меня и кивали своими исполинскими головами и длинными облачными бородами, желая мне доброго пути. Там и сям примечал я голубевшую вдали горку, казалось, она становилась на цыпочки и с любопытством смотрела через плечи других гор, вероятно, стараясь увидеть меня. При этом всюду громыхали лесные ручьи, свергаясь, как безумные, с высоты и собираясь внизу, в долинах, в темные водовороты. Люди торчали в своих миловидных чистеньких

домиках, рассеянных по отрогам, на самых крутых склонах, вплоть до верхушек гор, в миловидных чистеньких домиках, обыкновенно с длиною, в роде балкона, галлереей, которая украшена бельем, образками святых, цветочными горшками и женскими личиками. Домики эти красиво окрашены, большею частью в белое и зеленое, как будто одеты в народный тирольский костюм — зеленые подтяжки поверх белой рубашки. При взгляде на такой домик, в дождь и в одиночестве, сердце мое порывалось выпрыгнуть к этим людям, которые, конечно, сидят там внутри, совершенно сухие и довольные. Там, внутри, думалось мне, живется наверное хорошо и уютно, там старая бабушка рассказывает самые таинственные истории. Но экипаж неумолимо катился дальше, и я часто оглядывался назад, посмотреть на голубоватые столбы дыма над маленькими трубами домов; дождь лил все сильнее как снаружи, так и внутри меня, так что капли чуть не проступали из моих глаз.

Сердце мое часто вздымалось и несмотря на дурную погоду взбиралось наверх, к людям, которые обитают на самой вершине, едва ли хоть раз в жизни спускались с гор и мало знают о том, что происходит здесь, внизу. От этого они, однако, нисколько не теряют ни в благочестии, ни в счастье. О политике они ничего не знают, кроме того, что император носит белый мундир и красные штаны, — так рассказывал им старый дядюшка, который сам слышал это в Инсбруке от черного Зепперля, побывавшего в Вене. Когда к ним взобрались патриоты и красноречиво стали внушать им, что теперь они получают государя в синем мундире и белых штанах, они схватились за ружья, перецеловали жен и детей, спустились с гор и пошли на смерть за белый мундир и любимые старые красные штаны.

По существу ведь все равно, за что умереть, только бы умереть за что-нибудь дорогое, и такая кончина, исполненная тепла и веры, лучше, чем холодная жизнь без веры. Уже одни песни о такой кончине, звучащие

рифмы и светлые слова, согревают наше сердце, когда его начинают омрачать сырой туман и назойливые заботы.

Много таких песен прозвучало в моем сердце, когда я переваливал тирольские горы. Приветливые еловые леса оживили своим шумом в памяти моей много забытых слов любви. Особенно в те минуты, когда большие голубые горные озера с таким непостижимым томлением смотрели мне в глаза, вспоминал я опять о двух детях, так любивших друг друга и умерших вместе. Это старая-престарая история, никто уж теперь не верит в нее, да и сам я знаю о ней по нескольким стихам:

Их было двое на свете,
Была их любовь велика,
Они не могли повстречаться —
Их разделяла вода.

Эти слова сами собою зазвучали опять во мне, когда у одного из голубых озер я увидел на том берегу маленького мальчика, а на этом — маленькую девочку, — оба в пестрых национальных костюмах, в зеленых, с лентами, остроконечных шапочках, они раскланивались друг с другом через озеро.

Они не могли повстречаться —
Их разделяла вода.

Г Л А В А XIII

В южном Тироле погода прояснилась; потянуло близостью итальянского солнца, горы стали теплее и блестящее, я увидел виноградники, лепившиеся по склонам, и мог все чаще высовываться из экипажа. Но когда я высовывался, то со мною вместе высовывалось сердце, и с сердцем — вся любовь его, его печаль и его глупость. Часто случалось, что бедное сердце накалывалось на шипы, заглядываясь на розовые кусты, цветущие по дороге, а розы Тироля далеко не безобразны. Проез-

жая через Штейнах и оглядывая рынок, на котором у Иммермана выступает хозяин «Песка» Гофер со своими товарищами, я нашел, что рынок чересчур мал для скопища инсургентов, но достаточно велик, чтобы там влюбиться. Тут всего два-три белых домика; из маленького окошка выглядывала маленькая хозяйка «Песка», целилась и стреляла своими большими глазами; если бы экипаж не промчался мимо, и если бы у нее хватило времени зарядить еще раз, я наверно был бы застрелен. Я закричал: «Кучер, пожалуйста, скорее, с такою «красоткою Эльзи» шутки плохи, недолго потерять голову». В качестве основательного путешественника, я должен отметить, что, хотя сама хозяйка в Штерцинге и оказалась старою женщиною, зато у нее две молоденькие дочки, которые своим видом способны благотворно обогреть сердце, если оно высунулось. Но не могу забыть я тебя, прекраснейшая из всех красавица-пряха на итальянской границе! Если бы дала ты мне, как Ариадна Тезею, нить от клубка своего, чтобы провести меня через лабиринт этой жизни, то Минотавр был бы теперь побежден, я любил бы тебя и целовал, и не покинул бы никогда!

«Хорошая примета, когда женщины улыбаются», сказал один китайский писатель; того же мнения был и один немецкий писатель, когда он проезжал в Южном Тироле, там, где начинается Италия, мимо горы, у подножия которой на невысокой каменной плотине стоял один из домиков, так любовно глядевших на нас своими приветливыми галереями и наивною росписью. По одну сторону его стояло большое деревянное распятие; оно служило опорой молодой виноградной лозе, и почти жутко-весело было смотреть, как жизнь цепляется за смерть, как сочные зеленые лозы обвивают окровавленное тело и пригвожденные руки и ноги спасителя. По другую сторону домика находилась круглая голубятня; пернатое население ее реяло вокруг, а один, особенно грациозный, белый голубь сидел на красной вершукке крыши, которая, подобно скромному каменному

венцу над святой нишей, возвышалась над головою прекрасной пряжи. Она сидела на маленьком балконе и пряла, но не на немецкий лад — самопрялкой, а тем стародавним способом, при котором обвитая льном прялка держится под рукою, а выпряденная нить спускается на свободно висящем веретене. Так пряли царские дочери в Греции, так прядут еще и доныне парки и все итальянки. Она пряла и улыбалась, голубь неподвижно сидел над ее головою, а над домом, позади, вздымались высокие горы; солнце освещало их снежные вершины, и они казались суровой стражей великанов, со сверкающими шлемами на головах.

Она пряла и улыбалась и, мне кажется, крепко запряла мое сердце, пока экипаж катился мимо, несколько медленнее, сдерживаемый широким потоком Эйзаха, стремившегося по ту сторону дороги. Милые черты не выходили у меня из памяти весь день; всюду видел я прелестное лицо, изваянное, казалось, греческим скульптором из аромата белой розы, такое благоуханно-нежное, такое блаженно-благородное, какое, может быть, снилось ему когда-то в юности, в цветущую весеннюю ночь. Правда, глаза ее не могли пригрезиться ни одному греку и совсем не могли быть поняты им. Но я увидел их и понял их, эти романтические звезды, так волшебным образом освещавшие античное величие. Весь день преследовали меня эти глаза, и в следующую ночь они приснились мне. Она сидела, как тогда, и улыбалась, голуби реяли кругом, как ангелы любви, белый голубь над ее головою таинственно пошевеливал крыльями, за нею все величавей и величавей поднимались стражи в шлемах, перед нею все яростнее и неистовее катился поток, виноградные лозы обвивали в судорожном страхе деревянное распятие, оно болезненно колыхалось, открывало страждущие глаза и истекало кровью, — а она пряла и улыбалась, и на нитях ее прялки, подобно пляшущему веретену, висело мое собственное сердце.

Г Л А В А XIV

По мере того как солнце все прекраснее и величественнее расцветало в небе, осенняя золотыми покровами горы и замки, на сердце у меня становилось все жарче и светлее; снова грудь моя полна была цветами; они пробивались наружу, разрастались высоко над головой, и сквозь цветы моего сердца вновь просвечивала небесная улыбка прекрасной пряжи. Весь овеванный такими грезами, сам — воплощенная греза, приехал я в Италию, и так как в дороге я отчасти забыл, куда еду, то почти испугался, когда на меня взглянули разом все эти большие итальянские глаза, когда пестрая, суетливая итальянская жизнь во плоти устремилась мне навстречу, такая горячая и шумная.

Произошло это в городе Триенте, куда я прибыл в один прекрасный воскресный день после обеда, в час, когда жар спадает, а итальянцы встают* и гуляют взад и вперед по городу. Город, старый и сломленный годами, лежит в широком кольце цветущих зеленых гор, которые подобно вечно юным богам, взирают сверху на тленные дела людские. Сломленный годами и истлевший, лежит возле него высокий замок, некогда господствовавший над городом, причудливая постройка причудливой эпохи с вышками, выступами, зубцами и полукруглой башней, где ютятся только совы и австрийские инвалиды. Архитектура самого города также причудлива, и удивление охватывает при первом взгляде на эти глубоко-старинные дома, с их поблекшими фресками, с раскрошившимися статуями святых, башенками, закрытыми балконами, решетчатыми окошками и выступающими вперед фронтонами, покоящимися наподобие эстрад на серых, старчески дряблых колоннах, которые и сами нуждаются в опоре. Зре-

* Игра слов: у Гейне по-немецки сказано буквально: «жара ложится» (sich legt) — в противоположность «встающим людям».

лице было бы слишком уже печально, если бы природа не освежила новою жизнью эти отжившие камни, если бы сладкие виноградные лозы не обвивали разрушающихся колонн тесно и нежно, как юность обвивает старость, и если бы еще более сладостные девические лица не выглядывали из сумрачных сводчатых окон, посмеиваясь над приезжим немцем, который, как блуждающий лунатик, пробирается среди цветущих развалин.

Я, правда, был как во сне, в том сне, когда хочется вспомнить что-то, что уже снилось однажды. Я смотрел то на дома, то на людей; иногда готов был подумать, что видел эти дома когда-то, в их лучшие дни; тогда их красивая роспись еще сверкала красками, золотые украшения на карнизах окон еще не были так черны, и мраморная Мадонна с младенцем на руках стояла еще с уцелевшею давно прекрасною головою, которую так плебейски обломало наше иконоборческое время. И лица старых женщин были так знакомы мне; казалось, они были вырезаны из тех староитальянских картин, которые я видел когда-то мальчиком в Дюссельдорфской галлерее. Также и старики-итальянцы казались мне давно забытыми знакомцами, и они смотрели на меня своими серьезными глазами как бы из глубины тысячелетия. Даже в бойких молодых девушках было что-то говорившее сразу и об умершем тысяча лет тому назад, и о вновь вернувшемся к цветущей жизни, так что меня почти охватывал страх, сладостный страх, подобный тому, который я ощутил, когда один, в полночь, прижал свои губы к губам Марии, дивно прекрасной женщины, имевшей в то время лишь один недостаток — она была мертва. Но потом я смеялся сам над собою, и мне начинало казаться, что весь город — не что иное, как красивая повесть, которую я читал когда-то, которую я сам сочинил, и вот теперь я каким-то волшебством вошел в жизнь своей повести и пугаюся образов собственного творчества. Может быть, думал я, все это, действительно, только

сон; с сердечной готовностью заплатил бы я талер за одну оплеуху, чтобы только узнать, бодрствую я или сплю.

Немного нехватало, чтобы получить желаемое и за более дешевую цену, когда на углу рынка я споткнулся о толстую фруктовщицу. Но она удовлетворилась тем, что бросила мне несколько настоящих фиг в уши *, благодаря чему я убедился, что пребываю в самой действительной действительности, посреди базарной площади Триента, возле большого фонтана, медные дельфины и тритоны которого извергали приятно-освежающие серебристые струи. Слева стоял старый дворец; стены его были расписаны пестрыми аллегорическими фигурами, а на террасе подготавливались к геройству серые австрийские солдаты. Справа стоял домик в прихотливом готически-ломбардском стиле; внутри его сладкий, воздушно-легкий девический голос разливался такими бойкими и веселыми трелями, что дряхлые стены дрожали от удовольствия или от своей неустойчивости; между тем сверху, из стрельчатого окошка, высывалась черная с лабиринтообразными завитками комедиантская шевелюра, из-под которой выступало худощавое, с острыми чертами, лицо с одною лишь нарумяненною левою щекою, отчего оно походило на пышку, поджаренную только с одной стороны. Прямо же передо мной находился деревянный собор, не большой, не мрачный, но подобный веселому старцу на склоне лет, приветливому и радушному.

Г Л А В А XV

Раздвинув зеленый шелковый занавес, прикрывавший вход в собор, и вступив в храм, я почувствовал телесную и душевную свежесть от приятно веявшего внутри воздуха и от умиротворяюще магического света,

* Игра слов: Ohrfeige — «оплеуха», и Feigen an die Ohren — значит — «фиги в уши».

который лился из пестро расписанных окон на молящихся. То были по большей части женщины, коленопреклоненные длинными рядами на низеньких молитвенных скамеечках. Они молились одним движением губ и непрестанно обмахивались большими зелеными веерами, так что слышен был только непрерывный таинственный шопот, видны были только движущиеся веера и колышющиеся вуали. Резкий скрип моих сапог прервал не одну прекрасную молитву, и большие католические глаза посматривали на меня полулюбопытно, полублагосклонно, как бы советуя мне тоже простереться ниц и предаться душевной сьесте.

Право, такой собор с его сумрачным освещением и веющей прохладой — приятное пристанище, когда снаружи ослепительно светит солнце и томит жара. Об этом не имеют никакого понятия в нашей протестантской северной Германии, где церкви устроены не так уютно и свет так нагло врывается в нераскрашенные рационалистические окна, где даже прохладные проповеди плохо спасают от жары. Что бы ни говорили, а католицизм — хорошая религия для летнего сезона. Хорошо ложится на скамьях этого старого собора; наслаждаешься прохладой молитвенного настроения, священным *dolce far niente* *, молишься, грезишь и гресишь мысленно; мадонны так прощающе кивают из своих ниш, чувствуя по-женски, они прощают даже тогда, когда их собственные прелестные черты вплетаются в наши греховные мысли; в довершение всего, в каждом углу стоит коричневая исповедальная будочка, где можно освободиться от грехов.

В одной из таких будочек сидел молодой монах с сосредоточенной физиономией, но лицо дамы, кающейся ему в грехах, было скрыто отчасти белой вуалью, отчасти боковой перегородкой исповедальни. Однако поверх перегородки видна была рука, приковавшая меня к себе. Я не мог оторваться от созерцания этой

* приятное безделье.

руки; голубоватые жилки и благородный блеск белых пальцев были мне так поразительно знакомы, и душа моя привела в движение всю силу своего воображения, пытаясь воссоздать лицо, относящееся к этой руке. То была прекрасная рука, совсем не похожая на руки молодых девушек, полугнать, полуроз, обладающих растительно-животными ручками без мысли, в ней было, напротив, что-то духовное, что-то исторически обаятельное, как в руках красивых людей, очень образованных или много страдавших. Было также в ней что-то трогательно-невинное, так что, казалось, этой руке незачем каяться и не хочется слушать, в чем кается ее обладательница, а потому она и ждет в стороне, пока та покончит со своим делом. Но дело затянулось надолго; у дамы, повидимому, было что рассказать о своих грехах. Я не мог более ждать; душа моя запечатлела невидимый прощальный поцелуй на прекрасной руке, которая в тот же миг вздрогнула, притом так особенно, как вздрагивала каждый раз рука мертвой Марии, когда я ее касался. «Боже мой, — подумал я, — что делает в Триенте мертвая Мария?» — и поспешил прочь из церкви.

Г Л А В А XVI

Когда я возвращался Рыночной площадью, вышеупомянутая фруктовщица приветствовала меня весьма дружески и фамильярно, как будто бы мы были старыми знакомыми. «Все равно, — подумал я, — как бы ни завязать знакомство, только бы познакомиться друг с другом». — Две-три брошенных в уши фиги не всегда, правда, оказываются лучшим началом, но оба мы, и я и фруктовщица, смотрели теперь друг на друга так приветливо, словно обменялись самыми солидными рекомендательными письмами. Притом женщина эта отнюдь не обладала дурною внешностью. Она, правда; была в том возрасте, когда время отмечает отработан-

ные нами годы роковыми черточками на лбу, но зато она была тем массивнее, возмещая прибавкою в весе недостаток молодости. К тому же в лице ее все еще хранились следы былой красоты; на нем, как на старинных горшках, было написано: «Быть любимым и любить — величайшее счастье на земле». Но что придавало ей замечательную прелесть, — так это прическа, завитые локоны, напудренные до ослепительной белизны, обильно удобренные помадою и идиллически перевитые белыми колокольчиками. Я разглядывал женщину с таким же вниманием, как антикварий разглядывает свои выкопанные из земли обломки мрамора; я мог бы и еще больше прочесть в этих живых человеческих развалинах, мог бы проследить по ним все стадии итальянской культуры — этрусскую, римскую, готическую, ломбардскую, вплоть до современной, припудренной; очень интересной показалась мне ее культурность, так расходившаяся с ее профессией и с страстным темпераментом. Не менее заинтересовали меня и предметы ее торговли — свежий миндаль, которого я никогда еще не видел в его природной зеленой оболочке, и ароматные свежие фиги, разложенные большими грудями, как у нас груши. Большие корзины со свежими лимонами и апельсинами также привели меня в восхищение. И — очаровательное зрелище! — рядом в пустой корзинке лежал красивый, как картинка, мальчик с маленьким колокольчиком в руках; пока бил большой соборный колокол, он, между ударами его, позванивал в свой маленький колокольчик и при этом смотрел в голубое небо, так блаженно улыбаясь и забывая обо всем, что мною овладело самое шаловливое детское настроение, и я, как ребенок, остановился перед заманчивыми корзинами, начал лакомиться и вступил в беседу с торговкой.

По ломаному итальянскому говору она приняла меня сначала за англичанина, но я признался ей, что я всего только немец. Она тотчас же поставила мне ряд вопросов о Германии географического, экономи-

ческого, гортологического и климатического характера, и удивилась, когда я признался ей в том, что у нас не растут лимоны, что мы, изготовляя пунш, принуждены сильно выжимать те лимоны, которые в небольшом количестве получаем из Италии, и с отчаяния подливаем в него тем больше рому. «Ах, милая, — сказал я ей, — у нас очень холодно и сыро, наше лето только выкрашенная в зеленую краску зима; даже солнце принуждено у нас носить фланелевую куртку, чтобы не простудиться; под лучами такого желтого, фланелевого солнца, у нас не могут поспевать фрукты, на вид они жалки и зеленые; между нами говоря, единственный зрелый плод у нас — печеные яблоки. Что касается фиг, то мы получаем их, так же как лимоны и апельсины, из чужих стран, и благодаря долгому пути они становятся плоски и мучнисты; только самый скверный сорт мы можем получить в свежем виде из первых рук, притом он столь горек, что получающий его даром начинает еще процесс об оскорблении действием*. Миндалины у нас бывают только припухшие. Короче говоря, у нас недостаток во всех благородных плодах — есть только крыжовник, груша, орехи, сливы и прочий сброд».

Г Л А В А XVII

В самом деле, я был рад, что тотчас по прибытии в Италию завязал хорошее знакомство, и если бы сила чувств не влекла меня к югу, я остался бы в Триенте, подле доброй торговки с вкусными фигами и миндалем, подле маленького звонаря и, чтоб сказать правду, подле прекрасных девушек, толпами пробежавших мимо. Не знаю, согласятся ли другие путешественники

* Игра слов: значит также — «самый скверный сорт пощечины мы можем получить от первой попавшейся руки, и если кто получает ее незаслуженно, то даже начинает процесс об оскорблении действием».

с эпитетом «прекрасные», но мне триентинки особенно понравились. Это был как раз тот тип, который я люблю: я люблю эти бледные элегические лица, на которых так болезненно-любовно светятся большие черные глаза; люблю также смуглый цвет этих гордых шей, которые еще Феб зацеловал, любя, до загара. Я люблю даже эти чуточку перезрелые затылки с пурпуровыми точками, точно их клевали жадные птицы. Но больше всего люблю я эту гениальную походку, эту немую музыку тела, его члены, сохраняющие в движении сладожнейший ритм, роскошные, гибкие, божественно-сладострастные, то до смерти ленивые, то вдруг воздушно-гибкие, и всегда высокопоэтичные. Я люблю все это, как люблю самое поэзию; эти мелодически-движущиеся фигуры, эта чудесная человеческая симфония, звучавшая на моем пути, нашли отклики в моем сердце и затронули в нем родственные тона.

Теперь не стало больше волшебной силы первого впечатления, сказочного обаяния совершенно чуждого явления; теперь дух мой спокойно, подобно критику, читающему поэму, восхищенно вдумчивым взором созерцает эти женские образы. А такое созерцание открывает много-много печального богатство прошедшей жизни, бедность в настоящем и сохранившуюся гордость. Дочери Триента наряжались бы охотно и теперь, как во время Собора, когда город пестрел бархатом и шелками; но Собор свершил немного, бархат поистерся, шелк посекеся, и бедным детям ничего не осталось, кроме жалкой мишуры, которую они тщательно берегут в будни и в которую наряжаются только по воскресеньям. Но у многих нет и этих остатков былой роскоши, и они должны довольствоваться всевозможными грубыми и дешевыми фабрикатами нашей эпохи. Потому встречаются трогательные контрасты между телом и платьем: тонко очерченный рот призван, кажется, царственно поведовать, а на него насмешливо бросает сверху тень жалкая кисейная шляпка с помятыми бумажными

цветками, гордая грудь колыхнется под жабо из грубых, поддельных фабричных кружев, а остроумнейшие бедра облекает глупейший ситец. Скорбь! Ситец — наименование твое, и притом коричнево-полосатый ситец! Ибо — увы! — ничто не вызывало во мне более скорбного настроения, чем вид триентинки, формами и цветом лица подобной мраморной богине и прикрывающей эти антично-благородные формы платьем из коричнево-полосатого ситца; казалось, каменная Ниоба внезапно повеселела, замаскировалась в наше модное мещанское платье и шагает нищенски-гордо и величаво-неуклюже по улицам Триента.

Г Л А В А XVIII

Когда я вернулся в «Locanda dell' Grande Europa *», где заказал себе хороший pranzo **, на душе у меня было так грустно, что я не мог есть, а это много значит. Я уселся у двери соседней bottega ***, освежил себя шербетом и обратился к самому себе:

«Капризное сердце! Вот ты теперь в Италии — почему же ты не тириликаешь? Может быть, вместе с тобою пробрались в Италию твои старинные немецкие скорби, глубоко затаившиеся в твоих недрах, и теперь они радуются, и именно их дружное ликование вызывает в груди ту романтическую боль, что так странно колет внутри, и дрожит, и шипит? И почему бы не порадоваться иной раз и старинным скорбям? Ведь здесь, в Италии, так красиво, красивы здесь и самые страдания, в этих разрушенных мраморных дворцах вздохи звучат много романтичнее, чем в наших миленьких кирпичных домиках, под этими лавровыми деревьями плачется гораздо приятнее, чем под нашими угрюмыми колючими елями, и при взгляде на идеальные очертания облаков в голубом небе Италии мечтается сла-

* «Гостиница Великая Европа»

** обед

*** кофейная

*

достнее, чем под пепельно-серым, будничным немецким небом, где даже тучи корчат почтенные мещанские рожи и скучно позевывают сверху! Оставайтесь же в груди моей, скорби! Нигде вам не найти лучшего пристанища! Вы мне дороги и милы, никто лучше меня не сумеет холить и беречь вас и, признаюсь вам, вы доставляете мне удовольствие. И вообще, что такое удовольствие? Удовольствие — не что иное, как в высшей степени приятная скорбь».

Кажется, звуки музыки, незаметно для меня раздавшейся у кофейной и собравшие толпу слушателей, мелодраматически аккомпанировали этому монологу. Это было удивительное трио: двое мужчин и молодая девушка, игравшая на арфе. Один из мужчин, одетый по-зимнему в белый байковый сюртук, был коренастый малый, с широким красным разбойничьим лицом; оно пылало в рамке черных волос и черной бороды, подобно угрожающей комете; между ног его зажат был громадный контрабас, по которому он так яростно водил смычком, словно повалил наземь в Абруцках бедного путешественника и торопится смычком перерезать ему горло; другой был длинный, тощий старик, дряхлые члены которого путались в изношенном черном сюртуке, а белые как снег волосы представляли очень жалкий контраст с его комическими куплетами и дурацкими прыжками. Грустно, когда старый человек, под гнетом нужды, принужден продавать за деньги уважение, на которое он имеет право в силу своего возраста, и корчит из себя шута; насколько же грустнее, когда он проделывает это в присутствии или даже в обществе своего ребенка! А девушка была дочерью старого «буффа» и аккомпанировала на своей арфе самым недостойным выходкам старика-отца, а иногда отставляла арфу в сторону и начинала петь с ним комический дуэт; он представлял старого влюбленного щеголя, она — его молодую, бойкую любовницу. При всем том, девушка не вышла, казалось, из детского возраста. Более того — похоже было, что из ребенка,

еще не вступившего в девическую пору, сразу сделали женщину, и женщину отнюдь не добродетельную. Отсюда вялая блеклость и дрожь недовольства на красивом лице, гордые черты которого как бы насмешливо отклоняли всякую попытку выразить сострадание; отсюда скрытая печаль в глазах, так вызывающе сверкавших из-под своих черных триумфальных арок; отсюда тон глубокого страдания, составлявший такой жуткий контраст с улыбкой прекрасных губ, с которых он слетал; отсюда болезненность в высшей степени нежной фигуры, закутанной как можно плотнее в коротенькое, бледнофиолетовое шелковое платьице. При этом на поношенной соломенной шляпе развевались яркопестрые атласные ленты, а грудь украшена была весьма символически раскрытым розовым бутонем, который казался не естественно расцветшим, а скорее насильно расправленным в своей зеленой оболочке. В то же время несчастная девушка — эта весна, уже овеянная губительным дыханием смерти, обладала неописуемой привлекательностью, грацией, сказывавшейся в каждом взгляде, в каждом движении, в каждом звуке и не изменявшей ей даже тогда, когда она, подавшись вперед всем своим тельцем, насмешливо-сладоострастно подтанцовывала навстречу отцу, который столь же непристойным образом, выпятив живот, ковылял к ней. Чем наглее были ее движения, тем больше сострадания внушала она мне; когда же из груди ее вылетали нежные и чарующие звуки песни, как бы прося о прощении, змееныши в моей груди начинали ликовать и кусать себе хвосты от удовольствия. И роза, казалось мне, смотрела на меня как бы умоляюще; раз я видел даже, как она задрожала, побледнела, но в тот же миг еще радостнее зазвенели в высоте девичьи трели, старик заблеял еще влюбленнее, а красная кометообразная рожа стала истязать свой контрабас с такой яростью, что тот начал издавать ужасающе комические звуки, и слушатели загоготали еще бешенее.

Г Л А В А XIX

Это была музыкальная пьеса в чисто итальянском вкусе, из какой-нибудь оперы-буфф, того удивительного жанра, который дает самый полный простор юмору, и где этот юмор может проявиться со всеми своими веселыми прыжками, безумною впечатлительностью, скорбным смехом и смертельной воодушевленностью, жадно влюбленной в жизнь. Это был совершенный образец Россини, проявившийся с особой прелестью в «Севильском цирюльнике».

Хулители итальянской музыки, отказывающие и этому жанру ее в признании, не избегнут когда-нибудь заслуженного возмездия в аду и осуждены, может быть, не слышать целую вечность ничего, кроме фуг Себастьяна Баха. Жаль мне многих моих коллег, например. Релльштаба, которого также не минует это проклятие, если он перед смертью не обратится к Россини. Россини, *divino maestro* *, солнце Италии, расточающее свои звонкие лучи всему миру! Прости моим бедным соотечественникам, поносящим тебя на писчей и пропускной бумаге! Но я восхищаюсь твоими золотыми тонами, звездами твоих мелодий, твоими искрящимися мотыльковыми грезами, так любовно порхающими надо мною и целующими сердце мое устами Граций. *Divino maestro*, прости моим бедным соотечественникам, которые не видят твоей глубины, — ты прикрыл ее розами, и потому кажешься недостаточно глубокомысленным и основательным, ибо ты порхаешь так легко, с таким божественным размахом крыл! Правда, чтобы любить нынешнюю итальянскую музыку и, любя, понимать ее, надо иметь перед глазами самый народ, его небо, его характер, выражение лица, его страдания и радости, всю его историю, от Ромула, основавшего священное римское царство, до позднейшего времени, когда оно пало, при Ромуле-

* божественный маэстро

Августуле II. Бедной поращенной Италии запрещается говорить, и она может лишь музыкою поведать чувства своего сердца. Все свое негодование против чужеземного владычества, свое воодушевление свободой, свое бешенство перед сознанием собственного бессилия, свою скорбь при мысли о прошлом величии и, рядом с этим, свои слабые надежды, свое ожидание, свою страстную жажду помощи, — все это претворяет она в мелодии, переходящие от причудливого опьянения жизнью к элегической мягкости, и в пантомимы, переходящие от лстивых ласк к грозному сдержанному бешенству.

Вот эзотерический смысл оперы-буфф. Экзотерическая стража, в присутствии которой эта опера поется и представляется, отнюдь не подозревает, каково значение этих веселых любовных историй, любовных горестей и шалостей, в которых итальянец скрывает свои убийственные освободительные замыслы, подобно тому, как Гармодий и Аристокитон скрывали свой кинжал в миртовом венке. «Это просто дурацкая шутка», — говорит экзотерическая стража, и хорошо, что она ничего не замечает. В противном случае, импрессарио вместе с примадонной и премьером перешел бы скоро на подмостки, знаменующие крепость; была бы учреждена следственная комиссия, все опасные для государства трели и революционные колоратуры были бы занесены в протокол, было бы арестовано множество арлекинов, замешанных в дальнейших ответвлениях преступного заговора, а также Тарталья, Бригелла и даже старый осторожный Панталонэ; бумаги Болонского доктора были бы опечатаны, сам он был бы оставлен в сильном подозрении, и Коломбине пришлось бы докрасна наплакать себе глаза по поводу такого семейного несчастья. Но я думаю, что подобное несчастье не разразится над этими добрыми людьми, так как итальянские демагоги хитрее бедных немцев, которые, затеяв то же самое, замаскировались черными дураками, в черные дурацкие колпаки, но имели унылый вид,

столь бросающийся в глаза, принимали столь грозные позы и корчили столь серьезные физиономии, совершая свои основательные дурацкие прыжки, называемые ими гимнастическими упражнениями, что правительства наконец обратили на них внимание и принуждены были упрятать их в тюрьмы.

Г Л А В А XX

Маленькая арфистка заметила, вероятно, что я, пока она пела и играла, часто посматривал на розу на груди ее, и, когда я бросил на оловянную тарелку, в которую она собирала свой гонорар, монету не слишком уж мелкую, она хитро улыбнулась и спросила таинственно, не желаю ли я получить ее розу

Но ведь я — самый вежливый человек на свете, и ни за что на свете я не нанес бы оскорбления розе, будь то даже роза, потерявшая уже часть своего аромата. Если даже, думал я, она уже не так благоухающе свежа и не пахнет добродетелью, как роза Сарона, какое мне до этого дело, мне, у которого к тому же отчаянный насморк! Только люди принимают это так близко к сердцу. Мотылек не спрашивает у цветка: целовал ли тебя кто-нибудь другой? И цветок не спрашивает: порхал ли ты около цветка? К тому же наступила ночь, а ночью, подумал я, все цветы серы, и самая грешная роза не хуже самой добродетельной петрушки. Словом, без долгих колебаний, я сказал маленькой арфистке: «*Si, signora*» *.

Только не подумай ничего дурного, любезный читатель. В то время уже стемнело, звезды смотрели мне в сердце так ясно и благочестиво. В самом же сердце дрожало воспоминание о мертвой Марии. Я думал опять о той ночи, когда стоял у постели, где лежало прекрасное, бледное тело, с кроткими тихими губами. Я думал опять о том особенном взгляде, который бро-

* «Да, синьора».

сила на меня старуха, сторожившая у гроба и передавшая мне на несколько часов свои обязанности. Я думал о ночной фиалке: она стояла в вазе на столе и благоухала так странно. И мною опять овладело странное сомнение: правда ли, то был порыв ветра, и от него погасла лампа? Правда ли, в комнате не было никого третьего?

Г Л А В А XXI

Скоро я лег в постель, заснул и утонул в нелепых сновидениях. А именно, во сне я видел себя на несколько часов раньше; я только что прибыл в Триент, пораженный так же, как тогда, даже больше прежнего, ибо по улицам вместо людей прогуливались цветы.

Бродили пылающие гвоздики, сладострастно обмахиваясь веерами, кокетливые бальзамины, гиацинты с красивыми пустыми головками-колокольчиками, а за ними — толпа усатых нарциссов и неуклюжих шпорников. На углу ссорились две маргаритки. Из окошка старого дома болезненной внешности выглядывал левкой, весь в крапинках, разукрашенный с нелепою пестротой, а за ним звучал очаровательно пахнущий голос фиалки. На балконе большого палаццо на рыночной площади собралось все дворянство, вся знать, а именно, те лилии, которые не работают, не прядут и все же чувствуют себя так великолепно, как царь Соломон во всей славе своей. Показалось мне, что я увидел там и толстую фруктощицу; но, когда я пристроился внимательно, она оказалась зазимовавшим лютиком, который тотчас же накинулся на меня на берлинском наречии: «Что вам здесь нужно, незрелый цветок, кислый огурец? Обыкновеннейший цветок с одной тычинкою! Вот, сейчас я вас полью!» В страхе поспешил я в собор и чуть не наскочил на старую прихрамывавшую Иван-да-Марью, за которою несла молитвенник маргаритка. В соборе было опять-таки очень

приятно: длинными рядами сидели там разноцветные тюльпаны и набожно клонили головы. В исповедальне сидела черная редька, а перед нею склонил колени цветок, чье лицо было скрыто. Но он благоухал так знакомо жутко, что я опять почему-то вспомнил о ночной фиалке, стоявшей в комнате, где лежала мертвая Мария.

Когда я вышел из собора, повстречалась мне похоронная процессия, исключительно из роз в черных вуалях, с белыми платочками, и — увы! — на катафалке лежала преждевременно раскрытая роза, которую узнал я на груди у маленькой арфистки. Теперь она была еще привлекательнее, но бледна как мел, — белый труп розы; у маленькой часовни сняли гроб, слышались плач и рыдания; под конец вышел старый полевой мак и стал говорить длинную отходную проповедь, в которой было много болтовни о добродетелях покойной, о земной юдоли, о лучшем мире, о любви, надежде и вере, все это протяжно-певуче в нос, — водянистая речь, такая длинная и скучная, что я от нее проснулся.

Г Л А В А XXII

Мой веттурино запряг своих коней раньше, чем Гелиос, так что к обеду мы достигли Алы. Здесь веттурино задерживаются обыкновенно на несколько часов, чтобы переменить экипаж.

Ала уже чисто итальянская нора. Положение ее живописно, на склоне горы; река бежит и шумит, веселые зеленые лозы обвивают там и сям покосившиеся, натыкающиеся друг на друга заплатанные нищенские дворцы. На углу кривой площади, размером с птичий двор, написано величественными громадными буквами: «Piazza di San Marco» *. На каменном обломке большого стародворянского герба сидел маленький маль-

* Площадь св. Марка.

чик и делал нужное дело. Яркое солнце освещало его наивную спину, а в руках он держал бумажку с изображением святого, которую он предварительно с жаром поцеловал. Маленькая, восхитительно-красивая девочка стояла рядом, погруженная в созерцание и время от времени дула, аккомпанируя ему, в деревянную детскую трубу.

Гостиница, где я остановился и обедал, тоже была в чисто итальянском вкусе. Наверху, во втором этаже — открытая терраса с видом на двор, где валялись разбитые экипажи и темные кучи навоза, разгуливали индюки с дурачки-красными мешками у шей и спесивые павлины, а с полдюжины оборванных загорелых мальчишек искали в головах друг у друга по Белль-Ланкастерской методе. Через террасу с изломанными железными перилами попадаешь в большую гулкую комнату. Мраморный пол, посредине широкая кровать, на которой блохи празднуют свадьбу; всюду грандиозная грязь. Хозяин прыгал около меня, прислушиваясь к моим желаниям. Он был в яркозеленом домашнем скюртуке; лицо с множеством морщин отличалось подвижностью; на нем торчал длинный горбатый нос с волосатой красною бородавкою, сидевшей посредине, точь-в-точь как обезьяна в красной куртке на спине верблюда. Он прыгал взад и вперед и, казалось, красная обезьянка на носу его тоже прыгает вместе с ним. Но прошел целый час, пока он принес хоть что-нибудь; а когда я выбранился, он стал уверять меня, что я уже очень хорошо говорю по-итальянски.

Я принужден был долгое время довольствоваться приятнейшим запахом жаркого, доносившимся из кухни без дверей. Там сидели рядом мать и дочь, пели и оципывали кур. Мать была отменно толста: груди в пышном изобилии высоко вздымались кверху, но все же были невелики в сравнении с колоссальною заднею частью, так что первые казались лишь «Институциями», а последняя их расширенным изданием — «Пандектами».

Дочь, не очень высокая, но солидного сложения особа, казалось, также была склонна к полноте; но цветущий жир ее ни в коем случае не сравним был со старым салом матери. Черты ее лица не отличались ни приятностью, ни привлекательностью молодости, но были вполне соразмерны, благородны, античны; локны и глаза жгуче-черные. У матери, наоборот, были плоские, тупые черты, розовый нос, синие, похожие на вываренные в молоке фиалки, глаза и напудренные до лилейной белизны волосы. Время от времени прибежал вприпрыжку хозяин, il signor padre *, и требовал какой-нибудь посуды или вещи, на что ему спокойно, речитативом, отвечали, чтобы он сам искал. Тогда он, щелкнув языком, начинал рыться в шкапах, пробовал содержимое кипящих горшков, обжигался и убегал вприпрыжку, а с ним его носовой верблюд и красная обезьянка. Им вдогонку неслись самые веселые трели, знак нежной насмешки и семейного поддразнивания.

Но это мирное, почти идиллическое занятие прервано было внезапно разразившейся грозой; ворвался дюжий парень с бешеной, разбойничьей физиономией и прокричал что-то, чего я не понял. Обе женщины отрицательно покачали головами; тогда он впал в безумную ярость и стал изрыгать огонь и пламя, как маленький рассердившийся Везувий. Хозяйка, повиdimому, испугалась и пробормотала несколько успокоительных слов, произведших, однако, совершенно обратное действие; окончательно взбесившийся царень схватил железную лопату, разбил несколько несчастных тарелок и бутылок и поколотил бы наверно бедную женщину, если бы дочь не схватила длинный кухонный нож и не пригрозила зарезать его, если он сейчас же не уберется.

Это было прекрасное зрелище; девушка стояла бледножелтая и окаменевшая от гнева, как мраморная

* папаца

статуя; губы были также бледны, глаза глубоки и убийственны, голубая жила надулась поперек лба, черные локоны развивались, как змеи, в руках ее — кровавый нож. Я затрепетал от восторга, узрев перед собою живой образ Медеи, столь часто грезившийся мне в ночи моей юности, когда я засыпал у нежного сердца Мельпомены, сумрачно-прекрасной богини.

Во время этой сцены *signor padre* ни на секунду не потерялся; с деловитым спокойствием он собрал осколки с пола, отложил в сторону оставшиеся в живых тарелки, и потом принес мне: суп с пармезаном, жаркое, жесткое и твердое, как немецкая верность, раков красных, как любовь, зеленый, как надежда, шпинат с яйцами, а на десерт тушеный лук, вызвавший у меня слезы умиления.

«Все это пустяки, такая уж манера у Пьетро», сказал он, когда я с удивлением указал на кухню; и действительно, когда зачинщик ссоры удалился, казалось, вовсе ничего и не произошло: мать с дочерью опять сидели так же спокойно, пели и щипали кур.

Счет убедил меня в том, что *signor padre* тоже смыслит кое-что в ощищивании, и когда я, уплатив по счету, дал ему еще на чай, он чихнул от удовольствия так сильно, что обезьянка чуть-чуть не свалилась со своего места. Затем я дружески кивнул в направлении кухни, последовал дружеский ответный кивок, и вскоре я вновь сидел в другом экипаже, быстро катился вниз по ломбардской равнине и к вечеру достиг древнего, всемирно-прославленного города Вероны.

Г Л А В А XXIII

Пестрая сила новых впечатлений окружала меня в Триенте обаянием лишь сумеречным и смутным, подобно сказочному трепету; в Вероне же она охватила меня словно лихорадочным сном, полным ярких красок, резко обозначенных форм, призрачных трубных

звуков и отдаленного гула оружия. Тут попадались обветшалые дворцы, глядевшие на меня так пристально, словно хотели доверить мне какую-то старинную тайну; они робели перед напором будничного человеческого потока, прося меня вернуться к ним ночью. И все-таки, несмотря на шум толпы и на неистовое солнце, лившее свои красные лучи, не одна старая потемневшая башня успела бросить мне несколько многозначительных слов; кое-где подслушал я и шопот разбитых колонн; а когда я всходил по невысокой лестнице, ведущей на Piazza de Signori *, камни поведали мне ужасную, кровавую историю, и я прочитал на углу слова: Scala mazzanti **.

Верона, древний, всемирно-прославленный город, расположенный по обоим берегам Эча, служил всегда как бы первой стоянкой на пути германских кочевых народов, покидавших свои холодные северные леса и переходивших Альпы, чтобы насладиться золотым солнечным сияньем прелестной Италии. Одни тянулись дальше, к югу, другие находили и это место достаточно приятным и располагались здесь с уютом, как на родине, облакаясь в шелковые домашние платья и мирно проводя время среди цветов и кипарисов, пока новые пришельцы, еще не успевшие снять с себя стальных одеяний, не являлись с севера и не вытесняли их; эта история часто повторялась и получила у историков название переселения народов. Бродя теперь по Вероне и ее окрестностям, всюду находишь причудливые следы той эпохи, так же как и следы более раннего и более позднего времени. О римлянах особенно напоминают амфитеатр и триумфальные ворота; о Теодорихе-Дитрихе Бернском, которого еще поют и славят в легендах немцы, напоминают сказочные развалины нескольких византийских доготических зданий; сумасбродные башни напоминают короля Аль-

* Площадь господ

** Лестница убитых.

боина и его свирепых лангобардов; овеванные легендами памятники напоминают о Карле Великом, па-ладины которого изваяны у дверей собора с той франкской грубостью, какая их, несомненно, отличала в жизни, — и, когда глядишь на все это, начинает казаться, что весь город — большой постоянный двор народов; и как посетители гостиницы имеют обыкновение писать свои имена на стенах и окнах, так и здесь каждый народ оставил следы своего пребывания, часто, правда, в не слишком удобочитаемой форме, ибо многие немецкие племена не умели еще писать и должны были довольствоваться тем, что разрушали что-нибудь на память о себе; этого, впрочем, было вполне достаточно, так как развалины говорят яснее затейливых писмен. Варвары, вступившие ныне в старую гостиницу, не замедлят оставить такие же памятники своего милого пребывания, так как им недостает скульпторов и поэтов, чтобы удержаться в памяти человечества при помощи более мягких приемов.

Я пробыл в Вероне только один день, непрестанно удивляясь никогда не виданному, вглядываясь то в старинные здания, то в людей, кишевших среди них с таинственной стремительностью, то, наконец, в божественно-голубое небо, заключавшее все это как бы в драгоценную раму и создававшее из всего целую картину. Странное, однако, чувство, когда сам участвуешь в картине, которую сейчас рассматривал, когда тебе время от времени улыбаются на этой картине фигуры, особенно женские, что испытал я с приятностью на Piazza delle Erbe *. Это в сущности овощной рынок, и на нем — изобилие восхитительных женщин и девушек, с томными большеглазыми лицами, с чудными чарующими телами, обольстительно-желтыми, наивно-грязными, созданные скорее для ночи, чем для дня. Белые или черные покрывала, которые носят на голове горожанки, так хитро перекинута были через грудь,

* Площадь трав

что больше подчеркивали красоту форм, нежели скрывали их. У девушек были шиньоны, приколотые одною или несколькими золотыми стрелами или иной раз серебряной булавкой с наконечником в форме жолудя. На крестьянках в большинстве были маленькие тарелкообразные соломенные шляпки, прикрепленные с одной стороны кокетливыми цветами к волосам. Мужской наряд меньше отличался от нашего, только громадные черные бакенбарды, пышно распускавшиеся из-под галстука, бросились мне в глаза, и здесь я впервые обратил внимание на эту моду.

Но, если пристально взглядишься в этих людей, мужчин и женщин, то в лицах и во всем существе их откроешь следы культуры, отличающейся от нашей тем, что она ведет начало не от средневекового варварства, а от римской эпохи, которая никогда не была вполне искоренена и только видоизменялась сообразно с характером разных хозяев страны. Культура этих людей не отличается такой бросающейся в глаза свежестью полировки, как у нас, где дубовые столы только вчера обтесаны и все пахнет еще лаком. Кажется, что эта человеческая толпа на Piazza delle Erbe на протяжении веков постепенно меняла только одежду и обороты речи, нравы же тут мало изменились. Здания, окружающие эту площадь, повидимому, были не в состоянии так легко угнаться за временем; от этого, однако, вид их не менее привлекателен, он чудесным образом трогает душу. Здесь расположены высокие дворцы в венецианско-ломбардском стиле, с бесчисленными балконами и смеющимися фресками; посредине возвышается единственный памятник-колонна, фонтан и каменная статуя святой; виднеется затейливо расписанный в красную и белую краски Подеста, гордо вздымающийся за величественными стрельчатыми воротами; там замечаешь опять старую чety ехугольную колокольню с полуразрушенным циферблатом и часовую стрелкою, так что похоже на то, что время само решило покончить с собою, — над всею площадью

веет то романтическое очарование, которое так радостно сквозит в фантастических поэмах Людовико Ариосто или Людовико Тика.

Близ площади находится дом, который считают дворцом Капулетти, благодаря шляпе, высеченной из камня над внутренним двором. Теперь это грязный кабак для извозчиков и кучеров, и в качестве трактирной вывески над ним висит красная дырявая жестяная шляпа. Невдалеке, в церкви показывают часовню, где, согласно преданию, помолвлена была несчастная влюбленная пара. Поэт охотно посещает такие места, хотя бы он и смеялся сам над легковерием своего сердца. Я застал в этой часовне одинокую женщину, жалкое, поблекшее существо; после продолжительной молитвы с коленопреклонением она со вздохом встала, удивленно посмотрела на меня болезненным, тихим взглядом и наконец вышла, шатаясь, точно изломанная.

Невдалеке от Piazza delle Erbe находятся и гробницы Скалигеров. Они так же поразительно великолепны, как этот гордый род, и жаль, что они расположены в тесном углу, где должны как бы жаться друг к другу, чтобы занять как можно меньше места, и где даже для наблюдателя не остается места, чтобы рассмотреть их как следует. Похоже на то, будто здесь символически представлена историческая участь этого рода; он занимает столь же малый уголок в общей итальянской истории, но этот уголок заполнен блеском подвигов, пышностью нравов и величием гордого духа. В своих памятниках они такие же, как в истории — гордые, железные рыцари на железных конях, и всех величественнее Кангранде — дядя, и Мастино — племянник.

Г Л А В А XXIV

О веронском амфитеатре говорили многие; там довольно места для размышлений, и нет таких размышлений, которые не вместились бы в круг этого знамени-

того сооружения. Выстроен он в том именно строго-деловитом стиле, красота которого в законченной солидности, и, подобно всем общественным римским зданиям, свидетельствует о духе, являющем не что иное, как дух самого Рима. А Рим? Есть ли человек настолько невежественно-здоровый, чье сердце не затрепетало бы втайне при этом имени; кто не испытал бы по крайней мере традиционного в этом случае потрясения в системе мыслей? Что касается меня, то, признаюсь, я почувствовал больше тревоги, чем радости, при мысли, что скоро буду бродить по земле древнего Рима. «Ведь древний Рим теперь мертв, — успокаивал я мою трепетную душу, — и тебе выпала страдная участь обозревать, не подвигаясь опасности, его прекрасные останки». Но вслед за тем опять возникали во мне фальстафовские страхи: а если он не совсем еще мертв, а только представляется и восстанет опять — это было бы ужасно!

Когда я посетил амфитеатр, там разыгрывали комедию: посредине арены, на маленькой деревянной эстраде ставили итальянский фарс, и зрители сидели под открытым небом, частью на высоких каменных скамьях старого амфитеатра. Вот я сидел и смотрел на шуточные схватки Бригеллы и Тартальи на том самом месте, где сидели когда-то римляне, созерцая своих гладиаторов и травлю зверей. Небо надо мною, голубая хрустальная чаша, было то же, что и над ними. Понемногу смеркалось, загорались звезды, Труффальдино смеялся, Смеральдина плакала; наконец явился Панталонэ и соединил их руки. Публика зааплодировала и в восторге потянулась к выходу. Вся игра не стоила ни одной капли крови. Но это и была только игра. А римские игры уже не были играми. Эти люди уже не могли удовольствоваться одною только видимостью, им недоставало детской душевной ясности, и, при свойственной им серьезности, эту серьезность в ее чистейшем и кровавом виде они проявляли и в своих играх. Они не были великими людьми, но благодаря своему положению были выше других земных существ,

ибо стояли на громаде Рима. Стоило им сойти с семи холмов, и они превращались в мелкоту. Отсюда то ничтожество, с которым мы сталкиваемся в их частной жизни. Геркуланум и Помпея, эти палимпсесты природы, где выкапывают теперь из-под земли старые каменные тексты, обнаруживают перед глазами путешественников частную жизнь римлян в маленьких домиках с крохотными комнатками, составляющими такой резкий контраст с колоссальными постройками, выражавшими общественную жизнь, с театрами, водопроводами, колодцами, дорогами, мостами, чьи развалины и до сих пор вызывают изумление. Но в этом и заключается суть — как грек велик идеею искусства, еврей — идеею единого всесвятого бога, так римляне велики идеею их вечного Рима, велики повсюду, где они, воодушевленные этой идеею, сражались, писали и строили. Чем более разрастался Рим, тем более расширялась эта идея, отдельные единицы терялись в ней, великие люди, возвышающиеся еще над другими, держатся только ею, и ничтожество малых становится благодаря ей еще заметнее. Потому-то римляне были одновременно величайшими героями и величайшими сатириками, героями — когда они действовали, помышляя о Риме, и сатириками — когда они помышляли о Риме, осуждая действия соотечественников. Крупнейшие люди должны были казаться ничтожными, когда к ним применялась идея столь необъятного масштаба, как идея Рима, и потому они не могли избежать сатирической оценки. Тацит — самый суровый мастер сатиры, ибо он глубже других чувствовал величие Рима и ничтожество людей. Он чувствует себя в своей стихии всякий раз, когда может сообщить, что передавали на форуме злые языки о какой-нибудь низости императора; он злобно счастлив, когда может рассказать о скандале с каким-нибудь сенатором, например, о неудавшейся льстивой выходке.

Я долго еще разгуливал меж высоких стен амфитеатра, погруженный в мысли о прошлом. И как все здания

наиболее ясно проявляют свойства присущего им духа при вечернем свете, так и эти стены порассказали мне на своем отрывочном, лапидарном языке * много глубоко-серьезного, они поведали мне о мужах древнего Рима, и, казалось мне, я вижу, как бродят эти белые тени, внизу подо мною, в темном цирке. Казалось, я вижу Гракхов с их вдохновенными глазами мучеников. «Тиберий Семпроний, — воскликнул я, — я буду голосовать с тобою за аграрный закон!» Увидел я и Цезаря рука об руку с Марком Брутом. «Вы помирились опять?» — воскликнул я. «Мы оба считали себя правыми, — засмеялся Цезарь, — я не знал, что существовал еще один римлянин, и считал себя в праве упрянуть Рим в карман, а так как сын мой Марк оказался таким римлянином, то он счел себя в праве убить меня за это». Позади обоих скользил Тиберий Нерон, с туманными ногами и неопределенными чертами лица. Видел я также, как бродили там женщины, между ними Агриппина, с ее прекрасным властолюбивым лицом, удивительно трогательным, как у древней мраморной статуи, в чертах которой как бы окаменела скорбь. «Кого ищешь ты, дочь Германика?» Уже до слуха моего донеслись ее жалобы — но вдруг раздался глухой звон молитвенного колокола и роковой барабан вечерней зари. Гордые духи Рима исчезли, и я остался лицом к лицу с христианско-австрийской действительностью.

Г Л А В А XXV

На площади Ла-Бра, когда стемнеет, высший свет Вероны прогуливается или восседает на маленьких стульчиках перед кофейнями, впивая шербет и вечернюю прохладу и музыку. Там хорошо посидеть. Сердце, грезя, убаюкивается сладостными звуками и само зву-

* Игра слов: *ляпис* — по-латыни «камень»; *лапидарный язык* — язык камня.

чит им в тон. Порою, когда загремят трубы, оно очнется, словно опьянев от сна, и вторит всему оркестру. Тогда дух солнечно освежается, расцветают пышно-цветные чувства и воспоминания, с их глубокими черными очами, и поверх всего проплывают, подобно облакам, мысли, гордо, медленно, вечно.

Далеко за полночь бродил я по улицам Вероны, постепенно пустевшим и удивительно гулким. При свете полумесяца обрисовывались здания с их статуями и бледно и болезненно взирали на меня порою мраморные лики. Я торопливо прошел мимо гробниц Скалигеров: мне показалось, что Кангранде, со свойственною ему по отношению к поэтам любезностью, хочет сойти с коня и сопровождать меня. «Оставайся, сиди, — крикнул я ему, — мне не нужно тебя, мое сердце — лучший чичероне, оно повсюду рассказывает мне об историях, случившихся в домах, рассказывает точно, во всех подробностях, вплоть до имен и годов!»

Когда я подошел к римской триумфальной арке, оттуда выскользнул черный монах, и вдалеке раздалось ворчливое немецкое: «Кто идет?» — «Свои», пропищал чей-то самодовольный дискант.

Но какой женщине принадлежал голос, так сладостно проникший мне в душу, когда я поднимался по Scala Ammazzati? То была песня, словно исходившая из груди умирающего соловья, предсмертно-нежная и как бы просящая о помощи; каменные дома своим эхо повторили ее. На этом месте Антонио делла Скала убил своего брата Бартоломео, когда тот шел к возлюбленной. Сердце говорило мне, что она все еще сидит в своей комнате, ждет возлюбленного и поет, чтобы заглушить страшное предчувствие. Но вскоре песня и голос показались мне такими знакомыми; я уже прежде слышал эти бархатные, страстные, истекающие кровью звуки; они охватили меня, словно нежные, полные мольбы воспоминания. «Глупое сердце, — сказал я сам себе, — разве ты не знаешь песню о больном мавританском короле, которую так часто

пела мертвая Мария? А самый голос — разве ты забыл голос мертвой Марии?»

Протяжные звуки преследовали меня по всем улицам вплоть до гостиницы «Due Torregg»*, вплоть до моей спальни, до сновидений — и опять я увидел мою бесценную усопшую прекрасной и недвижимой; присматривавшая у гроба старуха опять удалилась, бросив загадочный взгляд в сторону; ночная фиалка благоухала; я опять поцеловал милые губы, и дорогая покойница медленно поднялась, чтобы возвратить мне поцелуй.

Если бы только знать, кто потушил свет!

Г Л А В А XXVI

Ты знаешь край? Цветут лимоны в нем...

Ты знаешь эту песню? Вся Италия изображена в ней, но изображена в томящих тонах страсти. В «Итальянском путешествии» Гете воспел ее несколько подробнее, а Гете пишет всегда, имея оригинал перед глазами, и можно вполне положиться на верность контуров и окраски. Потому-то я нахожу уместным сослаться здесь, раз навсегда, на «Итальянское путешествие» Гете, тем более, что до Вероны он ехал тем же путем, через Тироль. Я уже прежде говорил об этой книге, еще не будучи знаком с материалом, который подвергнут в ней обработке, и нахожу, что мои суждения, основанные на предчувствии, вполне подтверждаются. В книге этой мы повсюду наблюдаем реальное понимание и спокойствие природы. Гете держит перед нею зеркало, лучше сказать — сам он является зеркалом природы. Природа пожелала узнать, каково она выглядит, и создала Гете. Даже мысли ее, ее устремления отражает он, и нельзя поставить в упрек пылкому гетеанцу, особенно в жаркие летние дни, то обстоятель-

* Две башни.

ство, что он, изумясь тождеству отражений и оригиналов, приписывает зеркалу творческую силу, способность создавать такие же оригиналы. Некий господин Эккерман написал как-то книгу о Гете, где совершенно серьезно уверяет, что, если бы господь бог при сотворении мира сказал Гете: «Дорогой Гете, я, слава богу, покончил со всем, кроме птиц и деревьев, и ты сделал бы мне большое одолжение, если бы согласился создать за меня эту мелочь», — то Гете, не хуже самого господа бога, сотворил бы этих птиц и эти деревья, в духе полного соответствия со всем мирозданием, а именно — птиц создал бы пернатыми, а деревья зелеными.

В словах этих заключается истина, и я даже держусь того мнения, что Гете в некоторых случаях лучше бы справился с делом, чем сам господь бог, что, например, он создал бы господина Эккермана в более правильном виде — с перьями и зеленым. Право, природа совершила ошибку, не украсив головы господина Эккермана зелеными перьями, и Гете пытался исправить этот недостаток тем, что выписал ему из Иены докторскую шляпу и собственноручно надел ее ему на голову.

Наравне с «Итальянским путешествием» можно рекомендовать «Италию» г-жи Морган и «Коринну» г-жи Сталь. Недостаток в таланте, который мог бы сделать этих дам незаметными рядом с Гете, они возмещают мужественным настроением, которого недостает Гете. Так, леди Морган выражалась, как подобает мужчине, речами своими вселяла скорпионов в сердца наглых наемников, и мужественно-сладостны были трели этого порхающего соловья свободы. Точно так же г-жа Сталь, как известно всякому, была любезною маркитанткою в стане либералов и мужественно обходила ряды борцов со своим бочонком энтузиазма, подкрепляя усталых и сражаясь вместе с ними лучше, чем лучшие из них.

Что касается вообще описаний итальянских путешествий, то В. Мюллер уже дал как-то давно в «Гермесе» их обозрение. Число им — легион. Среди более

ранних немецких писателей выдаются в этой области, в смысле ума и своеобразия: Мориц, Архенгольц, Бартельс, бравый Зейме, Арндт, Мейер, Бенковитц и Рефуес. Новейшие мне мало известны, лишь немногие из них доставили мне удовольствие и пользу. Из числа таких я назову вышедшее из-под пера безвременно скончавшегося В. Мюллера «Рим, римляне и римлянки» — ах! он был немецким поэтом! Затем «Путешествие» Кефалидеса, несколько сухое; далее «Цисальпинские страницы» Лессмана, несколько водянистые, и наконец «Путешествия в Италию», начиная с 1822 года, Фридриха Тирша, Людовика Шорна, Эдуарда Гергардта и Лео фон Кленце». Пока явилась только первая часть этой книги, содержащая преимущественно сообщения моего дорогого благородного Тирша, гуманный дух которого сквозит в каждой строке.

Г Л А В А XXVII

Ты знаешь край? Цветут лимоны в нем,
И апельсин в листве горит огнем.
Там с неба веет кроткий ветерок,
Тих скорбный мирт, и гордый лавр высок.
Ты знаешь край?
Туда с тобой
Хотела б я теперь, любимый мой!

Но не ездите туда в начале августа, когда днем тебя жарит солнце, а ночью поедает блохи. Также не советую тебе, любезный читатель, отправляться из Вероны в Милан в почтовой карете.

Я ехал в обществе шести бандитов, в тяжеловесной «кароцце», которая была так заботливо прикрыта со всех сторон от слишком густой пыли, что я почти не заметил красот местности. Только два раза, до Брешии, сосед мой приподнял кожаную занавеску, чтобы сплунуть. В первый раз я ничего не увидел, кроме нескольких вспотевших елок, сильно страдавших, казалось,

в своих зеленых зимних одеяниях от томящей солнечной жары; в другой раз увидел я кусочек дивно-прозрачного голубого озера, в котором отражались солнце и тощий гренадер. Этот последний, австрийский Нарцисс, с детской радостью дивился тому, как отражение в точности повторяло его движения, когда он брал ружье на-караул, на плечо или на прицел.

О самой Брешии я мало могу сказать, так как воспользовался пребыванием там лишь для хорошего пранцо. Нельзя поставить в упрек бедному путешественнику, если он стремится утолить голод физический прежде духовного. Но все же у меня хватило добросовестности, прежде чем снова сесть в карету, порасспросить о Брешии у «камерьере»*; я узнал, между прочим, что в городе сорок тысяч жителей, одна ратуша, двадцать одна кофейня, двадцать католических церквей, один сумасшедший дом, одна синагога, один зверинец, одна тюрьма, одна больница, один столь же хороший театр и одна виселица для воров, крадущих на сумму меньше ста тысяч талеров.

Около полуночи прибыл я в Милан и остановился у господина Рейхмана, немца, устроившего свою гостиницу в совершенно немецком вкусе. Кое-какие знакомые, которых я там встретил, сказали мне, что это лучшая гостиница в Италии, а они были, в общем, весьма дурного мнения об итальянских гостиницах и блохах. Я только и слышал от них что возмутительные истории об итальянских мошенничествах; особенно расточал проклятия сэр Вильям, уверяя, что, если Европа — мозг мира, то Италия — воровской орган этого мозга. Бедному баронету пришлось заплатить за скудный завтрак в «Локанда Кроче Бианка» в Падуде не более, не менее, как двенадцать франков, а в Виченце с него потребовал на-чай человек, поднявший перчатку, которую он обронил, садясь в карету. Кузен его Том утверждал, что все итальянцы мошен-

* «камерьере» — лакей.

ники, с тою лишь разницею, что они не воруют. Если бы он был попригляднее на вид, то заметил бы также, что все итальянки — мошеницы. Третьим в этом союзе оказался некий мистер Лайвер, которого я покинул в Брайтоне молодым теленком и нашел теперь в Милане сущим *boeuf à la mode* *. Он был одет как истый денди, и я никогда не видел человека, который превзошел бы его способностью изображать свою фигуру: одни лишь острые углы. Когда он засовывал за жилет большие пальцы рук, то кисти и остальные пальцы образовывали углы; даже пасть его разинута была в виде четырехугольника. К этому присоединялась угловатая голова, узкая сзади, заостренная кверху, с низким лбом и очень длинным подбородком. Среди английских знакомых, которых я опять увидел в Милане, была и толстая тетка мистера Лайвера; подобно жировой лавине спустилась она с высот Альп в обществе двух белых, как снег, холодных, как снег, снежных гусенят, мисс Полли и мисс Молли.

Не обвиняй меня в англomanии, любезный читатель, если в этой книге я часто говорю об англичанах; они слишком многочисленны сейчас в Италии, чтобы не замечать их; они целыми полчищами кочуют по этой стране, располагаются во всех гостиницах, бегают повсюду, осматривая все, и трудно представить себе в Италии лимонное дерево без обнюхивающей его англичанки, или же картинную галлерею без толпы англичан, которые со своими гидами в руках бегают по ней, проверяя, все ли указанные в книге достопримечательности на-лицо. При виде этого светловолосого и краснощекого народа, исполненного любопытства и принаряженного, перебирающегося через Альпы и тянущегося по всей Италии с блестящими каретами, пестрыми лакеями, ржущими скаковыми лошадьми, закутанными в зеленые вуали камеристками и прочим дорогим оборудованием, кажется, присуствуешь при

* мясное блюдо; рагу со шпиком и морковью; буквально: бык по моде.

некоем элегантном переселении народов. В самом деле, сын Альбиона, хоть он и носит чистое белье и платит за все наличными, все же представляется культурным варваром в сравнении с итальянцем, который являет скорее переходящую в варварство культуру. Первый обнаруживает в характере сдержанность грубости, второй — распущенную тонкость. А бледные итальянские лица, с страдальческими белками глаз, с болезненно-нежными губами, — как аристократичны они в глубине по сравнению с деревянными британскими физиономиями, с их плебейски-здоровым румянцем! Весь итальянский народ внутренне болен, а больные, право, аристократичнее здоровых; ведь только больной человек становится человеком, у членов его есть история страданий, они одухотворены. Думается мне даже, что путем страдания и животные могли бы стать людьми; я видел однажды умирающую собаку: она смотрела на меня в предсмертных муках почти как человек.

Выражение страдания заметнее всего на лицах итальянцев, когда говоришь с ними о несчастьи их родины, а к этому в Милане представляется много случаев. Это самая болезненная рана в груди итальянцев, и они содрогаются, если даже осторожно прикоснуться к ней. В таких случаях им свойственно движение плечами, наполняющее нас чувством особого сострадания. Один из моих британцев считал итальянцев политически-безразличными на том основании, что они, казалось, равнодушно слушали, как мы, чужестранцы, толковали о католической эмансипации и о турецкой войне; он был настолько несправедлив, что насмешливо высказал это в разговоре с одним бледным итальянцем, с черною как смоль бородою. Накануне вечером мы присутствовали на представлении новой оперы в «La Scala» и созерцали картину неистовства, обычную в этих случаях. «Вы, итальянцы, — обратился британец к бледному человеку, — умерли, кажется, для всего, кроме музыки, только она еще может воодушевлять вас». — «Вы несправедливы, — от-

ветил бледный человек и сделал движение плечами. — Ах! — вздохнул он, — Италия скорбно грезит среди своих развалин; если время от времени она вдруг пробуждается при звуках какой-нибудь песни и бурно срывается с места, то воодушевление это вызвано не самою песнею, а скорее воспоминаниями и чувствами, разбуженными песней. Италия всегда хранит их в сердце, и в таких случаях они с силою вырываются наружу, — в этом смысл дикого шума, который вы слышали в «La Scala».

Быть может, признание это дает некоторый ключ к разгадке того энтузиазма, который вызывается по ту сторону Альп россиниевскими и мейерберовскими операми. Если мне когда-либо приходилось созерцать неистовство человеческого, так это на представлении «Crocato in Egitto»*, где музыка переходила внезапно от мягких скорбных тонов к ликующей боли. Такое неистовство именуется в Италии *furore*.

Г Л А В А XXVIII

Хотя мне и представляется теперь случай, любезный читатель, коснувшись Бреры и Амброзианы, преподнести тебе свои суждения об искусстве, я, однако, пронесу мимо тебя чашу сию и удовольствуюсь замечанием, что тот самый узкий подбородок, который придает оттенок сентиментальности картинам ломбардской школы, наблюдается у многих ломбардских красавиц на улицах Милана.

В высшей степени поучительной казалась мне всегда возможность сопоставлять с произведениями какой-нибудь школы те оригиналы, которые служили для нее моделями; характер школы выяснялся при этом нагляднее. Так, на ярмарке в Роттердаме стал мне понятен Ян Стин в божественной своей веселости; позже

* «Распятый в Египте»

таким же путем постиг я на Лунгарно правдивость форм и даровитость, свойственную флорентинцам, а на площади св. Марка — чуткость к краскам и мечтательную поверхность венецианцев. Устремись же к Риму, душа моя, может быть, там ты возвысишься до созерцания идеального и до постижения Рафаэля!

Все же я не могу оставить неотмеченною величайшую во всех смыслах достопримечательность Милана — его собор.

Издали кажется, что он вырезан из белой почтовой бумаги, а вблизи с испугом замечаешь, что эта резьба создана из неопровержимого мрамора. Бесчисленные статуи святых, покрывающие все здание, выглядят всюду из-под готических кровелек и усеивают все вышки; все это каменное сборище может вызвать полный хаос в чувствах. Если рассматривать все сооружение несколько дольше, то все же находишь его очень красивым, исполински-преlestным, в роде игрушки для детей великанов. В полунощном сиянии месяца представляет он еще более красивое зрелище; все эти бесчисленные белокаменные люди сходят со своей кипащей высоты, провожают вас по *riazza* и нашептывают в ухо старые истории, забавно сочиненные, таинственные истории о Галеаццо Висконти, начавшем постройку собора, и о Наполеоне Бонапарте, продолжившим ее.

«Видишь ли, — сказал мне один странный святой, изваянный в новейшее время из новейшего мрамора, — видишь ли, мои старшие товарищи не могут понять, почему император Наполеон взялся так усердно за постройку собора. Но я-то хорошо понимаю: он сообразил, что это большое каменное здание, во всяком случае, окажется полезным сооружением и пригодится даже и тогда, когда христианства больше не будет».

Когда христианства больше не будет. Я смертельно испугался, услышав, что в Италии есть святые, говорящие таким языком, притом же на площади, где разгуливают взад и вперед австрийские часовые в медвежьих шапках и ранцах. В то же время, этот камен-

ный чудака до некоторой степени прав: внутри собора летом веет приятною прохладой, там весело и приятно, и он не утратил бы своей ценности и прином назначении.

Достроить собор было одной из любимых мыслей Наполеона, и он был близок к цели, когда его могущество было сломлено. Теперь австрийцы заканчивают постройку. Продолжаются работы и над знаменитою триумфальною аркой, которая должна была замыкать Симплонскую дорогу. Правда, статуя Наполеона не будет увенчивать арку, как это предполагалось. Но все-таки великий император оставил по себе памятник много лучше и прочнее мраморного, и ни один австриец не скроет его от нашего взора. Когда мы, прочие, давно уже будем скошены косою времени и истлеем, как трава в поле, памятник этот все еще будет стоять невредимо; новые поколения возникнут из земли, будут с кружащейся головою взирать снизу вверх на этот памятник и снова лягут в землю; и время, не имея сил разрушить памятник, попытается закатать его в легендарные туманы, и его исполинская история станет наконец мифом.

Быть может, через тысячи лет какой-нибудь хитроумный профессор в своей глубоко-ученой диссертации неопровержимо докажет, что Наполеон Бонапарте совершенно тождественен с другим титаном, похитившим огонь у богов, прикованным за это преступление к одинокой скале среди моря и отданным в добычу коршуну, который ежедневно клевал его сердце.

Г Л А В А XXIX

Прощу тебя, любезный читатель, не прими меня за безусловного бонапартиста; я поклоняюсь не делам, а гению этого человека. Безусловно люблю я его только до восемнадцатого брюмера — в тот день он предал свободу. И сделал он это не по необходимости, а из тайного влечения к аристократизму. Наполеон Бонапарте был аристократ, дворянин и враг гражданского ра-

венства, и колоссальным недоразумением оказалась война, в смертельной ненависти навязанная ему европейской аристократией, во главе с Англиею; дело в том, что если он и намеревался произвести некоторые перемены в личном составе этой аристократии, то он сохранил бы все же большую ее часть и ее основные принципы; он возродил бы эту аристократию, поверженную теперь во прах своею собственною дряхлостью, потерю крови и усталостью от последней, несомненно самой последней победы.

Любезный читатель! Согласимся здесь раз навсегда. Я превозношу не дела, а только дух человеческий; дела — только одежды его, и вся история — не что иное, как старый гардероб человеческого духа. Но люблю любит иногда старые одежды, и я именно так люблю плащ Маренго.

«Мы на поле битвы при Маренго». Как засмеялось мое сердце, когда кучер произнес эти слова! В обществе весьма учтивого лифляндца, изображавшего из себя русского, я выехал накануне вечером из Милана и на следующее утро увидел восход солнца над знаменитым полем битвы.

Здесь генерал Бонапарт глотнул так обильно из кубка славы, что в опьянении сделался консулом, императором и завоевателем мира, пока не протрезвился наконец на острове Св. Елены. Немного лучше пришлось и нам: и мы опьянели вместе с ним, прогрезили те же грезы, так же как он пробудились, и с похмелья пускаемся во всякие дельные размышления. Иной раз нам кажется даже, что военная слава — устаревшее развлечение, что война должна принять более благородную форму и что Наполеон, может быть, последний завоеватель.

Действительно, представляется, будто теперь борьба идет не столько из-за материальных, сколько из-за духовных интересов, будто всемирная история должна стать уже не историей разбойников, а историей умов. Главный рычаг, который так умело и производительно приводили в движение честолюбивые и корыстные госу-

дари в своих собственных интересах, именно — национальности с ее тщеславием и ненавистью, — обветшал и пришел в негодность; с каждым днем заметнее исчезают глупые национальные предрассудки, резкие различия сглаживаются во всеобщности европейской цивилизации. В Европе нет более наций, есть только партии, и удивительно, как они, при наличии самых разнообразных окрасок, так хорошо узнают друг друга и при таком несходстве в языках так хорошо друг друга понимают. Подобно тому, как есть материальная политика государств, так есть и духовная политика партий, и подобно тому, как политика государств способна создать из самой ничтожной войны, возгоревшейся между двумя незначительнейшими державами, общую европейскую войну, в которую с большим или меньшим жаром и, во всяком случае, с интересом вмешаются все государства, так не может теперь возникнуть в мире самое ничтожное столкновение, при котором, благодаря указанной партийной политике, не оценены были бы общие духовные интересы, и самые далекие, чуждые по складу партии не оказались бы вынужденными выступить *pro* или *contra**. Посредством этой партийной политики, которую я называю политикой духовной, потому что ее интересы одухотворенней, а ее *ultimaе rationes* ** создаются не из металла, так же как посредством политики государств образуются две большие массы, враждебные друг другу и ведущие борьбу словами и взглядами. Лозунги и представители этих двух больших партийных масс меняются ежедневно, нет недостатка в запутанности, часто возникают величайшие недоразумения, и число их скорее увеличивается, чем уменьшается благодаря дипломатам этой духовной политики — писателям, но если умы и заблуждаются, то сердца чувствуют, чего хотят, и время надвигается со своею великою задачею.

* за или против.

** последние доводы

В чем же заключается великая задача нашего времени?

Это — эмансипация. Не только эмансипация прландцев, греков, франкфуртских евреев, вест-индских чернокожих и тому подобного угнетенного народа, но эмансипация всего мира, в особенности Европы, которая достигла совершеннолетия и рвется из железных помочей привилегированных сословий, аристократии. Пусть некоторые философствующие ренегаты свободы продолжают ковать тончайшие цепи доводов, чтобы доказать, что миллионы людей созданы в качестве выючных животных для нескольких тысяч привилегированных рыцарей; они не смогут убедить нас в этом, пока не докажут, выражаясь словами Вольтера, что первые родились на свет с седлами на спинах, а последние — со шпорами на ногах.

Всякое время имеет свои задачи, и, разрешая их, человечество движется вперед. Прежнее неравенство, установленное в Европе феодальной системой, было, быть может, необходимо или являлось необходимым условием для успехов цивилизации; теперь же оно подавляет ее и возмущает цивилизованные сердца. Французы, народ общественный, естественно, были глубоко затронуты этим неравенством, нестерпимо расходящимся с принципами общественности, они попытались добиться равенства, принявшись рубить головы тем, кто хотел во что бы то ни стало подняться над уровнем, и революция явилась сигналом для освободительной войны всего человечества.

Восхвалим французов! Они позаботились о двух величайших потребностях человеческого общества — о хорошей пище и о гражданском равенстве: в поварском искусстве и в деле свободы достигли они величайших успехов, и когда все мы на равных правах соберемся на большом пиру примирения, в хорошем расположении духа, — ибо что может быть лучше компании равных за хорошо накрытым столом? — то первый тост мы провозгласим за французов. Правда, пройдет еще некоторое время, пока можно будет устроить этот

праздник, пока осуществится эмансипация; но оно наступит наконец, это время, и мы, примиренные и равные друг другу, усядемся за одним и тем же столом; мы объединимся тогда и в полном объединении будем бороться со всяческим иным мировым злом, быть может, в конце концов со смертью, чья строгая система равенства нас не оскорбляет, по крайней мере так, как самодовольное учение аристократов о неравенстве.

Не улыбайся, поздний читатель! Каждая эпоха верит в то, что ее борьба — самая важная из всех; в этом собственно и заключается вера данной эпохи, с этою верою живет она и умирает; будем же и мы жить этой религией свободы и умрем с нею, быть может, она более заслуживает названия религии, чем пустой отживший призрак, который мы по привычке называем этим именем, — наша священная борьба представляется нам важнейшей из всех, какие когда-либо велись на земле, хотя историческое предчувствие и подсказывает нам, что когда-нибудь наши внуки будут смотреть на эту борьбу с тем же, может быть, равнодушием, с каким мы взираем на борьбу первых людей, воевавших с такими же жадными чудовищами-драконами и с хищниками-великанами.

Г Л А В А X X X

На поле битвы при Маренго мысли налетают в таком количестве, что можно подумать — это те самые мысли, которые здесь оборвались внезапно у многих, и которые блуждают теперь, как потерявшие хозяина собаки. Я люблю поля сражений; ведь как ни ужасна война, все же она обнаруживает величие человека, дерзающего противиться своему, злейшему наследственному врагу — смерти. В особенности это поле сражения, где свобода свершила танец на кровавых розах, великолепный брачный танец! Франция была в то время женихом, создала весь мирк себе на свадьбу и, как поется в песне:

Хейда! на вечеринке
Мы били не горшки —
Дворянские башки.

Но — увы! — каждая пядь, на которую продвигается человечество, стоит потоков крови. Не слишком ли это дорого? Разве жизнь отдельного человека не столь же ценна, как и жизнь целого поколения? Ведь каждый отдельный человек — целый мир, рождающийся и умирающий вместе с ним, под каждым надгробным камнем лежит история целого мира. Помолчим об этом, так могли бы говорить мертвые, павшие здесь, а мы живы, мы будем сражаться и впредь в священной войне за освобождение человечества.

«Кто думает теперь о Маренго! — сказал мой спутник, русский из Лифляндии, когда я проезжал по перелогу: — Теперь все взоры устремлены на Балканы, где мой земляк Дибич оправляет чалмы на турецких головах, и мы еще в этом году зайдем Константинополь. Вы за русских?»

Это был вопрос, на который я охотно ответил бы всюду, только не на поле битвы при Маренго. Я увидел в утреннем тумане человека в треугольной шляпе, в сером походном плаще; он мчался вперед со скоростью мысли, вдалеке звучало жуткое, сладостное «*Allons, enfants de la patrie!*» * И все-таки я ответил: «Да, я за русских».

И в самом деле, в удивительной смене лозунгов и вождей, в великой борьбе обстоятельств сложились так, что самый пылкий друг революции видит спасение мира только в победе России и даже смотрит на императора Николая, как на гонфалоньера свободы. Странная перемена! Еще два года назад роль эту мы приписывали одному английскому министру; вопли глубоко торийской ненависти по адресу Джорджа Каннинга решили в то время наш выбор; в аристократически неблагородных оскорблениях, перенесенных им, видели

* «Вперед, дети родины!» (начальные слова «Марсельезы»).

мы гарантию его верности, и когда он умер смертью мученика, мы возложили на себя траур, и восьмое августа стало священным днем в календаре свободы. Но зная мы сняли с Даунинг-стрита и перенесли его в Петербург, избрав знаменосцем императора Николая, рыцаря Европы, защитившего греческих вдов и сирот от азиатских варваров и заслужившего в этой доблестной борьбе свои шпоры. Опять враги свободы слишком явно выдали себя, и мы вновь использовали всю остроту их ненависти, чтобы познать наше собственное благо. Вновь обнаружилось обычное явление, что представители наши определяются не столько нашим выбором, сколько большинством голосов наших врагов, и, наблюдая удивительно подобранную общину, воссылавшую к небу благочестивые мольбы о спасении Турции и гибели России, мы скоро обнаружили, кто нам друг или, вернее, кто внушает ужас нашим врагам. Как смеялся, должно быть, господь бог в небе, слыша, как Веллингтон, великий муфтий, папа Ротшильд I, Меттерних и целая свора дворянчиков, биржевиков, попов и турок молятся одновременно об одном — о спасении полумесяца!

Все, что алармисты сочиняли до сих пор об опасности, которой подвергает нас чрезмерная мощь России, — сплошная глупость. Мы, немцы, по крайней мере ничем не рискуем, немного меньше или немного больше рабства — не входит в расчет, когда дело идет о завоевании самого высокого — об освобождении от остатков феодализма и клерикализма. Нам угрожают владычеством кнута, но я охотно вытерплю и немножко кнута, если наверно знаю, что и враги наши его получают. Но бьюсь об заклад, они будут, как и прежде всегда делали, вилять хвостом перед новой властью, будут грациозно улыбаться и предложат самые постыдные услуги, и в награду за это, раз уж приходится подвергнуться порке, выхлопочут себе привилегию почетного кнута, подобно сямским вельможам, которых, когда они присуждены к наказанию, прячут в шелко-

вые мешки и бьют надушенными палками, между тем как провинившиеся простолюдины получают лишь холщевый мешок и отнюдь не столь ароматные палки. Что же, предоставим им эту привилегию, раз она единственная, лишь бы их поколотили, в особенности английскую знать. Пусть нас усердно уверяют, что это та самая знать, которая вынудила у деспотизма Великую Хартию, что Англия, при устойчивости в ней гражданского сословного неравенства, все-таки гарантирует личную свободу, что Англия являлась убежищем для всех свободных умов, когда деспотизм угнетал весь континент — все это *tempore passato!* * Пусть провалятся Англия со своими аристократами! для свободных умов существует лучшее убежище! Если бы вся Европа превратилась в сплошную тюрьму, то осталась бы лазейка для бегства, это — Америка, и, слава богу, лазейка больше, чем вся тюрьма.

Но все это смешные опасения. Если сравнить в отношении свободы Англию с Россией, то и самый мрачно настроенный человек не усомнится, к какой партии примкнуть. Свобода возникла в Англии на почве исторических обстоятельств, в России же — на основе принципов. Как сами эти обстоятельства, так и их духовные последствия носят печать средневековья; вся Англия застыла в своих, не поддающихся омоложению, средневековых учреждениях, за которыми аристократия окопалась и ждет смертного боя. Те же принципы, из которых возникла русская свобода или, вернее, из которых она с каждым днем все больше и больше развивается, это — либеральные идеи новейшего времени; русское правительство проникнуто этими идеями, его неограниченный абсолютизм является скорее диктатурой, направленною к тому, чтобы внедрить эти идеи непосредственно в жизнь; это правительство имеет корни не в феодализме и клерикализме, оно прямо враждебно стремлениям дворянства и церкви; уже

* времена прошедшие

Екатерина ограничила церковь, а право на дворянство дается в России государственною службою; Россия — демократическое государство, я бы назвал ее даже христианским государством, если употреблять это столь часто извращаемое понятие в его лучшем космополитическом значении: ведь русские в силу одного уже пространства своей страны свободны от узкосердечия языческого национализма, они космополиты или по крайней мере на одну шестую космополиты, ибо Россия занимает почти шестую часть всего населенного мира.

И, право, когда какой-нибудь русский немец, в роде моего лифляндского спутника, патриотически хвастается и распространяется о «нашей России» и о «нашем Дибиче», то кажется мне, будто я слушаю селедку, выдающую океан за свою родину и кита — за соотечественника.

ГЛАВА XXXI

«Я за русских», — сказал я на поле битвы при Маренго и вышел на несколько минут из кареты, чтобы предаться утреннему молитвенному созерцанию.

Словно из-под триумфальной арки, образованной исполинскими грядами облаков, всходило солнце — победоносно, радостно, уверенно, обещая прекрасный день. Но я чувствовал себя, как бедный месяц, еще бледневший в небе. Он совершил свой одинокий путь в глухой ночи, когда счастье спало, и бодрствовали только призраки, совы и грешники; а теперь, когда народился юный день, в ликующих лучах, среди мерцающей утренней зари, теперь он должен уйти — еще один скорбный взгляд в сторону великого мирового светила, и он исчез, как благовонный туман.

«Будет прекрасный день!» — крикнул мой спутник из кареты. Да, будет прекрасный день, тихо повторило мое молящееся сердце и задрожало от тоски

и радости. Да, будет прекрасный день, солнце свободы согреет землю лучше, чем вся аристократия звезд; расцветет новое поколение, зачатое в свободном любовном объятии, не на ложе принуждения, под контролем духовных мытарей; свободно рожденный человек принесет с собою свободные мысли и чувства, о которых мы, прирожденные рабы, не имеем никакого понятия — о, они столь же мало будут понимать, как ужасна была ночь, во мраке которой должны были мы жить, как страшна была наша борьба с безобразными призраками, мрачными совами и ханжествующими грешниками! О, бедные бойцы, мы всю нашу жизнь положили на борьбу, и усталые и бледные встретим мы зарю победного дня! Пламя солнечного восхода не вызовет румянца на наших щеках и не согреет сердец наших, мы умираем как заходящий месяц, — слишком скупо отмерены человеку пути его странствий, и в конце их неумолимая могила.

Право, не знаю, заслуживаю ли я того, чтобы гроб мой украсили когда-нибудь лавровым венком. Поэзия, при всей моей любви к ней, всегда была для меня только священной забавой, или же освященным средством для небесных целей. Никогда я не придавал большого значения поэтической славе, и меня мало беспокоит, хвалят ли мои песни или порицают. Но меч вы должны возложить на мою могилу; ибо я был храбрым солдатом в войне за освобождение человечества!

ГЛАВА XXXII

В полуденный жар укрылись мы в францисканском монастыре, расположенном на значительной высоте и подобно охотничьему замку веры, со своими мрачными кипарисами и белыми монахами, взиравшему сверху вниз в радостно-зеленые долины Апеннин. Это было красивое сооружение, да и вообще мне пришлось проезжать мимо многих весьма замечательных монастырей и церквей, не считая картезианского монастыря в

Монце, который я видел только снаружи. Часто не знал я, чему больше дивиться — красоте ли местности, величию ли старинных храмов или столь же величественному, твердому, как камень, характеру их зодчих, которые, конечно, могли предвидеть, что лишь поздние потомки в состоянии будут закончить постройку, и все же невзирая на это в полном спокойствии закладывали первый камень и громоздили камни на камни, пока смерть не отрывала их от работы; тогда другие зодчие продолжали постройку и в свою очередь уходили на покой — все в твердом уповании на вечность католической веры и в твердой уверенности в таком же образе мыслей последующих поколений, которые должны продолжить то, на чем остановились их предшественники.

То была вера эпохи, с этою верою жили и смыкали глаза старые зодчие. Теперь они лежат в преддвериях тех самых храмов, и нельзя не пожелать, чтобы сон их был крепок, чтобы новое время смехом своим не разбудило их. В особенности тех, кто покоится у какого-нибудь старого незаконченного собора: им было бы слишком тяжело, проснувшись внезапно ночью, увидеть при болезненном сиянии месяца свое незавершенное творение и убедиться вскоре, что время дальнейшего строительства миновало и вся их жизнь прошла бесполезно и глупо.

Таков голос нынешнего, нового времени, у которого иные задачи, иная вера.

Когда-то я слышал в Кельне, как маленький мальчик спрашивал у матери, почему не достраивают наполовину отстроенных соборов. Это был хорошенький мальчик, и я поцеловал его в умные глаза, и так как мать не могла ответить ему толком, то я сказал, что люди сейчас заняты совсем другим делом.

Недалеко от Генуи, с вершины Апеннин, видно море, меж зеленых горных вершин светлеет голубая водная равнина, и, кажется, суда, появляющиеся то здесь, то там, плывут на всех парусах среди гор. Если наблю-

дать это зрелище в сумеречную пору, когда начинается чудная игра последних лучей солнца и первых вечерних теней и все краски и контуры окутываются туманом, то душу охватывает сказочное очарование; карета шумно катится с горы, дремлющие в душе слабые образы пробуждаются и вновь замирают, и наконец вам мерещится, что вы в Генуе.

Г Л А В А XXXIII

Город этот стар без старины, тесен без уюта и безобразен свыше всякой меры. Он выстроен на скале, у подножия поднимающихся амфитеатром гор, как бы замыкающих в объятиях прелестный морской залив*. Поэтому генуэзцам самую природою дана лучшая и безопаснейшая гавань. Так как весь город стоит, как сказано уже, на одной скале, то пришлось, в целях экономии места, строить дома очень высоко и делать улицы очень узкие, так что последние почти все темные, и только по двум может проехать карета. Но дома служат здесь жителям, по большей части купцам, почти исключительно для товарных складов, а по ночам — для сна; весь же свой торгашеский день проводят они, бегая по городу или сидя у своих дверей — вернее, в дверях, ибо иначе жителям противолежащих домов пришлось бы соприкасаться с ними коленями.

Со стороны моря, особенно вечером, город представляет лучшее зрелище. Он покоится тогда у берегов, как побелевший скелет выброшенного на сушу огромного зверя; черные муравьи, именуемые генуэзцами, копошатся около него, голубые морские волны плещутся и журчат, как колыбельная песня, месяц, бледное око ночи, грустно глядит на него сверху.

В саду Палаццо Дориа старый морской герой стоит в виде Нептуна среди большого водяного бассейна. Но

* Игра слов: Busen — «залив», а также «грудь».

статуя обветшала и обломана, вода иссякла, и чайки выют гнезда на ветвях черных кипарисов. Как мальчик, у которого из головы не выходят знакомые пьесы, я, при имени Дориа, сейчас же вспомнил о Фридрихе Шиллере, этом благороднейшем, хотя и не величайшем поэте Германии.

Дворцы прежних властителей Генуи, ее нобилей, несмотря на упадок, в большинстве все же прекрасны и тонут в роскоши. Они расположены главным образом на двух больших улицах, именуемых Strada nuova и Balbi. Дворец Дураццо всех замечательнее: здесь есть хорошие картины, и среди них Паоло Веронезе, «Христос», которому Магдалина вытирает омытые ноги. Она так прекрасна, что боишься: а ведь ее наверное опять совратят. Я долго стоял перед нею. Увы! Она не подняла на меня глаз. Христос стоит, как религиозный Гамлет — «go to a punnery». Тут нашел я также нескольких голландцев и отличные картины Рубенса; они насквозь пронизаны колоссальной жизнерадостностью этого нидерландского титана, чей дух был так мощно окрылен, что взлетел к самому солнцу, несмотря на то, что сотня центнеров голландского сыру тянула его за ноги книзу. Я не могу пройти мимо самой незначительной картины этого великого живописца, не отдав ей дани восхищения. И тем более, что теперь входит в моду лишь пожимать плечами при его имени, в виду недостатка у него идеализма. Историческая школа в Мюнхене важничает, проводя этот взгляд. Посмотрите только, с каким высокомерным пренебрежением шествует долговолосый корнелианец по рубensoвской зале! Но, может быть, заблуждение учеников станет понятным, если уяснить всю громадность контраста между Петером Корнелиусом и Петером-Паулем Рубенсом. Невозможно, пожалуй, вообразить больший контраст — и тем не менее, иногда мне кажется, что между ними есть что-то общее, более чувствуемое мною, чем видимое. Быть может, в обоих заложены в скрытом виде характерные свойства их общей родины, нахо-

дящие слабый родственный отзвук в их третьем земляке — во мне. Но это скрытое родство ни в коем случае не заключается в нидерландской жизнерадостности и яркости красок, улыбающейся нам со всех картин Рубенса, — можно подумать, что они написаны в опьянении радостными струями рейнского вина, под ликующие звуки плясовой музыки кирмеса. Право, картины Корнелиуса кажутся написанными скорее в страстную пятницу, когда по улицам раздавались заунывные напевы скорбного крестного хода, нашедшие отзвук в мастерской и в сердце художника. В продуктивности, в творческом дерзании, в гениальной стихийности сходятся они; оба — прирожденные живописцы; оба принадлежат к циклу великих мастеров, блиставших по преимуществу в эпоху Рафаэля, в эпоху, которая могла еще непосредственно влиять на Рубенса, но которая так резко отличается от нашей, что нас почти пугает явление Петера Корнелиуса, и он представляется нам порою как бы духом одного из великих живописцев рафаэлевской эпохи, вставшим из гроба, чтобы дописать еще несколько картин, мертвым творцом, вызвавшим себя к жизни при помощи схороненного вместе с ним, присущего ему животворящего слова. Когда рассматриваешь его картины, они глядят на нас как бы глазами пятнадцатого века; одежды на них призрачны, словно шелестят мимо нас в полуночную пору, тела волшебнo-могучи, обрисованы с точностью ясновидения, насильственно-правдивы, только крови недостает им, недостает пульсирующей жизни, красок. Да, Корнелиус — творец, но если всмотреться в его творения, то кажется, все они недолговечны, все они как будто написаны за час до своей кончины, на всех лежит скорбный отпечаток грядущей смерти. Несмотря на жизнерадостность, фигуры Рубенса вызывают в нашей душе такое же чувство; кажется, и в них также заложено семя смерти, и именно благодаря избытку жизни, багровому полнокровию, их должен поразить удар. В этом, может быть, и состоит то тайное средство, кото-

рое столь изумительно чувствуется нами, когда сопоставляешь обоих мастеров. Доведенная до предела жизнерадостность в некоторых картинах Рубенса и глубочайшая скорбь в картинах Корнелиуса возбуждают в нас, пожалуй, одно и то же чувство. Но откуда эта скорбь в нидерландце? Быть может, это — ужасающее сознание, что он принадлежит к давно отжившей эпохе, и жизнь его — лишь мистический эпилог? Ведь — увы! он не только единственный великий живописец среди ныне живущих, но, может быть, последний из тех, кто будет живописцем на этой земле; до него, вплоть до семьи Караччи, — долгий период мрака, а за ним вновь смыкаются тени, его рука — одиноко светящаяся рука призрака в ночи искусства, и картины, которые она пишет, запечатлены жуткой грустью этой суровой, резкой отчужденности. Я никогда не мог смотреть на эту руку, руку последнего живописца, без тайного содрогания, встречаясь с ним самим, невысоким, подвижным человеком, с горящими глазами; в то же время, однако, рука эта вызывала во мне чувство самого глубокого благоговения, ибо я вспоминал, что когда-то она любовно водила моими маленькими пальцами и помогала мне проводить контуры лиц, когда я, маленьким мальчиком, учился рисованию в Дюссельдорфской академии

Г Л А В А XXXIV

Я не могу не упомянуть о собрании портретов генуэзских красавиц во дворце Дураццо. Ничто в мире не настраивает нашу душу печальнее, чем такое созерцание портретов красивых женщин, умерших несколько столетий тому назад. Нами овладевает меланхолическая мысль: от оригиналов всех этих картин, от всех этих красавиц, таких прелестных, кокетливых, остроумных, лукавых, мечтательных, от всех этих майских головок с апрельскими капризами, от всей этой женской весны ничего не осталось, кроме этих пестрых

мазков, брошенных живописцем, тоже давно истлевшим, на тленный кусочек полотна, которое со временем тоже обратится в пыль и развеется. Так и все проходит в жизни бесследно, прекрасное и безобразное; смерть, сухой педант, не падит ни розы, ни репейника, она не забывает одинокой былинки в дальней пустыне, разрушает до основания, без усталости; повсюду видим мы, как она обращает в прах растения и животных, людей и их творения, и даже египетские пирамиды, которые, казалось бы, противятся этой разрушительной ярости, и они — только трофеи ее могущества, памятники тленности, древние гробницы царей. Но еще тягостнее, чем это чувство вечного умирания, пустынного зияющего провала в небытие, охватывающая нас мысль, что мы и умрем даже не как оригиналы, а как копии давно исчезнувших людей, подобных нами духом и телом, и что после нас родятся опять люди, которые в свою очередь будут в точности походить на нас, чувствовать и мыслить, как мы, которые точно так же уничтожены будут смертью — безотрадная, вечно повторяющаяся игра, в которой плодоносной земле суждено лишь производить, производить больше, чем может разрушить смерть, так что ей приходится заботиться не столько об оригинальности индивидов, сколько о подержании рода.

С поразительною силой охватил меня мистический трепет таких мыслей, когда во дворце Дураццо я увидел портреты генуэзских красавиц, и среди них — картину, возбуждавшую сладостную бурю в моей душе, так что и теперь, когда вспоминаю об этом, ресницы мои дрожат — это было изображение мертвой Марии.

Правда, надзиратель галлерей был того мнения, что картина изображает одну генуэзскую герцогиню, и пояснил тоном чичероне, что она принадлежит кисти Джорджо Барбарелли да Кастельфранко нелъ Треви-джано, по прозвищу Джорджоне — он был одним из величайших живописцев венецианской школы, родился в 1477 и умер в 1544 году.

«Пусть будет по-вашему, синьор custode. Портрет очень схож, если он даже и написан за пару столетий вперед — это не изъян. Рисунок правилен, краски великолепны, складки покрывала на груди удались отлично. Будьте любезны, снимите картину на несколько секунд со стены, я сдую пыль с губ и сгоню паука, усевшегося в углу рамы — Мария всегда чувствовала отвращение к паукам».

«Есселленца, повидимому, знаток».

«Ничего подобного, синьор custode. Я обладаю талантом чувствовать волнение при виде некоторых картин, и глаза мои становятся несколько влажными. Но что я вижу! Кем написан портрет мужчины в черном плаще, что висит вот там?»

«Тоже Джорджоне, мастерское произведение».

«Прошу вас, синьор, будьте добры, снимите также и эту картину со стены и подержите ее секунду здесь, рядом с зеркалом, чтобы я мог взглянуть, похож ли я на портрет».

«Есселленца не столь бледны. Картина — шедевр Джорджоне; он был соперником Тициана; родился в 1477, умер в 1511 году».

Любезный читатель, Джорджоне мне много милее, чем Тициан, и я особенно благодарен ему за то, что он написал для меня Марию. Ты, конечно, вполне согласишься со мною, что Джорджоне написал картину для меня, а не для какого-нибудь старого генуэзца. И портрет очень похож, похож вплоть до молчания смерти; уловлена даже боль в глазах, боль, которая была вызвана страданием, скорее пригрезившимся, чем пережитым, и которую так трудно было передать. Вся картина как бы вздохами запечатлена на полотне. И мужчина в черном плаще очень хорошо написан, очень похожи коварно-сентиментальные губы, похожи, точно они говорят, точно они собираются рассказать историю, историю рыцаря, который поцелуем хотел вырвать свою возлюбленную у смерти, и когда погас свет...

П

ЛУРКСКИЕ ВОДЫ

Как мужу я жена.

*Граф Август Ф. Платен-
Галлермюнде*

Угодно графу в пляс пуститься?
Пусть граф распорядится,
И я начну!

Фигаро

КАРЛУ ИММЕРМАНУ

ПОЭТУ

*посвящает эти страницы
в знак радостного уважения*

Автор



Г Л А В А I

Когда я вошел в комнату к Матильде, она застегнула последнюю пуговицу зеленой амазонки и только что собиралась надеть шляпу с белыми перьями. Она быстро отбросила ее в сторону, как только увидела меня, и кинулась мне навстречу с развевающимися золотыми кудрями. «Доктор неба и земли!» — воскликнула она и по старой привычке схватила меня за уши и поцеловала с забавнейшей сердечностью.

«Как поживаете, безумнейший из смертных? Как счастлива я, что вижу вас опять! Ведь на всем свете не найти мне человека, более сумасшедшего, чем вы. Дураков и болванов достаточно, и часто их удостаивают чести принимать за сумасшедших; но истинное безумие так же редко, как истинная мудрость; быть может, даже, оно — не что иное, как сама мудрость, вознегодовавшая на то, что знает все, что в этом мире есть постыдного, и принявшая потому мудрое решение сойти с ума. Восточные люди — толковый народ, они чтут помешанного как пророка, а мы всякого пророка считаем за помешанного».

«Но, миледи, почему вы не писали мне?»

«Конечно, доктор, я написала вам длинное письмо и пометила на адресе: вручить в Нью-Бедламе. Но так как вас, против всякого ожидания, там не оказалось, то письмо отправили в Сан-Люц, а так как вас и там не оказалось, то оно пошло дальше в другое такое же учреждение и совершило, таким образом, турне по

всем домам для сумасшедших Англии, Шотландии и Ирландии, пока мне не вернули его, с пометкою, что джентльмен, которому оно адресовано, пока еще не засажен. И в самом деле, как это вы все еще на свободе?»

«Я хитро устроился, миледи. Повсюду, где я бывал, я умел обходить дома для сумасшедших, и думаю, это удастся мне и в Италии».

«Друг мой, здесь вы в полной безопасности: во-первых, вблизи нет дома для сумасшедших, а во-вторых, здесь мы господа».

«Мы? Миледи! Вы, значит, причисляете себя к нашим? Позвольте запечатлеть братский поцелуй на вашем лбу».

«Ах я говорю, мы — курортники, из которых я еще, право, самая разумная, вы можете себе представить, какова самая сумасшедшая, именно Юлия Максфилд, постоянно утверждающая, что зеленые глаза означают весну души; кроме того, здесь две молодых красавицы...»

«Конечно, английские красавицы, миледи?»

«Доктор, что значит этот насмешливый тон? Повидимому, изжелта-жирные, макаронные лица так нравятся вам в Италии, что вы совершенно равнодушны к британским...»

«Плумпудингам с глазами-изюминками, грудям-ростбифам, отделанным белыми полосами хрена, гордым паштетам...»

«Было время, доктор, когда вы приходили в восторг всякий раз, когда видели красивую англичанку...»

«Да, это было когда-то! Я и сейчас не склонен отказывать в признании вашим соотечественницам. Они прекрасны как солнце, но — как солнце из льда, белы как мрамор, но — холодны как мрамор, близ холодного их сердца можно замерзнуть бедным...»

«О! я знаю кое-кого, кто не замерз и вернулся из-за моря свежим и здоровым, и это был великий, немецкий, дерзкий...»

«По крайней мере, он простудился так сильно близ ледяных британских сердец, что до сих пор у него насморк».

Миледи, казалось, была задета этими словами; она схватила хлыст, лежавший между страницами романа в виде закладки, провела им между ушей своей белой, тихо заворчавшей охотничьей собаки, быстро схватила шляпу с пола, кокетливо надела ее на кудрявую голову, раза два самодовольно взглянула в зеркало и гордо произнесла: «Я еще красива!» Но вдруг, как бы охваченная трепетом темного, болезненного ощущения, оставилась в задумчивости, медленно стянула с руки белую перчатку, подала ее мне и, стремительно угадав мои мысли, сказала: «Не правда ли, эта рука не так уже красива, как в Ремсгете? Матильда за это время много выстрадала!»

Любезный читатель, редко можно разглядеть трещину в колоколе, и лишь по звуку узнается она. Если бы ты слышал звук голоса, которым произнесены были эти слова, ты бы сразу понял, что сердце миледи — колокол из лучшего металла, но скрытая трещина удивительным образом глушит самые светлые его тона и как бы окутывает их тайною грустью. Но я все-таки люблю такие колокола: они находят родственный отзвук в моей собственной груди; и я поцеловал руку миледи почти сердечнее, чем когда-либо, хотя она и не так уж была свежа, и несколько жилкок, слишком резко выделявшихся своим голубым цветом, также, казалось, говорили: «Матильда за это время много выстрадала!»

Кинутый ею на меня взор подобен был грустной одинокой звезде в осеннем небе, и мягко и сердечно произнесла она: «Вы, кажется, уже мало меня любите, доктор! Только сострадание выразилось в слезе, упавшей мне на руку, словно милостыня».

«Кто же заставляет вас придавать такой скупой смысл безмолвной речи моих слез? Держу пари, белая охотничья собака, лгнущая сейчас к вам, понимает меня луч-

ше: она смотрит то на меня, то на вас и, кажется, удивлена тем, что люди, гордые властители мироздания, так глубоко несчастны в душе. Ах, миледи! только родственная скорбь исторгает слезы, и каждый, в сущности, плачет о себе самом».

«Довольно, довольно, доктор! Хорошо, по крайней мере, что мы современники и находимся в одном и том же уголке земли с нашими глупыми слезами. Каким было бы несчастьем, если бы вы жили случайно на двести лет раньше, как это произошло с моим другом Мигуэлем де Сервантесом Сааведрой, или, тем более, если бы вы появились на сто лет спустя, подобно другому моему близкому другу, которого имени я даже не знаю именно потому, что он получит свое имя лишь при рождении, в 1900 году! Но расскажите, как вы жили с тех пор, как мы виделись».

«Я занимался своим обычным делом, миледи: я все время катил большой камень. Когда я вскатывал его до половины горы, он внезапно срывался вниз, и я вновь должен был катить его в гору, и это катанье в гору и с горы будет длиться до тех пор, пока сам я не улягусь под большим камнем, и монументный мастер не напишет на нем большими буквами: «Здесь почует в бозе...»

«Ни за что, доктор, я не оставляю вас в покое, — только не впадайте в меланхолию! Засмейтесь, или я...»

«Нет, не щекотите, лучше я сам засмеюсь...»

«Вот так. Вы нравитесь мне так же, как в Ремсгете, где мы впервые сошлись близко».

«И в конце концов сошлись еще ближе близкого. Да, я буду весел. Хорошо, что мы снова встретились и великий немецкий... вновь доставить себе удовольствие riskовать своей жизнью близ вас».

Глаза миледи засветились, как солнце после легкого дождя, и хорошее настроение опять вернулось к ней, когда вошел Джон и с чопорным лакейским пафосом доложил о приходе его превосходительства, маркиза Кристофоро ди Гумпелино.

«Добро пожаловать! А вы, доктор, познакомитесь с одним из пэров нашего сумасшедшего царства. Не смущайтесь его наружностью, в особенности его носом. Человек этот обладает выдающимися свойствами, например, множеством денег, здравым рассудком и страстью перенимать все дурачества нашего времени; к тому же он влюблен в мою зеленооковую подругу, Юлию Максфилд, называет ее своею Юлиею, а себя — ее Ромео, декламирует и вздыхает, а лорд Максфилд, деверь, которому доверил муж свою верную Юлию, аргус...»

Я хотел уже заметить, что Аргус сторожил корову, когда двери широко распахнулись и, к величайшему моему изумлению, ввалился мой старый друг, банкир Христиан Гумпель, с его сытою улыбкою и благословенным животом. После того как его лоснящиеся толстые губы вдоволь потерлись о руку миледи и высыпали обычные вопросы о здоровье, он узнал и меня — и друзья бросились друг другу в объятия.

Г Л А В А 11

Предупреждение Матильды, чтобы я не натолкнулся на нос этого человека, оказалось достаточно обоснованным, и немного не хватало, чтобы он выколол мне глаза. Я не хочу сказать ничего дурного об этом носе; наоборот, он отличался благородством формы и именно благодаря ему мой друг считал себя в праве присвоить себе, по меньшей мере, титул маркиза. По носу его можно было узнать, что он принадлежит к хорошему дворянскому роду, что происходит из древней мировой фамилии, с которою породнился когда-то, не боясь мезальянса, сам господь бог. С тех пор этот род, правда, несколько опустился, так что со времен Карла Великого должен был добывать средства к существованию по большей части торговлей старыми штанами и билетами гамбургской лотереи, не поступаясь, однако, ни в малей-

шей мере своею фамильною гордостью и не теряя надежды получить свои старинные поместья или по крайней мере эмигрантское вознаграждение в достаточном размере, когда его старый легитимный монарх выполнит обет реставрации, — обет, при помощи которого он вот уже две тысячи лет водит его за нос. Может быть, носы этой фамилии и стали так длинны оттого, что ее так долго водили за нос? Или эти длинные носы — род мундира, по которому бог-царь Иегова узнает своих лейб-гвардейцев даже в том случае, если они дезертировали? Маркиз Гумпелино был именно таким дезертиром, но он носил еще свой мундир, и мундир этот был блестящ, усеян рубиновыми крестиками и звездочками, миниатюрным орденом Красного орла и прочими знаками отличия.

«Посмотрите, — сказала миледи, — это мой любимый нос, я не знаю лучшего цветка на земле».

«Этого цветка, — ухмыльнулся Гумпелино, — я не могу положить вам на прекрасную грудь без того, чтобы не приложить к нему и мое цветущее лицо, а это приложение, может быть, несколько стеснило бы вас при сегодняшней жаре. Но я принес вам не менее драгоценный цветок, здесь весьма редкий...»

С этими словами маркиз развернул бумажный сверток, принесенный им с собою, и, не торопясь, заботливо вынул из него чудесный, красивый тюльпан.

Едва миледи увидела цветок, она во весь голос вскрикнула: «Убить! Убить! Вы хотите меня убить? Прочь, прочь этот ужас!» Выражение ее лица было таково, будто ее хотят погубить; она прикрывала руками глаза, бессмысленно бегала взад и вперед по комнате, проклиная нос Гумпелино и его тюльпан, звонила, топала об пол, ударила хлыстом собаку так, что та громко залаяла, и когда вошел Джон, воскликнула, как Кин в «Короле Ричарде»:

Коня! коня! Все царство за коня! —

и вихрем вылетела из комнаты.

«Курьезная женщина!» — сказал Гумпелино, неподвижный от изумления и все еще держа в руке тюльпан. В этом виде он походил на одного из тех божков, с лотосом в руках, каких можно видеть на старинных индийских надгробных памятниках. Но я много лучше знал эту женщину и ее идиосинкразию: меня свыше меры развеселило это зрелище, и, приоткрыв окно, я крикнул: «Миледи, что мне думать о вас? Где же ваш разум, ваша добродетель, в особенности ваша любовь?»

В ответ она крикнула с диким смехом:

Когда я на коне, то поклонюсь:
Люблю тебя безмерно!

Г Л А В А III

«Курьезная женщина», — повторил Гумпелино, когда мы с ним отправились в путь — навестить двух его приятельниц, синьору Летицию и синьору Франческу, с которыми он собирался меня познакомить. Квартира этих дам находилась довольно далеко на возвышенности, и тем более признателен был я за его доброту моему упитанному другу, который, находя подъем в гору несколько трудным для себя, останавливался на каждом холме, переводя дух и охая: «О, Иисусе!»

Дело в том, что дома на Луккских водах расположены или внизу, в деревне, окруженной высокими горами, или же на самих горах, недалеко от главного источника, где живописная группа строений смотрит сверху вниз, в очаровательную долину. Но некоторые дома разбросаны по отдельным горным склонам, и к ним приходится карабкаться между виноградниками, миртовыми кустами, каприфолиями, лаврами, олеандрами, геранью и прочими изысканными цветами и растениями — в каком-то сплошном диком раю. Мне никогда не приходилось видеть долины очаровательнее, в особенности, если смотреть вниз, в деревню, с террасы

верхнего источника, где высятся сумрачно-зеленые кипарисы. Видишь мост, переброшенный через речку, которая называется Лимою и, разделяя деревню на две половины, сбегает в обоих концах по скалам, образуя небольшие пороги, и поднимает шум, словно пытается рассказать самые приятные вещи и не в состоянии сделать это из-за мешающего ей громко откликающегося стовсюду эхо.

Но главное очарование долины заключается, конечно, в том, что она не слишком велика и не слишком мала, что душа зрителя не ширится помимо воли, а, напротив, ощущает гармоническую соразмерность с чудесным зрелищем, что самые вершины гор, как и всюду в Апеннинских горах, не нагромождаются в причудливом готическом беспорядке, подобно карикатурам на горы, наблюдаемым нами на ряду с карикатурами на людей в германских странах, — их благородно округленные, одетые в яркую зелень контуры говорят почти о художественной культуре и чрезвычайно мелодически гармонируют с бледноголубым небом.

«Иисусе!» — простонал Гумпелино, когда мы, уже сильно согревшись от утомительного подъема в гору и от лучей утреннего солнца, достигли упомянутых мною кипарисов на возвышенности и, заглянув вниз, в деревню, увидели, как наша английская приятельница промчалась на коне через мост, словно романтический образ из сказки, и столь же быстро, как во сне, исчезла. «Иисусе, что за курьезная женщина! — несколько раз повторил маркиз. — В моей маленькой жизни я не встречал подобных женщин. Только в комедиях попадают они, и я думаю, что Гольцбежер, например, очень хорошо сыграла бы ее роль. В ней есть что-то русалочье. Как вы полагаете?»

«Я полагаю, вы правы, Гумпелино. Когда я ехал с ней из Лондона в Роттердам, капитан корабля сказал, что она похожа на посыпанную перцем розу. В благодарность за это пикантное сравнение она высыпала ему на голову целую перечницу, застав его однажды дре-

млющим в каюте, и к нему нельзя было подойти не чихнув».

«Курьезная женщина, — повторил Гумпелино. — Нежна как белый шелк, и так же крепка, а на лошади сидит так же хорошо, как я. Только бы она не проездила верхом своего здоровья. Вы не заметили сейчас длинного, тощего англичанина, гнавшегося за ней на своем тощем коне, словно галопирующая чахотка? Народ этот проявляет излишнюю страстность в верховой езде, все свои деньги тратит на лошадей. Белый конь леди Максфилд стоит триста золотых, живехоньких луидоров — ах, а луидоры стоят так высоко и с каждым днем все поднимаются!»

«Да, луидоры поднимутся еще так высоко, что бедному ученому, в роде нашего брата, и не достать до них».

«Вы понятия не имеете, доктор, сколько мне придется тратить денег, а между тем я обхожусь при помощи одного лишь слуги и, только когда бываю в Риме, я содержу капеллана при своей домово́й часовне. А вот идет мой Гиа́нтинт».

Маленькая фигурка, показавшаяся в этот момент из-за поворота холма, заслуживала скорее названия красной лилии. В глаза бросался широкий болтающийся сюртук яркокрасного цвета, изукрашенный золотыми позументами, сверкавшими на солнце, и среди всего этого красного великолепия торчала обливающаяся потом головка, кивавшая мне, как доброму знакомому. И в самом деле, рассмотрев поближе бледное озабоченное личико и деловито мигающие глазки, я узнал человека, которого, казалось, легче было встретить на горе Синае, чем на Апенниннах; это был не кто иной, как господин Гирш, гамбургский гражданин, не только бывший всегда очень честным лотерейным маклером, но и знающий толк в мозолях и драгоценностях так основательно, что он не только умел отличать первые от последних, но и вырезал очень искусно мозоли и оценивал очень точно драгоценности.

«Я питаю надежду, — сказал он, подойдя ко мне ближе, — что вы еще помните меня, хотя я и не называюсь больше Гирш. Я зовусь теперь Гиацинтом и состою камердинером у господина Гумпеля».

«Гиацинт!» — вскричал этот последний, поражаясь и вскипая от нескромности своего слуги.

«Будьте покойны, господин Гумпель, или господин Гумпелино, или господин маркиз, или ваше превосходительство, нам нечего стесняться перед этим господином; он знает меня, не раз покупал у меня лотерейные билеты и я даже мог бы поклясться, что со времени последнего розыгрыша он остался мне должен семь марок девять шиллингов. Право, я очень рад, господин доктор, что снова вижу вас здесь. Вы тут тоже для удовольствия? Иначе, что же и делать здесь в такую жару, когда еще притом приходится лазить с горы на гору. К вечеру я устаю здесь так, как будто двадцать раз пробежал от Альтонских до Каменных ворот, не заработав при этом ни гроша».

«Иисусе! — воскликнул маркиз. — Замолчи, замолчи! Я заведу себе другого слугу!»

«К чему замолчать! — возразил Гирш-Гиацинт. — Ведь так приятно, когда можно поговорить опять на хорошем немецком языке с лицом, которое видел уже когда-то в Гамбурге, а когда я подумаю о Гамбурге...»

Тут, при воспоминании о маленькой мачехе-родине, глазки Гирша влажно заблестели, и он продолжал со вздохом:

«Что такое человек! Прохаживаешься себе с удовольствием у Альтонских ворот, по Гамбургской горе, осматриваешь там достопримечательности, львов, птиц, попугаев, обезьян, знаменитых людей, катаешься на карусели или электризуешься, а думаешь, насколько больше удовольствия получал бы, я в местности, отстоящей от Гамбурга миль на двести, в стране, где растут лимоны и апельсины, в Италии. Что такое человек! Когда он стоит перед Альтонскими воротами, ему очень хочется в Италию, а когда он в Италии, то

хотел бы опять очутиться у Альтонских ворот! Ах, если бы мне опять стоять там и видеть опять колокольную Михаила и на ней наверху часы с большими золотыми цифрами на циферблате, на которые я так часто смотрел после обеда, когда они приветливо блестели на солнце — мне часто хотелось поцеловать их. Ах, теперь я в Италии, где растут лимоны и апельсины, но когда я вижу, как растут лимоны и апельсины, я вспоминаю Каменную улицу в Гамбурге, где они разложены так привольно на переполненных лотках и где спокойно можно наслаждаться ими, без того, чтобы карабкаться, с опасностью для жизни, и терпеть такую палящую жару. Как бог свят, маркиз, если бы я это не сделал ради чести и ради образованности, я бы не последовал сюда за вами. Но, нужно признаться, быть с вами — значит иметь честь и получить образованность».

«Гиацинт, — сказал тут Гумпелино, слегка смягченный этой лестью, — Гиацинт, иди теперь к ...»

«Я уже знаю...»

«Ты не знаешь, говорю тебе, Гиацинт...»

«Я говорю вам, господин Гумпель, я знаю. Ваше превосходительство посылает меня к леди Максфилд... Мне совсем ничего не нужно говорить. Я знаю ваши мысли, даже те, которых вы еще и не думали, и которые, пожалуй, вам и в голову не придут во всю вашу жизнь. Такого слугу, как я, вы нелегко найдете, и я делаю это ради чести и ради образования, и действительно, быть с вами — значит иметь честь и получать образование». При этих словах он высморкался в очень белый носовой платок.

«Гиацинт, — сказал маркиз, — ты отправишься к леди Максфилд, к моей Юлии, и отнесешь ей этот тюльпан — береги его, он стоит пять паоли — и скажешь ей...»

«Я уже знаю...»

«Ты ничего не знаешь! Скажи ей: тюльпан среди прочих цветов...»

«Я знаю, вы хотите сказать ей кое что на языке пвѣтов. Я ведь тоже не раз сочинял лозунги, когда собирал деньги за лотерейные билеты».

«Говорю тебе, Гиацинт, не пужно мне твоих лозунгов. Отнеси этот цветок к леди Максфилд и скажи ей:

Тюльпан среди прочих цветов
Точь-в-точь средь сыров — сыр страккино.
Но больше цветов и сыров
Обожает тебя Гумпелино!

«Как бог мне даст всего хорошего, это хорошо! — воскликнул Гиацинт. — Не мигайте мне, маркиз! Что вы знаете, то и я знаю, и что я знаю, то знаете и вы. До свидания, господин доктор. Я не напоминаю вам о пустячном долге».

С этими словами он спустился опять с холма, бормоча беспрестанно: «Гумпелино — Страккино, Страккино — Гумпелино».

«Это преданный человек, — сказал маркиз, — иначе я давно бы отделался от него, в виду недостаточного понимания им этикета. При вас это ничего. Вы понимаете меня. Как вам нравится его ливрея? На ней позументов на сорок талеров больше, чем на ливрее у слуг Ротшильда. Я испытываю внутреннее удовольствие, когда подумаю, как он у меня совершенствуется. Временами я его сам поучаю для его образования. Часто я говорю ему: что такое деньги? Деньги — круглые, и укатываются, а образование остается. Да, доктор, если я, боже упаси, потеряю мои деньги, все же я останусь большим знатоком искусства, знатоком живописи, музыки, поэзии. Завяжите мне глаза и сведите меня в галерею во Флоренции, и у каждой картины, у которой вы меня остановите, я назову имя живописца, ее написавшего, или по крайней мере школу, к которой принадлежит живописец. Музыка? Заткните мне уши, и я все-таки услышу всякую фальшивую ноту. Поэзия? Я знаю всех актрис Германии, и знаю наизусть всех

поэтов. А природа, тем более! Я проехал двести миль, дни и ночи напролет, чтобы увидеть только одну гору в Шотландии. Но Италия лучше всего. Как вам нравится эта местность? Что за создание! Взгляните на деревья, на горы, на небо, на воду, там внизу, разве все это не нарисовано как будто? Видели вы что-нибудь красивее в театрах? Становишься, так сказать, поэтом! Стихи приходят в голову, сам не знаешь откуда:

Под покровом сумерек, в молчаньи
Дремлет поле, замер дальний гул;
И лишь здесь, в старинном грустном зданьи,
Свой напев кузнечик затянул.

Эти торжественные слова маркиз продекламировал, весь исполненный умиления, с просветленным лицом, глядя вниз, на смеющуюся, светом утра озаренную долину.

Г Л А В А IV

Когда я однажды в прекрасный весенний день прогуливался в Берлине Под Липами, передо мною шли две женщины и долго молчали; наконец одна из них томно вздохнула: «Ах, эти зеленые деревья!» На что другая, молоденькая, спросила с наивным изумлением: «Мамаша, какое вам дело до зеленых деревьев?»

Я не могу не заметить, что хотя обе они и не были одеты в шелк, но все-таки ни в коем случае не принадлежали к черни, да и вообще в Берлине нет черни, разве только в высших сословиях. Что же касается этого наивного вопроса, то он не выходит у меня из памяти. Всегда, когда я ловлю людей на лицемерном восхищении природою и на прочих явных подделках, вопрос этот забавно оживает в моей памяти. Он и теперь вспомнился мне, когда маркиз стал декламировать, и маркиз, угадав насмешку на моих губах, воскликнул недовольно:

«Не мешайте мне — вы ничего не понимаете в том, что естественно, вы надорванный человек, надорванное сердце, так сказать, Байрон».

Любезный читатель, может быть, и ты принадлежишь к числу тех благочестивых птиц, что хором подпевают этой песне о надорванности Байрона, — песне, которую мне вот уже десять лет насвистывают и нашебечивают и которая нашла себе отзвук, как ты только что слышал, даже и в черепе маркиза? Ах, дорогой читатель, если уж хочешь ты жаловаться на эту надорванность, то пожалуйста лучше на то, что весь мир надорван, по самой середине. А так как сердце поэта — центр мира, то в наше время оно тоже должно самым жалостным образом надорваться. Кто хвалится, что сердце его осталось цельным, тот признается только в том, что он обладает прозаичным, далеким от мира, припрятанным в уголок сердцем. Но великая мировая трещина прошла по моему сердцу, и именно потому знаю я, что великие боги милостиво отличили меня среди многих других и признали меня достойным мученического чина поэта.

Когда-то мир был целен, в древности и в средние века; несмотря на внешнюю борьбу существовало все же единство мира и были цельные поэты. Воздадим честь этим поэтам и порадуемся им. Но всякое подражание цельности их есть ложь, ложь, которую насквозь видит всякий здоровый глаз и которая не укроется от насмешки. Недавно с большим трудом добыл я себе в Берлине стихотворения одного из таких цельных поэтов, так горько сетовавшего на мою байроническую надорванность, и его фальшивая свежесть, его нежная восприимчивость к природе, пахнувшая на меня из книги, словно запах свежего сена, так на меня подействовали, что мое бедное сердце, давно уже надорванное, чуть не разорвалось от смеха, и я невольно воскликнул. «Дорогой мой, господин интендантский советник Вильгельм Нейман, какое вам дело до зеленых деревьев?»

«Вы надорванный человек, так сказать Байрон, — повторил маркиз, все еще просветленно глядя в долину

и проводя время от времени языком по небу в благоговейном восхищении. — Боже, боже! Все точно, нарисовано».

Бедный Байрон! В таком безмятежном восхищении тебе было отказано! Было ли сердце твое так испорчено, что ты мог только созерцать природу, изображать ее даже, но не мог принять ее благословения? Или прав Биши Шелли, утверждающий, что ты подсмотрел природу в ее целомудренной наготе и был разорван зато, подобно Актёсну, ее собаками!

Довольно об этом; мы подходим к более приятному предмету, а именно к жилищу синьор Летиции и Франчески, к маленькому белому домику, который как будто еще в неглиже: спереди у него два больших круглых окна, над ними высоко вытянувшиеся виноградные лозы свешивают свои длинные отростки; это похоже на то, будто зеленые волосы пышными кудрями спустились над глазами домика. Уже у дверей доносится до нас звонкая суতোлка, льющиеся трели, аккорды гитары и смех.

Г Л А В А V

Синьора Летиция, пятидесятилетняя юная роза, лежала в постели, напевала и болтала со своими двумя поклонниками, из которых один сидел перед нею на низенькой скамейке, а другой, лежа в большом кресле, играл на гитаре. Из соседней комнаты тоже долетали по временам отрывки нежной песни или еще более нежного смеха. С некоторою, довольно дешевою ирониею, по временам овладевавшею маркизом, представил он меня синьоре и обоим господам, заметив, что я тот самый Иоганн-Генрих Гейне, доктор прав, который так знаменит теперь в немецкой юридической литературе. К несчастью, один из них оказался профессором из Болоньи, и притом юристом, хотя его плавно округленное, полное брюшко свидетельствовало скорее о причастности к сферической тригонометрии. Несколько смущенно я заметил, что пишу не под своим именем, а под

именем Ярке. Я сказал это из скромности, ибо мне пришло в голову одно из самых жалких насекомообразных в нашей юридической литературе. Болонец высказал, правда, сожаление, что не слышал еще этого знаменитого имени — как, вероятно, не слышал и ты, любезный читатель, — но выразил убеждение, что блеск его распространится скоро по всей земле. При этом он откинулся в кресле, взял несколько аккордов на гитаре и запел из «Аксура»:

О Брама могучий!
Прими ты без гнева
Невинность напева,
Напева, напева...

Словно задорно-нежное соловьиное эхо, порхали в соседней комнате звуки такой же мелодии. Синьора Летиция напевала меж тем тончайшим дискантом:

Для тебя пылают щеки,
Кровь играет в этих жилах,
Сердце бьется в муках страсти
Для тебя лишь одного!

И добавила самым жирным и прозаическим голосом: «Бартоло, дай плевательницу».

Тут поднялся со своей низкой скамеечки Бартоло на тощих деревянных ногах и почтительно поднес не совсем чистую плевательницу из синего фарфора.

Этот второй поклонник, как шепнул мне Гумпелино по-немецки, был знаменитым поэтом, которого песни, хотя и написанные двадцать лет тому назад, до сих пор звучат еще по всей Италии и опьяняют и молодых и стариков тем любовным пламенем, которое горит в них; сам же он теперь бедный, состарившийся человек, с бледными глазами на увядшем лице, с седыми волосками на трясущейся голове и с холодом бедности в горестном сердце. Такой бедный старый поэт, в его лысой одеревенелости, похож на виноградник, который случается нам видеть зимою в холодных горах, тощий, лишенный

листвы, дрожащий на ветру и покрытый снегом, в то время как сладкий сок, некогда источенный им, согревает много упивающихся сердец в самых далеких странах и, опьяняя, льет у них хвалы. Кто знает, может быть, типографский станок, этот виноградный пресс мысли, выжмет и меня когда-нибудь, и только в издательском погребке Гоффмана и Кампе можно будет разыскать старый, выцеженный из меня напиток, а сам я, может быть, буду сидеть, такой же худой, и жалкий, как бедный Бартоло, на скамеечке у постели старой возлюбленной и, по ее требованию, буду подавать ей плевательницу.

Синьора Летиция извинилась передо мною, что лежит в постели и притом на животе, ибо нарыв ниже поясицы, вскочивший от неумеренного потребления винных ягод, мешает ей лежать на спине, как приличествует каждой порядочной желщине. В самом деле, она лежала наподобие сфинкса: свою голову с высокою прическою она подпирала обеими руками, а между ними, подобно Красному морю, колыхалась ее грудь.

«Вы немец?» — спросила она меня.

«Я слишком честен, чтобы отрицать это, синьора!» — ответил я грешный.

«Ах, они довольно честны, эти немцы! — вздохнула она. — Но какой толк, что люди, нас грабящие, честны? Они погубят Италию. Мои лучшие друзья посажены в тюрьму в Милане; только рабство...»

«Нет, нет, — воскликнул маркиз, — не жалуйтесь на немцев! Мы, как только являемся в Италию, становимся покоренными покорителями, побежденными победителями; видеть вас, синьора, видеть вас и пасть к вашим ногам — одно и то же». — И, развернув свой желтый шелковый платок и опустив на него колени, он добавил: «Вот, я склоняю перед вами колени и присягаю вам на верность от имени всей Германии!»

«Кристофоро ди Гумпелино! — вздохнула синьора, глубоко тронутая и растаявшая. — Встаньте и обнимите меня!»

Но для того, чтобы милый пастушок не повредил прически и красок своей возлюбленной, она поцеловала его не в пылающие губы, а в милый лоб, так что лицо его пригнулось ниже, и руль, то есть нос, стал вертеться среди Красного моря.

«Синьор Бартоло, — воскликнул я, — позвольте и мне воспользоваться плевательницей!»

Синьор Бартоло грустно улыбнулся, но не сказал ни слова, хотя он, наряду с Меццофанти, считается лучшим преподавателем языков в Болонье. Мы неохотно разговариваем, когда говорить — наша профессия. Он служил синьоре в качестве немого рыцаря, и лишь по временам приходилось ему прочесть стихи, которые он двадцать пять лет тому назад бросил на сцену, когда синьора впервые выступила в Болонье в роли Ариадны. Сам он, возможно, был в то время и пышнокудрым, и пламенным, похожим, может быть, на самого бога Диониса, и его Летиция — Ариадна наверное бросилась ему в юные объятия с жаром вакханки: — Эвоэ, Вакх! Он сочинил в то время еще много любовных стихов, которые, как уже сказано, сохранились в итальянской литературе, между тем как поэт и его возлюбленная давно уже превратились в макулатуру.

На протяжении двадцати пяти лет хранил он свою верность, и, я думаю, он до самой своей блаженной кончины будет сидеть на скамеечке и, по требованию возлюбленной, читать ей свои стихи или подавать плевательницу. Профессор юриспруденции почти столько же времени путается в любовных сетях синьоры, он столь же усердно ухаживает за ней, как в начале этого столетия; он все еще вынужден немилосердно пренебрегать своими академическими лекциями, когда она требует, чтобы он сопровождал ее куда-либо, и все еще несет бремя сервитутов истинного «патито».

Постоянство и верность обоих поклонников этой давно уже пришедшей в упадок красотки являются, может быть, привычкою, может быть, они — дань почтительности по отношению к прежним чувствам, может быть,

это само чувство, ставшее совершенно независимым от нынешнего состояния своего прежнего объекта и созерцающее его лишь глазами воспоминания. Так, часто видим мы на углах улиц в католических городах стариков, склонившихся перед образом Мадонны, столь поблекшим и обветренным, что сохранились лишь немногие следы его и контуры лица, а иногда, пожалуй, даже не видно ничего, кроме ниши, где был образ, и лампадки, висящей над ним; но старые люди, так набожно молящиеся там, с четками в дрожащих руках, слишком уж часто, с юношеских лет своих, преклоняли здесь колени; привычка постоянно гонит их в одно и то же время к одному и тому же месту; они не замечают, как тускнеет их любимый образ, да в конце концов, к старости становясь так слаб зрением и слеп, что совершенно безразлично, виден предмет нашего поклонения или нет. Те, кто верует не видя, счастливее, во всяком случае, чем другие — с острым зрением, тотчас же замечающие мельчайшую морщину на лицах своих мадонн. Нет ничего ужаснее таких открытий! Когда-то, правда, думал я, что всего ужаснее женская неверность, и, чтобы выразиться как можно ужаснее, я называл женщин змеями. Но, увы! Теперь я знаю, что самое ужасное — то, что они не совсем змеи; змеи могут каждый год сбрасывать кожу и в новой коже молодеть.

Почувствовал ли кто-нибудь из этих двух античных селадонов ревность, когда маркиз или, вернее, его нос, плавал вышеописанным образом в блаженстве, я не мог заметить. Бартоло с деревянным спокойствием сидел на своей скамеечке, скрестив свои сухие ножки, и играл с комнатною собачкою синьоры, хорошеньким зверьком из тех, что водятся в Болонье и известны у нас под именем болонки. Профессор невозмутимо продолжал свое пение, заглушаемое порою смешливо-нежными, пародически ликующими звуками из соседней комнаты; время от времени он сам прерывал пение, чтобы обратиться ко мне с вопросами юридического характера.

Когда наши мнения не совпадали, он брал резкие аккорды и бренчал аргументами. Я же все время подкреплял свои мнения авторитетом своего учителя, великого Угго, который весьма знаменит в Болонье под именем Угоне, а также Уголино.

«Большой человек!» — воскликнул профессор, удаляя по струнам и напевая:

Нежный голос, кроткий звук
До сих пор в груди живет,
Сколько светлых, сладких мук,
Сколько счастья он дает!

Тибо, которого итальянцы зовут Тибальдо, также пользовался большим почетом в Болонье; но там знакомы не столько с сочинениями этих ученых, сколько с их основными взглядами и их противоположностью. Я убедился, что Ганс и Савиньи известны тоже только по имени. Последнего профессор принимал даже за ученую женщину.

«Так, так, — сказал профессор, когда я вывел его из этого простительного заблуждения, — так, значит, действительно, не женщина? Мне, значит, не так сказали. Мне говорили даже, что синьор Ганс пригласил когда-то на одном балу эту женщину танцевать, получил отказ, и отсюда возникла литературная вражда».

«В самом деле, вам не так сказали, синьор Ганс вовсе не танцует, и прежде всего из человеколюбия, чтобы не вызвать землетрясения. Приглашение на танец, о котором вы говорите, вероятно, плохо понятая аллегория. Историческая и философская школы представлены в ней в качестве танцоров, и в этом смысле, может быть, понимается кадиль в составе Угоне, Тибальдо, Ганса и Савиньи. И, может быть, в этом смысле говорят, что синьор Угоне, хотя он и *Diable boiteux* * в юриспруден-

* Хромой чорт

ции, проделывает такие же изящные па, как Лемьер, и что синьор Ганс в последнее время проделал несколько высоких прыжков, создавших из него Гоге философской школы.

«Синьор Ганс, — поправил профессор, — танцует, таким образом, лишь аллегорически, так сказать, метафорически».

И вдруг, вместо того чтобы продолжать свою речь, он опять ударил по струнам гитары и запел, как сумасшедший, под сумасшедшее бречание струн

Это имя дорогое
Наполняет нас блаженством.
Если волны бурно стонут,
Если небо в черных тучах, —
Все к Тарару лишь взывает,
Словно мир готов склониться
Перед именем его!

О господине Гешене профессор не знал даже, что он существует. Но это имело свои естественные основания, так как слава великого Гешена не дошла еще до Болоньи, а достигла только Поджо, отстоявшего от нее на четыре немецких мили, где она и задержится на некоторое время для собственного удовольствия. Геттинген далеко не так уж известен в Болонье, как можно было ожидать, хотя бы из чувства благодарности — ведь он именуется обыкновенно немецкой Болоньей. Подходящее ли это название — я не хочу разбирать; во всяком случае, оба университета отличаются один от другого тем простым обстоятельством, что в Болонье самые маленькие собаки и самые большие ученые, а в Геттингене, наоборот, самые маленькие ученые и самые большие собаки.

Г Л А В А VI

Когда маркиз Кристофоро ди Гумпелино вытащил свой нос из Красного моря, как некогда царь Фараон,

лицо его сияло потом и самодовольством. Глубоко расстроганный, он дал обещание синьоре отвезти ее в собственном экипаже в Болонью, как только она в состоянии будет сидеть. Заранее условились, что профессор выедет вперед, а Бартоло поедет вместе с нею в экипаже маркиза, где он очень удобно может поместиться на козлах, держа на руках собачку, и что наконец через две недели можно будет попасть во Флоренцию, куда к тому времени вернется и синьора Франческа, отправляющаяся с миледи в Пизу. Считая по пальцам расходы, маркиз напевал про себя «*Di tanti palpiti*», синьора разражалась громкими трелями, а профессор колотил по струнам гитары и пел при этом такие пламенные слова, что со лба у него катились капли пота, а из глаз слезы, которые соединялись в один поток, сбегавший по его красному лицу. Среди этого пения и брэнчания внезапно распахнулись двери соседней комнаты, и оттуда выскочило существо...

Вас, музы древнего и нового времени, и вас, даже не открытые еще музы, которых почтят лишь последующие поколения и которых я давно почувствовал в лесах и на морях, вас заклинаю я, дайте мне краски, чтобы описать существо, которое, на ряду с добродетелью, великолепнее всего на свете. Добродетель, само собою разумеется, занимает первое место среди всяческого великолепия; творец украсил ее столькими прелестями, что, казалось, он не в силах создать что-либо столь же великолепное; но тут он еще раз собрался с силами и в одну из светлых минут своих сотворил синьору Франческу, прекрасную танцовщицу, величайший свой шедевр после создания добродетели; при этом он ни в малейшей мере не повторился, подобно земным маэстро, чьи позднейшие произведения отражают позаимствованный у более ранних блеск, — нет, синьора Франческа — подлинный оригинал, не имеющий ни малейшего сходства с добродетелью, и существуют знатоки, считающие ее столь же великопешной и признающие за добродетелью, созданной несколько ранее, лишь право перво-

родства. Но такой ли уж это большой недостаток для танцовщицы — быть слишком юною, тысяча на шесть лет?

Ах, я вижу ее опять — как впрыгнула она из распахнувшейся двери на середину комнаты, в тот же момент повернулась бесчисленное количество раз на одной ноге, бросилась во всю длину на софу, прикрыла обеими руками глаза и, едва дыша, произнесла: «Ах, как я устала спать!» Тут подошел маркиз и произнес длинную речь в своей иронической, пространно-почтительной манере, составляющей такой загадочный контраст с его немногословной сжатостью при деловых разговорах и с его способностью бессильно растекаться в моменты сентиментального возбуждения. И все-таки эта манера не была искусственной; возможно, что она выработалась в нем естественным путем, благодаря тому, что ему нехватало смелости открыто заявлять первенство, на которое, по его мнению, давали ему права его деньги и его ум, и он трусливо маскировал их выражениями самой преувеличенной покорности. В широкой улыбке его в таких случаях было что-то неприятно-забавное, и трудно было решить, следует ли побить его или похвалить. В таком именно стиле и была его утренняя речь, обращенная к синьоре Франческе, едва слушавшей его спросонья, и когда в заключение он попросил позволения поцеловать ее ноги, или по крайней мере одну левую ножку, и заботливо разостлал затем в этих целях на полу свой желтый шелковый носовой платок и опустил на него колени, она равнодушно протянула ему левую ногу, обутую в прелестный красный башмачок, в противоположность правой, на которой башмачок был голубой — забавное кокетство, имевшее целью подчеркнуть еще заметнее милую, изящную форму ножек. Маркиз благоговейно поцеловал ножку, поднялся с пола с тяжким вздохом: «Иисусе!» — и попросил разрешения представить меня, своего друга, каковое разрешение и было дано ему с тем же зевком; он не поскупился на похвалы по адресу моих достоинств

и заверил словом дворянина, что я очень удачно воспел несчастную любовь.

Я, с своей стороны, тоже испросил соизволение синьоры поцеловать ее левую ножку, и в тот момент, когда я удостоился этой чести, она, как будто пробудившись от дремоты, с улыбкой наклонилась ко мне, посмотрела на меня большими, удивленными глазами, выскочила, ликуя, на середину комнаты, и опять бесчисленное количество раз повернулась на одной ноге. Изумительная вещь: я почувствовал, что и сердце мое вертится вместе с нею, почти до обморока. А профессор весело ударил по струнам гитары и запел:

Примадонна меня полюбила
И в мужья себе определила,
И вступили мы в брак с нею вскоре.
Горе мне, бедному, горе!
Но пришли мне на помощь пираты,
И я продал ее за дукаты,
Без дальнейшего с ней разговора.
Браво! браво! синьора!

Синьора Франческа еще раз окинула меня пристальным и испытующим взглядом с головы до ног и затем с довольным выражением лица поблагодарила маркиза, как будто бы я был подарком, который он любезно преподнес ей. Особых возражений против него она не находила: только волосы мои, пожалуй, слишком уж светлокаштановые, ей хотелось бы потемнее, как у аббата Чекко, и глаза мои показались ей слишком маленькими и скорее зелеными, чем голубыми. В отместку следовало бы и мне, дорогой читатель, изобразить синьору Франческу в столь же неприглядном виде, но, право, я ничего не мог бы сказать дурного относительно прелестей ее почти легкомысленно созданной грациозной фигуры. И лицо было божественно соразмерно, наподобие греческих статуй; лоб и нос составляли одну отвесную прямую линию, с которою нижняя линия

носа, удивительно короткая, образовала восхитительный прямой угол; столь же коротко было расстояние от носа до рта, а губы едва соприкасались с обоих концов и дополнялись мечтательно улыбкою; под ними выдавался прелестный полный подбородок, а шея... Ах, мой скромный читатель, я захожу слишком далеко, а кроме того при этом вступительном описании я, как вновь посвящаемый, не имею права распространиться о двух безмолвных цветках, сиявших как чистейшая поэзия в момент, когда синьора расстегивала на шее серебряные пуговицы своего черного шелкового платья. Любезный читатель, поднимемся опять выше и займемся описанием лица, о котором я могу сообщить дополнительно, что оно было прозрачно и бледножелто, как янтарь, что оно по-детски округлялось черными волосами, спускавшимися над висками блестящими гладкими овалами, и волшебным освещено было двумя черными быстрыми глазами.

Ты видишь, любезный читатель, что я готов бы самым основательным образом дать тебе топографию моего блаженства, и, наподобие того, как другие путешественники прилагают к трудам своим отдельные карты местностей, важных в историческом или примечательных в каком-либо ином отношении, так и я охотно дал бы гравированный на меди портрет Франчески. Но — увы! — что толку в мертвой передаче внешних контуров, когда божественное обаяние форм заключается в жизни и движении. Лучший живописец не в состоянии передать наглядно этого обаяния, ибо живопись, в сущности, плоская ложь. Скульптор скорее способен на это; при изменчивом освещении мы можем, до некоторой степени, представить себе формы статуй в движении, и факел, бросающий на них свой свет лишь извне, как бы оживляет их изнутри. И существует статуя, которая могла бы дать тебе, любезный читатель, мраморное представление о великолепии Франчески — это Венера великого Кановы, которую ты можешь видеть в одном из последних зал Палаццо Питти во Флоренции. Я часто вспо-

минаю теперь об этой статуе; иногда грезится мне, что она лежит в моих объятиях и оживает постепенно и начинает наконец шептать что-то голосом Франчески. Но то, что делало каждое ее слово таким прелестным, бесконечно значительным — это был звук этого голоса; и если бы я привел здесь самые слова, то получился бы лишь засохший гербарий из цветов, вся великая ценность которых была в запахе. Часто, говоря, она подпрыгивала и танцевала; может быть, танец и был ее истинным языком. А мое сердце неизменно танцевало вместе с нею и проделывало труднейшие па и проявляло при этом столько таланта, сколько я никогда не подозревал в нем. Таким именно способом рассказала мне Франческа и историю аббата Чекко, молодого парня, влюбившегося в нее, когда она еще плела соломенные шляпы в долине Арно; при этом она уверяла, что мне выпало счастье быть похожим на него. Она сопровождала все это нежнейшими пантомимами, время от времени прижимала кончики пальцев к сердцу, как бы черпая оттуда нежнейшие чувства, плавно бросалась затем всей грудью на софу, прятала лицо в подушки, протягивала ноги кверху и играла ими, как деревянными марионетками. Голубая ножка должна была представлять аббата Чекко, красная — бедную Франческу, и, пародируя свою собственную историю, она изображала, как расстаются две бедные влюбленные ножки; это было трогательное и вместе с тем, глупейшее зрелище — обе ноги касались носками, обмениваясь поцелуями и словами нежностей — при этом сумасшедшая девушка заливалась забавными, попеременно с хихиканьем, слезами, которые, однако, по временам бессознательно исходили из глубины несколько большей, чем требовала роль. В порыве комического, болезненного задора она изображала, как аббат Чекко держит длинную речь и в педантических метафорах превозносит красоту бедной Франчески, и манера, в которой она, в роли бедной Франчески, отвечала ему и копировала свой собственный голос, с отзвуком былой сентиментальности, заключала

в себе что-то болезненно-марионеточное, удивительно волновавшее меня. Прощай, Чекко, прощай Франческа! — было постоянным припевом. Влюбленные ножки не хотели расстаться, и я наконец обрадовался, когда неумолимая судьба разлучила их, ибо слабое предчувствие подсказывало мне, что было бы несчастьем для меня, если бы влюбленные так и остались вместе.

Профессор зааплодировал на гитаре, шутовски дергая струнами, синьора стала выводить трели, собачка залаяла, маркиз и я стали хлопать в ладоши, как сумасшедшие, а синьора Франческа встала и благодарно раскланялась.

«Это, право, недурная комедия, — сказала она мне, — но прошло уже много времени с тех пор, как она была поставлена, да и сама я состарилась, — угадайте-ка, сколько мне лет?»

Но тут же, отнюдь не дожидаясь моего ответа, быстро проговорила «восемнадцать» — и при этом восемнадцать раз повернулась на одной ноге.

«А сколько вам лет, *dottore*?»*

«Я синьора, родился в ночь на новый тысяча восьмисотый год.

«Я ведь говорил уже вам, — заметил маркиз, — это один из первых людей нашего века».

«А сколько, по-вашему, мне лет?» — внезапно воскликнула синьора Летиция и, не помышляя о своем костюме Евы, скрытом доселе под одеялом, страстно поднялась при этом вопросе так высоко, что показалось не только Красное море, но и вся Аравия, Сирия и Месопотамия.

Отпрянув в испуге от столь ужасного зрелища, я пробормотал несколько фраз о том, как затруднительно разрешить этот вопрос, ибо ведь я видел синьору только наполовину; но так как она продолжала настаивать, то я принужден был сказать правду, именно, что

* доктор

я не знаю соотношения между годами итальянскими и немецкими.

«А разве разница велика?» — спросила синьора Летиция.

«Конечно, — отвечал я, — так как тела расширяются от теплоты, то и годы в жаркой Италии гораздо больше, чем в холодной Германии».

Маркиз более удачно вывел меня из затруднительного положения, любезно удостоверив, что только теперь красота ее распустилась в пышной зрелости.

«И подобно тому, синьора, — добавил он, — как померанец, чем старше, тем желтее, так и красота ваша с каждым годом становится более зрелою».

Синьора, казалось, удовлетворилась этим сравнением и, с своей стороны, призналась, что действительно чувствует себя более зрелою, чем прежде, особенно по сравнению с тем временем, когда она была еще тоненькою и впервые выступала в Болонье, и что ей до сих пор непонятно, как она с такою фигурою могла вызвать такой фурор. Тут она рассказала о своем дебюте в роли Ариадны; к этой теме, как я узнал потом, она очень часто возвращалась. По этому случаю синьор Бартоло должен был продекламировать стихи, брошенные ей тогда на сцену. Это были хорошие стихи, полные трогательной скорби по поводу вероломства Тезея, полные слепого воодушевления Вакхом и цветистых похвал в честь Ариадны. «*Bella cosa!*» * — восклицала синьора Летиция после каждой строфы. Я тоже хвалил и образы, и стихи, и всю трактовку мифа.

«Да, миф прекрасный, — сказал профессор, — и в основе его лежит, несомненно, историческая истина; некоторые авторы досконально удостоверяют, что Эней, один из жрецов Вакха, обвенчался с тоскующей Ариадною, встретив ее покинутою на острове Наксосе, и, как часто случается, в легенде жрец бога заменен самим богом».

* «Прекрасно!»

Я не мог присоединиться к такому мнению, так как склоняюсь, в области мифологии, на сторону исторического толкования, и потому возразил:

«В фабуле мифа, в том, что Ариадна, покинутая Тезеем на острове Наксосе, бросается в объятия Вакха, я вижу не что иное, как аллегорию: будучи покинута, она предалась пьянству — гипотеза, которую разделяют многие мои соотечественники ученые. Вы, господин маркиз, знаете, вероятно, что покойный банкир Бетман постарался, в смысле этой гипотезы, так осветить свою Ариадну, что она казалось красноносою».

«Да, да, франкфуртский Бетман был великий человек! — воскликнул маркиз. В тот же миг, однако, что, повидимому, более важное, пришло ему в голову, и он, вздохнув, пробормотал: — Господи, господи, я позабыл написать во Франкфурт Ротшильду!» — И с серьезным деловым лицом, с которого исчезло всякое шутовское выражение, он быстро, без долгих церемоний, простился, пообещав вернуться вечером.

Когда он исчез и я только что собрался, как принято в этом мире, сделать свои замечания о человеке, благодаря любезности которого завязал столь приятное знакомство, я, к своему удивлению, нашел, что все не могут нахвалиться им и в особенности превозносят в самых преувеличенных выражениях его пристрастие к красоте, его благородные, изящные манеры и бескорыстие. Синьора Франческа тоже присоединилась к общему хору, но призналась, что нос его внушает ей некоторое беспокойство и всегда напоминает ей Пизанскую башню.

Прощаясь, я снова просил удостоить меня милостивого соизволения поцеловать ее левую ногу, и она, с серьезною улыбкою, сняла красный башмачок, а также и чулок; а когда я склонился, она протянула мне свою белую цветущую лилейную ножку, которую я и прижал к губам с большею верою, чем если бы проделал то же самое с ногою папы. Само собою разумеется, я взял на себя также роль камеристки и помог ей надеть чулок и башмак.

«Я довольна вами, — сказала синьора Франческа, когда дело было сделано, при чем я не слишком спешил, хотя и работал всеми десятью пальцами, — я довольна вами, вы можете почаще надевать мне чулки. Сегодня вы поцеловали мне левую ногу, завтра к вашим услугам правая. Послезавтра вы можете уже поцеловать мне левую руку, а день спустя — и правую. Если будете вести себя хорошо, то впоследствии к вашим услугам и мои губы, и т. д. Видите, я охотно поощряю вас, а так как вы еще молоды, то можете далеко пойти».

И я далеко пошел! Будьте в том свидетелями вы, то-сканские ночи, и ты, светлосинее небо с большими серебряными звездами, и вы, дикие лавровые поросли и таинственные мирты, и вы, апеннинские нимфы, порхавшие вокруг нас в свадебной пляске и грезами уносившиеся в лучшие времена — времена богов, когда не существовало еще готической лжи, разрешающей лишь слепые наслаждения, ощупью, в укромном уголке и прикрывающей своим лицемерным фиговым листком всякое свободное чувство.

Не было нужды в отдельных фиговых листках — целое фиговое дерево, с широко раскинувшимися ветвями, шелестело над головами счастливых.

Г Л А В А VII

Что такое побои — это известно, но что такое любовь — до этого никто еще не додумался. Некоторые натурфилософы утверждали, что это особый род электричества. Возможно — ибо в момент, когда влюбляешься, кажется, будто электрический луч из глаз возлюбленной поразил внезапно твое сердце. Ах! эти молнии самые губительные, и того, кто найдет для них отвод, я готов поставить выше Франклина. Если бы существовали небольшие громоотводы, которые можно было бы носить на сердце, с иглой, по которой можно было бы отводить ужасное пламя куда-нибудь в сторо-

ну! Но боюсь, что отнять стрелы у маленького Амура не так легко, как молнии у Юпитера и скипетры у тиранов. Кроме того, не всегда любовь поражает молниеносно, иной раз она подстерегает, как змея под розами, и высматривает малейшую щель в сердце, чтобы проникнуть туда; иногда это — одно только слово, один взгляд, рассказ о чем-нибудь незначительном, и они западают в наше сердце, как блестящее зерно, лежат там спокойно всю зиму, пока не наступит весна, и маленькое зерно не распустится в огненный цветок, аромат которого пьянит голову. То самое солнце, что выводит из яиц крокодилов в Нильской долине, способно одновременно довести до состояния полной зрелости посев любви в юном сердце, где-нибудь в Потсдаме, на Гафеле — и тут-то польются слезы и в Египте и в Потсдаме! Но слезы далеко еще не объяснение... Что такое любовь? Никто не определил еще ее сущности, не разрешил загадку. Быть может, разрешение ее принесло бы большие муки, чем сама загадка, и сердце ужаснулось бы и оцепенело, как при виде Медузы. Змеи вьются клубком вокруг страшного слова, разрешающего загадку... О, я не хочу никогда знать этого разрешающего слова! Жгучая боль в моем сердце дороже мне все-таки, чем холодное оцепенение. О, не произносите его, тени умерших, вы, что блуждаете по розовым садам, не зная боли, как камни, но и не чувствуя ничего, как камни, и бледными устами улыбаетесь при виде молодого глупца, превозносящего аромат роз и жалующегося на шипы.

Но если я не могу, любезный читатель, сказать тебе, что такое собственно любовь, то я мог бы тебе подробно порассказать, как ведет себя и как чувствует себя человек, влюбившийся в Апеннинах. А именно, он ведет себя как дурак, пляшет по холмам и скалам и думает, что весь мир пляшет вместе с ним. А чувствует он себя при этом так, будто мир сотворен только сегодня, и он первый человек. Ах, как прекрасно все это! — ликовал я, покинув жилище Франчески. Как прекрасен, как чудесен этот новый мир! Казалось, я должен был дать

имя каждому растению и каждому животному, и я придумывал наименования для всего окружающего в соответствии с внутреннею его природою и с моим собственным чувством, которое так чудесно сливалось с внешним миром. Грудь моя была как источник откровения; я понимал все формы, все образы, запах растений, пение птиц, свист ветра и шум водопадов. Порою слышал я также божественный голос: «Адам, где ты?» — «Здесь, Франческа, — отвечал я тогда, — я боготворю тебя, так как наверное знаю, что ты сотворила солнце, луну и звезды, и землю со всеми ее тварями!» Тут в миртовых кустах раздавался смех, и я тайно вздыхал: «Сладостное безумие, не покидай меня!»

Позже, когда наступили сумерки, началось настоящее безумие блаженной влюбленности. Деревья на горах не танцевали уже в одиночку, сами горы танцевали своими тяжеловесными вершинами, освещенными заходящим солнцем таким багровым цветом, что казалось, они опьянены собственным виноградом. Ручей внизу стремительнее катил свои воды вперед и боязливо шумел, как бы опасаясь, что восторженно колышущиеся горы обрушатся вниз. А зарницы сверкали при этом так нежно, как светлые поцелуи. «Да, — воскликнул я, — небо, смеясь, целует возлюбленную — землю. О, Франческа, прекрасное небо мое, пусть я буду твоею землею! Весь я такой земной и тоскую по тебе, небо мое!» Так восклицая, простирал я с мольбою объятия и нагибался головою на деревья, которые и обнимал, вместо того, чтобы бранить их, и душа моя ликовала в опьянении любовью, — как вдруг увидел я ослепительно-красную фигуру, разом вырвавшую меня из мира грез и вернувшую в мир самой прохладительной действительности.

Г Л А В А VIII

На дерновом выступе, под раскидистым лавровым деревом, сидел Гиацинт, служитель маркиза, а подле него

Аполлон, его собака. Последняя скорее стояла, положив передние лапы на огненно-красные колени маленького человечка, и с любопытством наблюдала, как Гиацинт, с грифельною доскою в руке, время от времени что-то писал на ней, и скорбно улыбался, качая головою, глубоко вздыхал и потом самодовольно сморкался.

«Что за чорт! — воскликнул я, — Гириш-Гиацинт! Ты сочиняешь стихи? Что же, знамения благоприятны! Аполлон рядом с тобою, а лавры висят уже над твоею головою».

Но я оказался несправедливым к бедняге. Кротко ответил он мне:

«Стихи? Нет, я люблю поэзию, но сам не пишу стихов. Да и что мне писать? Сейчас мне нечего было делать, и чтобы поразвлечься я составил для себя список всех друзей, кто когда-либо покупал у меня лотерейные билеты. Некоторые из них даже и должны мне еще кое-что — не подумайте только, господин доктор, что я напоминаю вам, время терпит, вы человек верный. Если бы вы в последний раз сыграли на 1364-й, а не на 1365-й номер, то были бы человеком с капиталом в сто тысяч марок, и незачем вам было бы таскаться по здешним местам, и вы могли бы спокойно сидеть в Гамбурге, спокойно и благополучно, сидеть на софе и слушать рассказы о том, какова Италия. Как бог свят! Я не приехал бы сюда, если бы не хотел сделать удовольствие господину Гумпелю. Ах! сколько жары и опасностей, и сколько усталости приходится вытерпеть, и ведь, если только где-нибудь дело идет о том, чтобы перехватить через край или посумасбродничать, то господин Гумпель тут как тут, и я должен следовать за ним. Я бы уже давно ушел от него, если бы он мог обойтись без меня. Ведь кто потом будет рассказывать дома, сколько чести и сколько образованности приобрел он в чужих краях? Сказать правду, я и сам начинаю придавать много значения образованности. В Гамбурге я, слава богу, в ней не нуждаюсь, но ведь, как знать, иной раз можно попасть и в другое место. Мир теперь совсем другой.

И они правы: немножко образованности украшает человека. А как тебя уважают! Леди Максфилд, например, как она принимала меня сегодня утром и какое оказала уважение! Совсем так, как своего ровню. И дала мне на-чай один франческони, хотя весь цветок стоил пять паоли. Кроме того, уже одно удовольствие — держать в руках маленькую белую ножку красивой дамы!»

Я немало был смущен последним замечанием и тотчас же подумал, не укол ли это? Но как мог плутишка узнать о счастье, выпавшем мне на долю только сегодня, в то самое время, когда он находился на противоположном склоне горы? Или там происходила подобная же сцена, и ирония великого мирового драматурга там, в небесах, выразилась в том, что он разыграл сразу тысячу одинаковых, пародирующих одновременно одну другую сцен к удовольствию небесных воинств? Но то и другое предположения оказались неосновательными, ибо после долгих, многократных расспросов и после того как я обещал ничего не говорить маркизу, бедняга признался, что леди Максфилд лежала в постели, когда он передал ей тюльпан, и в тот момент, когда он собрался произнести свое великолепное приветствие, показала на свет босая ее ножка; и так как он заметил на ней мозоли, то тотчас же попросил позволения срезать их, что и было разрешено и затем вознаграждено одним франческони, включая сюда на-чай за доставку тюльпана.

«Но все это — ради одной лишь чести, — добавил Гиацинт, — я сказал это и барону Ротшильду, когда удостоился чести срезать ему мозоли. Это было в его кабинете; он сидел в своем зеленом кресле, как на троне, произносил слова, как король, вокруг него стояли его маклеры, и он отдавал распоряжения и рассылал эстафеты ко всем королям, а я, срезая ему мозоли, думал в это время про себя: сейчас в твоих руках нога человека, который сам держит в руках целый мир, ты теперь тоже важный человек; если ты резнешь здесь, внизу, слишком глубоко, то он придет в дурное настроение

и станет там, наверху, еще сильнее резать самых могучих королей. Это был счастливейший момент моей жизни!»

«Могу себе представить это чудесное ощущение, господин Гиацинт! Но над кем же из ротшильдской династии производили вы такую ампутацию? Не над великодушным ли британцем из Ломбардстрита, учредившим ломбард для императоров и королей?»

«Разумеется, господин доктор, я имел в виду великого Ротшильда, великого Натана Ротшильда, Натана Мудрого, у которого бразильский император заложил свою алмазную корону. Но я имел честь познакомиться также и с бароном Соломоном Ротшильдом во Франкфурте, и если я не удостоился близости к его ногам, то все же он ценил меня. Когда господин маркиз сказал ему, что я был когда-то лотерейным маклером, барон ответил весьма остроумно: «Я ведь и сам в этом роде, я главный маклер ротшильдской лотереи и мой коллега, ей-ей, не должен обедать с прислугой, пусть он сядет за стол рядом со мною!» — И вот, пусть меня накажет господь бог, господин доктор, если я не сидел подле Соломона Ротшильда, и он обращался со мною совсем как с равным, совсем фамильонерно. Я был у него также на знаменитом детском балу, про который писали в газетах. Такой роскоши мне уж не видать в жизни! Ведь я был и в Гамбурге на одном балу, стоившем тысячу пятьсот марок восемь шиллингов, но это все равно, что куриный помет по сравнению с целой навозной кучей. Сколько видел я там золота, серебра и брильянтов! Сколько орденов и звезд! Орден Сокола, Золотое руно, орден Льва, орден Орла — и даже на одном совсем маленьком ребенке, я вам говорю — на совсем маленьком ребенке, был орден Слона. Дети были прекрасно замаскированы и играли в займы, и были одеты королями, с коронами на головах, а один большой мальчик был одет в точности старым Натаном Ротшильдом. Он очень хорошо справлялся с делом, держал руки в карманах брюк, звенел золотом, недовольно покачивался, когда кто-нибудь из маленьких королей просил займы, и только

одного маленького, в белом мундире и красных штанах, ласково гладил по щекам и хвалил: «Ты моя радость, прелесть моя, роскошь моя, но пусть твой кузен Михель отстанет от меня, я ничего не дам взаймы этому дураку, тратящему в день больше людей, чем отпущено ему на целый год; благодаря ему, произойдет еще несчастье на земле, и дело мое пострадает». Пусть накажет меня господь, мальчик великолепно справлялся с делом, особенно когда поддерживал толстого ребенка, укутанного в белый атлас с настоящими серебряными лилиями, и время от времени говорил ему: «Ну-ну, ты, ты, веди себя хорошо, живи честным трудом, позаботься, чтобы тебя опять не выгнали, а то я потеряю свои деньги!» Уверяю вас, господин доктор, слушать этого мальчика было одно удовольствие, да и другие дети, сплошь прелестные дети, справлялись с делом очень хорошо — пока не принесли пирог, тогда они начали спорить из-за лучшего куска, срывать друг с друга короны, кричать и плакать, а некоторые даже...»

Г Л А В А IX

Нет ничего скучнее на этом свете, чем читать описание италийского путешествия — разве только описывать такое путешествие, и автор может сделать свой труд до некоторой степени сносным, только говоря как можно меньше о самой Италии. Несмотря на то, что я в полной мере использовал эту уловку, я не могу обещать тебе, любезный читатель, много интересного в последующих главах. Если ты начнешь томиться, читая скучную историю, которая окажется там, то утешься тем, что мне пришлось даже написать эту историю. Советую тебе время от времени пропускать несколько страниц, и ты скорее дойдешь до конца книги — ах, если бы и я мог поступить так! Не думай только, что я шучу. Если уж высказывать свое искреннее мнение об этой книге, то советую тебе закрыть ее теперь же и вовсе не читать .

далее. В другой раз я напишу тебе кое-что получше, и если в следующей книге, в «Городе Лукке», мы снова встретимся с Матильдой и Франческой, то их милые образы больше привлекут и позабавят тебя, чем в настоящей главе и в последующих.

Слава богу, под моим окном весело заиграла шарманка! Для моей затуманенной головы необходимо такое приятное впечатление, тем более, что мне предстоит описать визит к его превосходительству маркизу Кристофоро ди Гумпелино. Я поведаю эту трогательную повесть совершенно точно, дословно верно, во всей ее неопытнейшей чистоте.

Было уже поздно, когда я достиг жилища маркиза. Когда я вошел в комнату, Гиацинт стоял один и чистил золотые шпоры своего барина, который, как заметил я сквозь полуоткрытые двери его спальни, лежал распростертый перед Мадонною и большим распятием.

Тебе надлежит знать, любезный читатель, что маркиз, человек знатный, стал теперь добрым католиком, что он строго выполняет обряды единоспасающей церкви и даже держит при себе, бывая в Риме, особого капеллана, по той же причине, по которой он содержит в Англии лучших рысаков, а в Париже — самую красивую танцовщицу.

«Господин Гумпель сейчас молится, — прошептал Гиацинт с значительной улыбкой, и еще тише добавил, указав на кабинет своего барина: — Так он и лежит каждый вечер два часа на коленях перед Примадонной с младенцем Иисусом. Это великолепное произведение искусства, и обошлось ему в шестьсот франчесconi».

«А вы, господин Гиацинт, почему не стоите на коленях позади него? Или вы, может статься, не сторонник католической религии?»

«Я сторонник ее и в то же время не сторонник, — ответил Гиацинт, глубокомысленно покачав головою: — Это хорошая религия для знатного барона, свободного по целым дням, и для знатока искусства, но эта религия — не для гамбургского жителя, человека, занятого

своим делом, и уж во всяком случае не религия для лотерейного мажера. Я должен совершенно точно записать каждый разыгрываемый номер, и если я случайно начну думать о бум! бум! бум! — о католическом колоколе или перед глазами повеет католическим ладаном, и я ошибусь и напишу не то число, то может произойти большое несчастье. Я часто говорю господину Гумпелю: «Ваше превосходительство — богатый человек и можете быть католиком сколько вам угодно, и можете затуманивать свой рассудок ладаном совсем по-католически, и можете быть глупым, как католический колокол, и все-таки вы будете сыты; но я деловой человек и должен держать в порядке свои семь чувств, чтобы кое-что заработать». Правда, господин Гумпель полагает, что это необходимо для образованности, и если я не католик, то мне не понять картин, составляющих принадлежность образованности, — ни Джованни да Фесселе, ни Корретшио, ни Карратшио, ни Карраватшио — но я всегда думал, что ни Корретшио, ни Карратшио, ни Карраватшио не помогут мне, если никто не станет брать у меня лотерейных билетов, и я попаду тогда в Патшио*. Кроме того, я должен признаться вам, господин доктор, что католическая религия не доставляет мне даже никакого удовольствия, и вы, как человек рассудительный, согласитесь со мною. Я не вижу, в чем тут прелесть; это такая религия, как будто господь бог, боже сохрани, только что умер и от него пахнет ладаном, как от погребальной процессии, и при этом гудит такая унылая похоронная музыка, что можно впасть в меланхолику — и я говорю вам, эта религия не для гамбургского жителя».

«Но как вам нравится протестантская религия, господин Гиацинт?»

* Игра слов: Гиацинт переделывает немецкое слово *Patsche* в итальянское Патшио (по-немецки *in die Patsche kommen* — значит «попасть в затруднительное положение»). При этом Гиацинт перевирает имена итальянских живописцев Корреджо, Караччи, Караваджо, Джованни да Фиезоле.

«Она, наоборот, чересчур уж разумна, господин доктор, и если бы в протестантской церкви не было органа, то она и вовсе не была бы религией. Между нами говоря, эта религия безвредна и чиста, как стакан воды, но и пользы от нее нет. Я попробовал ее, и эта проба обошлась мне в четыре марки четырнадцать шиллингов».

«Как так, любезный господин Гиацинт?»

«Видите ли, господин доктор, я подумал: это очень просвещенная религия и ей нехватает мечтаний и чудес, а между тем, немножечко мечтаний должно бы быть, и должна она творить хотя бы совсем маленькие чудеса, если желает выдавать себя за порядочную религию. Но кто ж тут будет творить чудеса? — подумал я, осматривая однажды в Гамбурге протестантскую церковь, принадлежащую к жанру самых голых, где нет ничего, кроме коричневых скамеек и белых стен, а на стене висит только черная дощечка с полудюжиной белых цифр. Ты несправедлив к этой религии, — подумал я опять, — может быть, эти цифры могут совершить чудо не хуже, чем образ божией матери, или кость ее мужа, святого Иосифа, и чтобы дознаться, в чем суть, я отправился в Альтону и поставил в альтонской лотерее на эти именно числа — на амбу поставил восемь шиллингов, на терну — шесть, на кватерну — четыре и на квинтерну — два шиллинга. Но, честью моею уверяю вас, не вышло ни одного протестантского номера. Теперь я знал, что мне думать: теперь, подумал я, не нужно мне религии, которая ничего не может, у которой не выходит даже амба — неужели же я буду дураком и вверю этой религии, на которой я потерял уже четыре марки и четырнадцать шиллингов, еще и все свое блаженство?»

«Старая еврейская религия представляется вам, конечно, более целесообразною, любезный?»

«Господин доктор, отстаньте от меня со старой еврейскою религией, ее я не пожелал бы и злейшему своему врагу. От нее никакого толку — один лишь стыд и срам. Я вам говорю, это не религия вовсе, это несчастье. Я избегаю всего, что может мне о ней напомнить, и так

как Гирш — еврейское слово и по-немецки будет Гиацинт, то я даже отделался от прежнего Гирша и подписываюсь теперь: «Гиацинт, коллектор, оператор и таксатор». Кроме того, здесь еще и та выгода, что на моей печати стоит уже буква Г, и мне незачем заказывать новую. Уверяю вас, на этом свете много зависит от того, как тебя зовут, имя много значит. Когда я подписываюсь: «Гиацинт, коллектор, оператор и таксатор», то это звучит совсем иначе, чем если бы я написал просто Гирш, и уж тогда со мною нельзя обращаться как с обыкновенным проходимцем».

«Любезный господин Гиацинт! Кто бы стал с вами так обращаться! Вы, повидимому, так много сделали для своего образования, что в вас сразу видно образованного человека, прежде чем вы откроете рот, чтобы заговорить».

«Вы правы, господин доктор, я зашел в образованности так далеко, как какая-нибудь великанша. Я, право, не знаю, когда я вернусь в Гамбург, с кем мне там водить знакомство; а что касается религии, то я знаю, что мне делать. Пока что, я могу удовольствоваться новою еврейскою синагогою; я имею в виду чистейшее мозаическое богослужение, с правильным орфографическим немецким пением и трогательными проповедями и с кое-какими мечтаницами, которые безусловно необходимы для всякой религии. Накажи меня бог, мне не нужно лучшей религии, и она заслуживает того, чтобы ее поддерживали. Я буду делать свое дело, и когда вернусь в Гамбург, то по субботам, когда не будет розыгрыша, всегда буду ходить в новую синагогу. Находятся, к несчастью, люди, распространяющие дурную славу об этом новом еврейском богослужении и утверждающие, что оно дает, с позволения сказать, повод к расколу, но могу уверить вас, это — хорошая, чистая религия, слишком еще хорошая для простого человека, для которого старая еврейская религия, может быть, все еще очень полезна. Простому человеку нужна для счастливого самочувствия какая-нибудь

глупость, и он счастлив со своею глупостью. Этаким старым еврей с длинною бородою и в разорванном сюртуке, который не может сказать двух слов орфографически правильно, и даже слегка паршив, внутренне счастливее, чем я со всею моею образованностью. Вот в Гамбурге, на Булочной улице, с краю, живет человек по имени Мойсей Люмп; его зовут также Мойсей Люмпхен, или, короче, Люмпхен *; он целую неделю бегаёт по городу, в дождь и ветер, с узелком на спине, чтобы заработать свои две-три марки, и когда в пятницу вечером он возвращается домой, то его ждёт зажженная лампа с семью светильниками и стол, накрытый белою скатертью, и он сбрасывает свой узелок и свои заботы, и садится за стол со своею кривою женой и еще более кривою дочерью, и ест вместе с ними рыбу, сваренную в приятном белом чесночном соусе, распевает при этом великолепные псалмы царя Давида, радуется от всего сердца исходу детей израилевых из Египта, радуется также тому, что все злодеи, причинявшие им зло, в конце концов перемерли, что нет в живых ни царя Фараона, ни Навуходоносора, ни Амана, ни Антиоха, ни Тита, ни других им подобных, а вот он — Люмпхен жив и ест рыбу, с женою и дочерью. И я скажу вам, господин доктор, рыба — деликатес, и сам он счастлив; ему не приходится мучить себя образованностью, он сидит, довольный своей религией и своим зеленым халатом, как Диоген в своей бочке; он с удовольствием смотрит на свои свечи, которых даже и не оправляет сам... И я говорю вам, если свечи горят немножко тускло и нет вблизи шабашевой женщины, которая их оправляет, и если бы вошел в этот момент Ротшильд Великий со всеми своими маклерами, дисконтерами, экспедиторами и заведующими конторами, при помощи которых он завоевал мир, и сказал бы: «Мойсей Люмп, проси у меня милости, все что ты пожелаешь, будет исполнено», —

* Игра слов: Lump — по-немецки «босьяк», Люмпхен — уменьшительное от Люмп — значит «босьячок».

господин доктор, я убежден, Моисей Люмп спокойно отвел бы: «Оправь свечи!» — и Ротшильд Великий сказал бы с изумлением: «Не будь я Ротшильдом, я хотел бы быть таким Люмпхеном».

В то время как Гиацинт развивал таким образом, эпически растекаясь по обыкновению, свои взгляды, маркиз поднялся со своих молитвенных подушек и подошел к нам, все еще бормоча в нос «Отче наш». Гиацинт задернул зеленой занавесью образ Мадонны, висевшей над аналоем, потушил две восковые свечи, горевшие перед ним, снял медное распятие, вернулся к нам, держа его в руках, и стал чистить его тою же тряпкою и так же добросовестно поплеывая, как только что чистил шпоры своего барина. Этот последний словно растаял от жара и мягкого настроения; вместо верхнего платья на нем надето было просторное голубое шелковое домино с серебряной бахромой, а нос его блестел уныло, как влюбленный лудидор.

«Иисусе! — вздохнул он, опустившись на подушки дивана. — Не находите ли вы, доктор, что сегодня вечером у меня чрезвычайно мечтательный вид? Я очень взволнован, чувства мои обострились, я постигаю высший мир, —

И небеса очам открыты,
И полнится блаженством грудь».

«Господин Гумпель, вам следует принять внутрь, — прервал Гиацинт эту патетическую декламацию, — кровь у вас во внутренностях опять замутилась, я знаю, чего вам нужно...»

«Ты не знаешь», — вздохнул барин.

«Говорю вам, знаю, — возразил слуга и покачал своим добродушно-участливым личиком, — я все насквозь знаю, я знаю, вы полная противоположность мне. Когда вам хочется пить, мне хочется есть, когда я хочу пить, вы хотите есть. Вы слишком полновесны, я слишком худощав; у вас много воображения, а у меня зато боль-

ше деловой сметки; я практик, а вы диарретик; короче говоря, вы мой антиподекс» *.

«Ах, Юлия, — вздохнул Гумпелино, — если бы я был желтой лайковой перчаткой на твоей руке и мог бы целовать тебе щечку! Вы видели когда-нибудь, господин доктор, Крелингера в «Ромео и Джульете»?

«Видел, и до сих пор испытываю душевный восторг...»

«В таком случае, — воскликнул маркиз с воодушевлением, и огонь засверкал в его глазах и озарил его нос, — в таком случае, вы поймете меня! В таком случае, вам понятно будет, если я скажу: я люблю! Я хочу вполне открыться перед вами. Гиацинт, выйди!»

«Мне незачем выходить, — отвечал недовольно Гиацинт, — вам нечего передо мной стесняться, я тоже знаю, что такое любовь, и знаю...»

«Ты не знаешь!» — воскликнул Гумпелино.

«В доказательство того, что я знаю, господин маркиз, мне достаточно назвать имя Юлии Максфилд. Успокойтесь, и вас любят, но от этого мало толку. Зять вашей возлюбленной не спускает с нее глаз и сторожит ее, как брильянт, днем и ночью».

«О, я несчастный! — жаловался Гумпелино. — Я люблю, и меня любят, мы тайком пожимаем друг другу руки, мы встречаемся ногами под столом, делаем знаки друг другу глазами, и все-таки нет случая! Как часто стою я при свете луны на балконе и воображаю, что сам я — Юлия, и мой Ромео или мой Гумпелино назначил мне rendez-vous, и я декламирую, совсем как Крелингера:

Приди, о ночь! И с нею, светлый день,

Примчись на крыльях ночи, Гумпелино.

Как чистый снег на ворона спине!

Приди, о ночь волшебная! С тобою

Придет Ромео или Гумпелино!

* Гиацинт вместо «диалектик» здесь говорит «диарретик»; а вместо «антипод» — «антиподекс» («диарретик» значит больной поносом; «подекс» — задняя часть).

Но, — увы! лорд Максфилд непрестанно сторожит нас, и мы умираем от страсти. Я не доживу до того дня, когда настанет ночь, когда «цвет юности чистейший залогом станет жертвенным любви!» Ах, такая ночь приятнее, чем главный выигрыш в гамбургской лотерее!»

«Какая фантазия! — воскликнул Гиацинт, — главный выигрыш — сто тысяч марок!»

«Да, приятнее, чем главный выигрыш, — продолжал Гумпелино, — одна такая ночь, и — ах! — она не раз уже обещала мне такую ночь, при первом удобном случае, и я уже представлял себе, как на утро она будет декламировать, совсем как Крелингер:

Уходишь ты? Ведь день еще далек.
То соловья, не жаворонка трели
До слуха донеслися твоего.
Он на гранатном дереве поет.
Поверь, любимый, это — соловей».

«Главный выигрыш за одну единственную ночь! — многократно повторял между тем Гиацинт, не будучи в состоянии успокоиться. — «Я высокого мнения о вашей образованности, господин маркиз, но я никогда бы не подумал, что вы так далеко зайдете в своих фантазиях. Любовь — дорожке, чем главный выигрыш! Право, господин маркиз, с тех пор как я имею дело с вами, как ваш слуга, я немало приобрел образованности, но знаю наверняка, что не дал бы за любовь и одной восьмьюшечки главного выигрыша! Боже упаси меня от этого! Если даже отсчитать пятьсот марок налога, то все-таки остается еще двенадцать тысяч марок! Любовь! Если сосчитать, сколько мне стоила любовь, то выйдет всего-навсего двенадцать марок и тринадцать шиллингов. Любовь! Я часто был счастлив в любви и даром, мне она ничего не стоила; лишь иногда я, *par complaisance* * срезал мозоли своей возлюбленной. Истинную, полную чувства, страстную привязанность я испытал один един-

* из любезности

ственный раз: это была толстая Гудель с Грязного Вала. Она играла при моем посредстве в лотерею, и когда я являлся к ней, чтобы возобновить билет, она каждый раз всовывала мне в руку кусок пирога, кусок очень хорошего пирога, а иногда она давала мне и немножко варенья, с рюмочкой ликеру, а когда я однажды пожаловался ей, что страдаю меланхолией, она дала мне рецепт порошков, которые принимает ее собственный муж. Я до сих пор принимаю эти порошки, они всегда действуют — других последствий наша любовь не имела. Я полагаю, вам, господин маркиз, следовало бы попробовать такой порошок. Первое, что я сделал, приехав в Италию, я пошел в аптеку в Милане и заказал порошки, и они постоянно со мною. Погодите, я поищу их, а поищу, так и найду, а найду, так вы, ваше превосходительство, должны их принять».

Слишком долго было бы повторять те комментарии, которыми Гиацинт, деловито принявшись за поиски, сопровождал каждый предмет, вытаскиваемый из карманов. На свет появились: 1) половинка восковой свечи, 2) серебряный футляр с инструментами для срезания мозолей, 3) лимон, 4) пистолет, хотя и не заряженный, но завернутый в бумагу, быть может, затем, чтобы вид его не наводил на тревожные мысли. 5) печатная таблица выигрышей последней большой гамбургской лотереи, 6) книжка в черном кожаном переплете, с псалмами Давида и со списком должников, 7) сухие прутья ивы, как бы сплетенные узлом, 8) пакетик в вылинявшей розовой тафте с квитанцией лотерейного билета, некогда выигравшего пятьдесят тысяч марок, 9) плоский кусочек хлеба, наподобие белого корабельного сухаря, с небольшою дырочкою по середине, и наконец 10) вышеупомянутые порошки, которые человек этот и стал рассматривать не без волнения, удивленно и скорбно покачивая головою.

«Когда я вспомню, — вздохнул он, — что десять лет тому назад толстая Гудель дала мне этот рецепт, и что я теперь в Италии, и у меня в руках этот рецепт, и когда

я снова читаю слова: *sal mirabile Glauberi* *, что значит по-немецки — самая лучшая глауберова соль лучшего сорта, то — ах! — мне кажется, будто я принял уже глауберову соль и чувствую ее действие. Что такое человек! Я в Италии, а думаю о толстой Гудель с Грязного Вала! Кто бы мог представить себе это! Я воображаю, она сейчас в деревне, в своем саду, где светит луна, конечно, тоже поет соловей или жаворонок».

«То соловья, не жаворонка трели!» — вздохнул Гумпелино и продекламировал опять:

Он на гранатном дереве поэт.

Поверь, любимый, это — соловей».

«Это совершенно безразлично, — продолжал Гиацинт, — по мне пусть даже канарейка; птицы, которые в саду, обходятся всего дешевле. Главное дело оранжерея, и обивка в павильоне, и государственные фигуры, что стоят там. А там стоят, например, голый генерал, из богов, и Венера Уриния, стоящие вместе гриста марок. Посреди сада Гудель завела себе также фонтанельчик. А сама стоит теперь, может быть, там и почесывает нос, и наслаждается мечтами, и думает обо мне. Ах!»

За вздохом этим последовала выжидательная тишина, которую маркиз прервал внезапно томным вопросом:

«Скажи, Гиацинт, по совести, ты действительно уверен, что твой порошок подействует?»

«Он подействует, честное слово, — отвечал Гиацинт. — Почему он может не действовать? Действует же он на меня! А разве я не такой же человек, как вы? Глауберова соль всех уравнивает, и когда Ротшильд принимает глауберову соль, то так же чувствует ее действие, как и самый маленький маклер. Я все скажу вам наперед: я всыплю порошок в стакан, подолью воды, размешаю, и как только вы проглотите это, вы скорчите кислую

* чудесная глауберова соль. Дальше идет игра слов: Гиацинт вместо *Glaubersalz*, что значит «глауберова соль», говорит *Glaubensalz* — «соль веры».

физиономию и скажете: «Бр...бр...» Потом вы услышите сами, как что-то бурлит внутри, вам станет как-то странно, и вы ляжете в кровать, и, даю вам честное слово, вы опять встанете, и опять ляжете, и опять встанете и т. д., а на следующее утро почувствуете себя легко, как ангел с белыми крыльями, заплывете от избытка здоровья, и только будете несколько бледнее с виду; но я знаю, вам приятно, когда у вас томно-бледный вид, а когда у вас томно-бледный вид, то и другим приятно посмотреть на вас».

Несмотря на такие убедительные доводы и на то, что Гиацинт стал уже готовить порошок, все это ни к чему бы ни привело, если бы внезапно маркизу не пришлось в голову то место трагедии, где Джульетта выпивает роковой напиток.

«Что вы думаете, доктор, о венской Мюллер? — воскликнул он. — Я видел ее в роли Джульетты, и — боже, боже! — как она играет! Я ведь пламенный поклонник Крелингер, но Мюллер в тот момент, когда она выпивает кубок, потрясла меня. Взгляните-ка, — сказал он, взяв в руки, с трагическим выражением лица, стакан, в который Гиацинт высыпал порошок, — взгляните-ка, вот так держала она бокал и сказала, содрогнувшись и вызвав всеобщее содрогание:

Мертвящий трепет проникает в жилы
И леденит пылающую кровь.

Вот так стояла она, как я стою сейчас, держа бокал у губ, и при словах:

Подожди Тибальдо!
Иду Ромео! Пью я за тебя!

она осушила бокал...»

«На здоровье, господин Гумпель!» — произнес торжественно Гиацинт, когда маркиз, увлекшись подражанием Джульетте, осушил стакан и, изнеможенный декламацией, опустился на диван.

Но он не долго пробыл в таком положении; внезапно раздался стук в дверь, и в комнату вошел маленький жокей леди Максфилд; он, улыбаясь, с поклоном передал маркизу записку и тотчас же удалился. Маркиз поспешно распечатал письмо; по мере того как он читал, нос и глаза его засверкали от восторга. Но вдруг прозрачная бледность покрыла его лицо, дрожь ошеломления свела мускулы, он вскочил с жестом отчаяния, горестно захохотал и стал бегать по комнате, восклицая:

О, горе мне, посмешищу судьбы!

«Что такое? Что такое? — спросил Гиацинт дрожащим голосом, судорожно сжав в дрожащих руках распятие, за чистку которого он вновь принялся. — На нас нападут этой ночью?»

«Что с вами, господин маркиз?» — спросил я, тоже немало изумившись.

«Читайте! Читайте! — воскликнул Гумпелино, бросив полученную им записку и все еще бегая по комнате в полном отчаянии, при чем голубое домино его развевалось как грозовая туча. — О, горе мне, посмешищу судьбы!»

В записке мы прочли следующее:

«Прелесть моя, Гумпелино! С наступлением дня я должна отбыть в Англию. Мой деверь отправился уже вперед и встретит меня во Флоренции. Никто теперь не следит за мною — к сожалению, только в эту единственную ночь. Воспользуемся ею, осушим до последней капли чашу нектара, которую преподносит нам любовь. Жду, трепещу.

Юлия Максфилд».

«О, горе мне, посмешищу судьбы! — стонал Гумпелино. — Любовь преподносит мне чашу нектара, а я... ах! я глупое посмешище судьбы, я осушил уж чашу глауберовой соли! Кто освободит мой желудок от ужасного напитка? Помогите! Помогите!»

«Тут уж не поможет ни один живой человек на земле», — вздохнул Гиацинт.

«Всем сердцем сочувствую вам, — выразил я свое соболезнование. — Испить вместо чаши с нектаром чашу с глауберовой солью — слишком уж горько. Вместо трона любви вас ждет теперь ночной стул».

«Иисусе! Иисусе! — продолжал кричать маркиз. — Я чувствую, как напиток бежит по всем моим жилам. О, brave аптекарь! Твой напиток действует быстро, но я не остановлюсь все-таки, я поспешу к ней, упаду к ее ногам, я истеку кровью!»

«О крови не может быть и речи, — успокаивал Гиацинт. — У вас ведь нет геморроя. Только не надо так волноваться!»

«Нет, нет! Я хочу к ней, в ее объятия! О, эта ночь, эта ночь!»

«Говорят вам, — продолжал Гиацинт с философским спокойствием, — вы не найдете покоя в ее объятиях, вам придется раз двадцать вставать. Только не волнуйтесь! Чем больше вы прыгаете взад и вперед по комнате, чем больше беспокоитесь, тем скорее подействует глауберова соль. Ведь настроение играет в руку природе. Вы должны сносить как мужчина то, что судьба послала вам. Что это так случилось, — может быть, хорошо, и, может быть, хорошо, что это случилось так. Человек — существо земное и не ведает божественного промысла. Часто человек думает, что идет навстречу счастью, а на пути ждет его, может быть, несчастье, с палкою, а когда мешанская палка пройдет по дворянской спине, то человек ведь чувствует это, господин маркиз!»

«О, горе мне, посмешищу судьбы!» — все еще бушевал Гумпелино, а слуга его продолжал спокойно:

«Часто человек ждет чаши с нектаром, а получает палочную похлебку, и если нектар сладок, то палка тем горше. И поистине, счастье, что человек, который колотит другого, в конце концов, устает, иначе другой, право, не выдержал бы. Еще опаснее, если несчастье

с кинжалом и ядом подстерегает человека на пути любви, так что он не уверен в своей жизни. Может быть, господин 'маркиз, и правда хорошо, что вышло так, ведь, может быть, вы побежали бы в пылу любви к возлюбленной, а по дороге на вас напал бы маленький итальянец с кинжалом длиною в шесть брабантских футов и — только уколол бы вас, не ко злу будь сказано, в икру. Ведь здесь нельзя, как в Гамбурге, позвать сейчас же караул: в Апенниннах ведь нет ночных сторожей. Или даже, может быть, — продолжал он неумолимо утешать, нимало не смущаясь отчаянием маркиза, — может быть даже, в то время как вы сидели бы спокойно и уютно у леди Максфилд, вернулся бы вдруг с пути деверь и приставил бы вам к груди заряженный пистолет и заставил бы вас подписать вексель в сто тысяч марок. Не к злу будь сказано, но я беру такой случай: вы человек прекрасный, и, положим, леди Максфилд пришла в отчаяние, что ей предстоит потерять такого прекрасного человека, и, ревнуя вас, как свойственно женщинам, она не пожелала бы, чтобы вы осчастливили другую — что бы она сделала? Она берет лимон или апельсин, подсыпает туда немножко порошок и говорит: «Прохладись, любимый мой, ты набегался, тебе жарко», и на другое утро вы и в самом деле похолодевший человек. Был такой человек, его звали Пипер, у него была страстная любовь с некоею девушкой, которую звали ангелочком с трубой, она жила в Кофейной улице, а он в Фулентвите...»

«Я бы желал, Гирш, — бешено закричал маркиз, беспокойство которого достигло крайних пределов, — я бы желал, чтобы и твой Пипер с Фулентвите, и ангелочек с трубой с Кофейной, и ты, и Гудель, чтобы все вы набили себе животы моей глауберовой солью!»

«Что вы от меня хотите, господин Гумпель? — возразил Гиацинт, не без раздражения. — Чем я виноват, что леди Максфилд собирается уехать именно сегодня ночью и пригласила вас именно сегодня? Разве мог я знать это вперед? Разве я Аристотель? Разве я на службе

у провидения? Я только обещал вам, что порошок подействует, и он действует — это так же верно, как то, что я некогда удостоюсь блаженства, а если вы будете и дальше бегать так беспокойно и так волноваться, и так беситься, то он подействует еще скорее...»

«Ну, так я буду сидеть спокойно!» — простонал Гумпелино, топнув ногою о землю, и сердито бросился на диван, с усилием подавив бешенство.

Господин и слуга долгое время молча смотрели друг на друга и наконец первый, вздохнув глубоко, почти с робостью обратился ко второму:

«Но послушай, Гирш, что подумает обо мне эта дама, если я не приду? Она ждет меня теперь, ждет с нетерпением, трепещет, пылает любовью».

«У нее красивая нога», — произнес Гиацинт про себя и скороно покачал головкой, но что-то в его груди начало приходить в движение, под его красной ливреей явственно заработала смелая мысль...

«Господин Гумпель, — произнес он наконец, — пошлите меня!»

При этих словах яркий румянец разлился по его бледному деловитому лицу.

Г Л А В А X

Когда Кандид прибыл в Эльдorado, он увидел, как мальчишки на улицах играли большими слитками золота, вместо камней. Роскошь эта дала ему повод думать, что это дети короля, и он немало изумился, услышав, что в Эльдorado золотые слитки ничего не стоят, так же как у нас булыжники, и что ими играют школьники.

С одним из моих друзей, иностранцем, случилось нечто подобное: он приехал в Германию, стал читать немецкие книжки и поразился богатством мыслей, в них содержавшихся, но скоро он заметил, что мысли в Германии столь же заурядное явление, как золотые

слитки в Эльдorado, и что писатели, которых он счел за властителей духа, — обыкновенные школьники.

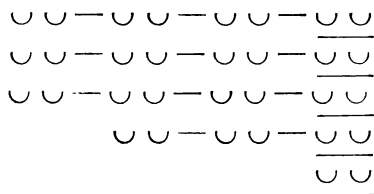
История эта постоянно приходит мне на ум, когда я собираюсь письменно изложить прекраснейшие свои размышления об искусстве и жизни; но затем я начинаю смеяться и предпочитаю удерживать на кончике пера свои мысли или же черчу вместо них на бумаге какие-нибудь рисунки или фигурки, стараясь убедить себя, что узорные обои много пригоднее в Германии, этом духовном Эльдorado, чем самые золотые мысли.

На обоях, которые я теперь разворачиваю перед тобою, любезный читатель, ты можешь вновь созерцать хорошо знакомые тебе физиономии Гумпелино и его Гирша-Гиацинта, и если первый и изображен в недостаточно определенных очертаниях, то я надеюсь все-таки, что ты окажешься достаточно проницательным для того, чтобы уяснить себе отрицательный характер, без особых положительных подчеркиваний. Последние могли бы навлечь на меня обвинение в оскорблении личности или в чем-либо еще более скверном, ибо маркиз благодаря своим деньгам и связям очень силен. К тому же, он — естественный союзник моих врагов и оказывает им поддержку своими субсидиями, он аристократ и ультра-папист, и лишь одного ему не хватает... — ну, да когда-нибудь он этому научится! — руководство у него в руках, как увидишь ты в дальнейшем на обоях.

Опять вечер. На столе стоят два подсвечника с зажженными восковыми свечами, отсветы их колеблются на золотых рамах образов, которые, свешиваясь со стен, как будто оживают в трепетании света и колыхании теней. Снаружи, перед окном, стоят, озаренные серебряным сиянием месяца, таинственно неподвижные унылые кипарисы, а издали доносятся скорбные звуки песенки в честь девы Марии — отрывистый, словно больной детский голос. В комнате царит какая-то особенная духота, маркиз Кристофоро ди Гумпелино сидит или, лучше сказать, лежит опять с небрежно важным видом на подушках дивана; его благородное, потеющее тело

облачено опять в легкое голубого шелка домино, в руках у него книжка в красном переплете из шагреновой бумаги с золотым обрезом, и он декламирует что-то из этой книжки громко и томно. Глаза его светятся при этом каким-то своеобразным масляным блеском, как это бывает обыкновенно у влюбленных котов, а щеки его и даже крылья носа подернуты болезненной бледностью. Но любезный читатель, бледность эта довольно просто объясняется с философски-антропологической точки зрения, если припомнить, что накануне вечером маркиз проглотил целый стакан глауберовой соли.

А Гирш-Гиацинт съезжился на полу и чертит большим куском мела на коричневом паркете в крупном масштабе приблизительно следующие знаки:



Занятие это, кажется, не очень по вкусу маленькому человечку: он, наклоняясь, каждый раз вздыхает и сердито бормочет: спондей, трохей, ямб, антиспас, анапест и чортов пест. При этом для большого удобства движений снял красную ливрею, и на свет показались две коротенькие скромные ножонки в узких ярко-красных штанах и две тощие руки, подлиннее, торчащие из белых широких рукавов рубашки.

«Что это за странные знаки?» — спросил я, поглядев некоторое время на его работу.

«Это стопы в натуральную величину, — простонал он в ответ, — и я, несчастный, должен помнить все эти стопы наизусть, и руки мои болят от этих стоп, которые мне приходится писать. Это истинные, настоящие стопы поэзии. Я делаю это только ради образованности, иначе

я давно махнул бы рукой на поэзию, со всеми ее стопами. Сейчас я беру частные уроки поэтического искусства у господина маркиза. Господин маркиз читает мне вслух стихи и объясняет, из скольких стоп они состоят, а я должен отмечать их и проверять потом, правильны ли стихи...»

«Вы действительно, — произнес маркиз дидактически-патетическим тоном, — застали нас за поэтическим занятием. Правда, я знаю, доктор, что вы принадлежите к поэтам, имеющим упрямую голову, и несогласны с тем, что стопы — главное дело в поэтическом искусстве. Но образованный ум можно привлечь только совершенной формой, а этой последней можно научиться только у греков и у новых поэтов, которые стремятся ко всему греческому, мыслят по-гречески, чувствуют по-гречески и таким способом передают свои чувства другому».

«Разумеется другому, а не другой, как поступают обыкновенно не-классические поэты-романтики», — заметил аз грешный.

«Господин Гумпель говорит порою, как книга, — прошептал мне сбоку Гиацинт и сжал узкие губы, а глазки гордо засверкали блеском удовлетворения, и головка восхищенно закачалась. — Я вам говорю, — добавил он несколько громче, — точно книга говорит он иногда, он тогда не человек, так сказать, а высшее существо, и, слушая его, я как будто глупею».

«А что у вас сейчас в руках?» — спросил я маркиза.

«Брильянты», — ответил он и передал мне книгу.

При слове «брильянты» Гиацинт высоко подскочил, но, увидев книгу, сострадательно улыбнулся. На обложке брильянтовой книжки оказалось следующее заглавие:

«Стихотворения графа Августа фон Платена; Штутгарт и Тюбинген. Издание книжной торговли И. Г. Котта. 1828».

На второй странице написано было красивым почерком: «В знак горячей братской дружбы». При этом от

книги распространялся запах, не имеющий ни малейшего отношения к одеколону, и объяснявшийся, может быть, тем обстоятельством, что маркиз всю ночь читал книжку.

«Я всю ночь не мог сомкнуть глаз, — пожаловался он мне, — пришлось много бегать, я одиннадцать раз вставал с постели, но на счастье оказалась тут эта великолепная книга, из коей я почерпнул не только много поучительного в области поэзии, но и жизненное утешение. Видите, с каким уважением я отнесся к книге, в ней все страницы целы, а ведь порою, сидя как я сидел, я испытывал искушение...»

«Это вероятно, случалось со многими, господин маркиз».

«Клянусь вам богородицей лоретской и как честный человек говорю вам, — продолжал тот, — стихи эти не имеют себе равных. Как вам известно, вчера вечером я был в отчаянии, так сказать, *au désespoir**, когда судьба лишила меня обладания моею Юлией, и вот я принялся читать эти стихи, по одному стихотворению всякий раз, когда приходилось вставать, и вот, в результате, это равнодушие к женщинам так на меня подействовало, что мне стали противны мои любовные страдания. В том-то и красота этого поэта, что он пылает только к мужчинам — горячею дружбою; он отдает нам предпочтение перед женщинами, и уж за одну эту честь мы должны быть ему благодарны. В этом он более велик, чем все остальные поэты; он не льстит пошлому вкусу толпы, он исцеляет нас от нашей страсти к женщинам, несущей столько несчастий... О женщины, женщины! Тот, кто освободит нас от ваших оков, будет благодетелем человечества. Вечно приходится сожалеть, что Шекспир не использовал в тех же целях своего выдающегося драматического таланта, ибо, как я впервые прочитал здесь, он, оказывается, питал чувства не менее многообъемлющие, чем вели-

* в отчаянии

кий граф Платен, который говорит о Шекспире в одном из своих сонетов:

Ты не поднал девическому нраву,
И только дружбу ты ценил на свете;
Твой друг тебя спасал из женской сети,
В его красе твоя печаль и слава.

В то время как маркиз с жаром декламировал эти слова и гладкий навоз словно таял на языке его, Гиацинт корчил гримасы самого противоположного свойства, одновременно сердитые и одобрительные, и наконец сказал:

«Господин маркиз, вы говорите, как книга, и стихи опять сходят у вас так же легко, как сегодня ночью, но содержание их мне не нравится. Как мужчина, я чувствую себя польщенным, что граф Платен отдает нам предпочтение перед женщинами, но как сторонник женщин я опять-таки против этого человека. Таков человек! Один охотно ест лук, другой больше склоняется чувством к горячей дружбе. И я, как честный человек, должен откровенно признаться, я охотнее ем лук, и кривая кухарка мне милее, чем прекраснейший друг красоты. Да, я должен признаться, я не вижу в мужском поле так уж много красивого, чтобы можно было влюбиться».

Произнося последние слова, Гиацинт испытующе посмотрел на себя в зеркало, а маркиз, не смущаясь, декламировал дальше:

Со счастьем надежда гибнет вместе,
Нам не сойтись — увь! — с тобою вместе;
В твоих устах мое так нежно имя,
Но нежный звук с тобой заглохнет вместе.
Как солнце и луну, разъединить нас
Обычай с долгом порешили вместе.
Склонись ко мне; твои чернеют кудри,
Мой светел лик — они прекрасны вместе.

Увы! я грежу — ты меня покинешь,
Нас не сведет с тобою счастье вместе!
Сердца в крови, тела в разлуке горькой;
Мы — как цветы, сплелись бы тесно вместе!

«Смешная поэзия! — воскликнул Гиацинт, бормотавший себе под нос рифмы, «обычай с долгом вместе» светлый лик мой вместе, с тобою вместе, тесно вместе!» Смешная поэзия! Мой шурин, когда читает стихи, часто забавляется, и в конце каждой строки прибавляет слова «спереди» и «сзади» попеременно; но я не знал, что получающиеся таким образом поэтические стихи называются газелами. Нужно будет попробовать, не станет ли еще красивее стихотворение, прочитанное маркизом, если каждый раз после слова «вместе» прибавлять попеременно «спереди» и «сзади»; наверное, поэзии прибавится на двадцать процентов».

Не обращая внимания на эту болтовню, маркиз продолжал декламировать газелы и сонеты, в которых влюбленный воспевает своего прекрасного друга, восхваляет его, жалуется на него, обвиняет его в холодности, составляет планы, как бы проникнуть к нему, кокетничает с ним, ревнует, тает от восторга, продельывает целую скалу любовных нежностей, и притом так пылко, чувственно и страстно, что, можно подумать, автор — девчонка, с ума сходящая от мужчин.

Только при этом одно странно, — девчонка эта постоянно скорбит о том, что ее любовь противна «обычаю», что она так же зла на этот «различающий обычай», как карманный вор на полицию, что она любовно обняла бы «бедро» друга, что она жалуется на «завистников» за то, что «они лукаво объединились, чтобы мешать нам и держать нас в разлуке», что она сетует на обиды и оскорбления, причиняемые другом, уверяет его, что «ни звуком не смущу я слуха, мой любимый» и наконец признается:

Знакома мне в других любви преграда;
Ты мне не внял, но ты и не отвергнул
Моей любви, мой друг, моя отрада!

Я должен засвидетельствовать, что маркиз хорошо декламировал эти стихи, вздыхал в меру, и, ерзая по дивану, как бы кокетничал своим седалищем. Гиацинт отнюдь не упускал повторять за ним рифмы, хотя попутно и вставлял неподходящие замечания. Наибольшее его внимание привлекли оды. «Этот сорт, — сказал он, — научит большому, чем сонеты и газелы; в одах сверху особо отмечены стопы, и можно проверить очень удобно каждое стихотворение. Каждому поэту следовало бы, как это делает граф Платен в самых трудных поэтических стихах, отмечать сверху стопы, заявив при этом читателям: «Видите, я честный человек, я не хочу всех обманывать, эти кривые и прямые черточки, которые дополняют каждое стихотворение, — они, так сказать, conto finto * для каждого стихотворения, и вы можете подсчитать, скольких оно мне стоило трудов; они, так сказать, — масштаб для стихотворения; вы можете измерить стих, и если недостает хоть одного слога, то назовите меня мошенником, как честный человек говорю вам!» Но именно этим честным видом можно обмануть публику. Именно, когда стопы отпечатаны перед стихотворением, то всякий подумает: к чему мне быть недоверчивым, к чему мне делать подсчет, автор, конечно, человек честный! И вот, стоп не считают и попадаютя впросак. Да и можно разве каждый раз пересчитывать? Сейчас мы в Италии, и у меня есть время отмечать стопы мелом на полу и проверять каждую оду. Но в Гамбурге, где у меня свое дело, у меня нехватило бы времени, и пришлось бы верить графу Платену, не считая, как веришь в кассе надписям на денежных мешках, гласящим, сколько в них сотен талеров — они ходят по рукам запечатанные, каждый верит другому, что в них содержится столько, сколько написано; и все-таки были примеры, что люди свободные, не имеющие лишнего дела, вскрывая такие мешки, пересчитывали и находили, что двух-трех талеров недостает. Так

* «воображаемый счет», номинальная запись в бухгалтерской книге

и в поэзии может быть много мошенничества. В особенности я становлюсь недоверчив, когда подумаю о денежных мешках. Дело в том, что мой шурин рассказывал мне, что в тюрьме в Одензее сидит некий человек, который служил на почте и бесчестно вскрывал денежные мешки, проходившие через его руки, и бесчестно вынимал из них деньги, а затем искусно зашивал их и отправлял дальше. Когда слышишь о таком проворстве, то теряешь доверие к людям и становишься недоверчивым человеком. Да, сейчас много мошенничества на свете и, конечно, в поэзии обстоит так же, как и в других делах».

«Честность, — продолжал Гиацинт, в то время как маркиз декламировал дальше, не обращая на нас внимания, целиком погрузившись в чувства, — честность, господин доктор, — главное дело, и того, кто не честный человек, я считаю за мошенника, а кого я считаю за мошенника, у того я не покупаю ничего, не читаю ничего, короче, не имею с ним никаких дел. Я такой человек, господин доктор, который ничего себе о чем-нибудь не воображает, а если бы я хотел вообразить себе что-нибудь о чем-нибудь, то я вообразил бы себе что-нибудь о том, что я честный человек. Я расскажу вам одну свою благородную черту, и вы изумитесь — говорю вам, вы изумитесь как честный человек. У нас в Гамбурге, на Копейной площади, живет один человек, он зеленщик и зовут его Клетцхен, то есть я зову его Клетцхен, потому что мы с ним хорошие приятели, а зовут его господин Клотц. И жену его приходится звать мадам Клотц, и она терпеть не могла, чтобы муж ее играл у меня, и когда ее муж хотел играть через меня, то я не смел приходить к нему в дом с лотерейными билетами, и он всегда говорил мне на улице: «Вот на такой-то и такой-то номер я хочу сыграть, и вот тебе деньги, Гирш!» И я говорил всегда: «Хорошо Клетцхен!» А когда возвращался домой, то клал билет запечатанным в конверт отдельно для него и писал на конверте немецкими буквами: за счет господина Христиана-Генриха Клотца. А теперь слушайте и изумляйтесь: был прекрасный

весенний день, деревья около биржи были зеленые, зефиры приятно веяли, солнце сверкало на небе, и я стоял у Гамбургского банка. И вот проходит Клетцхен, мой Клетцхен, под руку со своей толстой мадам Клотц, сначала здоровается со мною и начинает говорить о весеннем великолепии божьем, потом делает несколько патристических замечаний о гражданской милиции и спрашивает меня, как дела; и я рассказываю ему, что несколько часов тому назад опять кто-то стоял у позорного столба, и вот так, в разговоре, он говорит мне: «Вчера ночью мне приснилось, что на номер 1538 упадет главный выигрыш». И, в тот момент, когда мадам Клотц начала рассматривать императорских статистов перед ратушей, он всовывает мне в руку тринадцать полновесных луидоров — кажется, я и сейчас чувствую их в руке, — и прежде чем мадам Клотц обернулась, я говорю ему: «Хорошо, Клетцхен!» — и ухожу. И иду напрямик, не оглядываясь, в главную контору и беру номер 1538 и кладу в конверт, как только возвращаюсь домой, и пишу на конверте: за счет господина Христиана-Генриха Клотца. И что же делает бог? Две недели спустя, чтобы испытать мою честность, он делает так, что на номер 1538 падает выигрыш в пятьдесят тысяч марок. А что делает Гирш, тот самый Гирш, что стоит сейчас перед вами? Этот Гирш надевает чистую белую верхнюю рубашку и чистый белый галстук, берет извозчика и едет в главную контору за своими пятьюдесятью тысячами марок, и отправляется с ними на Копейную площадь. А Клетцхен, увидев меня, спрашивает: «Гирш, почему ты сегодня такой нарядный?» Но я, не отвечая ни слова, кладу на стол большой сюрпризный мешок с золотом и говорю очень торжественно: «Господин Христиан-Генрих Клотц! Номер 1538, который вам угодно было заказать мне, удостоился счастья выиграть пятьдесят тысяч марок; имею честь преподнести вам в этом мешке деньги и позволяю себе попросить расписку». Клетцхен, как только услышал это, начинает плакать, мадам Клотц, услышав эту историю, начинает плакать,

рыжая служанка плачет, кривой приказчик плачет, дети плачут, а я? Такой чувствительный человек, каков я есть, я все-таки не мог заплакать и сначала упал в обморок, и потом только слезы полились у меня из глаз, как водяной ручей, и я проплакал три часа».

Голос маленького человечка дрожал, когда он рассказывал это, и он торжественно вытащил из кармана пакет, о котором упоминалось выше, развернул выцветшую розовую тафту и показал мне квитанцию, на которой Христиан-Генрих Клотц расписался в получении пятидесяти тысяч марок сполна.

«Когда я умру,—произнес Гиацинт, прослезившись,— пусть положат со мною в могилу эту квитанцию, и когда мне придется там, наверху, в день суда дать отчет в своих делах, я выступлю перед престолом всемогущего с этой квитанцией в руках; и когда мой злой ангел прочтет все злые дела, которые я совершил на этом свете, а мой добрый ангел тоже захочет прочесть список моих добрых дел, тогда я скажу спокойно: «Помолчи! Ответь только, подлинная ли эта квитанция? Это — подпись Христиана-Генриха Клотца?» Тогда прилетит маленький-маленький ангел и скажет, что ему доподлинно известна подпись Клетцхена, и расскажет при этом замечательную историю о честности, которую я когда-то проявил. И творец вечности, всеведущий, который все знает, вспомнит об этой истории и похвалит меня перед солнцем, луною и звездами и тут же высчитает в голове, что если вычесть из пятидесяти тысяч марок честности мои злые дела, то все-таки сальдо останется в мою пользу, и он скажет:

«Гирш! назначаю тебя ангелом первой степени; можешь носить крылья с красными и белыми перьями».

Г Л А В А X I

Кто же этот граф Платен, с которым мы в предыдущей главе познакомились как с поэтом и пылким другом?

Ах! любезный читатель, я давно уже читаю на лице твоём этот вопрос и с трепетом приступаю к объяснениям. В том-то и незадача немецких писателей, что им приходится знакомить нас со всяким добрым и злым дураком, которого они выводят на сцену при помощи сухой характеристики и перечисления примет, чтобы показать, во-первых, что он существует, и во-вторых, чтобы обнаружить слабое его место, где настигнет его бич — снизу или сверху, спереди или сзади. Иначе обстоит дело у древних, иначе обстоит еще и у некоторых современных народов, например, у англичан и у французов, у которых есть общественная жизнь, а потому имеются и *public characters**. У нас же, немцев, хотя народ в целом и придурковатый, но мало выдающихся дураков, которые были бы настолько известны, чтобы служить, в прозе и в стихах, образцом общественных характеров. Те немногие представители этой породы, которых мы знаем, поистине правы, проявляя важность. Они неоценимы и могут изъяснять самые высокие притязания. Так, например, господин тайный советник Шмальц, профессор Берлинского университета, — человек, которому цены нет; писатель-юморист не обойдется без него, и сам он чувствует свое личное значение и незаменимость в столь высокой степени, что пользуется всяким случаем доставить писателям-юмористам материал для сатиры, и дни и ночи напролет ломает голову над тем, как бы показаться в самом смешном свете в качестве государственного человека, подхалима, декана, антигегелианца и патриота и оказать тем действенную поддержку литературе, которой он как бы жертвует собой. Вообще, следует поставить в заслугу немецким университетам, что они поставляют немецким литераторам в большой степени, чем какому-либо иному сословию, дураков всех видов; в особенности ценил я всегда в этом смысле Геттинген. В этом и заключается тайная причина, в силу коей я стою за сохранение универси-

* общественные характеры

тетов, хотя всегда проповедывал свободу промыслов и уничтожение цехового строя. При столь ощутительном недостатке в выдающихся дураках нельзя не благодарить меня за то, что я вывожу на сцену новых и пускаю их во всеобщее употребление. Во имя блага литературы я намерен поэтому несколько обстоятельнее поговорить о графе Августе фон Платен-Галлермюнде. Я поспособствую тому, чтобы он сделался в подобающей мере известным и до некоторой степени знаменитым; я как бы раскормлю его в смысле литературном, наподобие того, как ирокезы поступают с пленниками, которых имеют в виду съесть впоследствии на праздничных пирах. Я буду вполне корректен и правдив, и отменно вежлив, как и подобает человеку среднего сословия; материальной, так сказать, личной стороны я буду касаться лишь постольку, поскольку в ней находят себе объяснение явления духовного свойства, и всякий раз я буду точно указывать точку зрения, с которой я наблюдаю его, и даже, порою, те очки, сквозь которые смотрю на него.

Отправною точкою, с которой я впервые наблюдал графа Платена, был Мюнхен, арена его устремлений, где он пользуется славой среди всех, кто его знает, и где несомненно он будет бессмертен, пока он жив. Очки, сквозь которые я взглянул на него, принадлежали некоторым мюнхенцам, из тех, что порою, под веселую руку, обменивались парю веселых слов о его наружности. Сам я никогда его не видел, и когда хочу представить его себе, всегда вспоминаю о той комической ярости, с какой когда-то мой друг, доктор Лаутенбахер, обрушивался на дурачества поэтов вообще, и в особенности упоминал некоего графа Платена, который с лавровым венком на голове загораживал путь гуляющим на общественном бульваре в Эрлангене и, подняв к небу оседланный очками нос, делал вид, что застывает в поэтическом экстазе. Другие выражались благоприятнее о бедном графе и сожалели только о его ограниченных средствах, заставлявших его, при собственном ему

честолюбивом желании выдвинуться — хотя бы в качестве поэта, напрягаться через силу; в особенности хвалили они его за предупредительность по отношению к младшим, с которыми он казался воплощенною скромностью: с умиленным смирением просил он разрешения заходить по временам к ним в комнату и заходил в своем благодушии так далеко, что снова и снова навещал их, даже в тех случаях, когда ему ясно давали понять, что визиты его в тягость. Все эти рассказы до известной степени тронули меня, хотя я и признаю вполне естественным то, что он так мало нравился. Тщетны были частые жалобы графа:

Ты слишком юн и светел, отрок милый,
Тебе угрюмый спутник не по нраву.
Что ж! Я примусь за шутки, за забаву,
Отныне места нет слезе унылой!
И пусть пошлют небесные мне силы
Веселья чуждый дар — тебе во славу!

Напрасно уверял бедный граф, что со временем он станет самым знаменитым поэтом, что лавры бросают уже тень на чело его, что он может сделать бессмертными и своих нежных отроков, воспев их в вечных своих стихах. Увы! именно такого рода слава никому не улыбалась, да и поистине, она не из завидных. Я помню еще, с какой сдержанной улыбкой взирали несколько веселых приятелей на одного из таких кандидатов в бессмертные, под мюнхенскими Аркадами. Один дальновзоркий злодей уверял даже, что сквозь полы его сюртука он видит тень лаврового листа. Что касается меня, любезный читатель, то я не так зол, как ты полагаешь; в то время как другие издеваются над бедным графом, я ему сочувствую, я сомневаюсь только в том, что он на деле отомстит ненавистным «добрым нравом», хотя в песнях своих он и мечтает отдалиться такой мести; в большей степени я верю ему, когда он трогательно воспекает мучительные обиды, оскорбительные отказы и

измены. Я уверен, что на деле он более ладит с «добрыми нравами», чем ему самому хотелось бы этого, и он, как генерал Тилли, может похвалиться: «Я никогда не был пьян, не прикоснулся ни к одной женщине и не проиграл ни одного сражения». Вот почему, конечно, и выразился о нем поэт:

Ты юноша воздержанный и скромный.

Бедный юноша или, лучше сказать, бедный старый юноша, — ибо на плечах его было уже в то время несколько пятилетий, — корпел тогда, если не ошибаюсь, в Эрлангенском университете, где ему подыскивали какие-то занятия; но так как занятия эти не удовлетворяли его стремящейся ввысь души, так как с годами все более и более не давало ему покоя его чувственное тяготение к известности* и граф все более и более воодушевлялся великолепием своего будущего, то он прекратил эти занятия и решил жить литературой, случайными подачками свыше и прочими заработками. Дело в том, что графство нашего графа расположено на луне, откуда он, при скверных путях сообщения с Баварией, может получить свои несметные доходы лишь через двадцать тысяч лет, когда, по вычислениям Грейтгейзена, луна приблизится к земле.

Уже ранее дон Платен де Коллибрадос Галлермюнде издал в Лейпциге у Брокгауза собрание стихотворений, с предисловием, под заглавием: «Страницы лирики, номер 1-й». Книжка эта осталась неизвестною, хотя, как уверяет он, семь мудрецов изрекли хвалу автору. Впоследствии он издал, в подражание Тикку, несколько драматических сказок и рассказов, которые постигла та же счастливая участь — они остались неизвестными невежественной черни, и прочли их только семь мудрецов. Той порою, чтобы приобрести, помимо семи муд-

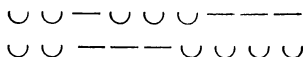
* Игра созвучных слов: mit den Lustren auch die Lusternheit nach illustrer Lust; дословно — «с пятилетиями также и жадность к наслаждению известностью».

рецов, и еще несколько читателей, граф пустился в полемику и написал сатиру, направленную против знаменитых писателей, главным образом, против Мюльльнера, который в то время снискал уже всеобщую ненависть и морально был уничтожен, так что граф явился в самый подходящий момент для того, чтобы нанести последний удар мертвому надворному советнику Эриндуру — не в голову, а, по фальстафовой манере, в икру. Негодование против Мюльльнера наполняло в то время все благородные сердца; полемическое произведение графа не потерпело поэтому фиаско, и «Роковая вилка» встречена была кое-где благосклонно — не большою публикой, а литераторами и школьной братией, последнею в особенности, ибо сатира написана была в подражание не романтику Тику, а классику Аристофану.

Кажется, в это самое время г. граф поехал в Италию; он не сомневался более, что окажется в состоянии жить поэзией; на долю Котты выпала обычная прозаическая честь — платить деньги за поэзию, ибо у поэзии, дочери неба, высокородной, никогда нет денег, и она, нуждаясь в них, всегда обращается к Котте. Граф стал сочинять стихи дни и ночи напролет; он не довольствовался уже подражаниями Тику и Аристофану, он подражал теперь Гете в стихах, Горацию — в одах, Петрарке — в сонетах, и наконец поэту Гафизу — в персидских газелах; говоря короче, он дал нам таким образом целую антологию лучших поэтов, а между прочим и свои собственные страницы лирики под заглавием: «Стихотворения графа Платена и т. д.».

Никто во всей Германии не относится с большею снисходительностью к поэтическим произведениям, чем я, и, конечно, я с полною готовностью признаю за беднягою, в роде Платена, его крошечную долю славы, заработанную им с таким трудом в поте лица. Никто более меня не склонен превозносить его стремления, его усердие и начитанность в поэзии и признавать его заслуги в стихотворной метрике. Мои собственные

опыты дают мне возможность, более, чем кому-либо другому, оценить метрические заслуги графа. О тяжких усилиях, неописуемом упорстве, стучанье зубами в зимние ночи и мучительном напряжении, которых стоили графу его стихи, наш брат догадается скорее, чем обыкновенный читатель, который увидит в гладкости, красивости и лоске стихов графа нечто легкое и будет восхищаться, без дальнейших мыслей, гладкою игрою слов, подобно тому, как мы в продолжение нескольких часов забавляемся искусством акробатов, балансирующих на канате, танцующих на яйцах и становящихся на голову, не помышляя о том, что эти несчастные только путем многолетней выучки и мучительного голода постигли это головоломное искусство, эту метрику тела. Я, который не так много мучился над стихотворным искусством и упражнялся в нем неизменно при условиях хорошего питания, я тем более готов воздать должное графу Платену, которому пришлось много тяжелее и голоднее; я готов подтвердить, во славу его, что ни один канатный плясун во всей Европе не балансирует так хорошо на слабо натянутых газелах, никто не проделывает пляску яиц над



и т. д.

лучше, чем он, никто не становится так хорошо верех ногами. Если музы и неблагоприятны к нему, то гений языка все же ему подвластен, или, вернее, он умеет его насиловать *, ибо по собственной воле этот гений не отдаст ему своей любви, и графу упорно приходится бегать также и за этим отроком, и он умеет схватить только те внешние формы, которые при всей их красивой закругленности не выражают благородства. Никогда еще ни одному Платену не удавалось извлечь из

* Игра слов: in seiner Gewalt haben — «иметь кого под своей властью»; einem Gewalt antun — «насиловать кого-либо».

души своей или проявить, в цвете откровений, тех глубоких, безыскусственных тонов, которые встречаются в народных песнях, у детей и у других поэтов; тяжкое усилие, которое ему приходится проделывать над собою, чтобы сказать что-нибудь, он именует «великим подвигом слова»; до такой степени чуждо ему существо поэзии, что он не знает даже, что только для ритора слово — подвиг, для истинного же поэта оно заурядное явление. В противоположность истинным поэтам, язык не становится мастером в нем, но сам он, наоборот, стал мастером в языке или, скорее, на языке, как виртуоз на инструменте. Чем больше успехов достигал он в такого рода технике, тем более высокого мнения был он о своем мастерстве; ведь он научился играть на все лады, он сочинял самые трудные стихотворные пассажи, иной раз поэтизировал, так сказать, на одной струне и сердился, когда публика не аплодировала. Подобно всем виртуозам, выработавшим в себе такой односторонний талант, он стал заботиться только об аплодисментах и с неудовольствием прислушивался к славе других, завидовал своим собратьям по поводу их заработка, как, например, Клаурену, раздражался пятиактными пасквилями, чуть только чувствовал себя задетым какою-либо эпиграммою, надзирал за всеми рецензиями, в которых хвалили других, и постоянно кричал: меня мало хвалят, мало хвалят, ведь я поэт, я поэт из поэтов и т. д. Таких алкания и жажды похвал и подачек не обнаруживал ни один истинный поэт, ни Клошток, ни Гете, к которым граф Платен причисляет себя в качестве третьего, хотя каждый согласится, что он мог бы быть в триумvirате только с Рамлером и, пожалуй, с А. В. Шлегелем. Великий Рамлер, как звали его в свое время, когда он разгуливал по берлинскому Тиргартену, скандируя стихи, — правда, без лаврового венка на голове, но зато с длинною косичкою в сетке, с поднятыми к небу глазами и с парусинным дождевым зонтиком подмышкою, — считал себя в то время послом поэзии на земле. Стихи

его были совершеннейшими в немецкой литературе, и почитатели его, в круг которых по ошибке попал даже Лессинг, были убеждены, что дальше в поэзии пойти невозможно. То же самое приблизительно произошло впоследствии с А. В. Шлегелем; но его поэтическая несостоятельность стала очевидною с тех пор, как язык получил дальнейшее развитие, и даже те, кто когда-то считал певца «Ариона» за настоящего Ариона, видят в нем теперь только заслуженного школьного учителя.

Но я не знаю еще, имеет ли граф Платен право смеяться над достопочтенным в остальном Шлегелем, как этот последний смеялся в свое время над Рамлером. Знаю только, что в области поэзии все трое равны, и как бы красиво ни проделывал граф Платен в своих газетах головокружительные кунстштюки, как бы превосходно ни исполнял в своих одах танец на яйцах, более того — как бы ни становился он на голову в своих комедиях, — все-таки он не поэт. Он не поэт, так думает даже та неблагодарная молодежь мужского пола, которую он так нежно воспеваает. Он не поэт, говорят женщины, которые, может быть — должен заметить это в его пользу, — не совсем в данном случае беспристрастны и, может быть, ревнуют несколько, в виду склонности, в нем замечаемой, или даже видят в тенденции его стихов угрозу своему выгодному до сих пор положению в обществе. Строгие критики, вооруженные сильными очками, соглашаются с этими мнениями или выражаются еще более лаконически-щекотливо. «Что вы находите в стихах графа фон Платена-Галлермюнде?» — спросил я недавно одного такого критика. «Седалище», — отвечал он. «Вы это говорите в смысле мучительной, упорной работы над формой?» — поинтересовался я. «Нет, — возразил он, — седалище также и в смысле содержания».

Переходя к содержанию платеновских стихов, я, конечно, не стану хвалить за них бедного графа, но и не желаю лишний раз навлекать на него ту цензурскую

ярость, с которою говорят о нем или даже молчат о нем наши Катоны. *Chacun a son goût**, — одному нравится бык, другому — корова Васишты. Я отношусь даже с неодобрением к той страшной, радамантовской суровости, с коей осуждается содержание платеновских стихов в берлинских «Научно-критических ежегодниках». Но таковы уж люди: они очень легко увлекаются, осуждая те грехи, которые им самим не доставляют удовольствия. В «Утреннем листке» прочитал я недавно статью, озаглавленную «Из дневника читателя», в которой граф Платен дает отповедь строгим порицателям его «дружеской любви», со скромностью, которой ему никогда не удастся скрыть и по которой его легко можно узнать. Говоря, что «Гегелевский еженедельник» обвиняет его в тайном пороке со «смешным пафосом», он, как легко угадать, хочет этим предупредить попреки других, чей образ мыслей ему уже известен из третьих рук.⁹ Однако он плохо осведомлен; в этом отношении я не дам повода упрекнуть себя в пафосе; благородный граф, в моих глазах, скорее забавное явление, и в его сиятельном любовничестве я вижу только нечто несовременное, неуверенно-стыдливую пародию на античное дерзание. В том-то и дело, что такого рода любовь не противоречила добрым нравам древности и выставлялась напоказ с героическою откровенностью. Когда, например, император Нерон устроил на кораблях, изукрашенных золотом и слоновой костью, пир, стоивший несколько миллионов, он велел торжественно обвенчать с собою одного отрока из своего мужского гарема, Пифагора («*Cuncta denique spectata, quae etiam in femina nox operit*»), а затем венчальным факелом своим поджег город Рим, чтобы при треске пламени воспеть в подобающей обстановке падение Трои. Об этом сочинителе газет я мог бы еще говорить с некоторым пафосом, но смешон мне наш новый пифагорец, убогий и трезвый, опасливо краду-

* У каждого свой вкус.

щийся в нынешнем Риме по торопинке дружбы; черствое сердце молодежи отвергает его, светлоликого, и он отправляется вздыхать при скудном свете лампочки над своими мелкими газетами. Интересно в этом отношении сравнить платеновские стишки со стихами Петрония. У последнего все открыто, определенно, антично, язычески-откровенно; наоборот, граф Платен, несмотря на то, что он притязает на классичность, относится к предмету скорее как романтик, — прикровенно, темно, по-поповски и, я бы добавил, по-ханжески. Дело в том, что граф нередко маскируется чувствами чистыми, избегая более точных обозначений пола; одним лишь посвященным можно понять его, от толпы же он полагает возможным укрыться за словом «друг», уподобляясь страусу, который считает себя в достаточной мере спрятавшимся, если зароет голову в песок, так что виден только зад. Наша сиятельная птица поступила бы лучше, если бы уткнула зад в песок, а нам показала бы голову. В самом деле, он мужчина не столько с лица, сколько с заду; слово мужчина вообще не подходит к нему; любовь его отличается пассивно-пифагорейским характером, в стихах своих он пассивен; он — женщина, и притом женщина, которая забавляется всем типично женским, он так сказать, мужская трибада. Эта его робко-вкрадчивая природа сквозит во всех его любовных стихах; он всегда находит себе нового друга красоты, повсюду в этих стихах мы встречаемся с полиандрией. Пусть он пускается в сентиментальности:

Ты любишь молча. Если бы в молчаньи
Твоей я любовался красотой!
О, если б я не говорил с тобою,
Не знал бы я жестокого страданья!
Но нет, любовь — одно мое желанье,
Я не стремлюсь к забвенью и покою!
Любовь роднит нас с дивною страной,
Где ангелы сплетаются в лобзаньи...

При чтении этих стихов нам приходит в голову мысль об ангелах, которые явились к Лоту, сыну Арана, и которым с большим трудом удалось уклониться от нежнейших лобзаний; к сожалению, в Пятикнижии не приводятся те газелы и сонеты, которые сочинены были при этом случае у дверей Лота. Повсюду в стихах Платена все та же птица — страус, прячущая одну лишь голову, та же тщеславная, бессильная птица; у нее самые красивые перья, но летать она не может и сердито ковыляет по песчаной пустыне литературной полемики. С красивыми перьями, но неспособный взлететь, с красивыми стихами, но без поэтического подъема, он составляет полную противоположность орлу поэзии, с менее блестящим оперением, но парящему под самым солнцем. . . Я опять возвращаюсь к припеву: граф Платен не поэт.

От поэта требуются две вещи: в лирических его стихотворениях должна звучать природа, в эпических или драматических должны быть образы. Если он не в состоянии засвидетельствовать наличие этих данных, то он теряет право на звание поэта, хотя бы его прочие фамильные документы и дворянские грамоты были в полнейшем порядке. Что эти последние документы у графа Платена в порядке, я не сомневаюсь; я уверен, что он ответил бы только веселой сострадательной улыбкой, если бы заподозрили подлинность его графства; но чуть только вы осмелитесь выразить в одной единой эпиграмме малейшее сомнение в подлинности его поэтического звания — он тотчас же злобно засядет за стол и напишет на вас пятиактную сатиру. Так уж повелось, что люди тем настойчивее держатся за свое звание, чем сомнительнее и двусмысленнее основания, по которым они на него притязают. Быть может, впрочем, граф Платен и был бы настоящим поэтом, если бы жил в другое время и представлял бы собою вдобавок не то, что он есть теперь. Что природа не звучит в стихах графа, это происходит, может быть, оттого, что он живет в эпоху, когда он не смеет назвать

по имени свои истинные чувства, когда те самые «добрые нравы», которые всегда враждебны его любви, мешают ему даже открыто жаловаться на это обстоятельство, когда он принужден скрывать все свои ощущения из страха оскорбить хотя бы единым слогом слуг публики, как и слуг «сурового красавца». Этот страх подавляет в нем звуки природы, принуждает его перерабатывать в стихи чувства других поэтов, в качестве как бы безукоризненного и традиционного материала, маскируя таким путем по мере надобности свои собственные чувства. Несправедливо, быть может, ставят ему в упрек, не считаясь с указанным его несчастным положением, то обстоятельство, что граф Платен и в области поэзии желает быть только графом и держаться своего дворянства, а потому воспевает только чувства известной фамилии, чувства, насчитывающие своих шестьдесят четыре предка в прошлом. Если бы он жил в эпоху римского Пифагора, он, может быть, более свободно выражал бы свои собственные чувства и, может быть, признан был бы поэтом. По крайней мере, в его лирических стихах слышны были бы звуки природы, но драмы его попрежнему отличались бы недостатком образов, пока не изменилась бы и его чувственная природа и он не стал бы другим. Образы, о которых я говорю, это те самодовлеющие создания, которые возникают из творческого духа поэта, как Афина-Паллада из головы Кронида, законченные и в полном снаряжении, живые порождения мечты, и тайна возникновения которых находится в более тесной, чем принято думать, связи с чувственной природою поэта, так что такого рода духовное зачатие недоступно тому, кто сам, как бесплодное существо, растекается дряблo и поверхностно в газелах.

Но все это — личные суждения поэта, и вески они постольку, поскольку признается авторитетным сам судья. Я не могу не упомянуть, что граф Платен очень часто уверяет публику, что только впоследствии он напишет самое значительное, о чем сейчас никто

и представления иметь не может, что свои Илиады и Одиссеи, классические трагедии и прочие бессмертно-великие творения он напишет только после основательной многолетней подготовки. Может быть, и сам ты, любезный читатель, читал эти излияния сознавшего себя духа в форме вылощенных с тяжкими усилиями стихов; может быть, перспектива столь прекрасного будущего тем более показалась тебе радостною, что граф попутно изобразил всех немецких писателей, кроме совсем уже старого Гете, как скопище скверных бумагомарак, лишь преграждающих ему путь к славе и столь бесстыдных, что они срывают лавры и гонорары, предназначенные лишь ему одному.

Я умолчу о том, что слышал на эту тему в Мюнхене, но в интересах хронологии должен отметить, что в то время баварский король выразил намерение назначить годовой оклад какому-нибудь поэту, не связывая этого оклада с должностью, каковой необычайный почин должен был повести к самым лучшим для немецкой литературы последствиям. Мне говорили...

Но я не хочу все-таки отступать от темы; я говорил о хвастовстве графа Платена, который непрестанно кричит: «Я поэт, поэт из поэтов! Я напишу Илиады и Одиссеи, и т. д.». Не знаю, как относится к такому хвастовству публика, но совершенно определенно знаю, что думает об этом поэт, конечно, поэт истинный, познавший уже стыдливую сладость и тайный трепет поэзии; такой поэт, подобно счастливому пажу, пользующемуся тайной благосклонностью принцессы, не станет, разумеется, хвастать блаженством своим на площади.

Над графом Платеном не раз достаточно трунили уже за такое бахвальство, но он, как Фальстаф, всегда умел находить себе оправдание. В этих случаях он обнаруживает талант совершенно в своем роде исключительный, заслуживающий особого признания. Граф Платен обладает той именно способностью, что всегда находит у какого-либо великого человека следы, хотя бы

и ничтожные, того порока, которым обладает сам, и, основываясь на такого рода избирательно порочном родстве, сравнивает себя с ним. Так, например, о со-
нетах Шекспира ему известно, что они обращены к молодому человеку, а не к женщине, и он превозносит Шекспира за его разумный выбор и сравнивает себя с ним — и это все, что он имеет сказать о Шекспире. Можно было бы написать апологию графа Платена с отрицательной точки зрения, утверждая, что ему нельзя еще поставить в вину то или иное заблуждение, потому что он еще не успел сравнить себя с тем или другим великим человеком, коему это заблуждение ставят в упрек. Но наиболее гениален он и поразителен в выборе человека, в чьей жизни ему удалось открыть нескромные речи и чьим примером он пытается приукрасить свое хвастовство. Поистине, никогда еще слова этого человека не приводились с такой целью. Это не кто другой, как сам Иисус Христос, служивший нам до сего времени образцом смирения и скромности. Неужели Христос когда-нибудь хвастался? Этот скромнейший из людей, тем более скромный, что и самый божественный? Да, то, что до сих пор ускользало от внимания всех богословов, открыл граф Платен. Он инсинуирует: Христос, стоя перед Пилатом, тоже не проявлял скромности и отвечал нескромно. Когда Пилат спросил его: «Ты царь иудейский?» Он ответил: «Ты сказал». Так именно утверждает и он, граф Платен: «Да, я таков, я поэт!» То, что оказалось не под силу ненависти какому-либо из умалителей Христа, то удалось толкованию самовлюбленного тщеславия.

Мы знаем теперь, как относиться к человеку, который беспрестанно кричит о себе: «Я поэт!» Знаем также и то, как будет обстоять дело с теми совершенно необычайными творениями, которые намерен создать граф, когда достигнет надлежащей зрелости, и которые должны неслыханным образом превзойти по своему значению все его предыдущие шедевры. Нам доподлинно известно, что поздние произведения истинного поэта

ни в коем случае не значительнее ранних; так неверно, что женщина, чем чаще рожает, тем будто бы лучших производит детей; нет, первый ребенок не хуже второго, только роды легче. Лывица не рождает сначала кролика, потом зайчика, потом собачку и под конец львенка. Госпожа Гете сразу же разрешилась юным львом, а он, в свою очередь, тоже сразу, своим львенком — «Берлихингеном». Точно так же Шиллер сразу разрешился своими «Разбойниками», по лапе которых уже видать львиную их породу. Впоследствии уже появились полировка, гладкость, шлифовка, «Побочная дочь» и «Мессинская невеста». Не так обстоит дело с графом Платеном, начавшим с робкого сочинительства; поэт говорит о нем:

Из ничего готовый ты возник;
Прилизан, лакирован гладкий лик,
Игрушка ты из пробки вырезная.

Но если признаться в сокровеннейших своих мыслях, то нужно сказать, что я не считаю графа Платена таким дураком, каким может он показаться, судя по этому хвастовству и постоянному самовосхвалению. Немножко глупости, понятно, требуется для поэзии, но было бы ужасно, если бы природа обременила большей порцией глупости, достаточною для сотни великих поэтов, одного единственного человека, а поэзии отпустила ему самую ничтожную дозу. Я имею основания подозревать, что г. граф, хвастаясь, сам не верит себе, и, будучи человеком нуждающимся, как в жизни, так и в литературе, он, ради заботы насущной, принужден и в литературе и в жизни быть своим собственным, самого себя восхваляющим рuffиано. Поэтому-то в них обоих наблюдаем мы явления, о которых можно сказать, что они представляют не столько эстетический, сколько психологический интерес; отсюда одновременно эта слезливейшая вялость душевная и напускное высокомерие; отсюда жалкое нытье о

близкой смерти и самомнительные выкрики о бессмертии; отсюда спесивый пыл и томная покорность; отсюда постоянные жалобы на то, что «Котта морит его голодом», и опять жалобы, что «Котта морит его голодом», и припадки католицизма и т. д.

Я сомневаюсь, чтобы граф принимал всерьез свое католичество. Стал ли он вообще католиком, подобно некоторым своим высокородным друзьям, я не знаю. О том, что он собирается стать таковым, я впервые узнал из газет, которые даже добавили, что граф Платен принимает монашество и поступает в монастырь. Злые языки утверждали, что обет бедности и воздержания от женщин дается графу легко. Само собою разумеется, при таких известиях в сердцах его друзей в Мюнхене зазвонили колокола благочестия. В поповских листках начали превозносить его стихи под звуки «Кириэ элейсон» и «Аллилуйя»; да и в самом деле, как не радоваться было святым мужам celibата по поводу стихов, способствовавших воздержанию от женского пола. К сожалению, мои стихи отличаются другим направлением, и то обстоятельство, что попы и певцы от роческой красы не восхищаются ими, может, правда, меня огорчить, но отнюдь не удивляет. Столь же мало удивился я и тогда, когда за день до отъезда в Италию услышал от своего друга, доктора Кольба, что граф Платен очень враждебно настроен против меня и готовит мне погибель в комедии под названием «Царь Эдип», которая представлена уже в Аугсбурге некоторым князьям и графам, чьи имена я забыл или хочу забыть. И другие рассказывали мне, что граф Платен ненавидит меня и относится ко мне враждебно. Во всяком случае, мне это приятнее, чем если бы мне сообщили, что граф Платен любит меня, как друга, без моего ведома. Что касается святых мужей, чья благочестивая ярость обратилась в то же время на меня не только за мои стихи, противные celibату, но и за «Политические анналы», редактором которых я тогда был, то я точно так же мог бы быть только в выигрыше от

того, что выяснилось, что я не за одно с ними. Если я здесь намекаю, что о них не говорят ничего хорошего, то я тем самым отнюдь не говорю о них ничего дурного. Я уверен даже, что исключительно из любви к благу они пытаются обезвредить речи злых людей путем благочестивого обмана и богоугодной клеветы и что исключительно ради этой благородной цели, освящающей всякие средства, пробуют они заградить для таких людей не только духовные источники жизни, но и материальные. Этих добрых людей, выступающих даже в Мюнхене открыто в качестве конгрегаций, удостаивают, по глупости, имени иезуитов. Право, они не иезуиты, в противном случае они бы сообразили, что я, например, один из злых, в худшем случае все же посвящен в искусство литературной алхимии — чеканить дукаты даже из врагов своих, таким образом, что сам я получаю дукаты, а враги мои — удары; они сообразили бы, что удары эти отнюдь не становятся легче, если поносить имя того, кто их расточает, подобно тому, как присужденный к смерти чувствует на себе удары плети, хотя палач, исполняющий приговор, и объявлен бесчестным, и, что всего важнее, они сообразили бы, что некоторое мое пристрастие к противо-аристократическому Фоссу и несколько невинных шуток на счет богоматери, за которые они с самого начала забрасывали меня дерьмом и глупостью, протекают не из антикатолического усердия. Поистине, они не иезуиты, они рождены от помеси дерьма и глупости, которую я столь же мало способен ненавидеть, как бочку с дерьмом и вола, ее везущего; все их усилия могут достичь только обратной цели и довести меня до того, что я покажу, в какой степени я протестант; я воспользуюсь своим правом доброго протестанта в его самом широком толковании и с увлечением возьму в руки добрую протестантскую боевую секиру. Пусть они тогда продолжают, чтобы расположить к себе чернь, пускать в оборот бабьи рассказы о моем неверии при посредстве своего лейб-поэта, — по хорошо знакомым ударам они

признают во мне единоверца Лютера, Лессинга и Фосса. Правда, я не мог бы так серьезно, как эти герои, потрясать старую секирою — при виде моих врагов мною овладело бы смешливое настроение, во мне ведь есть нечто эйленшпигелевское, я люблю примешивать к делу шутку, но я оглушил бы этих дерьмовозов не менее чувствительным образом, если бы даже и украсил перед тем свою секиру цветами смеха.

Но я не хочу слишком далеко отступать от своей темы. Кажется, это было в то время, когда баварский король, руководствуясь изъясненными выше целями, назначил графу Платену содержание в шестьсот гульденов в год, и притом не из казны, а из личных своих средств, чего именно, как особой милости, и хотелось графу. Об этом обстоятельстве, характеризующем касту, как бы оно ни казалось незначительным, я упоминаю лишь в качестве материала для естествоиспытателя, который пожелал бы заняться наблюдениями над дворянством. В науке ведь все важно. А того, кто упрекнет меня в излишнем внимании к графу Платену, я отсылаю в Париж — пусть он посмотрит, как тщательно описывает в своих лекциях тонкий и церемонный Кювье самое гадкое насекомое, во всех его подробностях. Поэтому мне жаль даже, что я не могу привести даты, когда были назначены эти шестьсот гульденов; знаю во всяком случае, что граф Платен раньше написал своего «Царя Эдипа» и что этот последний не кусался бы так, если бы у автора было чем закусить.

В Северной Германии, куда вызвала меня внезапно смерть отца, получил я наконец чудовищное создание, которое вылупилось наконец из огромного яйца; долго высиживал его наш блестяще оперенный страус, и за долго до его появления приветствовали его ночные совы из конгрегации своим набожным карканьем и аристократические павлины своим распушиванием хвостов. Должен был появиться на свет по меньшей мере погребельный василиск. Знаешь ли ты, любезный читатель,

сказание о василиске? Народ рассказывает: если птица-самец, как самка, снесет яйцо, то на свет является ядовитое существо, отравляющее своим дыханием воздух, и убить его можно, только поставив перед ним зеркало: испугавшись собственного безобразия, василиск умирает от страха.

Я не хотел в то время осквернять свою священную скорбь и лишь через два месяца, приехав на остров Гельголанд, на морские купанья, прочитал «Царя Эдипа». Постоянное созерцание моря, во всем его величии и дерзновении, настроило меня на возвышенный лад, и тем более ясны стали мне мелочность и крохоборство высокородного автора. Этот шедевр обрисовал его наконец в моих глазах таким, какой он есть, во всей его цветущей дряблости, с его бьющим через край скудоумием, с самомнением без воображения, — таким, какой он есть с его постоянным насилием над собою, при отсутствии силы, с постоянною пикировкой без всякой пикантности: сухая водянистая душа, унылый певец ликования! И этот трубадур уныния, дряхлый телом и душою, вздумал подражать самому могучему, неисчерпаемо-изобретательному и остроумнейшему поэту цветущей эллинской эпохи! Право, нет ничего противнее этого судорожного бессилия, пытающегося раздуться в дерзание, этих, с мучительным трудом высуженных пасквилей, облепленных плесенью застарелой злобы, этого робкого нанизывающего фразы подражания творческому упоению! Само собою разумеется, в произведениях графа Платена нет и следа той глубокой миросозерцательной идеи, которая лежит в основании всех аристофановских комедий, которая, подобно фантастически-ироническому волшебному дереву, распускается в них цветами мыслей, с гнездами распевających соловьев и с карабкающимися обезьянами. Такой идеи, с ликованием смерти и ему сопутствующим разрушительным фейерверком, мы, конечно, не могли ожидать от бедного графа. Средоточие его так называемой комедии, первая и последняя ее идея, ее цель и основа за-

ключаются, как и в «Роковой вилке», в ничтожных литературных дрязгах; бедный граф оказался в состоянии копировать Аристофана только в частности внешнего свойства, а именно — только в тонких стихах и в грубых словах. Я говорю «грубые слова» потому только, что не желаю выразиться грубее. Как сварливая баба, он выливает целые цветочные горшки брани на головы немецких поэтов. Я готов от всего сердца простить графу его злобу, но все же ему следовало бы соблюсти некоторые приличия. Он, по меньшей мере, должен был бы уважать наш пол; мы ведь не женщины, а мужчины, стало быть, принадлежим в его глазах к прекрасному полу, который он так сильно любит. Это свидетельствует о недостатке деликатности; ведь какой-нибудь отрок может усомниться на этом основании в искренности его чувств, ибо каждый понимает, что истинно любящий человек чтит заодно и весь пол. Певец Фрауэнлоб никогда, конечно, не был груб по отношению к какой бы то ни было женщине, а потому Платенам следовало бы питать побольше уважения к мужчинам. Между тем, какая неделикатность! Не стесняясь сообщает он публике, что мы, северогерманские поэты, больны «чесоткой», против которой мазь нужна такая, что задохнется всякий в срок «короткий». Рифма хороша. Всего менее деликатен он по отношению к Иммерману. Уже в самом начале пьесы он заставляет его проделывать за ширмою вещи, которые я не осмеливаюсь назвать их именем, но которые, однако, неопровержимы. Я считаю даже весьма вероятным, что Иммерман проделывал такие вещи. Но характерно, что фантазия графа Платена способна следить даже за врагами *a posteriori**. Он не пощадил даже и Гувальда, эту добрую душу, кроткого как девушка. Ах, может быть, именно за эту милую женственность и ненавидит его Платен. Мюллернера, которого он, как сам выражается, давно уже «сразил своею шуткой смертонос-

* сзади, позднее (буквально — от позднейшего)

ной», этого покойника, он опять тревожит и в могиле. Он не оставляет в покое ни старого, ни малого. Раупах—жид.

Жидочек Раупель,
Поднявший нос высоко, ныне Раупах,

«трагедии кропает на похмельи». Еще хуже дело обстоит с «крещеным Гейне». Да, да, ты не ошибся, любезный читатель, именно меня имеет он в виду! В «Царе Эдипе» ты можешь прочесть, что я настоящий жид, что я, поработав несколько часов над любовными стихами, присаживаюсь затем и обрезаю дукаты, что по субботам я сижу с бородами Мойшами и распеваю из талмуда, что в пасхальную ночь я убиваю несовершеннолетнего христианина, выбирая для этой цели из злопыхательства непременно какого-нибудь несчастного писателя. Нет, любезный читатель, я не хочу лгать тебе, таких прекрасных, хорошо написанных картин нет в «Царе Эдипе»; это именно обстоятельство я и ставлю в упрек автору. Граф Платен, располагая порою прекрасными мотивами, не умеет их использовать. Если бы у него было хоть немножко больше фантазии, он представил бы меня по меньшей мере тайным ростовщиком. Сколько комических сцен можно было бы написать в этом случае! Я испытываю душевную боль при виде того, как бедный граф упускает один за другим случаи поострословить! Как великолепно мог бы он использовать Раупаха в качестве трагедийного Ротшильда, у которого делают займы королевские сцены! Самого Эдипа, главное лицо комедии, мог бы он точно так же, путем некоторых изменений в фабуле пьесы, использовать лучше. Вместо того чтобы Эдипу убивать отца Лая и жениться на матери Иокасте, следовало бы придумать наоборот: Эдип должен убить мать и жениться на отце. Элемент резко драматический получил бы мастерское выражение в такой пьесе под пером Платена, его собственные чувства получили бы таким образом свое отражение, и ему пришлось бы

только, как соловью, излить в песне свое сердце; он изготовил бы такую пьесу, что, будь еще жив газелик Иффланд, она, несомненно, сейчас же была бы разучена в Берлине, ее и теперь бы еще ставили на частных сценах. Не могу себе представить никого совершеннее актера Вурма в роли такого Эдипа. Он превзошел бы самого себя. Затем, я нахожу неполитичным со стороны графа, что он уверяет в комедии, будто обладает «действительным остроумием». Или он, может быть, бьет на неожиданный эффект, на театральный трюк, когда публика ждет обещанного остроумия и в конце концов так и остается без него? Или он хочет подбодрить публику в поисках действительного тайного остроумия в пьесе, и все в целом есть не что иное, как игра в жмурки, где платеновское остроумие так хитро увертывается, что остается неуловимым? Может быть, поэтому-то публика, которую комедии смешат, так раздражается при чтении платеновской пьесы; она никак не может найти спрятавшегося остроумия; напрасно остроумие, спрятавшись, пищит, пищит все громче: «Я здесь! Я, право, здесь!» Напрасно! Публика глупа и строит серьезнейшую физиономию. Но я-то, знающий, где убежище остроумия, от души посмеялся, когда прочитал о «сиятельном, властолюбивом поэте», украшающем себя аристократическим нимбом, хвастающемся тем, что «всякий звук, слетевший с его уст, сокрушает», и обращающемся ко всем немецким поэтам со словами:

Я, как Нерон, хочу, чтоб мозг ваш был един,
Единым острым словом раздробить его.

Стихи неважны. Тайное же остроумие вот в чем: граф, собственно, хочет, чтобы мы все сплошь были Неронами, а он, наоборот, нашим единственным другом, Пифагором.

Пожалуй, я мог бы в интересах графа разыскать в его произведениях еще не одну скромную остроту, но так как он в своем «Царе Эдипе» затронул самое для

меня дорогое — ибо что же дороже для меня, чем мое христианство? — то да не поставят мне в упрек, что я, по слабости человеческой, считаю «Эдипа», этот «великий подвиг словесный», менее серьезным его подвигом, чем предыдущие.

Тем не менее истинная заслуга всегда вознаграждается, и автор «Эдипа» тоже дождетсся награды, хотя в данном случае он, как и всегда, поддался лишь влиянию своих аристократических и духовных поборников. Существует же среди народов Востока и Запада древнее поверье, что всякое доброе и злое дело влечет за собою непосредственные последствия для сотворившего его. И будет день, когда появятся они — приготовься, любезный читатель, к тому, что я впаду сейчас в некоторый пафос и стану страшен, — будет день, когда появятся они из тартара, ужасные дочери тьмы, эвмениды. Клянусь Стиксом, — а этою рекою мы, боги, никогда не клянемся зря, — будет день, когда появятся они, мрачные, предвечно праведные сестры! Они появятся с лицами, гневно багровыми от гнева, обрамленными кудрями-змеями, с теми самыми змеиными бичами в руках, которыми бичевали они в оное время Ореста, противоестественного грешника, убившего свою мать Тиндариду Клитемнестру. Может быть, и сейчас до слуха графа доносится змеиное шипение, — прошу тебя, любезный читатель, вспомни Волчью долину и музыку Самизэля. Может быть, уж и сейчас тайный трепет охватывает душу грешника-графа, небо хмурится, каркает ночные птицы, гром гремит издалека, сверкают молнии, пахнет канифолью. Горе! Горе! сиятельные предки встают из могил; трижды и четырежды вопиют они к жалкому потомку: «Горе! Горе!» Они заклинаят его надеть их старинные железные штаны, чтобы защититься от ужасных розог — ибо эвмениды истерзают его этими розгами, их бичи-змеи иронически посмеиваются над ним и, подобно распутному королю Родриго, заключенному в змеиную башню, бедный граф в конце концов застонет и завизжит:

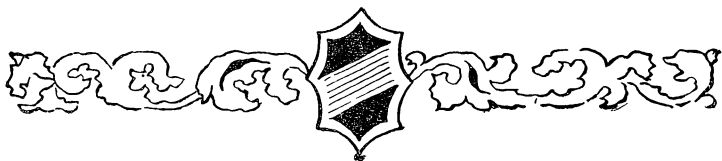
Ах! сожрут они те части,
Что в грехах моих повинны:

Не ужасайся, любезный читатель, все это ведь только шутка. Эти страшные эвмениды — не что иное, как веселая комедия, которую сочиню я через несколько пятилетий под таким названием, а трагические стихи, только что тебя напугавшие, приведены мною из самой веселой на земле книги — из «Дон Кихота Ламанчского», где некая старая, приличная придворная дама декламирует их в присутствии всего двора. Вижу, ты опять улыбаешься. Простимся же с веселою улыбкою. Если эта последняя глава оказалась скучноватою, то причиною тому ее тема, да и писал я больше для пользы, чем для забавы; если удалось мне пустить в литературный оборот одного нового дурака, отечество будет обязано мне благодарностью. Я возделал ниву, пускай другие, более остроумные писатели засеют ее и соберут жатву. В скромном сознании этой заслуги — лучшая моя награда.

К сведению же тех королей, которые все-таки пожелали бы выслать мне еще и табакерку, сообщаю, что книгоиздательство «Гоффман и Кампе в Гамбурге» уполномочено принимать таковые для передачи мне.

Поздняя осень 1829 года.

часть четвертая



ПРЕДИСЛОВИЕ

«Город Лукка», непосредственно примыкающий к «Луккским водам» и написанный тогда же, является здесь отнюдь не отдельной картиной, но заключительным моментом особого жизненного периода, совпадающим с заключительным моментом особой мировой эпохи. «Английские отрывки» написаны частью два года тому назад, в соответствии с тогдашними запросами для «Всеобщих политических анналов», которые я в то время редактировал вместе с Линднером, и, учитывая их пригодность, я включил их теперь как дополнение в «Путевые картины». Для обладателя первого издания книга эта явится поэтому, может быть, желанным дополнением.

Обращаю особенное внимание на то обстоятельство, что мне не пришлось самому держать корректуру книги, и я не могу отвечать за все могущие произойти на этой почве неудобства.

Хотелось бы, чтобы благосклонный читатель правильно понял цели, которыми я руководился при издании «Английских отрывков». Быть может, я обнародую, в порядке постепенности, еще несколько заметок в таком роде. Литература наша не слишком богата в этом отношении. Хотя Англия неоднократно описана нашими беллетристами, все же Виллибальд Алексис является единственным, сумевшим соблюсти точность красок и контуров при изображении тамошних мест и одеяний. Кажется, он сам даже не был в этой стране и знаком с ее обликом только благодаря той удиви-

тельной интуиции, которая устраняет для поэта необходимость непосредственного созерцания действительности. Я сам точно таким образом написал одиннадцать лет тому назад «Вильяма Ратклиффа»; я отмечаю это обстоятельство тем более, что в «Ратклиффе» содержится не только точное изображение Англии, но и зачатки моих последующих размышлений об этой стране, которой я в то время еще не видел. Вещь эта включена в «Трагедии, с лирическим интермеццо, Г. Гейне. Берлин, 1823, изд. Ф. Дюммлера».

Что касается описания путешествий, то, кроме Архенгольца и Геде, нет, конечно, другой книги об Англии, которая лучше бы знакомила с тамошним положением, чем изданная в этом году Франком в Мюнхене: «Письма умершего. Отрывочный дневник — Англия, Уэльс, Ирландия и Франция. Написаны в 1828—1829 гг.».

Эта книга замечательна и во многих других отношениях и в полной мере заслуживает похвального отзыва, которого ее удостоили Гете и Фарнгаген фон Энзе в берлинских «Ежегодниках научной критики».

Генрих Гейне

Гамбург, 15 ноября 1830 г.

И Т А Л И Я

Ш

Г О Р О Д Л У К К А

Смешат меня эти англичане, с таким жалким мещанством осуждающие этого второго своего поэта (ибо после Шекспира пальма первенства принадлежит Байрону) за то, что он высмеивал их педантство, не хотел подчиняться их захолустной морали, не хотел разделять их холодную веру, с отвращением относился к их трезвости и жаловался на их высокомерие и лицемерие. Многие, лишь заговорят о нем, осеняют себя крестом, и даже женщины, хотя щеки их и пылают энтузиазмом, когда они читают Байрона, открыто выступают с резкими нападками на своего тайного любимца.

„Письма умершего. Отрывочный дневник. Англия“. Мюнхен, 1830.



ГЛАВА I

Окружающая природа действует на человека — по чему бы и человеку не действовать на окружающую природу? В Италии она отличается страстностью, как и народ, там живущий, у нас, в Германии, она суровее, сосредоточеннее, терпеливее. Быть может, природа, как и люди, жила когда-нибудь более напряженной внутренней жизнью. Сила чувства Орфея могла, говорят, сообщать вдохновенное ритмическое движение деревьям и камням. Возможно ли в наше время что-либо подобное? И люди и природа стали флегматичными и зевают друг другу в лицо. Королевский прусский поэт не в силах звуками своей лиры заставить плясать Темпловскую Гору или берлинские Липы.

Природа тоже имеет свою историю, и это вовсе не та естественная история, что преподается в школах. Одну из серых ящериц, тысячелетиями обитающих в расщелинах Апеннин, следовало бы назначить совершенно экстраординарной профессоршею в одном из наших университетов, и от нее можно было бы послушаться экстраординарнейших вещей. Но гордость иных господ из состава юридических факультетов возмутится против такого назначения. Недаром же один из них втайне завидует бедному ученому псу Фидо, опасаясь, что он со временем вытеснит его с поприща ученых поносок.

Ящерицы, со своими умными хвостиками и острыми глазками, порассказали мне много чудесных вещей, когда я в одиночестве карабкался по апеннинским скалам. Поистине, существует между небом и землей

много такого, чего не поймут не только наши философы, но и обыкновеннейшие дураки.

Ящерицы поведали мне существующее в среде каменной сказание о том, что бог полагает воплотиться со временем в камень, чтобы спасти камни от их оцепенения. Но одна старая ящерица была того мнения, что это воплощение в камень осуществится не ранее, чем бог воплотится во все виды животного и растительного царства и таким образом спасет их.

Лишь немногие камни обладают чувством, и дышат они только при лунном свете. Но эти немногие камни, чувствующие свое состояние, страшно несчастны. Деревья в этом отношении много счастливее — они могут плакать. Всего же благополучнее животные, ибо они могут говорить, каждое по-своему, и лучше всего людям. Когда-нибудь, когда весь мир будет спасен, все остальные творения будут так же хорошо говорить, как в те древние времена, о которых повествуют поэты.

Ящерицы — насмешливый народ и непрочь одурачить других животных. Но со мной они были так смиренны, так честно вздыхали; они рассказывали мне истории об Атлантиде, которые я скоро запишу на пользу и преуспеяние человечества. Моей душе было так хорошо с этими маленькими существами, как бы стоящими на-страже тайных летописей природы. Быть может, это замороженные поколения жрецов, в роде древнеегипетских жрецов, живших так же в лабиринтообразных горных пещерах, так же подглядывая тайны природы. Их головки, тельца и хвостики расцвечены столь же чудесными знаками, как египетские тигры с иероглифами и одеяния иерофантов.

Мои маленькие друзья научили меня также языку знаков, при помощи которого я мог объясняться с немою природою. Это нередко облегчает мою душу, особенно по вечерам, когда горы укутаны в трепетно-сладостные тени, шумят водопады, благоухают все растения и вздрагивают там и здесь зарницы.

О, природа! Немая дева! Я хорошо понимаю язык твоих зарниц, твои тщетные попытки заговорить, судорожно пробегающие по твоему прекрасному лику. Мне так глубоко жаль тебя, что я плачу. Но тогда и ты понимаешь меня, и проясняешься и улыбаешься мне из глубины золотых твоих очей. Прекрасная дева, понятны мне твои звезды, как и тебе — мои слезы!

Г Л А В А II

«Ничто в мире не хочет двигаться назад, — сказал мне старый ящер, — все стремится вперед, и в конце концов произойдет ряд повышений в природе. Камни станут растениями, растения — животными, животные — людьми, а люди — богами».

«Но, — воскликнул я, — что же станет с этой доброй братией — с бедными, старыми богами?»

«Дело как-нибудь устроится, любезный друг, — отвечал ящер: — вероятно, они подадут в отставку или будут уволены на покой каким-нибудь почетным способом».

Я узнал немало и других тайн от моего натурфилософа с иероглифической кожей, но я дал честное слово не выдавать их. Я знаю теперь больше, чем Шеллинг и Гегель.

«Какого вы мнения о них обоих?» — спросил меня старый ящер с насмешливой улыбкой, когда я однажды упомянул их имена.

«Если принять во внимание, что они только люди, а не ящерицы, — ответил я, — то нельзя не поразиться учености этих господ. По существу они оба исповедуют одно учение — хорошо известную всем философию тождества; различаются они только по способу изложения. Когда Гегель начинает строить основы своей философии, то кажется, будто видишь те красивые фигуры, которые умеет составлять искусный школьный учитель, сочетая различные цифры таким образом, что обыкновенному наблюдателю доступно лишь

созерцание поверхностного: домиков, корабликов или отдельных солдатиков, составленных из этих цифр; между тем школьник с соображением постигнет в этих фигурах способ разрешения замысловатой математической задачи. Способ изложения Шеллинга напминает скорее те индийские изображения животных, где путем причудливых сплетений соединены между собою змеи, птицы, слоны и тому подобные одушевленные ингредиенты. Этот способ изображения гораздо привлекательнее, веселее и жизненно-теплее; все в нем одухотворено, в то время как абстрактные гегелевские схемы имеют такой серый, такой холодный и мертвый вид».

«Так, так, — сказал старый ящер, — я понимаю вас, но скажите, много ли слушателей у этих философов?»

Тут я представил ему картину, как в ученом берлинском караван-сарая собираются верблюды у кладеза гегелевской премудрости, опускаются перед ним на колени, принимают на себя груз мехов с драгоценным содержанием и, навьюченные таким образом, шествуют дальше по песчаной пустыне Бранденбурга. Затем я изобразил, как новые афиняне теснятся вокруг источника шеллинговской живой воды, будто это лучшее пиво, брейган жизни, напиток бессмертия.

Желтая зависть овладела маленьким натурфилософом, когда он узнал об успехе, которым пользуются его коллеги, и он раздраженно спросил:

«Который из них, по-вашему, выше?»

«Этого я не могу решить, — отвечал я, — так же как не могу решить, кто выше — Шехнер или Зонтаг, но думаю...»

«Думаю! — воскликнул ящер резко и надменно, тоном глубочайшего пренебрежения. — Думать! Кто из вас думает! Мой мудрый друг, вот уже скоро три тысячи лет, как я занимаюсь наблюдениями над умственными отправлениями животных; предметом своих занятий я избрал преимущественно людей, обезьян и змей, я уделил этим странным существам столько же

внимания, сколько Лионне своим сумеречным гусеницам, и в итоге своих наблюдений, опытов и анатомических сравнений я могу определенно удостовериться: люди не думают, лишь время от времени им приходит что-нибудь в голову; и эти свои совершенно произвольные приступы они именуют мыслями, а нанизывание их — мышлением. Но от моего имени можете это передать: люди не думают, философы не думают, не думают ни Шеллинг, ни Гегель; что касается их философии, то это сплошь — воздух и вода, как тучи небесные; мне приходилось уже видеть несметное количество таких туч, гордо и уверенно проносящихся надо мною, и в ближайшее же утро солнце превращает их в первичное ничто; существует одна единственная истинная философия, и она начертана вечными иероглифами на моем собственном хвосте».

При этих словах, произнесенных с презрительным пафосом, старый ящер повернулся ко мне спиною, и по мере того как он медленно удалялся, виляя хвостом, я мог созерцать на спине его чудеснейшие знаки, в пестром своем красноречии проходившие по всему хвосту.

Г Л А В А III

Разговор, приведенный мною в предыдущей главе, происходил на дороге между Луккскими водами и городом Луккою, недалеко от большого каштанового дерева, осенявшего ручей своими темнозелеными ветвями, и в присутствии старого белобородого козла, пасшегося там в одиночестве. Я отправился в город Лукку, чтобы разыскать Франческу и Матильду, с которыми, согласно нашему уговору, должен был встретиться неделей раньше. Однако в назначенный срок я побывал там напрасно, и теперь вторично собрался в путь. Я шел пешком мимо прекрасных гор и рощ; золотые апельсины, словно дневные звезды, светились в темной листве, и гирлянды виноградных лоз тянулись

на целые мили в праздничных сплетениях. Вся здешняя местность напоминает сад и нарядна так, как деревенские сцены, показываемые в наших театрах; да и сами деревенские жители похожи на пестрые фигуры, которые забавляют нас в виде распевающих, смеющихся и танцующих персонажей. Ни одного филистерского лица. Если здесь и имеются филистеры, то это все-таки итальянские апельсинные филистеры, а не неуклюжие немецкие — картофельные. Как сама страна, живописны и идеальны здесь люди, и при этом у каждого своеобразное выражение лица, каждый проявляет себя по-своему: осанкой, драпировкой плаща и, при случае, взмахом ножа. У нас дома, наоборот, все люди с рядовыми, однообразными физиономиями; когда их соберется двенадцать человек, образуется дюжина, а когда тринадцатый нападет на них, они зовут полицию.

Мне бросилось в глаза в Луккской области, как и в большей части Тосканы, что на головах у женщин надеты большие черные войлочные шляпы со свешивающимися черными страусовыми перьями; даже плетельщицы соломы, и те носят такой тяжелый головной убор. Мужчины, наоборот, носят в большинстве случаев легкие соломенные шляпы; молодые парни получают их в подарок от девушки, которая сама плетет их и вплетает туда свои любовные мечты, а может быть, и вздохи. Так и Франческа сидела когда-то среди девушек и цветов долины Арно и плела шляпу для своего саго Сессо*, целуя каждую вплетаемую соломинку и напевая изящное «Occhie, stelle mortale»**. Кудрявая голова, на которой так красиво сидела потом эта шляпа, украшена теперь тонзурою, а самая шляпа, старая и поношенная, висит у аббата в Болонье в углу его хмурой комнаты.

Я принадлежу к числу тех людей, которые охотно сворачивают с большой дороги на более короткую и

* милый Чекко

** «Очи, убийственные звезды».

нередко поэтому блуждают по узким лесным и горным тропинкам. Так случилось и в этот раз: на путешествие в Лукку я, конечно, потратил вдвое больше времени, чем обыкновенный пешеход с большой дороги. Воробей, у которого я спросил, как пройти, принялся щебетать, но ничего не мог объяснить мне толком. Должно быть, он и сам не знал дороги. От бабочек и стрекоз, сидевших на крупных колокольчиках, я не мог добиться ни слова, — они улетали, прежде чем успевали понять, в чем дело, а цветы только покачивали своими беззвучными головками-колокольчиками. Порою дразнили меня дикие мирты, посмеивавшиеся издали своими тоненькими голосками. Тогда я порывисто взбирался на самые высокие утесы и зывал: «Тучи небесные! Корабли воздушные! Скажите, как добраться до Франчески? Где она — в Лукке? Скажите, что она делает? что танцует? Скажите мне все, а когда все скажите, скажите еще раз!»

При таком избытке безумия могло случиться, конечно, что какой-нибудь суровый орел, чьи одинокие грезы потревожены были моим возгласом, мог взглянуть на меня с презрительным недовольством. Но я охотно прощаю ему: ведь он никогда не видел Франчески, а потому и может в столь величественном строении сидеть на своем твердом утесе и свободно смотреть в небо или же глазеть на меня сверху с таким дерзким спокойствием. У таких орлов нестерпимо надменный взор, они смотрят на тебя так, будто спрашивают: «Что ты за птица? Знаешь ли ты, что я все еще царь, как и в те героические времена, когда я держал молнии Юпитера и украшал собою знамена Наполеона? Может быть, ты ученый попугай, который вызубрил наизусть старые песни и педантически их насвистываешь? Или выдохшийся голубок, красиво чувствующий и так жалко воркующий? Или соловей из альманаха? Или выродившийся гусак, чьи предки спасли Капитолий? А может быть, просто раболепный домашний петух, которому в насмешку привесили на шею эмблему

смелого полета, то есть мой портрет в миниатюре, и который поэтому топорщится так важно, будто он и в самом деле орел». Ты знаешь, любезный читатель, как мало у меня оснований чувствовать себя обиженным, если орел и подумал обо мне что-нибудь подобное. Мне кажется, мой взгляд, брошенный ему, был еще надменнее, чем его собственный, и если он догадался справиться обо мне у первого попавшегося лаврового дерева, то теперь он знает, кто я.

Я в самом деле заблудился в горах, когда наступили сумерки, постепенно стали замолкать разноголосые песни леса, деревья шумели все суровее и суровее. Величавая таинственность и какая-то скрытая торжественность, подобно дыханию господню, пронизывали просветленную тишину. Там и сям раскрывался на земле и смотрел на меня чей-то прекрасный темный глаз и в тот же миг исчезал. Нежный шопот ласкал мое сердце, и невидимые поцелуи воздушно прикасались к моим щекам. Вечерняя заря словно пурпурными мантиями окутала горы, последние лучи солнца освещали их вершины; казалось передо мной короли с золотыми венцами на головах. Я же, как император вселенной, стоял в кругу этих коронованных вассалов, безмолвно преклонявшихся предо мной.

Г Л А В А IV

Не знаю, был ли человеком благочестивый монах, встретившийся мне недалеко от Лукки. Но знаю — его старое тело, убогое и неприкрытое, уже много лет облачено в грубую рясу, рваные сандалии недостаточно защищают его босые ноги, когда он взбирается на утесы по колючкам, сквозь кустарник, чтобы там, наверху, в торных деревушках подать утешение больному или учить молитве детей; и он доволен, когда ему положат в мешок кусочек хлеба и дадут немного соломы, чтобы поспать на ней.

«Против *этого* человека я не стану писать, — сказал я себе: — когда опять дома, в Германии, в своем кресле, у потрескивающей печи, за чашкою вкусного чаю, в довольстве и тепле, я буду обличать католических попов, то против *этого* человека я не стану писать».

Чтобы писать против католических попов, надо знать и их лица. Но оригиналы этих лиц можно видеть только в Италии. Католические священники и монахи в Германии — лишь плохое подражание итальянским, часто даже пародия; сравнивать тех и других столь же невозможно, как невозможно сравнивать римские и флорентийские образа святых с теми, на саранчу похожими, набожными рожами, которые своим печальным существованием обязаны мещанской кисти какого-нибудь нюрнбергского городского живописца или даже милому простодушию какого-нибудь упражняющегося в благочестии мастера долговолосо-христианской северо-немецкой школы.

Итальянские попы давно уже равнодушны к общественному мнению; тамошний народ давно привык отличать достоинство духовного сана от недостойных носителей его; он уважает первое даже и в том случае, если последние заслуживают презрения. Именно контраст, неизбежный при сопоставлении идеальных обязанностей и свойств духовного сословия с неустраняемыми потребностями плотской природы, этот древний, вечный конфликт между духом и материей сделал итальянских попов неизменными персонажами народного юмора в сатирах, песнях и новеллах. Явление это наблюдается всюду, где существует подобное сословие жрецов, например, в Индостане. В комедиях этой издревле благочестивой страны, как замечено уже в «Сакунтале» и подтверждается в переведенной недавно «Васантасене», брамин неизменно играет комическую роль, так сказать «жреца-грациозо», при чем уважение, подобающее его жреческим обязанностям и привилегиям его святого сана, ни в малейшей степени этим не

ослабляется — подобно тому как итальянец с ничуть не меньшим благочестием присутствует на богослужении или даже исповедуется у того самого священника, которого он накануне видел пьяным в уличной грязи. В Германии дело обстоит иначе: католический священник желает не только подкреплять свое достоинство саном, но и свой сан личным достоинством, и так как вначале он, может быть, действительно серьезно относится к своему призванию, а потом, когда обет целомудрия и смирения приходит в столкновение с «ветхим Адамом», то, из боязни открыто умалить свое достоинство, в особенности не желая открыть свои слабости нашему приятелю Кругу в Лейпциге, он пытается сохранить по крайней мере внешний облик святости. Отсюда святошество, лицемерие, пронырливая игра в благочестие у немецких попов; у итальянских, напротив, большая прозрачность личины, известная сытая ирония и благодушное смакование благ мирских.

Но какой толк в этих общих соображениях! Они мало помогли бы тебе, любезный читатель, если бы тебе пришла охота написать что-либо против католического поповства. Для этого нужно, как уже сказано, видеть собственными глазами соответствующие физиономии. Поистине недостаточно для этого видеть их в королевском оперном театре в Берлине. Правда, прежний управляющий королевскими театрами принимал все возможные меры, чтобы как можно правдоподобнее изобразить коронационное шествие в «Орлеанской девице», наглядно представить своим соотечественникам идею этой процессии и дать им лицезреть попов всех оттенков. Но самый достоверный костюм все же не замечает подлинного лица, и если бы истратить еще сто тысяч талеров специально на золотые епископские митры, узорчатые стихари певчих, пестротканые богослужебные ризы и тому подобный хлам, то все-таки все эти протестантски-разумные носы, протестующие из-под епископских митр, тощие и рационально верующие ноги, торчащие из-под белых кружевных стихарей,

просвещенные животы, для которых слишком широки эти богослужебные ризы, — все это напоминало бы нам о том, что по сцене шествуют все же не католические священники, а берлинские миряне.

Я часто думал о том, насколько лучше генерал-интендант мог бы представить это шествие и насколько вернее была бы картина процессии, если бы роли католических попов были переданы не обыкновенным статистам, а тем протестантским священникам, которые на богословском факультете, в «Церковной газете» и со своих кафедр так ортодоксально проповедают против разума, соблазнов мира, Гезениуса и чертовщины. Вот когда появились бы физиономии, поповский отпечаток которых больше соответствовал бы их ролям. Ведь замечено, что священники всего мира — раввины, муфтии, доминиканцы, консисторские советники, попы, бонзы, — короче, весь божий дипломатический корпус, — обладают родственным сходством лиц, характерным для всех людей одного промысла. Портные во всем мире отличаются деликатностью сложения; мясникам и солдатам, наоборот, свойственна грубость черт; евреи обладают своего рода выражением честности в лице — не потому, что ведут свой род от Авраама, Исаака и Иакова, а потому, что принадлежат к купеческому сословию; и франкфуртский купец-христианин столь же похож на франкфуртского купца-еврея, как одно тухлое яйцо на другое. Купечество духовное, то есть люди, добывающие средства к существованию религиозными гешефтами, приобретает поэтому такую же общность черт лица. Правда, способы и приемы, при помощи которых они ведут свои гешефты, влекут за собою известные различия оттенков. Католический поп занимается своим делом больше наподобие приказчика в большой торговле; церковь, крупный торговый дом, глава которого, папа, дает ему определенное назначение и уплачивает определенную мзду; он работает спустя рукава, как и всякий работающий не за свой счет, имеющий много сослуживцев и легко

остающийся незамеченным в сутолоке большого торгового предприятия, он заинтересован только кредитоспособностью фирмы и в существовании ее, так как, в случае банкротства, может лишиться жалованья. Протестантский поп, напротив, сам повсюду является хозяином и ведет дело религии за свой счет. Он не занимается оптовой торговлей, как его католический товарищ, а розничною; и так как он сам представляет свое предприятие, то ему нельзя работать спустя рукава; ему приходится расхваливать перед людьми свой символ веры и хулить товары* своих конкурентов; как истый розничный торговец, стоит он в дверях своей лавчонки, полный чувства профессиональной зависти ко всем крупным домам, в особенности к большой римской фирме, насчитывающей много тысяч бухгалтеров и упаковщиков и располагающей факториями во всех четырех частях света.

Все это влияет, конечно, на выражение физиономий, но оттенки незаметны из партера, и фамильное сходство в лицах католических и протестантских попов остается в основе неизменным; если генерал-интендант хорошо оплатит труд вышеуказанных господ, то они, как всегда, неподражаемо правдиво сыграют свою роль. Походка их тоже немало поспособствует иллюзии, хотя тонкий, опытный глаз заметит, что и она отличается тонкими оттенками от походки католических священников и монахов.

Католический поп шествует, как будто небо принадлежит ему в собственность; протестантский же ходит, словно небо взято им в аренду.

Г Л А В А V

Была уже ночь, когда я добрался до города Лукки.

Совершенно иным показался он мне неделю тому

* Игра слов: по-немецки Artikel — товары, а Glaubens-artikel — символ веры.

назад, когда я бродил днем по пустынным гулким улицам, словно попав в один из тех заколдованных городов, о которых так много рассказывала мне когда-то моя нянька. На этот раз в городе царствовала могильная тишина, все было блекло и мертвенно, отсветы солнца играли на крышах, как золотая мишура на голове трупа; там и сям из окна развалившегося от дряхлости дома свешивались побеги плюща, как застывшие зеленые слезы; повсюду — искорки тления и боязливо застывшая смерть; город казался только призраком города, каменным привидением среди белого дня. Тщетно искал я следов какого-нибудь живого существа. Помню только, что перед старым палаццо лежал спящий нищий, с протянутой раскрытой рукой. Помню также, что наверху, в окне потемневшего от ветхости домика увидел я монаха, высунувшего далеко вперед из коричневой рясы красную шею с жирною лысою головой, а рядом с ним — полногрудую женщину; я видел, как в полуоткрытую дверь внизу входил маленький мальчик, одетый, как аббат, в черное, и держащий обеими руками основательную толстобрюхую бутылку с вином. В тот же миг где-то близко тонко, пронически зазвенел колокольчик, и в памяти моей засмеялись новеллы Боккаччо. Но звуки эти так и не могли рассеять странный страх, охвативший мою душу. Быть может, страх этот с тем большею силой держал меня в плену, что солнце лило такой горячей и яркий свет на жуткие дома; я заметил уже, что призраки еще страшнее, когда сбрасывают черный покров ночи и являются при белом свете дня.

Когда теперь, спустя неделю, я вновь прибыл в Лукку, как поразил меня изменившийся вид этого города. «Что это? — воскликнул я, когда свет ослепил мой взор и человеческие толпы заколыхались среди улиц. — Не встал ли из могилы, подобно призракам ночи, целый народ, чтобы в безумнейшем маскараде собезьянничать живых? Высокие, хмурые дома украшены лампами, повсюду из окон свешиваются пестрые

ковры, почти покрывая собою дряхлые серые стены, а над ними склоняются прелестные девические лица, такие свежие, такие цветущие, что, ясно мне, сама жизнь празднует свое обручение со смертью и пригласила на свое торжество молодость и красоту». Да, это был своего рода живой праздник смерти — не знаю, как он называется в календаре, — во всяком случае, годовщина содрания кожи с какого-нибудь много-страдального мученика, так как потом я увидел священный череп и еще в придачу несколько костей, украшенных цветами и драгоценными камнями и несомых под звуки свадебной музыки. Это была красивая процессия.

Впереди шли капуцины, отличавшиеся от других монахов длинными бородами; это были как бы саперы армии верующих. Затем следовали безбородые капуцины, среди них много мужественных благородных лиц и даже несколько юношески-красивых; широкая тонзура очень шла к ним, их головы казались как бы оплетенными красивыми венками волос и вместе с голою шеею очень грациозно выступали из коричневой рясы. Затем следовали рясы других цветов — черные, белые, желтые, разноцветные, надвинутые на лоб треугольные шляпы, словом, все те принадлежности монастырского одеяния, с которым мы давно знакомы благодаря стараниям нашего генерал-интенданта. За монашескими орденами шествовало собственно духовенство — белые балахоны поверх черных панталон и цветные шапочки; за ними двигались священники высшего ранга, укутанные в пестрые шелковые покрывала, на головах — род высоких шапок, вероятно, египетского происхождения, знакомых нам из книг Денона, по «Волшебной Флейте» и по Бельцони; у всех заслуженные физиономии, повидимому, они составляли нечто в роде старой гвардии. Наконец показался собственно штаб, балдахин и под ним старик в еще более высокой шапке и в еще более богатой ризе, концы которой несли, наподобие пажей, два так же одетых старика.

Передние монахи шли, скрестив руки, в суровом молчании, но те, что были в высоких шапках, пели как-то особенно мрачно, они так гнусавили, захлебывались, курлыкали, что, составляя евреи народное большинство и будь их религия государственной, подобное пение — я в этом убежден — назвали бы «жидовским». По счастью, оно было слышно только наполовину, так как за процессиею следовали, с громким барабанным боем и свистом, несколько рот солдат и, кроме того, по обеим сторонам, рядом с духовенством маршировали попарно гренадеры. Солдат было едва ли не больше, чем духовенства; но в наше время для поддержания религии требуется много штыков, и если, с одной стороны, преподается благословение, то издали вместе с тем должны слышаться многозначительные раскаты пушечной пальбы.

Всякий раз, когда я вижу такой крестный ход, где под горделивым эскортом войск, уныло и скорбно шествует священство, меня охватывает болезненное чувство, и мне начинает казаться, что я вижу нашего спасителя ведомым на место казни в сопровождении копьеносцев. Звезды Лукки, конечно, были того же мнения, и когда я со вздохом взглянул на них, они так согласно заморгали мне своими благочестивыми глазами, так светло и ярко. Но не было нужды в свете звезд — многие тысячи ламп, свечей и девических лиц светились во всех окнах, на перекрестках водружены были пылающие смоляные венки и, кроме того, сбоку у каждого духовного лица было по одному собственному свеченосцу. При капучинах свечи несли главным образом маленькие мальчики, и детски-свеженькие личики их с любопытством и удовольствием смотрели время от времени вверх, на старые суровые бороды; такой бедняк-капуцин не в состоянии содержать взрослого свеченосца; мальчику же, которого он обучает Ave Maria или чья тетка у него исповедуется, приходится, вероятно, даром исполнять эту обязанность, отчего, конечно, она исполняется с меньшей любовью. Следующие монахи имели при себе мальчиков немногим больше,

некоторые ордена поважнее располагали уже взрослыми парнями, а у важных священников свеченосцами были настоящие граждане. Наконец сам архиепископ — ибо таковым был, очевидно, человек, шествовавший в величавом смирении под балдахином в сопровождении седых пажей, поддерживавших концы его облачения — имел по обе стороны по лакею; они были наряжены в голубые ливреи с желтыми позументами и церемонно, словно прислуживая при дворе, несли по белой восковой свече.

Во всяком случае, это ношение свеч показалось мне удачным приемом, ибо благодаря ему я получил возможность яснее видеть католические лица. Вот я и увидел их, притом в самом удачном освещении. Что же я увидел? Ну, конечно, на всех лицах лежал клирический отпечаток! Но если не говорить о нем, то все они были столь же различны между собой, как и всякие другие лица. Одно бледное, другое красное, этот нос гордо поднят кверху, тот низко опущен, тут блестящий черный глаз, там матовый серый, и тем не менее все эти лица носили следы одной и той же болезни, страшной, неизлечимой болезни, которая, вероятно, и явится причиной того, что внук мой, если ему через сто лет придется увидеть луккскую процессию, не встретит уже ни одного такого лица. Боюсь, что я сам заражен той же болезнью; прямое ее проявление — чувство размягченности, овладевающее мною удивительным образом, когда я вижу такое хворое монашеское лицо и наблюдаю в нем симптомы страданий, укрытые под грубой рясою: оскорбленную любовь, подагру, обманутое честолюбие, спинную сухотку, раскаяние, геморрой, сердечные раны, нанесенные нам неблагодарностью друзей, клеветою врагов и собственными преступлениями, — все это, и еще многое другое, что с такою же легкостью умещается под грубою рясою, как и под изящным модным фракком. О, это не преувеличение, когда поэт в порыве скорби восклицает: «Жизнь — болезнь, и весь мир больница!»

«И смерть наш врач». Ах! я не хочу говорить о ней ничего дурного и не желаю колебать ничьей веры; раз она единственный врач, пусть и думают о ней, что она лучший врач, и что единственное прописываемое ею средство — лечение землею — самое лучшее. По крайней мере следует отдать ей должное — она всегда под рукой и, несмотря на большую практику, не заставляет долго ждать себя, когда к ней обращаются. Иной раз она следует по пятам за своими пациентами в процессии и несет их свечи. Несомненно, то была сама смерть, шествовавшая — я видел — рядом с бледным, грустным священником; в тощих, дрожащих, костлявых руках несла она мерцающую свечу и благодушно-успокаивающе кивала при этом робкою безволосой головкой; и как ни слабо держалась она сама на ногах, все же порою поддерживала бедного священника, который становился с каждым шагом бледнее, почти падал. Казалось, она шептала ему слова ободрения: «Подожди еще несколько часочков, вот придем домой, я погашу свечку, уложу тебя в постель, и смогут отдохнуть твои холодные, усталые члены, и ты заснешь так крепко, что не услышишь, как задребезжит колокольчик св. Михаила».

«Против этого человека я тоже не стану писать», подумал я, увидев бледного, больного священника, которому сама смерть во плоти светила по пути в постель.

Ах! собственно говоря, не следовало бы писать ни против кого в этом мире. Каждый достаточно болен в этой большой больнице, и иные полемические страницы невольно приводят мне на память ту отвратительную перебранку в небольшом лазарете в Кракове, которой я был случайным свидетелем: ужасно было слышать, как больные, издеваясь, попрекали друг друга недугами, как высохшие чахоточные смеялись над распухшими от водянки, как один издевался над раком в носу другого, а этот, в свою очередь, над вывихнутою челюстью и перекошенными глазами соседей; пока наконец не вскочили с своих постелей буйно-помешанные

и не сорвали с больных одеяла и повязки, обнажив изъязвленные тела, так что осталось только зрелище ужасающего страдания и уродства.

Г Л А В А VI

Вслед за тем и прочих богов обошел он с напитком, Слева направо, из чаши сладостный черная нектар. И непомерным тогда разразились блаженные смехом, Видя, как с кубком Гефест ковылял по чертогу усердно. Так, целый день, с утра до заката палящего солнца Длился их пир, и сердца усладились трапезой вдосталь, Также и звуками струн Аполлоновой радостной лиры, Также и пением муз приветно-отзывным и стройным.

(Вульгата.)

И вдруг вошел, запыхавшись, бледный, истекающий кровью еврей, с терновым венцом на голове и с большим деревянным крестом на плечах, и он бросил крест на высокий стол, где сидели боги, так что задрожали золотые бокалы, и боги онемели и покрылись бледностью и, бледнея все больше, рассеялись наконец в тумане.

И вот, наступили печальные времена, мир стал серым и тусклым. Не стало блаженных богов. Олимп превратился в больницу, где тоскливо бродили ободранные и поджаренные на вертеле боги, перевязывая свои раны и распевая заунывные песни. Религия доставляла уже не радость, а только утешение; это была печальная, кровью освященная религия, религия приговоренных к смерти.

Может быть, она была нужна больному и раздавленному человечеству? Тот, кто видит своего бога страдающим, легче переносит собственные страдания. Прежние веселые боги, не ведавшие страданий, не знали, каково приходится бедному страждущему человеку, и бедный страждущий человек в час скорби не мог всем сердцем обратиться к ним. Это были праздничные боги,

вокруг которых шла веселая пляска и которых можно было только благодарить. Потому-то их в сущности и не любили, как следует, от всего сердца. Чтобы тебя любили как следует, всем сердцем, тебе самому нужно пострадать. Сострадание — высшее освящение любви, может быть, сама любовь. Из всех богов, когда-либо любивших, Христос поэтому и любим больше всех других. Особенно женщинами...

Спасаясь от сутолоки, я попал в одинокую церковь, и то, что прочитал ты сейчас, любезный читатель, — все это не столько мои собственные мысли, сколько ряд слов, произвольно прозвучавших во мне в то время, как я, растянувшись на одной из старых молитвенных скамей, отдался во власть звуков органа. Так лежу я простертый, силою душевной фантазии дополняя странную музыку еще более странными текстами; время от времени взоры мои скользят в сумраке сводчатых переходов, улавливая сумрачные звуковые фигуры, без которых не может быть и этих органных мелодий. Кто эта, под вуалью, склонившаяся там, перед образом Мадонны? Лампада, висящая перед образом, кидает жуткий и сладостный свет на прекрасную и скорбную мать распятой любви, на *Venus dolorosa**; но своднически таинственные лучи падают порою, как бы украдкой, и на прекрасные черты окутанной вуалью молящейся. Она лежит неподвижно на каменных ступенях алтаря, но в игре света тень ее колыхнется, порой вскидывается кверху, ко мне, и быстро принимает прежнее положение, как молчаливый негр, робкий посланец гаремной любви, и я понимаю его. Он возвещает мне о присутствии своей госпожи, султанши моего сердца.

Но вот темнеет понемногу пустынный храм, там и сям скользят вдоль колонн чьи-то неопределенные тени, время от времени из бокового предела доносится тихое бормотание, и орган, как вздрагивающее сердце

* Игра слов, вместо *Mater dolorosa* — «скорбящая божья мать» Гейне говорит: *Venus dolorosa* — «скорбящая Венера».

гиганта, наполняет воздух долгими, протяжными, сто-
нущими звуками.

Казалось, никогда не замрут эти звуки, вечно будет длиться эта музыка смерти, эта живая смерть; я чувствовал невыразимое стеснение, несказанный страх, как будто меня погребли заживо — нет, как будто я, давным-давно умерший, восстал теперь из гроба и вместе со страшными своими ночными товарищами пришел в этот храм призраков, чтобы прослушать молитвы мертвых и покаяться в своих грехах — грехах трупов. Мне начинало казаться, что в таинственном свете сумерек я различаю рядом с собою ее, отошедшую в вечность общину; людей в позабытых старофлорентийских одеяниях, с украшенными золотом молитвенниками в костлявых руках, с длинными бледными лицами, таинственно шепчущихся и меланхолично кивающих друг другу головами. Дребезжащий звук далекого погребального колокольчика напомнил мне опять о больном священнике, которого я видел в крестном ходе. «Он теперь тоже умер, и явится сюда служить свою первую ночную мессу, и только теперь начнется настоящее скорбное наведение». И вдруг со ступеней алтаря поднялась стройная фигура молящейся, закутанная в вуаль.

Да, это была она! Одна ее живая тень рассеяла бледные призраки, и я видел только ее. Я быстро последовал за ней к выходу, и когда она в дверях откинула вуаль, я увидел заплаканное лицо Франчески. Оно походило на тоскующую белую розу, усыпанную жемчугами ночной росы и освещенную лучом месяца. «Франческа, любишь ты меня?» Я засыпал ее вопросами, но она отвечала коротко. Я проводил ее в отель Кроче ди Мальта, где остановились они с Матильдой. Улицы опустели, дома спали с сомкнутыми глазами-окошками, только там и сям сквозь деревянные веки просвечивал огонек. Но вверху, в небе, проступила среди туч широкая светлозеленая полоса, и по ней, как серебрястая гондола по морю изумрудов,плыл полу-

месяц. Тщетно просил я Франческу взглянуть хоть раз вверх, на старого, милого поверенного наших тайн, она шла, мечтательно опустив голову. Походка ее, обычно радостно-порывистая, была теперь как бы церковно-размеренна, шаг ее был сурово-католический, она двигалась словно в такт торжественной органной музыке; религия, как в былые ночи грехи, бросилась ей теперь в ноги. Перед каждым образом по пути она осеяла крестом свою голову и грудь. Тщетно пытался я помочь ей в этом. Когда же мы проходили площадью мимо церкви Сан-Микэле, где скорбная мать сияла из темной ниши, с позолоченными мечами в сердце и с венчиками из лампад вокруг чела, Франческа обвила рукой мою шею и принялась целовать меня, шепча: «Сессо, Сессо, саго Сессо!»*

Я спокойно принимал эти поцелуи, хотя хорошо знал, что в сущности они предназначались болонскому аббату, служителю римско-католической церкви. В качестве протестанта я без всяких угрызений совести присвоил себе достояние католического духовенства и тут же на месте секуляризовал благочестивые поцелуи Франчески. Я знаю, попы, конечно, взбесятся, начнут кричать об разграблении церкви и охотно применили бы ко мне французский закон о святотатстве. К сожалению, я должен признаться, что описанные поцелуи — единственное, чего удалось мне добиться в ту ночь. Франческа решила использовать ее исключительным в целях спасения души своей, с коленопреклонением и молитвою. Напрасно предлагал я разделить с нею ее молитвенные упражнения, — дойдя до своей комнаты, она захлопнула дверь перед самым моим носом. Напрасно стоял я еще целый час на улице, прося впустить меня, всячески вздыхал и лицемерно лил благочестивые слезы и давал самые священные клятвы, — разумеется, с иезуитскими оговорками и чувствуя, как постепенно становлюсь иезуитом; в конце концов

* «Чекко, Чекко, милый Чекко!»

я решился на худшее и высказал готовность принять католичество на одну эту ночь.

«Франческа, — воскликнул я, — звезда мыслей моих! Мысль души моей! *Vita della mia vita!* * Моя прекрасная, многоцелованная, стройная, католическая Франческа! На одну эту ночь, которую ты еще отдашь мне, я даже приму католичество — но только на одну эту ночь! О, прекрасная, блаженная, католическая ночь! Я лежу в твоих объятиях, строго католически веруя в небо любви твоей, и в поцелуе уст наших исповедуем мы с тобою, что слово претворяется в плоть, вера воплотится в образы и формы. Какая религия! Вы, попы, воспойте тем временем ваше — кириэ элейсон, звоните, кадите, бейте в колокола! Пусть гудит орган, пусть раздаются звуки мессы Палестрины: «Се плоть моя» — и я в блаженстве сомкну глаза, но когда проснусь на другое утро, то сотру с них и дремоту и католичество и опять ясно взгляну на солнце и на Библию, и опять стану протестантски-разумным и трезвым, как раньше».

Г Л А В А VII

Когда, на следующий день, солнце вновь сердечно заиграло на небе, рассеялись окончательно унылые мысли и чувства, возбужденные во мне вчерашним крестным ходом и создавшие представление о жизни, как о болезни, и о мире, как о больнице.

Весь город кишел веселыми толпами. Пестро разряженные жители, а среди них там и сям мелькнет черный попик. Все это гудело, и смеялось, и болтало, и почти не слышно было колокольного перезвона, призывавшего на торжественное богослужение в собор. Это — красивая, простая церковь; пестрый мраморный фасад ее украшен короткими одна над другой поставленными колонками, что так забавно-уныло глядят

* Жизнь моей жизни!

на вас. Внутри собора колонны и стены затянуты были красной материей, и над колышавшимся человеческим потоком разливалась ликующая музыка.

Я шел под руку с синьорой Франческой, и когда при выходе я подал ей святой воды, и ощущение сладостной влажности от прикосновения наших пальцев вызвало электрические токи в душах наших, я почувствовал одновременно электрический удар в ногу, от которого, с испуга, едва не грохнулся на коленопреклоненных крестьянок, густыми рядами устлавших пол в своих белых платьях, с длинными серьгами в ушах и с тяжелыми цепочками желтого золота на шеях. Оглянувшись, я увидел женщину, тоже коленопреклоненную; она обмахивалась веером, а под веером я различил смеющиеся глаза миледи. Я склонился к ней, и она восторженно шепнула в ухо: «Delightful»*.

«Ради бога, — прошептал я, — будьте серьезны, не смейтесь, иначе нас, право, вышвырнут отсюда».

Но просьбы и мольбы были безуспешны. К счастью, никто не понимал нашего языка. Ибо поднявшись на ноги и пройдя вслед за нами сквозь толпу к главному алтарю, миледи отдалась своей безумной веселости без малейшего стеснения, как будто бы мы были одни в Апеннинах. Она издевалась над всем окружающим, и стрелы ее не попадали даже бедных живописных ликов на стенах.

«Смотрите-ка, — воскликнула она, — леди Ева, урожденная фон Риппе**, премирается со змеем! Удачна мысль художника — изобразить змея с человеческой головой и человеческим лицом; но было бы много остроумнее, если бы он украсил это обольстительное лицо военными усами. Видите там, доктор, этого ангела, который возвещает пресвятой деве о благоденствии ее положении и при этом так иронически улыбается. Я знаю, что в мыслях у этого рупффиано! А эта Мария,

* «Восхитительно!»

** Игра слов: фон Риппе — воображаемая фамилия, буквально значит — «из ребра».

у ног которой склонился Священный союз Востока, подносящий золото и мирру, разве она непохожа на Каталани?»

Синьора Франческа из всей этой болтовни, по причине незнания английского, кроме слова Каталани, ничего не понявшая, живо заметила, что дама, про которую говорит наша приятельница, в настоящее время утратила большую часть своей известности. Но наша приятельница, не обращая внимания, продолжала сыпать замечаниями и относительно изображений страстей, вплоть до распятия — прекрасной картины, на которой в числе других изображены были три глупых, не относящихся к делу, физиономии, спокойно взиравших на муки господни; о них миледи утверждала, что это, конечно, полномочные комиссары Австрии, России и Франции.

Между тем, старые фрески, глядевшие со стены из-за красной драпировки, могли бы до известной степени умеряюще подействовать своей сосредоточенной глубиной на британскую иронию. На них изображены были лица из той героической эпохи города Лукки, о которой так много повествуется в исторических трудах Маккиавели, этого романтического Саллюстия, и дух которой столь пламенно веет в песнях Данте, этого Гомера католицизма; выражение этих лиц говорит о суровости чувств и варварских понятиях средневековья, хотя, правда, иные безмолвные юношеские уста милой улыбкой свидетельствуют, что и тогда не все розы были каменны и святы, и шаловливый, нежный взгляд сквозь опущенные ресницы иной мадонны того времени блеском своим подтверждает, что она, пожалуй, не прочь подарить нас еще одним христосиком. Во всяком случае, высоким духом веет от этих старофлорентинских картин; в них собственно — то героическое, что наблюдаем мы в мраморных статуях древних богов и что, вопреки мнению наших эстетиков, заключается не в вечном спокойствии бесстрастия, а в вечной страсти без беспокойства. Традиционные отголоски того же старофлорентинского духа чувствуются, пожалуй, и в некоторых позднейших картинах, написанных

масляными красками и висящих в луккском соборе. Особенное мое внимание привлек «Брак в Кане» — принадежающая одному из учеников Андреа дель Сарто — картина, несколько жестко написанная и резко скомпанованная. Спаситель сидит между нежной красивой невестой и фарисеем, чье каменное лицо законника изображает удивление перед гением пророка, который так весело вмешивается в ряды гостей и угощает общество чудесами почище чудес Моисея; ведь Моисей, как бы сильно ни бил в скалу, мог извлечь из нее всего только воду, а этому стоило сказать только слово, и кружки наполнились лучшим вином. Много мягче, почти в венецианских тонах, написана висящая рядом картина неизвестного художника; здесь ликующая игра красок как-то особенно умеряется пронизывающей скорбью. На ней представлено, как Мария взяла фунт елей, подлинного, драгоценного нарда, и помазала им ноги Иисуса и осушает их своими волосами. Христос сидит в кругу своих учеников. Прекрасный, вдохновенный бог, — он по-человечески грустно чувствует жуткое благоговение, глядя на свое собственное тело, обреченное претерпеть в скором времени такие страдания, — уже и сейчас подобает ему и воздается честь миропомазания, удел мертвых; растроганно улыбается он коленопреклоненной женщине, которая, движимая предчувствиями своей любящей и беспокойной души, совершает дело милосердия, дело, которое никогда не забудется, доколе существует страждущее человечество, и которое на протяжении тысячелетий благоуханием своим будет освежать страждущих людей. Кроме ученика, который возлежит на груди Христовой — он же впоследствии и поведаст об этом подвиге Марии, — никто из апостолов как будто не чувствует значения происходящего, а вот этот, с рыжею бородою, как будто с неудовольствием произносит, как сказано в Писании: «Почему бы не продать этот елей за триста грошей и не раздать деньги нищим?» Это тот самый бережливый апостол, заведующий казною; привычка

к деловому обращению с деньгами сделала его равнодушным ко всякому бесполезному благоуханию любви; он предпочитает променять елей на гроши в целях пользы, и именно он, меняла, он предал спасителя за тридцать сребренников. Так евангелие в истории банкира из среды апостолов также символически повествует о жутко-обольстительной мощи, заключающейся в денежном мешке, и предостерегает против вероломства деловых людей. Всякий богач — Иуда Искаротский.

«Вы корчите лицо глубоко верующего, дорогой доктор, — шепнула миледи, — я только что наблюдала вас, и, простите, если оскорблю вас: вы похожи были на доброго христианина».

«Между нами говоря, я и есть христианин. Да, Христос...»

«Может быть, и вы тоже верите, что он бог?»

«Разумеется, добрейшая Матильда. Это бог, которого я больше всех люблю — не потому, что он законный бог, отец которого был уже богом и с незапамятных времен управлял вселенной, но потому, что он, будучи рожденным дофином небес, все-таки настроен демократически и не любит всей этой придворной церемониальной пышности, потому что он не бог аристократии и скудоумных ученых и обшитых галунами военных, а скромный народный бог, мешанский бог, *un bon Dieu citoyen**. Поистине, если бы Христос не был богом, я бы избрал его на этот пост, и гораздо охотнее повиновался бы ему, чем навязанному насильно, самодержавному богу, повиновался бы ему, выборному богу, мною избранному».

Г Л А В А VIII

Архиепископ, суровый старец, сам служил мессу, и, по совести признаться, не только я, но до некоторой

* добрый гражданский бог.

степени и миледи, мы были втайне растроганы духом, присущим священному обряду, и тем торжественным величием, с которым старец его творил; ведь всякий старик и сам по себе — священнослужитель, а обрядности католической мессы столь древни, что являются, может быть, единственным уцелевшим наследием младенческой эпохи мира и вызывают в нас благоговение, как память о первых родоначальниках всего человечества. «Смотрите, миледи, — сказал я, — каждое движение, которое вы видите: манера складывать и протирать руки, эти приседания, омовения рук, каждение, эта чаша, вся одежда этого человека от митры до подола стóблы, — все это древнеегипетское, все это пережиток жречества, об удивительном существе которого немногословно повествуют лишь древние источники, отголосок раннего жречества, оно изыскало первую мудрость, оно изобрело первых богов, оно установило первые символы и оно дало юному человечеству...»

«Первый обман, — с горечью заключила миледи: — Я думаю, доктор, от начальной мировой эпохи у нас ничего не осталось, кроме нескольких печальных формул обмана. И они до сих пор не потеряли еще своей силы. Ведь вот, видите вы там эти важно-угрюмые лица? И этого вот парня, склонившего свои глупые колени и имеющего такой архи-глупый вид со своим разинутым ртом?»

«Ради всего святого! — тихо успокоил я ее, — что же в том дурного, если эта голова так мало просвещена светом разума? Какое нам дело? Почему это вас раздражает? Ведь видите же вы ежедневно быков, коров, собак и ослов, столь же глупых, и зрелище это ничуть не нарушает вашего спокойствия и не дает вам повода к излияниям недовольства».

«Ах, это другое дело, — прервала меня миледи, — у этих животных сзади хвост, и я сержусь потому именно, что у парня, столь животнo-глупого, нет сзади хвоста».

«Да, миледи, это дело другое».

Г Л А В А IX

После обедни привелось увидеть и услышать много интересного, в особенности проповедь рослого, коренастого монаха, чье повелительно-смелое староримского типа лицо удивительно мало гармонировало с грубой нищенской рясой; человек этот походил на императора бедности. Он проповедывал о рае и преисподней и впадал временами в бешеное одушевление. Его описание рая было несколько варварски преувеличенным, — там оказывалась масса золота, серебра, драгоценных камней, тонких кушаний и вин лучших годов; при этом он строил такое проникновенно смакующее лицо, и в блаженстве так ерзал в своей рясе, как будто уже чувствовал себя среди ангелочков с белыми крылышками, и сам был ангелочком с белыми крылышками. Менее привлекательно и весьма реально-сурово было его описание преисподней. Здесь проповедник был в своей стихии. Особенно усердствовал он в отношении грешников, не верующих больше в чисто христианском духе в старинный пламень преисподней и воображающих, что в наше время она несколько охладилась, а скоро совсем погаснет. «И если бы даже, — воскликнул он, — она и потухла, то я собственным своим дыханием раздул бы опять последние тлеющие угольки, чтобы они вспыхнули старым пламенем!» Нужно было слышать голос, завывавший при этих словах наподобие северного ветра, видеть пылающее лицо, красную буйволовую шею и огромные кулаки проповедника, чтобы поверить, что эти адские угрозы — не гипербола.

«I like this man» *, — сказала миледи.

«Вы правы, — ответил я, — и мне он нравится больше, чем многие наши кроткие, гомеопатические врачи духовные, растворяющие одну десяти тысячную разума в ведре моральной воды и преподносящие нам из всего этого успокаивающую проповедь по воскресеньям».

* «Мне нравится этот человек»

«Да, доктор, его ад внушает мне почтение, но к раю его я не чувствую настоящего доверия. Да и вообще в отношении неба я с ранних пор впала в тайные сомнения. Будучи еще маленькою, в Дублине, я часто лежала на спине в траве и, глядя на небо, думала: правда ли, что в небесах столько великолепия, как о них говорят? Но тогда, думалось мне, как же так выходит, что ничего из этого великолепия не упадет никогда вниз, в роде брильянтовых серег или жемчужного ожерелья, или хотя бы кусочка ананасного торта, а взамен того постоянно валится с неба только град, снег или обыкновенный дождь. Что-то тут неладно, — думала я».

«Зачем вы говорите это, миледи? Почему бы вам лучше не умолчать о ваших сомнениях? Неверующие, не признающие рая, не должны искать прозелитов; менее достойны порицания, даже заслуживают похвалы в своей погоне за прозелитами люди, обладающие великолепным раем и нежелающие одни пользоваться его великолепием; поэтому они приглашают ближних разделить удовольствие, и не успокаиваются, пока их благосклонное приглашение не будет принято».

«Но я всегда удивляюсь, доктор, что многие богатые люди этого рода, — мы часто наблюдаем их в качестве усердных президентов, вице-президентов и секретарей религиозных обществ, — стараются сделать достойным небесного блаженства даже какого-нибудь старого, заскорузлого еврея-нищего и добыть ему право на участие в будущей райской жизни, но никогда не подумают призвать его к участию в своих земных удовольствиях и не пригласят его, например, летом к себе в усадьбу, где, конечно, найдутся лакомые кусочки, которые придутся бедняге по вкусу так же, как если бы он наслаждался ими в раю».

«Это понятно, миледи, райские блага ничего не стоят, и ведь это двойное удовольствие — осчастливить так дешево своих ближних. Но к каким наслаждениям может призывать кого бы то ни было неверующий?»

«Ни к каким, доктор, кроме долгого спокойного сна, который, однако, для несчастного весьма желателен, особенно, когда он перед тем измучен чрезмерно настойчивыми приглашениями в рай».

Эти слова красавица произнесла с горьким, язвительным ударением, и я ответил ей почти серьезно:

«Дорогая Матильда, в своих действиях здесь, на земле, я не задумываюсь даже о существованиирая и преисподней; я слишком велик и горд, чтобы руководиться стремлениями к райским наградам или страхом адской кары. Я стремлюсь к благу, потому что оно прекрасно и привлекает меня неудержимо, и презираю зло, потому что оно безобразно и противно мне. Мальчиком, когда я читал Плутарха — я и теперь читаю его всякий вечер в постели и готов иной раз вскочить и помчаться на курьерских, чтобы сделаться великим человеком, — уже тогда понравился мне рассказ о женщине, которая ходила по улицам Александрии с наполненным водою мехом в одной руке и горящим факелом в другой и кричала встречным, что водою она загасит ад, а факелом зажжет рай, чтобы люди не избегали больше зла только из страха наказания, и не творили добра в расчете на награду. Все наши поступки должны вытекать из источника бескорыстной любви, все равно, есть загробная жизнь, или нет».

«Значит, вы не верите и в бессмертие?»

«О, вы хитрая, миледи! Мне ли в нем сомневаться? Мне, чье сердце все глубже и глубже пускает корни в отдаленнейших тысячелетиях прошлого и грядущего, мне, одному из наиболее вечных людей, впивающему с каждым дыханием вечную жизнь, мне, каждая мысль которого — вечная звезда, — мне ли не верить в бессмертие?»

«Я думаю, доктор, надо иметь немало самомнения и притязательности, чтобы, испытав в этом мире столько хорошего и прекрасного, требовать сверх того от господ бога еще и бессмертия. Человек, аристократ среди животных, считающий себя выше всех других тварей, не прочь выхлопотать себе и эту привилегию вечности

перед троном всемогущего путем почтительнейших словословий, песнопений и коленопреклонений. О, я знаю, что значит это подергивание ваших губ, бессмертный господин!»

Г Л А В А X

Синьора попросила нас отправиться с нею вместе в монастырь, где хранится чудотворный крест, величайшая достопримечательность всей Тосканы. И хорошо, что мы ушли из собора, потому что вздорные выходки миледи в конце концов вовлекли бы нас в неприятности. Она преисполнена была шутивого настроения: сверкая очаровательно глупыми выдумками, напоминая молодых котят, прыгающих в лучах майского солнца. При выходе из собора она трижды погрузила указательный палец в святую воду, кропя меня всякий раз, при чем бормотала: «Дем цефардеим кинним», что, как утверждала она, является арабской формулой, при помощи которой волшебницы превращают людей в ослов.

На площади перед собором маневрировало множество солдат, почти сплошь в австрийской форме. Командовали по-немецки. По крайней мере я слышал немецкие слова: «На караул! К ноге! На плечо! Направо кругом! Стой!» Кажется, у всех итальянцев, как и у некоторых других европейских народов, командуют по-немецки. Надо ли нам, немцам, делать из этого благоприятные выводы? Значит ли, что нам в этом мире приходится так много повелевать, что немецкий язык стал языком командования? Или нам так много приказывают, что послушанию наиболее доступен именно немецкий язык?

Миледи, повидимому, не любительница парадов и смотров. Она увела нас оттуда с ироническим испугом: «Не люблю, — сказала она, — близости таких людей с саблями и ружьями, особенно, когда они маршируют в большом числе, как на больших маневрах, сплошными рядами. Что если хоть один из этих тысяч вдруг сойдет с ума и заколет меня на месте оружием, которое у него

в руках? Или, наоборот, если он внезапно поумнеет и подумает: «Чем ты рискуешь, что ты можешь потерять, если даже они отнимут у тебя жизнь? Пусть даже тот, другой мир, который нам обещают после смерти, не так уж блестящ, как его описывают, пусть он никуда не годен, но меньше, чем ты теперь получаешь, меньше шести крейцеров в день и там ведь тебе не дадут, а поэтому позабавься и заколи эту маленькую англичанку с дерзким носом!» Разве в таком случае моя жизнь не в смертельной опасности? Будь я королем, я бы разделила своих солдат на две категории. Одних я заставила бы верить в бессмертие, чтобы они обладали мужеством в бою и не боялись смерти, и употребляла бы их только на войне. Другую часть я предназначила бы для парадов и смотров, а чтобы им не взбрело в голову, что они почти ничем не рискуют, если прикончат кого-нибудь ради шутки, я бы под страхом смерти запретила им верить в бессмертие, я бы даже прибавила им немного масла к их хлебному пайку, чтобы они как следует оценили жизнь. Тем же бессмертным героям я, наоборот, постаралась бы отравить жизнь; пусть бы они начали презирать ее и смотрели на жерла пушек, как на дверь в лучший мир».

«Миледи, — сказал я, — вы были бы плохим правителем. Вы мало понимаете в управлении, а в политике и вовсе ничего. Если бы вы читали «Политические анналы...»

«Я понимаю все это, может быть, лучше вас, дорогой доктор. С детских лет я старалась научиться всему этому. Когда я была еще маленькой, в Дублине...»

«Лежала в траве на спине и думала — или ни о чем не думала — как в Рамсгете...»

Взгляд, похожий на легкий упрек в неблагодарности, бросила на меня миледи, но потом засмеялась и продолжала: «Когда я была еще маленькой в Дублине и умирала на уголке скамеечки, в которую упирались ноги моей матери, я без конца задавала всевозможные вопросы: что делают портные, сапожники, булочники,

короче, все люди на свете? И мать объясняла: портные шьют платья, сапожники — сапоги, булочники — пекут хлеб. А когда я спросила: «Что делают короли?» — мать ответила: «Они управляют». — «Знаешь, милая мама, — сказала я тогда, — если бы я была королем, то я один день вовсе бы не управляла, чтобы только увидеть, что из этого выйдет». — «Милое дитя, — отвечала мать, — некоторые короли так и поступают, и также оно и выходит».

«Поистине, миледи, ваша мать была права. В особенности, здесь, в Италии, как раз есть такие короли, это хорошо заметно в Пьемонте и Неаполе».

«Но, любезный доктор, нельзя же сердиться на какого-нибудь такого итальянского короля, если он иной день и вовсе не управляет из-за чрезмерной жары. Можно только опасаться, что карбонарии воспользуются таким днем; вот в последнее время я обратила особенное внимание на то, что революции раздражались как раз в такие дни, когда прекращалось управление. Если же карбонарии как-нибудь ошибались и думали, что наступил день, когда нет управления, а оно на самом деле бы существовало, им пришлось бы потерять свои головы. Поэтому карбонариям приходится соблюдать всяческую осторожность и точно рассчитывать сроки. Зато, с другой стороны, высшая политика королей именно в том и заключается, чтобы держать в совершеннейшей тайне тот день, когда они не управляют; в этот день они должны хотя бы несколько раз присесть на трон и начать чинить перья, или запечатывать конверты, или разлиновывать чистую бумагу — все это для виду, чтобы народ, снаружи с любопытством глазеющий в окна дворца, был совершенно уверен в том, что им управляют».

В то время, как подобные замечания игриво сыпались с нежных уст миледи, на полных, розовых губах Франчески порхала улыбка удовлетворения. Говорила она мало. Походка ее не отличалась уже, однако, таким скорбным блаженством отречения, как в предыдущий

вечер; скорее, она выступала победоносно, каждый шаг — словно трубный звук; в то же время в движениях ее сказывалась победа, не столько мирского, сколько духовного свойства; она как бы являла собой образ торжествующей церкви, и вокруг головы ее колебалось невидимое сияние. Но глаза, смеявшиеся словно сквозь слезы, стали вновь по-земному ребяческими, и от испытующего ее взора не скрылась ни одна принадлежность костюма в пестром потоке человеческого, стремившемся мимо нас. «Экко! — восклицала она. — что за шаль! Маркиз должен купить мне такого же кашемиру на тюрбан, когда я буду танцевать Рокселану. Ах! он обещал мне и крест с брильянтами!»

Бедный Гумпелино! На тюрбан ты легко согласишься, но крест принесет тебе немало тяжелых минут; однако, синьора будет до тех пор мучить и пытать тебя, пока ты наконец не решишься на это.

Г Л А В А X I

Церковь, где показывают луккский чудотворный крест, принадлежит к монастырю, название которого я в данный миг не могу припомнить.

Когда мы вошли в церковь, перед алтарем лежало, распростершись на коленях, около дюжины монахов, погруженных в безмолвную молитву. Лишь время от времени, все они как бы хором произносили несколько отрывочных слов, отдававшихся как-то жутко в пустынной колоннаде. Церковь была во мраке, и только сквозь небольшие расписные окна падал пестрый свет на лысые головы и коричневые рясы. Тусклые медные лампы скудно освещали почерневшие фрески и престольные образа, на стенах выступали деревянные головы святых, ярко разрисованных и ухмылявшихся, словно живые, в неверном освещении. Миледи громко вскрикнула и показала на могильную плиту у наших ног, где в рельефе изображен был епископ в митре и с посохом,

со скрещенными руками и отдавленным носом. «Ах — прошептала она, — я грубо наступила ему на каменный нос; теперь он явится мне во сне — то-то будет мне нос!»

Ризничий, бледный молодой монах, показал нам чудотворный крест и рассказал о чудесах, им содеянных. Будучи человеком настроения, я, может быть, не выразил на лице недоверия; на меня нападают время от времени приступы веры в чудеса, в особенности там, где место и время, как в данном случае, способствуют такой вере. Тогда я готов верить, что все в мире является чудом, и сама всемирная история — легенда, Может быть, я заразился верою в чудеса от Франчески, целовавшей крест с диким воодушевлением? Столь же дикая насмешливость показала мне крайне неприятною в бойкой британке. Быть может, эта насмешливость тем более задевала меня, что и сам я чувствовал себя не вполне свободным от нее и ни в каком случае не мог признать ее достохвальной. Нельзя же отрицать, что насмешливость, радость по поводу противоречий заключает в себе что-то злобное, в то время как серьезность более сродни добрым чувствам; ведь добродетель, свободолюбие и сама любовь по существу своему очень серьезны. Но есть сердца, в которых смешное и серьезное, злое и святое, жар и холод перепутаны так причудливо, что трудно судить о них. Такое сердце билось в груди Матильды; порою это был ледяной остров, на гладкой, зеркальной поверхности которого расцветали самые страстные жгучие пальмовые рощи, порою бурно пылающий костер, внезапно засыпаемый хохочущей снежною лавиной. Ее ни в каком случае нельзя было назвать дурною, при всей ее распушенности, ни даже чувственною; я думаю даже, что от всей чувственности она переняла только ее забавную сторону и тешилась ею, как глупую игрою в куклы. Для нее было наслаждением чисто юмористического свойства, лишь потребностью чистого любопытства — смотреть, как тот или иной влюбленный чудаков будет вести себя в состоянии

влюбленности. Насколько непохожа на нее была Франческа! В мыслях, чувствах последней было католическое единство. Днем она была томной, бледной лунной, ночью превращалась в пылающее солнце. Луна дней моих! Солнце ночей моих! Никогда больше я не увижу тебя.

«Вы правы, — сказала миледи, — я тоже верю в чудотворную силу креста. Я уверена, что если маркиз не станет слишком жаться по поводу брильянтов к обещанному кресту, то этот крест сотворит над синьорой ослепительное чудо, она в конце концов так будет ослеплена им, что влюбиться в нос маркиза. Кроме того, я часто слышала о чудотворной силе некоторых орденов крестов, способных превратить честного человека в мошенника».

Так посмеивалась красивая женщина над всем окружающим, кокетничала с бедным ризничим, смешно извинялась перед епископом с отдавленным носом, почти отклоняя возможный с его стороны ответный визит, а когда мы дошли до чаши со святою водой, она во что бы то ни стало хотела опять превратить меня в осла.

Было ли это действительно настроение, внушенное мне местом, где мы находились, или же я хотел как можно резче оборвать насмешки, в сущности раздражавшие меня, я проникся надлежащим пафосом и произнес:

«Миледи, я не люблю женщин, презрительно относящихся к религии. Красивые женщины, лишенные религиозности — как цветы без запаха; они похожи на те холодные, трезвые тюльпаны, которые из своих кигайских фарфоровых горшков смотрят на нас так фарфорно, и если бы обладали даром речи, то, конечно, разъяснили бы нам, как они совершенно естественным путем развились из луковиц, как для цветка вполне довольно, если он не пахнет дурно, и как вообще нет никакой необходимости разумным цветам чем бы то ни было пахнуть».

Уже при слове тюльпан миледи оживленно зажестиковировала, и пока я говорил, ее идиосинкразия к

этой породе цветов так подействовала на нее, что она в отчаянии закрыла уши. Наполовину было, конечно, комедией, но наполовину и серьезно задетым самолюбием то, что, бросив на меня огорченный взгляд, она с резкой, из глубины души идущей насмешкой, спросила:

«А вы, дорогой мой цветок, какую из существующих религий считаете своею?»

«Я, миледи, все религии считаю своими; аромат моей души возносится к небу и опьяняет даже вечных богов!»

Г Л А В А XII

Синьора, не понимая нашего разговора, который велся преимущественно на английском языке, решила, бог весть почему, что мы спорим о преимуществах наших соотечественников. Она стала хвалить и англичан и немцев, хотя в глубине души считала первых не умными, а вторых глупыми. Очень дурно отзывалась она о пруссаках, страна которых, согласно с ее географией, расположена далеко за пределами Англии и Германии; особенно же дурно отзывалась она о прусском короле, великом Федериге, роль которого танцевала в прошлом году в балете в свой бенефис ее соперница, синьора Серафина; вообще этот король, а именно Фридрих Великий, странным образом все еще живет в итальянских театрах и в памяти итальянского народа.

«Нет, — сказала миледи, не обращая внимания на милую болтовню синьоры, — нет, этого человека нечего и превращать в осла; он не только каждые десять минут меняет свои мнения и постоянно себе противоречит — он стал теперь миссионером, и я думаю даже, что он втайне иезуит. Мне придется теперь, для безопасности, строить набожные физиономии, иначе он предаст меня своим солнцезамерам во Христе, своим святошам — дилетантам инквизиции, которые сожгут меня *in effigie* *, ибо полиция еще не разрешает им бросать

* в изображении (т. е. мое изображение)

живых людей в огонь. Ах, почтеннейший! Не думайте только, что я так умна, как кажется, — религиозности во мне довольно, я не тюльпан, клянусь вам, не тюльпан, ради всего святого, не тюльпан! Лучше уж я во все поверю! Я и теперь уже верю в главнейшее, о чем написано в Библии, я верю, что Авраам родил Исаака, Исаак — Иакова и Иаков — Иуду, а также и в то, что этот последний познал на большой дороге свою сноху Фамарь. Верю также, что Лот слишком много пил со своими дочерьми. Верю, что жена Пентефрия удержала в своих руках одежду благонравного Иосифа. Верю, что оба старца, застигнувшие Сусанну во время купанья, были очень стары. Кроме того, я верю, что праотец Иаков обманул сначала своего брата, а потом тестя, что царь Давид дал Урии хорошую должность в армии, что Соломон завел себе тысячу жен, а потом ныл, что все суeta. Я и в десять заповедей верю и даже исполняю большую их часть; я не желаю вола ближнего моего, рабыни его, коровы его и осла его. Я не работаю в субботу, в седьмой день, когда бог отдыхал; более того, из осторожности, не зная точно, когда именно приходится этот седьмой день, я часто по целым неделям ничего не делаю. Что же касается заповедей Христа, то я исполняю всегда самую важную о том, что следует любить даже врагов своих, ибо — увы! — те люди, которых я более всего любила, всегда оказывались, помимо моего ведома, моими злейшими врагами».

«Ради бога, Матильда, не плачьте!» — воскликнул я, когда тон самой болезненной горечи пробился опять сквозь беззаботный задор, словно змея — из-под цветочной клумбы. Мне знаком был этот тон, когда шаловливое хрустальное сердце этой удивительной женщины начинало дрожать, — сильно, но не долго, и я знал, что он исчезнет с такою же легкостью, как возник, при первом же шутливом замечании, к ней обращенном, или же пришедшем ей самой в голову. В то время как она, прислонясь к воротам монастырского двора, прижи-

мала пылающую щеку к холодному камню и длинными своими волосами осушала следы слез на глазах, я пытался вернуть ей хорошее настроение, мистифицируя в подражание ее иронической манере, бедную Франческу и сообщая ей важнейшие новости о Семилетней войне, которая ее, повидимому, очень интересовала и которую она считала все еще неоконченной. Я рассказал ей много интересного о великом Федериго. Остроумный бог в сапогах из Сансуси, который изобрел прусскую монархию, в юности недурно играл на флейте и сочинял даже французские стихи. Франческа спросила, кто победит — пруссаки или немцы? Дело в том, что она, как уже отмечено выше, считала первых за совершенно другой народ, да и обычно в Италии под словом «немцы» понимаят только австрийцев. Синьора немало удивлялась, узнав от меня, что сам я долгое время жил в *capitale della Prussia*, именно в *Berlino* — городе, находящемся в географии на самом верху, недалеко от северного полюса. Она ужасалась, слушая, как я описывал опасности, которым, можно там порою подвергнуться, встретив, например, на улице белых медведей. «Дело в том, дорогая Франческа, — объяснил я, — что на Шпицбергене в гарнизоне очень много медведей, которые и приезжают время от времени на денек в Берлин, чтобы из чувства патриотизма посмотреть на «Медведя и Пашу», или же хорошо закусить и выпить шампанского у Бейермана в *Café royal*, что иногда обходится им дороже, чем они могут заплатить; в таком случае один из медведей остается привязанным в кафе до тех пор, пока не вернутся и не расплатятся его товарищи; отсюда и происходит выражение «привязать медведя».* Много медведей живет в самом городе; говорят даже, что Берлин обязан своим возникновением медведям и называется, собственно, Бэрлин. Впрочем, городские медведи вполне ручные, а некоторые из них так обрешены, что пишут прекрасные трагедии и сочиняют

* einen Bären anbinden — наделать долгов.

великолепную музыку. Волки там также не редкость, но так как они из-за стужи носят варшавские овчинные тулупы, то их нелегко узнать. Северные гуси носятся там и распевают бравурные арии, а северные олени бегают, изображая знатоков искусства. В общем, берлинцы живут очень умеренно и работящи, а большинство из них сидит по пуп в снегу и пишет догматические сочинения, назидательные книги, историю религии для девиц образованных сословий, катехизисы, проповеди на все дни года, песнопения Элоа, и при этом весьма нравственны, ибо сидят по пуп в снегу.

«Разве берлинцы христиане?» — воскликнула синьора в изумлении.

«Их христианство особенное. По существу они совершенно не христиане, да и чересчур разумны, чтобы всерьез отдаваться ему. Но так как они знают, что христианство необходимо в государстве для того, чтобы подданные смиренно повиновались и, кроме того, чтобы не слишком много было краж и убийств, то они пытаются, прибегая ко всяческому красноречию, по крайней мере обращать в христианство своих ближних; они, так сказать, подыскивают себе заместителей в религии, которую им желательно поддержать и строгие правила которой им самим в тягость. В затруднительном своем положении они пользуются рвением бедных евреев; этим последним приходится быть христианами вместо них, а так как народ этот ради денег и доброго слова готов на все, то в настоящее время евреи до такой степени вошли во вкус христианства, что громко кричат, как полагается, о неверии, бьются не на живот, а на смерть за святую троицу, а в жаркое летнее время даже и верят в нее, свирепствуют против рационалистов, рыскают по стране в качестве миссионеров и шпионов святой веры и распространяют душеспасительные трактаты, как нельзя лучше закатывают глаза в церквах, строят самые святошеские физиономии и вообще набожничают с таким успехом, что там и сям начинает уже зарождаться профессиональная зависть, и стар-

шие мастера этого ремесла втайне жалуются: христианство-де перешло в настоящее время целиком в руки евреев».

Г Л А В А XIII

Если синьора и не поняла меня, то ты, любящий читатель, поймешь меня, конечно, лучше. Миледи тоже поняла меня, и это обстоятельство вернуло ей хорошее настроение. Но когда я — не знаю, с серьезным ли выражением лица — пожелал согласиться с мыслью, что народ нуждается в определенной религии, она не могла удержаться от того, чтобы, по своей манере, не начать спора.

«Народ нуждается в религии? — воскликнула она. — Я знаю, что это усердно проповедуется тысячами дураков и десятками тысяч лицемеров».

«И все-таки это правда, миледи. Как мать не в состоянии отвечать правду на все вопросы ребенка, ибо это недоступно его пониманию, так должна существовать положительная религия, церковь, чтобы отвечать вполне определенно и толково, в соответствии с пониманием народа, на его бестолковые запросы».

«Увы! именно ваше сравнение, доктор, напоминает мне одну историю, которая в конце концов едва ли говорит в пользу вашего мнения. Когда я была еще маленькой в Дублине...»

«И лежала на спине...»

«С вами нельзя и поговорить разумно, доктор. Не улыбайтесь так бесстыдно и слушайте. Когда я была еще маленькой в Дублине и сидела у ног матери, я спросила ее однажды, что делают со старыми полными лунами. «Милое дитя, — сказала мать, — старые луны господь бог дробит сахарными щипцами на куски и делает из них маленькие звезды». — Нельзя поставить в упрек матери это явно неверное объяснение, ибо даже при наилучших астрономических познаниях она не в силах была бы разъяснить мне всю систему солнца,

луны и звезд, и на бестолковые вопросы она отвечала мне толково и определенно. Но было бы еще лучше, если бы она отложила объяснение до более зрелого возраста или, по крайней мере, не выдумывала бы неправды. Дело в том, что, когда я была с маленькой Люцией и полная луна светила в небе, и я рассказала Люции, что скоро из луны наделают маленьких звезд, Люция высмеяла меня и сказала, что по словам ее бабушки, старой О'Мира, полные луны съедаются в аду в качестве огненных дынь, а так как там нет сахара, то приходится посыпать их перцем и солью. Если Люция высмеяла меня первая по поводу моего объяснения, носившего слегка наивно-евангелический характер, то и я, со своей стороны, еще больше посмеялась над ее мрачно-католической теорией; от насмешки дело перешло к серьезному спору, мы сцепились, до крови исцарапали друг друга, обмениваясь в пылу полемики плевками, пока не вернулся из школы маленький О'Доннель и не рознял нас. Мальчик этот получил в школе лучшее представление о космографии, знал математику и спокойно выяснил нам наши заблуждения и нелепость нашего спора. И что же произошло? Мы, обе девочки, отложили на время наши разногласия и тотчас же образовали союз, чтобы отколотить маленького спокойного математика».

«Миледи, я огорчен, ибо вы правы. Но ничего не поделаешь. Люди всегда будут спорить о преимуществах тех понятий о религии, которые им внушены впервые, а разумные будут всегда вдвойне страдать. Правда, когда-то было иначе — никому не приходило в голову особенно превозносить догматы и обряды своей религии или, тем более, навязывать их кому-нибудь. Религия была отрадным сердцу преданием и совокупностью священных историй, празднеств в память минувшего и мистерий, унаследованных от предков, как бы семейным святилищем народа, и для грека было бы ужасно, если бы чужестранец, не принадлежащий к его племени, стал домогаться одной с ним религии; тем более почел бы

он бесчеловечным побуждать кого-нибудь насилием или хитростью отказаться от своей природной религии, и взамен принять чужую. Но вот появился народ из Египта, родины крокодилов и жречества, и, вместе с накожными болезнями и украденною золотой и серебряною посудой, принес с собою так называемую положительную религию, так называемую церковь, нагромождение догматов, в которые нужно верить, и священных церемоний, которые нужно праздновать, — прообраз позднейших государственных религий. И вот, началось «уловление умов», поиски прозелитов, засилия в делах веры и все те священные ужасы, которые стоили людям столько крови и слез».

«Goddam! * Будь проклят этот народ, начало всякого зла!»

«О, Матильда, он давно уже проклят и влачит муки своего проклятия на протяжении тысячелетий. О, этот Египет! Его фабрикаты не поддаются времени, его пирамиды все еще стоят непоколебимо, его мумии так же прочны, как и встарь, и так же нетленна эта мумия-народ, бродящая по земле, укутанная в свои древние пеленки-письмена, окаменевший обломок мировой истории, призрак, торгующий для поддержания своего существования вексельями и старыми штанами... Видите вы там, миледи, старика с седою бородою, концы которой опять, кажется, начинают чернеть, с глазами призрака...»

«Там, кажется, развалины старых римских гробниц?»

«Да, именно там и сидит старик, и, может быть, Матильда, он совершает свою молитву, страшную молитву, в которой скорбит о своих страданиях и зовет к суду народы, давно исчезнувшие с лица земли и живущие только в няниных сказках, он же, в скорби своей, и не замечает, что сидит на гробницах тех самых врагов, гибели которых он просит у неба».

* Проклятие!

Г Л А В А XIV

В предыдущей главе я говорил о положительных религиях лишь постольку, поскольку они, в качестве церковных, пользуются особенным покровительством государства, именуясь государственными религиями. Но есть особый метод благочестивой диалектики, любезный читатель, и при его помощи можно с непреложностью доказать, что противник церковного строя таковой государственной религии одновременно является противником и религии и государства, врагом господ бога и короля или, как гласит обычная формула, врагом престола и алтаря. Но это ложь, утверждаю я. Я уважаю внутреннюю святость каждой религии и подчиняюсь интересам государства. Если я и не особенно сочувствую антропоморфизму, то все же верю в величие божие, и если короли, по глупости своей, не считаются с духом народа, или же в неблагородстве своем доходят до того, что оскорбляют его учреждения неуважительным отношением и преследованиями, то все же я, по глубочайшему своему убеждению, остаюсь приверженцем королевской власти, монархического начала. Я ненавижу не трон, а фанфаронское скопище дворянских насекомых, которое гнездится в щелях древних тронов и характер которой Монтескье так точно описал словами: «Честолюбие в соединении с праздноостью, подлость в соединении с высокомерием, склонность к обогащению без затраты труда, отвращение к истине, льстивость, изменчивость, вероломство, неверность своему слову, пренебрежение к гражданскому долгу, уклонение от государевых доблестей и сочувствие государевым порокам! Я ненавижу не алтарь, но тех змей, которые ютятся под хламом древних алтарей; хитроумных змей, способных улыбаться невинно, как цветы, в то время как втайне они источают свой яд в чашу жизни и шипят клевету в уши благочестивого богомольца, скользких червей с кроткими словами:

Mel in ore, verba lactis,
Fel in corde, fraus in factis.

Именно потому, что я сторонник государства и религии, ненавистен мне ублюдок, именуемый государственной религией, жалкое порождение незаконной связи светской и духовной власти, мул, появившийся на свет от антихристового коня и христовой ослицы. Не будь такой государственной религии, не будь предпочтения определенным догматам и обрядам, Германия была бы едина и сильна, а сыны ее были бы велики и свободны. Теперь же наше несчастное отечество растерзано религиозною распрею, народ разделен на враждующие религиозные партии, подданные-протестанты тягостятся со своими государями-католиками или наоборот; всюду подозрительность — нет ли тайного католичества или тайного протестантства, всюду изуверство, шпионство в области мысли, пиэтизм, мистицизм, церковно-газетное вынюхиванье, сектантская ненависть, мания обращения, и, споря о небесах, мы гибнем на земле. Равнодушие к религиозным вопросам одно, может быть, было бы в состоянии спасти нас; ослабев верою, Германия могла бы политически окрепнуть.

И для самой религии, для священной ее сущности, столь же губительно, если она наделена привилегиями, если служители ее пользуются преимущественными дотациями от государства и, со своей стороны, для сохранения этих дотаций принуждены стоять за государство, и таким образом рука руку моет, духовная — светскую и наоборот, и возникает путаница, глупейшая перед лицом господина бога и страшная для человека. Если поэтому у государства есть враги, то они становятся врагами и религии, покровительствуемой государством и являющейся поэтому его союзницей; и даже самые невинные из верующих впадают в подозрительность, чуя в религии политические тенденции. Но отвратительнее всего высокомерие духовенства в том случае, когда оно за услуги, оказанные им, по его мнению,

государству считает себя в праве рассчитывать на его поддержку; когда в обмен на духовные узы, предоставленные государству для порабощения народов, оно начинает располагать его штыками. Никогда религия не падает так низко, как в том случае, когда она таким способом возвышается до уровня государственной религии; при этом теряется ее внутренняя невинность, и она начинает открыто выражать свою гордость как официальная любовница. Правда, в этом случае ей на долю достается больше признания и знаков почтительности, она ежедневно празднует новые победы в блестящих процессиях, в ее триумфах, даже бонапартистские генералы шествуют со свечами, самые гордые умы присягают ее хоругвям, ежедневно обращаются и крестятся неверующие, но от такой обильной примеси воды суп не становится жирнее, и новые рекруты государственной религии походят на солдат, вербовавшихся Фальстафом, — они только заполняют церковь. О самопожертвовании нет больше речи; подобно торговым служащим с образцами товаров, разъезжают миссионеры со своими трактатцами и душеспасительными книжками; опасности в этом деле больше нет, и оно совершается всецело в меркантильно-экономических формах.

Лишь до тех пор, пока религии имеют соперниц и преследуются больше, чем сами преследуют, они величественны и почтенны, лишь тогда возможно воодушевление, самопожертвование, мученики и венцы. Как прекрасно, как священно-сладостно и таинственно-отраднo было христианство первых столетий, когда оно походило еще на своего божественного основателя — героизмом своих страданий. Тогда жива была еще легенда о таинственном боге, бродившем в кротком образе юноши под пальмами Палестины, проповедывавшем любовь к людям и явившем миру то учение о свободе и равенстве, истина которого впоследствии признана была и величайшими мыслителями и которое, сделавшись евангелием французов, воодушевляет нашу эпоху. Сравните с этой религией Христа различные

другие христианства, установившиеся в различных странах в качестве государственных религий, например римскую апостолически-католическую церковь, или тот лишенный поэзии католицизм, который господствует как High Church of England *, этот жалкий, истлевший скелет веры, где угас весь цвет жизни. Как промышленности, так и религиям вредна система монополии; свободная конкуренция сохраняет их мощь, и лишь тогда обретут они цвет своего начального величия, когда введено будет политическое равенство культов, так сказать, промышленная свобода для богов.

Благороднейшие люди Европы давно уже высказались в том смысле, что это — единственное средство предохранить религию от полного уничтожения, но служители ее скорее пожертвуют самим алтарем, чем согласятся лишиться хоть ничтожной части того, что жертвуется на этот алтарь; точно так же и дворянство скорее обречет на верную гибель трон и высокую особу того, кто высоко восседает на нем, чем добровольно откажется от самой несправедливой из своих привилегий. Ведь эта напыщенная приверженность к тронам и алтарю не что иное, как комедия, разыгрываемая перед народом! Кто постиг профессиональную тайну, тот знает, что попы гораздо меньше, чем миряне, почитают бога и лепят его по своему усмотрению, в своих интересах, из хлеба и из слова, и что дворяне почитают короля гораздо меньше, чем любой разночинец, и даже в глубине души относятся с насмешкой и презрением к монархии, выражая ей публично свою почтительность и стараясь добиться такой почтительности со стороны других; поистине, они похожи на людей, показывающих в ярмарочных балаганах глазеющей публике за деньги какого-нибудь Геркулеса, или великана, или карлика, или дикаря, или пожирателя огня, или другого чем-либо замечательного человека и преувеличенно-красноречиво восхваляющих его силу, величие, отвагу,

* Высокая англиканская церковь

неуязвимость или, если это карлик, его мудрость; они при этом бьют в барабан и напяливают на себя пестрые куртки, а в то же время, в глубине души, смеются над легковерием диву дающегося народа и издеваются над несчастным предметом своих похвал, который в высшей степени не интересен для них, привыкших ежедневно видеть его, чья слабость, равно как и затверженные шутки им слишком хорошо знакомы.

Не знаю, долго ли еще будет терпеть господь бог то, что попы выдают за него простое чучело и зарабатывают таким способом деньги; во всяком случае, я бы не удивился, если бы прочел как-нибудь в «Гамбургском беспартийном вестнике», что старик Иегова не рекомендует публике верить кому бы то ни было, даже сыну своему, во избежание злоупотреблений его именем. Но я убежден, — мы доживем до того времени, когда короли не пожелают больше играть роль показных кукол в руках презиращего их дворянства, откажутся от этикета, повылезут из своих мраморных клеток и гневно сбросят с себя блестящие лохмотья, предназначенные действовать на народ, — порфиру, жутко-красную как одежда палача, алмазную корону, нахлобученную на уши, чтобы заглушить голос народа, золотой посох, вложенный в руки, как видимый знак власти, — и освобожденные короли станут свободными, подобно другим людям, свободно будут ходить среди них, свободно чувствовать, свободно вступать в брак, свободно высказывать свое мнение — это и есть эмансипация королей.

Г Л А В А XV

Что же остается в удел аристократам, если отнять у них коронованный источник их существования, если короли станут достоянием народа и начнут добросовестно и уверенно править в согласии с волей народа, единственным источником всякой власти? Что станут делать попы, когда короли убедятся, что несколько ка-

пель священного елея не предохранят ничью голову от гильотины, а народ с каждым днем все больше и больше проникнется сознанием, что облатками не budú сыт? Ну, что же, — тогда аристократии и духовенству ничего не останется, как только соединиться и начать пройки и интриги против нового порядка.

Напрасные усилия! Время, пламенный гигант, спокойно движется вперед, не обращая внимания на злобное твяканье попи́ков и дворянчиков под его ногами. Какой вой поднимают они всякий раз, когда обожгут себе морду, коснувшись ноги гиганта, или когда он нечаянно наступит им на голову, так что оттуда брызнет темный яд! Тогда злоба их с особенной силой обрушивается на отдельных детей времени, и, бессильные против масс, они пытаются охладить свое трусливое сердчишко, накидываясь на личность.

Ах! Мы должны признаться, иной несчастный из детей времени от всего этого не менее больно чувствует удары, которые умеют наносить ему подстерегающие в темноте попы и дворянчики, и — ах! — если венец славы и загорается над ранами победителя, то все же они сочатся кровью и болят. Странное мученичество выпадает на долю таких победителей в наше время: оно не кончается их мужественным признанием, как прежде, когда мученики находили себе быструю кончину на плахе или в ликующем пламени костра. Сущность мученичества — принесение в жертву всего земного ради утех небесных — осталась та же, но оно много потеряло во внутренней своей радости, оно превратилось скорее в выдержку отречения, в упорное страстотерпчество, в пожизненное умирание; и вот случается, что в иной сумрачный холодный час даже самого святого из мучеников начинают одолевать сомнения. Нет ничего ужаснее тех часов, когда Марк Брут начинает сомневаться в подлинности добродетели, за которую он всем пожертвовал! И — увы! — он все же был римлянин и жил в цветущую пору стоицизма, а мы созданы из современного, более податливого материала, и к тому

же переживаем расцвет философии, признающей за всяким воодушевлением лишь относительное значение и уничтожающей таким образом его сущность или же во всяком случае нейтрализующей его путем сведения к сознательному донкихотству.

Сдержанные и умные философы! Как сострадательно они посмеиваются с высоты своего величия над самоистязаниями и безумствами какого-нибудь бедного Дон Кихота, и при всей своей школьной мудрости не замечают того, что это донкихотство и есть самое ценное в жизни, что это сама жизнь, что это донкихотство окрыляет для смелых полетов весь мир, со всем, что в нем философствует, играет, пашет и зевает! Ведь вся масса народная, со всеми философами, является, сама того не зная, не чем иным, как гигантским Санчо-Пансой, который, при всей своей трезвой боязни побоев и доморощенной разумности, следует за сумасшедшим рыцарем во всех его опасных приключениях, соблазненный обещанною наградой, в которую верит, потому что желает ее, но еще более влекомый таинственной силой, которую энтузиазм всегда пробуждает в толпе, — это мы наблюдаем во всех политических и религиозных революциях и, пожалуй, ежедневно в ничтожных событиях.

Так, например, ты, любезный читатель, невольно являешься Санчо-Пансою того сумасшедшего поэта, с которым странствуешь и блуждаешь в этой книге, — покачиваешь головою, но все-таки следуешь за ним.

Г Л А В А XVI

Странно! «Жизнь и подвиги остроумного рыцаря Дон Кихота Ламанчского, описанные Мигуэлем де Сервантесом Сааведра», были первою книгой, прочитанной мною в ту пору, когда я вступил уже в разумный детский возраст и до известной степени постиг грамоту. Я еще хорошо помню, как маленьким однажды ранним

утром я тайком убежал из дому в дворцовый сад, чтобы без помехи почитать «Дон Кихота». Был прекрасный майский день; в свете тихого утра зацветала, чутко насторожившись, весна и слушала, как пел ей хвалу соловей, сладкозвучный ее льстец; а он пел свою хвалебную песнь так ласкающе-нежно, так томно-вдохновенно, что самые стыдливые почки раскрылись, порывистее стали поцелуи сладострастных трав и благоухающих солнечных лучей, и деревья и цветы содрогались от тщеславного восторга. А я уселся на каменную, мшистую скамью, в так называемой аллее Вздохов, близ водопада, и стал тешить свое юное сердце великими приключениями отважного рыцаря. В детской своей правдивости я все принимал за чистую монету; какие бы смешные шутки судьба ни играла с бедным героем, я был уверен, что так оно и должно быть, что это связано с героизмом — и насмешки и телесные раны; первые меня настолько же огорчали, насколько живо чувствовал я в душе боль от последних. Я был ребенком, и мне неведома была ирония, которую бог вдохнул в мир, а великий поэт отразил в своем печатном мирке, и я проливал горькие слезы, когда благородному рыцарю за все его благородство платили только неблагодарностью и побоями; и так как я, неискушенный в чтении, произносил каждое слово вслух, то птицы и деревья, ручей и цветы слышали все, и так как эти невинные создания природы, подобно детям, ничего не знают о мировой иронии, то также принимали все за чистую монету, проливая вместе со мною слезы над страданиями несчастного рыцаря; один старый заслуженный дуб даже рыдал; а водопад сильнее потрясал своей седою гривой и, казалось, выражал негодование на испорченность мира. Мы чувствовали, что героический дух рыцаря не становится менее поразительным оттого, что лев, не имея желания сражаться, повернулся к нему спиной, и что его подвиги тем достохвальнее, чем слабее и истощеннее его тело, чем более ветхи доспехи, его защищавшие, и чем несчастнее кляча, на которой он восседает.

Мы презирали низкую чернь, так грубо обращавшуюся с бедным героем, но еще более презирали знатную чернь, которая, красуясь пестрым шелком плащей, изысканными оборотами речи и герцогскими титулами, издевалась над человеком, столь бесконечно превосходившим ее силою духа и благородством. Рыцарь Дульцинеи поднимался все выше в моих глазах и приобретал все большую мою любовь по мере того, как я читал удивительную книгу, что происходило ежедневно все в том же саду, так что осенью я дошел уже до конца рассказа; и никогда я не забуду дня, когда прочел о злосчастном поединке, в котором рыцарю суждено было претерпеть столь позорное поражение.

То был пасмурный день; безобразные дождевые тучи носились в сером небе, желтые листья падали с больных деревьев, тяжелые капли слез повисли на последних цветах, уныло увядших и клонивших умирающие головки, соловьи давно исчезли, отовсюду зиял мне образ тленности мира, и сердце мое разрывалось, когда я читал о том, как благородный рыцарь, оглушенный и смятый, лежал на земле и, не поднимая забрала, словно из могилы, говорил победителю слабым, умирающим голосом: «Дульсинея — прекраснейшая женщина в мире, и я — несчастнейший рыцарь на земле, но не годится, чтобы слабость моя отвергла эту истину, — вонзайте копьё, рыцарь!»

Ах! этот светозарный рыцарь Серебряного Месяца, победивший храбрейшего и благороднейшего в мире человека, был переряженный цырюльник!

Г А В А XVII

Давно это было: Много новых весен расцвело за это время, но не было уж в них прежнего могучего очарования, ибо — увы! — я не верю больше сладким обманам соловья, льстеца весны, я знаю, как скоро проходит ее великолепие, и всякий раз, когда вижу новый розо-

вый бутон, мне представляется, как он расцветает болезненно-ярко, блекнет и разносится по ветру. Повсюду вижу я замаскированную зиму.

Но в груди моей цветет еще огненная любовь; страстно поднимается она над землею, странствует и блуждает в пустынных, зияющих небесных пространствах и, отвергнутая холодными звездами, опять возвращается вниз, к ничтожной земле, со вздохом и торжеством сознаваясь, что нет все-таки во всей вселенной ничего прекраснее и лучше человеческого сердца. Любовь эта — вдохновение, неизменно божественного свойства, все равно, влечет ли она за собою безумные или мудрые поступки... Итак, маленький мальчик отнюдь не напрасно лил слезы над страданиями нелепого рыцаря, точно так же как и после не напрасно юноша оплакивал в своей студенческой комнате смерть святых героев свободы, царя Агиса Спартанского, Кая и Тиберия Гракхов из Рима, Иисуса из Иерусалима и Робеспьера и Сен-Жюста из Парижа. Теперь, когда я надел *toga virilis* *, и мне предстоит быть мужчиною, — слезам конец; надо поступать, как подобает мужчине, подражая великим предшественникам и — дай бог! — вызывая в грядущем слезы у мальчиков и юношей. Да, на них еще можно рассчитывать в наше холодное время, их еще зажигает огненное дыхание старых книг, и они понимают поэтому пламенные сердца современности. Юность безкорыстна в помыслах и чувствах своих, поэтому она наиболее глубоко схватывает мыслью и чувством правду и не скупится там, где речь идет о дерзновенном соучастии в исповедании и действии. Пожилые люди своекорыстны и мелочны, больше думают о процентах со своих капиталов, чем об интересах человечества; они спокойно ведут свое суденышко по канавке жизни и мало беспокоятся о моряке в открытом море, борющемся с волнами, или же, вооружаясь цепким упрямством, взбираются они на высоту должности бур-

* мужскую тогу

гомиистра или звания президента своего клуба и пожимают плечами, говоря о тех изваяниях героев, которые буря сбросила с пьедестала славы, и при этом, может быть, рассказывают, что и сами они в юности своей пытались пробить стену головой, но потом примирились с этою стеной, ибо она есть нечто абсолютное, от века установленное, существующее само по себе, а потому и разумное; а потому неразумен тот, кто не мирится с высочайше разумным, непреложно существующим, прочно установленным абсолютизмом. Ах! эти недостойные, пытающиеся путями философии привести нас к ярму мягкого рабства, все же почтеннее тех презренных, которые, защищая деспотизм, не прибегают даже к разумным доводам разума, но оправдывают его исторически, как обычное право, к которому люди с течением времени постепенно привыкли и которое потому правомерно, законосообразно и нерушимо.

Ах! я не хочу, как Хам, приподнимать покров над позором родины, но — ужасно, как у нас сумели даже рабство сделать болтливым, как немецкие философы и историки утруждают свой мозг, чтобы представить разумным и правомерным всякий деспотизм, как бы он ни был нелеп и несообразен. Честь раба — в молчании, говорит Тацит; эти же философы и историки утверждают противное и в доказательство ссылаются на почетные ленточки в петлицах.

А, может быть, вы все-таки правы, и я только Дон Кихот, и чтение всевозможных чудесных книг вскружило мне голову, так же как и рыцарю Ламанчскому: Жан-Жак Руссо был моим Амадисом Галльским, Мирабо был моим Роландом или Аграмантом, и я чересчур усердно изучал геройские подвиги французских палладинов и Круглого Стола Национального Конвента. Правда, мое безумие и мои бредовые идеи, почерпнутые из этих книг, противоположны безумию и бредовым идеям ламанчского рыцаря: он хотел восставить умирающее рыцарство, я же, наоборот, хочу уничтожить до конца все, что осталось от этой эпохи,

и мы действуем, таким образом, с целями совершенно различными. Мой товарищ принимал ветряные мельницы за великанов, я, наоборот, в наших нынешних великанах вижу только хвастливые ветряные мельницы; он принимал кожаные винные мехи за могучих волшебников, я же вижу в наших теперешних волшебниках только кожаные мехи для вина; он принимал нищенские харчевни за замки, погонщиков ослов — за кавалеров, скотниц — за придворных дам, я же, наоборот, считаю наши замки притонами сброда, наших кавалеров погонщиками ослов, наших придворных дам простыми скотницами; как он принял кукольную комедию за государственное действо, так я считаю наши государственные действия жалкими кукольными комедиями, но так же, как храбрый ламанец, врубаюсь я в это деревянное царство. Ах! этот геройский подвиг кончается для меня порою так же плохо, как и для него, и мне приходится, как и ему, много терпеть ради чести моей дамы. Если бы я согласился отказаться от нее, из пустого страха или тупой корысти, я бы мог привольно жить в этом существующем разумном мире, мог бы повести к алтарю прекрасную Мариторну и принять благословение от жирных волшебников, и пировать с благородными погонщиками ослов, и производить на свет невинные новеллы и тому подобные мелкие рабские отродья! Вместо этого, украшенный тремя цветами моей дамы, я принужден непрерывно биться на поединках и прорываться сквозь невыразимые бедствия, и ни одна победа, одержанная мною, не обходится для моего сердца без потери крови. День и ночь я в опасности, ибо мои враги так коварны, что некоторые из них, уже пораженные мною насмерть, все же делают вид, что живы, и, принимая всяческие образы, отравляют мне дни и ночи. Сколько страданий пришлось мне уже вынести из-за этих роковых призраков! Они прокрадывались всюду, где только цвело что-нибудь мне дорогое, эти коварные призраки, и срывали даже невинные ростки. Повсюду, и в особенности там, где я всего менее мог ожидать,

открывал я по земле их слизистый след, и если я не буду осторожен, то могу поскользнуться и убиться до смерти даже в доме ближайших друзей. Можете смеяться и считать мое беспокойство результатом пустого воображения, как у Дон Кихота. Но страдания, пусть и воображаемые, причиняют не меньшую боль, и если человек вообразит, что проглотил немного болиголова, то он способен задохнуться, но ни в коем случае не разжиреет от этого. И это клевета — будто бы я разжирел; по крайней мере, я не обзавелся еще жирною синекурою, а ведь у меня есть нужные для этого таланты, так же не найдется во мне и следа того жира, который дается кумовством. Повидимому, все средства пущены были в ход, чтобы поддержать мою худобу; когда я голодал, меня кормили змеями, когда страдал от жажды — полили полынью, яд вливали мне в сердце, так что я плакал ядом и вздыхал огнем, за мною крались вплотную вплоть до моих ночных сновидений — я и сейчас вижу их, эти страшные личины, важные лакейские лица со скрежещущими зубами, грозные банкирские носы, убийственные глаза, впивающиеся в меня из-под капюшонов, бледные руки в манжетах, со сверкающими ножами...

И старуха, живущая за стеною, моя соседка по комнате, считает меня помешанным и утверждает, что я говорю во сне сумасшедшие вещи, а в прошлую ночь она будто бы ясно слышала, как я кричал: «Дульсиenea — прекраснейшая женщина в мире, и я — несчастнейший рыцарь на земле, но не годится, чтобы слабость моя отвергла эту истину, — вонзайте копьe, рыцарь!»



ПОЗДНЕЙШЕЕ ДОБАВЛЕНИЕ

(Ноябрь 1830 г.)

Не знаю, какая странная почтительность удержала меня от того, чтобы произвести хотя бы малейшие изменения в некоторых выражениях, показавшихся мне, при позднейшем пересмотре предшествующих страниц, слишком уж резкими. Рукопись успела поблекнуть и пожелтеть, как покойник, и мне было жутко ее уродовать. Все написанное в давнюю пору обладает каким-то внутренним правом на неприкосновенность, тем более эти страницы, принадлежащие до известной степени темному прошлому. Ведь они написаны почти за год до третьей бурбонской Хеджиры, в эпоху, которая сама по себе была резче самого резкого выражения, в эпоху, когда казалось, что победа свободы может отодвинуться еще на столетие. Во всяком случае, нельзя было видеть без тревоги, как наши рыцари обрели такое уверенное выражение лиц, как они покрасили в ярко-свежие краски свои поблекшие гербы, как они выступали со щитами и копьями на турнирах в Мюнхене и Потсдаме, как гордо восседали они на своих высоких конях, словно собираясь в Кведлинбург, чтобы выйти новым изданием у Готфрида Бассе. Еще невыносимее были торжествующе-злобные глазки наших попигов, так хитро прятавших под капюшонами свои длинные уши, что мы ждали от них самых пагубных подвохов. Нельзя было предвидеть, что благородные рыцари так плачевно расстреляют свои стрелы, — по большей части анонимно или, по крайней мере, поспешно отступят, повернув назад

лица, как убегающие башкиры. Столь же мало можно было предвидеть, что так посрамлено будет змеиное лукавство наших попикиков. Ах! чуть не жалость охватывает при виде того, как плохо распорядились они лучшим своим ядом, в бешенстве забрасывая нас огромными кусками мышьяку, вместо того, чтобы любовно, золотниками подсыпать его нам в суп, — при виде того, как они вытаскивают из груди старого детского белья ветхие пеленки своих врагов, чтобы разнюхать что-нибудь в нечистотах, как они даже отцов своих врагов выкапывают из могил, чтобы взглянуть, не были ли они обрезаны. О дурачье! Они полагают, будто сделали открытие, что лев принадлежит, собственно говоря, к породе кошек, и с этим естественно-историческим открытием они будут носиться до тех пор, пока эта большая кошка на их собственной шкуре не покажет свое *ex ungue leonem* *. О, темные люди! — они просветятся не прежде, чем сами повиснут на фонарях! Ослиные кишки хотел бы я натянуть вместо струн на лиру свою, чтобы достойно воспеть вас, стриженные глупые головы!

Безмерная радость охватывает меня! В то время как я сижу и пишу, под окном моим звучит музыка, и в элегическом гневе протяжной мелодии я узнаю тот марсельский гимн, которым прекрасный Барбару и его спутники приветствовали город Париж, ту пастушескую песнь свободы, при звуках которой швейцарцы в Тюильри почувствовали тоску по родине, торжествующую предсмертную песнь Жиронды, старую сладостную колыбельную песню...

Что за песнь! Она пронизывает меня пламенем и радостью, зажигает во мне огненные звезды вдохновения и ракеты насмешки. Да, пусть и они будут на великом фейерверке современности! Звонко-пламенные потоки песни пусть льются дерзновенными каскадами с высот ликующей свободы, как Ганг свергается с Гималаев! А ты, прекрасная Сатира, дочь праведной Фемиды и

* по когтю (узнать) льва.

козлоногого Пана, приди мне на помощь! Ты ведь с материнской стороны ведешь свой род от титанов и подобно мне ненавидишь врагов своего дома, ничтожных узурпаторов Олимпа. Одожи мне меч своей матери, чтобы мне казнить это ненавистное племя, и дай мне цевницу своего отца, чтобы мне на смерть освистать их...

Уже слышат они убийственный свист, и панический ужас охватывает их, и они бегут, приняв звериные облики, как тогда, когда мы громоздили Пелион на Оссу —

Aux armes, citoyens! *

Очень несправедливо винят нас, несчастных титанов, порицая дикое неистовство, с которым мы взбирались вверх тогда, при штурме неба — ах, там, внизу, в Тартаре было жутко и темно, и мы слышали там только вой Цербера и лязг цепей, и простительно, если мы оказались несколько невежливы по сравнению с теми богами *comme il faut* **, которые так тонко и благопристойно наслаждались в светлых салонах Олимпа сладостным нектаром и нежными концертами муз.

Я не могу писать дальше, музыка под окном кружит мне голову, и все величественнее несется ввысь припев:

Aux armes, citoyens!

* К оружию, граждане!

** Приличными

АНГЛИЙСКИЕ ОТРЫВКИ

1828

Счастливый Альбион! Веселая старая Англия! Зачем покинул я тебя? — Чтобы бежать общества джентльменов и быть в среде отребья единственным, кто живет и действует сознательно?

«Честные люди» *В. Алексиса.*



ГЕНРИХ ГЕЙНЕ

С портрета карандашом Вильгельма Гензеля 1830 г.



I

РАЗГОВОР НА ТЕМЗЕ

...Желтый человек стоял подле меня на палубе, когда я увидел зеленые берега Темзы, и во всех уголках души моей пробудились соловьи. «Страна свободы, — воскликнул я, — приветствую тебя! Прими мои приветствия, свобода, юное солнце обновленного мира! Превыше солнца, любовь и вера, померкли и остыли, и не в силах больше светить и греть. Покинуты старые миртовые рощи, когда-то столь переполненные, и только робкие горлицы выют гнезда в нежных зарослях. Падают старые соборы, когда-то вознесенные на такую гигантскую высоту отважным в благочестии своим поколением, тщившимся поднять свою веру до небес; они дряхлеют и разваливаются, и даже собственные их боги не верят больше в самих себя. Эти боги отжили, а нашему времени нехватает фантазии, чтобы создать новых. Вся сила сердца человеческого перешла теперь в любовь к свободе, и, может быть, свобода и есть религия нашего времени, и это опять религия, которая проповедуется не богатым, а бедным, и у нее тоже есть свои евангелисты, свои мученики и свои Искарיות!»

«Молодой энтузиаст, — произнес желтый человек, — вы не найдете того, что ищете. Может быть, вы и правы в том, что свобода — новая религия, распространяющаяся по всей земле. Но подобно тому, как некогда каждый, принимавший христианство, видоизменял его применительно к своим потребностям и своему собствен-

ному характеру, так и теперь всякий народ воспримет от свободы, этой новой религии, только то, что соответствует его местным потребностям и его национальному характеру.

Англичане — домоседы, они живут ограниченной, замкнутой, семейной жизнью; в кругу своих домашних англичанин пытается обрести тот душевный уют, в котором ему отказано за пределами его дома, в силу уже одной его прирожденной социальной неповоротливости. Поэтому англичанин довольствуется тою свободой, которая обеспечивает ему личные права и безусловно ограждает его жизнь, имущество, его брак, его веру и даже его причуды. Никто не свободен в своем доме более, чем англичанин; применяя здесь знаменитое изречение, я скажу, что он король и епископ в своих четырех стенах, и не безоснователен его обычный девиз:

«My house is my castle» *.

Если таким образом англичанам свойственна преимущественно потребность в личной свободе, то французы, пожалуй, в крайности и обошелся бы без свободы, если бы ему дать полностью воспользоваться той составною частью всеобщей свободы, которую мы называем равенством. Французы — народ, не тяготеющий к домашней жизни, а общественный, они не любят молчаливого препровождения времени в тесном кругу и называют его *une conversation anglaise* **, они, болтая, перебегают из кафе в казино, из казино в салоны; их легкая, шампанская кровь и врожденная способность к обходительности влекут их к общественной жизни, а первое и последнее условие этой жизни, душа ее — равенство. Поэтому попутно с развитием общественности во Франции должна была возникнуть и потребность в равенстве; если причину революции и следует искать в бюджете, то слово и голос она получила впервые от тех остроумных разночинцев, что встречались в салонах

* «Мой дом — моя крепость».

** английский разговор

Парижа с высшею знатью, повидимому, на равной ноге, но все-таки время от времени получали от нее напоминание о своем великом и постыдном неравенстве, хотя бы при посредстве едва заметной, но тем более оскорбительной феодальной усмешечки, и если *sanaillie roturière* * позволила себе обезглавить эту высокую знать, то, может быть, за тем, чтобы унаследовать не столько ее богатства, сколько ее предков, и вместо мещанского неравенства ввести аристократическое равенство. Что это стремление к равенству было основным принципом революции, видно еще более из того, что французы скоро почувствовали себя счастливыми и довольными под властью своего великого императора, который, во внимание к их незрелости, взял под свою опеку все их свободы и предоставил им только наслаждаться полным и достойным равенством.

Поэтому англичанин гораздо терпеливее, чем француз, переносит зрелище своей привилегированной аристократии; он утешается тем, что обладает правами, липшающими ее возможности смутить его домашний комфорт и затронуть его жизненные требования. Да и аристократия эта не выставляет напоказ своих прав так, как на континенте. На улицах и в общественных увеселительных заведениях Лондона пестрые ленты можно увидеть только на женских чепцах, а золотое и серебряное шитье только на ливреях лакеев. Даже та красивая пестрая ливрея, которая у нас означает принадлежность к привилегированному военному сословию, отнюдь не является в Англии знаком отличия; как актер после представления смывает грим, так и английский офицер, отбыв часы службы, спешит освободиться от своего красного мундира и в простом сюртуке джентльмена становится вновь джентльменом. Только в Сент-Джемском театре приобретают значение эти декорации и костюмы, сохранившиеся от средневекового хлама; там развешаются орденские ленты, блестят звезды, шур-

* простонародная сволочь

шат шелковые панталоны и атласные шлейфы, там звенят золотые шпоры и старофранцузские обороты речи, пыжится рыцарь и топорщится фрейлина. Но какое дело свободному англичанину до придворной комедии в Сент-Джемском дворце? Ведь она его не отягощает, и никто не мешает ему разыграть у себя дома такую же комедию, заставить своих домашних официантов становиться на колени и забавляться подвязкою своей кухарки — *honny soit, qui mal y pense*.

Что касается немцев, то им не нужно ни свободы, ни равенства. Они — народ, преданный созерцанию, идеологии, загадывающие и разгадывающие мечтатели, живущие только прошлым и будущим и не имеющие настоящего. Англичане и французы имеют настоящее, у них каждый день отмечен действием и противодействием, имеет свою историю. Немцу не за что бороться, а так как он начал подозревать, что все-таки могут существовать вещи, обладание которыми было бы желательным, то его философы весьма мудро научили его сомневаться в существовании таких вещей. Нельзя отрицать, что и немцы любят свободу. Но иначе, чем другие народы. Англичанин любит свободу, как свою законную жену: он обладает ею и если обращается с нею не очень нежно, то все-таки, в случае нужды, умеет защитить ее, как мужчина, и горе тому кавалеру в красном мундире, который проберется в ее священную спальню, в качестве любовника или соглядатая, — все равно. Француз любит свободу, как свою избранницу и невесту. Он горит любовью к ней, пламенеет, бросается к ее ногам с самыми преувеличенными уверениями, бьется за нее на жизнь и на смерть, совершает ради нее тысячи безумств. Немец любит свободу, как свою старую бабушку».

Удивительны все же люди! На родине мы ворчим; всякая глупость и нелепость сердят там нас; как мальчики, готовы мы ежеминутно бежать оттуда в далекий мир; а когда попадем наконец в далекий мир, то он опять кажется нам чересчур далеким, и втайне мы опять то-

скуем по узким глупостям и нелепостям родины, и хочется нам сидеть опять там, в старой, хорошо знакомой комнатке, и, если на то пошло, устроить свой дом за печкою, приткнуться там в тепле и читать «Всеобщий немецкий вестник». Так же было и со мною во время путешествия в Англию. Едва скрылся из глаз моих немецкий берег, как во мне проснулась запоздалая смешная любовь к тем тевтонским лесам колпаков и париков, которые я только что с раздражением покинул; отчизна исчезла из моих глаз, но я вновь обрел ее в своем сердце.

Потому-то голос мой звучал, может быть, несколько мягко, когда я ответил желтому человеку:

«Милостивый государь, не браните немцев! Если они и мечтатели, то многие из них в мечтах своих видят такие сны, которые я едва ли променяю на бодрствующую действительность наших соседей. Раз все мы спим и грезим, то, пожалуй, можем обойтись и без свободы, ведь наши тираны тоже спят и грезят лишь о своей тирании. Только тогда мы проснулись, когда католический Рим отнял у нас свободу грез; тут мы стали действовать, победили, и опять легли и стали грезить. Не смейтесь, сударь, над нашими мечтателями, ибо время от времени они, как сомнамбулы, произносят во сне удивительные вещи, и слово их претворяется в посев свободы. Никто не в состоянии предвидеть, какой оборот примут дела. Англичанин, склонный к сплину, наскучив своей женой, накинёт ей, может быть, на шею веревку и сведет ее на продажу на Смисфильд. Ветрогон-француз изменит, может быть, своей любимой невесте, покинет ее и, подпевая, начнет приплясывать перед придворными дамами (courtisanes) своего королевского дворца (palais royal) *. Но немец никогда не выбросит окончательно за дверь свою старую бабушку, он всегда оставит ей местечко у очага, где она может рас-

* Игра слов: courtisanes du palais royal — значит также «куртизанки из Пале-Рояля».

сказывать сказки насторожившимся детям. Если когда-нибудь, боже упаси, исчезнет во всем мире свобода, немецкий мечтатель вновь откроет ее в своих мечтах».

В то время как пароход, на котором происходил наш разговор, тянулся вверх по реке, солнце зашло и, его последние лучи осветили Гриничский госпиталь, внушительное, похожее на дворец, здание, состоящее собственно из двух флигелей, между которыми находится пустое пространство, открывающее проезжающим мимо вид на зеленый лесистый холм, увенчанный изящным небольшим замком. На воде начала теперь усиливаться сутолока судов, и я с удивлением смотрел, с какою ловкостью эти большие корабли скользят друг мимо друга. Порою вас приветствует с них чье-нибудь серьезно-дружеское лицо, которого вы никогда не видели и, может быть, никогда больше не увидите. Проезжаешь так близко, что можно подать друг другу руку, здороваясь и прощаясь одновременно. Сердце вздымается при виде стольких вздымающихся парусов и странно волнуется, когда с берега доносятся смутные голоса, музыка танцев и глухой шум матросской возни. Но в белом покрове вечернего тумана расплываются понемногу очертания предметов, и глаз видит только лес высоких и обнаженных мачт.

Желтый человек все еще стоял подле меня и пытливо смотрел вверх, словно разыскивая в туманном небе бледные звезды. Продолжая глядеть вверх, он положил мне руку на плечо и произнес тоном, в котором как бы невольно нашли себе выражение тайные мысли: «Свобода и равенство! Их не найдешь здесь, внизу, их нет даже и там, наверху. Эти звезды там не равны, одна больше и ярче другой, ни одна из них не свободна в своих путях, все повинуются предначертанным железным законам — в небе рабство, как и на земле».

«Это Тоуэр!» — воскликнул вдруг один из наших спутников, указывая на высокое здание, выступившее из лондонского тумана подобно призрачному, мрачному сновидению.

II

ЛОНДОН

Я видел самое замечательное из того, что может явить мир изумленному духу, я видел и все еще изумляюсь — все еще стоит в моем воображении этот каменный лес домов и среди них бурный поток живых человеческих лиц, со всею пестротой их страсти, со всею ужасающею стремительностью их любви, голода и ненависти, — я говорю о Лондоне.

Пошлите в Лондон философа, но, ради бога, не поэта! Пошлите туда философа и поставьте его на углу Чипсайда; он почерпнет здесь больше, чем из всех книг последней лейпцигской ярмарки; и как только волны человеческие забушуют вокруг него, возникнет перед ним море новых мыслей, его овеет вечный дух, парящий над этим морем; сокровеннейшие тайны общественного устройства внезапно откроются ему, он явственно услышит и воочию увидит мировой пульс, — ибо, если Лондон — правая рука мира, деятельная, могучая правая рука, то улицу эту, ведущую от Биржи до Даунинг-стрита, следует признать артерией мира.

Только не посылайте в Лондон поэта! Эта бросающаяся в глаза серьезность всех вещей, это колоссальное однообразие, это машинообразное движение, эта угрюмость даже в радости, этот превзошедший всякую меру Лондон подавляет фантазию и разрывает сердце. И если бы вы при этом вздумали послать немецкого поэта, мечтателя, останавливающегося перед каждым отдельным явлением — перед оборванной нищенкою или блестящею витриною ювелира — о! ему пришлось бы еще хуже, его бы толкали со всех сторон или даже сбили бы с ног с короткими: *God damn!* — Да, *God damn!* Проклятые толчки! Я скоро заметил, что этот народ очень занят. Он живет на широкую ногу, он желает, не смотря на то, что корм и одежда дороже в его стране,

чем у нас, все-таки лучше нас кормиться и одеваться; как и полагается знатным людям, у него крупные долги, но все-таки ради похвалы он порою швыряет свои гинеи в окошко, платит другим народам за то, чтобы они колотили друг друга ради его удовольствия, и означает при этом их королям недурное содержание — поэтому Джон Булю приходится работать день и ночь, чтобы добыть денег на эти расходы, день и ночь приходится ему напрягать свой мозг, чтобы изобретать новые машины; он сидит и подсчитывает в поте лица, и гоняется, и бегают, много не оглядываясь, из гавани на биржу, с биржи на Стрэнд; простительно поэтому, если он на углу Чипсайда несколько неосторожно толкнет бедного немецкого поэта, который, глядя перед магазином картин, загоразливает ему дорогу: «God damn!»

Картина же, на которую я глазел на углу Чипсайда, изображала переход французов через Березину.

Когда выбитый из своего созерцания, я взглянул опять на бурлящую улицу, по которой с громоханием, криками, стонами и треском катился пестрый клубок мужчин, женщин, детей, лошадей, почтовых карет, а среди них и погребальная процессия, мне показалось, что весь Лондон — мост через Березину, где каждый в безумном страхе, чтобы только хоть немножко продлить свою жизнь, пытается пробиться, где лихой наездник топчет бедного пешехода, где всякий, упавший на землю, погиб навсегда, где лучший товарищ равнодушно спешит перешагнуть через труп товарища, и тысячи смертельно-усталых и окровавленных людей, тщетно цепляясь за доски моста, срываются в холодную, ледяную бездну смерти.

Насколько веселее и уютнее в нашей дорогой Германии! Как сонно-безмятежно, как субботне-спокойно течет здесь жизнь! Спокойно проходит караул, в спокойном свете солнца блестят мундиры и дома, у карнизов вьются ласточки, в окнах улыбаются толстые советницы юстиции, на гулких улицах довольно места: собаки

могут вдоволь обнюхиваться, люди с удобством могут останавливаться и толковать о театре и низко-низко кланяться, если какое-нибудь высокое дрянцо или вице-дрянце с пестрыми ленточками на потертом скюртке или напудренный, позолоченный гофмаршальчик протанцует мимо них, милостиво отвечая на поклоны.

Я заранее решил было не изумляться величиною Лондона, о котором я так много слышал. Но со мною случилось то же, что с несчастным школьником, который решил не чувствовать предстоящих побоев. Дело было в том собственно, что он ожидал обыкновенных ударов, обыкновенною палкою и, по обыкновению, по спине, а вместо того получил необыкновенную порцию ударов по необыкновенному месту — тонкою тростью. Я ожидал увидеть большие дворцы и увидел сплошь только маленькие дома. Но именно однообразие их и необозримое их множество производят такое сильное впечатление.

Эти кирпичные дома от серого воздуха и угольной копоти приобретают одинаковый цвет, именно оливково-зеленый с коричневым оттенком; все они построены на один образец; по фасаду обыкновенно два или три окна, три этажа в высоту, а вверху они украшены маленькою красною дымовою трубою, похожею на окровавленный вырванный зуб, так что широкие прямые улицы, образуемые ими, кажутся всего лишь бесконечно-длинными, казармообразными домами. Причиною тому, повидимому, то обстоятельство, что каждое английское семейство, хотя бы состоящее из двух человек, все-таки желает жить в отдельном доме, в собственном замке, и богатые спекулянты, идя навстречу этой потребности, строят целые улицы, которые продают потом в розницу отдельными домами. На главных улицах Сити, той части Лондона, где сосредоточены торговля и промышленность, где среди новых зданий рассеяны еще старинные, и где фасады домов до крыш закрыты саженными вывесками и цифрами, обычно позолоченными и выпуклыми, там это характерное однообразие домов не так

заметно, тем более, что взгляд чужестранца все время отвлечен удивительным зрелищем новых и красивых предметов, выставленных в окнах магазинов. Не одни предметы сами по себе составляют главнейший эффект, ибо англичанин все, что изготавливает, дает в законченном виде и всякий предмет роскоши, всякая астральная лампа и всякий сапог, всякий чайник и всякая женская юбка блестят так завлекательно, так *finished* *; но самое искусство выставки, игра цветов и разнообразие придают английским магазинам особое очарование; даже повседневные жизненные потребности являются здесь в неожиданном волшебном блеске, обыкновенные съестные припасы привлекают новым освещением, даже сырая рыба так разложена и так соблазнительно разубрана, что радужный блеск ее чешуи приводит нас в восторг; сырое мясо лежит, как на картине, на чистых пестрых фарфоровых тарелочках и в венке веселой петрушки; все кажется нарисованным и напоминает нам блестящие и вместе с тем столь скромные картины Франца Мириса. Только люди не так веселы, как на этих голландских картинах: с серьезнейшими лицами продают они самые веселые игрушки, и покрой и цвет их одежды однообразен, как их дома.

На противоположной стороне Лондона, называемой западным концом, Вестендом — *the west end of the town* **, где живет более аристократическое и менее деловое общество, это однообразие еще заметнее; но здесь есть улицы очень длинные и даже широкие, где все дома высоки, как дворцы, хотя внешне и не представляют ничего замечательного, кроме разве того, что здесь, как и во всех не совсем заурядных жилых домах Лондона, окна второго этажа украшены балконами с железною решеткою и *au rez de chaussée* *** тоже поставлена черная решетка, ограждающая углубленное в землю подвальное помещение. Кроме того, в этой части

* закончено

** западная часть города

*** в нижнем этаже

города находятся большие скверы: ряды домов, подобных вышеописанному, образуют четырехугольник, в середине которого расположен сад, обнесенный черною железною решеткою, с какой-нибудь статуей. Ни на одной из этих площадей и улиц взгляд чужеземца не оскорбится зрелищем ветхих, нищенских лачуг. Всюду прет в глаза богатство и знатность, беднота вытеснена в отдельные улочки и темные, сырые переулки, где и ютится со своими лохмотьями и слезами.

Чужестранец, бродящий по большим улицам Лондона и не попавший в жилище настоящей бедноты, ничего не увидит или увидит очень малую часть того горя, которого так много в Лондоне. Лишь там и сям, при входе в темный переулок, молча стоит оборванная женщина, с ребенком у истощенной груди, и просит милостыню глазами. Может быть, если эти глаза еще красивы, в них заглянешь и придешь в ужас от бездны горя, которую там увидишь. Обыкновенные нищие — старики, по большей части негры; они стоят на углах улиц и, что весьма полезно в грязном Лондоне, прокладывают для пешехода тропинку, получая за это медную монету. Нищета в сообществе с пороком и преступлением только вечером вылезает из своих притонов. Она тем боязливее бежит дневного света, чем ужаснее противоречит пышности богатства, сверкающего повсюду; только голод выгоняет ее иной раз в полуденную пору из темных переулков, и тогда она стоит с немым, выразительным взором и с мольбою обращает его к богатому купцу, деловито и позванивая деньгами спешащему мимо, или к праздному лорду, который, подобно сытому богу, разъезжает, сидя высоко верхом на коне, и время от времени бросает равнодушно-гордый взгляд на человеческую сутолоку под собою, словно это ничтожные муравьи или, во всяком случае, кучка низших существ, чьи радости и страдания не имеют ничего общего с его чувствами; ибо над человеческим сбродом, цепляющимся за землю, английская знать возносится как существо высшей породы, для которого маленькая Англия —

лишь временная квартира, Италия — летний сад, Париж — гостиная, а весь мир — собственность. Беззаботно и беспрепятственно носят они по свету, и золото — тот талисман, который волшебным образом выполняет их самые безумные желания.

Бедная бедность! как мучителен должен быть твой голод там, где другие утопают в смеющейся над тобою роскоши! Если тебе и бросят равнодушною рукой корку хлеба, как горьки должны быть те слезы, которыми ты ее размачиваешь! Твои собственные слезы отравляют тебя. И ты права, когда вступаешь в союз с пороком и преступлением. В сердце отверженных преступников часто больше человечности, чем у этих холодных, безупречных граждан государства добродетели, в чьих бледных сердцах угасла сила зла, как и сила добра. И даже порок твой не всегда порок. Я видел женщин, на щеках у которых красною краской намалеван был порок, а в сердцах обитала небесная чистота. Я видел женщин... хотелось бы мне опять увидеть их!

III

АНГЛИЧАНЕ

Под сводами Лондонской биржи каждая нация имеет указанное ей место, и на высоко прибитых дощечках можно прочесть названия: русские, испанцы, шведы, немцы; мальтийцы, евреи, ганзейцы, турки и т. д. Прежде каждый купец стоял под дощечкою с обозначением своей нации. Теперь же вы стали бы напрасно искать его там — люди передвинулись: где стояли когда-то испанцы, теперь стоят голландцы, евреи уступили место ганзейцам; где ищешь турок, там находишь теперь русских; итальянцы стоят, где когда-то были французы; даже немцы продвинулись.

Как на Лондонской бирже, так и во всем остальном мире остались старые дощечки, но люди, стоявшие под ними, сдвинуты, и на их место пришли другие; новые

головы их очень мало подходят к старым надписям. Прежние стереотипные характеристики народов, с которыми мы встречаемся в ученых компендиумах и в пивных, не в силах уже помочь нами способны привести лишь к печальным недоразумениям. Как на наших глазах в течение последних столетий менялся постепенно характер наших западных соседей, так и по ту сторону Ламанша можно отметить, со времени прекращения континентальной блокады, такое же изменение. Неповоротливые, молчаливые англичане толпами совершают паломничества во Францию, чтобы научиться там разговаривать и двигаться, и по их возвращении с изумлением замечаешь, что язык у них развязался, что у них не обе руки левые, как прежде, и что они не довольствуются уже бифштексом и плумпуддингом. Я сам видел, как такой англичанин потребовал в ресторане «Тэвисток-Тэверн» сахару к цветной капусте — ересь с точки зрения строгой английской кухни; лакей чуть не упал в обморок, ибо со времени римского нашествия цветную капусту едят в Англии не иначе, как отваренною в воде и без сладких приправ. Это был тот самый англичанин, который, несмотря на то, что мы никогда раньше не встречались, подсел ко мне и столь предупредительно вступил со мною в беседу по-французски, что я не мог удержаться и высказал ему всю свою радость по поводу того, что вижу наконец англичанина, не сторонящегося чужеземца; на это он, не улыбувшись, столь же откровенно возразил, что говорит со мною затем, чтобы поупражняться во французском языке.

Поразительно, как французы с каждым днем становятся вдумчивее, глубже и серьезнее, в той же мере, в какой англичане стремятся усвоить легкий, поверхностный и веселый характер — как в жизни, так и в литературе. Лондонские печатные станки всецело заняты фешенебельными произведениями, романами, взятыми из блестящей сферы high-life'a * или отражающими

* ВЫСШИЙ СВЕТ

ее, как, например, «Almacks», «Vivian Grey», «Trémaine», «The Guards», «Flirtation». Последний роман является лучшим образцом всего этого направления, этого кокетничанья чужеземными манерами и оборотами речи, этого неуклюжего изящества, тяжеловесной легкости, кислосладкости, прикрашенной грубости, говоря короче — всего невеселого веселья тех деревянных мотыльков, которые порхают в салонах западной части Лондона.

Напротив того, каковы теперь темы французской печати, истинной представительницы духа и воли французов? Подобно тому как их великий император использовал досуг своего плена для того, чтобы диктовать рассказы о своей жизни, открыть нам сокровеннейшие замыслы своего божественного ума и превратить скалу Св. Елены в кафедру истории, с высоты которой вершится суд над современниками и дается поучение потомству, так и сами французы пытаются как можно достохвальнее использовать дни своих неудач, эпоху своей политической бездеятельности; они тоже пишут историю своих подвигов; руки, так долго владевшие мечом, вновь наводят ужас на врагов — они берутся за перо; вся нация как будто занялась изданием своих мемуаров, и если они последуют моему совету, то выпустят еще совершенно особое издание *ad usum delphini*, с изящно раскрашенными картинами взятия Бастилии, осады Тюильри и т. п.

Если я отметил выше, что англичане в наше время пытаются стать легкомысленными и фривольными и непременно напялить на себя обезьянью шкуру, сбрасываемую теперь французами, то я должен оговорить дополнительно, что это стремление исходит больше от знати и дворянства, от высшего света, чем от среднего сословия. Напротив того, промышленная часть нации, в особенности коммерсанты из фабричных городов и почти все шотландцы, носят внешний отпечаток пиятизма, я бы сказал даже — пуританский отпечаток, так что между этою благочестивою частью нации и светски

настроенною знатью существует такая же противоположность, как между кавалерами и круглоголовыми, так правдиво изображенными в романах Вальтер Скотта. Было бы слишком большой честью для шотландского барда предполагать, будто он при помощи своего гения исторически воссоздал внешний облик и внутренний образ мыслей обеих партий, и будто признак его высокого поэтического дарования в том, что он, без предубеждения, как бог, творящий суд, обоим воздал должное и к обоим относится с одинаковой любовью. Стоит только бросить взгляд на молитвенные дома Ливерпуля или Манчестера, а потом на фешенебельные салоны западного Лондона, и станет ясно, что Вальтер Скотт описывал только свою собственную эпоху и облек в старинные костюмы своих современников. А если обратить внимание на то, что он, с одной стороны, будучи шотландцем, впитал в себя, в силу воспитания и национального воздействия, пуританский образ мыслей и, с другой стороны, как тори, мнящий себя к тому же отпрыском Стюартов, должен был быть всею душой настроен монархически и аристократически, а потому мысли его и чувства охватывают оба направления с одинаковою любовью и как бы уравниваются противоположностью этих направлений, то легко объяснить его беспристрастие в изображении аристократов и демократов времени Кромвеля, беспристрастие, повлекшее за собою для нас ту ошибку, будто мы должны ждать от него в истории Наполеона столь же верной *fair play* * в изображении героев французской революции.

Тот, кто внимательно изучает Англию, в наше время ежедневно найдет случай наблюдать оба эти течения — фривольное и пуританское, в их отвратительнейшем расцвете, а также, само собою разумеется, и в их борьбе. Такой случай представлен был в особенности громким процессом г-на Уэкфильда, веселого кавалера, похитившего как бы экспромтом дочь богача г-на Турнера,

* честная игра

ливерпульского купца, и повенчавшегося с нею в Гретна-Грине, где живет некий кузнец, кующий самые крепкие цепи. Вся ханжеская родня, все племя избранников божьих подняли вопль по поводу такого беззакония; в молитвенных домах Ливерпуля воссылались к небу мольбы о возмездии Уэкфильду и его братским сообщникам, которых бездна должна была поглотить так же, как шайку Кораха, Дафана и Абирама, для большей уверенности в священной мести, на головы осквернителей святейшего таинства в судебных залах Лондона призван был гнев королевской скамьи, великого канцлера и даже верхней палаты, а в фешенебельных салонах в то же время весьма снисходительно шутили и смеялись по поводу отважного похитителя девиц. Забавнее всего проявилась противоположность обоих мирозерпаний, когда я сидел однажды в Большой опере возле двух толстых дам из Манчестера, впервые в жизни посетивших этот сборный пункт высшего света и не имевших слов, чтобы достаточно сильно выразить все свое сердечное омерзение, когда начался балет, и прекрасные танцовщицы в коротких своих юбочках стали принимать изящно-чувственные позы, вытягивая свои милые, длинные, порочные ноги и бросаясь внезапно и вакхически в объятия партнеров по танцу, подпрыгивающих им навстречу; жар музыки, первобытные одеяния в виде трико телесного цвета, естественные прыжки, все слилось воедино, чтобы вызвать холодный пот у бедных дам; бюсты их побагровели от негодования, они беспрерывно стонали: «Shocking! for shame! for shame!» * — и до такой степени были парализованы ужасом, что не могли отнять от глаз зрительных трубок и до последнего мгновения, пока не опустился занавес, оставались в том же положении.

Несмотря на такую противоположность духовного и жизненного укладов, в английском народе наблюдается некоторое единство настроения, заключающееся в том

* «Неприлично! Стыдно! Стыдно!»

именно, что он чувствует себя одним народом; новейшие круглоголовые и кавалеры могут взаимно ненавидеть и презирать друг друга и все-таки не перестают быть англичанами; в качестве таковых они объединены и связаны, как растения, расцветшие на одной почве и чудесно с нею сросшиеся. Отсюда та скрытая согласованность всей жизни и деятельности Англии — страны, которая на первый взгляд кажется нам ареною сутолоки и противоречий. Непомерное богатство и нищета, правоверие и неверие, свобода и рабство, жестокость и милосердие, честность и плутовство — все эти противоположности в их до безумия крайних формах, а над всем этим серое туманное небо, гудящие кругом машины, цифры, газовые рожки, дымовые трубы, газеты, кружки с портером, сжатые рты — все это до такой степени связано, что нельзя представить себе одно без другого; и то, что в отдельности способно вызвать удивление или смех, представляется в целом обыкновенным и не смешным.

Но, думается мне, так будет с нами всюду, даже в тех странах, о которых мы имеем еще более странные представления и от которых ждем еще более богатого материала для смеха и изумления. Наша страсть к путешествиям, наше стремление видеть чужие страны, в особенности в детские годы, вытекают вообще из ошибочного ожидания необыкновенных контрастов, из той духовной жажды маскарада, которая побуждает нас представлять своих соотечественников и их взгляды в обстановке чужих стран и рядить таким образом наших лучших знакомых в чужие костюмы и нравы. Стоит нам, например, подумать о готтентотах, и мы представляем себе дам из своего родного города, вымазанных в черное, с основательно развитою заднею частью, а наши молодые таланты взбираются, в нашем воображении, на пальмовые деревья, как разбойники; стоит нам подумать об обитателях полярных стран, мы и там видим знакомые лица: наша тетя катит в санках в собачьей запряжке по ледяной дороге, тощий господин

проректор лежит на медвежьей шкуре и спокойно тянет свою утреннюю порцию рыбьего жира, госпожа акцизная надзирательница, госпожа инспекторша и госпожа ветеринарная советница сидят на корточках и жуют сальные свечи и т. д. Но, посетив эти страны в действительности, мы вскоре замечаем, что люди там точно срослись с обычаями и костюмами, что лица находятся в соответствии с мыслями, а одежда — с потребностями, что даже растения, животные и вся страна составляют одно гармоническое целое.

IV

THE LIFE OF NAPOLEON BUONAPARTE BY WALTER SCOTT *

Бедный Вальтер Скотт! Будь ты богат, ты не написал бы этой книги и не стал бы бедным Вальтер Скоттом! Но члены конкурсного управления по делам фирмы Констэбль собрались, считали, считали, и после долгих вычитаний и делений покачали только головами — и бедный Вальтер Скотт остался только при лаврах и долгах. Тут произошло нечто чрезвычайное: певец великих подвигов решил и сам испытать себя в героизме, он решился на *sessio bonorum* лавры «великого незнакомца» подверглись оценке на предмет погашения великих и известных долгов, и таким образом возникла, с голодной лихорадочностью, с воодушевлением банкротства, «Жизнь Наполеона», книга, которая, отвечая потребности любопытной публики вообще и английского министерства в особенности, могла рассчитывать на хорошую оплату.

Хвала ему, доброму гражданину! Превозносите его вы, филистеры всего земного шара! Превозносите его, ты, торгашеская, милая добродетель, готовая всем по-

* Жизнь Наполеона Бонапарта, сочинение Вальтера Скотта.

жертвовать, лишь бы уплатить в срок по векселю, только не ждите от меня, чтобы я стал превозносить его.

Удивительно! Мертвый император и в могиле грозит гибелью бриттам, и вот, благодаря ему, величайший поэт Британии лишился своих лавров.

Он был величайшим поэтом Британии, что бы ни говорили и ни возражали. Положим, критики его романов, пытаясь умалить его величие, упрекали его в том, что он чрезмерно растекается, слишком входит в подробности, что он создает свои великие образы лишь путем сопоставления множества мелких черт, что ему нужно бесконечное число подробностей, чтобы достигнуть сильных эффектов, но, говоря правду, он был в данном случае подобен миллионеру, все состояние которого состоит в разменной монете и который принужден всякий раз, как ему предстоит выплатить большую сумму, подвезти три или четыре воза с мешками пфеннигов и грошей; однако он совершенно в праве возразить тем, кто вздумает попрекнуть его неудобством, связанным с тягостным перетаскиванием и пересчитыванием: как бы то ни было, он все же платит требуемую сумму, и по существу столь же платежеспособен, столь же богат, как и другой, располагающий одними золотыми слитками; мало того, за ним преимущество более мелкого размена, так как тот, другой, окажется беспомощным на большом овощном рынке со своими крупными золотыми слитками, не имеющими там обращения, в то время как всякая торговка обеими руками ухватится за хорошие пфенниги и гроши. Теперь настал конец этому народному богатству британского писателя, и он, чья монета обладала такою ходкостью, что принималась с одинаковым интересом герцогинею и портнихой, теперь стал бедным Вальтер Скоттом. Судьба его напоминает сказания о горных эльфах, которые, лукаво благодетельствуя бедных людей, дарят им деньги, сохраняющие весь свой блеск и свою ценность до тех пор, пока их расходуют на хорошие цели, но обращающиеся в их руках в негодную пыль, лишь

только ими начнут злоупотреблять в недостойных целях. Мешок за мешком раскрывали мы из новой партии Вальтер Скотта, и что же? вместо блестящих веселых грошиков — сплошная пыль и пыль. Он наказан горными эльфами Парнаса, музами, которые, подобно всем благородным женщинам, — страстные наполеонистки и поэтому вдвойне возмущены злоупотреблением в расходовании доверенного ему духовного богатства.

Достоинство и тенденция вальтер-скоттовской книги оценены периодическою печатью всей Европы. Не только возмущенные французы, но и ошеломленные соотечественники автора вынесли обвинительный приговор. Немцам пришлось поддержать этот хор мирового недовольства; с еле сдерживаемой страстностью высказался штутгартский «Литературный вестник»; с холодным спокойствием выразился берлинский «Ежегодник научной критики», и рецензент, которому это холодное спокойствие далось тем легче, что герой книги мало ему дорог, характеризует ее следующими меткими строками:

«В повести этой не найти ни содержания, ни красок, ни плана, ни жизненности. Теряясь в поверхностной, неглубокой запутанности, не оттеняя своеобразного, неуверенно, неровно и вяло тянется могучая тема; ни одно происшествие не очерчивается с присущее ему определенностью, нигде отчетливо не намечаются выдающиеся моменты, ни одно событие не уяснено и не оправдано необходимостью, связь во всем только внешняя, смысл и значение едва чувствуются. В таком изображении гаснет всякий свет истории, и сама она становится не чудесною, но пошлою сказкою. Соображения и замечания, нередко нарушающие ход повествования, того же свойства. Наши читающие круги давно уже переросли эту жалкую философскую стряпню. Скучная примесь цепляющейся за мелочи морали нигде не достигает цели...»

Все это и еще худшее, что высказывает проницательный берлинский рецензент, Фарнгаген фон Энзе, я бы

охотно простил Вальтер Скотту. Все мы — люди, и лучший из нас может иной раз написать скверную книгу. В таком случае скажут, что она ниже всякой критики, и — делу конец. Удивительно, правда, что в этом новом произведении мы не находим даже прекрасного стиля Вальтер Скотта. Бесцветная, будничная речь безрезультатно пересыпана там и сям красными, синими и зелеными словами; тщетно прикрыта блестящими лоскутами поэтических цитат нагота прозы, тщетно разграблено все содержимое Ноева ковчега, чтобы добыть звериные сравнения, тщетно даже приводится слово божие, чтобы освятить глупые мысли. Еще удивительнее, что Вальтер Скотту не удалось даже проявить врожденного таланта в обрисовке образов и очертить Наполеона с внешней стороны. Вальтер Скотту ничего не дали прекрасные картины, изображающие императора в кругу его генералов и государственных людей, в то время как на каждого, непредубежденного зрителя должны произвести глубокое впечатление трагическое спокойствие и античная соразмерность этих черт лица, столь жутко и возвышенно непохожих на современные, беспокойные, живописно-будничные лица, и вещающих о чем-то с высоты сошедшем, божественном. Но если шотландский поэт оказался не в силах постичь облик императора, то еще меньше постиг он его характер, и я охотно прощаю ему поношение бога, которого он не познал. Также принужден я простить ему то, что своего Веллингтона он считает богом, и при апофеозе его впадает в такое благоговение, что не знает, с кем его сравнить, — он, столь сильный в изображении скотов.

Но если я снисходителен к Вальтер Скотту и прощаю ему бессодержательность, ошибки, кощунства и глупости его книги, прощаю ему даже скуку, мне доставленную, то я никогда не могу простить ему ее тенденциозность. Эта последняя заключается не меньше, как в оправдании английского министерства по поводу преступления, совершенного на острове Св. Елены.

«В этой тяжбе между английским министерством и общественным мнением, — как выражается берлинский рецензент, — Вальтер Скотт является адвокатом»; он соединяет адвокатские штучки со своим поэтическим талантом, чтобы исказить обстоятельства дела и историю, и клиенты его, являющиеся вместе с тем его патронами, должны бы, помимо гонорара, сунуть ему в руку еще «на-чай».

Англичане только убили императора, а Вальтер Скотт его продал. Это чисто шотландская штучка, истинно шотландская национальная штучка, и по ней видно, что шотландская алчность остается все тою же старою, грязною алчностью и не особенно изменилась со времени Нэзби, когда шотландцы продали английским палачам за сумму в четыреста тысяч фунтов стерлингов своего собственного короля, доверившегося их защите. Этот король — тот самый Карл Стюарт, которого так великолепно воспевают теперь каледонские барды, — англичанин убивает, а шотландец продает и воспевает.

Английское министерство, в указанных выше целях, открыло своему адвокату архив Foreign Office*, и он в девятом томе своего произведения добросовестно использовал документы, могущие пролить благоприятный свет на его партию и бросить невыгодную тень на ее противников. Вот почему этот девятый том, при всей своей эстетической ничтожности, в отношении которой он ничуть не уступает предыдущим томам, представляет все-таки известный интерес; ждешь важных документов, а так как их не находится, то это доказывает, что и не было таких документов, которые говорили бы в пользу английских министров, — и это отрицательное содержание книги, конечно, является важным.

Все содержимое английского архива ограничивается несколькими достоверными сообщениями благородного сэра Гудсона Лоу и его мирмидонян и несколькими заявлениями генерала Гурго, который, если эти заявле-

* Министерство иностранных дел

ния действительно исходят от него, заслуживает не больше доверия, как бесстыдный предатель своего царственного повелителя и благодетеля. Я не стану подвергать обследованию самый факт заявления; кажется даже, что это правда, ибо то же подтверждает барон Штюрмер, один из трех статистов великой трагедии; но я не вижу, что доказывает этот факт, кроме того, в лучшем случае, что сэр Гудсон Лоу не был единственным негодяем на Святой Елене. При помощи таких средств, путем жалких намеков обрабатывает Вальтер Скотт историю наполеоновского плена и старается доказать нам, что экс-император — так называет его экс-писатель — не мог сделать ничего разумнее, как отдался англичанам, хотя и должен был знать заранее о предстоящей ссылке на Святую Елену, что с ним обращались обворожительно, предоставляя ему вволю пить и есть, и что он, свежий и здоровый, как добрый христианин, умер наконец от рака желудка.

Вальтер Скотт, приписывая таким образом императору осведомленность насчет того, как далеко зайдет благородство англичан, именно — до Святой Елены, освобождает его от обычного упрека, будто бы трагическое величие его несчастья столь сильно захватило его, что он начал видеть в цивилизованных англичанах персидских варваров, а в сент-джемской бифштексной кухне — очаг великого царя, — и совершил героическую глупость. Заодно Вальтер Скотт делает из императора величайшего писателя из живших когда-либо в мире, инсинуируя с полной серьезностью, будто эти мемуарные сочинения, сообщающие о его страданиях на Святой Елене, продиктованы им самим.

Не могу не заметить здесь, что эта часть вальтерскоттовской книги, как и вообще те сочинения, о которых он пишет, в особенности же мемуары О'Мира и рассказ капитана Мейтленда напоминают мне иной раз потешнейшую в мире историю, и самое болезненное душевное негодование души моей внезапно готово перейти в здоровый смех. Эта история не что иное, как «Приклю-

чения Лэмюэля Гулливера», книга, которая в детстве меня так много смешила и где презабавно рассказано, как маленькие лилипуты не знают, что делать с великаном-пленником, как они тысячами ползают вокруг него и привязывают его бесчисленными тоненькими волосками, как они с большими усилиями сооружают для него большой дом, как жалуются, что должны ежедневно доставлять ему огромное количество продовольствия, как чернят его в государственном совете и непрерывно скорбят, что он слишком дорого обходится стране, как они, несмотря на то, что охотно убили бы его, боятся его даже мертвого, так как труп его может распространить заразу, и как наконец они решаются на самое достославное великодушие — оставляют ему титул и собираются только выколоть ему глаза, и пр. Поистине, всюду, где великий человек попадает в среду ничтожных, появляются лилипуты, неустанно, самым мелочным образом его мучащие и, в свою очередь, переносящие от него достаточно мук и горя; но если бы декан Свифт написал свою книгу в наше время, то в ее гладко отшлифованном зеркале увидели бы только историю наполеоновского плена и узнали бы, вплоть до цвета одежды и лица, тех карликов, которые его мучили.

Только конец сказки Святой Елены другой: император умирает от рака желудка, и Вальтер Скотт уверяет нас, что это единственная причина его смерти. В этом я тоже не стану ему противоречить. Нет ничего невозможного. Возможно, что человек, привязанный к дыбе, умрет вдруг совершенно естественным образом от удара. Но злые люди скажут: палачи его замучили. Злые люди вообще порешили на дело смотреть иначе, чем добрый Вальтер Скотт. Если этот добрый человек, вообще столь твердый в священном писании и охотно приводящий тексты из Евангелия, ничего другого не видит в том возмущении стихий, в том урагане, который разразился в час смерти Наполеона, как только явление, сопровождавшее также и смерть Кромвеля, то другие люди все-таки думают об этом по-своему. Они смотрят на смерть

Наполеона как на возмутительное злодеяние; прорвавшееся чувство скорби переходит у них в преклонение, напрасно Вальтер Скотт берет на себя роль «адвоката дьявола» — имя мертвого императора святится всеми благородными сердцами; все благородные сердца европейского отечества презирают ничтожных его палачей и великого барда, допевшегося до того, что он стал их сообщником; музы вдохновят лучших певцов на прославление своего любимца, и если люди когда-нибудь онемеют, то камни заговорят, и скала мученичества, скала Святой Елены грозно выступит из волн морских, чтобы поведать тысячелетиям его чудовищную историю.

V

ОЛЬД БЭЙЛИ

Уже самое имя Ольд Бэйли наполняет душу ужасом. Тотчас представляешь себе большое, черное, угрюмое здание, дворец нищеты и преступления. Левое крыло, образующее собственно Ньюгэт, служит уголовной тюрьмой, и тут видна только высокая стена, сложенная из почерневших от времени плит, и в ней два углубления с такими же почерневшими аллегорическими фигурами; если не ошибаюсь, одна из них представляет Справедливость, при чем, как водится, рука с весами обломлена, и осталась только слепая женщина с мечом. Приблизительно посредине здания находится алтарь этой богини, именно: окно, в котором ставят виселицу, и наконец справа — помещение уголовного суда, где происходят четыре раза в год сессии. Тут же ворота, на которых, как на вратах дантовского ада, должна бы быть надпись:

Per me si va nella città dolente,
Per me si va nell'eterno dolore,
Per me si va tra la perduta gente*.

* Вступают мною в град скорбей,
Вступают мною к муке вековой,
Вступают мной к погибшим поколениям.

Через эти ворота попадаешь в небольшой двор, где собираются отбросы черни, чтобы взглянуть, как ведут преступников; здесь же стоят друзья и враги их, родственники, дети-попрошайки, слабоумные, в особенности старухи, обсуждающие итоги судебного дня, может быть, более толково, чем судьи и присяжные, при всей их краткосрочной торжественности и скучной юриспруденции. Видел же я снаружи, перед дверьми суда, старуху, защищавшую в кругу своих кумушек черного Вильяма лучше, чем там внутри, в зале, делал это его многоученный адвокат, и когда она своим порванным передником смахнула последнюю слезу с покрасневших глаз, казалось, что вся вина Вильяма уже искуплена.

В самом зале суда, не особенно просторном, внизу, перед так называемом баром (решеткою) мало места для публики; зато наверху, с обеих сторон, устроены очень поместительные галереи с высокими скамьями, где зрители теснятся голова к голове.

Зайдя в Ольд Бэйли, и я нашел себе место на такой галлее — старая привратница отворила мне ее за мзду в один шиллинг. Я вошел в тот миг, когда присяжные поднялись с мест, чтобы решить, виновен черный Вильям в преступлении или не виновен.

И здесь, как в других лондонских судах, судьи заседают в темносиних тогах, со светлофиолетовою подкладкою, а на головах у них белые напудренные парики, составляющие часто такой забавный контраст с черными бровями и черными бакенбардами. Они сидят за длинным зеленым столом на высоких стульях, в верхнем конце зала, где золотыми буквами выбит на стене текст из Библии, предостерегающий от несправедного суда. С обеих сторон скамьи для присяжных и места, где стоят истцы и свидетели. Прямо напротив судей отведено место для подсудимых; они не сидят на скамеечках для преступников, как в гласных судах Франции и Рейнской области, но стоят, вытянувшись во весь рост, за странною перегородкою, вырезанною в верхней своей

части наподобие узкой арки. Там, будто бы, устроено особенное зеркало, при помощи которого судья может пристально следить за выражением лица подсудимого. Кроме того, перед ними разложены какие-то зеленые травы для укрепления нервов — это полезно при случае, когда дело идет о жизни и смерти. И на столе у судей увидел я такие же зеленые травы и даже одну розу. Не знаю почему, но вид этой розы глубоко взволновал меня. Красная цветущая роза, цветок любви и весны, лежала на ужасном судейском столе Ольд Бэйли. В зале было так душно и тяжело. Все имело такой жутко-угрюмый, такой безумно-серьезный вид. Похоже было, что у людей по тупым лицам ползают серые пауки. Внятно дребезжали железные чаши весов над головою несчастного черного Вильяма.

И на галлерее составилсa суд присяжных. Толстая дама, на красном вздутом лице у которой, как светлячки, блестели маленькие глазки, заметила, что черный Вильям очень красивый паренъ. Но ее соседка, нежная пискливая душа в оболочке тела из плохой почтовой бумаги, утверждала, что у него чересчур длинные и всклокоченные волосы, и глаза блестят, как у господина Кина в «Отелло», — «между тем, как, — продолжала она, — Томсон совсем другой человек, блондин и гладко причесан по моде, и очень дельный человек, немножко играет на флейте, немножко рисует, немножко говорит по-французски». — «И ворует немножко», — прибавила толстая дама. — «Э, что значит ворует! — возразила тощая соседка, — ведь это же не такое воровство, как подлог; ведь вора, хотя бы он только украл овцу, отправляют в Ботани-Бей, а злодея, подделавшего чужую подпись, вешают без сожаления и пощады». — «Без сожаления и пощады! — вздохнул рядом со мной худощавый человек в потертом черном сюртуке. — Вешать! Никто не имеет права отнимать у другого жизнь; менее всего подобает христианам выносить смертные приговоры — им следует помнить, что тот, кто дал им религию, наш господь и спаситель, был

безвинно осужден и казнен!» — «Э, что там говорить! — воскликнула опять тощая дама и улыбнулась своими тонкими губами. — Если бы не вешали таких подделывателей, ни один богатый человек не был бы спокоен за свое состояние, например, толстый еврей из Ломбард-стрита, Сент Суинсинс Лэн, или наш друг господин Скотт, которого подпись подделали так искусно. А ведь господин Скотт с таким трудом сколотил состояние, и говорят даже, будто он разбогател, принимая на себя за деньги чужие болезни; дети и теперь бегают за ним по улицам и кричат: «Я дам тебе шесть пенсов, если ты снимешь с меня зубную боль, мы дадим тебе шиллинг, если ты согласишься взять на себя горб Готтфрида». — «Забавно, — перебила ее толстая дама, — забавно ведь, что черный Вильям и Томсон были прежде лучшими приятелями и жили, ели и пили вместе; а теперь Эдуард Томсон обвиняет своего старого друга в подлоге! Но почему здесь нет сестры Томсона? Ведь, бывало, она всюду бегала за своим ненаглядным Вильямом». Молодая красивая женщина, на нежном лице которой темнела грусть, как черный покров над цветущим розовым кустом, начала шептать только, что ее подругу, красавицу Мэри, жестоко побил брат, и она, еле живая, лежит в постели. «Не называйте ее только красавицей Мэри, — недовольно проворчала толстая дама, — слишком уж, слишком она худощава, чтобы называть ее красавицей, а если ее Вильяма повесят...»

В эту минуту появились присяжные и объявили, что подсудимый виновен в подлоге. Когда вслед затем черного Вильяма вывели из зала, он бросил долгий взгляд на Эдуарда Томсона.

По одной восточной легенде, сатана был когда-то ангелом и пребывал на небесах с другими ангелами до тех пор, пока не стал склонять их к отпадению и не был поэтому низвергнут божеством в вечный мрак преисподней. Но, падая с неба, он все еще смотрел вверх, на ангела, который обвинил его; чем глубже он падал, тем ужаснее, все ужаснее становился его взгляд.

И, должно быть, это был нехороший взгляд; ангел, который встретил этот взгляд, побледнел, и никогда уже краска не возвращалась на его щеки, с тех пор он зовется Ангелом смерти.

Бледен, как Ангел смерти; стоял Эдуард Томсон.

VI

НОВОЕ МИНИСТЕРСТВО

В Бэдламе прошлым летом я познакомился с философом, который, с таинственным видом, шопотом, поведал мне много важного и нового о происхождении зла. Подобно некоторым другим своим товарищам, он полагал, что тут надо стать на историческую точку зрения. Что касается меня, то я, также склоняясь к этому предположению, объяснял мировое зло и основу его тем обстоятельством, что господь бог сотворил слишком мало денег.

«Хорошо тебе говорить, — ответил философ, — у господа бога было пусто в кассе, когда он создал мир. Он принужден был занять денег у чорта, под залог вселенной. И вот, так как господь бог и по божеским и по человеческим законам остается еще должником чорта, то из чувства деликатности он не может ему препятствовать слоняться в мире и насаждать смуту и зло. Но чорт, с своей стороны, опять-таки очень заинтересован в том, чтобы мир не совсем погиб, так как в этом случае он лишится залога, поэтому он остерегается перехватывать через край, а господь бог, который тоже не глуп и хорошо понимает, что в корысти чорта заключается для него тайная гарантия, часто доходит до того, что передает ему господство над всем миром, то есть поручает чорту составить министерство. Тогда получается то, что само собою понятно. Самиэль берет начало над адским войнством, Вельзевул становится канцлером, Вицципуцци — государственным секретарем, старая

бабушка получает колонии, и т. д. Эти союзники начинают тогда хозяйничать по-своему, и так как несмотря на злую волю в глубине сердец они, ради собственной выгоды, вынуждены стремиться к мировому благу, то они вознаграждают себя за это принуждение тем, что для достижения благих целей постоянно применяют самые гнусные средства. В недавнее время они дошли до того, что господь в небесах не захотел более взирать на эти ужасы и поручил ангелу составить новое министерство. Этот собрал вокруг себя всех добрых духов. В мире снова стало радостно и тепло, разлился свет, и злые духи рассеялись. Но они не убрали своих когтей; втайне они действуют против всего доброго, отравляют новые целебные источники, злобно обрывают розовые бутоны новой весны, разрушают своими поправками дерево жизни; хаос и гибель грозят поглотить все, и господу богу в конце концов придется опять вручить власть над миром чорту, чтобы, по крайней мере, сохранить вселенную, хотя бы при помощи самых скверных средств. Видишь, каковы дурные последствия долгов».

Такое сообщение моего друга из Бэдлама объяснит, может быть, нынешнюю смену английского министерства. Друзья Каннинга должны пасть; их я считаю добрыми духами Англии, ибо их противники — ее злые демоны; теперь они, во главе с глупым чортом Веллингтоном, поднимают победный крик. Пусть не попрекают несчастного Джорджа, ему пришлось покориться обстоятельствам. Нельзя отрицать, что по смерти Каннинга виги не оказались в состоянии поддержать спокойствие в Англии, так как меры, принимавшиеся ими в этих целях, постоянно парализовались тори. Король, которому кажется самым важным сохранить общественное спокойствие, то есть безопасность своей короны, вынужден был вновь передать правление тори. И — увы! — они опять, как прежде, будут направлять все плоды народного труда в свои мешки. Они, эти хлебные ростовщики на престоле, вновь станут вздувать цены на

зерно. Джон Буль отощает с голоду, ради куска хлеба он сам закрепостит себя высоким господам, они впрягут его в плуг и станут стегать его, и он не посмеет даже ворчать — с одного боку грозит ему мечом Веллингтон, а с другого хлопает его Библией по голове архиепископ Кентерберийский — и в стране воцарится спокойствие.

Источник этого зла заключается в долге, the national debt *, или, как выражается Коббет, the King's debt **. Коббет совершенно справедливо отмечает, что в то время, как всем институтам присваивается имя короля, например, the King's army, the King's navy, the King's courts; the King's prison *** и пр., долг, выросший на почве этих институтов, никогда не называется the King's debt, и это единственный случай, когда нации делают честь назвать что-нибудь ее именем.

Долг — величайшее из зол. Правда, он содействует поддержанию английского государства, и даже худшие из его демонов не могут привести его к гибели; но он является также причиною того, что вся Англия стала большою ножной мельницей, на которой день и ночь работает народ, чтобы накормить своих кредиторов, что Англия, в сплошных заботах о платежах, старится и седеет и теряет юношескую жизнерадостность, что Англия, как бывает с людьми, сильно запутавшимися в долгах, подавлена тупейшим отчаянием и не знает, как выйти из положения, хотя в Лондоне, в Тоуэре, и хранятся девятьсот тысяч ружей и столько же сабель и штыков.

VII

ДОЛГ

Когда я был еще очень молод, три вещи особенно меня занимали при чтении газет. Прежде всего, под

* национальный долг

** королевский долг.

*** королевская армия, королевский флот, королевские суды, королевская тюрьма

заголовком «Великобритания» я тотчас же принимался искать, не внес ли Ричард Мартин в парламент новой петиции о более мягком обращении с несчастными лошадьми, собаками и ослами. Затем, под заголовком «Франкфурт» искал я, не ходатайствует ли опять доктор Шрейбер перед союзным сеймом об утверждении за покупателями права на великогерцогские гессенские поместья. А затем я сразу же набрасывался на Турцию и прочитывал длинную статью о Константинополе, чтобы только посмотреть, не удостоился ли опять какой-нибудь великий визирь шелкового шнура.

Это последнее всегда давало мне больше всего материала для размышлений. То, что деспот без всяких разговоров велит задушить своего слугу, я находил совершенно естественным. Видел же я однажды в зверинце, как царь зверей впал в столь величественный гнев, что, конечно, разорвал бы немало невинных зрителей, если бы не был скован прочной конституцией, изготовленной из железных прутьев. Но что меня всегда удивляет, так это то обстоятельство, что, по удушении прежнего г. великого визиря, всегда находились новые охотники на эту должность.

Теперь, когда я стал несколько старше и занимаюсь больше англичанами, чем их друзьями турками, такое же изумление охватывает меня, когда я вижу, как после ухода одного английского премьер-министра немедленно же его место стремится занять другой, и этот другой — неизменно человек, который мог бы прожить и без этой должности, и, кроме того (за исключением Веллингтона), отнюдь не глуп. Ведь все английские министры, занимающие этот пост дольше, чем полгода, кончают еще ужаснее, чем смерть от шелкового шнура. В особенности это стало замечаться после французской революции; заботы и горя прибавилось в Даунинг-стрите, и бремя дел стало почти невыносимым.

Когда-то дела в мире шли проще, и вдумчивые поэты сравнивали государство с кораблем, а министра — с его кормчим. Теперь все сложнее и запутаннее: обык-

новенный государственный корабль стал пароходом, и министру приходится не просто управлять рулем — нет, он, как ответственный механик, стоит среди сложных машин, боязливо следит за каждым стальным винтиком, за каждым колёсиком, чтобы не произошло заминки, день и ночь смотрит в пылающую топку и потеет от жары и страха — ибо ничтожное упущение с его стороны может вызвать взрыв большого котла и гибель корабля с экипажем. Капитан и пассажиры спокойно прогуливаются по палубе, спокойно развешается флаг на мачте, и, тот, кто видит, как спокойно плывет судно, не подозревает, какой опасный механизм и сколько заботы и страха скрыто в его брюхе.

Преждевременною смертью погибают они, бедные ответственные механики английского государственного корабля. Трогательна ранняя смерть великого Питта, еще трогательнее смерть еще более великого Фокса. Персиваль умер бы тоже от обычной министерской болезни, если бы удар кинжала не покончил с ним скорее. Эта же министерская болезнь довела лорда Касльри до такого отчаяния, что он перерезал себе горло в Норт-Крее, в Кентском графстве. Лорд Ливерпуль погиб таким же образом, смертью безумия. Мы видели, как Каннинг, богоравный Каннинг, отравленный высокоторийской клеветой, пал как изнемогающий под мировой ношею Атлант. Одного за другим хоронят их в Вестминстере, бедных министров, вынужденных день и ночь думать за английских королей, в то время как те, ни о чем не думая и толстая; доживают до глубочайшей старости.

Как называется, однако, та великая забота, которая день и ночь копошится в мозгу английских министров и убивает их? Она называется: *the debt* — долг.

Правда, долги, на ряду с любовью к отечеству, религиозностью, честью и т. д., принадлежат к преимуществам людей — у животных ведь нет долгов, — но вместе с тем они являются и особой мукой для человечества и, губя отдельных лиц, губят и целые

поколения; они, кажется, заменяют древний рок в национальных трагедиях нашего времени. Англии не уйти от этого рока; ее министры видят, как надвигается бедствие, и умирают с отчаянием бессилия.

Будь я королевским прусским главным землемером или членом архитектурного корпуса, я, как человек привычный, вычислил бы всю сумму английского долга в зильбергрошах и точно бы рассчитал, сколько раз можно покрыть ими длинную Фридрихштрассе или даже весь земной мир. Но я никогда не был силен в счете, и уж лучше предоставляю какому-нибудь англичанину роковую задачу — сосчитать его долг и определить размер вытекающих отсюда для министров бедствий. Для этой роли более всего подходит старик Коббет, и из последнего номера его «Регистра» я займшую нижеследующие разъяснения.

«Положение дел таково:

1. Это правительство, или, скорее, аристократия и церковь, или же, если хотите, это правительство заняло крупную сумму денег, на которую оно купило много побед как сухопутных, так и морских, множество побед всякого сорта и всякого калибра.

2. В то же время я должен отметить сначала, по какому поводу и с какими целями куплены эти победы: поводом (*occasion*) была французская революция, уничтожившая все *привилегии аристократии и десятинную подать духовенству*; а целью было предупредить в Англии такую парламентскую реформу, которая, вероятно, повлекла бы за собой подобное же уничтожение всех привилегий аристократии и десятинных податей духовенству.

3. Итак, чтобы предупредить возможность подражания со стороны англичан примеру французов, необходимо было напасть на французов, помешать их успехам, поставить под угрозу только что добытую ими свободу, вызвать их на отчаянные шаги и наконец представить революцию как такой ужас, такое пугало для народов, что под словом свобода стали бы понимать

нагромождение всяческих гнусностей, ужасов и крови, а английский народ, охваченный страхом, доведен был бы до того, что совсем влюбился бы в то злодейское деспотическое правление, которое когда-то процветало во Франции и к которому всегда с отвращением относился всякий англичанин, со времени Альфреда Великого и вплоть до Георга Третьего.

4. Для выполнения указанных предложений требовалась помощь различных других наций; эти нации субсидированы были (subsidized) английскими деньгами; французские эмигранты содержались на английские деньги, короче, в течение двадцати двух лет велась война с целью обуздать народ, восставший против *привилегий аристократии и десятинной подати духовенству*.

5. Наше правительство одержало, таким образом, «бесчисленные победы» над французами, которые, по видимому, неизменно терпели поражения, но эти наши бесчисленные победы были *куплены*, то есть добыты наемниками, нанятыми для этой цели за деньги, и мы одновременно содержали целые толпы французов, голландцев, швейцарцев, итальянцев, русских, австрийцев, баварцев, гессенцев, ганноверцев, пруссаков, испанцев, португальцев, неаполитанцев, мальтийцев и бог знает сколько еще других народов.

6. Путем такого найма чужих сил и с помощью нашего собственного флота и сухопутных войск мы и *купили* столько побед над французами, которые, бедняги, не располагали таким количеством денег, чтобы действовать подобно нам; в конце концов мы взяли верх над революцией, восстановили до известной степени их аристократию, но никакими силами не могли восстановить десятинной подати духовенству.

7. После того как мы благополучно выполнили эту задачу и устранили возможность всякой реформы парламента в Англии, наше правительство подняло неистовый победный рев, при чем немало надрывало свои легкие, встретив посильную поддержку со стороны

всякой твари в стране, так или иначе живущей на счет налогов.

8. Почти два года длилось безудержное ликование этой счастливой в то время нации; в ознаменование победы наперерыв устраивали торжественные праздники, народные игры, триумфальные арки, потешные состязания и тому подобные увеселения, стоившие более четверти миллиона фунтов стерлингов, и палата общин единогласно ассигновала огромную сумму (кажется, три миллиона фунтов стерлингов) на триумфальные арки, обелиски и прочие памятники, в целях увековечения *славных военных событий*.

9. С того времени мы имели счастье непрерывно жить под властью тех особ, которые руководили нашими делами в указанной славной войне.

10. С того времени непрерывно мы жили, в глубоком мире со всею вселенною; можно полагать, что и в настоящее время мир не нарушается, если не считать нашей пустячной схватки с турками, и потому, казалось бы, нет на свете причины, которая помешала бы нам теперь быть счастливыми: в стране мир, земля наша приносит обильные плоды, и, как утверждают мудрецы и законодатели нашего времени, мы самая просвещенная нация на земле. Действительно, у нас всюду школы, чтобы обучать подрастающее население, у нас не только по одному ректору, викарию или попечителю в каждом округе королевства, но в каждом из этих церковных округов у нас, может быть, еще по шести преподавателей закона божия, при чем каждый совсем иного сорта, чем его четверо коллег, так что страна наша вполне обеспечена всякого рода учением; никто в этой счастливой стране не обречен жить в невежестве, и мы поэтому тем более изумляемся, когда человек, предназначенный на должность премьер-министра в этой счастливой стране, смотрит на свой пост как на трудное и тяжелое бремя.

11. Ах, у нас единственное несчастье, и это поистине несчастье: мы купили несколько побед, они были ве-

ликолепны, это была выгодная сделка — они стоили втрое, вчетверо больше, чем мы за них дали, — как говорит обычно миссис Туизл своему мужу, возвращаясь домой с рынка, — был большой спрос на победы, большие требования, короче, мы не могли сделать ничего разумнее, чем столь дешево добыть себе такую огромную порцию славы.

12. Но, признаюсь с огорчением в душе, мы, подобно некоторым другим людям, *заняли* деньги, чтобы купить те победы, в которых тогда нуждались и от которых теперь никак не можем освободиться, так же, как не может освободиться от жены муж, имевший когда-то счастье взвалить на себя сладкое бремя.

13. Потому-то и выходит так, что каждый министр, принимающийся за наши дела, должен заботиться также и об оплате наших побед, за которые, собственно, не уплачено еще ни одного пенса.

14. Ему, конечно, не приходится заботиться о том, чтобы уплатить сразу все деньги, занятые нами на покупку побед, и капитал и проценты; но о регулярной выплате *процентов* он должен, к сожалению, заботиться совершенно определенно, а эти проценты вместе с содержанием армии и другими расходами, вызванными нашими победами, составляют такую значительную сумму, что сильные нервы нужно иметь человеку, берущему на себя такое дельце — заботу о выплате этих сумм.

15. Прежде, пока мы еще не задались целью накупить побед и щедро обеспечить себя славою, на нас уже лежал долг больше, чем *в двести миллионов*, в то время как весь расход на бедных в Англии и Уэльсе не превышал *двух миллионов* в год, и мы вовсе не знали того бремени, которое, под именем *dead weight** взвалило на нас и вытекает всецело из нашей жажды славы.

16. Кроме этих денег, занятых нами у кредиторов, которые дали их добровольно, правительство наше в

* буквально — мертвый груз

жажде *побед* сделало крупный косвенный заем у *бедных*, то есть увеличило обыкновенные налоги до такого размера, что бедные больше чем когда-нибудь были угнетены, а число бедных и размер расхода на них поразительно повысились.

17. Расход на бедных повысился с ежегодных *двух миллионов до восьми миллионов*; у бедных в руках как бы закладная, ипотека на страну, и получается, таким образом, новый долг в *шесть миллионов*, который следует прибавить к другим долгам, вызванным нашей страстью к славе и покупкой *наших побед*.

18. The dead weight состоит из пожизненных рент, которые мы, под названием пенсий, уплачиваем множеству мужчин, женщин и детей в качестве вознаграждения за услуги, оказанные, или будто бы оказанные этими мужчинами, при одержании *наших побед*.

19. Сумма долга, образовавшегося при этом правительстве ради достижения побед, определяется приблизительно следующими цифрами:

	Фунты стерлингов
Прибавилось к национальному долгу	800 000 000
Прибавилось к долгу бедным	150 000 000
Dead weight, как капитализированный долг . .	175 000 000
	<hr/>
	фунт. стерл. 1 125 000 000

то есть *один миллиард сто двадцать пять миллионов* составляют тот капитал, на который, считая по 5%, уплачивается пятьдесят шесть миллионов в год. Да, таков приблизительно нынешний долг; только долг бедным не выводится в счетах, представляемых парламенту, так как страна непосредственно уплачивает его в различных церковных приходах. Поэтому, если вычесть эти шесть миллионов из пятидесяти шести, то выйдет, что все остальное приходится на долю кредиторов государства и части населения.

20. Между тем, деньги для бедных — такой же *долг*, как и долг кредиторам государства, очевидно проистек-

ший из того же источника. Ужасающее бремя налогов подавляет бедных; правда, оно подавляет и всякого другого, но все кроме бедных более или менее сумели стряхнуть со своих плеч это бремя, и оно упало наконец всей своей тяжестью на бедных; они лишились своих бочек вина, медных котлов, оловянных тарелок, стенных часов, постелей, всего, вплоть до инструментов, лишились своих платьев и должны были одеться в лохмотья, лишились мяса со своих костей... Дальше нельзя было идти в этом направлении, и из того, что у них было взято, им возвратили кое-что, под названием увеличенного пособия бедным. Это пособие является, таким образом, *настоящим долгом*, действительным, залоговым правом на страну. Уплату процентов по этому долгу можно было бы, правда, задерживать, но лица, которым эти проценты причитаются, явились бы тогда всей массою и заставили бы заплатить всю сумму, безразлично какою валютой. Таким образом, это — *настоящий долг*, и долг, который будет уплачен до последнего пенса, и притом, я подчеркиваю, будет уплачен предпочтительно перед всеми другими долгами.

21. Не следует, таким образом, слишком удивляться, видя, как озабочены те, кто берут на себя подобные дела. Удивительно, что вообще находятся люди, соглашающиеся на это, когда им не предоставляется по своему усмотрению произвести радикальное переустройство всей системы.

22. В данном случае нет никакой возможности помочь делу, пытаясь понизить размер ежегодных платежей по долгу кредиторам государства и по долгу *dead weight*, чтобы получить от страны согласие на такое понижение размера долга, на такое умаление, чтобы предупредить возможность последующих переворотов, чтобы не дать из-за этого полумиллиону народа в Лондоне и его окрестностях умереть с голоду, нужно решиться сначала на понижение в *чем-либо другом*, в большем соответствии с обстоятельствами, *прежде* чем

произвести такие понижения по отношению к двум вышеуказанным категориям или процентам по ним.

23. Как мы уже видели, *победы* были куплены с целью предотвратить реформу парламента в Англии и сохранить привилегии аристократии и десятинную подать духовенству; было бы поэтому вопиющим преступлением, если бы мы отказали в законных процентах людям, давшим нам деньги взаймы, или, тем более, отказали в платеже людям, предоставившим нам за плату свои руки для одержания побед; это было бы преступлением, которое навлекло бы на нас кары небесные — если бы мы поступили так и в то же время оставили бы неприкосновенными прибыльные почетные должности аристократов, их пенсии, синекуры, королевские пожалования, награды военным и наконец даже десятинную подать клиру.

24. В *этом*, стало быть трудность: кто становится министром, тот становится министром в стране, воспылавшей страстью к *победам*, в достаточной степени себя ими обеспечившей и добывшей себе неслыханную славу, но — увы! — не заплатившей еще за все это великолепие и предоставляющей теперь министру погасить счет, тогда как он не знает, где взять денег».

Вот вещи, способные вогнать министра в могилу, или по крайней мере свести его с ума. У Англии больше долгов, чем она может заплатить. Пусть не хвалятся тем, что она владеет Индией и богатыми колониями. Как выяснилось во время последних парламентских прений, английское государство не получает ни гроша дохода от этой большой неизмеримой Индии; более того — она вынуждена приплачивать еще несколько миллионов. Эта страна приносит пользу Англии лишь в том отношении, что отдельные британцы, разбогатевшие там, содействуют своими сокровищами промышленности и денежным оборотам родины, а тысячи других добывают себе средства к пропитанию через Индийскую компанию. Колонии также не приносят государству никаких доходов, требуют доплаты и

служат развитию торговли, обогащению аристократии, отпрыски которой посылаются туда в качестве губернаторов и чиновников. Национальный долг падает поэтому единственно на Великобританию и Ирландию. Но и тут ресурсы не таковы, чтобы покрыть долг. Предоставим и в данном случае слово Коббету.

«Есть люди, которые, желая указать некоторый выход, говорят о *ресурсах страны*. Это ученики покойного Колкоуна, занимавшегося ловлею воров и написавшего книгу, в которой он доказывает, что наш долг ни в малейшей степени не должен беспокоить нас — слишком уж он *мал* в сравнении с ресурсами нации, и чтобы его умные читатели получили определенное представление о неограниченности этих ресурсов, он произвел оценку всему, что есть в стране, вплоть до *кроликов*, и, кажется, сожалел, что нельзя было сосчитать заодно крыс и мышей. Он подсчитал стоимость лошадей, коров, овец, поросят, домашних птицы, дичи, кроликов, рыб, стоимость домашней утвари, платьев, топлива, сахару, пряностей, короче — стоимость всего в стране; затем, подведя итоги всему и прибавив стоимость земли, деревьев, домов, рудников, доход от травы и зерна, свекловицу и лен, и, получив сумму бог весть во сколько тысяч миллионов, он ухмыляется хитро и хвастливо, на шотландский манер, в роде индюка, и с язвительною усмешкою спрашивает таких, как я: при подобных ресурсах вы еще боитесь *национального банкротства*?

Человек этот не сообразил, что дома нужны для того, чтобы *жить в них*, земля для того, чтобы доставлять корм, платья, чтобы прикрывать ими свою наготу, коровы, чтобы давать молоко для утоления жажды, рогатый скот, овцы, свиньи, пернатые и кролики, чтобы есть их. Да, чорт побери этого нелепого шотландца! Эти вещи существуют не для того, чтобы *продавать* их и платить потом национальные долги. В самом деле, он даже поденную плату рабочих причислил к ресурсам нации. Этот чертовски глупый уловитель воров, которого его шотландские собратья

произвели в доктора за то, что он написал такую отличную книгу, повидимому, совершенно забыл о том, что поденная плата нужна самим рабочим, чтобы приобрести себе немножко *пищи и питья*. Он с таким же успехом мог бы оценить стоимость крови в наших жилах, как материал, из которого, во всяком случае, можно делать кровяные колбасы!»

Так говорит Коббет. В то время как я здесь излагаю слова его на немецком языке, он сам опять живо встает в моей памяти, и я вновь, как в прошлом году, вижу его за оживленным обедом в таверне «Crown and Anchor» * с его ругательским красным лицом и радикальною усмешкою, в которой ядовитейшая смертельная ненависть так жутко сливается с язвительною радостью — в предвидении неизбежной гибели врагов.

Пусть не упрекают меня за то, что я цитирую Коббета. Сколько бы ни обвиняли его в недобросовестности, сварливом характере и чрезмерной грубости, нельзя отрицать, что он обладает даром большой убедительности и что он очень часто бывает прав, а в приведенных только что словах — в особенности. Это цепная собака, которая яростно нападает сразу же на всякого незнакомого, часто кусает за икры лучшего друга дома, всегда лает и именно благодаря этому непрестанному лаю не удостоивается внимания даже и в том случае, когда встречает лаем настоящего вора. Поэтому-то важные воры, грабящие Англию, не считают даже нужным бросить корку рычащему Коббету и заткнуть ему таким образом пасть. Это обстоятельство особенно горестно гложет пса, и он скрежещет голодными зубами.

Старый Коббет! Пес Англии! Я не люблю тебя, ибо противно мне все грубое, но мне жаль тебя до глубины души, когда я вижу, как ты не можешь сорваться с цепи и схватить воров, которые на твоих глазах со смехом тащат добычу и глумятся над твоими напрасными прыжками и над твоим бессильным воем.

* Корона и якорь.

VIII

ОППОЗИЦИОННЫЕ ПАРТИИ

Один из моих друзей очень метко сравнил парламентскую оппозицию с оппозиционной каретою. Известно, что это общественный дилижанс, который на свой счет устраивает какая-нибудь спекулирующая компания и пускает при этом по таким до смешного дешевым ценам, что путешественники охотно дают ему предпочтение перед другими имеющимися уже дилижансами. Эти последние принуждены в таком случае точно так же понизить свои цены, чтобы сохранить за собою пассажиров, но новый оппозиционный дилижанс вновь берет над ними верх, или, вернее, снижается ниже их цен пока из-за такой конкуренции они не разорятся и не будут вынуждены наконец совершенно прекратить свои поездки. Но как только оппозиционная карета оставила за собою поле сражения и оказалась единственной на своей линии, она поднимает цену, часто даже превышая цену вытесненного конкурента; бедный путешественник ничего не выиграл, нередко даже проиграл; он платит и проклинает, пока новая оппозиционная карета не возобновит прежней игры, вызвав новые надежды и новые разочарования.

Каким высокомерием прониклись виги, когда стюартовская партия потерпела поражение, и на английский престол вступила протестантская династия! Тори составили в то время оппозицию, и Джон Буль, несчастный государственный пассажир, имел основание заревевать от радости, когда они взяли верх.

Но радость его была непродолжительна: с каждым годом приходилось ему платить все больше и больше за проезд; платить приходилось много, а возили его прескверно; к тому ж и кучера стали очень грубы, началась сплошная тряска и толчки, всякий камень на повороте грозил крушением, и несчастный Джон возблагодарил бога,

своего создателя, когда в недавнее время бразды государственной колесницы попали в более надежные руки.

К сожалению, радость и на этот раз была непродолжительна: новый оппозиционный кучер замертво свалился с козел, другой боязливо слез с них, когда лошади взбесились, и старые возницы, старые наездники с золотыми шпорами, опять заняли старое место, и опять защелкал старый бич.

Я не намерен доводить этот образ до крайности и возвращаюсь к словам «виги» и «тори», которыми воспользовался выше для обозначения оппозиционных партий; некоторое пояснение к этим словам будет, может быть, тем более полезно, что они с давних пор служат лишь к затемнению понятий.

Подобно тому как в средние века названия гибеллинов и гвельфов, благодаря превращениям и новым событиям, получили самый неопределенный и изменчивый смысл, так впоследствии в Англии изменилось значение слов виги и тори, при чем самое происхождение этих слов едва ли может быть выяснено. Некоторые утверждают, что сначала это были лишь данные в насмешку клички, превратившиеся в конце концов в почтенные названия партий, что случается часто; так, например, союз гезов окрестил себя насмешливой кличкой *les gueux* позднее якобинцы часто называли сами себя санкюлотами, а нынешние сервиллисты и обскуранты сами, может быть, приносят себе когда-нибудь эти наименования как почетные и славные — чего они сейчас, конечно, сделать не могут. Слово *whig* означало будто бы в Ирландии нечто неприятно угрюмое и употреблялось там сначала для осмеяния пресвитериан и вообще новых сект. Слово *tory*, появившееся тогда же в качестве названия партии, означало в Ирландии род жалких воришек. Обе клички вошли в обиход в эпоху Стюартов, во время распрей между сектами и господствующей церковью.

Общий взгляд таков, что партия тори склоняется целиком на сторону трона и борется за преимущества короны, в то время как партия вигов, наоборот, склоняется более на сторону народа и защищает его права. Однако такого рода предположения неопределенны, и ими пользуются главным образом в книгах. На эти наименования следует скорее смотреть как на названия группировок. Они обозначают людей, которые в известных спорных вопросах держатся вместе, предки и друзья которых уже держались вместе в подобных обстоятельствах и которые, во время политических бурь, обычно переносят сообща и радость, и горе, и вражду противной партии. О принципах нет вовсе и речи; единодушное существует не относительно определенных идей, но относительно определенных мероприятий в области государственного управления, относительно отмены или сохранения определенных злоупотреблений, относительно некоторых биллей, некоторых переходящих по наследству questions * — все равно, с какой точки зрения, большею частью в силу привычки. Англичане не дают себя ввести в заблуждение наименованиями партии. Говоря о виггах, они не имеют в виду определенного понятия, подобно тому как мы, например, говоря о либералах, тотчас же представляем себе людей, духовно объединенных сходством взглядов на некоторые права свободы. Англичане представляют себе при этом внешний союз, состоящий из людей, каждый из которых, судя по его образу мыслей, мог бы составить как бы в своем лице партию и которые борются против партии тори только, как упомянуто уже выше, в силу внешних побудительных поводов, в силу случайных интересов и отношений дружественных или враждебных. В данном случае не следует нам также представлять себе, что борьба ведется против аристократов в том смысле, как мы это понимаем, ибо эти тори в чувствах своих не более аристократичны, чем виги, и часто

* вопросов

даже не аристократичнее самой буржуазии, которая почитает аристократию за нечто столь же неизменное, как солнце, луна и звезды, признает привилегии дворянства и духовенства не только полезными в государственном смысле, но и по природе необходимыми, и, может быть, стала бы бороться за эти привилегии с гораздо большим усердием, чем сами аристократы, так как она тверже верует в них, чем эти последние, потерявшие по большей части веру в самих себя. В этом отношении умы англичан все еще окутаны мраком средневековья; священная идея гражданского равенства всех людей еще не озарила их, и того или иного государственного человека Англии, происходящего из буржуазии и мыслящего, как тори, нам ни в каком случае не следует называть сервиллистом и причислять к тем хорошо известным сервилльным псам, которые, имея возможность быть свободными, все же забрались в свои старые собачьи будки и лают теперь на солнце свободы.

Потому-то названия тори и виги совершенно бесполезны, когда дело идет о том, чтобы понять английскую оппозицию; прав был Френсис Бердетт, когда в начале сессии в прошлом году определенно высказал, что названия эти потеряли теперь всякий смысл; а Томас Летбридж, которого творец мира и разума не наделил излишним остроумием, сострил тогда, однако, чрезвычайно удачно, пожалуй, единственный раз в жизни, по поводу этого заявления Бердетта, а именно: *he has untoried the tories and unwhigged the whigs* *.

Больше значения, имеют названия *reformers* **, или *radical reformers*, или, коротко, *radicals* ***. Обычно они считаются равнозначными, так как имеют в виду то же государственное зло, те же способы его уврачева-

* Буквально — он расторил тори и развигил вигов.

** реформистами

*** радикалы

ния и различаются только более или менее яркою окраскою. Это заключается во всем известной дурной форме народного представительства, при которой так называемые rotten boroughs, заглохшие, необитаемые местечки или, вернее сказать, олигархии, которым они принадлежат, обладают правом посылать в парламент народных представителей, в то время как большие населенные города, в частности, много новых фабричных городов, не имеют права выбрать хотя бы одного представителя; в устранении этого зла и заключается так называемая парламентская реформа. Правда, в ней видят не цель, а лишь средство. Надеются, что народ таким путем достигнет лучшего представительства своих интересов, устранения аристократических злоупотреблений и помощи в своих бедствиях. Понятно, что парламентская реформа, это справедливое и скромное требование, находит себе сторонников и среди умеренно настроенных людей, отнюдь не якобинцев; и если таких людей называют reformers, то слово это произносится совсем другим тоном, и от него как до неба далеко до слова radical, которому присуще совершенно иное выражение, когда оно применяется к Хенту или Коббету, или вообще к тем пылким, яростным революционерам, которые кричат о парламентской реформе с тем, чтобы вызвать крушение всякого порядка, торжество корысти и полное господство черни. Поэтому оттенки в образе мыслей вожжаков этой партии бесчисленны. Но, как сказано, англичане очень хорошо знают своих сограждан, название не вводит в заблуждение публику, которая очень хорошо разбирает, где борьба является одной видимостью и где она ведется всерьез. Часто на протяжении ряда лет парламентская борьба немногим отличается от праздной игры, от турнира, где борются за цвета, выбранные произвольно, но, как только начинается серьезная война, каждый спешит под знамя своей природной партии. Это видели мы в эпоху Каннинга. Самые яростные противники объединились, когда началась борьба за реальнейшие интересы; тори,

виги и радикалы скучились, словно фаланга, вокруг отважного буржуазного министра, пытавшегося сломить высокомерие олигархов. Но все-таки я думаю, что многие высокороджденные виги, гордо восседавшие позади Каннинга, тотчас же перешли бы к старой фоксгентерской родне, если бы речь зашла внезапно об упразднении всех дворянских прав. Я думаю даже (господи, прости мне мое преступление), что сам Френсис Бердетт, принадлежавший в молодости к самым ярким радикалам, да и теперь с итающийся не слишком кротким реформистом, при этом случае очень скоро уселся бы рядом с сэром Томасом Лесбриджем. Это очень хорошо чувствуют радикалы-плебеи, а потому и ненавидят так называемых вигов, высказывающихся за парламентскую реформу; они, пожалуй, ненавидят их еще больше, чем своих прямых высоких врагов — тори.

В настоящий момент английская оппозиция состоит больше из собственно реформистов, чем из вигов. Глава оппозиции в нижней палате, the leader of the opposition, бесспорно принадлежит к последним. Я говорю о Бруме.

Речи этого мужественного парламентского героя мы ежедневно читаем в повременной печати, а потому мы в праве считать его образ мыслей всем хорошо известным. Менее известны личные его особенности, проявляющиеся в этих речах, и все же нужно знать их, чтобы понять вполне его речь. Поэтому уместно будет воспроизвести здесь парламентский облик Брума, как он очерчен одним умным англичанином:

«На первой скамье, по левую сторону спикера, сидит фигура, которая так долго корпела у своей кабинетной лампы, что не только цвет жизни, но и сама жизненная ее сила начала вянуть; и все-таки она, эта на вид беспомощная фигура, привлекает взоры всей палаты; и стоит лишь ей, со свойственной ей механической, автоматической манерой, попытаться привстать, как все стенографы позади нас поднимают отчаянную возню, все пустые места на галлерее заполняются, словно это

массивный каменный свод, а в обе боковые двери теснится снаружи толпа. Внизу, в палате проявляется, видимо, такой же интерес, ибо, едва лишь фигура эта начинает медленно вытягиваться в вертикальном изгибе или, лучше сказать, в вертикальном зигзаге неуклюже сочетающихся линий, как пара — другая крикунов, только что пытавшихся перекрычать друг друга с противоположных концов зала, быстро опускается на свои места, словно заприметив спрятанное под мантией спикера духовое ружье.

После такого подготовительного шума, среди мертвой тишины, Генри Брум медленно, осторожными шагами приближается к столу и останавливается возле него в согбенном положении — с приподнятыми кверху плечами, с головою, наклоненною вперед; верхняя губа и ноздри вздрагивают, словно он боится произнести слово. Видом своим и всем существом он почти напоминает тех проповедников, которые проповедуют в открытом поле, — не тех модных представителей этого сословия, которые увлекают за собой праздную воскресную толпу, но тех проповедников старого времени, которые пытались сохранить чистоту веры и распространить ее в пустыне, после того как она оказалась изгнанною из городов и даже из храмов. Тон его голоса отличается полнотою и мелодичностью, но повышается он медленно, осторожно и, можно подумать, очень напряженно, так что не знаешь, духовные ли силы этого человека недостаточны для того, чтобы овладеть предметом, или ему нехватает физической силы, чтобы высказаться. Его первая фраза или, вернее, первые звенья его фразы, — ибо скоро убеждаешься, что каждая его фраза по форме и содержанию много богаче, чем целая речь других людей, — очень холодны и неуверенны и вообще так далеки от спорного вопроса, что невозможно понять, как он перейдет к нему. Правда, каждая из этих фраз глубока, ясна, закончена в самой себе, явственно выведена на основании искусного отбора изысканнейшего материала, и из какой бы области

знания они ни были взяты, они содержат чистейшую ее сущность. Чувствуешь, что все они слагаются в одном определенном направлении и притом слагаются с большой мощью; но эта мощь все еще невидима, как ветер, и, как про ветер, про нее не знаешь, откуда она появилась и куда направлена. Но после того как предпослано достаточное число таких начальных положений, после того как использовано всякое вспомогательное положение из тех, которыми человеческая наука располагает в целях установления заключительного вывода, после того как всякое возражение победоносно устранено одним ударом, и целая армия политических и нравственных истин приведена в боевой порядок, — она начинает подвигаться вперед к решительному бою, твердо сплоченная, как македонская фаланга, и непреодолимая, как шотландские хайлендеры, идущие со штыками наперевес.

Как только установлено основное положение при помощи этой кажущейся слабости и неуверенности, за которыми, однако, открываются действительная мощь и твердость, оратор поднимается как в телесном, так и в духовном смысле, и путем более сильного и короткого натиска овладевает вторым основным положением. После второго он овладевает третьим, после третьего — четвертым и так далее, пока все основные начала и вся философия спорного вопроса не будут завоеваны, и всякий из присутствующих в палате, имеющий уши, чтобы слышать, и сердце, чтобы чувствовать, не убедится в только что услышанных истинах так же, как в своем собственном существовании, так что, остановись даже Брум на этом месте своей речи, все же он, несомненно, был бы признан величайшим логиком капеллы Святого Стефана. Духовные средства этого человека поистине достойны удивления: он способен напомнить нам старинную скандинавскую сказку, в которой герой убивает одного за другим первых мастеров в каждой отрасли знания и становится таким образом единственным наследником

всех их духовных талантов. Предмет может быть каким угодно — высоким или повседневным, туманным или практическим — Генри Брум владеет им и владеет вполне основательно. Другие могут состязаться с ним, тот или другой даже может превзойти его в знакомстве с внешними красотами старой литературы, но никто глубже его не проникнут величественною и пламенною философией, которая, как драгоценнейший алмаз, сверкает в ларце, завещанном нам стариною. Брум не пользуется ясным, безукоризненным и притом несколько придворным языком Цицерона; столь же мало похожи его речи по форме на речи Демосфена, хотя им в некоторой степени свойственна такая окраска; но у него есть строго-логическая последовательность римского оратора и потрясающие гневные слова грека. К этому присоединяется и то, что никто лучше его не умеет пользоваться в парламентских речах современным знанием; так что порою его речи, независимо от их политического направления и смысла, могли бы вызвать у нас восхищение даже только как лекции по философии, литературе и искусствам.

Вместе с тем, когда слушаешь этого человека, совершенно невозможно определить его характер. После того как он, о чем уже выше упомянуто, обосновал здание своей речи на прочном философском фундаменте, заложенном на глубине разума; после того как он, еще раз возвратившись к этой работе, опустил отвес и наложил меру, чтобы исследовать, все ли в порядке, и кажется, рукою исполина пробует, прочно ли все держится; после того как он прочно связал мысли слушателей своими доводами, словно канатами, которых никому не порвать, — он с силою вскакивает на взгроможденное им здание, фигура его и тон делаются выше, он вызывает страсти из самых потаенных уголков и покоряет и потрясает своих разинувших рты парламентских коллег и всю приведенную в содрогание палату. Тот самый голос, который сначала звучал тихо и непритязательно, подобен тепер.

оглушающему грохоту и беспредельным валам морским; та фигура, которая, казалось опускалась под собственным бременем, имеет теперь такой вид, будто нервы ее из стали, сухожилия из меди, будто она даже бессмертна и неизменна, как те истины, которые от нее исходят; лицо, которое до того было бледно и холодно, как камень, теперь живет и светится, словно внутренний дух этого человека еще могущественнее, чем произнесенные им слова; глаза, взиравшие на нас вначале голубыми ободками своих зрачков так смиренно, словно просили у нас снисхождения и прощения, мечут теперь огонь метеоров, зажигающий восхищением все сердца. Так заканчивается вторая, страстная или декламаторская часть речи.

Достигнув того, что можно считать верхом красноречия, и как бы оглянувшись кругом, чтобы с насмешливою улыбкою взглянуть на вызванное им восхищение, оратор снова съеживается, голос его падает до своеобразнейшего шепота, какой когда-либо исходил из груди человека. Это совершенно особенная способность понижать или, лучше сказать, ослаблять выразительность, мимику и голос, которой Брум владеет в совершенстве, не свойственная никакому другому оратору, вызывает удивительное действие; эти глубокие, торжественные, почти бормочущие слова, которые, однако, явственны до последнего слога, заключают в себе недолимую силу очарования даже тогда, когда слышишь их в первый раз и не знаком еще с истинным их значением и действием. И отнюдь не следует думать, что оратор или речь его истощилась. Эти смягченные взоры, эти заглушенные тона отнюдь не означают начала отступления в речи, когда оратор, словно чувствуя, что слишком далеко зашел, хочет задобрить своих противников. Наоборот, это съеживание тела не признак слабости, это ослабление голоса не предвестник страха и покорности: это лишь свободный, на весу, наклон тела борца, подстерегающего миг, когда он тем мощнее может охватить противника, это прыжок назад тигра, который

тотчас же вслед за тем с еще большею уверенностью вцепится когтями в свою добычу, это знак того, что Генри Брум облачается в полное снаряжение и берется за самое страшное свое оружие. В доводах своих он был ясен и убедителен; вызывая заклинаниями страсти, он был, правда, несколько высокомерен, но в то же время и могуч и победоносен; теперь же он кладет на лук свою последнюю, самую ужасную стрелу, он делается страшен в своих нападках. Горе человеку, навстречу которому запылает из таинственной глубины сдвинутых бровей этот глаз, доселе такой спокойный и голубой. Горе тому преступнику, кому эти полушопотом произнесенные слова предвещают нависшие над ним бедствия. Иностранец, посетивший сегодня, может быть, впервые галлерею парламента, не знает, что теперь произойдет. Он видит только человека, который убедил его своими доводами, зажег своею страстью и теперь, по видимому, прибегая к этому странному шопоту, собирается закончить вяло и слабо. О, чужестранец! будь ты знаком со всем обиходом этой палаты и занимай ты место, откуда видно всех членов парламента, ты скоро заметил бы, что они ни в коем случае не разделяют твоего мнения относительно такого вялого и слабого конца. Ты заметил бы кое-кого из тех, кого партийность или притязательность вовлекли в это бурное море без достаточного баласта и необходимого кормила и кто озирается теперь так боязливо и опасливо, как моряк в Китайском море, обнаруживший с одной стороны горизонта мрачное спокойствие — верный знак, что не позже чем через минуту с другой стороны возникнет тайфун с его пагубным дыханием; ты заметил бы, как кое-кто из умных людей почти готов заплакать, и душою и телом содрогается, как маленькая птичка, очарованная близостью гремучей змеи, в ужасе чувствует опасность, и ничем не может себе помочь, с грустным, несчастным видом идет навстречу своей гибели; ты бы заметил длинного антагониста, заплетающихся ногами уцепившегося за скамью, чтобы приближающаяся

буря не унесла его; или даже ты заметишь осанистого, упитанного представителя какого-нибудь жирного графства, запустившего пальцы обеих рук в обивку своей скамьи в твердой решимости на случай, если человек его ранга будет вышвырнут из палаты, все же сохранить за собою кресло и унести его под своим сиденьем.

И вот, начинается: слова, произносившиеся таким глубоким шопотом и бормотанием, приобретают такую звучность, что заглушают даже ликующие возгласы собственной партии, и после того как какой-нибудь злосчастный противник ободран до костей и его изувеченные члены перебиты всевозможными ораторскими оборотами, тело самого оратора словно обламывается и разбивается мощью его собственного духа, он откидывается назад в свое кресло, и шум одобрения может теперь неудержимо раздаться в собрании».

Мне ни разу не посчастливилось спокойно наблюдать Брума во время подобной речи в парламенте. Мне довелось слышать его только урывками или на темы о неважных предметах, и очень редко притом я видел его лицо. Но всегда, я это сразу заметил, лишь только он брал слово, наступала глубокая, почти жуткая тишина. Образ его, в том виде, как он очерчен в вышеприведенных словах, несомненно не страдает преувеличением. Фигура его, при обычном мужском росте, очень узка, так же как его голова, скудно покрытая короткими черными волосами, гладко прилегающими к вискам. Бледное продолговатое лицо кажется от того еще худощавее, мускулы его судорожно, неприятно двигаются, и тот, кто наблюдает их, может видеть мысли оратора прежде, чем они высказаны. Это обстоятельство портит его остроумные выходки, ибо когда острят и занимают деньги, бесполезно застигать людей врасплох. Хотя покрой его черного фрака вполне джентльменский, он все же придает ему вид духовного лица. Может быть, это объясняется еще больше частыми движениями его согнутой спины и настороженною иронической

гибкостью всего его тела. Один из моих друзей впервые обратил внимание мое на «клерикальное» в наружности Брума, и вышеприведенное описание подтверждает это наблюдение. Мне бросилось в глаза прежде всего «адвокатское» в наружности Брума, в особенности, манера непрестанно жестикулировать протянутым вперед указательным пальцем и самодовольно кивать при этом наклоненною вперед головою.

Удивительнее всего неутомимая деятельность этого человека. Свои парламентские речи он произносит после того, как, может быть, восемь часов под ряд занимался ежедневными профессиональными делами, именно адвокатской практикой в залах суда, и, может быть, пол-ночи после того проработал над статьями для «Edinburgh Review» или над усовершенствованиями в области народного образования и уголовных законов. Первые из названных работ — по народному образованию — несомненно дадут когда-нибудь прекрасные плоды. Последние — из области уголовного законодательства, которыми теперь больше всего занимаются Брум и Пиль, пожалуй, всего полезнее, по крайней мере всего настоятельнее, ибо законы Англии еще более жестоки, чем ее олигархи. Процесс королевы положил начало славе Брума. Он рыцарски боролся за эту высокую даму, и, само собою разумеется, Георг IV никогда не забудет услуг, которые он оказал дорогой жене. Поэтому, когда в минувшем апреле оппозиция победила, Брум все-таки не попал в министерство, хотя ему как *leader of the opposition* полагалось в этом случае, по старинному обычаю, войти в состав министерства.

IX

ЭМАНСИПАЦИЯ

Самый глупый англичанин, если заговорить с ним о политике, найдет сказать что-нибудь разумное. Но

стоит только перевести разговор на религию, самый толковый англичанин ничего кроме глупостей не наговорит. Поэтому-то и возникает эта путаница понятий, это смещение мудрости с бессмыслицей, всякий раз, когда в парламенте речь зайдет об эмансипации католиков — спорный вопрос, в котором сталкиваются политика и религия. Редко могут англичане во время своих парламентских прений высказаться принципиально; они препираются только о пользе или вреде вещей и приводят факты, кто pro * кто contra **.

Однако с фактами в руках можно, правда, спорить, но победить нельзя; в этом случае получается ряд чисто материальных ударов, и зрелище борьбы напоминает столь известные битвы немецких студентов pro patria***, их результат лишь тот, что сделано столько-то выпадов, отбито столько-то квартал и терций и ничего тем не доказано.

В 1827 году, само собою разумеется, эмансипационисты опять боролись в Вестминстере с оранжистами и, само собою разумеется, ничего из этого не вышло. Лучшими бойцами эмансипации были Бердетт, Пленкетт, Брум и Каннинг, противниками их снова были, за исключением сэра Роберта Пиля, известные, или лучше сказать, неизвестные, охотники за лисицами.

Искони проникательнейшие государственные люди Англии высказывались за гражданское равенство католиков как по внутреннему чувству справедливости, так и в силу политической мудрости. Сам Питт, основатель стабилизаторной системы, держал сторону католиков. Также и Бёрк, этот великий ренегат свободы, не мог до такой степени подавить голоса своего сердца, чтобы действовать против Ирландии. И Каннинг, даже в то время, когда он был еще рабом тори, не мог без волнения наблюдать бедствия Ирландии; сколь дорого было ему ее дело, он с трогательной наивностью высказал в то

* за

** против

*** за родину

время, когда его обвиняли в безразличии. Поистине, великий человек нередко способен, для достижения великих целей, действовать против своих убеждений и до двусмысленности часто переходит из одной партии в другую; приходится в этом случае примириться с тем, что человек, желающий удержаться на известной высоте, так же должен уступать обстоятельствам, как петух на церковной вышке: хотя он и сделан из железа, но первый же порыв урагана сломил бы и сбросил его, если бы он пребывал в упрямой неподвижности и не владел благородным искусством — вертеться по ветру. Но никогда ни один великий человек не отречется от своих душевных чувств в такой мере, чтобы быть в состоянии равнодушно и спокойно взирать на несчастье соплеменников и даже способствовать ему. Подобно тому, как мы любим свою мать, так любим мы и землю, на которой родились, так любим и цветы, запах, говор и людей, возникших на этой земле; нет такой дурной религии и такой хорошей политики, чтобы подавить в сердцах своих последователей эту любовь; хотя Бёрк и Каннинг были протестантами и тори, они никогда не могли стать в ряды противников несчастного Зеленого Эрина. Ирландцы, разносящие по своей родине ужасные бедствия и невыразимую скорбь, — такие же люди, как блаженной памяти Кесльри.

Что масса английского народа настроена против католиков и ежедневно осаждаёт парламент требованиями не допускать дальнейшего расширения их прав, это совершенно в порядке вещей. Подобная страсть к угнетению лежит в природе человека, и если даже мы, как теперь постоянно водится, жалуемся на гражданское неравенство, то глаза наши обращены все же кверху: мы видим только тех, кто выше нас и чьи привилегии оскорбляют нас; жалуясь так, мы никогда не смотрим вниз; нам никогда не приходит в голову поднять до себя тех, кто в силу обычного бесправия поставлен еще ниже, чем мы; нас даже сердит, когда и они

стремятся вверх, и мы хлопаем их по головам. Креол требует прав европейца, но важничает перед мулатом и дышит гневом, когда этот последний хочет сравняться с ним. Так же поступает мулат по отношению к метису, а метис — по отношению к негру. Франкфуртский мещанин недоволен привилегиями дворянства; но он еще больше недоволен, когда ему предлагают эмансипировать франкфуртских евреев. У меня есть друг в Польше, влюбленный в свободу и равенство, но и по сей час он еще не отпустил на волю своих крепостных мужиков.

Что касается английского духовенства, то незачем и объяснять, почему католики подвергаются преследованиям с этой стороны. Преследование инакомыслящих составляет повсюду монополию духовенства, и англиканская церковь тоже строго блюдет свои права. Конечно, десятинная подать для нее важнее всего; в результате эмансипации католиков, она лишилась бы большей части своего дохода, а жертвовать собственными интересами — талант, столь же мало присущий жрецам религии любви, как и светским грешникам. К тому же та славная революция, которой Англия обязана большинством своих свобод, проистекла из религиозного протестантского усердия — обстоятельство, как бы налагающее на англичан особый долг благодарности по отношению к господствующей протестантской церкви и заставляющее смотреть на нее как на главный оплот свобод. Может быть, иные рабские души среди них действительно боятся восстановления католицизма и вспоминают смисфильдские костры, — а ребенок, который обжегся, боится огня. Есть также робкие члены парламента, опасющиеся нового порохового заговора — ведь пороха больше всего боятся те, кто его не выдумывал; им часто кажется, будто зеленые скамьи, на которых они сидят в капелле Святого Стефана, становятся понемногу горячее и горячее, и когда какой-нибудь оратор, как часто случается, упоминает имя Гай Фоукса, они испуганно кричат:

«Hear him! hear him!» * Что касается наконец, геттингенского ректора, занимающего в Лондоне должность английского короля, то его умеренная политика всякому известна: он — ни за ту, ни за другую партию; с удовольствием смотрит, как они взаимно ослабляют друг друга в борьбе, и улыбается по принятому обычаю, когда они мирно собираются при его дворе; он все знает и ничего не делает и в худшем случае полагается на своего обер-педеля Веллингтона. Да простят мне, что я так развязно касаюсь спорного вопроса, от разрешения которого зависит благо Англии и, может быть, косвенно, благо всего мира. Но именно, чем важнее предмет, тем веселее следует к нему относиться: кровавые бойни сражений, ужасающие звуки натачиваемой косы смерти были бы невыносимы, если бы рядом не раздавалась оглушительная турецкая музыка с ее радостными трубами и литаврами. Это знают англичане, и потому их парламент представляет веселое зрелище непринужденнейшего остроумия и остроумнейшей непринужденности; во время самых серьезных прений, когда жизнь тысяч людей и благо целых стран поставлены на карту, никому из них не приходит в голову скорчить немецки-тупую депутатскую физиономию или декламировать в патетически-французском духе; ум их, как и тело, проявляются вполне свободно; шутки, самоосмеяние, сарказмы, благодушие и мудрость, коварство и доброта, логика и стихи бьют ключом в цветистой красочной игре, так что парламентская хроника даже много лет спустя дает нам богатейшую умственную пищу. И, наоборот, как резко непохожи на них скудные, бессодержательные, клякспапирные речи в наших южнонемецких палатах, скуку которых не в состоянии преодолеть самый терпеливый газетный читатель; один уже их запах способен отпугнуть живого читателя, так что можно подумать, скука эта — плод тайного умысла, задавшегося целью отвадить

* «Слушайте, слушайте!»

широкую публику от чтения прений и сохранить их, таким образом, по существу в тайне, несмотря на их гласность.

Если, таким образом, манера, с которой англичане трактуют в парламенте спорный вопрос о католиках, мало приспособлена к тому, чтобы дать результаты, то чтение этих прений тем более интересно, что факты много забавнее, чем отвлеченности; особенно занятно бывает, когда рассказывается какая-нибудь вымышленная примерная история, остроумно высмеивающая определенный случай в настоящем и таким образом, пожалуй, наиболее удачно его иллюстрирующая. Уже во время прений по поводу тронной речи 3 февраля 1825 года услышали мы в верхней палате одну из вышеупомянутых примерных историй; я дословно привожу ее здесь (vid. *Parliamentary history and review during the session 1825—1828. Page 31* *).

«Лорд Кинг заметил, что если Англию и можно назвать цветущей и счастливой, то все же шесть миллионов католиков по ту сторону Ирландского канала находятся в совершенно другом положении; тамошнее скверное правительство — позор для нашей эпохи и для всех британцев. Весь мир, — сказал он, — в настоящее время слишком разумен, чтобы извинять те правительства, которые угнетают своих подданных или лишают их каких-либо прав за религиозные разногласия. Ирландия и Турция могли бы быть отмечены, как единственные страны в Европе, где целые группы человечества угнетены и терпят оскорбления за свою веру. Султан старался обратить греков таким же способом, каким английское правительство обращало ирландских католиков, но безуспешно. Когда несчастные греки стали жаловаться на свои страдания и смиреннейшим образом просили, чтобы с ними обращались немного лучше, чем с магометанскими собаками, султан

* см. «Историю Парламента и обозрение сессии 1825—1828 гг.», стр. 31.

велел позвать великого визиря, чтобы спросить у него совета. Этот великий vizирь был сначала другом султанши, а потом ее врагом. Вследствие этого он лишился значительной доли расположения своего господина и в своем собственном Диване принужден был сносить немало возражений от своих чиновников и слуг. (Смех.) Он был врагом греков. Вторым по влиянию в Диване лицом был Рейс Эффенди, склонный относиться дружелюбно к справедливым требованиям этого несчастного народа. Этот сановник был, как известно, министром иностранных дел, и политика его заслужила и снискала всеобщее одобрение. На этом поприще он высказал чрезвычайный либерализм и способности, сделал много доброго, завоевал большую популярность правительству султана и совершил бы еще много больше, если бы его менее просвещенные коллеги не чинили ему препятствий во всех его мероприятиях. Он, действительно, был единственным истинно-гениальным человеком во всем Диване (смех) и был уважаем, как краса турецких государственных людей, будучи одарен к тому же поэтическим талантом. Киайа-бей, или министр внутренних дел, и Капитан-паша были опять-таки врагами греков; но вожаком всей оппозиции против правовых притязаний этого народа был первый муфтий, или глава магометанской религии. (Смех.) Этот сановник был врагом всяких новшеств. Он систематически противился всяким улучшениям в торговле, всяким улучшениям в юстиции, всяким улучшениям во внешней политике. (Смех.) Он указывал и объявлял себя всякий раз величайшим поборником существующих злоупотреблений. Он был самым законченным интриганом во всем Диване. (Смех.) Прежде он выступал на стороне султанши, но обратился против нее, как только стал опасаться, что может лишиться своего положения в Диване, и принял даже сторону ее врагов. Как-то было внесено предложение принять некоторое количество греков в состав регулярных войск, или янычаров; но первый муфтий поднял такой отчаянный вопль,

наподобие нашего «No porgery!»*, что те, кто склонялся к этому мероприятию, должны были уйти из Дивана. Он взял верх, и, едва это случилось, объявил себя сторонником того, против чего он больше всего усердствовал. (Смех.) Он заботился о совести султана и о своей собственной; но замечено как будто, что его совесть никогда не была в оппозиции с его интересами. (Смех.) Так как он основательнейшим образом изучил турецкую конституцию, то ему удалось открыть, что она по существу магометанская (смех) и, следовательно, должна быть враждебна всем привилегиям греков. Поэтому он решил оставаться непоколебимо преданным делу нетерпимости и вскоре был окружен муллами, имамами и дервишами, поддерживавшими его в его благородных начинаниях. Чтобы завершить картину этого раскола в Диване, остается упомянуть, что участники его согласились на том, чтобы быть одного мнения в некоторых спорных вопросах и противоположного — в других, не нарушая своего единения. После того как все увидели, какое зло получилось от такого Дивана, после того как увидели, как царство мусульман раздирается именно в результате нетерпимости по отношению к грекам и внутренним несогласий, пришлось воззвать к небу об избавлении родины от такого кабинетного раскола».

Не нужно особой проницательности, чтобы угадать, какие лица скрываются здесь под турецкими именами; еще менее нужно излагать сухими словами мораль истории. Наваринские пушки достаточно громко поведали эту мораль, и если высокая Порта когда-нибудь развалится — а она развалится, несмотря на полномочных лакеев Перы, не считающихся с негодованием народов, — пусть тогда Джон Буль в глубине сердца поймет, что басня под вымышленными именами говорит о нем. Нечто в этом роде Англия предчувствует уже теперь — лучшие ее публицисты высказываются против

* «Долой папство!»

интервенционной войны и очень наивно указывают на то, что народы Европы с таким же правом могли бы принять участие в ирландских католиках и понудить английское правительство к лучшему обращению с ними. Они полагают, что опровергли таким образом право вмешательства, тогда как на самом деле еще нагляднее подтверждают его. Конечно, народы Европы имели бы священное право вступить с оружием в руки за страдающих ирландцев, и этим правом они бы воспользовались, если бы сила не была на стороне бесправия. Уже не коронованные вожди, а сами народы являются героями нового времени; эти герои тоже заключили священный союз; они сообща стоят, когда нужно, за общее право, за права народов на религиозную и политическую свободу, они связаны идеею; они поклялись ей в верности и проливали свою кровь за нее, они сами — воплощенная идея, а потому болезненная дрожь пронизывает разом сердце всех народов, когда где-либо, хотя бы в отдаленнейшем уголке земли, идея эта подвергается оскорблению.

X

ВЕЛЛИНГТОН

Человек этот имеет несчастье быть счастливым везде, где величайшие в мире люди терпели несчастье, и это возмущает нас и делает его предметом ненависти. В нем мы видим только победу глупости над гением. Артур Веллингтон торжествует там, где Наполеон Бонапарт гибнет. Никогда еще никто не пользовался благосклонностью фортуны в столь ироническом смысле; похоже на то, что она вознесла его на щите победы лишь для того, чтобы явить миру его жалкое ничтожество. Фортуна — женщина, и по женской манере она может быть втайне зла на человека, свергнувшего ее любимца, хотя это и согласовалось с ее волей. Теперь

в вопросе об эмансипации католиков она опять делает его победителем, и притом в борьбе, где погиб Джордж Каннинг. Может быть, его бы и любили, если бы его предшественником по министерству был жалкий Лондондерри; но он оказался преемником благородного Каннинга, столь оплакиваемого, обожаемого великого Каннинга — и он побеждает там, где погиб Каннинг. Не будь Веллингтон так несчастлив на счастье, он мог бы, пожалуй, сойти за великого человека; если бы его не ненавидели, не подходили бы к нему с точною меркою, во всяком случае, не мерили бы тем героическим масштабом, которым меряют Наполеона и Каннинга, то и не узнали бы, какой он маленький человек.

Он маленький человек, и даже меньше, чем маленький. Французы не могли злее выразиться о Полиньяке, чем назвав его Веллингтоном без славы. Действительно, что останется, если снять с Веллингтона фельдмаршальский мундир славы?

Я дал здесь лучшую апологию лорда Веллингтона — в английском смысле этого слова. Но все удивится, когда я сознаюсь, что однажды во-всю хвалил Веллингтона. Это недурная история. и я расскажу ее здесь.

Мой цырюльник в Лондоне был радикал, по имени мистер Уайт, бедный, маленький человечек в потертом черном костюме, который отсвечивал белым; он был так тощ, что анфас его лица казался только профилем, а вздохи в груди были видны прежде, чем они вырывались оттуда. Вдыхал же он постоянно о несчастьи старой Англии и о невозможности уплатить когда-либо национальный долг.

«Ах, — вздыхал он обыкновенно, — чего ради нужно было английскому народу беспокоиться о том, кто правит Францией и что делают французы у себя в стране? Но высокая знать и высокая церковь испугались свободных принципов французской революции. И чтобы подавить эти принципы, Джону Булю пришлось отдать свою кровь и свои деньги, да еще и наделать дол-

гов. Цель войны теперь достигнута, революция подавлена, французским орлам свободы подрезаны крылья, высокая знать и высокая церковь могут теперь быть вполне спокойны — ни один из них не перелетит через Ламанш, пусть бы высокая знать и высокая церковь заплатили теперь хоть те долги, которые сделаны в их интересах, а не ради бедного народа. Ах! бедный народ».

Всякий раз, доходя до «бедного народа», мистер Уайт вздыхал еще глубже, а кончал тем, что хлеб и портер так вздорждали, и что бедному народу приходится пропадать с голоду, чтобы накормить толстых лордов, охотничьих собак и попов, и что есть только одно средство. При этих словах он начинал обыкновенно точить бритву и, водя ею по ремню, бормотал медленно и злобно: «Лорды, собаки, попы».

Но радикальный гнев его закипал всего яростнее против Duke of Wellington*, он изрыгал яд и желчь, едва лишь заводил о нем речь, и если в это время он намыливал мне щеки, то делал это с пеною ярости. Как-то даже я порядком струсил, когда он брил меня как раз у шеи и при этом яростно ополчился на Веллингтона, непрерывно бормоча: «Будь он у меня вот так под ножом, я бы избавил его от труда самому перерезать себе горло по примеру его собрата по должности и земляка Лондондерри, который перерезал себе горло в Нордкрее, в графстве Кент — будь он проклят!»

Я чувствовал, как дрожала рука этого человека, и, испугавшись как бы он не вообразил внезапно в порыве страсти, что я Duke of Wellington, попытался умирить его пыл и тихонько успокоить его. Я обратился к его национальной гордости, указал ему на то, что Веллингтон способствовал славе англичан, что он всегда был невинным орудием в руках третьих лиц, что он охотно ест бифштексы и что

* герцога Веллингтона

он наконец... Бог знает, чего я только ни наговорил о Веллингтоне в то время, как бритва касалась моего горла

* * *

Что особенно меня сердит, так это мысль, что Веллингтону предстоит такое же бессмертие, как и Наполеону Бонапарте. Ведь сохранилось, таким же образом, имя Понтия Пилата, на ряду с именем Христа. Веллингтон и Наполеон! Удивительное явление — мысль человеческая может одновременно представлять себе их обоих. Нет большей противоположности, чем эти два человека, уже по одной их внешности. Веллингтон — глухой призрак с пепельно-серою душою в накрахмаленном теле, с деревянною улыбкой на ледяном лице — и рядом с ним представить образ Наполеона — божества с головы до пят.

Никогда не исчезнет этот образ из моей памяти. Я до сих пор еще вижу его на коне, с его вечными очами на мраморном лице императора, со спокойствием судьбы взирающего на проходящие мимо гвардейские полки — в то время он отправлял их в Россию, и старые grenadiers смотрели на него так сознательно-сурово, с такою жуткою преданностью, с такою горделивою готовностью к смерти —

Te, Caesar, morituri salutant.

Порою подкрадывается тайное сомнение, действительно ли я видел его сам, действительно ли мы были его современниками, и тогда мне начинает казаться, что образ его, отделившись от узкой рамки современности, отступает все более гордо и величаво в сумрак прошлого. Уже самое имя его звучит нам как весть из прошлого мира, столь же античное и героическое, как имена Александра и Цезаря. Оно уже стало лозунгом, и когда встречаются Запад и Восток, они понимают друг друга при помощи одного этого имени. Насколько значительно и волшебное может звучать это имя, я

глубже всего убедился, когда взошел однажды в Лондонской гавани, там, где индийские доки, на борт ост-индского корабля, только что прибывшего из Бенгалии. Это было исполинское судно, с многочисленным экипажем из уроженцев Индостана. Причудливые фигуры и группы, странные пестрые одеяния, загадочные выражения лиц, непривычные телодвижения, совершенно-незнакомые звуки говора, веселья и смеха и при этом — суровость некоторых нежно-желтых лиц, глаза которых, подобно черным цветам, взирали на меня с загадочною скорбью — все это вызвало во мне чувство какой-то зачарованности, я словно внезапно перенесся в сказки Шехерезады, и мне начало уже казаться, что сейчас появятся широколиственные пальмы и длинноногие верблюды, покрытые золотом слоны и другие сказочные деревья и животные. Начальник над грузом, находившийся на судне, и так же мало, как я, понимавший язык этих людей, с чисто британской ограниченностью без конца рассказывал мне, что это за дурацкий народ, почти все — магометане, согнанные со всех азиатских стран от границ Китая до Аравийского моря, среди них даже несколько черных, как смоль, курчавых африканцев.

Мне в то время уже достаточно опостылела пустота Запада, я временами чувствовал себя столь усталым от Европы, что этот кусочек Востока, радостно и пестро двигавшийся перед моими глазами, был для меня бодрящим бальзамом; по крайней мере сердце мое освежили несколько капель того напитка, которого я так часто алкал в уныло-ганноверские или королевско-прусские зимние ночи; и чужеземцы, вероятно, заметили, как приятен мне вид их и как хочется мне сказать им ласковое слово. Что и я им нравился, видно было по их задушевному глазам — они тоже охотно сказали бы мне что-нибудь приятное, и грустно было, что никто из нас не знал чужого языка. Тут я нашел наконец способ поведать им при помощи одного слова

свое к ним дружеское расположение: почтительно, с протянутою перед рукою, словно для любовного привета, я воскликнул: «Магомет!»

Радость озарила внезапно темные лица чужеземцев, они благоговейно скрестили руки и в ответ мне радостно воскликнули: «Бонапарте!»

XI

ОСВОБОЖДЕНИЕ

Когда у меня опять будет время для праздных исследований, я с скучнейшей основательностью докажу, что не Индии, а Египтом создано то кастовое устройство, которое на протяжении двух тысячелетий сумело рядиться в одеяние всякой страны и обманывать всякую эпоху на ее же собственном языке; оно, быть может, и мертво теперь, но, лицемерно являя облик жизни, продолжает пребывать среди нас со злобным своим взором, насаждая зло, отравляя своим трупным дыханием нашу цветущую жизнь и, в образе вампира средневековья, высасывая кровь и свет из сердец народов. Из ила Нильской долины возникли не только крокодилы, так хорошо умеющие плакать, но и жрецы, умеющие проделывать это еще лучше, и то наследственно-привилегированное сословие воинов, которое кровожадностью и прожорливостью даже превосходит крокодилов.

Двое глубокомысленных немецких людей открыли спасительнейшее средство против худшей из всех казней египетских и посредством черной магии — книгопечатания и пороха — сломали насилие той духовной и светской иерархии, которая образовалась путем союза жречества и воинской касты, то есть так называемой католической церкви и феодального дворянства, и угнетала физически и духовно всю Европу. Печатный станок взорвал здание догматов, в котором рим-

ский верховный поп держал в заточении умы, и северная Европа опять свободно вздохнула, освобожденная от ночного кошмара того клира, который, хотя формально и отступил от египетского начала сословной наследственности, но в душе остался тем более преданным египетской жреческой системе, что держался еще более обособленно, в качестве корпорации старых холостяков, пополняя свой состав не путем естественного размножения, а противоестественно, при помощи мамелюкообразного набора. Точно так же мы видим, как воинская каста теряет свою мощь с тех пор, как старая ремесленная рутина стала бесполезной в военном деле нового времени, ибо трубные звуки пушек сдувают теперь сильнейшие крепостные башни, как охлажденной памяти иерихонские стены, железный рыцарский панцирь столь же мало защищает от свинцового дождя, как полотняная блуза крестьянина; порох уравнил людей, ружье в руках горожанина стреляет так же, как и в руках дворянина, — народ поднимается.

* * *

Прежние движения, наблюдаемые нами в истории ломбардских и тосканских республик, испанских коммун, свободных городов Германии и других стран, не заслуживают чести называться народными восстаниями; это было стремление не к воле, а к вольностям, борьба не за права, а за преимущества; корпорации спорили из-за привилегий, и все оставалось в тесных рамках гильдейского и цехового устройства. Лишь в эпоху реформации борьба приобрела характер всеобщий и духовный; свободы стали требовать в качестве права не привходящего, а изначального, не приобретенного, а прирожденного. Предъявлялись уже не старые пергаменты, а принципы; немецкий мужик и английский пуританин ссылались на Евангелие, изречения которого в ту пору заменяли разум, считаясь даже выше разума, как откровение разума божьего. Там было

ясно высказано: что люди благородны, равно благородны, что высокомерно ставить себя выше других — это достойно проклятия, что богатство — грех и что бедные тоже призваны к наслаждению в прекрасном саду господа, общего отца.

С Библией в одной руке и с мечом в другой двинулись крестьяне по южной Германии и оповестили богатых горожан высокобашенного Нюрнберга о том, что отныне во всей стране не должно быть дома, отличающегося видом от крестьянской избы. Так правдиво и глубоко поняли они свободу. Еще поныне во Франконии и Швабии наблюдаем мы следы этого учения о равенстве, и трепетное благоговение перед святым духом охватывает путника, когда в сиянии месяца он видит мрачные развалины замков времен крестьянской войны. Благо тому, кто; трезво глядя, не видит ничего другого, но кто счастливчик — а таков всякий, сведущий в истории, — тот увидит и охоту на людей, которую немецкое дворянство, самое грубое в мире, подняло против побежденных, увидит, как тысячами убивались безоружные, как их пытали, терзали и мучили, увидит, как из колышащихся хлебных полей таинственно кивают они, окровавленные крестьянские головы, как поет над ними страшный жаворонок, взывая к мести, подобно гельфенштейнскому свирельщику.

Несколько легче пришлось их братьям в Англии и Шотландии; гибель их была не столь бесславна и безрезультатна, и до сих пор мы еще наблюдаем плоды их правления. Но им не удалось прочно обосноваться; изящные «кавалеры» властвуют опять, как и прежде, забавляясь историями о старых, неуклюжих «круглоголовых», которых так хорошо описал дружественный им бард, чтобы усладить их досуг. В Великобритании не произошло никакого общественного переворота; здание гражданских и политических установлений не было разрушено, кастовое господство и цеховое устройство удержались там поныне, и Англия, хотя и прони-

занная светом и теплом новейшей цивилизации, застыла в средневековых формах или, вернее, в состоянии фешенебельного средневековья. Уступки, сделанные там либеральным идеям, с трудом отвоеваны у этой средневековой косности, а все современные улучшения вытекли вовсе не из принципа, а из фактической необходимости, и все они носят проклятую печать половинчатости, требующей всякий раз новых угнетений, новой борьбы на смерть и связанных с нею опасностей. Религиозная реформация только наполовину совершилась в Англии, и среди четырех голых тюремных стен епископско-англиканской церкви чувствуешь себя еще хуже, чем в просторной, красиво расписанной и мягко устланной духовной темнице католицизма. Немногим лучше кончилось дело политической реформации. Народное представительство ограничено до последней возможности: если сословия не различаются между собою покровом одежды, то все же до сих пор еще разделены они различием подсудности, феодального патроната, правом бывать при дворе или традиционными привилегиями и прочими роковыми установлениями, и если имущество и личность в народе зависят теперь уже не от прихоти аристократии, а от закона, то зато законы эти представляют лишь особый род клыков, которыми аристократическое отродье хватает свою добычу, и особый род кинжалов, которыми оно приканчивает народ. Ведь поистине, ни один тиран на континенте не выжал бы, руководясь произволом, столько налогов, сколько приходится платить английскому народу на основании закона, и ни один тиран не был никогда так жесток, как английские уголовные законы, ежедневно убивающие за дела, не превышающие стоимости шиллинга, с холодностью мертвой буквы. Если с недавних пор и подготовляются в Англии некоторые улучшения в этом мрачном положении, если и ставятся кое-где пределы светской и духовной жадности, если теперь и умеряется до некоторой степени великая ложь народного представительства путем передачи кое-каким

крупным фабричным центрам утраченных rotten borough (гнилыми местечками избирательных прав, если, наконец, порою и смягчается жестокая нетерпимость, если некоторые другие секты и получают права — то все-таки все это жалкие заплаты, которые не долго выдержат, и самый глупый портной в Англии сообразит, что рано или поздно старое государственное одеяние расплывется на жалкие лохмотья.

* * *

«Никто не кладет заплаты из нового сукна на старое платье, ибо новое сукно все-таки оторвется от старого, и прореха станет больше. И никто не вливает молодого вина в старые мехи, ибо новое вино порвет мехи и прольется и мехи пронадут. Новое вино надлежит вливать в мехи новые».

Глубочайшая истина расцветает лишь из глубочайшей любви; отсюда и сходство во взглядах того древнего нагорного проповедника, который говорил против иерусалимской аристократии, и тех позднейших, с «горы» Конвента проповедывавших в Париже трехцветное евангелие, согласно которому не только форма государства, но и вся общественная жизнь должна была быть не заплатана, но заново перестроена, заново обоснована, даже сызнова рождена.

Я говорю о французской революции, о мировой эпохе, когда учение о свободе и равенстве так победоносно возникло из того всеобщего источника познания, который мы называем разумом, и который, в качестве непрестанного откровения, отзывающегося в уме каждого человека и обосновывающего знание, должен быть признан много выше того откровения по преданию, которое явлено лишь немногим избранным, и в которое широкие массы могут только верить. Этот последний вид откровения, аристократический по своей природе, никогда не был в состоянии так уверенно бороться с господством привилегий, с преимуществами кастовых

разделений, как борется разум, демократический по самой своей природе. История революции — военная история этой борьбы, к которой все мы так или иначе причастны; эта борьба на смерть с египетским началом.

Хотя мечи врагов и притупляются с каждым днем, хотя мы заняли уже лучшие позиции, все же мы можем запеть песнь победы не прежде, чем доведем дело до конца. Только по ночам, во время перемирия, можем мы с фонарем выходить на поле сражения, хоронить мертвых. Мало пользы в короткой надгробной речи! Клевета, наглый призрак, усаживается на самых благородных могилах...

Ах! ведь борьба идет и с тем наследственным врагом истины, который так хитро умеет опорочить доброе имя своих противников и который сумел принизить даже того, первого нагорного проповедника, чистейшего героя свободы; не будучи в состоянии отказать ему в том, что он величайший из людей, они сделали его ничтожнейшим из богов. Кто борется с попами, пусть будет готов к тому, что самая искусная ложь и самая меткая клевета будут позорить и чернить его бедное доброе имя. Но, подобно тому, как те знамена, которые больше всего разодраны в бою пулями и почернели от порохового дыма, чтятся больше, чем самые чистые целые рекрутские знамена, и под конец помещаются в соборах в качестве национальных реликвий, так когда-нибудь и имена наших героев, чем более разодраны они и очернены, тем пламеннее будут чтиться в женевьевском священном храме Свободы.

Революция, как и герои ее, оклеветана и представлена во всевозможных памфлетах как страшилище государей и пугало народов. Детей в школах заставляют заучивать наизусть все так называемые ужасы революции; на ярмарках некоторое время только и можно было видеть что ярко раскрашенные изображения гильотины. Нельзя, правда, отрицать, что этой машиной, которую избобрел один французский врач,

великий мировой ортопед, мосье Гильотен, и которая весьма легко отделяет глупые головы от злых сердец, этой целебной машиной пользовались довольно часто, но все же только при неизлечимых болезнях, например, при измене, лжи и слабости; притом пациентов не долго мучили, не пытали и не колесовали, как некогда в доброе старое время мучили, пытали и колесовали тысячи и десятки тысяч разночинцев и мещан, горожан и мужиков. Правда, ужасно, что французы, при помощи этой машины, ампутировали даже главу своего государства, и не знаешь, обвинять их на этом основании в отцеубийстве или в самоубийстве; но если мы примем во внимание смягчающие обстоятельства, то убедимся, что Людовик Французский стал жертвою не столько страстей, сколько обстоятельств, и что те люди, которые принудили народ к такой жертве и которые сами во все времена гораздо более обильно проливали кровь государей, не должны бы были выступать в роли обвинителей. Лишь двух королей, которые оба были королями более дворянскими, чем, народными, принес народ в жертву, и притом не в мирное время и не с низменными целями, но в крайне тяжелый боевой момент, когда он убедился в их измене и когда меньше всего щадил свою собственную кровь; но, конечно, больше тысячи государей пали от рук изменников, жертвами жадности или своеволия, убитые кинжалом, мечом или ядом дворян и попов. Похоже на то, что эти касты считали и дареубийство своею привилегией, а потому так своекорыстно скорбели о смерти Людовика XVI и Карла I. О, если бы короли убедились наконец, что они в качестве королей своего народа под защитой законов могут жить много спокойнее, чем под охраною своих знатных лейб-убийц!

* * *

Впрочем, оклеветали не только героев революции и самую революцию, но и всю нашу эпоху; с неслыхан-

ною дерзостью исказили целиком всю литургию священнейших наших идей, и если послушать или почитать их, наших жалких хулителей, то народ оказывается сволочью, свобода — нахальством; с вознесенными к небу очами, благочестиво вздыхая, жалуются они и скорбят, что мы распутны и что у нас, к сожалению, нет никакой религии. Лицемерные святоши, пресмыкающиеся под придавившим их бременем тайных грехов, осмеливаются поносить эпоху, может быть, самую священную из всех предшествовавших и последующих, эпоху, которая приносит себя в жертву за грехи прошлого и за счастье будущего. Мессию среди столетий, которому едва ли был бы под силу кровавый терновый венец и тяжелое бремя креста, если бы он время от времени не напевал веселой водевильной арии, не отпускал шуток насчет новейших фарисеев и саддукеев. Без такого шутовства и зубоскальства были бы невыносимы исполинские муки. Серьезное выявляется с тем большей силой, когда ему предшествует шутка. Наша эпоха похожа в этом отношении на своих детей из французов, которые писали очень забавные, легкомысленные книги и в то же время могли быть очень строгими и серьезными там, где строгость и серьезность необходимы; так, например, Лакло и особенно Лувэ де Куврэ при случае бились за свободу с мученической отвагой и самопожертвованием, но писали в то же время весьма фривольные и скользкие вещи и, к сожалению, не были религиозны.

Как будто свобода не такая же религия, как и всякая другая! А так как это наша религия, то, воздавая тою же мерою, мы могли бы объявить наших хулителей распутными и нерелигиозными.

Да, я повторяю слова, которыми начал эту книгу: свобода — новая религия нашего времени. Если Христос и не бог этой религии, то все же он верховный жрец ее, и имя его излучает благодать в сердца учеников. Французы же избранный народ этой религии; на их языке начертаны первые ее евангелие и догматы.

Париж — новый Иерусалим, а Рейн — Иордан, отделяющий священную землю свободы от страны филистеров.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

(Написано 29 ноября 1830 г.)

То было подавленное, арестованное время в Германии, когда я писал второй том «Путевых картин» и вместе с тем печатал его. Но прежде чем он появился, кое-что о нем уже стало известно среди публики; говорили, что книга моя имеет целью поднять упавший дух свободы, и что уже принимаются в свою очередь меры, чтобы запретить ее. При наличии таких слухов, представлялось правильным как можно скорее закончить эту вещь и выпустить ее из печати. Так как она должна была содержать определенное число листов, чтобы ускользнуть от требований достохвальной цензуры, то я в своем стесненном положении уподобился Бенвенуто Челлини, когда ему при отливке Персея нехватило бронзы, и для заполнения формы пришлось бросить в плавильную печь все оловянные тарелки, какие оказались под рукой. Легко, конечно, было различить олово, в особенности оловянный конец книги, от более благородной бронзы, но тот, кто знал толк в ремесле, не выдавал мастера.

Однако все в мире повторяется; вышло так, что при этих «Дополнениях» возникли подобные же стеснительные условия, и мне опять пришлось примешать к литью много олова. Хотелось бы, чтобы это оловянное литье приписано было исключительно требованиям времени.

Ах! ведь и вся эта книга возникла в силу требований времени, так же как и прежние сочинения подобного направления; ближайшие друзья автора, знакомые с его личными обстоятельствами, очень хорошо знают, как мало влечет его на трибуну собственный, личный интерес, и как велики жертвы, которые приходится ему приносить за каждое свободное слово, которое он

с тех пор вымолвил и, бог даст, еще вымолвит. В настоящее время слово есть дело, последствий которого предусмотреть нельзя; никто ведь не может знать, не придется ли ему в конце концов попасть на скамью преступников за свои слова.

Много лет уже я тщетно жду слова тех отважных ораторов, которые в былое время в собраниях немецкой молодежи так часто просили слова и так часто побеждали меня своими ораторскими талантами, и говорили таким многообещающим языком; прежде они были так несдержанно болтливы, а теперь так сдержанно тихи *. Как поносили они тогда французов и западный Вавилон и того анти-немецкого фривольного предателя отчизны, который хвалил все французское. Хвалы эти оправдались в великую неделю.

Ах, великая парижская неделя! Правда, дух свободы, которым повелею оттуда в Германию, опрокинул кое-где ночники, так что красные занавесы кое-каких тронов загорелись, и золотые венцы накалились под вспыхнувшими ночными колпаками, но старые соглядатаи, которым вверен полицейский надзор над Германией, уже тащат ведра с водой и принимают с тем большею бдительностью, и тайком куют более крепкие цепи, и я замечаю уже, как незримо воздвигаются более непроницаемые тюремные стены вокруг германского народа.

Бедный народ-пленник! Не отчаивайся в своем несчастии. О если бы речь моя была как катапульта! Если бы сердце мое могло метать стрелы, как фаларика!

Ледяная оболочка гордости оттаяла вокруг моего сердца, странная скорбь охватывает меня — не любовь ли это, любовь к немецкому народу? Или это — болезнь? Душа моя трепещет, глаза горят, а это — неподходящее состояние для писателя, который должен владеть материалом и оставаться строго объективным,

* Игра слов: *Vorlaut und nachstill* — буквально: «громогласны до и молчаливы после».

как требует того художественная школа, и как поступал и Гете — он дожил при этом до восьмидесятилетнего возраста и стал министром и приобрел состояние — бедный немецкий народ! Это твой самый великий человек!

Мне нехватает нескольких страниц и я расскажу еще одну историю — она со вчерашнего дня у меня в голове — это история из жизни Карла V. Но прошло уже много времени с тех пор, как я ее слышал, и я не вполне точно помню подробности. Такие вещи легко забываются, когда не получаешь определенного жалования за то, чтобы каждые полгода читать истории по тетрадке. Да и что в том, что забываешь название местностей и даты, лишь бы удержать в памяти внутренний смысл этих историй и их мораль. Она-то собственно и звучит у меня в мыслях и настраивает меня грустно, до слез. Боюсь, что я заболую.

Бедный император был взят в плен врагами и сидел в строгом заточении. Кажется, это было в Тироле. Он сидел там одинокий и грустный, покинутый всеми рыцарями и придворными, и никто не являлся к нему на помощь. Не знаю, отличался ли он уже тогда тою творожною бледностью лица, с какою он воспроизведен на портретах Гольбейна. Но нижняя губа, с выражением презрения к человечеству, выступала вперед, несомненно, еще резче, чем на этих портретах. Нельзя же было ему не презирать людей, которые, в солнечном сиянии счастья, с такою преданностью пресмыкались перед ним и теперь покинули его одного во мраке невзгод. И вот внезапно отворилась дверь темницы и вошел закутанный в плащ человек; когда он откинул плащ свой, император узнал верного Кунца фон дер Розена, придворного шута. Он — придворный шут — принес ему утешение и совет.

О, немецкая отчизна! Дорогой немецкий народ! Я твой Кунц фон дер Розен. Человек, чье ремесло собственно — развлекать, тот, который должен был веселить в дни счастья, — он проникает в твою темницу

в час невзгоды; здесь, под плащом, я принес с собою твой мощный скипетр и прекрасную корону. Ты не узнаешь меня, мой император? Если я не могу освободить тебя, то я хоть утешу тебя; пусть около тебя будет человек, который и поболтает с тобой о твоём тяжёлом горе, и ободрит тебя любя, — тот, чьи лучшие шутки и лучшая кровь к твоим услугам. Ибо ты, народ мой, истинный император, истинный владыка над страной — твоя воля закон, она много законнее, чем пурпурное *Tel est notre plaisir*, * которое ссылается на божественное право, основанное исключительно на пустословии фигляров в тонзурах — твоя воля, народ мой, единственный правомерный источник всяческой власти. Пусть ты и лежишь в оковах, — в конце концов победит твоё бесспорное право, близится час освобождения, начинается новое время, ночь минула, мой император, и за окном занимается утренняя заря.

«Кунц фон дер Розен, мой шут, ты ошибаешься; ты, может быть, принимаешь блестящий топор за солнце, а утренняя заря — это только кровь?»

«Нет, мой император, это — солнце, хотя оно и восходит на Западе; шесть тысячелетий оно восходило на Востоке, пора ему изменить свой ход».

«Кунц фон дер Розен, мой шут, ты потерял бубенчики от своего красного колпака, он теперь какой-то странный, твой красный колпак».

«Ах, мой император, скорбя о вас, я так неистово тряс головой, что дурацкие бубенчики соскочили с колпака, но он не стал от этого хуже».

«Кунц фон дер Розен, мой шут, что это шумит и трещит там, за стеной?»

«Тише, это пила и плотничий топор. Скоро распдутся двери вашей темницы, и вы станете свободны, мой император».

«Разве правда — я император? Ах, ведь это только шут говорит мне!»

* Так нам угодно

«О, не вздыхайте, мой дорогой господин, воздух темницы внушил вам такой страх; когда вы вернете свою власть, вы вновь почувствуете в жилах смелую императорскую кровь и станете гордым, как император, и высокомерным и милостивым, и несправедливым и улыбающимся и неблагодарным, как все государи».

«Кунц фон дер Розен, мой шут, когда я опять буду на свободе, что ты станешь делать?»

«Я нашью себе на колпак новые бубенцы».

«А как мне вознаградить тебя за твои услуги?»

«Ах, государь, не велите убивать меня!»

ПРИЛОЖЕНИЯ



ЧАЙ

Место действия истории, которую я расскажу теперь, опять Луккские воды.

Не пугайся, немецкий читатель, — здесь не будет никакой политики, а только философия или, вернее, философская мораль, которая тебе так по душе. Очень политично с твоей стороны, конечно, то, что ты знать ничего не хочешь о политике; ведь тебе пришлось бы слышать только вещи неприятные или унижительные. Мои друзья с полным правом сердились на меня за то, что я в последние годы почти исключительно занимался политикой и даже писал политические книги. «Мы, правда, их не читаем, — говорили они, — но нас пугает уже то, что такие вещи печатаются в Германии, стране философии и поэзии. Если ты не хочешь вместе с нами предаваться сновидениям, то хоть нас не буди от сладкого сна. Брось ты политику, не расточай на нее своего золотого времени, не забрасывай своего прекрасного таланта к песням любви, трагедиям, новеллам и излагай нам в них твои художественные взгляды или какую-нибудь доброкачественную философскую мораль».

Что ж, извольте, — спокойно, подобно другим, я растянусь на ложе грез и расскажу свою историю. Философская мораль, которая должна в ней содержаться, заключается в положении: мы бываем иногда смешны, без малейшей в том вины. В этом положении следовало бы, собственно, говорить от первого лица единственного числа, — что ж, так и сделаю, только прошу тебя, любезный читатель, не присоединяйся к хохоту, в котором я

не повинен. Ибо разве виноват я в том, что у меня хороший вкус и что я люблю хороший чай? И я человек благодарный и, будучи на Луккских водах, восхваляя своего хозяина за то, что он давал мне здесь такой превосходный чай, какого я до сих пор никогда не пил. Эти славословия я очень часто повторял и у леди Вулен, проживавшей в этом же доме, и эту даму хвала моя тем больше удивляла, что, несмотря на все ее просьбы, ей, как жаловалась она, не удавалось добиться от нашего хозяина порядочного чаю и она вынуждена была выписывать для себя чай нарочным из Ливорно; — «но он божественно хорош», прибавила она с небесной улыбкой. «Миледи, — возразил я, — бьюсь об заклад, что мой много лучше». Дамы, случайно присутствовавшие при этом, были приглашены мной на чашку чая и обещали завтра в шесть часов собраться на веселом холме, где так уютно сидеть вместе и смотреть вниз на долину.

Час настал, столик накрыт, бутерброды нарезаны, дамочки в веселой беседе, — но чай не появлялся. Пробило шесть, пробило половину седьмого; вечерние тени, как черные змеи, свивались у подножья гор, леса благоухали все более страстно, птицы щебетали все настойчивей, — но чая не было. Лучи солнца озаряли уже только вершины гор, и я обратил внимание дам на то, что оно медлит уходом, явно не желая расстаться с обществом других солнц. Это было недурно сказано, — но чая не было. Наконец, наконец со скорбным лицом появился мой хозяин с вопросом: не угодно ли нам получить вместо чая шербет? «Чаю! Чаю», — в один голос закричали мы. «Непременно, и того самого, — прибавил я, — который я пью каждый день». — «Того самого, эччеленца? Никак невозможно!» — «Почему невозможно?» — недовольно вскричал я. Все смущеннее становился мой хозяин, он бормотал, он запинаясь и лишь после долгого колебания сознался, — и страшная загадка разъяснилась.

Дело в том, что этот господин прекрасно владел известным искусством: в чайник, из которого уже выпили

чай, наливать крутой кипяток, и чай, который мне так нравился и которым я так хвастался, был ежедневно не что иное, как настой того самого, уже спитого чая, который моя соседка, леди Вулен, выписывала из Ливорно.

Горы, окружающие Луккские воды, отличаются необыкновенным эхо и умеют долго повторять звонкий дамский хохот.



О ТЕЛЕСНОМ НАКАЗАНИИ В АНГЛИИ

Я не могу направить в прессу настоящую статью, не присоединив к ней нескольких замечаний. Я вполне разделяю чувство издателя, суждение которого о военной дисциплине, несомненно, гораздо компетентнее моего. Я не могу достаточно решительно уверить, насколько я предубежден против розог вообще и как возрастает мое негодование, когда я вижу наказанных розгами ближних.

Гордый повелитель земли, высокий дух, властвующий над морями и постигающий законы светил, ничем, конечно, не унижается в такой мере, как телесным наказанием. Боги, для того чтобы погасить пылающую гордыню людей, изобрели розги. Однако люди, дух изобретательности которых был обострен подавленным негодованием, изобрели, в свою очередь, *Point d'honneur*. Французы, японцы, индийские брамины и офицерская корпорация на континенте изощрили это изобретение, кровавую месть за оскорбление чести они заключили в параграфы, и дуэли, осужденные государственными законами, религией и даже разумом, остаются все же прекрасным проявлением человечности.

Однако у англичан, у которых все другие изобретения доведены до высокой степени совершенства, *Point d'honneur* не получило еще надлежащего лоска; англичанин все еще считает розги меньшим злом, чем смерть, и во время моего пребывания в Англии я был свидетелем многих сцен, которые привели меня к заключению, что розги в свободной Англии оказывают на личную честь не столь тяжелое действие, как в деспотической

Германии. Я видел наказанных розгами лордов, и казалось, что они ощущают только физическую сторону этого оскорбления. На скачках в Ипсеме и Брайтоне я видел жокеев, которые, чтобы расчистить путь участникам состязания, бегали взад и вперед, размахивая кнутами и сгоняя с дороги лордов и джентльменов. И что же делали задетые таким образом господа? Они смеялись с кислой физиономией.

Однако, если телесное наказание в Англии не позволяет человека так, как у нас, этим еще не смягчается возражение против его жестокости. Впрочем, все это относится не к английскому народу, но к аристократии, которая под благоденствием Англии подразумевает лишь обеспеченность своего господства. Свободным людям с свободным чувством чести не может поверить эта деспотическая клика; она нуждается в слепом послушании высеченных рабов. Английский солдат должен быть совершенной машиной, совершенным автоматом, марширующим и стреляющим по команде. Ему не нужно поэтому, чтобы его командир был выдающейся личностью. Такой военачальник был нужен свободным французам, которых вел энтузиазм и которые некогда, зажженные огнем души своего полководца, как в опьянении, покорили мир. Английским солдатам не нужен полководец или даже фельдмаршальский жезл, но лишь капральская палка, которая, как и следует ожидать от пуска дерева, с полным спокойствием и точностью исполняет все тонко рассчитанные министерские инструкции. Но, увы! раз уж я должен хоть разок ее похвалить, признаюсь, что великолепной палкой этого образца был... Веллингтон, этот грубо вырезанный паяц, приводимый в движение шнурком, за который дергает аристократия; — этот деревянный вампир с деревянным взглядом (*wooden look*, как говорит Байрон), и, прибавлю, с деревянным сердцем. Воистину, старая Англия может причислить его к тем деревянным защитным стенам*, которыми она постоянно хвастается.

* Кораблям.

Генерал Фуа в своей истории войны на Пиренейском полуострове великолепно изобразил контраст между французскими и английскими военными, их дисциплиной, и это изображение показывает нам, что делает из солдата чувство чести и что делает розга.

Надо надеяться, что жестокая система, которой следует английская аристократия, продержится недолго и Джон Буль сломает свою капральскую палку. Ибо Джон Буль добрый христианин, он кроток и доброжелателен, он тяжело вздыхает о суровости своих законов, и в его сердце живет человечность. Я мог бы рассказать на эту тему прекрасную историю. Но об этом в другой раз.



ДЖОН БУЛЬ

Нам кажется, что ирландцы, в силу неизменного закона своей природы, считают праздность подлинным и самым характерным признаком джентльмена; любой из этого народа остается прирожденным джентльменом, хотя ему, по бедности, иной раз и нечем прикрыть свою благородную заднюю часть; поэтому и случается, что сравнительно немногие отпрыски Зеленого Эрина смешиваются с купечеством Сити.

Ирландцы, получившие небольшое образование, или даже вовсе никакого, — а таких едва ли не большинство, — являются джентльменами-поденщиками (*gentlemen day-labourers*), остальные же — джентльменами «в себе». Если бы они могли быстрым *coup de main** получить в свое распоряжение торговый капиталец, они, вероятно, охотно бы на это пошли; но они не могут усесться на трехногом конторском стуле и на долгие дни прирасти к конторке и к объемистым торговым книгам, чтобы стяжать себе трудно дающееся сокровище.

Это как раз дело шотландца. Его желание взобраться на верхушку дерева так же довольно горячо; однако он в своих надеждах более напорист, чем сангвиничен, и усердие и выдержка заменяют у него быструю вспышку. Ирландец прыгает и скачет вокруг дерева как белка, и если он, как часто бывает, недостаточно крепко ухватится за ствол или ветки, он шлепается в грязь и встает если не ушибленный, то весь перепачканный;

* Смелым предпрятием.

однако он снова станет неумоимо прыгать туда и сюда, готовясь к новой попытке, которая, вероятно, окажется также бесплодной. Наоборот, нерешительный шотландец весьма тщательно выбирает дерево, исследует, достаточно ли оно велико и крепко, чтобы его выдержать, и достаточно ли глубоко укоренилось в почве, чтобы не быть вырванным бурей случайности. Он заботится и о том, чтобы нижние сучья были легко доступны и чтобы дальнейшее их расположение на стволе обеспечивало надежный подъем. Он начинает снизу, внимательно осматривает каждый сук, прежде чем ему довериться, и не двинет ногой, пока не убедится, что следующий сук вполне прочен. Другие люди, более горячие и менее осмотрительные, взбираются выше него и издеваются над его боязливой и медлительным продвижением; но это мало его трогает, он карабкается все выше, терпеливо и настойчиво, и когда другие срываются вниз, а он все еще наверху, — приходит и ему черед смеяться, и он смеется от всей души.

Эта удивительная способность шотландца выдвигаться в торговых делах, его исключительная уступчивость перед начальством, неизменное проворство, с каким он ставит свой паруса по любому ветру, — являются причиной того, что в торговых домах Лондона можно встретить не только бесчисленное множество шотландских конторщиков, но и шотландцев в роли компаньонов. И все же не могут шотландцы, несмотря на свою многочисленность и влияние, сообщить торговым сферам лондонского общества отпечаток своего национального характера. Именно те свойства, благодаря которым шотландцы оказываются в начале своей карьеры прекрасными слугами своего начальства, а позднее прекрасными компаньонами, ведут к тому, что они, как обезьяны, перенимают привычки и вкусы окружающей среды. Кроме того, они обнаруживают, что все те вещи, которые они привыкли высоко ценить у себя дома, в их новом отечестве не слишком-то уважают. Их ничтожные феодальные связи, их хвастовство родством с каким-

нибудь небритым владельцем двух или трех голых гор, их легенды о двух-трех выдающихся людях, имена которых никому не известны за пределами Шотландии, пуританская умеренность, в которой они были воспитаны, бережливость, ими усвоенная, и многое другое — решительно не вяжутся с положительными и широкими замашками Джона Буля.

Черты Джона Буля так рельефно и резко отчеканены, как это бывает на греческих медалях, и где и в каком виде вы бы его ни встретили, слугой или господином, — его нельзя не распознать. Везде он является чем-то в роде тяжеловесного факта, существом очень честным, но холодным и во всяком случае отталкивающим. Он обладает солидностью материальной субстанции, и где бы и с кем бы он ни находился, всегда бросается в глаза, что Джон Буль считает себя главным лицом и никогда не примет совета или наставления от человека, который думает, что он в этом нуждается. Где бы он ни был, нельзя не заметить, что его комфорт, его собственный, непосредственный, личный комфорт, есть главный предмет всех его желаний и стремлений. Достаточно Джону Булю усмотреть перспективы какой-нибудь выгоды — и он с первого же знакомства будет вам доступен. Но если вы захотите стать его интимным другом, вам придется ухаживать за ним как за женщиной, а когда вы наконец добьетесь его дружбы, то скоро увидите, что она не стоила такого труда. Сначала, когда вы его домогались, он дарил вас холодно отмеренной вежливостью, но и потом вы едва ли получите от него что-нибудь большее. Вы встретите у него бездушный формализм и откровенное себялюбие, каким другие, может быть, и обладают, но тщательно его скрывают; и роскошнейший обед англичанина покажется вам менее вкусным, чем горсть фиников, полученная от бедуина в пустыне.

Но если Джон Буль самый холодный друг, то он благонадежнейший сосед и самый благородный и великодушный враг; если он охраняет свой собственный замок как паша, то он не пытается врываться и в чужой.

Комфорт и независимость, — под первым он разумеет право купить себе все, что может содействовать его уюту, под вторым — сознание, что он может сделать все, что хочет, и сказать все, что думает, — для него важнее всего, и, заручившись ими, он уже мало заботится о случайных, может быть эфемерных, привилегиях, которые причиняют прочим смертным столько страданий и лишений. Его гордость, — а он обладает гордостью в достаточной степени, — непохожа на гордость библейского Гамана; его мало заботит, расположен ли еврей Мардохай у дверей его дома, его заботит лишь, чтобы названный Мардохай не влез к нему в дом без специального разрешения, которое он ему, конечно, даст лишь в том случае, если это согласуется с его выгодой и комфортом.

Его гордость — чисто английский продукт; хотя он и немало хвастается, но его хвастовство совсем иного сорта, чем у других народов. Не было еще случая, чтобы он напускал на себя важность из-за своих предков, и если у Джона Буля карманы набиты гинеями и он обзавелся теплым местечком, то его мало трогает, кем был его дед — герцогом или ломовиком. «Каждый отвечает за себя, а не за своего отца», — таков принцип Джона, которым он и руководствуется в своих поступках. Он гордится только тем, что он англичанин, что он увидел свет где-нибудь между Лоустофтом и Сент-Дэвисом или между Пенпансом и Бервиком, и считает, что это делает ему больше чести, чем если бы он родился на каком-нибудь другом клочке нашей планеты. Ибо старая Англия принадлежит ему, и он принадлежит старой Англии. Ей же нет ничего равного во всем мире, она может прокормить весь мир, весь мир воспитать и, если на то пошло, также и покорить весь мир.

Но все это говорится лишь вообще, так как, если вы коснетесь частных или затронете личные интересы Джона, то окажется, что в его хваленной Англии, собственно говоря, нет ничего, чем бы он был вполне доволен, исключая самого себя.

Стоит упомянуть короля, того самого короля, трон которого он несет с такой гордостью на своих плечах — и сейчас же начнет он жаловаться на расточительность королевского двора, на продажность чиновников благодаря королевскому попустительству, на угрожающий рост влияния короны, и станет клясться, что если не будут приняты серьезные и значительные ограничения, то скоро Англия перестанет быть Англией.

Упомяните парламент — он станет ворчать и проклинять обе палаты, жаловаться, что верхняя пользуется покровительством двора, а нижняя полна духа партийности и продажности, и будет, пожалуй, заверять, что лучше было бы Англии вовсе не иметь парламента. Упомяните церковь — и он разразится воплями по поводу десятины и по адресу разжиревших попов, которые сделали божье слово своей собственностью и пожирают плоды чужих трудов в часы своего молитвенного безделья. Упомяните общественное мнение и огромные преимущества быстрого распространения всевозможных путей сообщения — и он станет вас уверять, что заблуждение посредством этих путей распространяется так же быстро, как истина, и народ отказывается от прежних глупостей, чтобы усвоить новые. Короче говоря, в Англии нет ни одного института, которым Джон был бы вполне доволен. Даже стихии вызывают его порицание, и с начала до конца года ворчит он на климат так же яростно, как и на предметы, зависящие от человека. Если копнуть его поглубже, окажется, что он недоволен даже и теми благами, которые сам приобрел. И если он скопил даже большое богатство, он продолжает тянуть свою песенку, что он прогорает; он, видите ли, нищий, а между тем живет среди роскоши во дворце; он, видите ли, умирает с голоду, а между тем так отъелся, что ему трудно пройти из одного конца комнаты в другой.

Только одно при всяких обстоятельствах никогда не перестанет он хвалить — это свой флот, военные суда, «деревянные стены» старой Англии; он хвалит их, может быть, потому, что не видит их вблизи.

Однако мы не хотим порицать эту страсть. Отчасти благодаря ей Англия стала тем, что она есть, и сохранилась неизменной. Эта ворчливость грубого, упрямого Джона Буля и является, может быть, оплотом британского величия за границей и британской свободы на родине; и хотя многие колонии Великобритании не умеют это достаточно ценить, своим благополучием они обязаны прежде всего постоянному ворчанью Джона Буля, а не эластичной философии шотландца или огненному темпераменту ирландца.

Эти два народа при нынешних тяжелых обстоятельствах не обладают, кажется, достаточной выдержкой, чтобы сохранить свои права и обеспечить себе здоровье; и если надо отстоять от покушений общую свободу или принять меры для общего блага, в большинстве случаев, как показывают дневники парламента и подаваемые петиции, с подобным протестом или защитой выступает не кто иной, как Джон Буль, ворчливый, себялюбивый, брюзжащий, но зато смелый, мужественный, независимый, неподатливый, всюду пролезаящий и всюду пробывающий — Джон Буль.

ДОПОЛНЕНИЯ И ВАРИАНТЫ

Перевод

А. Г. Горнфельда

и А. Г. Гойхбарга



ДОПОЛНЕНИЯ

ПРЕДИСЛОВИЕ К ФРАНЦУЗСКОМУ ИЗДАНИЮ 1834 ГОДА

Всегда будет представляться трудным решение вопроса, как надлежит переводить немецкого писателя на французский язык. Следует ли опускать там и здесь мысли и образы, в тех случаях, когда они расходятся с цивилизованными вкусами французов и когда они могли бы показаться им преувеличением, неприятным и даже смешным? Или не следует ли вводить неприлизанного немца в прекрасный парижский свет со всей его зарейнской оригинальностью, фантастически расцвеченным германизмами и перегруженным чрезмерно романтической орнаментацией? Что до меня, то на мой взгляд не следует передавать неприлизанный немецкий язык прирученной французской речью, и я предстою здесь самолично в моем прирожденном варварстве наподобие индейцев Шаррюаса, которым вы оказали прошлым летом столь благосклонный прием. Ведь и я тоже боец, каким был великий Такуабе. Он умер, и бранные останки его благоговейно сохраняются в зоологическом музее Jardin des plantes, этом Пантеоне животного царства. Эта книга — балаган. Войдите, не бойтесь. Я не такой злой, как кажется. Я раскрасил себе лицо такими страшными красками лишь для того, чтобы в бою напугать моих врагов. По существу я кроток как ягненок. Успокойтесь же и подайте мне руку. И мое оружие тоже можете потрогать, даже лук и стрелы, ибо я затупил их наконечники, как делаем мы, варвары, всегда, приближаясь к священному месту. Между нами

говоря, эти стрелы были не только остры, но и ядовиты. Ныне они совершенно безвредны и безобидны, и вы можете развлечься, рассматривая их пестрое оперение; даже ваши дети могли бы поиграть ими.

Расстанусь с татуированным языком и стану объясняться по-французски.

Стиль, связь мыслей, переходы, резкие выходы, странность выражения — словом весь характер немецкого подлинника дословно, насколько это было возможно, воспроизведен в этом французском переводе «Reisebilder». Чувство красоты, изящество, приятность, грация принесены в жертву буквальной точности. Теперь — это немецкая книга на французском языке, которая не имеет притязаний понравиться французским читателям, но лишь познакомить их с чужеземным своеобразием. Словом, я намерен поучать, а не только развлекать. Таким именно способом мы, немцы, переводили иностранных писателей, и это было нам полезно: здесь мы усваивали новые точки зрения, словесные формы и обороты речи. Такое приобретение не повредило бы и вам.

Предположив прежде всего познакомить вас с характером этой экзотической книги, я не видел необходимости представлять ее вам в полном виде, прежде всего потому, что многие эпизоды в ней, покоящиеся на местных намеках и на намеках, отражавших современность, на игре слов и иных особенностях этого рода, не поддавались французской передаче; затем, потому, что многие части, со всей враждебностью направленные против лиц, неизвестных в нашей стране, могли во французском переводе подать повод к самым неприятным недоразумениям. В связи с этим я опустил главный отрывок, где дано было изображение острова Нордерней и немецкой знати. Отдел об Англии сокращен более чем вдвое; все это относилось к тогдашней политике. Те же побуждения заставили меня отказаться от ряда глав в отделе «Италия», написанном в 1828 году. И все же, сказать правду, мне пришлось бы пожертвовать всем

этим отделом, если бы я вздумал по таким же соображениям воздерживаться от всего, касающегося католической церкви. Однако я не мог позволить себе не устранить одну, слишком резкую, часть, слишком отдававшую ворчливым протестантским рвением, оскорбляющим вкус веселой Франции. В Германии такое рвение ни в коем случае не могло считаться неуместным, ибо в качестве протестанта я имел возможность нанести обскурантам и тартюфам вообще и немецким фари́сеям и саддукеям в частности удары, гораздо более верные, чем если бы я говорил как философ. Однако, чтобы читатели, вздумав сопоставить перевод с подлинником, не могли на основании этих сокращений обвинять меня в чрезмерных уступках, я объясняюсь с полной определенностью по этому вопросу.

Книга эта, за исключением нескольких страниц, написана до Июльской революции. В эти годы политический гнет установил в Германии всеобщее глухое безмолвие; умы впали в летаргию отчаяния, и человек, все же осмелившийся заговорить, вынужден был высказаться с тем большей страстностью, чем более он отчаялся в победе свободы и чем яростнее партия духовенства и аристократии неистовствовала против него. Я употребляю эти выражения «духовенство» и «аристократия» по привычке, так как в ту пору всегда пользовался этими словами, когда в одиночестве вел эту полемику с поборниками прошлого. Эти слова были тогда понятны всем, и я, должен сознаться, жил тогда терминологией 1789 года и орудовал большим выбором тирад против клириков и дворянства, или, как я их называл, против духовенства и аристократии; но с тех пор я ушел дальше по пути прогресса, и мои любезные немцы, разбуженные июльскими пушками, следовали по моим стопам и говорят теперь языком 1789 и даже 1793 года, однако настолько отстали от меня, что потеряли меня из виду и уверяют себя, что я остался позади их. Меня обвиняют в чрезвычайной умеренности, в том, что я сошелся с аристократами, и я предвижу

день, когда меня обвинят в сговоре с духовенством. На самом деле под словом «аристократия» я понимаю теперь не только родовую знать, но всех, кто, как бы он ни назывался, живет за счет народа. Прекрасная формула, которою мы, как и многими превосходными вещами, обязаны сен-симонистам — «l'exploitation de l'homme par l'homme» — «эксплоатация человека человеком», — ведет нас далеко за пределы всяких разглагольствований о привилегиях рождения. Наш старый боевой клич против жречества равным образом заменен лучшим лозунгом. Речь больше не идет о насильственном ниспровержении старой церкви, но о создании новой, и, далекие от желания уничтожить жречество, мы хотим теперь сами стать жрецами.

Для Германии, несомненно, период отрицания еще не закончен; он едва начался. Напротив, во Франции он как будто приходит к концу; мне во всяком случае представляется, что здесь следовало бы скорее отдаться положительным устремлениям и заняться воссозданием всего благого и прекрасного, что есть в наследии прошлого.

Из некоторого литературного суеверия я оставил немецкое заглавие моей книги. Под именем «Reisebilder» * она преуспела на свете (гораздо больше, чем сам автор), и мне захотелось, чтобы она сохранила это счастливое название и во французском издании.

Париж, 20 мая 1934 года

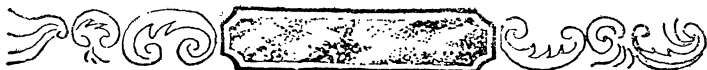
Генрих Гейне.

Второму изданию этой части «Путевых картин» на немецком языке (1830) предшествовало следующее предисловие:

«Некоторые стихотворения, составлявшие в первом издании этой книги заключение отдела «Опять на родине», необходимо было исключить из этого второго издания уже по той причине, что они скорее нарушали,

* «Путевые картины»

чем скрепляли единство книги, и к тому же напечатаны в новом полном собрании моих стихотворений («Buch der Lieder» von H. Heine. Hamburg, bei Hoffman und Campe 1827). Я не позволил себе там ни дополнительных улучшений, ни какого-либо отступления от хронологического порядка, так что там в доступном обозрению и поучительном виде, представлены первоначальные версии и заключительные преобразования тех стихотворений, которые сделались как бы народными песнями нового общества, так часто звучат они с тех пор».



ПРЕДИСЛОВИЕ. ПРЕДНАЗНАЧАВШЕЕСЯ ДЛЯ ВТОРОГО ФРАНЦУЗСКОГО ИЗДАНИЯ 1855 г.

Для второго французского издания «Путевых картин» зимой 1855 — 1856 гг. Гейне написал предисловие, не включенное в это издание. (появившееся только по смерти Гейне, в 1858 г.). Предисловие было впервые найдено в бумагах Гейне его издателем Штротдманом. По видимости Гейне написал это предисловие на французском языке и Штротдман опубликовал его в собственном переводе.

«Появившееся в 1846 году издание «Путевых картин» значительно отличалось от немецкого расположением отдельных частей и большими сокращениями. Это был недостаток, устранить который я старался в нынешнем, новом издании; части расположены здесь в хронологическом порядке, как в немецком издании, из которого вновь взяты части, ранее исключенные. Напротив, с большим рвением истребляя во многих местах наросты, свидетельствовавшие о юношеской экзальтации, ныне не современные и не могущие быть возбуждающе полезными. Уже в предисловии 1846 года я отметил, что еще в первом французском издании были устранены наиболее резкие революционные выходки. Так как в 1853 году приступили, не предупредив меня, к перепечатке этого издания в неизменном виде, то я, по вполне понятной причине, был вынужден обойтись без слишком заметных новых смягчений текста и с великим огорчением думаю о многих нелепых и безбожных местах, о ядовитых плеведах, которыми продолжает изобиловать эта книга. Для того, чтобы выполоть их, пришлось бы вырубить весь умственный лес, заросший ими, и — увы! — такие печатные чащи не так легко вырубить, как обыкновенный языческий дуб-идол. Пусть вовеки-веков остаются они нетронутыми, как цветущие памятники

наших заблуждений, и пусть ночной порой толпами собирается вокруг них молодежь, играя с призрачными дриадами, сатирами и прочими языческими козлищами чувственности! Молитвенно складываю руки, как делают старые грешники, когда им не остается ничего кроме раскаяния и отречения.

Подчиняясь требованиям момента, я не мог держаться хронологии во французском издании полного собрания моих сочинений. Ряд их должны были открыть «Путевые картины». К ним хронологически примыкает книга «De la France», которую я надеюсь, с большими пропусками и еще большими дополнениями, выпустить уже в течение будущего месяца. Она служит продолжением книги «Лютеция», которая посвящена позднейшей эпохе и, к сожалению, должна была предстать во французском полном собрании сочинений пред широкими кругами читателей раньше своей предшественницы. Я говорю: пред широкими кругами, так как ни одно мое произведение в такой степени не привлекло внимания толпы. Его успех почти испугал меня. В течение двух недель весь Париж занимался этой книгой. Две недели! Может ли большего желать тщеславие поэта? Да, мне становится страшно при мысли, что обыкновенно за такие великие успехи приходится расплачиваться великими надругательствами. Сколько раз случалось мне видеть триумфатора, на увенчанную голову которого неожиданно выливается непристойная посуда.



БАРИАНТЫ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ГАРЦУ

Стр. 95. После слов «покоится на плечах» в отдельном издании 1826 г. следовало: «На стене висели еще Абеляр и Элоиза, несколько французских «добродетелей», то есть девичьих лиц безо всякого выражения, но с каллиграфически выведенными подписями: «la prudence», «la timidité», «la piété» * и т. д. и, наконец мадонна, такая прекрасная, такая милая, такая молитвенно благоговейная, что мне хотелось бы отыскать оригинал, с которого писал художник, и сделать ее моей женой. Разумеется, женившись на этой мадонне, я поспешил бы просить ее прекратить всякие дальнейшие сношения со святым духом, потому что мне совсем не так было бы приятно, если бы моя голова при посредстве моей жены оказалась увенчанной ореолом или каким-нибудь другим украшением».

Стр. 96. После слов «задняя сторона» в журнальном тексте (1826) следует: «Какое своеобразное очарование льется на всю местность от такой серой выветренной руины, бесконечно больше красящей все окружающее, чем всякие новые блестящие здания с их юношеским великолепием. Да и сохраняется такая развалина обыкновенно дольше несмотря на свой хрупкий, разрушающийся вид. И то же, что с замками, происходит со старыми родами».

В отдельном издании 1826 г. вместо этого следует: «В этой местности еще много развалин замков. Самый красивый из них — Гарденберг под Нёртенем. Хотя

* благоразумие, робость, благочестие

бы сердце у тебя было, как полагается, на левой, то есть на либеральной стороне, невозможно оградить себя от всяких элегических чувств при виде горных гнезд этих привилегированных хищных птиц, от которых их тщедушное потомство унаследовало лишь огромный аппетит. То же было со мною и этим утром. По мере удаления от Геттингена, оттаивало понемногу мое настроение, вновь, как прежде, становилось у меня романтично на душе, и я, шагая, сочинил по пути следующую песню:

Грезы старые, проснитесь,
Вздогны, сердце, растворись,
Песни счастья, слезы грусти
Дивным строем полились.
Я хочу итти меж елей,
Где ключом шумит вода,
Бродят гордые олени,
Раздается песнь дрозда.
Я хочу подняться в горы,
На отвесные скалы,
Где развалины седые
Спят в тенях рассветной мглы.
Тихо сяду, вспоминая
О красе былых времен,
О былой, цветущей славе
Закатившихся племен.
Поросла травкою площадь,
Там, где в бой вступал храбрец,
Добывавший на турнире
Победителя венец.
Плющ обвился вокруг балкона,
Там, где первая из дам
Повергала нежным взором
Победителя к ногам.
Ах, обоих победивших
Смерть с лица земли смела.
Рыцарь с острою косою
Всех нас выбьет из седла.

Стр. 96. После слов «хохотать и плакать» в журнальном тексте (1826) следовало: «Портной спел еще много других народных песен, в которых сплошь светились «темнокарие глаза», свидетельствуя таким образом о южнонемецком происхождении этих песен. Мне знакома одна только народная песня, где встречаются северо-немецкие голубые глаза, да и та (она напечатана в «Волшебном роге мальчика») по моему не подлинная. Но если южная Германия — родина народной песни, то северная — родина народной сказки, столь же прекрасного цветка, так часто встречаемого мною в этом путешествии. Лирика принадлежит югу, эпос — северу. Гете принадлежит обоим».

Стр. 100. После слов: «Монетный двор» в журнальном тексте следовало: «Должен же я был посмотреть, как растет и как варится этот чудотворный металл, которого дядя имеет так много, а племянник — так мало. Я сразу же заметил, что блестящие талеры легче тратить, чем добывать в рудниках, плавить и чеканить». Но зато в журнальном тексте отсутствовал весь отрывок от: «В сереброплавильнях» до «лучшей жизни».

Стр. 100. После слов «лучшей жизни» в издании 1826 г. следовало: «Пожалуй, даже в невинную чайную ложечку, при помощи которой мой пра-правнучек будет уплетать свою кашку».

Стр. 108. После слов «обменивались подарками» в журнальном тексте следовало: «Теперь и те и другой стали умнее. Говорят: деньги за душу и душу за деньги, а чорт начисляет даже проценты».

Стр. 108. После слов «перевезен в Берлин» в журнальном тексте следовало: «Так некогда придет в Европу путешественник и тщетно будет спрашивать, где Германия. Различные наши друзья, верно, забрали ее и увезли с собой, под высокоподнятыми саблями или на корабельных носках».

После слов «к храму божию» в первом издании следовало: «Сведущая в искусстве жена причетника, водившая

меня, показала мне еще как особенную редкость многоугольный, гладко выструганный, исписанный белыми цифрами черный кусок дерева, висящий подобно лампаде под сводом церкви. О, с каким блеском проявился здесь дух изобретательности в протестантской церкви! Ибо, вообразите только: числа на этом куске дерева — номера псалмов, обычно написанные мелом на черной доске и потому несколько расхолаживающие эстетическое чувство, теперь благодаря этому изобретению служат украшением церкви и вполне заменяют образа кисти Рафаэля, отсутствие которых часто бывает так ощутительно. Такой прогресс меня бесконечно радует, ибо, протестант и к тому же лютеранин, я всегда бываю глубоко взволнован, когда католические противники могут высмеивать пустую, богом покинутую внешность протестантских церквей.

Стр. 108. После слов: «отвратительные рожи» в журнальном тексте следовало: «Наподобие той ученой копченой колбаски, что сгорбившись сидит в. . . ой библиотеке».

Стр. 111. Вместо рассуждения о бессмертии от «Когда я стал старше» до «пускаюсь в путь» в журнальном тексте стояло: «Под ласковым мерцанием звезд я вспомнил также, как, когда я был еще малышом, мне говорили, что если я буду показывать пальцем на звезды, то могу выколоть глаза ангелу. Когда я подрост, мне говорили: на звездах живут души умерших. При этом я много наслушался о бессмертии. В моей груди, бушеваемой разными чувствами, стало вдруг так горячо, что я решил: географы переместили экватор, и он проходит прямо через мое сердце. И — странное дело! Хотя та часть сердца, где сидела любовь, давно сгорела, мне все же казалось, что я вновь ощущаю в нем бывшее пламя пожара, как иногда все еще как будто ощущается боль в давно ампутированной конечности».

Затем в первом издании следовало: «Среди этих философических размышлений и личных чувств неожиданно

навестил меня гофрат Б., также недавно прибывший в Гослар. Никогда не мог бы я глубже ощутить благожелательную задушевность этого человека. Я почитаю его за замечательную, победительную проникаемость, но еще больше за его скромность. Я нашел его необычайно оживленным, веселым и бодрым. Эту бодрость он недавно засвидетельствовал своей последней книгой «Религия разума» — книгой, так восхищающей рационалистов, сердящей мистиков и волнующей широкие слои читателей. Сам я, надо сказать, принадлежу в этот миг к мистикам, из-за моего здоровья, так как по предписанию врача должен избегать всяких побуждений к мышлению. Это не мешает мне признавать неоценимое значение рационалистических стараний таких людей, как Паулус, Гурлит, Круг, Эйхгорн, Бутервек, Вешейдер и т. д. Случайно оказывается чрезвычайно полезным для меня самого то, что эти люди убирают немало стародавних пакостей, особенно залежавшийся церковный мусор, а в нем ведь так много змей и скверных испарений. Атмосфера очень сгущается и разгорячается в Германии, и я часто боюсь задохнуться или быть удушенным в любовном пылу моими любезнейшими со-мистиками. Поэтому я меньше всего собираюсь гневаться на милейших рационалистов за то, что они немножко даже слишком охлаждают воздух. По существу ведь сама природа поставила рационализму границы: под воздушным насосом и на северном полюсе человек не может существовать».

С т р. 112. После слов «По природе я не труслив» в первом издании следовало: «и, видит бог, никогда особенно не сжималось мое сердце страхом, когда, например, блестящее лезвие пыталось свести знакомство с моим носом, или когда случалось мне заблудиться ночью в лесу, пользующемся дурной славой, или когда грозил проглотить меня зевающий в концерте лейтенант».

С т р. 112. После слов «прямой линии» в первом издании следовало: «и являлся полной противополож-

ностью мне, который в то время жил в волнистых линиях Хогарта».

Стр. 130. После слов: «мятущееся сердце» в первом издании следовало: «Дама еще не была замужем, хотя находилась в том расцвете, который дает достаточное право быть в браке. Но так случается каждый день, что красивейшим девушкам так трудно найти себе мужа. Так было еще в древности, и, как известно, все три Грации остались в старых девах».

Стр. 131. После слов «в театре Фениче» в первом издании следовало: «Обе были в восхищении от искусства импровизаторов. Нюрнберг был родиной дам; но о чудесах его старины они очень мало могли сказать мне. Прекрасное искусство мейстерзингеров, последние отзвуки которого сохранил милый Вагензейль, исчезло, и гражданки Нюрнберга восхищаются итальянской импровизаторской чепухой и каплуным пением. О, святой Себастьян! Каким жалким патриотом ты стал теперь».

Вместо короткого упоминания о «Вертере» Гете в издании 1826 года говорилось: «Речь зашла о произведении Гете. Никто из моих эстетических коллег не отказался бы здесь от случая начать обстоятельный разговор о них. Но я не люблю писать о том, чего не было, и мы в самом деле не долго говорили о Гете, так как я, побоявшись, что в качестве немецкого литератора, заболтаюсь об излюбленной теме, перевел разговор на другие предметы, и мы заговорили об ангорских кошках...»

Стр. 132. В журнальном тексте отсутствовал отрывок от слов «и сказала» до слов «бог знает о чем». Вместо этого отрывка было сказано: «Последняя оказалась мне много внимания; глаза наши обменялись несколькими нотами, но наши почтительные сердца не дали широких полномочий; переговоры были прерваны, и обе стороны прекраснейшим образом пожелали друг другу «спокойной ночи».

Стр. 133 — 134. В журнальном тексте отсутствовал отрывок от слов «Молодой человек» до «незачем выписы

вать из Африки», повидимому зачеркнутый цензурой. Вместо этого стояло: «Он не заметил, что репертуар берлинских театров, превращающий сцену в людскую муз, являет собою настоящий шедевр иронии и имена его благородных авторов перейдут в историю».

Стр. 134. После слов «незачем выписывать из Африки» в первом издании следовало: «В «Силе обстоятельств» роль героя будет исполнять подлинный писатель, не раз уже получавший оплеухи; в «Прародительнице» артистом, выступающим в роли Яромира, должен быть человек, который уже пробовал однажды быть грабителем или по крайней мере вором; леди Макбет должна будет играть дама, хотя — как требует Тик — от природы очень любвеобильная, однако несколько все же знакомая с кровавым видом предательского закалывания кинжалом, и наконец для изображения особенно плоских, тупеньких, пошлых субъектов должен быть приглашен Анжели, великий Анжели, неизменно восхищающий своих умственных собратьев всякий раз, когда он выпрямляется во весь свой подлинный рост: «каждый дюйм — пошляк».

Стр. 140. В журнальном тексте после слов «их фабричной стоимости» следовало: «и он закончил замечанием: «Сентиментальность все же самое прекрасное чувство».

Стр. 143. В первом издании после слов «сотнями людей» следовало: «некая Каролина пишет, что, взбираясь на гору, промочила ноги. Наивная Аннета под этой жалобой пишет лаконически: «Я при этой истории также взмокла».

Стр. 154. В первом издании эта часть «Путевых картин» заключалась следующим примечанием: «Несмотря на то, что корректура этого тома стоила мне невыразимого труда, в нем, конечно, осталось много опечаток, которые я охотно оговорил бы, если бы мог теперь же выискать их. Случайно замечаю, например, что на стр. 217 назвал Анжели вместо Вурма. Признаться

откровенно, первого я ни разу не видал, и ошибка в имени, разумеется весьма существенная, вкралась случайно... Прочие поправки будут указаны позже, во второй части «Путевых картин», в которых будет заключаться еще много хороших вещей, например неоконченные рассказы, полувиды главных городов северной Германии, даже замечания о польских лесах и немецкой литературе и т. д. Небрежным друзьям, которые все еще задерживают мои рукописи и на которых печатные просьбы действуют, быть может, сильнее писанных, сообщаю, что письма и посылки с адресом: «Д-ру прав Генриху Гейне через фирму Гоффман и Кампе в Гамбурге» всегда точно доставляются мне».

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

СЕВЕРНОЕ МОРЕ

Первое издание (1827 г.) этой части «Путевых картин» заканчивалось таким уведомлением:

«Примечание.

Писатель часто оказывается в скверном положении; всемогущие внешние условия могут требовать, чтобы книга, которую он предполагает выпустить в свет, содержала больше 20 печатных листов, между тем как он своими хорошими «Идеями» может заполнить лишь половину. В качестве балласта приходится в этом случае захватить ганноверское дворянство и письма из Берлина. Таким образом, может также случиться, что во второй части «Путевых картин» дано будет не все, что обещано в заключительном примечании к первой части, — например опечатки; тогда они найдут место лишь в третьей части. Другим авторам, имеющим что-либо ему сообщить, особенно напоминает это заключительное примечание».

Во втором издании этой части «Путевых картин» (1834) «Северному морю» предшествовало следующее предисловие:

«Вторую часть «Северного моря», которую начинался в первом издании этот том, я включил во втором издании в первый том, а из третьей части «Северного моря»

выбросил дюжину страниц; наконец, «Письма из Берлина» исключены совершенно. Причины этой экономии ясны. Я не хотел, однако, заполнять пробел, возникший таким образом, отделом, взятым из третьего тома. Последний, третий том «Путевых картин», снискал в своем нынешнем облике одобрение моих друзей, этот облик представляется мне условием его духовного единства, и поэтому мне не хотелось выбросить оттуда ни строчки, или внести какое-либо хотя бы малейшее изменение. Пробел, образовавшийся в этом, втором томе, я попытался поэтому заполнить новыми «Весенними песнями». Я публикую их с тем меньшими притязаниями, что знаю, сколь мало нуждается Германия в таких лирических стихотворениях. К тому же невозможно дать что-либо в этом роде лучше того, что уже представлено прежними мастерами, особенно Людвигом Уландом, так сладостно и изящно пропевшим песни любви и веры, добытые в развалинах старинных замков и монастырских покоев. Правда, эти молитвенные и рыцарственные звуки, эти отголоски средневековья, еще недавно, в эпоху патриотической ограниченности, доносившиеся отовсюду, затихают теперь в громах современных освободительных боев, в грохоте общеевропейского братания народов и в остроте мучительного ликования тех современных песен, которые, отвергая лживость католической гармонии чувств, наоборот, с якобинской беспощадностью расчленяют чувства во имя истины. Интересно следить за тем, как подчас один из этих родов песен заимствует у другого внешнюю форму. Еще интереснее бывает, когда в одном сердце сливаются оба рода.

Не знаю, встречены ли уже должным признанием «Эрато» барона Франца фон Гауди и «Книга набросков» Франца Куглера; обе книжки, появившиеся лишь недавно, так понравились мне, что я во всяком случае должен отозваться о них с особенной похвалой.

Я поговорил бы, пожалуй, обстоятельно о немецких поэтах, но внимание мое слишком поглощено некото-

рыми другими современниками, занятыми теперь установлением в Европе свободы и равенства.

Париж. 20 июня 1831.

Георги Гейне.

Стр. 163. В связи с шутливым указанием на сходство нордернейских детей с приезжими, в первом издании (1827 г.) говорилось еще: «Кроме того сюда на время купального сезона перевели с суши одну особу, предназначенную для принятия в себя всех грехов приезжих мужчин и, стало быть, для ограждения островитянок от всех дурных воздействий. Но это дурная мера, совсем неуместная на маленьком острове, хотя, конечно, вполне пригодная в большом портовом городе, где публичные особы являются как бы бастионами и громоотводами, обеспечивающими нравственность обывательских дочек; так, мне в самом деле показывали в Гамбурге женщину этого сорта, столь широкую, что она закрывала собою целую дверную коробку, равно как другую, долговязую, тощую громоотводку, ограждавшую в течение лета всю большую Иоганнесштрассе».

Стр. 164. Как о «духовном оплоте» нордернейцев в первом издании говорилось не только о церкви, но и о ее пасторе: «Это коренастый человек с большой головой, судя по виду не выдумавший ни рационализма ни мистицизма, и величайшая его заслуга заключается в том, что у него снимала квартиру одна из красивейших женщин на этом свете».

Стр. 177. После слов «ржании ганноверских коней» в первом издании следовало: «Но что такое британский свободный звук, я узнал лишь недавно, когда я видел в дику морскую бурю проплывающий английский корабль, на палубе которого стояли несколько человек и с бунтовщицеской яростью почти покрывали рев бури и волн голосами своей старой: «Rule, Britannia, rule

the waves, Britons never shall be slaves» («Правь, Британия, правь на волнах, никогда британцы не будут рабами»).

Стр. 178. К напоминанию о том, что государи возводили в дворянство «сводников, льстецов» и т. п., во французском тексте прибавлено определенное указание на «дворянские иллюзии насчет заслуг предков, которые, особенно в Ганновере, обязаны возвышением своим куртизанским низостям и проституции своих высокородных супругов, бесстыдных куртизанок; таковы Шуленбурги, Кильмансегге, Платены».

Стр. 189. После слов «с нашей пустячной литературой» в первом издании следовало: «Часто, прочитав *«Morning Chronicle»*, где в каждой строке я вижу английский народ в его национальном характере, с его скачками, боксом, петушиными боями, судом присяжных, парламентскими дебатами и т. д., я с прискорбием беру снова в руки немецкую газету и стараюсь отыскать в ней черты народной жизни и не нахожу ничего, кроме литературных бабьих пересудов и театральных сплетен».

Да и нельзя ожидать ничего другого. Когда в народе задавлена всякая общественная жизнь, он все же ищет предметов для совместного обсуждения, и для этой цели служат ему в Германии писатели и актеры. Вместо конских скачек у нас есть книжные скачки на Лейпцигскую ярмарку. Вместо бокса мы имеем мистиков и рационалистов, которые лупят друг друга в своих брошюрах, пока одни не приходят к разуму, а другие теряют слух и зрение, на место каковых водворяется вера. Вместо петушиных боев у нас есть журналы, где бедняги, получающие за это жратву, позорят друг друга, а филистеры радостно восклицают: «Смотри, вот главный петух! Как у него раздуло гребень! А у этого острый клюв! Молодому петушку надо еще исписать свои перья, надо пощупать его» и т. д. В таком же роде есть у нас и открытые заседания суда присяжных: это клякса-

пирные саксонские литературные газеты, где всякого тупицу судит ему равный, по уголовным законам литературного уложения, основанного на теории устрашения и каждую книгу осуждающего как преступление. Если автор ее обнаруживает некоторый ум, то преступление считается квалифицированным. Если же он может установить алиби своего ума, то наказание понижается. Разумеется, большим недостатком нашей литературно-уголовной юстиции является также то, что такой простор предоставлен судейскому усмотрению, тем более от наших книжных судей, как от Фальстафа, нельзя добиться никаких мотивов, и сами они подчас тайные грешники, сознающие, что завтра им придется предстать пред судом тех самых преступников, которых они осудили сегодня. Молодость в нашей литературно-уголовной юстиции является значительным смягчающим вину обстоятельством, и подчас старому писателю смягчается наказание потому, что его принимают за ребенка. Даже опыт последнего времени, показавший, что молодые люди в пору полового созревания страдают болезненным тяготением к поджогам, оказал влияние на эстетику, и оттого снисходительнее судят разные пламенные трагедии, как, например, трагедию того пылкого юнца, который поджег не что иное, как царский дворец в Персеполисе. Продолжая сравнение, скажем, что у нас есть до некоторой степени и парламентские дебаты, под которыми я разумею наши театральные рецензии; ведь и самую драму нашу позволительно назвать нижней палатой по причине множества низостей, процветающих в ней, из-за растоптанного французского г..., которое наша публика, даже в том случае, если тем же вечером перед ней представляли комедию Раупаха, вкушает совершенно спокойно, уподобляясь мухе, которая, отогнанная от горшка с медом, с наилучшим аппетитом садится на нечистоты и ими заканчивает свой обед. Я имею здесь в виду главным образом «Обращенных» Раупаха, которых я видел минувшей зимой в Гамбурге в исполнении превосходнейших актеров

и которые были покрыты такими же рукоплесканиями, как «Школьные фарсы» — надутый навоз, исполненный напоследок в тот же вечер. Однако на нашем театре произрастает не только навоз, но и яд. И в самом деле, когда я слышу, как священнейшие жизненные чувства и обычаи размазываются в наших комедиях в непристойном тоне и со столь легкомысленной уверенностью, что в конце концов сам приучаешься видеть в них банальнейшие вещи; когда я слышу эти лакейские объяснения в любви, сентиментальные дружеские оговоры для взаимного обмана, разудалые планы надувания родителей или супругов, и как там еще называются эти стереотипные комедийные мотивы, — увы! — меня охватывает глубокий ужас и беспредельная тоска, и с трепетом взираю я на бедные невинные ангельские головки, пред которыми декламируют со сцены — и, разумеется, не без успеха — такие вещи.

Сетования на упадок и ухудшение немецкой комедии, вырывающиеся из честных сердец, критическое рвение Тика и Циммермана, проделавших над очисткою нашей сцены работу более тяжелую, чем Геркулес в конюшне Авгия, так как нашу театральную конюшню приходится чистить не выгоняя оттуда скотины, попытки высоко талантливых писателей, стремившихся создать романтическую комедию, удачнейшая и чрезвычайно меткая сатира как, например, «Райская птица» Роберта, — ничто не помогает; воздыхания, советы, опыты, удары бича — все только сотрясает воздух, и каждое слово, сказанное по этому поводу, поистине бросается на ветер.

В большом блеске выступает наша верхняя палата — трагедия. Я имею в виду кулисы, декорации и костюмы. Однако и здесь есть предел. В театре у римлян слоны танцевали на канате и прыгали высоко; но дальше не шло умение человека, и римская империя погибла, и при этом случае погиб также римский театр. Танцев и прыжков достаточно в трагедиях на наших сценах, но предельвается все это самыми молодыми трагиками;

и как случалось, что женщины от высоких прыжков вдруг превращались в мужчин, то женственный поэтик поступает поистине хитро, стараясь совершать своими хромыми ямбами большие александрийские прыжки».

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

1. ПУТЕШЕСТВИЕ ОТ МЮНХЕНА ДО ГЕНУИ

Стр. 271. После слов «на которые сам он отвечал» в журнальном тексте (1828 г.) следовало: «его замечаниями о море, Сафире, единственном человеке, о Фридрихе Великом, его параллелями между Зонтаг и Шехнер».

Стр. 271. После слов «разделявал в пух и прах» в журнальном тексте следовало: «И это — афиняне?» «Сострадательно-мелочная улыбка передернула его деревянные губы, когда он указал на компанию за пивным столом, от души упивавшуюся чудесным напитком и рассуждавшую о достоинствах мартовского пива этого года. — И это — афиняне!..»

Стр. 294. После слов «трубит в него за деньги» в рукописи следовало: «Я не люблю никаких республик (я жил некоторое время в Гамбурге, Бремене и Франкфурте), я люблю монархию (я видел Людвига Баварского); кроме того, меня, как поэта, скорее подкупают подвиги верности, чем подвиги свободы, которые не столь поэтичны, ибо первые коренятся в дремлющем чувстве, а последние в математически ясной мысли. Тем не менее швейцарцев я люблю больше, чем тирольцев. Первые обладают большим чувством собственного достоинства».

Стр. 312. В первоначальном рукописном тексте эта глава (XX), значительно обширнее: «Девочка, вероятно, заметила, что во время ее пения и игры я несколько раз взглянул на ее розу, и улыбнулась, хитро посматривая, когда я затем бросил не очень мелкую монету на

оловянную тарелку, в которую она собирала свой гонорар.

Между тем спустилась ночь, и сумрак водворил единство в моих чувствах. Улица опустела, небо наполнилось звездами; они смотрели вниз так благоуханно, так целомудренно, так чисто, что я сам ощутил себя как бы чистой звездой. Тут неожиданно подошла ко мне маленькая арфистка и наполовину робко, наполовину развязно спросила, хочу ли я получить ее розу.

Я был настроен как чистая звезда, и ответил — нет; роза же побледнела, девочка покраснела, а на арфе прозвучел легкий одинокий звук, такой болезненный, словно из глубины смертельно раненой души, — а я уже где-то слышал этот звук, и также исполненным упрека. Печальные воспоминания вдруг охватили меня; передо мной была сумеречно-серая комната, снова так боязливо мерцала лампа, я откинул полог в синих полосах над тихой кроватью, поцеловал губы мертвой Марии, и из своего уголка сама прозвучала покинутая арфа, и это был тот же звук...

Испуганно сказал я маленькой арфистке: «Ну, ну, милое дитя, дай мне твою розу, пусть она уже вянет и не пахнет так свежо, и пусть роза без аромата подобна женщине без невинности, это все ничего не значит для человека, страдающего уже много лет жестоким насморком».

Девочка засмеялась и протянула мне розу... И все это происходило ночью в Триенте у кабачка напротив Albergo della Grande Eurora», под взорами многих тысяч открытых и еще большего множества неоткрытых звезд, которые должны были все засвидетельствовать передо мной, что вся история происходит не в моей комнате и не есть аллегория.

Да, не думай ничего дурного, дорогой читатель. Звезды смотрели так светло и целомудренно с неба, так глубоко проникали своим светом в мое сердце; в сердце же трепетало воспоминание о мертвой Марии. Я давно не думал о ней, а теперь, в Триенте, едва я ступил ногой

на итальянскую землю, со странным ужасом вновь всплыл в моей душе ее образ; мне казалось, будто она во плоти встала предо мной и говорит: «Почему вы не взяли меня с собой в Италию, как обещали мне когда-то?» — «Милое дитя, вы ведь умерли», — отвечал я в раздумьи. — «Дорогой друг, немножко умереть — это ведь ничего не значит». — «Но как вы явились сюда? Я рассчитывал лишь через несколько миллионов лет иметь удовольствие повидать вас снова. Или эти многие годы уже прошли? Господи, как бежит время».

Ах, нет, дорогой читатель, там в соборе исповедывалась не сама Мария; я не так суеверен, чтобы думать, будто мертвые встают из могил для того, чтобы покаянием искупить последние маленькие любовные грешки, в которых они и не виноваты. Во всяком случае странно, что немецкая любовь призраком сопровождает даже разумнейшего человека до самой Италии и что я, дорогой читатель, сразу же по прибытии моем в теплую, цветущую Италию, вынужден рассказать тебе историю, происходившую в зимний немецкий вечер, когда холодный северный ветер завывал в трубе и снежная метель билась в окна. Но в комнате, где происходила эта история и где мы были вдвоем с Марией, ах, было благоуханно тепло, камин задушевно пылал, смутные головки цветов подымались из блестящих ваз, образа святых, склоняясь, покрывали стены, а Мария сидела у фортепиано и наигрывала старую итальянскую мелодию. Головка ее была опущена, свеча, стоявшая перед ней, бросала такой сладостный свет на ее маленькие руки; и я стоял напротив и смотрел на шевелящиеся руки, на каждую ямочку, на каждую жилку руки, и звуки так тепло, так нежно проникали в мое сердце, я стоял и видел сон несказанного блаженства, звуки взлетали победно все сильнее, временами томно тая в побежденной покорности; я умирал, я жил и вновь умирал. Вечности мелькали мимо. Когда я очнулся, она стояла предо мной и трепетным голосом просила, чтобы я снова надел ей на пальцы кольца, которые она сняла, когда начала играть;

я сделал это и при каждом кольце говорил ей на память словечко. Надевая кольцо с рубином, я сказал: «Любите меня нераздельно»; при кольце с сапфиром я сказал: «Будьте мне всегда верны»; при алмазном кольце я сказал: «Будьте только всегда чисты, как теперь», и наконец я прижал всю руку к губам и сказал: «Мария, почему вчера вечером в концерте вы все время избегали меня и ни разу на меня не взглянули?» И она ответила мягким голосом: «Будем хорошими друзьями».

Но то, что я рассказал тебе здесь, дорогой читатель, произошло не вчера и не третьего дня, и тысячелетия, много тысяч тысячелетий пронесутся прежде, чем оно увенчается концом и, разумеется, хорошим концом. Ибо, знай, время бесконечно, но вещи в этом времени, осязаемые тела, конечны; они могут распыляться на мельчайшие частицы, но число этих частиц, атомов, ограничено, и ограничено также число форм, которые божественно самостоятельно образуются из них. Как бы ни было велико время, пронесшееся над ними, все же все формы, уже раз существовавшие на этой земле, должны еще, по вечным законам сочетания в этой вечной игре повторения, вновь встретиться, притягивать, отталкивать, целовать, грубить, раньше, как и позже. И таким образом будет некогда, что вновь родится мужчина, совершенно такой, как я, и женщина, совершенно такая, как Мария; только, надо надеяться, в голове мужчины будет немножко меньше глупости, чем теперь, и они оба встретятся в лучшей стране и долго будут смотреть друг на друга, и женщина наконец протянет мужчине руку и проговорит мягким голосом: «Будем хорошими друзьями».

Но — ах! — много времени пройдет напрасно, — думал я уже тогда, стоя у постели, на которой лежала мертвая Мария, прекрасное бледное тело, нежные тихие губы. Я попросил старуху, остававшуюся у покойницы, лечь спать в соседней комнате, а мне передать ее обязанности, ибо уж было за полночь, и такая старая

женщина с покрасневшими веками нуждается в покое. Не знаю, что означал косой взгляд, брошенный ею, когда она выходила, но меня он испугал до глубины души. Маленькое пламя лампы дрожало, ночные фиалки, стоявшие на столе в стакане, благоухали еще изысканнее.

Сегодня мне непременно придется быть материалистом; ибо если бы я начал думать, что мертвецы не нуждаются в таком множестве миллионов лет для того, чтобы вернуться на землю, и что они следуют за нами уже в этой жизни, что мертвая Мария в самом деле исповедывалась в Триентском соборе в последнем грехе... Довольно, довольно! Начинаю новую главу и расскажу там то, что мне еще снилось в Триенте».

В другом первоначальном наброске здесь еще было добавлено: «О, сладкий ужас, когда смерть и любовь целуются украдкой. Да, это оно, это чувство, которое так удивительно волновало меня в Триенте, хотя я не мог найти для него наименования; и предвосхищая мое повествование, сознаюсь, что позднее, во всех ломбардских городах, уже при самом входе в город, это чувство вздымалось в моей душе и оставалось в ней хозяином».

Стр. 327. После слов «надел ему на голову» в рукописи следовало: «Г. Эккерман как бы создан Гете и, подобно всякому творению, прославляет теперь еще больше своего творца».

Если я недавно с некоторым раздражением отозвался в «Политических анналах» о таких творениях, то, да простит мне господь или Гете это прегрешение, я по совести сознаюсь, что здесь было не без некоторой зависти. Я ведь тоже изо всех сил старался сотворить что-нибудь, и не пошел дальше обыкновенных детских песенок. Поэтому я смотрел на г. д-ра Эккермана с некоторой завистью, то есть я завидовал, что не я его создал из заурядного, пошлого сырья, как это сделал Гете. Тогда в полночь я читал книгу Менцеля и так далеко забрался в это литературное Волчье ущелье, что помо-

гал отливать заколдованные пули против самого Гете. Да простит мне господь или Гете это прегрешение и сохранит меня здоровым, ибо когда я чувствую себя скверно, то всегда настроен очень анти-гетеански.

Стр. 330. После слов «очень длинным подбородком» в рукописи следовало: «Мы выпили вместе много кларета за old England * Напротив, мы проклинали, обрекая смерти и аду всех итальянских трактирщиков и лорда Веллингтона. Тут прибыл еще на курьерских через Сплюген маленький ирландец и помог нам проклинать своего земляка — the hero of Waterloo **. Все это напрасно! Год тому назад я присутствовал при том, как милорд был освистан у входа в верхнюю палату, и я тоже свистел, и, однако, это нисколько не повредило его драгоценному здоровью. Наоборот, он процветает теперь больше, чем раньше, и творит величайшие вещи. Среди английских друзей, встреченных мною в Милане, был и Вилли, великолепнейший из юнцов, когда-либо содержавших примадонну. Я часто вспоминаю о нем, потому что до сих пор ношу его сапоги. Право, я захватил их нечаянно; они стояли у туалетного столика синьоры, и я надел их в темноте вместо моих; они мне немножко тесны; синьора, наоборот, приходилась мне в пору, как по мерке. Встретил я здесь и толстую тетку Вилли».

Стр. 334. После слов «триумфальной аркой» в рукописи следовало: «Австрийцам осталось сделать немного, и они будут достраивать от того места, где перестал строить великий император — но с другим назначением. Он имел в виду памятник, который грядущим поколениям вещал бы о духе прошедших времен и о светлой славе настоящего; они же хотят дать только крепость суеверия».

Стр. 334. После слов: «Симплонскую дорогу» в рукописи следовало: «Правда, с некоторыми измене-

* старую Англию

** героя Ватерлоо

ниями. Так, например, статуя Наполеона, которая была уже готова и должна бы выситься над этой триумфальной аркой, не будет теперь поставлена. Но это ничего не значит, это мало поможет тем людям, которые хотели бы скрыть императора от нашего взора. Поистине, если он и не будет выситься над миланской триумфальной аркой, он все же будет виден всему миру. Его нет нужды ставить на колонну, чтобы он мог выдаваться; достаточно для этого его естественного роста».

Стр. 334. После слов «безусловного бонапартиста» в рукописи следовало: «и прости мне тот энтузиазм, который относится больше к природе, создавшей этого человека, чем к делам этого человека. Пусть другие поют дифирамбы живущим, я воспеваю мертвого, который уже ничем не может одарить. Если же ты, любезный читатель, ни во что не ставишь это бескорыстие, то отнесись по крайней мере с уважением к той боли, какую испытывает дух мой, когда он восхваляет человека такой доблести, такого гения, который и то и другое употребил на подавление революции со всем ее величием и на восстановление сломленного режима дворян и попов со всем его ничтожеством».

Стр. 335. После слов «дельные размышления» в рукописи следовало: «Но в этом-то и заключается сила силы, что она непосредственно влечет нас к преклонению, прежде, чем мы сможем судить о ее применении. Оттого и происходит, что в наши дни Наполеона Бонапарте восхваляет демократ, а Марка Брута — природный король».

О, благородный, великий, безмерно чту тебя, ибо,
Верный долгу герой, ты жертвовал всем и собой.

«Так поет Людвиг Баварский и в наивности своего величия — так как всякое величие наивно — прибавляет в подстрочном примечании: «В качестве язычника Марк Брут достоин такого прославления». Точно здесь могло казаться странным только то, что христианин произ-

нес такое хваление, и точно эта эпиграмма может быть занесена в категорию обычных поэтических изречений при посредстве такого предохранительного примечания. Поистине, эти слова имеют несколько большее значение. Ибо после того как ряд поколений сменился на земле, произнеся одно за другим свой приговор над деяниями Марка Брута, теперь перед судебной урной истории еще король подает свой голос.

Прошло восемнадцать веков с тех пор, как один писатель был отправлен на смерть за такие слова. Быть может, своевременно будет дословно привести то, что Тацит сообщает об этом в четвертой книге своей «Летописи».

Стр. 346. После слов «И тонут в роскоши» в рукописи следовало: «И у французской революции, этой политической реформации, были свои иконоборцы. Не без горечи смотрит путешественник на разрушенные памятники искусства, которые не так легко восстановить, как старый режим, и которые, пожалуй, были гораздо ценнее его. Не только дворянские гербы, но и изваяния предков были разрушены, издевательски были изувечены художественные мраморы и священные изображения были опозорены кощунственной кистью. С этими ужасами встречаешься и в Северной Италии, особенно в Генуе. Позорнее всего похозяничала чернь в зале заседаний герцогского дворца. Когда теперь задаешь вопрос, где находятся статуи дожей, некогда длинной вереницей с такой сосредоточенной мощью взиравшие там на путешественника, то в ответ пожимают плечами и признаются, что они стали жертвой времени.

Я не могу поэтому судить баварское дворянство, если его так чрезвычайно тревожат успехи демократических настроений. Его крупные застрельщики были бы правы, если бы они громогласно выразили свои затаеннейшие опасения; они дрожат за свои художественные сокровища, за свои картинные галлерей, за свои библиотеки, за все те создания мастеров, которые они, подобно своим

итальянским коллегам с развитым вкусом, вызывали и собирали, которые никогда не умела оценить и щадить буржуазная чернь. Ужасное предчувствуют они душою, они видят, как якобинцы приступом берут палаццо Бассенгейм, как срывают со стен картины, где великими живописцами изображены геройские подвиги всемирно знаменитого рода, как разбивают статуи всех тех великих Бассенгеймов, которые во все века распространяли славу Германии, и сами были прославлены поэтами Германии в песнях и преданиях, — пением и звоном. А уничтожив таким образом все исторические памятники, эти якобинцы способны смеяться и отрицать, что когда-нибудь на свете существовали Бассенгеймы.

Шутки и Бассенгеймов в сторону. Истины ради не могу не упомянуть, что итальянское дворянство очень выгодно отличается от немецкого; эта разница бросалась мне в глаза всякий раз, когда мне случалось наблюдать немецкого барона в итальянском обществе. Разница эта, однако, состоит не только в том, что итальянец говорит о своих поэтах и художниках, немец же только о своих лошадях и еще более глупых предках, но что по существу он в самом деле есть не что иное как конюх, происходящий от конюхов и пахнущий конюшней, тогда как тот не только разговаривает о своих Данте, Рафаэле, Микель-Анджело, но и чувствует их, так что итальянец, хотя и очень бедный теперь политическим творчеством, все же, подобно нищему, подержавшему в руках пузырек с розовым маслом и все еще пахнущему розой, сохраняет художественное чутье, и иностранец ощущает этот аромат. Еще характернее то тяготение к деятельности, которое отличает итальянское дворянство от немецкого».

II. ЛУККСКИЕ ВОДЫ

Стр. 361. После слов «надгробных памятниках» во французском издании 1858 г. добавлено: «Что до меня, то я знал отвращение этой дамы к тюльпанам — идио-

синкразию, неизвестную маркизу, воображавшему, что он преуспеев больше, послав ей позже цветок через своего слугу. «Он слишком дорого стоит, — говорил он, — чтобы миледи не была вынуждена принять его».

Стр. 362. После слов «в ней есть что-то русалочье» в журнальном тексте (1829 г.) следовало:

«— Сколько лет вы даете ей?

— Приблизительно одиннадцать и двадцать.

— Вы хотите сказать тридцать один?

— Упаси господи! Нет на свете женщины, которой тридцать лет, из двадцати делается переход сразу в сорок; и я еще не видал женщины, которой было бы пятьдесят лет; из сорока они сразу перепрыгивают в шестьдесят.

— Миледи в разводе с милордом?

— Не знаю, но мне известно только, что холодный, зевающий, тяжеловесный англичанин не подходил к воздушной ирландке, которая со своим сердцем, исполненным солнца, с головой, полной цветочного остроумия, смотрела на весь мир как на свою игрушку. Тут было много тяжелого, и удивительно, как много могло снести столь нежное существо, уже взгляд на которое так глубоко трогает нас, что мы называем жестокой природу, отдавшую в жертву холодной туманной Англии и ее тяжелым кулакам создание, которое должно было витать лишь на цветочной Индийской земле».

Стр. 363. После слов «не достать до них» в журнальном тексте следовало: «Жалко, г. доктор, что у вас нет лучшего титула для представительства. Хотелось бы, чтобы вы были дворянином». — «О, благородный маркиз! На этот счет не беспокойтесь, вы можете все-таки выдать меня за благородного человека. Некоторый недостаток в предках я возмещаю большим количеством долгов, и чего недостает моему дворянству с одной стороны, то вполне уравнивается с другой. В ближайшее время я собираюсь заказать себе родослов-

ное древо сплошь из моих кредиторов; если бы мне только знать, как зовутся эти каналы и где они теперь пребывают. Только назойливые лица и уродливые фигуры стоят еще в моей памяти, имена же я совершенно забыл. А все же хочется ведь иногда знать, где на этой земле пребывают твои родные. Так как мне теперь необходимы документально точные имена, то, право, нет другого средства, как поместить в «Гамбургском корреспонденте» описание наружности моих кредиторов, которых я разыскиваю как скрывшихся преступников, и изобразить там с совершенной точностью их наружность, лица и прочие уродства и даже одежду, в которой они ходили при моем отъезде».

Стр. 366. После слов «на ливрее слуги Ротшильда» в рукописи следовало: «Но если бы у меня были деньги Ротшильда! На что они ему? Он совершенно необразован; в музыке он смыслит как новорожденный теленок, в живописи как кошка, а в поэзии как Аполлон (так зовут мою собаку). Когда таким людям случается потерять свое богатство, они уже больше не существуют. Я испытываю внутреннее удовольствие, когда подумаю, как он у меня совершенствуется; время от времени я его сам поучаю для его образования; часто я говорю ему: «Что такое деньги? Деньги круглы и катятся прочь, а образование остается». Я привожу ему в пример его друга, покойного Адольфа Гольдшмидта. Парень заработал деньги и хотел иметь еще больше, не меньше, чем Ротшильд, и опять все потерял, и опять стал обыкновенным человеком, совсем мертвым человеком, которому хочется показать людям, что он еще жив немножко, который ночью становится перед зеркалом и рассказывает самому себе, сколько миллионов у него было когда-то, — ибо никто другой не хочет уже слушать эту старую историю».

«Да, маркиз, если такой Икар слишком близко подлетит к солнцу — Ротшильду, — то сгорают его ассигнационные крылья и он низвергается в море ничтожества».

«Вместе с деньгами, доктор, у таких людей пропадает честь и характер, а я вот, если, боже упаси, когда-нибудь потеряю мои деньги, то я все же останусь большим знатоком искусства, знатоком живописи, музыки и поэзии».

Стр. 384. После слов «Над головами счастливых» в рукописи следовало: «Мы разыгрывали старые времена или, вернее, новое время, так как наше время старое и седое и даже у амура нашего седые волосы и усталые глаза... Я держал в моих объятиях небо и забывал о земле, о родине, о милых соотечественниках, которые сидели там, наверху, у ледяного полюса, до самого пупа в снегу; были, значит, очень добродетельны и писали компиляции о морали, душеспасительные и догматические книги».

Стр. 385. После слов «слезы далеко не объяснение» во французском издании 1858 г. добавлено: «но еще долго слезы, ни крокодиловы слезы, ни слезы прусских дам ничего не смогут осветить».

Стр. 387. Монолог Гиацинта, начинающийся словами: «Стихи? Нет, я не пишу стихов» — изложен в одной рукописи иначе: «Стихи? Сохрани меня бог от стихов и от всяких мыслей, которые только мысли, — я — практик, человек дела. Извините, я забыл, что вы сами пишете стихи, хорошие стихи, я даже их читал, чтобы написать оттуда пару лозунгов для лотерейных розыгрышей, но, сказать по правде, там мало мыслей, пригодных для меня; мой шурин Мендель и мой брат Мориц даже помогали мне при чтении, и мы часто говорили: «Если бы доктор Гейне отдал свой ум на что-нибудь лучшее и начал настоящее дело, то из него мог бы выйти большой человек». И, скажу правду, чего вы все воспеваете море? Я был даже в Куксгафене и видел там море. Что о нем говорить? Ну, вода — и только вода». — «Кое-что верно в ваших словах, г. Гиацинт, за Иорданом многие думают так же, как и вы. Но скажите, что это вы только что писали?»

Стр. 390. Глава VIII в одной рукописи имела продолжение:

Ты печатаешь такое,
Милый друг мой, это гибель!
Ты веди себя пристойней,
Если хочешь жить в покое.
Никогда не дам совета
Говорить в подобном духе,
Говорить о папе, клире
И о всех великих света!
Милый друг мой, я не в духе!
Все попы длинноязычны,
Долгоруки все владыки,
А народ весь длинноухий.

Эти стихи, представляющие, собственно, выдержку из длинного письма в шесть листов, присланного мне вскоре после появления второго тома «Путевых картин» одним приятелем, проносятся теперь в моей памяти и виноваты в том, что я не даю больше говорить почтенному Гиршу Гиацинту. Вообще я ничего не боюсь; попы удовлетворяются тем, что позорят мое доброе имя и полагают, что таким образом сумеют справиться с силой моего слова; от глупых государей я огражден тем, что никогда не ступаю ногой на их землю и, таким образом, не подаю им повода для глупых выходок; но пред Натаном Ротшильдом я трепещу от страха; едва я успею оглянуться, он пришлет ко мне в коморку нескольких государей, пару маклеров и жандарма и прикажет отвезти меня в любую крепость. Мне страшно, — да в безопасности ли я в это самое мгновение? Думаю, что да, потому что нахожусь теперь в Пруссии, в свободном, правовом, умном государстве, которое я некогда, в юношеской ограниченности, не умел ценить достаточно высоко, но теперь, повидав другие страны, ежедневно научаюсь уважать и даже любить еще больше; так что мне было бы весьма прискорбно, если бы оно когда-либо совершило оплошность посадить меня и таким

образом опозориться. Право, я пытаюсь наметнуть здесь прусскому правительству, чтобы, в случае, если бы оно сочло уместным посадить меня, отнюдь, боже упаси, не делать публичного скандала, а прямо обратиться ко мне, и я немедленно и добровольно прибуду в ту крепость, которую мне определяют, ни в малой степени не выдавая публике истинной причины моего там пребывания. Можно ли требовать от меня большего? Можно ли быть более чутким, чем я? Вот это настоящий патриотизм, когда предпочитаешь сам добровольно сесть в крепость, чем подать повод государству опозориться!

Я вижу в этот момент, как у старейших государственных мужей хлынули слезы умиления. «Нет, — восклицают все они, — как мы плохо понимали этого человека! Какой характер!»

Да, вы не поняли всего размаха этого характера; ибо, знайте, из патриотической заботливости я уже теперь подготовил своих друзей к тому, что ближайшим летом проведу несколько месяцев в Шпандау. Я сделал это для того, чтобы иметь уверенность, что подлинные причины моего возможного пребывания там никогда не будут раскрыты. Вы тронуты, я тоже. Льются слезы, я слышу как вы, плача, восклицаете: «Этот благородный человек, этот второй Регул не должен попасть в крепость, лучше мы сами сядем туда вместо него». Но я, говорю вам, я хочу быть там, я уж совершенно приготовился к этому великодушному подвигу, вы портите мне благороднейшее наслаждение самопожертвования». — «Нет, нет, — слышу я ваши возражения и всхлипывания, — не крепость, а тысяча талеров наградных!» — «Что за век, — с изумлением воскликнут некогда потомки по прочтении этой книги, — что за век, когда правительство и бедный писатель старались превзойти друг друга в великодушии!»

Ты видишь теперь, дорогой читатель, сколь прекрасны мои отношения с правительством. Не пугайся поэтому, если я как-нибудь громко выскажу то, что другие даже тайно замалчивают. Только не беспокойся, — мы оба

ничем не рискуем. Ты, дорогой читатель, можешь при нужде даже отрицать, что читал мою книгу, или можешь сказать, что, едва прочитав эту книгу, ты тут же отбросил ее с раздражением, эту скверную книгу без соли и тайного советника Шмальца, полную вещей безнравственных и опасных, — ты понимаешь меня. Тогда к тебе нельзя будет придаться. Что касается меня, то я рискую также мало, я говорю как Лютер в своем письме к Рейхлину: *nil timeo, quia nihil habeo!** и Хвала господу! Они ничего не дали мне на этом свете, и поэтому мне нечего терять. Было бы весьма дальновидно, если бы они согнули меня тяжестью государственных почестей; теперь я порхаю через их головы, беспечный и легкий как птица, и распеваю освободительные песни, будучи сам песня и образ свободы. Правда, несмотря на то, что в условиях нынешней культуры не трудно устроиться как следует, мне бы все-таки хотелось иногда раздобыть собственный диван и собственную любимую жену; но при беде это стеснило бы меня, слишком много было бы хлопот с моими пожитками, и с собственностью пришли бы страх и рабство. Достаточно раздражает меня уже то, что я недавно купил себе чайный сервиз — сахарница была так соблазнительно красиво вызолочена; на одной из чашек был превосходно нарисован мой любимец — король баварский, а на другой чашке — диван и картина семейного счастья. Право, я уже озабочен, что делать мне со всем этим фарфором, если бы правительство вдруг отправило меня с миссией за границу и мне пришлось бы сломя голову готовиться к отъезду, или если бы мне по собственному побуждению пришлось бежать от возможности получить назначение с постоянной квартирой. Я уже теперь чувствую, как проклятый фарфор мешает мне писать, я становлюсь таким предусмотрительным, ручным, я часто льщу из страха, — в конце концов я начинаю думать, что торговец фарфором был агент австрийской полиции,

* Ничего не боюсь, так как ничего не имею!

и Меттерних навязал мне этот фарфор, чтобы приручить меня. Да, да, портрет короля баварского смотрел так заманчиво на меня, именно он, любезнейший из королей, был приманкой, на которую я попался. Но я еще достаточно силен, чтобы разбить свои фарфоровые оковы, и если мне не станут докучать, то, право, сервиз, кроме чашки с королем, полетит в окошко, а кто будет проходить мимо — пусть остерегается осколков.

Чем больше я смотрю на мой фарфор, тем правдоподобнее кажется мне мысль, что он идет от Меттерниха. Но я нимало не упрекаю его в том, что он старается таким путем обойти меня: когда против меня пользуются разумными средствами, то я никогда не бываю недоволен; только грубость и глупость невыносимы для меня. Кроме того у меня есть некоторый *tendre* * к Меттерниху. Меня не обманывают его политические устремления, и я твердо убежден: человеку, которому принадлежит виноградник, где произрастает пламенный либеральный Иоганнисбергер, в глубине его души никак не могут быть милы сервизизм и обскурантизм. Вероятно, это только причуды выпившего, когда он утверждает, что он единственный свободный и разумный человек в Австрии. Ну, у каждого бывают причуды, и я предоставляю Меттерниху его причуду; ни в коем случае я не хочу с ним ссориться; в ближайшее время собираюсь в Вене есть жареных цыплят.

С Ротшильдами я тоже не хочу портить отношений и предполагаю вскоре в особой книге особо указать на их значение и восславить их заслуги.

В самом деле, когда я размышляю о государственной экономике последнего времени, мне становится все яснее, что без помощи этих людей общефинансовые затруднения были бы использованы в большинстве государств революционерами для того, чтобы склонить народную массу к ниспровержению существующего порядка или беспорядка. Ибо взрыв революций обыкновенно вызывается денежными затруднениями; справляясь с ними,

* влечение

ротшильдовская система, быть может, спасла спокойствие Европы. Да, эта система или, вернее, ее изобретатель, Натан Ротшильд, поддерживает это спокойствие еще и потому, что хотя она не может удержать отдельные государства вести друг с другом войны, как и раньше, и всегда, но народу будет не так уже легко восстать против своих правительств. Конечно, смиренные служители религии каждый день уверяют, что если бы им вернули их монастыри и десятины и прочее добро, и вообще предоставили им полную свободу, то посредством своих воспитательных приемов и известных маленьких домашних средств они воспитали бы новые поколения в такой законопослушной глупости, что даже глупейшему министру будет легко управлять ими, и таким образом навсегда будет обеспечено спокойствие в Европе. Но эти черные педагоги лгут или заблуждаются, — мы уже не дадим делать нас дураками, и не в нашей глупости, а, напротив, в уме находит теперь правительство лучшую гарантию своей безопасности. Религия уже больше не в состоянии обеспечить правительствам спокойствие народов, и ротшильдовская система займов достигает этого гораздо вернее; она обладает такой силой морального принуждения, которая утасла в религии, суррогатом коей она может теперь служить; мало того: это — новая религия, которая при гибели старой религии заменит ее практические блага. Удивительно, что эту новую религию тоже изобрели евреи.

.....
Зарезанная Иудея была хитра как умирающий Несс, и ее отравленная, ее собственной кровью отравленная рубашка так действительно поглотила силу Геркулеса, что могучие члены ослабели, панцырь и шлем свалились с увядшего тела, его мощный боевой голос снизился до молитвенного хныканья: такой жалкой медлительной смертью умирает в течение тысячелетий Рим от иудейского яда».

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

ИТАЛИЯ. III. ГОРОД ЛУККА

Стр. 462. После слов «видеть католические лица» в одной рукописи следовало: «Я видел теперь католические лица в наилучшем освещении; трудно передать, что я открыл в них; так как у всякого монаха и священника, как и вообще у всякого человека, другое лицо, и так как люди так мало похожи друг на друга, то мне даже кажется, что неправильно и, следовательно, греховно поступают, разделяя их на классы по внешним признакам и вынося этим классам определенный коллективный приговор, как, быть может, сделал я сам в одной из прошлых глав. Ряса не делает монаха, так же как мундир генерал-адъютанта не делает героя; если оба они поменяются нарядами, то у монаха может оказаться вид героя, а у генерал-адъютанта вид монаха; в этом случае, пожалуй, получились бы лучшие молитвы и большие геройские подвиги».

Стр. 468. Монолог, начинающийся словами «Франческа, звезда мыслей моих», изложен во французском издании 1858 г. иначе:

«Я чувствовал, что понемногу прихожу к самому отъявленному иезуитству и что готов обещать моей innamorata *, что, сливаясь с нею, я в то же время сливаюсь с ее верой и с ее церковью.

«Франческа, — воскликнул я, — звезда моих мыслей, мысль моей души, моя возлюбленная, прекрасно пляшущая и набожно верующая Франческа, открой мне дверь, это будут для меня врата рая, твоего прекрасного католического рая! Обещаю тебе отказаться от протестантской веры, этой гадкой холодной религии, которую я исповедывал, никогда не любя ее... У твоих белых обожжаемых ног я отрекись от заблуждений Лютера, к которым меня привязали светская необходимость и прусские ковы сатаны... Открой мне дверь,

* возлюбленной

и-я войду в лоно церкви католической, апостолической и римской; в твоих верующих объятиях я упьюсь радостью блаженных, на твоих устах, в твоих поцелуях раскроется мне сладостный символ, произойдет чудо святого таинства... Слово станет плотью... Бог есть любовь... Но во имя любви господней, открой мне».

Увы! двери блаженства не открылись для меня в эту ночь, и я вернулся домой не попавшим, скучающим и ворчащим протестантом, каким был раньше...»

Стр. 468 Глава VI имеет в одной рукописи продолжение, которое описывает дорсжансе приключение во Флоренции. «Наконец настал великий день, за которым должен был следовать еще более великий вечер. Уже в восемь часов утра я встал и пспешил в сад Боболи, где шептал каждому кипарису, каждой статуе: «Сегодня бенефис Франчески, сегодня она будет танцовать». Но темные деревья оставались недвижимы, и ничего не бтразилось на белых лицах мраморных статуй. Затем, чтобы убить время, я обошел все церкви; сердце мое было так переполнено, что даже собор показался мне сегодня тесным; в Сан-Лоренцо я не мог удержаться от громкого смеха при виде расточительной роскоши Медичи. О, бедные, на что вам все эти богатые надгробные камни! Вы не можете видеть, как танцует Франческа! В Санта-Кроче я долго ходил взад и вперед и от скуки читал надпись на памятниках. Я искал имя Бокаччо, но нигде не нашел его. Почему нет его в Санта-Кроче? Все равно, этот вопрос делает ему больше чести, чем блестящий памятник. А Аретино здесь? Да, здесь, потому что ни у кого нельзя отнять удовольствия принимать могилу неизвестного благочестивого монаха, по имени Аретино, за могилу веселого насмешника, и таким образом мудрый случай воздвиг ему монумент, в котором отказала ему озорсная рассудительность. Микель-Анджело, Данте, Галилей — эти имена не могли тронуть меня сегодня.

Отчаяние и беспокойство погнали меня в галерею Уффици. В Трибуне, перед статуей Венеры Медицей-

ской, сидел в высоком кресле мой друг, маркиз ди Гумпелино, глубоко погруженный в художественные размышления, которые от времени до времени он шопотом сообщал слуге, стоявшему сзади. Так как оба они не заметили меня, то я услышал такой разговор:

— Гирш, посмотри на эти ноги!

— Г. Гумпель, на что мне эти ноги?

— Все это для твоего образования! Посмотри на эти ноги. Господи, господи, эти ноги!

— По-моему они очень грязны...

— Руки новые и голова тоже, вероятно, новая и, некоторые говорят, слишком маленькая. Но боже мой, ноги!.. Там наверху висит Венера Тициана. Тут ты можешь видеть, что живопись не может дать так много, как скульптура. Но тело, боже мой, боже мой, что за тело! Тициан, по прозванию Верчелли, родился в Венеции в 1477 году, умер в 1576 году.

— Все это я должен удерживать в голове, г. Гумпель? Что мне делать? На старости лет мне приходится еще учить наизусть Венерины ноги, только чтобы, в случае нужды, проституироваться как образованный человек. Я говорю «в случае нужды» потому, что, пока я живу в Гамбурге, мне это не нужно, но кто знает, может быть когда-нибудь придется переехать в другое место...

Чтобы избежать разговора об искусстве я опять ускользнул прочь, так что меня не заметили ни господин ни слуга, и занялся другими попытками убить время; к ним принадлежали также обед и визит к синьоре Лауре, куда меня насильно затащил ее собственный любовник, мой друг Вильям, с которым мы встретились на набережной Арно. Но всякие демонстрации ее красоты и даже ее маленькие непристойности не могли отвлечь моих мыслей от Франчески. Когда пробило шесть, я поцеловал Вильяма и его возлюбленную и поспешил прочь.

Не сердись же на меня, Вильям, что я так безжалостно покинул тебя. Вместе с Франческой и Матильдой ты остаешься лучшим моим воспоминанием об Италии

Как часто, как сладостно часто смеялись мы над нашими взаимными предательствами, как счастлив был я, когда мне удавалось поцеловать твой прекрасный лоб и дружественно украсить его чудеснейшими рсжками! Помнишь ли ты еще, как на Понте Веккио, как раз на том месте, где некогда был заколот великий Буондельмонте, ты с изумлением заметил, что на мне твои сапоги? Но ты совершенно удовлетворился моим объяснением, что они стояли подле дивана Лауры, где я их надел в темноте, вместо моих. И по сей день я еще ношу эти кожаные *spolia opima*.

Довольно об этом, перехожу к рассказу о том, как нетерпение погнало меня к жилищу синьоры Франчески. Вновь вдыхаю я благоуханную помаду синьоры Летиции, вновь слышу звуки гитары и томное пение профессора:

Ах, радостям открылась эта грудь.
Аменаида, ты мое единое влечение,
Ты цель единая моих горячих слез
И страстных вожелений!

Синьора Летиция стояла перед своим маленьким зеркалом и совершала большой туалет; сегодня бедный Бартоло вместо плевательницы держал перед ней баночку с румянами и время от времени раздражался неистовыми речитативами, которые профессор сопровождал бурными гитарными громами. На диване же лежала прекрасная Франческа, еще в своем черном шелковом negligé, и улыбалась как ребенок в день рождения».

Стр. 470. После слов «Австрии, России и Франции» во французских изданиях 1834 и 1858 гг., добавлено: «больше всего доставалось святому Иосифу. Она делала самые бесшабашные замечания об одном «Бегстве в Египет», где Мария сидит с младенцем на осле, погонщик которого, святой Иосиф, семенит позади. Миледи утверждала, что живописец старался выразить известное соответствие между этим погонщиком и четвероно-

гим; в самом деле у обоих свисали длинные уши с их меланхолически склоненных голов. «О, в каком неслыханном затруднении этот бедный человек! — воскликнула Матильда. — Если он верит, что господь бог соизволил стать его сотрудником, то есть от чего предаться дьяволу; если же он в это не верит, то он — еретик и все равно станет добычей дьявола. Что за ужасающая дилемма! Вот почему он так печально опустил голову. А они еще украсили эту голову сиянием, которое слишком похоже на светящиеся рога. Как меня печалит судьба этого бедного погонщика! Никогда до сих пор я не испытывала такого волнения в церкви».

Стр. 477. После слов «именно немецкий язык» в одной рукописи следовало: «Я не уверен, но мне кажется, что всякий раз, когда сойдутся деспотизм и рабство, слышишь немецкие слова и видишь немецкое терпение. Это терпение и есть, вероятно, причина, по которой немецкие солдаты всегда совершали больше всех других; итальянцы, разумеется, так же сильны и храбры, как и австрийцы, но всегда были угнетаемы последними. Ибо не храбрость, но терпение правит миром».

Стр. 479. После слов «в том, что ими управляют» в одной рукописи следовало: «Когда короли, вследствие лени или других занятий — охоты, любовниц, конгрессов, балов, парадов и т. п., — долго не занимались управлением и вдруг, в страхе перед демагогами, вновь наскоро надевают королевский мундир и хватаются за правительственную дубинку, они с быстрейшей быстротой стараются вновь нагнать упущенное, и из всех сил напрягаются, и еще берут себе в помощники нескольких опытных палачей и тому подобных сотрудников, и правят тогда во-всю, так что человеку страшно. Так поступил и король сардинский, и тех демагогов, которым не отрубили головы, он отправил на галеры; я видел нескольких из них в генуэзском порту, и в глубине сердца вознес хвалу го-

споду, моему создателю, и еще более милостивому прусскому правительству. Ах, в глубине сердца я должен был сознаться, что наши немецкие демагоги больше заслуживают галер, чем итальянские, а именно за их глупость и педантство! Итальянцы знали, чего хотели, и добивались чего-то исполнимого и справедливого. Они хотели осуществить те идеи, которые мудрейшими людьми на земле признаны истинными и за которые лучшие люди проливали свою кровь; они стремились к равноправию всех людей на этой земле; чтобы не было никаких привилегированных сословий, никакой привилегированной религии, не было короля дворянского, короля поповского, а был только король народный. В эпоху, когда исчезают почти все национальности, когда в Европе нет больше наций, а только партии, когда эта великая истина нигде глубже не понята, как в многосторонней космополитической Германии, в стране, прочувствовавшей гуманность раньше и глубже других, как раз здесь возникла черная секта, измыслившая самый дурацкий бред о германстве, народности и исконном свинстве, и предлагала осуществить этот бред еще более дурацкими средствами. Они не были невежественны, потому что они все прочитали. Они были многосторонни в ограниченности, это были не какие-нибудь французские поверхностные демагоги. Они были основательны, критичны, историчны. Они могли с точностью определить степень родства, позволяющую при новом порядке вещей устранить тебя с пути; они расходились только в методах казни, то есть одни полагали, что меч есть самый старонемецкий способ, другие, напротив, утверждали, что все-таки можно применить гильотину, так как она есть немецкое изобретение и вообще называлась «французским кашканом». Нет ничего безвкуснее их кровожадного педантства; я слышал однажды, как они препирались о том, должен ли быть внесен в проскрипционный список один немецкий ученый, высказывавшийся несколько сурово о Фризе, тонком подстрекателе к убийству Коцебу,

и в результате решено было, что этому человеку нельзя оттяпать голову ни топором, ни гильотиной, пока не выйдет в свет последняя часть его большого философского труда, по которому можно будет систематически судить о всей его системе».

Стр. 480. Глава X имела в одной рукописи продолжение в виде отдельной главы:

«Что он сделал?» — воскликнули мы все трое, когда мимо нас провели довольно хорошо одетого молодого человека в кандалах. На его бледном лице запечатлелись благородство и печаль. Более похожий на мученика, чем на преступника, он спокойно шагал между двух сбирров, имевших вид бандитов, в красных шапках, с ветхими карабинами в руках, в старых плисовых куртках оливкового цвета, наброшенных на плечи как плащ.

«Убил кого-то», — сказал нам один прохожий. «Бедняга!» — вздохнула синьора.

Не подумай, однако, дорогой читатель, что этот вздох относился к убитому, он относился исключительно к убийце, так как убийца в Италии всегда является предметом сострадания. Убийство здесь не столько деяние, сколько событие, и жалеют о том, на чьих руках лежит вина. Извинение находит даже преднамеренное убийство. Оно рассматривается как вид судебной расправы. И в самом деле, в стране, где законы так недостаточны и так плохо соблюдаются, такая самопомощь извинительна больше, чем у нас, как последняя личная инстанция. Убийство у итальянцев в большинстве случаев есть как бы норма обычного права, и, наша историческая школа, оставаясь верной своим принципам, должна была бы взять его под свою защиту и стараться санкционировать его как наилучшее и самое действительное право, подобно другим юридическим обычаям, которые также находятся в противоречии с разумом и религией.

«Это вор», — поправил другой прохожий, — и синьора споксйно сказала: «Ну, пусть его повесят во имя господне».

Не удивляйся этой жестокости, дорогой читатель, с культурностью их чувств итальянцы относятся презрительно собственно к воровству, хотя, принуждаемые бедностью, они стараются всеми способами обратить приезжих и так преисполнены хитрости и обмана, что миледи однажды совершенно справедливо заметила: «Если Европа голова земли, то Италия ее воровской орган». Но я повторяю, это воры, которые не крадут, их привлекательность лишает нас даже всякого раздражения, когда они вынимают у нас деньги из кармана.

«Повесят? — сказала миледи с горечью и бросила укоризненный взгляд на синьору, которая тут же забыла, что сказала, и продолжала мечтательно улыбаться. — Повесят? Если бы я была королем, я бы не вешала человека, вся вина которого заключается в том, что он собственноручно перерезал людям глотки или собственноручно опустошал их карманы, не прибегая для этой цели к услугам фельдмаршала или министра финансов».

Но бедняга не был ни убийцей, ни вором, напротив, он был карбонарием, как объяснил нам один аббат.

«Это враг престола и алтаря, — сказал нам этот священнослужитель, — это один из тех опасных людей, которые устраивают заговоры против своего государя и даже против бога. Здесь, в Тоскане, не следовало бы обращаться с ними милосердно, но, поймав, сейчас же рубить им головы или посылать с клеймом на галеры, как в Пьемонте и Неаполе».

«Понимаю вас», — ответил я ему. Но так как он меня не понял, то сказал еще несколько елейных слов и протянул мне на прощанье руку; это была мягкая, червиво-мягкая рука, так гнилостно податливая, что я почти испугался, как бы она не осталась в моей руке.

«Ах, ты божий мерзавец!» — воскликнул я. — Ты не достоин попирать ногами землю Тосканскую. Не знаю, так ли благороден в своих помышлениях герцог Лукки, лежащий в Тосканской области, как великий герцог Флоренции; но мне не пришлось в Луккской области слышать ничего об ужасах тех казней и правительствен-

ных гнусностей, вести о которых доходят до нас ежедневно из других частей Италии. Великий герцог тосканский — один из гуманнейших и либеральнейших людей, какие существуют. Во Флоренции я чувствовал себя так свободно, словно я в Баварии. Многочисленные политические беглецы и изгнанники находят себе там неприкосновенные убежища. Как неправы противники австрийского принципа в тех случаях, когда их предубеждение распространяется на австрийскую династию, видно здесь, в Тоскане, так как великий герцог — австрийский принц, так же как некогда Иосиф II, один из величайших людей на свете, а это, конечно, гораздо больше, чем великий император. Бездетность их государя заставляет флорентинцев очень бояться, что их прекрасная свободная земля может стать добычей австрийских наследственных владений и меттерниховской политики. С возмущением отвергая последнюю, я умею также отличать политику от человека. Не могу себе все же представить, как это человек, которому принадлежит Иоганнисберг, где произрастает лучшее вино на свете, может в душе быть поборником обскурантизма и рабства».

Стр. 482. После слов «презрительно относящихся к религии» в одной рукописи следовало: «Все религии святы, ибо при всем различии внешних форм, они чтят один и тот же святой дух. Это религия всех религий».

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

АНГЛИЙСКИЕ ОТРЫВКИ

Стр. 522. После слов «Осады Тюильри и т. п.» в журнальном тексте следовало: «При упоминании об этом умственном перевороте во Франции, всякий, конечно, думает о прекрасных именах Кузена, Жоффруа, Гизо, Баранта, Тьерри, Тьера и др.; я же гораздо больше принимаю во внимание молодежь но-

вой Франции; органом ее я считаю журнал «Глоб», который уже несколько лет выходит в Париже и в котором молодые демократы науки единодушно и без тщеславия излагают результаты своих исследований, а нередко и самое исследование, ясно ставя центральные вопросы человеческого рода в порядок дня или, лучше сказать, в порядок века, точно диктуя мировую литературу взаимной помощи, давая использовать подготовительные работы всех наций и, так сказать, великолепно облегчая сотрудничество целой нации».

Стр. 529. После слов «в изображении скотов» в журнальном тексте следовало: «Всюду, каковы люди, таковы и их боги. Тупоумные негры почитают ядовитых змей, косоглазые башкиры — отвратительные деревянные обрубки, тупые лапландцы — почитают тюленей. Сэр Вальтер Скотт ни в чем не уступает этим людям — и он почитает своего Веллингтона».

Стр. 548. В тексте журнала «Neue Politische Annalen» 1828 г. следовали выпущенные впоследствии четыре пункта:

«22. К этому присоединяется следующее: два вышеуказанных долга, а именно — государственный долг и долг *dead weight* или, лучше сказать, проценты по этим долгам, уплачивались раньше бумажными деньгами, с пониженным курсом, причем пятнадцать шиллингов стоили меньше, чем винчестерская мерка пшеницы. Таков был способ уплаты этим кредиторам в течение очень многих лет; но в 1819 году один глубоко-мысленный министр, г. Пиль, сделал великое открытие, что для нации лучше, когда она платит свои долги настоящими деньгами, когда пять шиллингов — вместо пятнадцати бумажных шиллингов — стоят столько, сколько винчестерская мерка пшеницы!

23. Номинальная сумма никогда не изменялась. Она оставалась неизменной, не было сделано ничего, кроме того, что г. Пиль и парламент изменили ценность суммы и потребовали, чтобы долг уплачивался такими день-

гами, когда пять шиллингов имеют такую же ценность и могут быть получены лишь за такую работу или за такое количество вещей, как пятнадцать шиллингов по тому курсу, по которому были сделаны долги и по которому уплачивались проценты по этим долгам в течение многих лет.

25. Поэтому с 1819 года до нынешнего дня нация находилась в безнадежнейшем состоянии, поедаемая кредиторами, обыкновенно евреями или, лучше сказать, христианами, которые поступают как евреи и которых не так легко заставить не столь жадно набрасываться на свою добычу.

26. Произведено было несколько попыток смягчить следствия перемены, произведенной в 1819 году в денежном курсе, но попытки эти не удались и однажды чуть не взорвали всю систему».

Стр. 571. Глава IX имела в журнальном тексте 1828 г. продолжение:

«Но я отвлекся от моей темы, я хотел рассказать о старых парламентских шутках, и вот, современная история сразу обращает всерьез всякую шутку. Приведу еще более веселый эпизод, а именно речь, которую Спринг Райс произнес 26 мая того же года в нижней палате и в которой он забавнейшим образом издевается над протестантскими страхами перед возможным засылем католиков (ср. *Parliamentary history and review* etc. etc., стр. 252).

«В 1753 году, — сказал он, — в парламент был внесен билль о натурализации евреев; мероприятие, против которого в наши дни в этой стране не возразила бы даже женщина, но которое в свое время натолкнулось на яростнейшее противодействие и вызвало множество петиций от Лондона и других местностей, такого же рода, какие теперь предъявляют по поводу билля о католиках. В ходатайстве лондонских граждан говорилось: «Если бы указанный билль о евреях приобрел силу закона, то христианская религия оказалась бы в страшной опасности, это подорвало бы весь строй

государства и нашей святой церкви (смех) и чрезвычайный вред принесло бы интересам торговли вообще и города Лондона в частности». (Смех.) Тем не менее, несмотря на это мрачное разоблачение следующий канцлер казначейства нашел, что эти страшные следствия не имели места после того, как евреи были приняты в состав Лондонского сити и даже Даунинг-стрита. (Смех.) В это же время журнал «Человек силы», грозя бесчисленными бедствиями, которые необходимо повлекло бы за собой это мероприятие, распространялся о нем в следующих словах: «Прошу позволения объяснить последствия этого билля. Господь милосерден, но евреи не знают милосердия и должны отомстить нам за 1 700 лет преследования. Если этот закон пройдет, то все мы сделаемся рабами евреев и без надежды на спасение по милости божией. Монарх был бы подчинен евреям и отвернулся бы от свободных землевладельцев, он распустил бы наше британское воинство и образовал бы армию сплошь из евреев, которые принудили бы нас отречься от нашей королевской династии и как бы натурализоваться под властью еврейских королей. Пробудитесь поэтому, христианские и протестантские братья! Не Аннибал у ваших ворот, но евреи, и они требуют ключей от ваших храмов!» (Громкий продолжительный смех.) В прениях об этом билле один барон с Запада (смех) объявил, что если евреям предоставят право натурализоваться, то явится опасность, что они окажутся в парламенте в большинстве. «Они разделят наши графства, — говорил он, — между своими коленами и распродадут наши поместья с торгов». (Смех.) Другой член парламента утверждал, что если бы билль прошел, то евреи размножились бы так быстро, что распространились бы по большей части Англии и отняли бы у народа его землю, так же, как его власть. Депутат от Лондона сер Джон Бернард рассматривает предмет спора с глубоко богословской точки зрения, точки зрения, которую мы вновь целиком находим в новейшей петиции от Лейстера, подписавшие которую ставят

католикам в упрек то, что они — потомки тех, которые сжигали их предков, и таким же образом он восклицал: «Евреи — потомки тех, которые распяли спасителя, и поэтому они прокляты господом вплоть до отдаленнейших потомков». Он (Спринг Райс) приводит эти выдержки для того, чтобы показать, что этот старый крик и шум был так же обоснован, как и нынешний новый шум по отношению к католикам. (Слушайте! Слушайте!) В эпоху билля о евреях издавалась юмористическая «Еврейская газета», где можно было прочесть такое сообщение: «По выходе нашего последнего номера прибыла почтовая карета из Иерусалима... На прошлой неделе в родильном доме в улице Браунло-стрит публично было обрезано двадцать пять мальчиков. Вчера вечером, в Синедриионе, большинством голосов была отвергнута натурализация христиан. Слухи о восстании христиан в Северном Уэльсе оказались совершенно необоснованными. В прошлую пятницу была во всем королевстве при общем подъеме отпразднована годовщина распятия». Такими способами и во все времена, как при билле о евреях, так и при билле о католиках, возбуждался самыми нелепыми способами бессмысленнейший оппозиционный шум, и всякий раз, расследуя причины такого шума, мы находим, что они всегда были одни и те же. Расследуя причины противодействия еврейскому биллю в 1753 году, мы встречаемся как с первым авторитетом, с лордом Чатамом, заявившим в парламенте, что он так же, как большинство прочих джентльменов, убежден, что сама религия ничего общего не имеет с этим спором и что только духу преследования, свойственному старой высокой церкви (*thy old high church perse cuting spirit*), удалось уверить народ в противоположном. (Слушайте! Слушайте!) Так оно есть и в этом случае, и опять любовь к исключительным полномочиям и привилегиям заставляет старую высокую церковь натравливать народ против католиков, и сн (Спринг Райс) убежден, что многие, прибегающие к таким уловкам, также хорошо знали, как мало должна

была затрагиваться религия при обсуждении последнего билля о католиках, так же мало, как при обсуждении закона о регулировании мер и весов или определении длины маятника по числу его колебаний. Относительно билля о евреях имеется также в тогдашней гарвикской газете письмо д-ра Берча к г. Филиппу Йорку, где говорится, что весь этот шум по поводу билля о евреях устроен только ради воздействия на предстоящие в будущем году выборы. (Слушайте! Смех.) Случилось в то время, как случается и в наше время, что один разумный епископ — епископ Норвичский — выступил в защиту билля о евреях. Д-р Берч рассказывает, что при возвращении в свою епархию он подвергся из-за этого поступка оскорблениям: «Отправившись в Ипсвич, чтобы подтвердить там нескольких мальчиков, он сделался по дороге предметом насмешек и требований, чтобы он произвел обрезание. Было также объявлено, что «в ближайшую субботу г. епископ будет подтверждать евреев, а на следующий день обрезать христиан». (Смех.) Таким образом, во все времена вопли против либеральных мероприятий были одинаково неразумны и грубы. (Слушайте его! Слушайте его!). Предлагаю сравнить эти опасения по отношению к евреям с тревогой, которая была в известных местностях вызвана биллем о католиках. Опасность, что таким образом католикам будет предоставлена большая власть, была так же нелепа. Возможность быть зловредными, если бы они и были склонны к этому, не могла бы быть предоставлена католикам законом в столь высокой степени, какой они сами достигли теперь именно вследствие своего угнетения. Это угнетение есть причина того, что люди вроде мистера О'Коннелля и мистера Шейла, сделались столь влиятельными. Эти лица названы здесь по имени не для того, чтобы бросить на них тень подозрения, наоборот, они достойны уважения и имеют заслуги пред своим отечеством. Но все-таки было бы лучше, если бы власть была сосредоточена в законе, чем в руках отдельных лиц, как бы последние ни были почтенны. На-

станет время, когда на сопротивление парламента такому равноправию будут смотреть не только с удивлением, но и с презрением. Религиозная мудрость прежней эпохи не раз бывала предметом презрения следующих поколений». (Слушайте! Слушайте!..)

.....

Конец речи Спринга Райса, который был обещан для следующего номера «Анналов», не был там помещен».



СПИСОК МЕСТ. ИСКЛЮЧЕННЫХ В ПЕРВОМ ФРАНЦУЗ- СКОМ ИЗДАНИИ

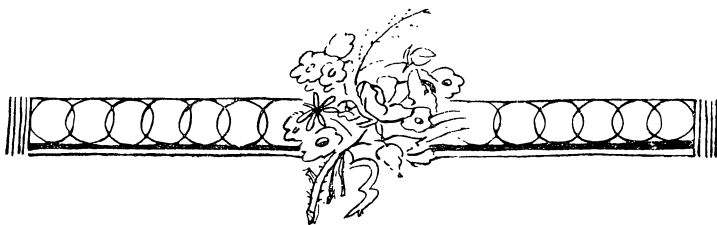
Первое французское издание (1834 г.) отличалось от немецких изданий не только приведенными выше дополнениями и вариантами, но так же и тем, что автор исключил в нем ряд строк, абзацев и даже глав. Ниже приводится список исключенных мест.

На стр.	103	от слов	«Я внутренно тронут» до «священные ваши ляжки».
»	» 108—109	»	«однако еще безотраднее» до «чем к храму божью».
»	» 126	»	«один молодой поэт» до «и ускакал прочь».
»	» 140	»	«а потому тотчас же» до «их фабричной стоимости».
»	» 140—141	»	«Клавираусцуг» до «Cum omnia causa»
»	» 150—151	»	«Быть может, так бы вышло» до «на- родов и их богов».
»	» 165—168	»	«Эти люди собрали» до «дух наш на свой лад».
»	» 173—174	»	«Пусть это кажется смешным» до «на дела человеческие».
»	» 174	»	«А кто такой» до «Я теперь брожу».
»	» 176—177	»	«И повсюду заметно» до «ржанием ган- новерских коней» и дальше — про- пущенное из немецкого первого изда- ния.
»	» 178—179	»	«И даже если они» до «сердце честного человека» и далее от: «Упреки мои» до «все они хорошо играли».
»	» 185—186	»	«С этой последней стороны» до «моменты немецкой истории».
»	» 188	»	«Я слышал, что один» до конца Нордер- нея.

На стр.	198	»	»	«И если бы они» до «скверных пьес».
»	»	204	»	» «Когда Майор Дюван» до «иметь право сказать»
»	»	248—254,		
		255	от слов	«Но если нельзя этих» до «в сапогах скороходах» и дальше от: «не помышляя о том» до «Друга общества».
»	»	271—274	»	» «Я взял однако» до «великого мастера Кленце».
»	»	277	»	» «вонючая улыбка» до «нежнейшие газели».
»	»	284—287	»	» «есть в немецком» до «и Людовига Баварского».
»	»	290—291	»	» «Он для Тироля» до «что ему дорого».
»	»	332	»	» «Быть может, признание» до «fugate».
»	»	335—336	»	» «Иной раз нам кажется» до «История умов» и дальше от: «Подобно тому как есть» до «писателям, но».
»	»	339—342	»	» «Кто думает теперь о Маренго» до конца главы.
»	»	406	»	» «или в чем-либо еще» до «на обоях».
»	»	408—409	»	» «Разумеется, другому» до «эз грешный» и дальше от: «На второй странице» до «читал книжку».
»	»	409—411	»	» «Вечно приходится сожалеть» до «моя страда».
»	»	415—439	»	» Вся XI глава до конца
»	»	490	»	» «и характер которой» до «государевым порокам».
»	»	494	»	» отсутствуют целиком главы XV, XVI и XVII.

Из «Английских отрывков» Гейне включил во французское издание «Путевых картин» только 7 глав под общим названием «Англия» (не включены главы VII, VIII и IX, а XI дается только во французском издании. В том же издании глава IV присоединена к «Северному морю»).

КОММЕНТАРИИ



«Путевые картины» Гейне появились впервые отдельным изданием в 4 томах или, вернее, частях, в течение 1826 — 1831 годов.

Первый том вышел в 1826 г. и содержал в себе, кроме «Путешествия по Гарцу» и первой части цикла «Северное море», еще ряд стихотворений под общим заголовком «Опять на родине» и 5 поэм: «Сумерки богов», «Ратклиф», «Донна Клара», «Альмансор» и «Хождение в Кевлаар».

Второй том появился в 1827 г. и содержал в себе вторую и третью часть цикла «Северное море» (во французском издании озаглавлено «Нордерней»), затем «Идеи — Книга Le Grand» и «Письма из Берлина».

Третий том «Путевых картин» вышел в 1830 г. и под общим заголовком «Италия» содержал в себе «Путешествие из Мюнхена в Геную» и «Лукские воды».

Четвертый том, изданный в 1831 г., был озаглавлен «Дополнения к путевым картинам» и содержал в себе «Город Лукку», «Английские отрывки» и «Заключительное слово» от 29 ноября 1830 г. — года июльской революции во Франции, завершающего первый период жизни и творчества Гейне.

Второй том появился отдельным изданием, не будучи ранее напечатанным в журналах, а первый, третий и четвертый почти целиком или в значительной части печатались в журналах, до появления их в свет отдельными изданиями.

Свой первый том Гейне-студент подготовил еще в 1824 г. Будучи студентом Геттингенского университета, Гейне перед экзаменами, осенью 1824 г., совершил путешествие пешком через Гарц, повторяя путешествие, сделанное им весной того же года. В ноябре 1824 г. уже готов был текст, в котором Гейне в стихах и в прозе описывал свои путевые впечатления и навеянные ими поэтические настроения. Он послал рукопись дяде, тоже Генриху Гейне, где она служила «зимним чтением» для родных автора.

Когда рукопись была ему возвращена в Геттинген, он 15 мая 1825 г. направил ее Фредерике Роберт, для издаваемого ею альманаха «Рейнские цветы». При этом он значительно

переделал текст и предлагал выбросить политическую сатиру в части, касавшейся балета (см. стр. 134—135).

Но альманах Фредерики Роберт в 1825 г. не появился. Гейне потребовал рукопись обратно и 23 ноября 1825 г. послал ее редактору журнала «Общественник», профессору Губицу в Берлин. В этом журнале его произведение и печаталось с 10 января по 11 февраля 1826 года.

Интерес, который это напечатанное в журнале произведение вызвало у читающей публики, родило у Гейне мысль об издании нескольких томов «Путешествий». Издатель Юлий Кампе поддержал его намерения. Гейне перерабатывает и дополняет «Путешествие по Гарцу» — и в конце мая 1826 г. появился первый том «Путевых картин».

После появления в свет первого тома Гейне вторично едет на остров Нордерней, там разрабатывает материалы для второго тома, и к концу 1826 г. — в Гамбурге — готов к печати второй том. Гейне тогда носился с мыслью сделать свои «Путевые картины» салоном для свободных умов. Он просит своих друзей — Фарнгагена фон Энзе, Мозера и Иммермана — прислать ему свои вклады в его второй том. Отозвался на это приглашение только Иммерман, приславший свои эпиграммы, из которых Гейне сделал приложение к своему «Северному морю».

В июле 1828 г. Гейне совершает путешествие из Мюнхена в Италию и покидает ее в декабре, получив известие об опасной болезни отца. Весною 1829 г. в Потсдаме, где Гейне провел три месяца в полном одиночестве, он подготавливает к печати третий том, вышедший в конце 1829 г. («Путешествие из Мюнхена в Геную», за исключением глав XVIII, XXI, XXII, XXXI и XXXIV, было напечатано в 1828 — 1829 гг. в «Утренней газете»).

С конца июня по конец августа 1830 г. Гейне живет в Гельголанде, где он, повидимому, и написал последние главы своего путешествия по Италии — «Город Лукку», хотя сам Гейне сообщает, что он написал его одновременно с «Луккскими водами». Присоединив к нему уже раньше в значительной части напечатанные в разных журналах «Английские отрывки», он составляет таким образом IV том, или «Дополнения к путевым картинам», появившийся в свет в начале января 1831 года.

Восемь из одиннадцати глав, которые составляют «Английские отрывки», первоначально печатались отдельными статьями в разных журналах. Так, главы I, IV, VI, VII, VIII и IX были напечатаны в журнале «Новые Политические Анналы» за 1827 и 1828 гг.; III — в «Утренней газете для образованных классов» за 1827 г., а II и V — в журнале «За рубежом» («Das Ausland») за 1829 год. Главы X и XI и «Заключительное слово» появились впервые в отдельном издании 1831 года.

В первом посмертном издании собрания сочинений Гейне, изданном в 1861 г., в состав «Английских отрывков» были введены

еще две главы: «Джон Буль» и «Телесное наказание в Англии». Но глава «Джон Буль» не написана Гейне, а лишь переведена им в 1827 г. из английского описания Лондона; глава «Телесное наказание в Англии» появилась первоначально в 1828 г. в редактировавшемся Гейне журнале «Политические Анналы», в качестве примечаний к статье анонимного автора. Обе эти главы самим Гейне не были включены в издававшиеся при его жизни «Английские отрывки» и потому даются ниже лишь в «Приложении».

Четыре тома или выпуска «Путевых картин» не все проникнуты единым настроением, не все написаны автором, достигшим одинаковой зрелости. Первый выпуск был написан Гейне-студентом, последний — зрелым политиком.

«Путешествие по Гарцу» Гейне, не отрываясь, написал меньше чем в 1½ месяца, в октябре — ноябре 1824 года.

Первый выпуск «Путевых картин» произвел большое впечатление во всей Германии и нашел большой спрос в читающей публике. Друзья поэта — Иосиф Леман, Фарнгаген, Мозер радовали его своими весьма положительными отзывами. Но были и другие отзывы. Гейне писал, что его «распинают на кресте» и «забрасывают грязью».

Среди положительных печатных отзывов следует отметить отзыв Руссо в «Рейнской флоре» от 1826 г., в котором говорилось, что «Путешествие по Гарцу» брызжет остроумием и настроением. Зато некий Vir в «Иенской литературной газете» (в 1826 г.) находил в Гейне много натянутого, остроты его плоскими, шутки тривиальными и даже пошлыми и манерными и полагал, что сатира — едва ли то поле, на котором наш поэт может обрести себе лавры.

Окрыленный отзывами друзей, Гейне решил выпустить несколько книг «Путевых картин» и был уверен, что сможет дать в них нечто потрясающее по своей силе. Однако содержание этих будущих книг выяснилось для него не сразу.

Вначале Гейне предполагал, что «Вторую и третью части его книги составят своеобразные путевые картины, письма о Гамбурге и «Бахерахский равнин». В письме к Мозеру, от начала 1826 г., он опять обещает поместить «Равнина» во второй части. Цунцу он пишет: во второй части «Путевых картин» появится «Равнин», сильно обрезанный. О «Равнине» он пишет, что это его «бескорыстная» книга, и он с большим увлечением над ней работает. Но «Бахерахский равнин» появился лишь много лет спустя, и то в неоконченном виде.

Осенью 1826 г. для Гейне уже окончательно наметилось содержание его второго выпуска. Он пишет Фридр. Меркелю. 6 октября 1826 г.: «Если здоровье мое несколько улучшится, то вторая часть «Путевых картин» будет самой удивительной и интересной из всех книг, какие могут появиться в наше время».

Мозеру он пишет 14 октября 1826 г.: «Вторая часть «Путевых картин» должна стать необычайной книгой и вызвать очень большой шум».

Тому же Фридр. Меркелю Гейне пишет 10 янв. 1827 г.: «Книга вызовет много шума... Наполеон и французская революция в ней даны во весь рост». Тем не менее, еще до появления критических отзывов об этой книге, Гейне пишет Мозеру: «Вообще «Путевые картины» создали мне много врагов» и добавляет, что для него было бы весьма полезным, если бы появилось несколько публичных благосклонных отзывов.

Во втором выпуске главное место занимает раздел «Идеи — Книга *Le Grand*», посвященная восхвалению Наполеона. Войны и походы Наполеона, вообще содействовавшие освобождению немецких стран от строя средневековья и крепостничества, отразились и на герцогстве Берг с его столицей Дюссельдорфом, где проживали родители Гейне. Берг был отдан Наполеону в 1806 г. и оставался под его владычеством до 1813 г. Свои детские и юные годы Гейне провел в Дюссельдорфе.

Наполеон отменил в Берге крепостное право, передал крепостным земли в собственность, отменил запрет браков дворян с мещанами и крестьянами, ввел в Берге Кодекс Наполеона — эту хартию буржуазного права. Кроме того, Наполеон предоставил в Берге полное равноправие евреям, которого они опять были лишены по возвращении Берга Пруссии, когда евреи снова стали гражданами второго сорта.

По мнению одного из критиков Гейне (Гесселя) в «Идеях — Книге *Le Grand*» Гейне отдает дань гегельянским настроениям: первые 11 глав — тезис, новые идеи Гейне; вторая половина книги — отрицание, антитезис, изложение идей, которые им раньше руководили; а синтезом является помещенный в начале книги эпиграф из «Вины» Мюльнера, выражающий мужество отдаться новым идеям, чего бы это ни стоило.

Второй выпуск «Путевых картин» встретил почти всеобщее одобрение. Сам Гейне писал Фридр. Меркелю 1 июня 1827 г.: «Из Берлина приятные письма; совершенно незнакомые люди полны энтузиазма». В «Общественнике» был помещен восторженный отзыв.

В статье, помещенной в 1827 г. в «Государственной и научной газете гамбургского беспартийного корреспондента» об «Идеях» говорится: «Здесь автор как по содержанию, так и по форме поднимается до такого совершенства, которое позволяет ему занять место в первом ряду немецких юмористических писателей».

Фарнгаген писал Гейне: «Большое впечатление произвела Ваша книга...., но читатели в недоумении, они не знают, не следует ли им хранить свое удовлетворение про себя и отрицать его публично, даже друзья ведут себя страшно добродетельно, как любящие порядок ученые и бюргеры... из сервильного страха все порицают».

И только в «Галльской всеобщей литературной газете», критик, отозвавшийся неодобрительно о первом выпуске, писал в том же духе и о втором: «По временам сатир нашего автора совсем не может скрыть своей козлиной породы; он опускается до худших пошлостей и непристойностей, которые отнюдь не могут позабавить образованный ум».

Правительства Ганновера, Пруссии, Австрии, Мекленбурга и др. поторопились запретить второй том «Путевых картин».

Гейне не мог воспринимать непосредственно ни этих похвал, ни преследований правительств. В то время как его «хотели разорвать в Германии» он сидел «спокойно» в Лондоне за печкой.

Сам Гейне особо ценил в своем втором выпуске книгу «Le Grand». По крайней мере, он пишет Мозеру 9 июня 1827 г.:

«Я думаю, «Le Grand» тебе понравится; все остальное в этой книге, за исключением стихов, — это корм для толпы, которая и пожирает его с большим аппетитом. Эта книга дала мне очень много сторонников и огромную популярность в Германии..... Голос мой теперь звучит далеко.... Я стану совершенно экстраординарным профессором в университете великих умов».

О втором выпуске «Путевых картин» тому же Мозеру он писал 30 октября 1827 г.: «Всеми свету страшно не понравилось, что это военный корабль с чрезмерным количеством пушек на борту. снаряжение третьего тома будет еще страшнее, пушки будут еще большего калибра, и я уже избрал для них совершенно новый порох. Балласту в нем будет не так много, как во втором».

Находясь на Луккских водах, Гейне пишет Мозеру 6 сентября 1828 г. о третьем томе: «В Мюнхене полагают, что я не буду больше так нападать на дворянство, так как я живу в центре знати, люблю прелестнейших аристократок и любим ими. Ошибаются. Моя любовь к равенству, моя ненависть к духовенству никогда не были сильнее, чем теперь, и я от этого делаюсь почти односторонним. Но именно для того, чтобы действовать, человек должен быть односторонним».

Однако, когда появился третий том, сам Гейне охарактеризовал его в следующих словах: «Книга написана без всякой демагогии, даже хорошо относится к русским, что в настоящее время равносильно ультра-прусскому направлению».

Конец третьего тома «Путевых картин», посвященный поэту Платену, полный очень резкой и грубоватой полемики с последним, был присоединен к книге довольно неожиданно.

Как мы уже указали выше, К. Иммерман прислал Гейне несколько эпиграмм, которые тот и напечатал в виде приложения к «Северному морю».

В этих эпиграммах был задет известный поэт Платен. Одна из эпиграмм гласила: «От плодов в садах Шираза, повсеместно знаменитых, через край они хватили — и газелами тошнит их» (см. выше, стр. 190). Газела это была та форма стиха, ко-

торой Платен особенно охотно пользовался. Гейне никогда раньше не имел столкновения с Платеном. В письме к Иммерману от 24 февраля 1825 г. Гейне отзывался о книге Платена «Комедии», правда, без особого восхищения, но и без всякой иронии и даже находил, что по художественной форме они родственны произведениям Иммермана. Гейне даже помогал Платену хлопотать о получении им стипендии.

Но Платен ответил на эпиграмму пятиактной комедией «Романтический Эдип», в которой особенно резко напал на одного из героев, которого он назвал «Ниммерманом» и которая — уже без всякого прикрытия — была полна плоских и грубых юдофобских выходов по адресу Гейне: «Выкрест Гейне», «Гейне, авраамово семя», «гордость синагоги», «бесстыднейший из всего смертного рода человечества»; в пьесе Ниммерман заявляет, что он друг Гейне, но «не хотел бы быть его возлюбленной, так как от его поцелуев разит чесноком».

И Гейне разделался с Платеном так, как можно прочесть в тексте в конце третьего тома «Путевых картин».

Из-за этих глав о Платене третий выпуск «Путевых картин» был встречен почти всеобщим порицанием.

Даже Иммерман, которому был посвящен этот третий выпуск, писал (2 апреля 1830 г.) Михаилу Беру: «Его реплику трудно защищать, но он, как истинно продуктивная натура, заслуживает того, чтоб было сделано все, что можно, для его поддержки. А, во-вторых, следует иметь в виду, что Платен первый напал на него самым подлым образом». Но Михаил Бер просил в ответ Иммермана передать Гейне: «Гейне часто говорил, что за многие вещи я берусь в лайковых перчатках. Но если бы я натянул эти лайковые перчатки, при чтении его книги, меня все же затошнило бы».

В общем все отзывы об этой книге были резко отрицательными. Фейт, ранее большой поклонник Гейне, очень резко напал на третий выпуск «Путевых картин» в «Общественнике». Еще с более резкими нагадками на Гейне выступил критик в «Листках для литературной беседы». Но там же Фарнгаген дал очень хороший отзыв и, говоря об экзекуции Платена, заявил: «Мы можем сказать только одно: казнь совершенна; палач мастерски справился со своей задачей, голова отлетела прочь».

Почти во всей этой книге описывается Италия. Из Лукки Гейне писал Шенку: «Что я думаю об Италии, вы увидите напечатанным рано или поздно. Незнание итальянского языка меня очень мучает. Я не понимаю людей и не могу с ними разговаривать. Я вижу Италию, но я не слышу ее. Но здесь говорят камни, и я понимаю их немой язык». Сам Гейне о третьем выпуске высказывался очень сдержанно.

Удрученный резкой критикой, Гейне, можно сказать, на время удалился от света. С июня по август 1830 г. в том числе и дни Июльской революции 1830 г. он проводит на уединенном Гельголанде.

По поводу четвертого выпуска Гейне в 1830 г. пишет Фарнгагену: «Мой издатель, который решил печатать мою книгу в Саксонии и заверял меня, что все там будет пропущено цензурой, вдруг сообщает, что это не выйдет, и мне пришлось добавить еще несколько арий и написать финал, чтобы заполнить двадцать листов».

Четвертый выпуск опять пользовался очень «хорошей прессой», отзывы критиков были весьма благоприятны. Известный Вольфганг Менцель, впоследствии ставший ярким реакционером и злобно выступавший против всей «Молодой Германии», дал в «Тюбингенской литературной газете» (1831 г.) очень похвальный отзыв об этой книге.

Он писал о ней: «Насмешка, подобно улыбающемуся, прекрасному, но все же злому Амуру, летит туда, куда несут ее крылья, из страны в страну, повсюду пуская свои золотые стрелы в сердца тех, кто к ней равнодушен, и улетает раньше, чем раздраженные могут бросить ей вслед... камень. Затем, играя, она срывает молодые розы и бросает незаконченный венок в лицо первой попавшейся красотке, и не знаешь, что она больше: амур или сатир. В играючи набросанных образах, в шутке, которая кажется только поверхностной, часто содержится глубокая мысль... Мы должны отдать полную справедливость мощному таланту Гейне, отвести ему почетное место среди современных корифеев нашей литературы....».

Для текста «Путевых картин» имеют значение французские издания их 1834 г. и 1858 г. Французский текст в обоих случаях подготавливался к печати под наблюдением самого Гейне и поэтому все отличия его от немецкого текста должны быть учтены.

В «Приложениях» мы помещаем отрывок «Чай» (1830 г.) в виду его известной тематической связи с «Лукскими водами». Об остальном материале «Приложений» см. выше.

«Путешествие по Гарцу»

Стр. 86. Эпиграф взят из «Речи в память Жана Поля» Людвиг Берне, произнесенной во Франкфуртском музее 2 декабря 1825 г., и выдержанной в духе сентиментального демократизма. В это время Гейне еще дружески ссылался на Берне; впоследствии с Берне и его сторонниками Гейне яростно полемизировал.

Берне Людвиг (1797 — 1837) — немецкий критик и публицист, один из влиятельнейших современников Гейне, эмигрант. Со времени июльской революции принадлежал к числу основателей парижской революционной мелкобуржуазной организации «Союз изгнанных».

Стр. 88. *Людер В.* — геттингенский студент, славился как силач и боксер.

Педель — университетский служитель. В обязанности педелей входил, между прочим, надзор за соблюдением студентами правил поведения.

Гвельфские ордена — ордена, установленные Ганноверским королевским домом (в Ганновере правила династия из рода Гвельфов).

Вандалы, фризы, швабы, тевтоны, саксы, тюринги — немецкие народности; в данном случае Гейне имеет в виду названия студенческих корпораций, как Вандалия, Тюрингия, Тевтония, Саксония и т. п.

Разенмюле, Риченкруг и Бовден — деревни по близости от Геттингена.

Главные петухи — распорядители мензур, т. е. фехтовальных упражнений студентов на шлегерах (эспадронах).

Стр. 89. *Маркс К. Ф. Х.* (1796 — 1877) — профессор в Геттингене. Написал книгу «Геттинген в медицинском, физическом и историческом отношении»; в ней, между прочим, говорится: «Тот или иной зоил хочет отказать нашим красавицам в стройных ногах; конечно, неправильно».

... *ученый покоился еще, конечно, в постели...* — Здесь имеется в виду, по всей вероятности, историк И. Г. Эйхгорн (1784—1854), с которым Гейне впоследствии даже дружил.

Стр. 90. *«Георгия-Августа»* — название Геттингенского университета.

Коммент (Komment) — сборник правил, предусматривающих вопросы студенческой «честь» (распорядок корпоративной жизни, менауры, дуэли).

Трибониан и *Гермогениан* — римские юристы; *Юстиниан* — римский император, чьим именем был назван созданный при нем кодекс; Гейне иронически добавляет к ним еще «Dummerjahn'a» т. е. Дурень-Яна.

Филистер — слово, обозначающее в немецком языке обывателя, мешанина и т. п.; на студенческом жаргоне филистер — то же, что штафирка, лицо, не причастное к студенческим кругам.

Геснер Соломон (1730 — 1788) — швейцарский художник и поэт; известен своими сентиментальными «Идиллиями», которые он иллюстрировал собственными гравюрами. В салонах Парижа и Версаля «Идиллии» Геснера превозносились как поэтическое отражение проповеди Руссо. В свое время Геснер имел европейскую популярность.

Шефер (по-немецки) — пастух, а *Дорис* — имя пастушки в идиллиях.

Стр. 93. *Фемида* (античная мифология) — богиня справедливости; изображение ее с мечом и весами — олицетворение беспристрастного суда.

Стр. 94. *Гофрат Рустикус* (по-латыни «крестьянин» — рустикус, по-немецки — бауер) — нарек на Антона Бауэра (1722 — 1843), который в то время был профессором государственного права в Геттингенском университете и принял энергичное участие в выработке уголовного кодекса для Ганноверского королевства.

Ликург — спартанский законодатель, которому приписывается составление свода законов.

Тайный советник юстиции Куяциус — Густав Гуго (1764 — 1844), геттингенский профессор, юрист, знаток источников римского права. Родоначальник так называемой «исторической школы» права, отстаивавшей идеи старого режима, средневековья; экзаменатор Гейне. Гейне здесь в шутку называет его именем великого юриста Жака Куяциуса (1522 — 1590).

«... срезающий деревья сверху вниз...» — Гуго и другой знаменитый юрист того времени, Тибо, вели резкий спор о толковании одного текста римского права: о подлежащих срубке деревьях (растущих на границах двух владений). Спор шел о том, подлежат ли срубке ветви до пятнадцати футов Элины или верушки свыше пятнадцати футов.

«*Пандекты*» — сборник источников римского права.

Злобной властью, безмолвным насилием прикован... — Во французском переводе Гейне здесь говорит: «Злобной властью и безмолвным насилием Священного союза прикован герой к скале в океане», — указание на ссылку Священным союзом Наполеона (герой Прометей) на остров св. Елены.

Стр. 95. ...*напрасно старик Мюнхгаузен вылез из рамы...* — Ганноверский министр, барон фон Мюнхгаузен (1688—1770) был основателем и первым куратором Геттингенского университета.

Эпоха освободительных войн — эпоха 1813—1815 гг.

Стр. 96. ... *я встретился с бродячим подмастерьем...* — Гейне здесь рассказывает действительный факт; но встретившийся человек мистифицировал Гейне и вовсе не был портным-подмастерьем. Месяцев через пять после появления в журнале «Путешествия по Гарцу» некий Д. из О. (Дёрне из Остероде) в том же журнале раскрыл, что это он был указанным попутчиком Гейне. Д. был сильно навеселе, поэтому вступил в разговор с Гейне и стал его расспрашивать, кто он и откуда, зачем едет. Гейне сказал о себе, что он космополит, что зовут его Перегрини, что он путешествует за счет турецкого султана для вербовки рекрутов. Д. в ответ на эту мистификацию назвал подмастерьем и сообщил слух, что герцог попал в плен к туркам и т. д.

Герцог Эрнст Швабский (1007 — 1030) уже в конце XII века стал героем народных баллад, песен и рассказов. В героической песне «Герцог Эрнст» повествуется, как он восстал против своего отчима, Конрада II, и как отправился в качестве крестоносца в Палестину.

Облачные духи Оссиана — напоминание о «Поэмах Оссиана» кельтских сказаниях, романтически обработанных Макферсоном.

«*Как на заборе жук сидел...*» — Ср. Бюшинг, «Сборник немецких народных песен» (Берлин 1809), где первая строфа этой песни звучит несколько иначе:

Как на заборе жук сидел, брум, брум!
А муха села там под ним, зум, зум!

«*Лотта над Вертера гробом скорбит*». — Песенку эту («Лотта у гроба Вертера») долгое время приписывали И. Г. Мерку, но она принадлежит перу Р. Ф. Рейценштейна, впервые появилась в 1775 г. и пользовалась известной популярностью. В подлиннике сказано не «an der Rosenstelle» — «у розы», а «an der Rasenstelle» — «у клумбы». Эта песенка — свидетельство той популярности, которой пользовался «Вертер» Гете по своему появлению («Вертер» впервые был напечатан в 1774 г.).

Стр. 97. *Гофман Э. Т. А.* — автор фантастических романов и новелл, известен также и своими рисунками (карикатуры, наброски, гротескные сцены и портреты и т. п.).

Стр. 98. *Зобатые дураки* — жители некоторых местностей в Гарце, где развита базедова болезнь (зобатость и кретинизм).

Стр. 101. *Ура, Лафайет!* — французский политический деятель, генерал Лафайет, поехал в 1824 г. в Америку, по приглашению Конгресса Северо-американских соединенных штатов, и там его, как «гостя нации», принимали весьма горячо и с боль-

шими почестями. В юности Лафайет сражался за независимость Америки в войне ее против Англии.

Стр. 102. *Герцог Кембриджский*, Фридрих Адольф (1774 — 1850) — сын короля Англии и короля Ганновера, Георга III (в эту эпоху английские короли считались и королями Ганновера).

Стр. 103. *Песня о верном Эккарте*. Имя героя средневекового сказания Эккарта сделалось синонимом верности и самопожертвования.

Стр. 104. ... *иголка с булавою уходят...* — ряд эпизодов из «Детских и домашних сказок» братьев Гримм.

Стр. 105. *Гофрат Б. из Геттингена* — профессор Ф. В. Бутервек (1766 — 1828), историк литературы, дружески покровительствовавший Гейне; его книга «Религия разума» появилась в 1824 г.

Шамиссо Адальберт фон (1781 — 1838) — немецкий поэт и путешественник, из французских эмигрантов. Придерживался либеральных убеждений. Его глубоко чтили в литературном кругу, близком к Гейне. В литературе наиболее известен как автор романтической повести «Петр Шлемиль», в которой рассказывается о злоключениях человека, за богатство продавшего свою тень дьяволу.

Стр. 108. *Кранах* Лука (настоящая фамилия Мюллер, 1472 — 1553) — один из крупнейших немецких живописцев.

Стр. 111. *Ключ Петров* — по католическому верованию ключи от рая находятся у апостола Петра.

Стр. 112. «*Австрийский наблюдатель*» — официальный орган австрийского правительства, издавался 1810 — 1832, был известен своим реакционным направлением. Здесь игра слов: слово Geist значит по-немецки дух и ум. «Австр. набл.» боится духов — боится просвещенных умов.

Доктор Саул Ашер (1767 — 1822) — берлинский философ кантовской школы и литературный поборник эмансипации своих иудейских единоверцев; его главное сочинение — «Взгляд на будущие судьбы христианства» (1819).

Стр. 113. *Фарнгаген фон Энзе* (1785 — 1858) — немецкий писатель, один из лучших стилистов своего времени, критик и автор многочисленных биографий немецких деятелей. Первым его произведением было «*Deutsche Erzählungen*» (1815). Здесь имеется в виду его рассказ «Предостерегающее привидение». См. о нем также примеч. к стр. 158.

Стр. 114. ... *2-я часть, 1-й отдел, 2-я книга, 3-я глава...* — Эта глава в «Критике чистого разума» Канта так и озаглавлена: «Об основании разделения всех предметов на феномены и нумены». *Феномены* — это, по Канту, предметы, как они даны в чувственном опыте; *нумены* — их умопостигаемые сущности.

Стр. 125. *Женевьева* (Genovefa) *Брабантская* — жена пфальц-графа Зигфрида — героиня легенды. Ложно обвиненная в нарушении супружеской верности, Женевьева была приговорена к смерти, но спасена слугою, которому поручено было ее убить. Прожила шесть лет в пещере в Арденнах, питаясь вместе с сыном Шмерценрейхом кореньями и молоком лани, пока наконец не была найдена мужем во время охоты. Тут выяснилась ее невинность и она возвратилась оправданная в дом Зигфрида. Легенда эта положена в основу знаменитой романтической трагедии Л. Тика «Святая Женевьева» (1799).

Стр. 126. *Вальпургиева ночь* — шабаш ведьм, согласно народным легендам, происходящий на Брокене (или Блоксберге), высшей точке горного массива Гарца. Вальпургиева ночь — с 30 апреля на 1 мая. Германские средневековые предания рассказывают, что в эту ночь ведьмы и черти прилетают верхом на метлах и на навозных вилах на гору и здесь устраивают хоро-воды. В тот же день христианский праздник св. Вальпургии, охранительницы от колдовства.

Ретци Ф. А. М. (1799 — 1857) — немецкий художник и гравер, известный своими иллюстрациями к «Фаусту» Гете (26 гра-вюр, изданных в Штуттгарте в 1828 г.).

Стр. 129. *Клаудиус Маттиас* (1743—1815) — немецкий ли-рический поэт, близкий к т. наз. «геттингенскому союзу» поэтов, находившемуся под влиянием Клопштока.

Стр. 131. *Да Палестрина* Джованни Пьер-Луиджи (1524 — 1594) — итальянский церковный композитор, месса которого — «Messa Papae Marcelli» — широко известна в католическом мире.

Стр. 132. ... *приведа цитату из «Путевых писем» Гете...* — В «Письмах из Швейцарии» Гете, в письме из Мюнстера от 3 ок-тября 1779 г. читаем: «Когда мы видим такой предмет в первый раз, то непривыкшая душа расширяется, это доставляет нам болезненное удовольствие, переполнение, которое волнует душу и исторгает у нас слезы блаженства. В результате этой операции душа, сама того не зная, делается уже не способная больше ис-пытать это первое ощущение. Человек думает, что потерял, но он приобрел. Что он потерял в смысле блаженства, то он при-обрел в смысле внутреннего роста».

Фон Гогенгаузен Элиза (1789 — 1857) — переводчица на не-мецкий язык «Корсара» и других произведений Байрона. Когда Гейне жил в Берлине, он часто бывал в ее литературном салоне. Поэзия Байрона имела влияние в Германии. Гейне переводил Байрона и считал его отчасти родственным себе.

Стр. 133. *Гофрат Шютц* Х. Г. (1747 — 1832) был тогда профессором истории литературы в Галле. В 1785 г. основал вместе с другими иенскую «Всеобщую литературную газету».

... *разговор коснулся двух китайцев...* — В апреле 1823 г. на одной из улиц Берлина за деньги показывали двух ученых

китайцев. Гейне в своей переписке, относящейся к этому времени, острит по поводу этого.

...эта показная сторона должна особенно пышно расцвести...— Для понимания этих и следующих строк необходимо указать, что тогдашний генерал-интендант королевских спектаклей в Берлине, граф Мориц Брюль (1777—1838) особенно ревностное внимание уделял костюмам и декорациям.

Стр. 134. Гамбургский банкир, еврей *Гумпель*, часто служил мишенью для острот Гейне. Над ним, как над маркизом Гумпелино, Гейне издевается особенно в «Луккских водах».

Лихтенштейн (1780—1857) — профессор, немецкий естествоиспытатель, основатель зоологического сада в Берлине.

«*Ненависть к людям и раскаяние*» (1789) — популярная комедия А. фон Коцебу, одного из виднейших представителей «мещанской драмы» в Германии, автора пошловатых сентиментальных пьес, изображающих бюргерский быт и прославляющих мещанские добродетели.

Спонтини Гаспаро (1778—1851) — оперный композитор. Наиболее известна его опера «Весталка».

Гоге М. Ф. — знаменитый в 20-х годах артист королевского балета в Берлине.

Бухгольц П. Ф. (1768—1843) — немецкий историк и публицист, автор «Истории Наполеона Бонапарта».

Стр. 135. *Апис* — в древнем Египте бык, обладавший особыми приметами и считавшийся воплощением божества.

«*Это был толстый человек, следовательно — добрый человек*». — Сервантес, «Дон Кихот», т. I, глава 2: «*Hombre que por ser muy gordo era muy pacífico*».

Стр. 136. *Арминий*. — В 9 г. н. э. германцы, восставшие под начальством Арминия, разбили римского полководца. Вара в Тевтобургском лесу, уничтожив всю его армию, состоявшую из трех с лишним легионов. Вар был во времена императора Августа легатом (наместником) Германии.

Стр. 137. *Мюллер Вильгельм* (1794—1827) — лирический поэт, имитировал немецкую народную песню, оказал влияние на раннюю лирику Гейне.

Рюккерт Фридрих (1788—1866) — плодовитый поэт, имитатор и переводчик восточной поэзии («Рустем и Зораб», «Наль и Дамаанти» и др.). В эпоху наполеоновских войн написал ряд патристических стихотворений.

Уланд Людвиг (1787—1862) — лирический поэт, автор баллад и романсов в духе немецкой народной песни.

Метфессель А. Г. (1784—1869) — популярный композитор. Гейне написал о нем статью в 1823 г.

Ардт Эрнст Мориц (1769—1860) — немецкий поэт, автор патристических песен, пользовавшихся огромной популярностью в эпоху освободительных войн.

Третий декламировал из «Вины». «Вина» — трагедия Адольфа Мюльнера, относящаяся к так наз. «драмам судьбы».

Стр. 138. *Адонис* — божество Финикии, Кипра, Греции и Рима, бог ежегодно умирающей и воскресающей растительности. Адониса считали прекрасным юношей, возлюбленным богини плодородия, плодovitости и любви (Афродиты — в Греции, Венеры — в Риме).

Аполлон (Феб) — древнегреческий и древнеримский бог красоты и искусств, олицетворявший солнце.

Стр. 141. *Lex Falcidia* (Фальцидиев закон) — закон, изданный в 40 г. до н. э. римским трибуном Фальцидием и запрещающий завещать на сторону более трех четвертей своего наследства.

Ганс Эдуард — юрист, гегельянец, знаток наследственного права. Основное его сочинение — «Наследственное право во всемирно-историческом развитии» (Берлин 1824). Один из близких друзей Гейне.

Гешенус И. Ф. Л. (1778 — 1837) — юрист; в бытность Гейне студентом был проректором Геттингенского университета. Гейне здесь ему и другим придает в насмешку имена древнеримских юристов. Гешен назван «asinus», от латинского слова «asinus — осел.

Эльверсус Х. Ф. (1797 — 1858) — был также в то время профессором Геттингенского университета.

Quicunque civis Romanus — всякий римский гражданин — этими словами начинается вторая глава Фальцидиева закона.

Стр. 142. ... *сладостные соловьиные песни*... — в немецком тексте: *Bülbül-Lieder*. Бюльбюль — по-персидски — соловей.

Конгрив Вильям (1772 — 1828) — англичанин, изобретатель ракет, названных его именем.

Во дворце принца Паллагонии... — этот дворец описан Гете (в 1787 г.) подробно, со всеми его странностями в «Путешествии по Италии» (см. стрывок от 9 апр. 1787 г.).

Стр. 143. *Клаузен Г.* (1771 — 1854) — автор пошловатых повестей, стихотворений и драм с эротическим оттенком, имевших успех у современников Гейне.

Стр. 144. *Теофраст* (ок. 372 — 287 до н. э.) — греческий философ; написал два сочинения по ботанике; в одном из них он говорит о запахе растений.

Стр. 148. ... *похороненному в Мелльне* — имеется в виду Тилль Эйленшпигель — герой народных сказаний, которому приписываются различные шутки и проделки; на могиле его в Мелльне до сих пор имеется надгробный камень с зеркалом (по-немецки — шпигель) и совой (по-немецки — эйле).

Стр. 149. *Людв. Ниман* — автор «Справочника для путешественников по Гарцу», 1824.

Стр. 150. *Парки* (древнегреческая мифология) — три сестры, изображающие жизненную судьбу человека, при чем третья из

них, последняя, ножницами перерезает жизненную нить человека.

Стр. 151. *Сарториус* Георг — профессор истории в Геттингене; Гейне посвятил ему сонет в «Книге песен». «В нашу эпоху эгоизма и грубости дает нам утешение такая благородная и возвышенная фигура».

Стр. 152. *Парис* — согласно «Илиаде» Гомера, три богини (Гера, Афина-Паллада и Афродита) стали спорить, кто из них прекрасней, и предложили Парису, красавцу-пастуху, сыну троянского царя Приама, дать яблоко самой красивой; он дал его богине любви и красоты Афродите после того, как та обещала ему за яблоко любовь красивойшей женщины земли — Елены, жены царя Менелая.

Стр. 152—153. ... *даже черного, еще не повешенного маклера...* — гамбургский маклер Иосиф Фридендер увидел в этом описании свой портрет и пытался публично оскорбить автора «Путевых картин».

«Северное море»

Стр. 158. *Фарнгаген фон Энзе*, Карл Август (см. примеч. к стр. 113. В литературном салоне его жены, Рахили, встречались Гейне, Берне, Шеллинг, Шамисо и представители «Молодой Германии». Гейне очень почитал Фарнгагена, больше всего советовался с ним, признавал его авторитет. На указанных в тексте страницах, являющихся вступлением к сочинению «Граф Вильгельм Липпе», написано: «Во всех областях духовной жизни Германии наблюдается своеобразное явление: при обилии выдающихся дарований и сил, таковые неизменно встречают противодействие в виде величайших трудностей и препятствий и, при непомерном напряжении, им едва-едва удастся порою достигнуть поставленной себе огромной цели. Тяготение к великому, способность к активности, напряженность мысли проявляются здесь в изобилии, но жизнь тотчас начинает им противодействовать со всех сторон, оттесняет их на более низкую ступень и ограничивает пределами более тесными, чем это соответствует их внутреннему призванию. Как бы ни были велики сила чувства и духовная мощь отдельных лиц, чувства и дух нации, раздробленные и живущие особой жизнью в отдельных ее членах, действуют сильнее и преграждают доступ к широким и свободным путям, которые, как мы видели, так легко открываются у других народов для каждого выдающегося человека. Наша литература, как и наша политика изобилуют подобного рода примерами. Наши герои в обеих этих областях, наши государи, полководцы, государственные люди, реформаторы, художники в искусстве и жизни — все они вынуждены были свои великие, полноценные дарования обменять на нечто малое,

которое можно было приобрести только такою ценою. Даже Лютер и Фридрих Великий, способные и призванные работать для целокупного отечества, не могли, при многообразии и раздробленности страны, объять и объединить целое, несмотря на великие дела, ими в ней содеянные». Гейне усердно изучал книгу Фарнгагена фон Энзе в Нордернее летом 1826 г.

Стр. 163. *«Избирательное сродство»* — роман, напечатанный Гете в 1809 г.

Стр. 164. *Бурбоны имеют все основания расплавлять наполеондоры...* — В эпоху Реставрации во Франции Бурбоны стремились устранить всякие следы владычества Наполеона и приказали расплавлять золотые монеты первой империи, которые в противоположность луидорам (золотые монеты королей Людовиков) назывались наполеондорами.

... *цветущие зильбергрошewые розицы...* — В Пруссии к разменной серебряной монете, зильбергрошам, примешивали очень много меди.

Мориц Карл Филипп (1757 — 1793) — автор четырехтомного автобиографического романа «Антон Рейзер» (1785—1790). Почитатель Гете, познакомился с ним в Риме, был у него в Веймаре. По смерти Морица вышел пятый и последний том его романа. Там по памяти цитировались стихи из «Фауста», приведенные у Гейне. Эти стихи еще тогда не были известны по опубликованному самим Гете тексту «Фауста». В т. наз. «Пра-Фаусте», открытом в 1887 г., эти стихи имеются.

Стр. 165. *Клауреновская улыбка* — см. примеч. к стр. 143. *Вольфганг Аполлон* — так Гейне называет здесь Гете, имя которого было Вольфганг.

Стр. 166. *«Отрывки из дневника Бертольда»* — заглавие очень популярного в свое время, появившегося в 1826 г., романа Освальда (псевдоним М. Г. Гудтвалькера); в этом романе трактовались романтические тенденции «буршеншафтлеров», т. е. студенческих националистических организаций того времени.

Дендерский зодиак. — Дендера — селение в Верхнем Египте, где находятся развалины храма богини Гатор (Афродиты), на плафоне которого нарисованы оба известных изображения зодиака. Эти изображения долгое время считались весьма древними, но ученые египтологи, последователи Шамполиона, признали, что они возникли при Клеопатре (I век до н. э.), были написаны в честь рождения ее сына Цезариона. Одно из изображений зодиака было в 1820 г. выпилено одним французом и привезено в Париж. Там Гейне видел его и снова упоминает о нем в «Признаниях».

«Достоинство женщин» — стихи Шиллера, начинающиеся словами: «Почитайте женщин, они плетут и впрядают небесные розы в земную жизнь». Гейне иронизирует над филистерским ха-

рактором этого восхваления женщин: наполненный ртутью — значит больной сифилисом (в то время единственным лекарством от сифилиса была ртуть) — восхваляет добродетель и чистоту.

— «*Ла илла иль алла...*» — «Нет, бога, кроме Аллаха, и Магомет пророк его», — молитвенная формула магометан, несколько раз в день, в определенные часы, громко повторяемая муэдзинами с вышины минаретов.

Стр. 167. *Архенгольц* И. В. (1743 — 1812) — описал свое путешествие в Англию и Италию (Лейпциг 1787, 5 томов) в произведении, пользовавшемся огромным успехом до появления романа г-жи де Сталь; он бранил Италию, не поняв ее, поэтому Гейне и говорит о недоброжелательных глазах Архенгольца. «*Mit Archenhölzern Augen*» — каламбур: «Архенгольцевыми — деревянными глазами (голец — по-немецки «дерево»).

... *восхищенным взорам Коринны...* «Коринна, или Италия» — роман г-жи де Сталь, где Италия описана в самых привлекательных красках. Де Сталь (1760 — 1817) — французская писательница романтического направления. Гейне часто с нею полемизировал в своих позднейших произведениях.

... *когда ему приписывают «предметное мышление».* — Лейпцигский профессор-психиатр Гейнрот в своем учебнике антропологии (Лейпциг 1822) писал, что мышление Гете есть по своему типу мышление предметное; образное. Гете по поводу этого сочувственно высказался в статье «Значительное указание при помощи одного остроумного слова».

Стр. 168. *Шубарт* К. К. (1796 — 1861) — учитель гимназии в Гиршберге, выпустил в 1821 г. свои «Идеи о Гомере» — книгу, направленную против критики Гомера Ф. Д. Вольфом; в том же году он издал свою книгу «К оценке Гете».

«*Хлопотун*» — в тексте у Гейне — *Klabotermann*, от глагола *Klabastern* — бегать с шумом, с грохотом — корабельный дух северогерманских моряцких сказаний.

Стр. 170. Сказание о *Петучем Голландце* Гейне трактует более подробно в «Мемуарах господина фон-Шнабельвопского».

Феликс Мендельсон-Бартольди (1809—1847) — немецкий композитор.

Стр. 171. «*Светлый мир здесь погребен когда-то...*» — из стихотворения В. Мюллера «Винета», которое начинается так: «Из далекой глубины морской колокола звучат глухо и незвонко, подавая нам чудесную весть о прекрасном старом чудесном городе».

Стр. 174. ... *если доктор Л. не сгонит его, подкравшись.* — Во французском переводе здесь сказано: «Если старый библиотекар Штифель (сапог), подкравшись...»

Герта, или, правильное, Нертус — богиня плодородия у древних германцев. О ней сообщает римский историк Тацит в своей книге о Германии. Дальше Гейне играет анахронизмами.

Стр. 175. В Боннском университете в 1819—1820 гг. Гейне слушал лекции многих выдающихся ученых. У Авг. Шлегеля — историю немецкого языка и поэзии, курс метрики, просодии и декламации, специальный курс о «Нибелунгах». У Аридта — историю немецкого народа и специально «Германию» Тацита, у Радлова — германскую пра-историю и ряд исторических курсов у Гюльмана.

Актеон, по античной легенде, увидел нагую охотницу, богиню Диану, и в наказание за подглядывание был превращен в оленя.

Стр. 176. «Немецкий легион» был образован англичанами в 1803 г. из офицеров и унтер-офицеров распушенной ганноверской армии (из корпуса герцога Брауншвейгского). Скачущий конь — герб Ганновера.

Стр. 177. «многих людей города посетил и обычаи видел» — стих из начала «Одиссеи» Гомера.

Стр. 178. *Г. Рюкснер*, «Турнирная книга» («О начале, причинах происхождения и возникновении турниров в Священной Римской империи германского народа», 1527); содержит, между прочим, данные о происхождении дворянских родов, большей частью совершенно неверные и фальшивые.

Терсит («прозванный Терсит») — один из героев «Илиады» Гомера.

Стр. 179. ...в обламывающей медведей Лютеции — Париж, где обучались элегантности. Лютеция — старинное латинское наименование Парижа.

... бедные звери не могли не дивиться... — ср. Гейне, «Атта Троль», гл. IV.

... Эта нация, как называет их Вертер... — в «Страданиях молодого Вертера» Гете сказано о дворянском обществе: «эта нация противна мне до глубины сердца» (— письмо от 15 марта).

... Были здесь и владетельные особы... — Гейне, по всей вероятности, имеет тут в виду принцессу фон Зольмс-Лих, с которой он на Нордерне часто встречался.

Медиатизированные князья — владельцы небольших княжеств, лишённые суверенных прав и подчинённые более крупным государям-курфюрстам и князьям империи. Посредством медиатизации Наполеон значительно сократил число немецких государей.

... подобно моему единоверцу Спинозе... — В «Tract. polit.» («Политическом трактате») 4, II. 8 Спинозы сказано: «Quia unusquisque tantum juris habet, quantum potentia valet» («Каждый имеет столько же прав, сколько он обладает силою»).

Стр. 180. *Сэр Мейтленд* Фредерик Люис (1776 — 1839), принявший в 1815 г. Наполеона на линейный корабль «Белле-рофон», которым он командовал, рассказывает об этом в своей книге — «Сообщение о сдаче Бонапарта» (Лондон 1826).

Стр. 177 *Маркиз де Лаказ* К. (1766 — 1842) добровольно сопровождал Наполеона в изгнание; его произведение «*Mémoires de S^{te} Hélène*» (Париж, 1823 — 1824, 8 томов) является одним из главнейших документов о последних годах жизни Наполеона.

О'Мира (1770 — 1836) — был лейб-врачом Наполеона до Автомарки (см. следующее примеч.), заносил ежедневные разговоры с императором в свой дневник, который затем издал под заглавием: «Наполеон в изгнании, или голос с острова св. Елены» (Лондон 1822, 2 тома).

Автомарки Франческо (1780 — 1838) — врач Наполеона на острове св. Елены, после смерти императора написал «Последние минуты Наполеона» (Париж 1823, 2 тома).

Стр. 182. *Г-жа де Сталь* была выслана Наполеоном из Парижа и провела десять лет в изгнании, о чем написала книгу.

Стр. 184. *В. Беллок* — «Шесть месяцев пребывания в Мексике и путешествия по ней» (Лондон 1825).

Стр. 186. *Алексис* Вильбальд (1798 — 1871), известный немецкий исторический романист, написал в свои молодые годы два романа «Валладмор» (1825) и «Замок Авалон» (1827), издавших за подписью Вальтера Скотта. Дерзкая мистификация наделала много шума.

Брониковский А. (1783 — 1834) в своих, большей частью из польской истории взятых романах, был ревностным подражателем Вальтера Скотта.

Купер Фенимор (1789 — 1851) — автор многочисленных романов из жизни американских индейцев; впоследствии стал любимым детским автором, но в свое время его высоко ценили в литературе «для взрослых» и сближали с Вальтером Скоттом.

Де Сегюр П., граф (1780 — 1873) — был во время русского похода адъютантом Наполеона I и впоследствии написал — «Историю Наполеона и Великой армии в 1812 году» (Париж 1824, 2 тома); переведено на немецкий язык в 1825 г. В октябре 1825 г. Гейне писал своему другу М. Мозеру: «Мой брат сказал мне также, что ты столь восхищен Сегюром и называешь его новым Саллюстием. Я поэтому немедленно поспешил его прочесть, начал позавчера и сегодня утром проглотил уже последнюю песнь. Эта книга — океан, «Одиссея» и «Илиада», элегия Оссиана, былина, вздох всего французского народа. Саллюстий. Пускай! Я не могу еще судить о ней. Я все еще хожу, как ошарашенный».

Стр. 187. *Эллора* — селение в Индии (Декане), славится открытым в гранитной скале неподалеку от него священным

гротом, в котором найдены пластические изображения, иллюстрирующие национальную эпопею индусов, «Махабхарату».

«Эдда» — памятник древнеисландской поэзии.

«Песнь о Нибелунгах» — крупнейший памятник немецкого феодального эпоса, окончательно сложился в XIII веке.

Иммерман Карл (1796 — 1840) — писатель, друг Гейне, в его «Сборнике трагедий» (1822) была помещена драма «Доллина Ронсевалья».

- *Бальдур* — герой «Эдды»; *Зигфрид* — герой «Песни о Нибелунгах»; *Роланд* — герой французской эпопеи «Песнь о Роланде» и *Ахилл* — герой «Илиады».

... героев, которым мы удивлялись в «Илиаде», мы вновь находим... — Гейне сравнивает французских героев похода в Россию (1812) с героями «Илиады»; король неаполитанский Иоахим Мюрат в русском походе командовал кавалерией, а затем при отступлении — всей армией; в этом походе особенно отличались также генералы Ней, Бертье, Даву, Дарю, Коленкур. Принц Евгений Богарне, пасынок Наполеона, командовал в русском походе третьим корпусом, а после отъезда Наполеона и Мюрата принял на себя верховное командование и 2 мая 1813 г. одержал решительную победу в битве при Люцене.

Стр. 188. *Орест* — сын вождя греков в Троянской войне, Агамемнона; здесь Гейне называет Орестом сына Наполеона, герцога Рейхштадтского (умершего в Австрии в 1832 г.), предполагая, что он отомстит за отца — Наполеона, как Орест отомстил за своего отца Агамемнона.

Петер Шлеммель — герой романа Шамиссо, потерявший свою тень и гоняющийся за нею. Ср. примеч. к стр. 105.

Стр. 189. *Поэтический литератор*. Имеется в виду *Франц Горн* (1781—1837) — автор плохой книги «История и критика немецкой поэзии и красноречия от Лютера до наших дней» (4 тома, 1822—1829).

Ганс Сакс (1494—1576) — немецкий поэт, глава нюрнбергских майстерзингеров.

Векерлин Георг-Рудольф (1584—1655) — немецкий поэт, впервые введший в немецкую поэзию такие формы, как ода, эклога, сонет и эпиграмма.

Стр. 190. *Драматурги*. Первая эпиграмма относится к драматургу *Адольфу Мюльнеру*, издававшему в двадцатых годах XIX века литературные приложения к тюрингенской «Литературной газете», в которых он резко полемизировал с современными ему писателями.

Вторая эпиграмма написана на барона *Фердинанда-Генриха Карла де ла Мотт-Фуке*, писателя-романтика, автора «Ундины». В чине ротмистра он принимал участие в войне с Наполеоном 1813—1815 года.

В третьей эпиграмме под «мужем» Мельпомены подразумевается сентиментальный драматург барон *Эрнст-Фридрих фон-Гоуальд* (1778—1845).

В четвертой подразумевается плодовитый и ремесленный драматург *Эрнст Раупах* (1784—1852), автор эпигонских исторических драм.

Восточные поэты. Иммерманн имеет в виду *Гете* («поэт маститый») «Западно-восточный диван» которого, вышедший в 1819 году, явился началом подражания восточной лирике в немецкой литературе, а также *Рюккерта* с его «Восточными розами» и *Платена*, который в 1821 году издал свои «Газель» и в 1824 году «Новые газель».

Саади (1184—1291) — персидский поэт, автор многих лирических стихотворений и поэмы «Гюлистан» (сад роз).

Крысолов. Существует предание, что город Гамельн, страдавший от нашествия крыс, пригласил некоего крысолова, умевшего «заговаривать» крыс, который, играя на флейте, увел их за собою из города.

Мелкота: Рюккерт и Платен.

Шираз — главный город персидской провинции Фарсистеран, в котором находится могила Саади.

Газель (от арабского g'азаль — паутина) — арабско-персидская форма лирических стихотворений, в которых рифма первого стиха повторяется во всех последующих четных стихах (нечетные не рифмуются), причем поэты стремятся рифмовать слова до третьего и даже четвертого слога от конца.

Стр. 191. *Колокола.* «Толстый пастор» — *Фридрих Штраус* (1786—1863) из Изерлона — с 1822 года придворный проповедник в Берлине и профессор. В 1812—1820 годах он выпустил в свет «Колокола или воспоминания из жизни молодого проповедника».

Orbis pictus — мир в картинках.

Как владеет языком он... Речь идет о Платене.

Стр. 192. *Люцинда* — эротический роман Фридриха Шлегеля, вышедший в 1799 году.

Но грешить с Марией в мыслях.. Мария — богородица. Иммерманн намекает на католицизм Фр. Шлегеля, принявшего католичество в 1803 году.

В недрах английской, испанской и т. д. Имеется в виду *Август-Вильгельм Шлегель*, переводивший произведения английской, романских и индийской литератур.

Faussees couches — преждевременные роды.

Этот город. Повидимому, Дрезден.

Пандуры — иррегулярная кавалерия XVII и XVIII веков, вербовавшаяся из населения южной Венгрии. Пандуры отличались исключительной храбростью, но возбуждали всеобщую ненависть мародерством и бандитизмом.

«Идеи — книга Le Grand»

Стр. 195. *Эвелина* — имя, которое, по всей вероятности, является поэтической выдумкой. Это посвящение сильно содействовало появлению легенды о том, что первой возлюбленной поэта была некая — в действительности не существовавшая — Эвелина ван Гельдерн. Между тем в «Книге Le grand» именем Эвелина скорее всего названа Тереза Гейне, дочь гамбургского банкира, кузина поэта, предмет его несчастной любви и одна из героинь «Книги песен».

Стр. 197. *«Ягор»* — популярный в то время ресторан в Берлине, о котором Гейне подробно говорит в «Письмах из Берлина».

Стр. 198. ... *преисподнюю знаете вы только из «Дон-Жуана»*... — в опере Моцарта Дон-Жуан проваливается в преисподнюю.

Стр. 200. *Via Burstah* (улица Бурста) — улица в Гамбурге. Гейне придает ей итальянскую приставку *via*, так как выше заявляет, что действие происходит не в Гамбурге, а в Венеции.

Бетман — Фредерика Бетман-Унцельман (1760—1815) — известная в свое время немецкая актриса.

«La Belle Ferropière» — по легенде возлюбленная французского короля Франциска I, портрет ее некоторыми приписывается Леонардо да Винчи.

Стр. 201. *Strada San Giovanni* — переделанное на итальянский лад название гамбургской улицы *Johannisstrasse* (улица святого Иоанна).

«В старинных сказках — замки золотые...» — монолог из трагедии Г. Гейне «Альмансор».

Стр. 203. *«Принц Гомбургский»* — посмертная трагедия Генриха Клейста, впервые изданная в 1821 г.

Клейст Генрих (1777—1811) — знаменитый немецкий писатель; происходил из прусского дворянства, был в юности офицером; автор многих драм и новелл. В 1811 г. застрелился (на берегу Ванзейского озера), предварительно застрелив свою подругу, Адельфину Фогель.

Эгмонт — герой трагедии Гете «Эгмонт». V акт: «Приятная жизнь, прекрасная милая привычка к существованию и деятельности, с тобой я должен расстаться, так неохотно расстаться».

«Эдвин» — трагедия К. Иммермана, впервые появилась в 1822 г., изд. Шульца в Гамме; место, о котором говорится в тексте, содержится во II акте, в сцене в доме судьи.

Стр. 204. *«В смерти тебе не утешит меня...»* — «Одиссея» Гомера, XI, 488 и сл.

Локоть — старинная мера длины, около 17 сантиметров ($\frac{3}{4}$ аршина).

Стр. 205. *Брента* — река в северной Италии; начинается в Тирольских Альпах и впадает в Венецианский залив Адриатического моря.

Стр. 206. *Джагернат*, или Джагернат — главный город индийского округа Пури; славится храмом индийского бога Кришны, статуя которого усыпана бриллиантами. Сам бог Кришна также выступает под этим именем; от него название города.

Вальмики — мнимый автор «Рамаяны», индийской эпической поэмы, героем которой является принц Рама.

Калидаса — индийский поэт, жил, как предполагают, в VI веке. Немецкие романтики увлекались восточным эпосом, «священной Индией» и т. д.

Бопп Франц (1791 — 1867) — основатель науки сравнительного языковедения; лекции его Гейне слушал в 1821 — 1823 гг. Его перевод «Наля», одного из самых красивых эпизодов эпоса «Махабхараты», появился в Лондоне в 1819 г.; его первое научное произведение — «Система спряжений санскритского языка» — вышло в 1816 г. во Франкфурте-на-Майне.

... *произошел из головы Браммы*... — По учению браминов, высшая каста индийского общества — брамины — происходит из головы Браммы, а самые низшие касты — трудящиеся — из его ног.

Стр. 207. *Ананга*, или Камадева — бог любви индусов.

«Тиотю, тиотю...» — цитата из «Птиц», комедии древнегреческого писателя Аристофана, который этими звуками изображал трель соловья. Ссылка Гейне на немецкого переводчика Аристофана, — Фосса, разумеется, шуточная.

Стр. 208. *Геррес* Якоб Иосиф (1776—1848) — немецкий писатель романтического направления, филолог и публицист; в молодости — горячо приветствовал Французскую революцию, в 1799 г. был в Париже, участвовал в депутации, которая хлопотала о присоединении к Франции прирейнских областей. Затем резко повернул к немецкому национализму и патриотизму, в соответствующем духе издавал журнал «Рейнский Меркурий». В конце своей деятельности — профессор в Мюнхене, фанатический сторонник католицизма.

Стр. 210. ... *после смерти моей семь городов*... — Семь городов в древности спорили о чести называться родиной Гомера.

Стр. 211. ... *маленький Вильгельм*... — Не Вильгельм, а Фриц фон Вицевский. Гейне смешал здесь утонувшего Фрица с его младшим братом Вильгельмом.

Стр. 212. *Конная статуя курфюрста Иоганна Вильгельма* (умер в 1716 г.), основателя Дюссельдорфа, была отлита в 1730 г. из чугуна мастером Э. Групелло.

Стр. 213. ... *бумагу, прибитую на дверях ратуши*... — В день своего отъезда прежний штатгальтер (наместник) герцогства Берг, герцог Вильгельм Баварский, в указе, датированном 20 марта 1806 г., скорбно прощался со своими подданными, и Иоахим Мюрат, зять Наполеона, как регент созданного для него великого герцогства Клеве-Берг, совершил свой торжественный въезд в новую свою резиденцию.

Стр. 214. «*Ça ira*» — припев — революционной песни времен Французской революции (музыка Бекура). Во французском переводе Гейне заменил этот революционный припев другим: «Мальбрук в поход собрался».

Стр. 215. *Новый великий герцог* Иоахим Мюрат, зять Наполеона, вступил в Дюссельдорф 25 марта 1806 г. и принял присягу от населения 26 марта.

Стр. 217. ... *доказал ли Нибур или не доказал*... — Известный германский историк Нибур (1776—1831) доказывал в своей «Римской истории», что повествование Ливия о римских царях основано в значительной степени на легендарном материале.

Аман — приближенный царя Агасфера, преследовавший евреев, был казнен по настояниям Эсфири (Библия, кн. Эсфирь).

Вадцек (1726—1823) — был известен в Берлине, как филантроп. Имев в виду свой приют и богадельню на Ульрихштрассе, он всегда подписывался: «Отец 360 уличных детей и утешитель вдов, знавших лучшие дни».

Стр. 218. *Фуксы* — молодые студенты.

Vis, buris, sitis... — латинские слова, оканчивающиеся на *is* и в винительном падеже принимающие не окончание *em* (общее правило), а *im*.

Стр. 219. *Каталь* — по-древнееврейски значит «бить», а *пакат* — «искать»; в древнееврейских грамматиках обычно употребляются как образцы спряжения глаголов; в тексте даны различные формы этих глаголов.

Аделунг И. Х. (1732—1806) — составитель известного немецкого словаря (1774—1801) и грамматики немецкого языка (Берлин 1784—1782).

О ректоре *Шальмейере* см. подробнее в «Признаниях» Гейне.

Профессор Иосиф Шрамм написал книгу под заглавием: «Маленький этюд о мире всего мира» (Эльберфельд 1815).

Стр. 220. ... *занились ремеслами, например, изготовлением сургуча*... — намек на императора Франца II, коньком которого было изготовление сургуча. У Гофмана в романе «Кот Мур», князь Ириней рассказывает об эпохе после Французской революции: «когда маркизы выделявали сургуч»....

Стр. 221. *Мысль Гомера дать супруга многолюбимой Венере*... — см. «Одиссею» Гомера, VIII, 266 и сл.

Об аббате *Онуа* и его сочинениях можно найти более подробные сведения в «Мемуарах» Гейне.

Стр. 222. *Monsieur Ганс-Михель Мартенс*. — Здесь, видимо, имеется в виду бывший секретарь германского посольства в Париже майор фон-Мартенс, в то время враждавший в берлинских литературных кругах. Он написал на французском языке много книг, статей, музыкальных и балетных текстов. Гейне издевается над его французскими манерами, называет его «мосьё», в оригинале вместо немецкого слова «говорить», «беседовать», приведено офранцузенное слово «parliegen» (французское «parler» с немецким окончанием «iegen»).

les jours de fête sont passés — «Прошли праздничные дни» — из оперы Анзома «Le Tableau parlant», где поется: «Ils sont passés, ces jours de fête».

Les aristocrates à la lanterne — аристократов на фонарь!

Стр. 224. *Шмальц* Т. А. Г. (1760—1831) — знаток государственного права, с 1810 г. профессор берлинского университета, реакционер. Вызвал шум в Германии своей книгой «Поправка к одному месту из Вентуриной хроники 1808» (Берлин 1815), в которой открыл поход против «Тугендбунда» и однородных движений немецкой националистически настроенной молодежи, доказывая, что все это — проявление революционных и опасных «тлетворных» мыслей.

... из истории *Павзания*... — В своем «Описании Греции» древнегреческий историк Павзаний сообщает, что амбракиоты по крику осла открыли то потайное место, где их поджидали молосцы и разбили последних. Павзаний — мало популярный автор и Гейне, конечно, в шутку говорит, что Павзаний известен его даме.

... обнаружился ужасный заговор *Катилины*. — Римский историк Саллюстий в своей книге «О заговоре Катилины» описал заговор Катилины 63 г. до н. э., который был выдан Фульвией, возлюбленной Квинта Курия, участника заговора.

Упомянутый баран... «Вернемся к нашим баранам» — фраза, которую в средневековом французском фавлю «Адвокат Патлен» судья пытается вернуть к сути дела (речь идет об украденных баранах) болтливого адвоката. Фраза эта сделалась половицей.

Стр. 225. *Заальфельд* И. К. (1785—1835) — профессор философии и международного права в Геттингенском университете; автор многих исторических трудов, в том числе двухтомной «Истории Наполеона Бонапарта» (1815—1817).

Стр. 226. ... я увидел его самого... — Наполеон был в Дюссельдорфе дважды: в 1811 и в 1812 гг.

Стр. 228. *Клио* (античная мифология) — муза истории.

Сэр Гудсон Лоу (1769—1844) — с 1815 г. губернатор острова св. Елены, куда был сослан Наполеон написал мемуары, касающиеся пребывания Наполеона в плену на этом острове.

...дело, когда-то открыто совершенное народом... — намерен на публичную казнь французского короля Людовика XVI (1792), совершенную по требованию революционного народа.

«Беллерофон» — название линейного корабля, на который сел Наполеон, доверившись англичанам.

Вестминстерские гробницы — гробницы английских королей в Вестминстерском аббатстве в Лондоне.

Лондондерри — Г. Р. Касльри, маркиз Лондондерри, (1769—1822) — английский государственный деятель, крайний реакционер, в качестве премьер-министра весьма ревностно содействовавший падению Наполеона. Впоследствии сошел с ума и, улучив момент, когда не было стражи, ножом вскрыл себе артерию на шее и истек кровью.

Стр. 229. «Листьям древесным в лесу...» — отрывок из «Илиады» Гомера, VI, 146 сл.

... о маленькой Веронике... О Веронике Гейне вспоминал до самых последних дней своей жизни. Как сообщает Каролина Жубер в своих «Воспоминаниях» (Париж 1881), Гейне рассказал ей вкратце всю историю маленькой Вероники: «Когда мы взобрались на гору, девочка играла цветком, который она держала в руке, — это была ветка редеды. Внезапно она провела им по губам и дала его мне. Когда я через год приехал на каникулы, маленькая Вероника умерла. И с тех пор, несмотря на все шатанья моего бедного сердца, воспоминание о ней всегда оставалось живо. Почему? Как это? Не является ли это странным, таинственным? Когда я временами думаю об этом случае, то я испытываю такое чувство боли, как при воспоминании большого несчастья».

Стр. 229 — 230. ... успел обосноваться даже маленький прусский дворик. — Великое герцогство Берг с главным городом Дюссельдорфом было в 1815 г. передано Венским конгрессом Пруссии, с 1821 г. здесь даже имел свою резиденцию принц Фридрих Прусский в качестве начальника 14-й дивизии.

Стр. 231. ... стояли многие тысячи таящихся книг. — В старом замке в Дюссельдорфе была картинная галлерей и библиотека. В этом замке стояла мраморная статуя курфюрста Иоганна Вильгельма.

Стр. 232. «Он барабанил выступление...» — последние две строфы песни, содержащейся в «Чудесном роге мальчика», сборнике народной немецкой поэзии, изданном Брентано и Арнимом (стихи здесь несколько изменены Гейне).

Стр. 234. Гете решается высказать... — Гейне имеет в виду «Фауста» Гете, художественная форма которого частью восходит к кукольному театру.

Стр. 236. ... под высиживавшими яйцо полушариями Леды. — Согласно античной легенде, Елена, жена царя Менелая, похи-

щенная Парисом и послужившая причиной Троянской войны, была дочерью Леды и Зевса (превратившегося в лебедя).

Мой друг Г. — Эдуард Ганс (см. «Путешествие по Гарцу» и примеч. к стр. 141).

Бек Август (1785—1867) — немецкий филолог, профессор в Берлине.

Стр. 237. *Михаил Бер* — драматург, брат известного композитора Мейербера (1800—1833), автор «Парии», «Струэнзе» и др. О драме — «Струэнзе» Гейне написал статью.

Ponce de Leon. — В романтической комедии Клеменса Брентано «Понс де Леон» (1804) акт V, сцена 2-я — гофмейстер Салерио говорит школьному учителю относительно ожидаемой группы музыкантов: «но эти плохие музыканты и добрые люди собираются в лесу под вашим предводительством».

Стр. 237 — 238. ... *обратно к горшкам моей родины с их супным мясом...* — намек на жалобы иудеев, вышедших из египетского рабства и желающих из пустыни вернуться в рабство, в Египет, вспоминая тамашные горшки с мясом (библейская легенда).

Стр. 238. ... *процитурую всю Каменную улицу.* — На Каменной улице (Steinweg) в Гамбурге находилось много еврейских ресторанов.

... *Насчет еды у евреев...* — игра слов: еда евреев — в смысле: пожирание евреев. Намек на юдофобов (профессора истории Рюсса), резко выступавших против гражданского равноправия евреев.

... *я мог привести цитату из Тацита...* — Тацит в своей «Истории Германии» (V, 1—5) рассказывает со слов александрийского грамматика Аппиона, что «иудеи в своем храме в Иерусалиме поклоняются золотому ослу».

Стр. 239. *Гесснер И. М.* (1691—1761) — немецкий филолог, профессор Геттингенского университета. Его статья «De antiqua asinorum honestate» («О честности древних ослов») была напечатана в «Записках Королевского ученого общества Геттингена».

Иаков сравнивает с ослом своего сына Исахара... — см. Библия, Книга Бытия, XL, 14, где сказано: «Исахар будет костьюстым ослом и возляжет между границами».

Гомер сравнивает с ним своего героя Аякса... — см. «Илиада», XI, 558.

... *например, из Абельярдуса, Пикуса Мирандулануса...* и т. д. — Гейне для вящей учености переделывает здесь на латинский лад различные имена, так или иначе известные в истории: Абельярд (1079—1142) — философ и богослов; Пико де-ля Мирандола (1462—1494) — итальянский гуманист; Николай Бурбон старший (1503—1550) и младший (1574—1644) — французские поэты; И. Куртезий — итальянский поэт конца XVI века; Анджелио Полициано (1454—1494) — итальянский поэт и ученый, предшественник Ариосто; Раймонд Луллий (1234—1315) — поэт и ученый, известный своими чудаческими открытиями и изобре-

тениями; Генрикус Гейнеус — сам Генрих Гейне. Из всех перечисленных героев к теме относится только Абельяр — учитель и возлюбленный Элоизы, остальные названы в шутку. Здесь, как и дальше, Гейне издевается над псевдоученостью.

Гуго Густав (1764—1844) — юрист, у которого Гейне слушал лекции (см. примеч. к стр. 92).

Мабильон Жан (1632—1707) — ученый — бенедиктинец; был послан Кольбером в Германию для изучения архивов; свое путешествие описал в сочинении «*Iter Germanicum*», напечатанном в сборнике «*Vetera analacta*» (Париж 1723); у Гейне приведена, как обычно, неточная цитата, у Мабильона (стр. 3) сказано: *Nec minus molestus grabe olenti foetor* («И не менее противна вонь крепкого табака»).

Торий Рафаил (ум. 1629) — врач и писатель; его «Гимн табаку» был издан в Лондоне в 1626 г.

Эльзевирius Исаак Эльзевир (1596—1651) — голландский книгоиздатель.

Киншот Каспар Людовик — один из семьи Киншотов, голландских литературных деятелей XVI—XVII вв.

Гревиус — Гревий М. Г. (1632—1703) — филолог и историк, историограф английского короля Вильгельма III.

Боксгорниус — Боксгорн М. С. (1612 — 1653) — голландский профессор в Лейдене, автор широко известных в свое время произведений.

Марциус Иоганн Георг (1676—1709) — евангелический пастор в Лейпциге; точное название его диссертации: «*De fuga eruditorum ob singularia providentiae divinae documenta memorabili*» — О достопамятном бегстве ученых по особым данным божественного провидения (Лейпциг 1706).

Стр. 239—240. *Лот, Тарквиний, Моисей*... и т. д. — Лот бежал из разрушенного богом Содома (библейское предание); Тарквиний — последний римский царь; Моисей бежал из Египта; Юпитер в своих превращениях (в быка и т. п.) часто вынужден был скрываться. Г-жа де Сталь бежала из Парижа во время террора Французской революции, спасаясь от эшафота граф М. А. Бениовский (1714—1786), известный авантюрист, бежал с Камчатки, куда его сослало русское правительство; Исаак Абарбанель (1437—1508), еврейский писатель и испанский министр, бежал из Испании в Венецию после изгнания иудеев из Испании в 1492 г.; прусская армия бежала перед войсками Наполеона, бежала позорно и не один раз.

Фидий — древнегреческий скульптор V века до нашей эры. Стр. 241. *Герен* А. Г. Л. (1760—1824) — немецкий историк, профессор Геттингенского университета. Гейне здесь издевается над его пятитомной работой «Идеи о политике, сношениях и торговле выдающихся народов древнего мира».

Стр. 243. В типографии *Ланггофа* печатались первые два тома «Путевых картин».

«*Nonum prestatum in annis*» — совет римского поэта Горация начинающему автору: «Пусть рукопись пролежит у тебя девять лет».

Меценат (I век н. э.) — друг Августа, покровитель искусств, щедро поддерживавший поэтов.

Стр. 244. *Панглос* одно из действующих лиц философского романа Вольтера «Кандид» — Панглос стойко придерживается философии оптимизма.

Марр — хозяин ресторана «Английский король» в Гамбурге, где Гейне часто бывал посетителем; Марр писал стихи и трагедии, которых никто не печатал. В «Мемуарах г. Шнабельвопского» Гейне иронически причисляет рукописи Марра к достопримечательностям Гамбурга.

Шупп И. Б. (1610—1661) — с 1649 г. пастор в Гамбурге, сатирический писатель.

Стр. 248. *Вейс* — вымышленная фамилия. Гейне здесь хочет заклеить еще раз «черного, еще не повешенного маклера», о котором говорится выше, в конце «Путешествия по Гарцу» (см. примеч. к стр. 152—153).

Стр. 249. *Агасфер* — персидский царь из библейской истории об Эсфири.

... *подразжая Юпитеру*, — *попытается в образе быка*... — По античной легенде, Юпитер, чтобы прельстить Европу, превратился в быка. Игра слов: *Ochs* — не только бык, но и дурак. Под философиртом Гейне имеет в виду Шеллинга. *Филоспирт* — философспиртус — любитель водки и духовлюб. Выпад против идеалистической, спиритуалистической системы Шеллинга.

Печальный трагик — Фридрих фон Ихтриц (1800—1875) — автор трагедии «Александр и Дарий».

Искусной кухарки... — подразумевается Людвиг Тик, известный романтик, автор предисловия к этой трагедии.

Клаузен Г. — см. примеч. к стр. 143 и 165.

Стр. 250. *Вилибальд Алексис* — литературный псевдоним В. Геринга. Геринг — по-немецки значит «селедка», отсюда «салат Вилибальда Алексиса».

... *вот уже 5588 лет*... — Гейне здесь в шутку считает по иудейскому летоисчислению (от «сотворения мира»).

Стр. 251. *Фуше* Жозеф, Герцог Отрантский (1759—1820) — французский политический деятель, якобинец, комиссар Конвента в Лионе, впоследствии термидорианец, при Наполеоне I — министр полиции, типичный оппортунист и карьерист.

Стр. 255. ... *появляются ассирияне, египтяне*... и т. д. — Перечень народностей у Гейне юмористический: *Philister* — это по-немецки и филистеры и филистимляне (— каламбур), после «филистимлян» (— филистеров) как особая народность названы «франкфуртцы», но затем следует уже подлинная народность «авилоняне» и т. д.

Стр. 257. *Пэн Томас* (1737—1809) — английский публицист, произведения которого оказали значительное влияние на деятелей французской и северо-американской революции, автор «*The right of man*» («Права человека»), в 1792 г. — член французского Конвента.

«*Système de la Nature*» — «Система природы» (Париж 1770) — главное произведение французского философа материалиста и атеиста, барона Гольбаха (1729—1789).

«*Рейнско-вестфальский указатель*» выходил в Гамме и издавался другом Гейне, доктором Г. Шульцем. В нем появились впервые гейневские «Письма из Берлина».

Шлейермахер Д. Ф. (1768—1834) — один из виднейших идеологов немецкого романтизма, философ и богослов, выступил с «Речами о религии», в которых боролся с официальной религией и церковью, хотя и держался сам религиозно-мистического миропонимания. Шл. высоко ценили в кругу «Молодой Германии».

Стр. 258. *Площадь св. Марка* — в Венеции.

Стр. 261. *Ганеса*, или Пулеар (индийская мифология) — сын бога Сивы, знаменитый своей силой. Его символом была крыса (а не мышь), как самое хитрое животное. В тексте рассказывается эпизод из «Рамаяны».

Стр. 262. *Поговорим лучше о других вещах — о брачном венце...* — В первом издании второго тома «Путевых картин» за сим следовали «Письма из Берлина» и т. д. Второе письмо касалось модной тогда оперы Вебера «Фрейшюц» и в особенности песни о брачном венце, которую распевал весь Берлин.

«Путешествие от Мюнхена до Генуи»

Стр. 266. «*Гафиз с Гуттенем мне милы...*» — из «Западно-восточного Дивана. Книга Негодования». Гете. Подобно тому, как Гафиз боролся с членами своего монашеского ордена, носившими синие рясы, а Ульрих фон Гуттен — против серого и черного братства нищенствующих и попов, так же и Гете приходилось бороться против всякого рода ханжей и глупцов. Гейне, в то время гонимый одинаково христианами и евреями, поэтому и выбрал данное изречение Гете как эпиграф к этой части «Путевых картин», в которой он собирался посчитаться со своими врагами.

Стр. 268. «*Благородную душу вы никогда не принимаете...*» — из пьесы в пяти актах Людвиг Роберта «Сила обстоятельств» (акт III, сцена 7).

Стр. 271. *Шпре* — река, на которой расположен Берлин. ... *столь же мало обращали там внимания на какого-нибудь лирико-поэта...* — Гейне имеет здесь в виду Платена, который в своем «Романтическом Эдипе» отрицательно отзывался о Берлине.

Стр. 272. ... *возвращался от Лютера и Вегенера*... — В 20-х годах литературные круги Берлина часто собирались в ночном ресторане Лютера и Вегенера; в 1821—1823 гг. там каждый вечер можно было видеть компанию молодых поэтов, в том числе Гейне, Граббе, Роберта, Кёхи, Ихтрица, Густорфа, Борха и др.

Великий Фриц — прусский король Фридрих Великий; *Сан-Суси* (по-французски — «без забот») — дворец с парком близ Потсдама, любимое местопребывание Фридриха Великого.

Стр. 273. *Вердерская церковь* была воздвигнута в Берлине на Вердерском рынке в 1823—1830 гг. по проекту Шинкеля, в готическом стиле.

Стр. 274. *Лео фон Кленце* (1784—1864) — архитектор, построивший главные здания нового Мюнхена.

Аттическая соль — иначе говоря — афинское тонкое остроумие.

Стр. 276. *Аспазия* (V век до н. э.) — афинская гетера, подруга и вдохновительница афинского политического деятеля Перикла.

... *у нас нет недостатка, например, в совах, сикофантах и Фринах*... — Сова — эмблема мудрости в древних Афинах; Афины славились своими доносчиками — сикофантами; Фрина (IV век до н. э.) — афинская гетера.

... *нежную, в греческом духе, любовь к мальчикам*... — намек на Платона. Граф Платен подвизался также в писании комедий в аристофановском духе. Сюда относится его «романтический Эдип».

У нас только один великий скульптор, но зато это «Лев» — намек на архитектора Лео фон Кленце (см. прим. к стр. 274).

Стр. 277. ... *изобразить подробнее фигуру, представшую перед нами*... — Гейне здесь изображает литератора Масмана, националиста, фанатика гимнастики и патриотического воспитания молодежи.

Шлем Мамбрина — цырюльничий таз, который Дон Кихот надевает себе на голову.

Стр. 278. *Туснельда* — жена древнегерманского вождя Арминия.

Тирш Ф. В. (1784—1860) — немецкий лингвист, с 1809 г. — профессор в Мюнхене. Его «Греческая грамматика» была произведением, составляющим эпоху. Гейне во время пребывания в Мюнхене часто встречался с Тиршем.

Стр. 279. *Лихтенштейн* — см. примеч. к стр. 134.

Алкивиад — государственный деятель и полководец в древних Афинах; обвиненный в святотатстве, бежал в Спарту, боролся против родины, затем вернулся, но вскоре снова попал в изгнание; был убит в 404 г. до н. э. Существует

легенда, что для того, чтобы получить громкую известность, он отрубил хвост своей собаке, очень дорого стоившей.

Стр. 280. *Богенгаузен, или Нейбурггаузен, или вилла Гомпеш...* и т. д. — все это увеселительные места в Мюнхене и его окрестностях.

Пританей — название общественных зданий, в которых у древних греков устраивались пританам, т. е. заслуженным гражданам, обеды на государственный счет.

... *Скорбь по милой умершей малютке...* — повидимому, речь идет о кузине Гейне, Матильде Гейне, умершей в 1828 г.

Стр. 284. ... *и обливается кровью, и поет.* — В бумагах Гейне найден следующий отрывок, относящийся, повидимому, к тому же ходу мыслей: «Старая арфа лежит в высокой траве. Арфист умер. Талантливые обезьяны спускаются с деревьев и взбираются на арфу... сова сидит угрюмым критиком... соловей поет розе свою песнь; как только совершенно стемнеет, любовь овладевает им, он устремляется к розовому кусту и, разорванный шипами, истекает кровью... всходит луна... ночной ветер перебирает струны арфы... обезьяны, думая, что это старый арфист, убегают...»

... *не вспомнить о «Трагедии»...* — Драматическая поэма Карла Иммерманна «Тирольская трагедия» (Гамбург 1828) живо интересовала Гейне. В ней изображено восстание тирольцев под предводительством Гофера.

... *вторая часть «Путевых картин»* (Северное море) *запрещена...* — Запрещение это последовало вскоре после ее появления; официальный мотив его — замечания Гейне о ганноверском дворянстве.

Гофер Андреас (1767—1810) — хозяин трактира «На песке»; организатор партизанской войны в Тироле в 1809 г. против французов. Принадлежал к зажиточному крестьянству, которое после присоединения Тироля к союзнице Франции — Баварии — в эпоху Наполеона перестало играть видную роль в местном самоуправлении и ландтаге и сильно страдало от французской системы централизации, от налогов и рекрутских наборов. В результате возникло народное движение против французов, которыми руководил Гофер. В апреле (а затем в июле) 1809 г. Гофер, по соглашению с австрийским правительством, поднял восстание, разбил французов и управлял страной вплоть до Венского мира (14 октября 1809 г.), по которому Тироль окончательно перешел к Баварии. Организовав после этого новое восстание, на этот раз неудачное, Гофер бежал в горы, но был предан и расстрелян 20 февраля 1810 г. в Мантуе.

Стр. 285. *Фон Шенк* Эдуард (1788—1841) — поэт и министр, дружил с Гейне в Мюнхене. Его трагедия «Велизарий» (Штутгарт 1829) описывает месть супруги знаменитого полководца — Антонины, верившей, что Велизарий вырвал у ней из объятий

первенца вскоре после его рождения с целью умертвить его. Византийский историк VI века Прокопий, сопровождавший Велизария в его походах в качестве секретаря (тайнописца) и описавший его жизнь, правда, ничего не знает об этом предании. Гейне собирался посвятить Шенку один из выпусков «Путевых картин».

«*Махабхарата*» — индийская национальная эпическая поэма огромных размеров, обнимающая мифологию, предания и философию индусов.

Стр. 286. *Юм* Давид (1771—1776) — английский философ и историк; его «*History of England*» (Лондон 1673) долгое время считалась основным произведением английской историографии.

Шпиттлер Л. Т. (1752—1810) — немецкий историк; его «Очерк по истории европейских государств» (Берлин 1793) был выпущен Георгом Сарториусом в 1807 г. вторым изданием.

Гормайр Иосиф, барон (1782—1848) — австрийский историк. Принимал деятельное участие в тирольском восстании против Баварии; в результате был арестован и провел около тринадцати месяцев в заключении. Написал «Историю Тироля» (1806—1808), «Историю Андреаса Гофера» (1817), «Жизненные сцены из эпохи освобождения» (1845) и др.

Гесслер — австрийский наместник в Швейцарии, против которого, согласно легенде, поднял восстание Вильгельм Телль, что привело к образованию Швейцарской республики (1308). Противник Гофера — Наполеон.

Стр. 287. ... *Видна и Мартинова стена*... — Поблизости от деревни Цирль, на запад от Инсбрука, высится совершенно отвесная скала — Мартинова стена, на которую, по преданию, германский император Максимилиан I (1493—1519), любивший охотиться в Тироле, однажды забрался и был спасен ангелом от смертельной опасности.

Стр. 288. *Хлодвиг I* (V век) — франкский король, считающийся основателем Франкского королевства.

Артур Английский — герой многочисленных британских легенд (цикл короля Артура).

Рудольф Габсбургский (1218—1291) — германский император (с 1273 г.), основатель могущества Габсбургов, бывших австрийскими королями и императорами до 1918 г.

«*Гесперус*» — популярный журнал того времени. В других изданиях у Гейне вместо «Гесперуса» — «Гермес».

Стр. 289. *Старые иезуиты лежат в могилах со своими... различиями, оговорками*... — Иезуиты славились своими тонкими различиями (*distinctiones*) и оговорками (*reservations*, в особенности *reservatio mentalis*), в силу которых можно было говорить одно, оговаривая мысленно обратное.

Стр. 290. ... *деревенского дворянина из шекспировской пьесы...* — Тобиас из комедии Шекспира «Что вам угодно».

Бартольди Я. С. (1779—1825) — прусский дипломат, ненавидевший Наполеона и французов; его книга о Тироле появилась в 1814 г.

Стр. 291. *Мюллер Иоганнес* (1752—1809) — немецкий историк; в особенности пользовалась известностью его «История Швейцарии».

Стр. 292. «*O navis referent in mare...*» — «Корабль морской влечет тебя опять...» — начало 14-й оды первой книги од Горация (перевод А. Фета).

«*Женский союз*» — патриотическое общество, основанное в Пруссии в годы войны 1809—1815 гг.; имело целью благотворительность.

Антисфен *сказал про них...* — Древнегреческому философу Антисфену (444—365 до н. э.; ученик Сократа, основатель философской школы киников и учитель Диогена) — приписывает эти слова Плутарх в своей «Жизни Ликурга». Плутарха Гейне читал в Италии весьма усердно.

Стр. 293. *Сестры Райнер* — широко известная в описываемое время тирольская певческая труппа.

Стр. 295. ... *получат государя в синем мундире и белых штанах...* — По Прессбургскому миру 1805 г. Тироль был передан Баварии. Это повлекло за собою в 1809 г. народное восстание под предводительством Андреаса Гофера Ирония; тирольцы считают, что баварский монарх и австрийский монарх чем-то отличаются друг от друга.

Стр. 296 «*Их было двое на свете...*» — Песня из «Чудесного рога мальчика» Брентано, по обыкновению Гейне, не вполне точно им цитируемая.

Стр. 297. *Красотка Эльзи* — так в драме «Андреас Гофер» К. Иммермана называется жена трактирщика Этчмана.

Ариадна — дочь критского царя Миноса. Афинский герой Тезей решил убить жившего в лабиринте на острове Крите Минотавра, чудовище, которому афиняне должны были, как лань отцу Ариадны, посылать ежегодно позорный дар из семи юношей и семи девушек. Ариадна дала Тезею клубок ниток, с помощью которого он, убив Минотавра, выбрался из лабиринта.

Стр. 298. *Парки* — см. примеч. к стр. 150.

Стр. 306. ... *как во время Собора...* — В Триенте в 1545—1563 гг. происходил Триентский (тридентский) собор, созванный для объединения возникшего в католицизме раскола (реформации).

Стр. 308. «*Буфф*» — шут,

Стр. 310. *Бах* Себастьян (1685—1750) — немецкий композитор. Противопоставление музыки Баха музыке Россини имеет у Гейне особый смысл. В эпоху Гейне итальянская музыка вытеснялась из Германии, и Гейне защищает ее, тем не менее, как светскую, языческую, веселую стихию. Со сходной точки зрения Гейне защищал французский материализм, французскую политическую жизнь и прочие явления «романского духа», противные немецкой идеалистической философии, немецкому аскетизму и отрешенности.

Реллиштаб Людвиг (1799—1860) — немецкий музыкальный критик, сильно нападавший в газете «Фоссише Цейтунг» на итальянскую музыку вообще и на Россини в особенности.

Стр. 311. *Опера-буфф* — итальянское название для комической оперы

Гармодий и *Аристогитон* — в VI веке до н. э. организовали заговор в Афинах против тиранов Гиппия и Гиппарха, сыновей тирана Клистрата. Им удалось убить только одного Гиппарха; Гармодий погиб на месте покушения, Аристогитон — в тюрьме, после долгих пыток. Когда в Афинах утвердилось демократическое правление, Гармодий и Аристогитон были объявлены народными героями, «вернувшими гражданам свободу и равенство», и вошли в историю как идеал борцов за свободу.

... а также *Тарталья*, *Бригелла*... и т. д. — В итальянской импровизационной комедии (commedia dell'arte) Арлекин объединяет отдельные сцены своими шутками. Излюбленными масками в этих комедиях выступают Тарталья, Панталоне, Бригилла, Коломбина и доктор из Болоньи.

Стр. 312. ... *принуждены были упрятать их в тюрьмы*... — намеки на немецкие гимнастические общества, под которыми скрывались псевдо-революционные кружки, все же преследуемые правительством.

Стр. 314. *Веттурино* — возница, извозчик.

Стр. 315. *Белль-ланкастерская метода* — система воспитания, основанная на методе взаимного обучения.

«*Институции*» (Гая) — сокращенная компиляция римского права.

«*Пандекты*» — обширнейший сборник римского права, содержащий в себе выдержки из сочинений многочисленных римских юристов.

Стр. 317. *Медя* героиня древнегреческого мифа, дочь царя Колхиды (черноморского побережья Кавказа), помогавшая руководителю аргонавтов (греческих героев, приплывших на судне «Арго») Язону добыть золотое руно. Ей посвящена трагедия Еврипида, отчего Гейне и упоминает ниже Мельпомену — античную музу трагедии.

Стр. 318. *Scala mazzanti* — см. ниже, главу XXV.

О римлянах особенно напоминает амфитеатр... — амфитеатр Вероны, выстроенный во времена римских императоров и вмещавший до шестидесяти тысяч зрителей.

Теодорих-Дитрих Бернский, или Теодорих Великий — король остготов; в битве при Вероне 30 сентября 489 г. разбил Одоакра (сын приближенного вождя гуннов Аттилы, вождь герулов, лишивший власти последнего римского императора Ромула-Августа) и стал властелином Италии. Под именем Дитриха из Берна (Берн — Верона) он является одной из центральных фигур германского исторического эпоса.

Стр. 319. *Альбоин* — основатель царства лангобардов в Италии, вступил в Верону в 572 г.

... *напоминают о Карле Великом...* — В 774 г. Верона была завоевана королем франков Карлом Великим.

Стр. 320. ... *расписанный в красную и белую краску Подеста...* — дворец подесты, т. е. градоправителя, бургомистра.

Стр. 321. *Ариосто* Лодовико (1474 — 1533) — итальянский поэт, автор поэмы «Неистовый Роланд»; Гейне сравнивает с ним Людовига Тика, итальянизируя имя последнего, подчеркивая сходство его сказочных повестей и романтических драм с творениями Ариосто.

Капулетти и Монтекки — два враждующих рода; от них происходили Ромео и Джульета — «несчастливая влюбленная пара» («Ромео и Джульета» Шекспира).

Скалигеры — итальянский дворянский род, правивший Вероной с 1260 г. по 1387 г. Кангранде, правивший с 1311 г. по 1329 г., был счастливейшим владыкой из этого дома (см. примеч. к стр. 325); Мастино II был победоносным наследником Кангранде.

Стр. 322. ... *фальстафовские страхи: а если он не совсем еще мертв...* — из 4-й сцены V действия первой части хроники Шекспира «Король Генрих IV», где трусливый толстяк Фальстаф высказывает эти мысли над трупом героического Перси.

Стр. 323. *Гёркуланум и Помпея* — римские города, засыпанные извержением Везувия в 79 г. н. э. Раскопки их начались в XVIII столетии.

Стр. 324. *Гракхи* — братья Гракхи: Тиберий (ум. 133 до н. э.) и Гай (ум. 121 до н. э.), политические деятели и народные трибуны древнего Рима. Тиберий Гракх — представитель высшей знати — в 133 г., будучи народным трибуном, предложил аграрный закон, т. е. закон об изъятии земли у крупных землевладельцев и наделении неимущих крестьян этой и государственной землей. На сторону Тиберия стало все крестьянство, но во время новых выборов в народные трибуны в 133 г. группа сенаторов внезапно напала на Тиберия, и он был убит. Такая же участь постигла через двенадцать лет и его брата Гая, который повторно предложил аграрный закон и многими мероприятиями привлек к себе различные слои населения. Целый ряд функций

он отнял от сената (представители старой знати, и передал их всадникам (финансовой олигархии). В 121 г., спровоцированный на вооруженное выступление, он был убит, а партия его разгромлена.

Брут Марк Юний (85—42 до н. э.) — был главою заговора против Юлия Цезаря и участвовал в его убийстве (44 до н. э.). Когда явно обнаружились стремления Цезаря к единоличной верховной власти, близкий Цезарю, осыпанный его милостями Брут примкнул к заговору, направленному против жизни Цезаря. После убийства, разбитый новым узурпатором Октавианом в сражении при Филиппах в Македонии, Брут лишил себя жизни.

... *скользил Тиберий Нерон*... — римский император, устроивший пожар Рима, чтобы насладиться этим зрелищем. Властолюбивая *Агриппина*, дочь Германика, — его мать.

Стр. 325. *Кангранде* из Вероны был щедрым покровителем Данте, когда последний около 1317 г. появился в Вероне. — Антонио делла Скала был последним владыкою из рода Скалигеров, который в 1387 г. был изгнан из Вероны (см. Скалигеру).

Стр. 326. «*Ты знаешь край...*» — начало баллады Миньоны в «Ученических годах Вильгельма Мейстера» Гете.

Стр. 327. *Эккерман* И. П. (1792—1854) — поклонник Гете; его книга — «Заметки о поэзии, в особенности о Гете» (1823). Там между прочим сказано: «Если бы при сотворении мира Гете поручили создать породы птиц, то мы видели бы все таким, каким мы его имеем, — воронов черными, воробьев серыми, павлина с его пышным украшением, видели бы все разное, все сообразно своему предмету, и мы бы радовались — как и теперь, глядя на природу — бесконечному разнообразию, дающему вечно новое наслаждение, никогда не утомляющему». Когда во время празднования юбилея Гете философский факультет Иенского университета предоставил поэту право удостоить звания доктора философии двух молодых людей, — одним из них Гете избрал Эккермана. Известность Эккермана основана на его книге «Разговоры с Гете», изданной по смерти Гете, в 1835 г.

«*Италия*» леди Морган вышла в Лондоне в 1821 г.

«*Коринна, или Италия*» — роман г-жи де Сталь — вышел в Париже в 1807 г. и тогда же был переведен на немецкий язык Шлегелем.

Обозрение В. Мюллера печаталось в ряде номеров журнала «Гермес» за 1820 и 1821 гг.

Стр. 328. *К. Ф. Мориц* посетил Италию в 1786—1788 гг., с 1789 г. издавал журнал «Германия и Италия», в 1792—1793 гг. напечатал трехтомное произведение — «Путешествие одного немца в Италию».

Книга *Архенгольца* «Англия и Италия», в 5 томах, вышла в Лейпциге в 1787 г.

Бартельс — автор книги «Письма о Калабрии и Сицилии», 3 тома, Геттинген 1787—1792.

Э. М. Арндту принадлежат «Отрывки из путешествия по одной из частей Италии осенью и зимой 1798 и 1799 г., 2 тома, Лейпциг 1801.

Фридрих Лоренц Мейер написал «Повествования из Италии», Берлин 1792.

Бенковитц издал в Берлине в 1803—1805 гг. «Путешествие из Глогау в Сорренто».

Рефус напечатал между 1807 и 1810 гг. ряд книг об Италии и Сицилии.

Поэту *В. Мюллеру* принадлежит книга: «Рим, римляне и римлянки, собрание интимных писем из Рима и Альбана», 2 тома, Берлин 1820.

Кефалидес — автор «Путешествия по Италии и Сицилии», 2 тома, Лейпциг 1818.

«*Цисальпинские страницы*» Даниэля Лессмана появились в 1828.

Коллективное путешествие в Италию *Фридриха Тирша*, *Людвига Шорна* и др. вышло в Лейпциге в 1826 г.

Стр. 332. «*Crociato in Egitto*» («Распятый в Египте») — последняя из написанных композитором Мейербером для Италии опер.

Брера — миланский королевский дворец наук и картинная галерея; *Амброзиана* — миланская библиотека.

Стин Ян (1626—1679) — голландский художник.

Стр. 333. *Висконти* Джованни Галеаццо — происходил из могущественного ломбардского рода Висконти, начал постройку собора в Милане в 1386 г. Наполеон I довел почти до полного завершения наполовину лишь готовое здание.

Стр. 334. *Продолжаются работы и над знаменитою триумфальною аркой...* — Наполеон I начал в 1804 г. строить здесь триумфальную арку в память прохода французских войск — *Arco della Pace* (Арка мира); она была закончена в 1836 г., при Фердинанде I Австрийском.

... *отданным в добычу корину*... — Гейне сравнивает здесь Наполеона I с Прометеем, который, согласно античной мифологии, был наказан богами за низведение с неба огня для людей: его приковали к скале на Кавказе и ежедневно прилетавший коршун клевал его печень.

Восемнадцатое брюмера (9 ноября 1799 г.) — день переворота, когда Наполеон низложил Директорию, заменил ее консулатом, и сам был назначен «первым консулом» на десятилетний срок, проложив себе таким образом путь к самодержавной власти (империи).

Стр. 335. *Маренго* — деревня в северной Италии, 14 июня 1800 г. французские войска одержали здесь блестящую победу над

австрийской армией. С утра французская армия была почти разгромлена, несмотря на прибытие самого Наполеона Бонапарта с консульской гвардией. Беспорядочное отступление французской армии было приостановлено отчасти дивизией генерала Дезе, но больше всего генералом Келлерманом, который во главе своих драгун врубился с фланга в стремившиеся вперед австрийские части и привел их в такое замешательство, что австрийский генерал Цах с двумя тысячами солдат вынужден был сдать, после чего французские войска перешли в наступление и окончательно разгромили австрийцев. Несмотря на то, что эта победа была достигнута исключительно действиями Дезе (убитого в сражении) и Келлермана, в официальных сообщениях главная заслуга приписывалась Наполеону. Правда была раскрыта только через полстолетия в работе герцога де Вальми.

Стр. 339. *Дибич Забалканский*, Иван Иванович (1785—1831) — русский полководец. Во время войны с Турцией в 1828 г. находился при действующей армии без всякой официальной должности, но, как личный друг царя Николая, вел самостоятельно военные действия, помимо фельдмаршала графа Витгенштейна. В начале 1829 г. был назначен главнокомандующим армии и за действия по переходу русских войск через Балканы, считавшиеся до того неприступными, получил титул Забалканского. Когда в 1830 г. вспыхнуло польское восстание, Дибич обещал царю подавить его одним ударом. Но этого хвастливого обещания он не выполнил, кампания против восставших поляков затянулась на семь месяцев, и Дибич, не закончив ее, умер в 1831 г. от холеры.

Каннинг Джордж (1770—1827) — английский государственный деятель, либерал, перед которым преклонялась вся либерально-буржуазная Европа. Был убит политическими противниками 8 августа 1827 г. в Чизвике. Вел борьбу с абсолютистскими столпами священного союза, покровительствовал восстанию испанских колоний в Южной Америке, содействовал грекам в освобождении их от турецкого ига, был сторонником эмансипации ирландских католиков и т. д.

Стр. 340. *Великий муфтий* — глава магометанской церкви иначе шейх-уль-ислам.

Стр. 342. Рассуждения на стр. 339—341 о России Николая I, как о «демократическом государе» и о самом императоре, как о «гонфалоньере свободы» объясняются внутренними противоречиями мировоззрения Гейне. Скептический наблюдатель европейской политической жизни, не видевший в ней элементов, обещавших лучшее будущее, очень плохо знавший Россию, Гейне в русском царизме, казавшемся ему мощным и таинственным, пытался увидеть силу, способную принести Европе облегчение, хотя бы и «владычеством кнута». Эти иллюзии Гейне питались,

возможно, и беседами с его мюнхенским знакомым — поэтом Ф. И. Тютчевым, для воззрений которого характерна мессионистская вера в Россию и русскую монархию.

Стр. 347. *Корнелиус* Петер (1783—1867) — немецкий художник, земляк Гейне, основатель художественной школы в Дюссельдорфе; писал фрески в Мюнхене, иллюстрировал «Фауста», «Песнь о Нибелунгах» и т. д.

Стр. 348. *Карраччи Аннибале* (1560—1609) — итальянский художник.

... учился рисованию в Дюссельдорфской академии. Гейне учился рисованию не у Петера Корнелиуса, а у его брата.

«Пуккские воды»

Стр. 356. *Нью-Бедлам* и *Сан-Люц* — дома для сумасшедших в Лондоне.

Стр. 359. *Кристофоро ди Гумпелино* — Христиан Гумпель (см. примеч. к стр. 134).

Стр. 360. ... *старый легитимный монарх выполнит обет реставрации...* — При реставрации королевской знати во Франции бежавшим во время революции эмигрантам были отчасти возвращены конфискованные во время революции поместья или же выдано за них вознаграждение.

Кин Эдмунд (1787—1833) — английский актер; роль Ричарда III в пьесе Шекспира считалась одной из лучших в его репертуаре.

Стр. 361. «*Когда я на коне, то поклянусь...*» — слова Перси в «Генрихе IV» Шекспира.

Стр. 362. *Гольцбехер* Юлия (1809—1839) — известная берлинская актриса.

Стр. 363. ... *не кто иной, как господин Гириш...* — Гейне сплел эту комическую фигуру с одного бедного разносчика лотерейных билетов по имени Исаак Рокамора, который часто выполнял мелкие секретные поручения Гейне. Сам Гейне называл юмористическое изображение Гиацинта «первой из порожденных [ausgeborene] фигур», какие он «когда-либо создавал в натуральную величину».

Стр. 368. *Нейман* Вильгельм (1784—1834) — интендантский советник прусского военного министерства и писатель.

Стр. 369. *Шелли* Перси Биши (1792—1822) — английский поэт. Но цитируемый отзыв относится, однако, не к Байрону, а к Джону Китсу (в элегии «Адонаис», посвященной смерти этого поэта).

... *разорван за то, подобно Актеону...* — по античной мифологии, охотник Актеон подсмотрел наготу девственной богини.

охоты Дианы и в наказание за это был превращен в оленя и разорван ее собаками.

Стр. 370. *Ярке* К. Г. (1801—1852) — публицист реакционно-католического направления, соратник Меттерниха, автор книги по уголовному праву.

«О, Брами, могучий...» — Этот и последующие четыре отрывка взяты из оперы Сальери «Аксур, царь Ормуза» (1788); первоначальный текст оперы назывался «Тарара» и был написан Бомарше; цитируется Гейне, по обыкновению, неточно. См. «Моцарт и Сальери» Пушкина; Моцарт говорит, обращаясь к Сальери: «Да! Бомарше ведь был тебе приятель; Ты для него Тарара сочинил, вещь славную...»

Стр. 371. *Госффман и Кампе* — издатели, выпускавшие почти все сочинения Гейне.

Стр. 372. *Меццофанти* Джузеппе (1774—1849) — кардинал, полиглот, говоривший к концу своей жизни на пятидесяти восьми языках.

«Патито» — влюбленный.

Стр. 374. *Гуго* и *Тибо* — см. примеч. к стр. 94.

Ганс — немецкий юрист, либерал и гегельянец. См. прим. к стр. 132.

Савиньи — немецкий юрист, глава реакционной «исторической школы» права.

Стр. 375. *Лемьер* и *Гоге* — солистка и солист берлинского балета того времени. См. прим. к стр. 134.

Геиен — геттингенский юрист, соратник Савиньи. См. прим. к стр. 139.

Стр. 376. «*Di tanti palpiti*» — «После стольких страданий» — ария Танкреды из оперы Россини «Танкред».

Стр. 381. «*Я, синьора, родился в ночь на новый тысяча восьмисотый год*». — Это было сказано только в шутку; год рождения Гейне в точности неизвестен, но во всяком случае Гейне родился не позднее 1799-го.

Стр. 383. *Бетман* С. М. (1788—1826) — банкир во Франкфурте-на-Майне; основал музей, в котором находится мраморная статуя Ариадны верхом на пантере, работы Даникера.

Ротшильд Натан Мейер (1777—1836) — глава лондонского банковского дома; Гейне познакомился с ним в Лондоне в 1827 г.

Ротшильд Соломон Мейер (1777—1855) — глава венского банковского дома, жил попеременно в Вене, Франкфурте и Париже.

Пизанская башня имеет вид стоящей так наклонно, что кажется — она вот-вот упадет.

Стр. 390 ... *маленького в белом мундире и красных штанах...* — намер на императора австрийского; ниже — на короля прусского («кузен Михель») и короля французского (мальчик в атласе с лилиями), которые все зависят от финансиста Ротшильда.

Стр. 393. ... *на амбу поставил восемь шиллингов...* — В альтонской лотерее при ставке на амбу — в случае выигрыша выдается вдвойне, на терну — втройне, на кватерну в четыре раза, а на квинтерну — в пять раз больше ставки. Гиацинт, как потерю, считает и невыигранные суммы.

Стр. 395. *Шабашевая исенцина* — нееврейка, выполняющая по субботам у набожных евреев работы, которые им самим запрещено в этот день делать.

Стр. 397. *Крелингер* Августа (1795—1865) — немецкая актриса. Роль Джульетты в «Ромео и Джульетта» Шекспира была одной из лучших в ее репертуаре; дальнейшие цитаты заимствованы из этой трагедии Шекспира.

Стр. 400. *Венера Уриния* — вместо Венеры Урания (небесная).

Стр. 401. *Мюллер* София (1803—1830) — актриса Венского городского театра (Бургтеатра).

Стр. 405. ... *Когда Кандид прибыл в Эльдорадо...* — эпизод из повести Вольтера «Кандид». Эльдорадо — благословенная страна, где людям неизвестна цена золота.

Стр. 407. ... *антиспас, анапест и чортов пест.* — Неискупленный Гиацинт сочиняет здесь несуществующие формы стихов (стопы), как антиспас, и к слову «анапест» добавляет и «пест», что по-немецки значит ругательство — чорт, чума.

Стр. 413. ... *в тюрьме в Одензее сидит некий человек...* — В это время в тюрьме в Одензее был заключен как раз какой-то граф Платен, — так полагал Гейне. Эти сведения не подтвердились.

Стр. 416. *Шмальц* — см. примеч. к стр. 224.

Стр. 417. *Доктор Лаутенбахер* Игнац (1799—1833), из Бамберга — был введен Гейне в литературные круги. По рекомендации Гейне он был приглашен в сотрудники Коттою, редактором журнала «Inland» а затем «Ausland».

Стр. 419. «*Ты юноша воздержанный и скромный*» — отзыв К. Иммермана в сочинении «Кавалер, блуждающий в лабиринте метрики, литературная трагедия», Гамбург 1829.

Фон Грейтгейзен Франц (1774—1852) — мюнхенский профессор-астроном.

Стр. 420. ... *нанести последний удар мертвому надворному советнику Эриндур...* — сатира Платена на Мюльнера «Роковая вилка»; Гейне называет Мюльнера надворным советником Эриндуром, по имени Эриндура, героя трагедии Мюльнера «Вина».

Стр. 421. *Если музы и неблагоприятны к нему...* — Мюльнер писал в жанре так называемой «драмы судьбы». Платен подверг осмеянию весь этот жанр и его идейную концепцию. Уже в самом названии «Роковая вилка» содержится пародия на идею судьбы.

Стр. 422. *Рамлер* Карл-Вильгельм (1725—1789) — немецкий поэт, пустой и педантический версификатор, автор од и аллегорий.

Стр. 423. *... в круг которых по ошибке попал даже Лессинг...* — Лессинг давал свои стихи на просмотр Рамлеру, считая его мастером формы.

Арион (VII век до н. э.) — древнегреческий поэт и музыкант; существует легенда о том, как он, возвращаясь из путешествия по Италии и Сицилии в Коринф, чудесно спасся на дельфине.

Стр. 424. *... одному нравится бык, другому — корова Васишты...* — У отшельника Васишты, по индийским преданиям, была корова, приносившая ему все блага. Царь Висвамитра хотел ее отнять у него, но корова сама помогла отшельнику сохранить ее у себя. См. у Гейне в «Книге песен» стихотворение о корове Васишты. («Опять на родине», XLV.)

— Из дневника читателя». — Эта статья в «Утреннем Листке» принадлежала не Платену, а его другу Пухте.

— «*Cuncta denique spectata...*» — «напоказ было все то, что даже у женщин ночь прикрывает». — Тацит, «Анналы», кн. XV, гл. 37.

Стр. 425. *... со стихами Петрония...* — Римский вельможа Петроний Арбитр (законодатель мод) был автором романа «Сатирикон», в котором глубоко и остроумно, но и цинически откровенно описал упадочные нравы Рима времен Нерона.

Стр. 426 *... ангелы, которые явились к Лоту, сыну Арана...* — см. Библию, Книга Бытия, XIX, 1 сл.

Стр. 427. *... как Афина-Паллада из головы Крониды...* — Согласно древнегреческому мифу, Афина-Паллада, богиня мудрости, не родилась обычным образом, а вышла из головы верховного бога Зевса (Кронид — сын Кроноса, т. е. Зевс).

Стр. 430. «*Гец фон Берлихинген*» — юношеская трагедия Гете, сыгравшая большую роль в развитии немецкой литературы. Появилась в 1773 г.

Руффиано — тип из итальянской народной комедии.

Стр. 431. «*Кириэ элейсон*» (греческ.) — «Господи помилуй». *Цelibат* — безбрачие (обязательное для католического духовенства).

Стр. 432. *Фосс* Иоганн Генрих (1751—1826) — немецкий поэт, филолог, переводчик на немецкий язык Гомера, Вергилия

и других поэтов древности, отличался свободомыслием, вел энергичную борьбу с католическим реакционным романтизмом.

Стр. 433. *Эйленпигелевское* — см. примеч. к стр. 148.

... *назначил графу Платену содержание...* — Гейне не совсем точно полагал, что граф Платен, как баварский паж, занимавшийся науками, получал стипендию шестьсот гульденов в год, — на деле он получал как отставной военный половину офицерского жалованья. В 1828 г. он был назначен членом Королевской академии наук в Мюнхене с содержанием в пятьсот рейнских гульденов и с сохранением прежней пенсии — по настояниям реакционеров Шеллинга и Тирша. «Романтический Эдип» был написан Платеном в 1827 г. и издан Коттоу в Штутгарте в 1829 г.

... *куда вызвала меня внезапно смерть отца...* — Отец Гейне, Самсон, умер 2 декабря 1828 г. от нервного удара; известие о его смерти Гейне получил на обратном пути из Италии, в Юрцбурге.

Стр. 425. *Фрауэнлоб* (женохвал) — прозвище поэта Генриха фон Мейсена (конец XIII и начало XIV века). Принял участие в довольно традиционной для поэтов его времени дискуссии — какое немецкое слово — *Frau* или *Weib* более подобает понятию женщины. Он высказался за слово *Frau*. Отсюда его прозвище.

Готувальд, Раунах — современные Гейне немецкие драматурги. См. примеч. к стр. 190.

Стр. 437. *Иффланд, Август Вильгельм* (1759—1814) — немецкий актер и драматический писатель; был директором театров в Берлине. Писал пьесы сентиментального характера, носившие оттенок филистерской пошлости.

Бурм — актер-номик; в 1816 г. в результате скандального процесса был удален из берлинского театра.

Стр. 438. *Эммениды* — древнегреческие богини мести, олицетворение угрызений совести; они преследовали Ореста, сына Агамемнона, за то, что он убил свою мать Клитемнестру, убившую до того своего мужа.

Стикс в древнегреческой мифологии река в подземном царстве.

Волчья долина и музыка Самииеля. Сцена в Вольчей долине входит в оперу Вебера «Волшебный стрелок»; Самииель (демоническая личность) — одно из действующих лиц этой оперы.

Родриго, или Родерих — последний король вестготов (770—771) в Испании; согласно преданию, обесчестил Флоринду, дочь графа Юлиана Суетского; последний призвал мавров, которые победили Родриго и бросили его в змеиный ров; по другому преданию, Родриго удалился в пустыню, чтобы там искупить свой грех. В «Дон Кихоте» (т. II, гл. 33) имеется следующее место: «Есть романс, в котором говорится, что короля

Родриго заживо бросили в ров, наполненный жабами, змеями и ящерицами, и что король два дня спустя слабым, жалобным голосом зывал из ямы:

Они грызут, они пожирают уже то место,
Которым я больше всего грешил.

Город Лукка

Стр. 446. *«Письма умершего»* — произведение графа Г. Пюклера-Мускау, в 4 томах. Гейне пишет об этом авторе своему другу Фарнгагену фон Энзе 19 ноября 1830 г.: «Моя книга очень понравится его покойной светлости; мой демократизм очень мало оскорбит этого представителя знати, так как нет надобности, подобно другим, стать на генеалогическое древо, чтобы возвыситься над обычными головами. Еще больше понравится ему религиозная часть книги. Он великолепно высек ханжей».

Стр. 447. *Орфей* — легендарный древнегреческий музыкант, своей чарующей музыкой заставлявший плясать даже камни и деревья.

... *вытеснит его с поприща ученых поносок...* — Гейне издается здесь над «цитатной» ученостью, знающей, где найти цитаты, чтобы «принести» их в свои работы.

... *между небом и землей много такого, чего не поймут...* — намек на слова Гамлета его другу Горацио (в трагедии Шекспира «Гамлет»): «Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам».

Стр. 448. *Атлантида* — легендарный остров в Атлантическом океане, затопленный вулканической катастрофой; впервые о нем упоминает Платон; впоследствии служил не раз предметом поэтических описаний.

Стр. 450. *Брейган*, или, точнее, Бройган, — высший сорт пива, названный по имени пустившего его в ход Бройгана.

Шехнер и Зоннтаг — берлинские певицы 20-х годов XIX столетия, соперничавшие между собою.

Стр. 451. *Лионнэ П.* (1707—1789) — ученый-естествоиспытатель, энтомолог.

Стр. 455. *«Сакунтала»* — поэма индийского поэта Калидасы.

Васантасена — героиня индийской драмы «Мриххакати» («Детская колясочка») Судрака. Главный герой драмы — брамин Харудата; Васантасена — баядерка, влюбленная в него и им любимая. Харудата — из богатой почетной семьи, но разорен благодаря расточительному образу жизни.

Стр. 456. *Круг Т. В.* (1770—1842) — философ-публицист, как раз в описываемое время (1829) написавший брошюру «Без-

брачие католического духовенства», в которой охарактеризовал целибат (безбрачие) как институт «несправедливый, безнравственный, противный священному писанию и гражданственности».

Стр. 457. *«Церковная газета»* — евангелическая церковная газета, издававшаяся с 1827 г. в ортодоксальном духе.

Гезениус В. (1786—1842) — критик Библии и ориенталист, за свои просвещенные взгляды и экзегетические произведения, особенно в 1828—1830 гг., подвергавшийся сильным преследованиям ортодоксальной партии.

Стр. 460. *Денон* Д. Ф. (1747—1827) — автор «Путешествия в Нижний и Верхний Египет» (1802), с атласом, на французском языке.

«Волшебная флейта» — опера Моцарта.

Бельцони В. (1778—1823), из Падуи — исследователь египетских древностей, издавший в 1821 г. книгу о своих египетских раскопках.

Стр. 464. *«Вслед за тем и прочих богов обошел он...»* — Во французском издании, как источник, откуда взята эта цитата, вместо «Вульгата» указана «Илиада»; эти стихи действительно взяты из «Илиады», песнь IX, ст. 597—604.

Стр. 468. *Палестрина* Джованни (см. прим к стр. 134).

Стр. 470. *Священный союз* — Австрия, Англия, Россия — трое — три волхва — священный союз Востока — подносящие дары.

Каталани (1782—1849) — итальянская оперная певица-красавица.

Маккиавели Николо (1469—1527) — итальянский государственный деятель и писатель, автор политического трактата «О Государе», истории Флоренции и других сочинений, а также комедии «Мандрагора».

Стр. 471. *Дель Сарто* Андреа (1488—1531) — живописец флорентийской школы.

Стр. 476. ... *понравился мне рассказ о женщине...* — Гейне, по обыкновению, цитирует неверно; этого рассказа о женщине нет у Плутарха. Он заимствован из популярной в средние века книги Ж. Жуанвиля (1223—1318): «История святого Людовика». Жуанвиль сообщает эту историю со слов монаха Иво, которому ее передала одна сарацинка.

Стр. 477. «Дем цефардеим кинним» — точнее: «Дам, тсе-фардеа, кинним» — не арабские, а еврейские слова, обозначающие казни египетские, ниспосланные, по Библии, на египтян перед исходом евреев из Египта: «кровь, лягушки, вши»: евреи в некоторых пасхальных богослужениях произносят эти слова, обмакивая пальцы в кубок с вином.

Стр. 485. *«Медведь и Паша»* — фарс, написанный Скриббом.

... называется, собственно, *Бэрлин*... — Медведь по-немецки Бэг. Говоря далее об образованных городских медведях, Гейне имел в виду братьев Бер: Михаила Бера — драматурга, и оперного композитора — Мейербера.

Стр. 491. «*Mel in ore, verba lactis*... — «Мед на устах, молочные слова, горечь на сердце, обман на деле» — цитата из «Персидских писем» (1721) Монтескье — старинная эпиграмма на иезуитов.

Стр. 499. *Агис IV* (III век до н. э.) — спартанский царь; хотел восстановить древнее устройство страны и упорядочить земельные отношения; был задушен в 240 г. до н. э.

Стр. 500. ... *существующее само по себе, и потому и разумное*... — намек на философию Гегеля: «Все действительное разумно, и все разумное действительно».

«*Амадис Гальский*» — испанский рыцарский роман XVI века.

Аграмант и *Роланд* — герои народных легенд. Гейне здесь и в дальнейшем проводит аналогию между средневековыми рыцарями и деятелями Французской революции.

Стр. 501. *Мариторна* — имя безобразной астурийской служанки в «Дон Кихоте».

Стр. 503. *Хеджира*. — Гейне приводит здесь неточное слово, правильно — *Хиджра* (начало мусульманского летосчисления — 622 год — бегство Магомета из Мекки в Медину).

Издатель *Готфрид Бассе* в Кведлинбурге в 20-х годах XIX столетия выпускал множество лубочных романов из жизни рыцарей и разбойников, а также различные истории с призраками.

Стр. 504. *Барбару* Шарль (1767—1794) — один из выдающихся жирондистов. Вызванные Барбару марсельские конфедераты при вступлении в Париж 30 июня 1792 г. пели знаменитый гимн *Руже де Лилия*; отсюда название гимна — марсельский, Марсельеза.

Стр. 505. «*Aux armes citoyens*» — «К оружию граждане» — припев Марсельезы; Гейне ссылается здесь на рассказываемый античной мифологией штурм неба титанами, взгромоздившими горы друг на друга, Пелион на Оссу, и обратившими в бегство богов Олимпа.

Английские отрывки

Стр. 508. «*Честные люди*» — новелла Виллибальда Алексиса была напечатана впервые в «Женевской карманной книжке» на 1825 г.

Стр. 510. ... *если причину революции и следует искать в бюджете*... — Во французском издании вместо этих слов стоит: «И в чем бы ни искать причины революции».

Стр. 511. Слова — *И вместо мещанского неравенства ввести аристократическое равенство* — отсутствуют во французском издании.

Стр. 512. *Сент-Джемский дворец* — в Лондоне, местопребывание английского двора.

Honny soit, qui mal у pense — намек на высший английский орден — орден Подвязки, основанный королем Эдуардом III в 1348 г.; девиз на этом ордене: «*Honny soit, qui mal у pense*» — «Позор тому, кто думает об этом дурно».

Стр. 513. *Смисфильд* — бывший мясной рынок в Лондоне.

Стр. 514. *Тоуэр* — государственная тюрьма в Лондоне; о ней сказано непосредственно после рассуждений о несвободе.

Стр. 515. *Чилсайд* — наиболее оживленная улица лондонского делового центра — Сити.

Даунинг-стрит — улица в Лондоне, где сосредоточены правительственные здания.

Стр. 516. *Стрэнд* — оживленная улица в центральной части Лондона.

Переход французов через Березину. — Отступление Наполеона в 1812 г. из России совершалось в большом беспорядке, и французы потерпели жестокий урон при переправе через реку Березину.

Стр. 518. *Франц ван Мирис старший* (1635—1681) — голландский художник-жанрист, изображал сцены из мещанской жизни.

Стр. 522. «*Almacks*», «*Vivian Grey*»... — названия легких романов и повестей, изданных в Лондоне в 1826—1828 гг.

Ad usum delphini — для дофина (наследника престола). — Людовик XIV печатал классиков для своего сына, дофина, с удалением «опасных» и «неприличных» мест. Гейне здесь иронически намекает на фальсификацию французских мемуаров в виду реставрации во Франции.

Стр. 523. «*Кавалеры*» — сторонники короля, *круглоголовые* — сторонники народа в «долгом парламенте» времен английской революции XVII века.

Стр. 524. ... *кузнец, кующий самые крепкие цепи*... — В Шотландии для вступления в брак не требовалось почти никаких формальностей — ни разрешения родителей, ни венчания священником или должностным лицом и т. д. Шотландская деревня Гретна-Грин у самой английской границы была очень удобна для заключения англичанами таких свободных браков; в то время пользовался большой славой кузнец деревни Гретна-Грин, повенчавший очень большое количество парочек.

Племя избранных божьих — библейское наименование евреев.

Корах, Датан и Абирам — по библейскому преданию, за преступления были поглощены землей, провалились в преисподнюю.

Стр. 526. ... по делам фирмы *Констэбль*... — Вальтер Скотт был участником фирмы *Констэбль*, обанкротившейся в 1826 г. *Cessio bonorum* — в древнеримском конкурсном праве — отдача всего своего имущества для покрытия долгов.

Стр. 528. *Фарнгаген* не упрекал В. Скотта в пристрастии. Гейне неточно передает смысл его высказывания.

Стр. 530. *Карл I Стюарт* (1625—1649) — английский король, разбитый парламентскими войсками под предводительством Кромвеля 14 июня 1645 г. в битве при Нэзби, бежал в Шотландию; шотландцы выдали его английскому парламенту, но за большое вознаграждение. Гейне под именем каледонских бардов имеет здесь в виду шотландского поэта Джемса Хогга (1772—1835) и Маколея, воспевавших в своих балладах битву при Нэзби.

Гурго — фр. генерал, последовавший за Наполеоном на о-в Св. Елены. Несмотря на размолвку с окружением императора оставался ему верен до конца.

Стр. 532. «*Приключения Гулливера*» (Лондон 1726) — сатирический роман Джонатана Свифта.

Стр. 533. *Ольд Бейли* — одна из улиц Сити в Лондоне, где находилась Ньюотская тюрьма.

Стр. 535. *Ботани-Бей* — место ссылки преступников в Австралии.

Стр. 537. *Самизэль и Вельзевул* — дьяволы христианской религии.

Вицлипуцли — бог войны в древней Мексике, впоследствии — герой поэмы Гейне (в цикле «Романцеры»).

Стр. 538. *Георг Каннинг*, — был премьер-министром, противник аристократической партии; *Веллингтон* — ее сторонник; о вигах и тори см. ниже, гл. VIII. О Каннинге см. выше, примечание к стр. 334.

Стр. 539. *Коббет* Вильям (1762—1835), — известный английский публицист прогрессивного направления.

«*Долг — величайшее из зол*» — изречение Шиллера: «Вина — величайшее из зол». По-немецки *Schuld* — значит и «вина» и «долг».

Стр. 540. *Доктор Ф. Шрейбер* из Касселя в течение многих лет безрезультатно подавал петиции в Союзный сейм по поводу покупки поместья, совершенной при Наполеоне и аннулированной курфюрстом Гессенским.

Стр. 541. *Вильям Питт* младший, — (1759—1806) глава контр-революционного движения, англ. государственный деятель,

Фокс (1749—1806) — соперник Питта, сочувствовавший Французской революции и демократическим идеям.

Персиваль (1752—1812) — министр, член партии тори, убитый неким Беллингемом, биржевым маклером.

Лорд Кесльри, маркиз Лондондерри — реакционер, содействовавший падению Наполеона (см. прим. к стр. 228).

Лорд Ливерпуль (1779—1828) — канцлер английского казначейства.

Вестминстер — аббатство в Лондоне, в котором хоронят английских королей и государственных деятелей.

Стр. 543. *Альфред Великий* (848—900) с 871 г. король Уэссекса, с 878—885 г. король части Англии, Юга и Запада.

Георг III (1738—1820) — английский король (с 1760 г.); его правление совпало с очень важной эпохой английской истории (промышленный и аграрный переворот, отпадение северо-американских колоний, борьба с революционной и наполеоновской Францией). С 1811 г. отстранен от престола — правление перешло к регенту, будущему Георгу IV.

Стр. 552. *Les Gueux* — гёзы, нищие — прозвище нидерландских дворян, восставших (в XVII веке) против тирании Филиппа II Испанского.

Стр. 554. *Бердет* Френсис (1770—1844) — радикальный депутат, энергично выступавший за ирландскую эмансипацию; на старости лет стал торием.

Летбридж Томас — консерватор.

Стр. 555. *Хент* Джеймс Генри (1784—1859) — политический деятель, сторонник радикализма в вопросах политики и религии, был известен также как поэт.

Стр. 556. *Фоксгентерская родня* — помещики, от слов «fox hunting» — охота на лис с собаками.

Брум Генри, лорд (1778—1868) — английский государственный деятель — виг.

Стр. 563. *Процесс королевы*. — Георг IV (1762—1830) повенчался в 1795 г. со своей двоюродной сестрой, принцессой Каролиной Брауншвейгской, но уже в следующем году разошелся с ней; он затеял процесс против своей супруги с целью лишения ее прав и титула английской королевы; процесс этот принял для него очень неблагоприятный оборот, но в 1821 г. королева умерла.

Стр. 564. *Оранжевисты* — ирландские союзы для поддержки протестантов против католиков.

Пленкет Вильям (1765—1854) — английский политический деятель, был сначала противником, а впоследствии, в бытность адвокатом короны, сторонником соединения Англии и Ирландии, выступал за эмансипацию ирландских католиков.

Сэр Роберт Пиль (1788—1850) — английский государственный деятель, разошедшийся с ториями и в 1828—1829 гг. проводивший эмансипацию каголиков.

Стабильтарная система — система равновесия европейских стран, дававшая возможность Англии играть руководящую роль в концерте держав.

Бёрк Эдмунд — (1730—1797) английский государственный деятель, был горячим защитником прав народа во время североамериканской войны за независимость, но затем стал яростным противником Французской революции.

Стр. 565. *Зеленый Эрин* — старинное название Ирландии.
... как блаженной памяти Кесльри... — В журнальном тексте здесь было добавлено: «и скверной памяти Веллингтона».

Стр. 566. ... вспоминают смисфильдские костры ... — На Смисфильдской ярмарочной площади в Лондоне совершались в прежние времена публичные казни.

Гай Фоукс (1570—1606), из Йоркшира — бывший протестант, глава католического «порохового» заговора в Англии, имевшего целью при открытии парламента 5 ноября 1605 г. взорвать короля, министров и членов обеих палат; заговор не удался, и Фоукс 30 января 1606 г. был казнен.

Стр. 567. ... геттингенского ректора, занимающего в Лондоне должность английского короля... — Английские короли, со времени Георга I, в качестве ганноверских великих герцогов или королей являлись ректорами Геттингенского университета.

Стр. 570. ... наваринские пушки достаточно громко поведали... — В битве при Наварине, 20 октября 1827 г., турецко-египетские морские силы были разбиты и уничтожены объединенным англо-франко-русским флотом.

Пера — часть Константинополя, населенная преимущественно иностранцами.

Стр. 572. *Князь Полиньяк* (1780—1847) — французский государственный деятель; в 1804 г. участвовал в заговоре против Наполеона; в 1829 г. был министром иностранных дел и явился инициатором ограничения свободы печати; после Июльской революции 1830 г. приговорен к пожизненному тюремному заключению.

Стр. 574. «*Te, Caesar, morituri salutant!*» — «Идущие на смерть приветствуют тебя, Цезарь» — возглас римских гладиаторов, при входе на арену цирка, перед римским императором.

Стр. 578. ... Подобно гельфенштейнскому свирельщику... — Имеется в виду Гельфенштейнская песнь XVI века о том, как восставшие крестьяне гнали помещика графа Гельфенштейнза сквозь пики и косы, под звук трубы.

Дружественный бард — Вальтер Скотт.

Стр. 580. *«Никто не кладет заплат из нового сукна...»* и т. д. — Из Евангелия от Матфея, IX, 16 сл.

Стр. 583. *Шодерло де Лакло* Пьер (1741—1803) — французский писатель; автор романа «*Liaisons dangereuses*» («Опасные связи»), в котором весьма ярко описал упадочные нравы аристократии; Гейне, очевидно, смешивает его с другим французским писателем — Шарлем Дюкло (1704—1772).

Луэ де Куврэ Жан Батист (1760—1797) — член Конвента, жирондист и писатель, автор романа «Кавалер Фоблаз».

Стр. 585. ... *дух свободы, которым повеяло оттуда в Германию...* — Июльская революция нашла отклик и в Германии: народные волнения происходили в Брауншвейге, Ганновере, Гессене и Саксонии.

Стр. 586. *«... это история из жизни Карла V»* — Во французском издании правильно заменено: «Из жизни императора Максимилиана». Максимилиан I был в 1488 г. захвачен в плен восставшими гентскими горожанами и заточен в крепость, в Брюгге (а не в Тироле). В заключении его часто посещал его придворный шут, Кунц фон дер Розен, не раз безуспешно делавший попытки освободить Максимилиана из заключения.

Приложения

Стр. 596. *Максимилиан-Себастьян Фуа* (1775—1825), французский генерал либерального направления. Тогда только что вышла его «*Histoire de la guerre de la péninsule sous Napoléon*» «История войны на (Пиренейском) полуострове при Наполеоне».

Стр. 600. *Еврей Мардахай ...* — см. книгу Эсфири, III, 1; *...без специального разрешения...* — В начале XIX века, евреи в Англии еще не пользовались всеми гражданскими правами.

Дополнения и варианты

Стр. 605. *Индейцы Шаррюаса*. В парижском зоологическом саду показывалась в 1833 году трупца северо-американских индейцев во главе с их вождем Такуабе.

Стр. 610. — *Появившееся в 1846 году издание...* — в этом году никакого французского издания «Путевых картин» не появлялось.

Стр. 612. *Абеляр* (1079—1142) — философ и богослов, отстаивав свободу мысли и исследования, за что подвергся гонениям. *Элоиза* — его возлюбленная (см. примеч. к стр. 232).

Стр. 615. ... *сгорбившись сидит в ... ой библиотеке.* — Об этом библиотекаре Гейне упоминает и в «Северном море».

Стр. 616. *Паулуз, Гурлит, Круз* и т. д. *Паулуз Генрих-Эбергард-Готтлоб* (1761—1851) — протестантский богослов, профес-

сор в Иене, Вюрцбурге и Гейдельберге, принадлежавший к числу главнейших представителей историко-критического рационализма в теологии; *Гурлит Иоганн-Готфрид* (1754—1827) — немецкий педагог и археолог; *Круг Вильгельм-Трауготт* (1770—1842) — профессор философии в Кенигсберге, преемник Канта и популяризатор критической философии; *Эйхгорн Иоганн-Готфрид* (1752—1827) — протестантский богослов и ориенталист, профессор восточных языков в Иене и Геттингене, один из первых критиков Библии; *Бутервек Фридрих* (1766—1828) — профессор философии в Геттингене, кантианец; *Вегшейдер Юлий-Август-Людвиг* (1771—1849) — профессор протестантского богословия в Галле, главный представитель старого рационализма в теологии.

Стр. 617. *Хогарт* Вильям (1697—1764) — английский живописец. В своем сочинении «Расчленение красоты» (1753) он описывает змеиную или волнистую линию как линию красоты.

Вагензейль Георг Кристоф (ум. 1777) — плодовитый австрийский композитор; писал преимущественно камерную и оркестровую музыку; его произведения — переход от итальянской музыки к музыке венской школы.

Святой Себальдус — покровитель города Нюрнберга.

Стр. 618. «*Сила обстоятельств*» — пьеса Людвиг Рoberта (1777—1832), один из ранних опытов создать реалистическую драматургию в Германии.

См. примеч. к стр. 268.

«*Прародительница*» — пьеса австрийского драматурга Грильпарцера (1791—1872); относится к числу так называемых «драм судьбы» — жанру, созданному немецкими романтиками; написана в 1817 г. Яромир, главный герой пьесы.

«*Каждый дюйм посылка*» — пародия на слова Гамлета в трагедии Шекспира: «Каждый дюйм король». Вурм. — см. примеч. стр. 437.

Стр. 620. *Франц фон Гауди* (1800—1840) — барон, переводчик на немецкий язык Беранже и французских романтиков.

Франц Куглер (1808—1858) — немецкий поэт-лирик.

Стр. 623. *Раупах Эрнст* — см. примеч. к стр. 190.

Стр. 624. «*Школьные фарсы*» — одноактный водевиль Л. Анджелли.

Циммерман Ф. Г. (1782—1835) — профессор Гамбургского университета, друг Гейне, издавал с 1821 г. по 1827 г. «*Dramaturgische Blätter für Hamburg*».

«*Райская птица*». — Комедия Людвиг Рoberта «Кассий и Фантаз, или Райская птица» вышла в 1825 г. и являлась сатирой на спекуляцию театров пьесами, дающими большой сбор.

Стр. 625. *Сафир Мориц* (1795—1898) — немецкий журналист, сатирик и юморист.

Стр. 625 *Людовиг Баварский* — король баварский Людвиг I (1786—1868), слабый поэт и писатель.

Стр. 629. *Менцель Вольфганг* (1798—1873) — немецкий политик и журналист. В 1827 году выпустил книгу «Немецкая литература», в которой обрушился с резкой критикой на Гете.

Стр. 632. *Быть может своевременно будет привести то, что Тацит сообщает об этом.* В четвертой книге «Анналов» (гл. 34 и 35) Тацит рассказывает, что историк Кремуций Корд «обвинен был в новом и до того неслыханном преступлении, что в своей летописи он похвалил Марка Брута и Кая Кассия, назвал последним из римлян! В своей речи перед императором Тиверием и сенаторам Корд, уверенный, что его казнят, без всякого стеснения сравнил Тиверию с Цезарем и Августом, указав на то, что последние не преследовали людей за критику их поступков «либо по умеренности» характера, либо из расчета, потому что презрение убивает сатиру, а гнев заставляет думать, что она справедлива. Пусть меня осудят. — закончил он, — найдутся люди, которые вспомнят не только Брута и Кассия, но и меня» Не дожидаясь смертного приговора, Корд уморил себя голодом.

Стр. 638. *Шпандау* — крепость в Пруссии, где содержались заключенные по политическим процессам.

Стр. 641. *Несс* — кентавр, побежденный Геркулесом (греч. миф).

Стр. 645. *Понте Веккио* — древний мост через реку Арно во Флоренции.

Буондельмонте деи Буондельмонти, флорентинский дворянин, был в 1216 году убит своими политическими противниками на Понте Веккио.

Spolia opima — доспехи, отнятые у побежденного в бою.

Стр. 647. *Фриз Якоб-Фридрих* (1773—1843) — немецкий философ, создатель так называемого антропологического направления в философии. Его учеником был студент Карл Занд, убийца А. Кацебу, немецкого писателя и русского шпиона.

Стр. 650. *Иосиф II* (1741—1790) — император австрийский, один из виднейших представителей «просвещенного абсолютизма» Многочисленные реформы, предпринятые им, окончились неудачей.

Кузен, Жозеф-Фруа и др. *Кузен Виктор* (1792—1847) — французский философ-эклектик. *Жозеф-Фруа Теодор* (1796—1842) — французский философ-спиритуалист; *Гизо Франсуа* (1787—1874) — французский историк и политический деятель, министр Луи-Филиппа.

липпа; *Барант Гильом Проспер Брюзьер де* (1782—1866) — французский историк и дипломат; *Тьерри Огюстен* (1795—1856) — французский историк, близкий к материалистическому пониманию истории; *Тьер Адольф* (1797—1877) — французский публицист, историк и политический деятель, глава исполнительной власти в 1871—1873 году, палач Коммуны.

ПЕРЕЧЕНЬ ИЛЛЮСТРАЦИЙ

Фронтиспис	6— 7
Портрет Г. Гейне. С рис. карандашом Франсуа Куг- лера, 1829 г.	86— 87
Г. Гейне. С портрета маслом неизвестного худож- ника, около 1830 г,	268—269
Г. Гейне. С портрета карандашом Вильгельма Гензеля, 1830 г.	508—509

СОДЕРЖАНИЕ

А. Лезнев — Проза Гейне	7
-----------------------------------	---

Путевые картины

Часть первая

Путешествие по Гарцу	85
--------------------------------	----

Часть вторая

Северное море	157
Идеи — Книга Le Grand.	193

Часть третья

Италия I. Путешествие от Мюнхена до Генуи	265
Италия II. Луккские воды	351

Часть четвертая

Предисловие	443
Италия III. Город Лукка	445
Позднейшие добавления	503
Английские отрывки	507
I. Разговор на Темзе	509
II. Лондон	515
III. Англичане	520
IV. The life of Napoleon Buonaparte by Walter Scott	526
V. Ольд Бэйли.	533
VI. Новое министерство	537
VII. Долг.	539
VIII. Оппозиционные партии	551
IX. Эмансипация	563
X. Веллингтон.	571
XI. Освобождение.	576
Заключение	584

П р и л о ж е н и я:

1. Чай (к «Лукским водам») пер. А. Г. Горнфельда .	591
2. О телесном наказании в Англии (к «Английским отрывкам»)	594
3. Джон Буль (к «Английским отрывкам»)	597

Д о п о л н е н и я и в а р и а н т ы

Д о п о л н е н и я

Предисловие, предназначавшееся для второго французского издания 1834 г.	605
Предисловие к французского издания 1855 г., пер. А. Г. Горнфельда	610

В а р и а н т ы. Пер. А. Г. Горнфельда.

Часть первая. Путешествие по Гарцу	612
Часть вторая. Северное море	619
Часть третья. I. Путешествие от Мюнхена до Генуи	625
» » II. Лукские воды.	633
Часть четвертая. Италия. III. Город Лукка	642
» » Английские отрывки	650

Список мест, исключенных в первом французском издании.	657
--	-----

К о м м е н т а р и и 659

Путешествие по Гарцу	668
Северное море	675
Идеи — Книга Le Grand	682
Путешествие от Мюнхена до Генуи	690
Лукские воды	700
Город Лукка	705
Английские отрывки	707
Приложения.	712
Дополнения и варианты	—

Перечень иллюстраций	716
--------------------------------	-----

Редактор М. А. Лифшиц,
Литературная редакция
М. В. Сокольников.
Техн. ред. Э. А. Старк.

*

Сдана в набор 26.VI.54. Г-да
писана к печати 2.II.55.
Вышла в свет 11.35. Ф-м.лн.
Глав. лит. № Б-59984. Под.
А-4. Издат. № 145. Бумага
82 × 111¹/₃₂. Авт. 1, 3, 5
Печатн. л. 45 + 3 вкл. ч. кн.
Бум. л. 11,25 по 46 т. знак
Зак. № 1990. Тираж 15500.

*

Набрано во 2-й типогра-
фии «Печатный двор»
треста Полиграфиз-
Ленинград «Гатчинская», 26.
Отпечатано в типографии
им. Астафова, Ленинград
Ул. Правды, 18.

Цена Р. 8.—

Переплет Р. 2.—



ACADEMIA

Г Е Й Н Е

